С.Н.СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

ПРИСТАВ ДЕРЯБИН

ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

ПУШКИ ЗАГОВОРИЛИ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ
С.Н.СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

ЭПОПЕЯ

ПРИСТАВ ДЕРЯБИН

ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

ПУШКИ ЗАГОВОРИЛИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
С 32

Иллюстрации
А. В. Николаева

С $\frac{4702010200-1682}{080(02)-88}$ 1682—88

ПРИСТАВ ДЕРЯБИН

Повесть

I

Со взводом не хотелось идти; взвод пришел во двор третьей части в шесть часов вечера, а прапорщик Кашнев к семи часам приехал на извозчике.

Входя во двор в полутьме густого осеннего вечера и ища в карманах шинели бумажку командира о назначении в помощь полиции, Кашнев услышал откуда-то из глубины низкого здания через форточку широкогрудый, сиплый, акцизный бас; бас был хозяйственный, в каждой ноте своей уверенный, как в прочности земли, ругал кого-то мерзавцем, подлецом и негодяем.

«Ишь, разоряется пристав!» — добродушно подумал Кашнев.

Зная, что придется не спать ночью, выспался он после обеда, и теперь, как всегда после крепкого сна, все казалось ему сглаженным, безуглым; как-то не совсем установилось, плавало,— и бумажку не хотелось искать: может быть, была она в сюртуке, в боковом кармане,— бог с ней.

В потемках не видно было всего двора: справа желтел только фонарь где-то в глубине, около сытой желобчатой лошадиной спины, должно быть — в конюшне под каланчою, а слева, через окно, в глубине дома, в растворе каких-то внутренних дверей синел абажур лампы, да далеко впереди, в переплете двух маленьких окошек золотел свет, и двигалась в этом свете тень сутулого взводного Крамаренки.

«Все хорошо, и все на своем месте»,— добродушно подумал Кашнев, и, ловя на земле шагами скупые полосы и пятна огней, мимо пожарных бочек, круглого чана с желобом, будки с колокольчиком, еще чего-то невнятного, он пошел посмотреть своих солдат, хотя это было

и не нужно, и шел как-то инстинктивно по-своему, так как две походки были у Кашнева — строевая и своя.

— Встать, смирно!— истово крикнул Крамаренко, когда увидел Кашнева в дверях...

Солдаты вскочили, вытянулись, застыли.

И вот вдали от казармы стало как-то неловко Кашневу за этих давешних людей — солдат и как будто не солдат.

Они смотрели на него, новые при скупом свете дрянной керосиновой лампочки, все с лицами усталыми, ожидающими чего-то, а он не знал, зачем они это и что им сказать.

— Ну что, как? — неопределенно спросил он.— Это что за дыра?

— Это, ваше благородие, кордегардия, кутузку нам отвели,— ответил Крамаренко.

— Попали за верную службу в кутузку раньше времени,— сказал пожилой запасный Гостев, и улыбнулись все.

— Ваше благородие, нельзя ли нам соломки где взять, на пол постелить... А нахаркано ж везде, страсть! — сказал кто-то другой.

— Нечистота,— поддержал третий, степенный.— Как тут лечь? Шинеля позагадишь... И тесно!

— А пристав объяснил, что тут делать? В чем помощь полиции? — спросил Кашнев.

— Сказали, что в обход пойдем в двенадцать ночи, а до того времени чтобы спать лягали,— ответил Крамаренко.

— А спать тут не успишь,— подхватил Гостев.— И клопы!

— Хорошо, достань соломы... Я вот передам приставу... Тут где-то я лошадь видел,— должно быть, есть солома.

— Пожарная команда тут, как же! — подхватил Гостев.— Тут соломы тьма!

Кашнев всмотрелся в его лицо, подслеповатое, с белобрысой бородкой, и подумал отчетливо: «Рядовой, а все время говорит, когда не спрашивают...» И потом выкрикнул как мог начальственно и строго:

— Крамаренко, распорядись!

— Слушаю! — ответил Крамаренко и проворно взял под козырек.

Когда Кашнев шел к чуть заметному крыльцу дома, походка у него была уже строевая, и он не искал нога-

ми золотых полос и пятен, а шагал прямо «направление на крыльцо». На крыльце долго не мог найти щеколды, а когда нашел и отворил дверь, наступил в темноте на какого-то щенка, который завизжал оглушительно и бросился мимо его ног на двор. Наудачу Кашнев отворил прощупанную впереди дверь, обитую клеенкой. Запахло щами и хлебом; городовой, вскочивший с лавки, на которой он ел, поспешно вытерся рукавом и проводил его в канцелярию.

II

При первом же взгляде на пристава Кашнев как-то странно почувствовал не его, а себя — свое юношески гибкое тело, узкие руки, едва опущенное лицо: так остро чувствуют себя люди при встрече с чем-то бесконечно далеким от них и враждебно чужим. Кашнев считал себя выше среднего роста, но, чтобы посмотреть в глаза приставу, он сильно поднял голову.

Пристав был громаден. Когда он, представляясь, просто сказал свою фамилию: Дерябин, то как будто нажал на басы церковного органа, и рука его, в которую попала рука Кашнева, оказалась таким большим, теплым, мягким вместилищем, точно стал Кашнев ребенком и погрузил детские пальцы в песчаный речной берег, сильно нагретый июльским солнцем. Сквозь круглые очки глядели выпуклые, серые, близорукие глаза, большие на большом круглом безбородом лице, и голова была коротко остриженная и тоже округлая, как арбуз. Тужурка казалась тесной в плечах и в вороте и вся была как-то битком набита упругим мясом. Было приставу тридцать пять лет на вид или немного больше.

— Побеспокоили мы вас,— прошу простить: новобранцы! Ежели не пьет, не буянит, не орет, фонарей не бьет, сукин сын, то какой же он новобранец, черт его дери? Закон у них такой, штоп...

Вместо «простить» у него вышло «простеть», а вместо «буянит» — «буянет»: «и» ему было не по голосу.

Потом он повернулся от Кашнева неожиданно легко для своего огромного тела и крикнул в двери:

— Культяпый!

И тут же в какой-то дальней комнате что-то загромыхало и покатилось по не заставленным ничем полам: слышно было, что дальше за канцелярией несколько комнат, и все пустые. Потом в двери пролез Культяпый —

кривоногий седенький старичок, одетый в форму будочника,— и стал смиренно.

— На стол!— коротко приказал Дерябин.

И когда уходил Культяпый, тем же манером громыхая по комнатам,— сказал о нем пристав:

— Нянька моя,— меня выхаживал во время оно... Дурак, но предан. Держу, черт его дери!

Два писарька сидели в канцелярии,— им крикнул пристав:

— Марш домой!.. С нас вас на сегодня будет, собственно говоря.

И писарьки — один угрюмый, красноносый, явный пьяница и сутяга, другой угреватый подросток — вскочили, застучали, складывая толстенные книги, и ушли.

И вот осталась большая, вся заставленная столами канцелярия, лампа с синим абажуром, за канцелярией внятная пустота нескольких комнат, за форточкой сырой темный вечер — и пристав. И несколько мгновений пристав смотрел на Кашнева молча, немного жуткий, потому что был освещен снизу лампой, отчего лицо его стало сырым, синим, вздутым, как у утопленника; молчал, только для вида перебирая на столе какие-то бумаги.

— Между прочим...— поспешно, точно боясь забыть, начал Кашнев,— солдат, своих помощников, вы — в каземат... Неужели нет больше места?

— Солдат? Куда же мне солдат?.. Дворец для них? Баловство! — Пристав посмотрел на Кашнева как-то сразу всем телом и добавил:— Терпи голод, холод и все солдатские нужды... что? Даром, что ли, новобранцы фонари бьют черт их дери? Баловство! Разврат!

— Я приказал им соломы в конюшне взять,— ответил Кашнев, смотря ему прямо в большое лупоглазое лицо,— но не так, как смотрел раньше, когда вошел, а просто, только бы смотреть,— и докончил:— постелить на пол, а то там наплевано.

— А я прикажу взять обратно! — крикнул Дерябин.— Баловство!.. Зачем им солома?.. Нежность!.. И на черта мне их пригнали, пятьдесят человек? Что мне с ними, в чехарду играть?.. Эй, дежурный, гоп-гоп!— крикнул он в двери.

И не успел еще Кашнев сообразить, как ему лучше обидеться на пристава, как уж кричал тот кому-то в другой комнате:

— Передай взводному, чтоб... пятнадцать человек при унтер-офицере оставил нам, а прочих — в ярок на пчель-

ник, в казарму на топчанах спать, черт их дери! Да солому там, если солому взяли, так потом ее прямо в навоз; под лошадей в стойла не класть: раз солдат проспал, так уж на эту солому и лошадь не ляжет... Понял? П'шел!

В пустой комнате голос пристава бурлил и клубился, как дым кадильный, а Кашнев сзади смотрел на его дюжую спину, могучую шею и светлый затылок и все както не знал, что ему сделать: нужно было что-то сказать колкое, но он сказал:

— Поэтому и я вам тоже не нужен?.. Прощайте.

— Кто? Вы? — Пристав поспешно обернулся и взял его за плечи.— А для кого же стол накрывают? Господи, твоя воля!.. Сказано было: взвод при офицере... ну? Взвод я по мирному составу считал,— по военному прислали. Ошибка исправлена. Лишних людей отослали, черт их дери, спать, а офицера... нет-с, не отдам! Культяпка! Сыми с их благородия шинель, живо!.. и спрячь!

И где-то в соседней комнате звякавший посудой Культяпый подкатился к Кашневу на коротких ножках и, сопя, принялся стаскивать с него шинель. Он касался его своими седенькими мертвыми бачками и лоснящимся небольшим черепом; изо рта его сильно пахло съеденными старыми зубами, и руки тряслись.

— Вы семейный? — зачем-то некстати спросил пристава Кашнев.

— Omnia mea![1] — ответил пристав и поднял указательный палец вровень с лицом.

Из этого Кашнев понял, что он одинок.

Столы в канцелярии были неопрятные, некрашеные, сосновые, старые, покрытые листами пропускной бумаги, замазанной чернилами; было накурено и сперто — не помогала и форточка; неподметенный, заслеженный грязный пол скрипел песком под ногами. Кто-то сдавленным пискливым скопческим голосом, картавя, неприлично выругался в той комнате, где гремел посудой Культяпый.

— Сильно сказано,— отозвался на это Кашнев.— Кто это?

— Попка. Ка-ка-ду,— шаловливо протянул пристав и улыбнулся длинно, причем толстомясое лицо с бычьим подгрудком помолодело вдруг.— Случается, дамы его ласкают; попка-попочка, попка-душечка! — а он как за-

---

[1] Omnia mea<mecum porto> *(лат.)* — все мое при мне.

пустит,— господи, твоя воля! Сколько раз за него извиняться приходилось: люблю, мол, эту птицу, но-о... воспитана плохо, никак отучить не могу,— прошу простить.

И тут же он, пышущий только что закуренной папиросой, вдруг крякнул весело, подхватил сзади Кашнева за локти, как это делают с детьми, высоко поднял, грузно пробежал с ним несколько шагов, распахнул им же настежь двери и поставил на пол в той комнате, где гремел посудой Культяпый и неприлично ругался попугай.

Горела большая высокая лампа, от которой свет дробился весело на горлышках бутылок, рюмках и жестянках с консервами, которыми был уставлен стол; блестели листья большого фикуса в углу, и в просторной куполообразной клетке, головою вниз, висел белый какаду и трещал поперек по спицам крепким клювом, раздувая сердито хохол. На стене над большим диваном развешаны были ружья, шашки, револьверы.

III

— Милый мо-ой! — раскатисто гремел пристав, сидя с Кашневым за столом и накладывая ему на тарелку шпроты.— Вы себе представить не можете, какие все в общем мерзавцы, подлецы, негодяи,— представить не можете!.. Вор на воре! Мошенник на мошеннике! Подлец на подлеце! Факт, я вам говорю!.. Ведь отчего у нас столько преступлений? На каждом шагу убийства, разбои, какие-то цыганские шайки тоже... фигуряют!.. Что такое? Откуда, я вас спрошу? Простейшая история: общество у нас жулик на жулике, общество по-го-ловно все — подлейшего состава! Понятия о честности ни малейшего!.. У нас если не крадет кто,— просто случая подходящего ждет. Дайте ему смошенничать втихомолку, в укромном месте, отца родного продаст, только бы тот не узнал,— факт, я вам говорю! У нас арестантов ведут, а им бабы копейки суют: несчастненькие!.. Да он на своем веку дюжину таких баб, как ты, шкворнем ухлопал, дура чертова! Всепрощение? — это называется слюни пускать, а не всепрощение! Принципов нет! Круговая порука, нынче ты меня ограбил — ты в кандалах, завтра я кого ограблю — я в кандалах... От тюрьмы, от сумы не отказывайся... Разврат!— факт, я вам говорю! На каждого нищего как на первейшего мошенника нужно смотреть, а они у нас рассадники жалости, а-а?.. Какая у нас жалость, милый мо-ой! У нас жестокость нужна! Драко-

новы законы нужны!.. На полицию ты с уважением смотри, а не так!.. Полиция не с ветру!.. Ты общество копни, т-ты! Нутро копни, а не какой-нибудь ноготь, болван! Зерно возьми, раскуси, а не... а не так.. с чердака в лапоть... да-с!.. Ну-ка, холодно в Сибири, выпить надо! — и пристав, все время сверкавший очками, вдруг снял их, отчего лицо у него, как у всех близоруких, сразу потухло, стало наивным, сонным, расплывчатым, и взялся за рюмку.

— Пожалуй, одну я выпью,— сказал, улыбаясь, Кашнев.

— Одну? Как одну? Почему?.. Не пьете? Совсем не пьете? — удивился пристав.

— Нет, не приходилось как-то...

— Смотрите! Баран у нас вот так тоже не́ пил, не́ пил да издох. Ну-ка, мы! — и он потянулся чокаться.

Но когда приподнялся Кашнев ему навстречу, пристав увидел у него на груди маленький скромный значок, которого он почему-то не успел заметить раньше: синенький крестик в белом ромбе.

— Как? — онемело спросил Дерябин и прищурил глаза.

Руку с рюмкой он тоже отвел. Другой рукою нашарил очки, прикинул к глазам, пригляделся испуганно.

— Этто... что значит?

— Что вы? — не понял Кашнев.

— Так вы мельхиоровый? Из запаса?.. По случаю войны взяты?.. С воли? — с усилием спросил Дерябин.

— Да. Что из этого следует? — обиженно спросил Кашнев.

— Ничего,— нахмурился вдруг пристав и медленно,— лупоглазый, красногубый, с небольшими усами подковкой,— наклонил свою рюмку над пустою тарелкой и вылил водку. Потом он как-то тяжело ушел в мягкое кресло, на котором сидел, подперся рукою и закрыл глаза. Только слышно было, как густо дышал, раздувая широкие ноздри небольшого носа.

Попугай обругался вдруг в тишине. На стене напротив как-то серьезно молчали симметрично развешанные ружья, шашки, револьверы. Мертво блестел лист фикуса. Кашневу было неловко, и думал он, не пойти ли просто домой. Подумал о своих солдатах: должно быть, спали теперь в каземате на свежей соломе.

Вот открыл снова глаза Дерябин, мутно пригляделся, спросил немного хрипло:

— Вас... как зовут?

— Дмитрий Иванович,— с привычной готовностью ответил Кашнев.

— Митя? — неистово удивился Дерябин.— У меня ж брат был Митя, от тифа умер... Какой малый чудесный был! Митя! Выпьем на «ты»! — вдруг поднялся Дерябин.— А? — И почти безволосые, еле внятные брови нахмурил, наклонил голову, вобрал подбородок и исподлобья глядел на Кашнева ожидая.

— Как будто на «ты» нам пить...— запнулся Кашнев, улыбнулся конфузливо и покраснел, и, покрасневши, сам на себя обиделся вдруг; подумал: «Не все ли равно? — ведь никогда его больше не увижу...» И неожиданно для себя поднял рюмку и сказал:

— Что же, выпьем.

И потом сразу стало тесно, трудно, жарко: это могуче обнимал, тискал и целовал его в губы и щеки Дерябин. И, глядя на него влюбленными радостными глазами, тяжело, точно страдающий одышкой, говорил Дерябин:

— Митя, а? Митя!.. Ведь ты себе представить не можешь, какие все в общем мерзавцы, скоты!.. У тебя в казарме, там что? Ти-ши-на! «Никак нет», «ряды вздвой», «равнение направо»... А я здесь как черт в вареной смоле киплю! Свежего человека нет,— все подлецы! Факт, я вам говорю!.. Насчет новобранцев,— это я сочинил, что мне солдаты нужны, черт их дери... Ты уж — прошу простить, сочинил. Мне офицер был нужен. Со взводом, думаю, кого же пошлют? Субалтерна, молодого какого-нибудь, честного... Ты ведь честный, Митя, а? Даже спрашивать нечего, честный еще, по глазам вижу,— честный... Митя, а? Ну, выпьем! Нне так! Т-ты, гимназист! Крестнакрест. Руку давай сюда, вот! Гоп! — и Дерябин лихо поддал, как на каменку, свою рюмку, и поперхнулся водкою Кашнев.

Сказал пристав, усевшись:

— Это напрасно у меня такая фамилия — Дерябин; мне бы нужно Бессоновым быть: я вот третью ночь сегодня спать не буду. Вчера ночью с новобранцами возился, а третьего дня меня чуть было студент один не убил.

— Как? — спросил Кашнев.

— Как! Как убивают? — Вооруженное сопротивление. Арестовать нужно было, я к нему в два часа ночи с нарядом, а у него дверь на замок,— и пальба пачками. Сражение. Городовому одному ухо прострелил: так кусок и выхватил,— вот, с ноготь кусок... Как рвану я эту дверь,

да в комнату! Раз он в меня,— вот так пуля! Рраз,— вот это место мимо пуля... н-ну, руки ж дрожали, дрянь! Кинулся я — и его с ног сшиб и револьвер отнял,— честь честью!.. Вот револьвер — маузер.

И, говоря это, он подошел к стене и снял длинный, солидно сделанный новенький револьвер.

— Вот! Из него как из солдатской винтовки пали: никакого промаху и быть не может!.. Как он в меня не попал? Нет, ты скажи, черт его дери! Что я для него, муха?

И, держа маузер на прицел, он спросил:

— У тебя какой системы? Наган?

— У меня?.. Да у меня никакого нет,— почему-то неловко стало Кашневу.

— Газета на шнуре?.. Хочешь, подарю!.. Вот — наган. Система — наган, работа — Тула, бери. Бьет здоровенно, не смотри, что Тула... А маузер нельзя, к делу пришью... бери.

— Ну вот... Точно я купить не могу,— отвел Кашнев его руку с наганом.

— Отказался? Что? — удивился Дерябин. Он стоял с револьверами в обеих руках и обиженно смотрел на Кашнева воспаленными от бессонных ночей глазами.— Почему отказался?

— Зачем же такие подарки делать? — мягко говорил Кашнев.— И ты... (неловко вышло у него первое «ты») ты меня ведь в первый раз видишь...

— Так что? Не пойму?

— И, наконец, что это за револьвер такой, бог его знает!

— Та-ак! — горестно протянул пристав.— Так и запишем...

Но вдруг, закусив губы и дернув широкими ноздрями, он крикнул:

— Культяпый!.. Я тебе его сам в кобур положу! — погрозил он Кашневу наганом; и когда появился Культяпый, он закричал ему, вращая красными белками: — Найди там кобур их благородия и привяжи это к шнуру,— понял?

Культяпый бережно взял револьвер и выскользнул с ним проворно, как мышь.

— Митя! — крикнул Дерябин, восторженно глядя на Кашнева.— Митя! Братишка мой был Митя,— от тифа помер... дай, боже, царства небесного... Друг! — он положил тяжелые руки ему на плечи.— Ради дружбы, ради знакомства нашего — сними ты это! — и он гадливо

показал глазами на значок и передернул губами справа налево.

— Ну вот! Зачем это? — улыбнулся Кашнев.

— Не могу я этого видеть,— сними! Вынести этого не могу!.. И точно не офицер даже, а какой-то переодетый немец, черт его дери!.. Спрячь, Митя!

У огромного Дерябина стали вдруг умоляющие, немного капризные, детские глаза.

— Ведь тебе это ровно ничего не стоит, а мне... а меня это... по рукам-ногам вяжет, бесит! — страдальчески выкрикнул Дерябин и отвернулся.

Кашнев представил, как позапрошлой ночью в двух шагах в Дерябина стрелял студент, и понял что-то; пожал плечами и медленно отстегнул значок, повертел его в руках и положил в боковой карман.

— Друг! Митя! — заорал Дерябин.— У тебя ж сердце!.. Господи,— это ведь с первого взгляда видно!.. С одного взгляда!.. Со взгляда!..

И опять Кашневу стало тесно, трудно и жарко, и еще было ощущение такое, как будто кого-то он предал, но тут же прошло это. Было немного пьяно, перед глазами мутно. Скрипел и трещал спицами какаду.

IV

— Я — дворянин, милый мой! И горжусь своим дворянством, и своим офицерским чином, и своей службой в полиции! — клубился голос пристава, как дым кадильный.

Дерябин пил много и много ел, и теперь лицо его както начало отвисать книзу; и двойной подбородок, и толстая нижняя губа, и верхние веки, и короткие косички волос, прилипшие к потному лбу,— все как-то спустилось вниз.

— Я ведь тоже в гимназии был, а в университет не пошел... почему? — не хотел; пошел по военной службе. Что? Плохо я сделал? Не то?.. А я себя ломать не хотел, милый мо-ой! Любил скачки, охоту, песни, танцы, черт их дери,— женщин! Люблю женщин! Не одну какуюнибудь, а всех вообще... вот! Против натуры не хотел идти... В пограничной страже служил против Галиции на австрийской границе... А-ах, служба ж была занятная!.. Контрабандисты! Шельмы народ! Двутавровые волки! Ухачи!.. Из-за одного меня со службы турнули... Кутили мы там на фольварке у одного панка, польский мед пи-

ли, а тут взводный, дурак, мне: «Контрабандиста задержали, ваш-бродь,— что прикажете из им делать?..» Нет, ты вот рассуди,— не дурак? Что «из им» можно делать? Ну, отложи его куда-нибудь до утра, а то ночь, и мед этот чертов, и я пьян... «Повесить!» — говорю. «Слушаю»,— и ушел. Так минут через двадцать приходит,— а у нас пьянство своим чередом,— в притолку уперся: «Так точно, говорит, повесили...» Что? Кого повесили?.. Мы уж и думать забыли!.. Как смели?.. Идем смотреть с фонарем. Висит, действительно, факт! Какой-то, лет двадцати, глаза навыкат, зубы ощерены... Конец. Тты, черт! Преступление. Превышение власти. А уж утром тут из местечка родные этого прискакали... Что? Суда ждать?.. Я взял сам по начальству на себя донес. Сколько-то там дней,— от командующего войсками телеграмма! «Контрабандиста предать погребению, офицера увольнению, эпизод забвению». Я и подал в отставку.

— Этот анекдот я, кажется, слышал,— сказал Кашнев.

— Со мной случилось, а не анекдот! Факт, я вам говорю,— нахмурил безволосые брови пристав.— Но-о демократов,— этих я ненавижу!.. Своей службы в полиции не стыжусь, нет! А демократа,— я его знаю! Вполне-с!.. Он... корноухий (Дерябин хитро завернул пальцем правое ухо), у него что ни зуб, то щербина, оба глаза косят... хромой!.. ррвотой через день страдает... регулярно, черт его дери! Он когда из маузера в упор в стенку стреляет, и то норовит не попасть... факт! Нет, ты если с носовым платочком идешь, так платочек этот чтоб чистенький, беленький, чтоб кружевами обшит,— ты! Ты его духами спрысни, чтоб пахло!.. Ты, если слабость, так без наряда ты, черт тебя дери, на улицу и носу не суй, если ты слабость, а то живо тебе хвост грязными сапожищами отомнут. Ты не вопи на перекрестке,— ты! Ты, черт тебя дери, человеком будь!

— Что ты? Что ты? Дикарь ты! Не то! — махнул рукою Кашнев и улыбнулся длинно. Он никогда не пил много водки и теперь размяк, одряхлел, и появилось в нем что-то женское.

— Не то? — крикнул Дерябин.— Плохо я говорю? Окончательно не то или неокончательно? А?.. Милый мой! Ты себе представить не можешь, какая все в общем слякоть, дрянь! Ни тоски, ни радости,— так, дрянь одна!.. Ты вот... этого студента я... ты меня извини... примял немного... и не то чтобы я это... в пылу битвы,

а так,— уж очень мерзко стало: из такого револьвера не попасть в двух шагах... Что я? Копейка? — черт его дери! Суется в волки, а хвост поросячий!.. В меня один цыган-конокрад стрелял на скаку — кокарду сшиб! Волосок бы еще,— и мое вам почтение,— свистульку в череп!.. На скаку! Двух урядников калеками сделал, пока самого убили... факт! Прошлым летом было... Митя, ты не юрист? — перебил вдруг себя Дерябин.

— Юрист,— ответил Кашнев, все больше хмелея.

— Правда? Юриста, брат, сразу видно: у него вид легкомысленный!.. Это я шутя, прошу простить и к сердцу не принимать. А в хиромантию ты веришь?.. Мне, брат, одна немка мои линии читала (Дерябин вытянул над столом здоровенную ладонь)... где она тут какую-то линию жизни нашла?.. С перерывами, говорит,— но-о... длины страшной. Однако отправить, иде же несть болезнь, всегда могут, со всякой линией... А перерывы,— это вот именно — огнестрельные раны... факт... Митя, а ты женщинами увлекался? Не так, чтобы прохладно, для развлечения, а чтобы труба, утоп? Нет? По глазам вижу, что нет. Смотри, ладанка.

И быстро расстегнув тужурку, снял с себя Дерябин золотой медальон, щелкнул и открыл портрет какой-то молодой женщины.

— Командира нашего корпусного,— отдельного корпуса пограничной стражи безграничной кражи... Нашего,— а это десять лет назад дело было... Бал был... Я ее с бала увез! Понял, что это значит?.. За это и со службы долой.

— Давеча ты сказал, кажется...— начал было Кашнев, но не докончил и улыбнулся. С медальона смотрело конфеточное лицо в кудряшках, и он точно подумал о ней вслух! — Должно быть, располнела теперь, за десять лет, а лицо стало в желтых пятнах... Кудряшки мелкие, жесткие, зубы позеленели... почему-то иногда зеленеют спереди...

— Митька! — крикнул пристав. Стал перед ним и смотрел на него с каким-то ужасом и шипел сдавленно, наклоняясь: — Возьми назад!.. Сейчас же назад!.. Сейчас же возьми назад!..— Даже побледнел Дерябин, и жила на лбу надулась.

И сконфуженный, отрезвевший Кашнев пробормотал растерянно:

— Я пошутил. Сознаюсь — неловко. Прости.

А Дерябин, пряча медальон и застегивая пуговицы ту-

журки, все глядел на него недоумевающим, почти испуганным и жестким взглядом больших близоруких белесых глаз, и так неловко стало Кашневу, что он поднялся даже, стал близко к Дерябину, протянул ему руку и сказал запинаясь:

— Вижу, что обидел, очень обидел... Извини, голубчик! — и пожал крепко прочную руку Дерябина, поданную медленно, сдержанно и молчаливо.

А в это время в напряженной неловкой тишине комнаты вдруг резко и картаво неприлично выругался попугай.

V

— Митя, а ты против рожна прал? — спросил пристав, когда успокоился, выпил хинной водки и закусил заливным из судака.— Не понял, о чем говорю, или понял? — добавил он, заметив, что глаза у Кашнева далекие.

Но Кашнев понял.

— Случалось иногда, прал,— ответил он улыбнувшись.

— Но... не очень? До большого у тебя, видно, не доходило, нет?.. Иначе мы не имели бы удовольствия сидеть за одним столом... так? — прищурился пристав.

— До большого? Да нет.

— Не рисковал шкурой так, чтобы за други живот! Хвалю. Незачем. Прокурором со временем будешь... Россия — полицейское государство, если ты хочешь знать... А пристав — это позвоночный столб,— факт! Его только вынь, попробуй,— сразу кисель!.. Милый мо-ой! Что тебя красавчиком мать родила — в этом заслуги особой нет! Ты вот из урода процвети, тогда я к тебе приду и свечку тебе поставлю... А то полиция. Полиция работает, ночей не спит, только от полиции и порядок. Ты его в красный угол на почетное место, полицейского, а у нас он в том углу, где ночные горшки ставят... Ты вот у меня в гостях почему? Потому что ты не в гостях, а в наряде... а без этой оказии погнушаешься и не зайдешь — факт!

— Отчего не зайду? — спросил Кашнев потому только, что Дерябин смотрел на него в упор и ждал именно этого.

— А ты собственно зачем же зайдешь? — Дерябин не улыбнулся, когда добавил: — Если бумажник украдут, пожалуй, зайдешь... заявить.

— Нет, отчего же, именно в гости и зайду,— серьезно ответил Кашнев.

— Зачем же? Говорить тебе со мною... о чем? А угощение это не мое, мне ничего не стоит,— даром дано. Сказал — пришлите кулек,— прислали кулек. Сто зубов против них имею, и они это отлично знают! А вот почему они так не делают, чтобы я к ним ни одного зуба? Невыгодно. Подлец на подлеце! Мошенник на мошеннике... Не полиция — подлец, народ — подлец! Факт!.. Мне сослуживец мой, мой помощник, старше меня и чином и годами, старик, и души большой,— из исправников сместили за слабость... иногда говорит мне: «Ваня! От тебя в десяти шагах стоять,— и то жарко: до того ты горяч». А я потому для него и горяч, что сам он — зубами ляскает. Так человека запугали, что теперь с перепугу только и делает, что водку цедит. Держу, черт его дери, а пользы от него,— почеши затылок! Заберется с ногами куда-нибудь в поганый трактир и сидит, как пуля в дубу... Прямо как влюбленная баба стал! что ни начнет делать, двадцать раз прибежит спросить, так он сделал или не так сделал... Пошлешь его в ярок на пчельник, да сам сделаешь... И ведь случаев всяких — их тьма темная, а нужно всегда что? Нужно сразу и точно знать, что тебе сделать, сразу и точно... и всегда. И колебаний никаких, ни боже мой,— потому что власть!.. Понял? Что? Плохо я говорю? Не то?

— Хорошо говоришь,— сказал Кашнев.

— То-то... Как же он смел мне сказать: палач?

И, говоря это, Дерябин вскочил вдруг и закричал, поводя налитыми кровью глазами (глаза были влажные, и показалось Кашневу, точно красные слезы в них стояли).

— Да он знает, что такое палач! Ах, корноухий! Самое подлое слово, какое в человеческом языке есть,— каналья он!.. Ведь я по нем, по его дверям залп мог бы дать, а я на рожон полез, сам полез, чтобы он жив был,— стало быть, я не палач!.. Я!.. Я когда становым был,— мужицкие самовары за недоимки продавал,— да, продавал — овец, коров, самовары... Я с мошенников взятки беру — да, беру взятки — с воров, с мошенников!.. Да ведь всех воров и мошенников судить,— их у нас не пересудишь: вор на воре, мошенник на мошеннике... Все — воры! Всякий — вор! Честным у нас еще никто не умер,— чуда такого не было. Факт!.. Ты — честный? Ты пока еще

так себе, молочко... Еще не жил; поживи-ка,— украдешь. За час до смерти, если случая не было, последнюю портянку у денщика украдешь,— так и знай! Так с портянкой в головах и помрешь,— факт, я вам говорю!

Засмеялся Кашнев. Смотрел на ярого пристава с дрожащими губами и раздувшимся носом и не мог удержаться, смеялся по-детски.

— Ты... что? — тихо спросил Дерябин.

Но Кашнев смеялся, как смеются школьники, когда им запретил уже это учитель: отвернулся как-то набок и фыркнул.

— Нет, ты что? Ты пьян? — сказал недоуменно Дерябин.

И опять, как в первый раз, когда увидел пристава, Кашнев ощутил как-то остро всего себя, свое молодое, тонкое двадцатитрехлетнее тело, свои, пожалуй, бледные теперь овальные щеки, чистые, красивые глаза, немного узкий лоб, мягкие темные волосы. А смеялся он как-то так, даже и объяснить не мог бы почему. Просто, казался смешным пристав, и даже не совсем ясен был он: то расширялся весь — и нос и губы, то вытягивался и слоился.

— Нет, откуда же пьян? — нетвердо спросил он Дерябина.

— Ты больше не пей,— сказал Дерябин и отодвинул от него рюмки.

Кашнев огляделся кругом, увидел опять стену, всю увешанную оружием; неугомонного белого попугая, который все качался и грыз спицы клетки; пасти окон, закрытых ставнями снаружи; фикус с обвисшими листьями.

— Нет, я не пьян,— сказал он громко,— мне только смешно показалось, как это я портянку солдатскую украду!..

И вдруг он вспомнил, что с ним случилось сегодня утром, и показалось ему, что вот сейчас он должен сказать это Дерябину, сказать, что не только не украл ничего солдатского, а даже...

— Ваня,—сказал он ласково, чуть восторженно, и лицо у него загорелось.— Вот ты сейчас до солдатской портянки дошел, а ты и не знаешь...

Он положил руку на плечо Дерябина, удобно широкое, как конское седло, посмотрел в его все еще подозрительные белесые глаза и, вспоминая то, что случилось, почувствовал неловкость.

— Ты, должно быть, страшно силен, а? — неожиданно для себя застенчиво спросил он.

Дерябин кашлянул глухо, как-то одним ртом, покосился на него и сказал хрипло:

— Так себе... Пять пудов выжимаю.

— Здорово! — качнул головою Кашнев.

— Да. Вот,— буркнул Дерябин.— А тебе стыдно! В твои годы я понятия никакого об усталости не имел... Факт! Тебе на войну если,— не бойся, ни одна пуля не заденет. Японская пуля тонка, а ты еще тоньше... В России жить, дяденька,— ка-кой закал нужен! Ты... ты это помни! Выдержку нужно иметь!.. В Англии полиции — уважение и почет, а у нас — «пала-чи!» Пять пудов выжимаю, а кто это видит?.. Вот видишь знак? — Дерябин проворно спустил рукав тужурки и показал белый длинный широкий шрам.— Мерзавец, вор один — ножом сапожным; кровищи сколько вышло; зажило, как на собаке... Друг! Да, чтобы быть русским человеком, колоссальное здоровье для этого надо иметь... Факт, я вам говорю!

VI

В двенадцать часов пристав поднялся и сказал:

— Погуляем... Я им вчера поднес дулю с перцем, этим новобранцам драным, теперь они уж вряд ли... Но все-таки... Культяпый!

И, должно быть, уже дремавший где-то Культяпый прибежал, маленький, седенький, хмурый, и привычно помогал Дерябину одеваться.

Хорошая была ночь: безветренная, месячная, теплая. Приятно было, что дома тихие и небольшие и что от дома к дому идут невысокие заборы, теперь какие-то резиново-упругие на вид. А кое-где попадались старые белые хаты под камышом, и хороши были на палевых стенах синевато-черные резкие тени от нависших крыш.

Все шли медленно: и Дерябин с Кашневым и солдаты сзади. Под ногами был сырой песок и от нестройного шага многих ног земля чуть-чуть бунела. Пахло палыми листьями акаций, а деревья, голые, стояли сквозными рядами вдоль улицы, и тени от них были чернее, чем они сами.

Дерябин говорил вполголоса:

— Я им вчера показал, будут помнить!.. Сразу теперь не тот коленкор. Вчера мы их, как в капканы, мерзавцев, ловили... Ты, Митя, охоту любишь?

— Охотился когда-то... мало: местность была такая, что, кроме сорок, ничего.

— Вот я поохотился на своем веку,— гос-споди, спаси благочестивые! Люблю это дело. И вот на крупную рыбу тоже. Я ведь с Оки, сомятник! У нас сомы такие — гусей глотают. У меня, когда я еще мальчишкой, патрон был по рыбной ловле. Завьялов, чиновничек... пьянюга, старикашка черномор, сухонький этакий, маленький, черный, как жучок, глазастый, а жена — высокая дылда, смирнейшего звания баба, так он ее — так не достанет — с табурета по щекам лупил, факт! Пойдем с ним на зорю в ночь, как начнет возле костра рассказывать, черт его дери! Чего с ним только не было!.. Теперь-то понимаю, что врал, а тогда как опишет!.. «Сомы, говорит, какие теперь сомы! В два пуда поймают,— ох, сомина велик! А вот мы раз,— я еще в уездном учился,— так поймали в омуте сома — шишнадцать пудов одни зебры!» Тамбовец был, а у них, тамбовцев, шишнадцать кругом... И как его везли четверней и как народ шарахался — живо описывал... И ведь я ему, черномору, верил, черт его дери!..

Засмеялся Кашнев, и Дерябин захохотал насколько мог тихо.

— Сомы так на полпуда, они даже вкусные, если их жарить,— ты едал? А вот посмотри,— перебил себя Дерябин, направив руку куда-то над крышами домов,— или это у меня очки запотели,— видишь над трубами свет?

— Светится,— сказал, присмотревшись, Кашнев.

И не только над трубами: и над коньками, и на ребрах крыш, и на деревьях вдали колдовал лунный свет, все делал уверенно легким, убедительно призрачным. Должно быть, к утру готовился подняться туман, и потому так как-то особенно теперь все светилось.

Пристав шел легко. Форменная тонкая круглая шапка делала его, тучного, остроконечным, и у Кашнева появилась четкая строевая походка.

— Сам я — рязанец,— говорил Дерябин.— На Оку попал,— было мне лет десять тогда. Утро было и туман, а через Оку — на пароме нужно. Подъехали мы на тройке,— другого берега не видать. Ширина такая оказалась,—волосы поднялись. Море! Море я на картинках видел, и вот, значит, теперь Ока... море! Хожу по берегу колесом. Въехали на паром, честь честью... Не пойму ничего: куда едем, как едем... Спросил еще, сколько дней будем плыть? А мужичок такой один мне: «Минут де-

сять, минут десять...» Шут-ник!.. Скрип-скрип, скрип-скрип,— взяли да и ткнулись в берег. Берег, все как следует: кусты и песок, и кулики свистят! Ревел я тогда: обидели мальчишку! Думал, море, вышел — туман... Стой что это? Кричат или так?

Остановился пристав, и Кашнев, и солдаты.

Прислушались направо, налево,— нет, было тихо.

— То-то, родимые! Я знал, что уймутся, черт их дери! — сказал Дерябин, взяв под локоть Кашнева, и добавил: — Ну-ка, пойдем сюда, недалеко,— угостят нас вином бессарабским.

— Куда еще? Да и поздно,— остановился Кашнев.— А солдаты?

— Подождут. Эй, старший,— обернулся Дерябин.— Улицы обойти. Через час на этом месте, чтоб... Ма-арш!

Усиленно затопали и пропали за углом солдаты, а Дерябин перелез через какой-то полуразобранный тын, сильно захрустел раздавленным хворостом и скомандовал Кашневу:

— Гоп!

Потом пошли огородом, заросшим лопухами, потом были какие-то безлистые деревья,— кажется, груши, и около длинного, низкого, грязного — и луна не могла отмыть — дома остановились.

Дом спал. Наружные ставни были заперты болтами. Черепичная крыша с угла обилась,— чернели впадины.

Постучал в двери пристав, кашлянул во всю грудь.

В щели ставней мелькнули желтые полоски и тут же потухли, потом опять мелькнули кое-где и опять потухли.

— Отсырели у анафемы спички,— буркнул Дерябин.

Женский голос робко спросил за дверью:

— Кто это?

— Я! — крикнул в нос пристав.

Женский голос визгнул протяжно.

— Ну, завизжала! — Дерябин нагнулся к двери и недовольно проговорил отчетливо: — Мадам Пильмейстер, не пугайтесь,— это я, пристав.

— Нехорошо... Спали люди, а мы булгачим,— сказал было Кашнев, но тут же поспешно отворилась дверь, и женский голос был уже преувеличенно радостный, когда кричал кому-то внутри дома:

— Роза! Мотя! Не бойтесь, пожалуйста,— это сам наш господин пристав!.. Ведь я же знала, честное слово, знала, господин пристав, чтобы мне на свете не жить, знала, что вы придете!

VII

В таинственной, довольно большой, но низкой комнате, освещенной дешевой лампой под красным бумажным колпаком, было тесно глазам от диванов, мягких кресел, цветных гардин, тяжелых скатертей на столах и ковров под столами. Но вся эта мягкота была старенькая, грязноватая, разномастная; подлокотники кресел и диванов лоснились, скатерти были закапаны и залатаны, ковры вытерты, и ото всего кругом — казалось, даже и от сырых стен и из-под пола — шел густой, тяжелый, мочальный запах. На стенах висели какие-то картинки в узеньких рамках,— казалось, и они пахли чем-то противным. Из этой комнаты куда-то в темные недра дома вело трое неряшливо закрашенных охрой дверей, и чуть приотворены были их половинки. Представлялось Кашневу, что там были еще какие-то люди, такие же таинственные, какими были в его глазах Роза, Мотя и старая толстая еврейка, впустившая их с Дерябиным, и не мог он понять, зачем зашел сюда Дерябин.

Понимал смутно, когда глядел на Розу, рядом с которой сидел пристав. Лампа стояла на столе перед ними двумя, и от красного колпака горели в больших зрачках Розы пурпуровые точки. Одета она была в какой-то яркожелтый капот, с вырезными рукавами, обшитыми кружевом. Кое-как наспех подоткнуты были темные волосы, и вся на виду была длинная шея, и чуть выступали бугорки ключиц. От колпака, должно быть, щеки ее казались нежными, розовыми, очень молодыми и губы яркими. И, наклоняясь к ней со стаканом красного вина в огромной руке, говорил Дерябин:

— Ну-ка, скажи скороговоркой: шел грек через ре́ку, видит — в реке рак; грек руку в ре́ку, рак в руку греку: вот тебе, грек,— не ходи через реку... Ну, сразу, гоп!

— Грек... Грек через рек... Ой, боже ж мой! — всплескивала Роза обнаженными до плеч руками.— Я не могу!

И смотрела на Дерябина, подперев щеку, улыбаясь сдержанно лукаво; в длинных черных ресницах прятались что-то знающие глаза.

Пристав разделся и был в тужурке, но не снимал шинели Кашнев. Думалось, почему Дерябин здесь, как у себя дома, почему он сам до сих пор не ушел, а сидит и смотрит и слушает, и еще — когда глядел на старуху с большим носом, отвисшими щеками и льстивым взглядом — обидно было за человека и жаль его. Но старуха

хлопотала около него добродушно и настойчиво, подставляла вино, яблоки, орехи.

— Випейте вина-а! Не хотите нашего вина выпить? Пи-или? И никогда нельзя поверить, что вы что-то там такое пили... Такой молодой, и уж офицер!.. Ну, может, вы бы яблочка съели, а-а?

И Кашнев, чтобы не обидеть ее, старательно чистил ножом и медленно жевал антоновку, твердую и кислую.

— Люблю женщин! — гремел тем временем Дерябин.— Не какую-нибудь одну, а всех вообще!..— Он обнимал Розу близкими глазами, чуть прищурясь, улыбаясь, как улыбаются детворе.— Митя! Правда, она — на черкешенку? Есть сходство? Не замечаешь? Факт. Мадам Пильмейстер, признайтесь,— вы ведь тогда на Кавказе жили? Не то чтобы вы добровольно, а он вам башка кынжалом хотэл рэзать,— факт!.. Эх, народ бравый! Красавцы! Ингуши у меня под командой были — полсотни, шашку мне подарили с надписью: «Любимому начальнику»... Я тебе не показывал, Митя? Цены нет — шашка!.. Перевертели девицам головы,— как воробьям! Шесть гимназисток с собой увезли в аулы... по соглашению, не то что силой. Отцы-матери бурю подняли, всю полицию на ноги подняли, а те домой идти не хотят: привыкли,— факт.

Мотя, брат Розы, должно быть не старый еще годами, но очень старый и скорбный лицом, сидел в углу один, глубоко упер в пристава чахоточные глаза, молчал, покашливал глухо. Иногда он хрустел пальцами, перебирая их по очереди все на правой руке и все на левой; проверял, все ли хрустят,— все хрустели.

— За неимением гербовой пишем на простой,— так, Митя? — кричал Кашневу пристав.— Но-о... костюм черкесский я тебе привезу, Роза,— факт! Тюбетейку с жемчугами, черкеску с патронами, папаху белую, а?.. Красные сапожки, черт их дери, и кинжал за пояс, честь честью! А на сапожках каблучки вот какие — четверть! Ну-ка, встань! Ровно на голову будешь выше, дюша мой!.. Розочка, выпей вина!.. Не хочешь? Этто что значит? Как не хочешь? Сейчас выпить! Ах ты... тварь!

И Дерябин, сопя и кряхтя, захватив правой рукою как-то всю целиком желтую Розу, запрокинув ей голову, старался заставить ее выпить, но мотала головой хохочущая и визжащая Роза, отбивала стакан сжатыми зубами, обливала вином тужурку пристава, и скатерть,

и свое канареечное платье, и испуганно всплескивала руками мадам Пильмейстер:

— Роза, Роза! Что ты себе позволяешь такое, Роза! Это ж вино! Это ж не отмоется, Роза!

Кашневу виден был весь тонкий профиль Розы: с горбинкой нос, острый девичий подбородок, не то обиженный, не то лукавый глаз, полуприкрытый ресницами, и неровный блеск на отброшенных назад волосах.

Странно: небольшая, тонкая, гибкая, рядом с огромным приставом она казалась Кашневу древней, а Дерябин вдруг каким-то недавно родившимся, до того молодым, и даже вид у него теперь был растерянный, детский: что-то дрожало мелко около губ.

И в недоразлитый еще стакан пристав осторожно бросил новенький золотой, просительно посмотрел ей в глаза и сказал тихо:

— Выпей, Роза.

— Нет! — закачала головой Роза.

Еще золотой бросил пристав в вино:

— А теперь, Роза?

— Нет! — и раздулись ноздри.

— Что она думает такое! — визгливо крикнула мадам Пильмейстер.— Девчонка!

Она подступила было к столу, но тут же отодвинулась снова, отброшенная упругими, большими яркими глазами Розы. И когда Кашнев поймал этот гордый и тоже древний взгляд, в нем самом как-то шире стало и беспокойней.

Мотя на своем стуле задвигался и закашлял; он изогнул винтом и длинную шею и все сухое тело, чтобы лучше видеть, и от волнения кашлял глухо.

Еще бросил в стакан золотой и улыбнулся вопросительно углами губ Дерябин, и так же отрицательно улыбнулась углами губ Роза. Тогда медленно из кармана тужурки достал он небольшую коробочку, надавил кнопку, отскочила крышка, блеснули синими искрами камней золотые серьги. И так же медленно, точно сам любуясь ими, опустил в стакан Дерябин сначала одну серьгу, потом другую. Смотрел на серьги, на вино, на Розу, и какая-то непонятная борьба шла между ними: хотя все по-прежнему была захвачена огромной рукою пристава Роза, впилась в него широким взглядом, видно было, как трудно дышала.

А за окнами ночь была. Горели пятна красного абажура и желтого платья Розы, у мадам Пильмейстер отя-

желели и нос, и щеки, и толстые груди, и живот, и концы теплого платка, который накинула на плечи впопыхах, когда отворяла двери; и Мотя кашлял. Сначала закашлявши от волнения, он теперь кашлял затяжно, самозабвенно, согнувшись и приложив обе руки к чахоточной груди. И это среди тишины, когда колдовали древняя Роза с Дерябиным и когда Дерябину — так Кашнев подумал — дороже всего была именно тишина.

— Т-ты! — сдержанно крикнул на Мотю пристав, чуть повернув голову.

Кашлял Мотя, не мог остановиться.

— Во-он! Вон пошел! — побагровев, заревел пристав.— Во-он, ты... овца! Убью!

Что-то было разорвано,— тонкое какое-то кружево. С маху отодвинув в сторону Розу, схватил правой рукою стакан Дерябин. Закричала что-то мадам Пильмейстер, бросаясь к Моте. Вскочил Мотя и, все еще кашляя глухо, кинулся в темную половинку дверей, но вдогонку ему швырнул стаканом Дерябин. Через голову Моти перелетел стакан: где-то в темноте другой комнаты засверкали тонко стеклянные брызги; потом еще что-то глухо упало на пол и покатилось, должно быть медный подсвечник.

Поднялся Кашнев, подошел к Дерябину, спросил тихо, дотронувшись до его локтя:

— Ваня, ты пьян?

— И чтобы к чертовой матери он ушел с кашлем, поганый харкун!.. И двери закрыть!..— кричал, не глядя на Кашнева, пристав.— Убью, если увижу!

Лицо стало твердое, сжатое, ястребиное, и у мадам Пильмейстер, навалившейся спиною на закрытую дверь, за которой скрылся Мотя, сами собою испуганно поднялись жирные руки.

— Господин пристав! Ну ведь он же больной! — беззвучно шептали губы мадам Пильмейстер.

— Он — больной, да! — резко повторила Роза.

Повернул к ней голову пристав, и долго они смотрели друг другу в жаркие глаза, как враги.

— Ваня, пойдем-ка отсюда, ты пьян! — с серьезной и несколько брезгливой нотой в голосе,— нечаянно такой же брезгливой, как у Дерябина,— требовательно сказал Кашнев.

Сдержанно, длинно сопя, пристав переводил круглые глаза с одного на другого из этих трех. Мотя все еще

кашлял придушенно — должно быть, в подушку... А за окнами была тихая ночь.

— Митя, ты черкесских песен не знаешь? — спросил неожиданно Дерябин.

— Нет,— недовольно ответил Кашнев,— не знаю.

— Ни одной? И мотива не знаешь?.. А меня ингуши... то есть они не учили, я сам перенял... у меня ж слух!.. Слова, может, и перевру... вот!

И Дерябин тут же, медленно сгибая спину, сел за стол, весь освещенный лампой, сделал странное, задумчивое лицо, старое, ушедшее вглубь, выкатил белки, полусжал зубы и запел узким птичьим горлом, как поют на востоке. Звуки были высокие, длинные, с перехватами, с дрожью, и слова какие-то закругленные, вроде: «Саля-я-им баль--я-им, якши-и...»

Было странно Кашневу видеть, что вот нет уже прежнего молодого пристава. Теперь он сам древний рядом с древней Розой. Медленно вращает большими красными белками близоруких глаз, а возле губ откуда-то выползли и легли восточные скорбные складки, и дряхло качается голова, точно поспевая за уходящими куда-то звуками — вправо, влево, вверх. То сожаление о чем-то, что никогда не придет больше, то испуг перед чем-то, чего не поборешь, что всегда сильнее, и тоска — такая холодная тоска, будто все тело не тело, а узкий погреб, и его медленно набивают зеленым февральским льдом.

Сухие картинки смотрели со стен, как вдовы в салопах, и у разномастной мебели был воровской распутный чужой вид, точно натащили ее сюда ночами из каких-то темных притонов, и у красного бумажного колпака было что-то наглое в цвете и в том, как он сидел набекрень на лампе; но шла тоска из широкоплечего дюжего тела Дерябина, старая, от древнейших времен по наследству доставшаяся тоска, и заволакивала и картинки, и мебель, и абажур, и самого пристава в его форменной тужурке, и страшное в старом безобразии лицо мадам Пильмейстер, и яркое в молодой непримиримости лицо желтой Розы.

Может быть, были и не те слова, как они долетали до слуха Кашнева, и неизвестно было, что они значили — эти слова, но захлестывали, как крепкие веревки — не разорвешь, и уходила комната, и глаза у Дерябина были далеки и влажны, ушли в старинное...

А за окнами была ночь.

— Ну, гоп! Не хочу больше!.. Аристон, Роза! Заведи аристон, танцевать будем! — перебил себя на полутоне Дерябин.— Гоп!

Снова запахло домом, антоновкой, табачным дымом... И, удивленный, увидел Кашнев, как легко, по-птичьи, послушно подскочила к аристону Роза и преувеличенно шумно и суетливо принялась крутить ручку.

Танцевали. Звуки аристона были хриповатые, и с какими-то зацепами, остановками некстати, и с жеманностью, и недовольным рычанием, точно не машина, а кто-то живой.

Пузатые кресла и столы разметал пристав, чтобы было просторней, и тяжелый, тучный рядом с тоненькой Розой, танцевал неожиданно легко и красиво. Аристон играл какую-то старенькую польку, и сам был старенький, и все звуки, жившие в нем, тоже полиняли от времени и беззубо шепелявили, а пристав и Роза были молодые, и побежденно жалась к нему она, еще такая недавно сонная, так недавно лукавая, так недавно гордая, и древняя, и гневная; жалась доверчиво, забывчиво, отданно; смотрела на него снизу, а глаза были застенчивые, пунцовые.

И когда оборвал вдруг аристон на низком жужжащем звуке, Дерябин тоже оборвал было танец, бегло посмотрел на аристон, на Кашнева, на старуху и опять с места взял тот же темп, сделал еще один лишний, ненужный тур до дверей с раскрытой половинкой,— не тех, за которыми кашлял Мотя,— других, протискался в них, пропустив вперед Розу, и захлопнул с законченным стуком податливое дерево, неряшливо окрашенное охрой.

И здесь, в большой комнате, стало тихо и пусто. Недавно хмельной Кашнев стоял теперь отрезвленно ясный, а против него, близко к красной лампе, стояла старуха. Там была вся, за дверями, но стояла здесь, с низким старым лбом, обвисшими щеками, добродушно толстая, в теплом платке и, пугливо растерянно глядя на Кашнева, улыбаясь даже, говорила громко, громче, чем нужно было для двоих в пустой комнате.

— Такие молодые, и уж офицер! Ну, скажите! И вы, должно быть, даже приезжий, а то бы я знала... Мы давно тут живем, я тут всех-всех знаю... Ну, может, кого и не знаю... Роза тут родилась даже... Господин пристав — он вспыльчивый, а он человек добрый, я даже это хорошо знаю...

И так как в это время из комнаты налево донесся вдруг придушенный визг Розы, старуха как-то вскину-

лась вся и заговорила спеша, тоже визгливо, крикливо, сбивчиво:

— Даже мужа, Арона, обещали господин пристав из тюремного замка отпустить, как он же не подделывал векселя, пусть так мне на свете жить — и у нас на это свидетели есть... Это ж известное дело всем, что его запутали...

И так как в это время из комнаты справа послышалось,— кашлял Мотя, то вскинулась снова мадам Пильмейстер, и теплый платок спустился с плеча и трепался на полу концами.

— А Мотя,— он даже и не здесь живет,— он в Гайсине, в городе Гайсине, в Подольской губернии. А здесь он... ну, вы понимаете же,— он больной! Как он может содержать шесть детей? Он может работать? Он же в постели лежит!.. А она, мерзавка... Он же был женат, хорошо,— жена умерла чахоткой, две крошки остались,— их нужно одевать, кормить... А она, мерзавка: «Ты на мне женишься, я им буду мать, а что три у меня своих, они уж большие и на разных отцов расписаны... Когда в субботу придут,— что они тебе помешают?» Как в субботу они пришли трое, так и остались... Да еще есть шестое про между ними... А что Яша из запасных солдат убежал, то я ведь этого не знаю, может, он уже где...

— Я вот что... Я выйду на улицу,— запинаясь, сказал Кашнев.— У меня там солдаты и вообще... надо посмотреть... А пристав нас найдет, когда выйдет... вы ему передайте... Прощайте.

На лунном свету переливисто блестели безлистые свежие деревья, дальше в огороде четко чернели кочерыжки, и пахло теплою прелью, тихой сыростью, ноябрем. Забор в стороне был дощатый, старый, и серебрились щетинкою гвозди в верхней доске... «Ну его к черту, этого пристава, и все... Я возьму солдат и уйду»,— подумал решенно Кашнев. И пока шел злыми, слитыми с землей шагами, то так и думал все: «Возьму солдат и уйду». Зло захрустел хворостом тына, упруго вышел на улицу, огляделся,— не было солдат. Только теперь услышал, как много было собак кругом,— близких, дальних, совсем далеких: их лаем кишела ночь.

Кашнев прошел было по улице вглубь, потом вернулся; с перекрестка услышал тихие голоса в переулке: мирно ожидали солдаты, рассевшись на широкой завалине мазанки и на кривых тумбах.

— Ну что, никого? Тихо? — спросил он и, не дожидаясь, что ответит старший, добавил зло: — Пристав этот!.. Беспокоит попусту, черт его дери!.. Тоже наряд придумал, болван!.. Домой идем! Стройся!

Построились. Вздвоили ряды.

Была досада на пристава, но — откуда это? — бок о бок с нею такое странное любопытство к нему: что он теперь?

— Митя-я... Гоп-гоп! — зычно закричал в это время из глубины переулка Дерябин.— Гоп-го-оп!

Кашнев тронулся было идти с солдатами, но шагов через пять нерешительно остановился и солдатам недовольно вполголоса скомандовал: стой! А когда подходил пристав, сказал ему, покачав головою:

— Какой же ты, однако, удав!.. Какой удав!

VIII

И опять, как прежде, шли по улице Кашнев с Дерябиным и солдаты. Луна заходила, стало темнее, ближе к рассвету. Штыков сзади не было видно,— не блестели. Шаги тупо уходили прямо в землю.

— Вот... Человек себя жалеть не должен,— говорил медленно, точно сам с собою, Дерябин.— А раз только начал жалеть,— значит, шабаш, крышка! Не сейчас, так в скором времени ему крышка, аминь. Человек себя чует,— факт!... Человек веселый,— да ему, куда ни шагай, везде — наше нижайшее, а заскучал, значит, рыбий крючок проглотил. Так?

— Ты к чему это? — спросил Кашнев, и так как ярким желтым извилистым пятном заколыхалось перед ним вдруг платье Розы, то он добавил: — У тебя что с ними, с Розой? Извини, что спросил.

Дерябин посмотрел на него, задержав шаг, чмыкнул и ответил спокойно:

— Э-э, есть о чем говорить!

И тут же, точно внезапно вспомнив вдруг, начал он рассказывать длинный еврейский анекдот. Потом, пока шли от дома Пильмейстер по улице, рассказал еще четыре анекдота еврейских, два армянских и один малороссийский.

Ой да на-а-ле-тілы гу-уси
З дале-ка-а-аго краю-ю...

Откуда-то издали это медленно воровато прокралось в ночь. Голос был молодой, высокий, покрывал собою гармонику, но проступала под ним и гармоника, как под

тонким зеленым листом проступает на солнце схоронившийся с тылу жук. Ожила и осмыслилась ночь и собралась вся в кулачок к тому месту, где пели.

— Есть! — довольно и значительно сказал, остановившись, пристав. Отстегнул пуговицы у ворота тужурки. Поднял руку,— остановил солдат. И странно было, но Кашневу почему-то показалось это тоже каким-то желанным, как желанна бывает охотнику случайно налетевшая дичь.

И как раз еще о гусях пел высокий полумальчишеский голос:

Ой да за-му-ты-лы во-о-оду
В ти-хо-му Дунаю.

И еще два голоса пристали к нему: один озорной, шалопайский, с подвываньем не в тон, другой добросовестный, старательный, только несмелый, грубый и сильный:

А бода-ай ті-іи гуси-и-и
З гильечко-ом пропалы...

— Эх, не доносит, подлец! — вполголоса выругался пристав.

Впереди, на пути у тех, кто пел, стоял водопроводный бассейн. Шикнув и согнувшись в полупрозрачной ночи, протащил Дерябин за собою гуськом, как выводок, Кашнева и солдат к этому бассейну. Грязно здесь было, топко, как в болоте, конюшней пахло, и солдаты присели на корточки, подобрав шинели. Вместе с песней вспыхивал все ближе, ближе собачий лай.

Видно их стало: шли трое, гармонист в середине. О гусях пропели уж все до конца, но не хотелось, должно быть, расстаться с напетым мотивом. Тихо, чтобы разлиться потом вовсю, начал средний снова:

Ой да на-а-ле-ті-лы гу-у-си-и
З да-ле-ка-а-го краю...

И лихо подхватили двое других, равняясь с бассейном:

Ой да за-му-ты-лы во-о-о...

— Держи их! — бросился наперерез пристав.

Кашнева точно подбросило за ним. Торопливо шлепая по грязи, вперебой, табуном отовсюду, как в атаку, кинулись солдаты... Певуны ахнули, отшатнулись, стали.

Пожалуй, незачем было Дерябину расстегивать верхние пуговицы тужурки: парни были квелый, хлипкий народ. Бил их пристав со всего размаха,— с правши и с левши. Двое упали сразу, третий, с гармоникой, еще держался, но со второго удара сбил с ног и его Дерябин. Куча сваленных парней барахталась в сыром песке. Чуть поднялся парень с гармоникой...

— Господин пристав! Это... за что же бьетесь?

— Мало тебе? Додать?

Пнул его сапогом в бок Дерябин, застонал парень.

— Будет вам, что вы! — взял пристава за руку Кашнев.— Зачем?

— Как? — озадачился пристав.— Мерзавцы, воры — по ночам орать!..

— Да ведь новобранцы... как же воры? — ответил Кашнев.

— Мы и вовсе не новобранцы,— плачущим голосом вставил кто-то из кучи.— Так мы, ребята здешние.

— Значит, и воры! Еще лучше... Да здесь же все воры, скот!

— А вы нас ловили? Воры...— поднялся было парень с гармоникой.

— Что так-кое?

— Вы нас не ловили,— по-пьяному упрямо повторил парень.

— Тты? Как смеешь? — изумленно и потому как-то тихо даже спросил пристав.— Как смеешь? Смеешь как?..

И Кашнев не мог его удержать.

IX

Привели в часть и заперли избитых парней в каземате. Солдаты ушли в казарму. Кашнев остался у пристава, где Культяпый постелил ему постель.

Долго сидел на этой постели Кашнев, молча глядел на Дерябина, который, сопя, читал и подписывал у стола какие-то бумаги, пил квас из графина, дымно курил.

Но вот пристав снял тужурку, остался в одной крупно вышитой на груди рубахе, подошел к иконе, около которой горела лампада, грузно стал на колени и начал отчетливо, громко читать молитву ко сну отходящих:

— «Боже вечный и царю всякого создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очи-

сти, господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа...»

Читал долго, потом прочитал еще две длинные молитвы, поклонился земно и встал с колен. А в это время разделся Кашнев, потянулся устало и лег.

— Ты что же это? Немолякой? — покосился на него Дерябин.

— Да... отвык... давно не молился,— просто ответил Кашнев.

— Ты — человек ученый, юрист... тебе это, конечно, стыдно...— медленно проговорил Дерябин, кашлянул, посопел и добавил: — А я — молюсь, прошу простить... Я, брат, ничего в жизни не понимаю и потому молюсь.

Он покопался в столе, шумно выдвинул ящик и достал фотографию; доставал как-то медленно, ощупью, и держал отвернувшись, поднося ее Кашневу.

— Вот видишь... присмотрись хорошенько: мой сын Юра, девяти лет! Присмотрись!

— Красивый мальчик,— сказал Кашнев, искренне любуясь мальчиком — большеглазым, пухлогубым, с челкой, в суконной матроске.

— Умница был! Рисовал как! Всмотрись внимательно,— я еще не могу... Шесть недель назад от дифтерита умер: не могу смотреть... Он не при мне жил, то есть не моя фамилия, и прочее, но-о... только он мой был, настоящий... моей крови... Вот и спроси его, зачем умер.

Пристав стал у окна, побарабанил пальцем, потом, сопя, взял у Кашнева фотографию и, не глядя, спрятал в стол. Посвистал глухо и вдруг опять начал надевать тужурку отчетливо и решенно.

— Куда? — спросил Кашнев.

— Куда? Куда надо, куда надо, да, куда надо! — скороговоркой ответил Дерябин; потянулся, оглядел правую руку, и Кашнев только теперь заметил на ней три массивных золотых перстня, должно быть таких же жестоких при бое, как кастет.

— Ты... в каземат? — спросил он несмело.

— Я их прощупаю, какие они такие ребята, здешние,— раскатистым голосом ответил Дерябин, прикачнув головой.

— И охота!.. Ложись-ка спать,— поднял голову на локоть Кашнев.

— Я их прощупаю, здешних ребят! — повторил пристав в нос и с тою же металлической брезгливостью в голосе, какая была у него раньше.

Кашнев медленно сел на постели.

— Знаешь ли, что я тебе скажу, Ваня,— проговорил он решительно, но добавил как-то не в тон:— Ты ведь шутишь, что идешь в каземат?

— Как-к шучу? Зачем шучу? — зло удивился Дерябин.

Кашнев представил измятую солому на полу каземата и как на соломе валяются парни... и толстые перстни пристава... желтые перстни, желтая солома, желтое платье Розы,— мутно было в голове... И с усилием поднялся Кашнев, забывши уже, что он — прапорщик, и так, как лежал в постели, в одном белье подошел к приставу, улыбнулся ему и просительно сказал:

— Ваня, если ты идешь избивать до полусмерти этих — арестованных, то... объясни мне, зачем ты это?

— Воров? — спросил Дерябин.

— Какие там воры!

— Постой!.. Объяснить?.. Постойте-е! — отступив на полшага, высокомерно сказал пристав.— Вы — дворянин?

— Да, дворянин! — опешив немного, твердо ответил Кашнев, хотя был он сыном мелкого чиновника.

— Дворянин? Шестой книги? Руку! — и чопорно пожал руку Кашнева Дерябин; потом, насупившись и отвернувшись вполоборота от Кашнева, он заговорил медленно, глухо, обиженно, обдуманно, выкладывал затаенное: — Так как же вы мне... на улице... при исполнении мною обязанностей служебных... говорите под руку? Не замечание, конечно, но-о... вообще суетесь?.. Так что воры вас за полицмейстера принимают, а? Кто же и может вмешиваться в мое дело? Полицмейстер, губернатор... вы собственно кто?

Кашнев посмотрел удивленно на новое, теперь расплывшееся, потное, с прищуренными глазами, ожидающее лицо пристава и сказал первое, что пришло в голову:

— Вот что... сейчас я оденусь!

И пошел к постели.

— Одеваться, этого я от вас не требую! — крикнул Дерябин.

— Ничего вы не можете от меня требовать! — крикнул, вдруг раздражаясь, Кашнев.

— Ничего? А по форме представиться извольте, ничего! Бумагу о назначении вручите! Приказание командира вашего эшелона...— Ничего?!. А то я не знаю, с кем

это я имею удовольствие в одной комнате, собственно говоря! Насколько это безопасно для меня лично!

Кашнев промолчал. Хотелось одеться скорее. Руки дрожали. Он даже как-то и не обиделся, точно давно ожидал этого от пристава, но как в глубокие окопы, как под кованый щит хотелось стать ему под защиту мундира, новеньких офицерских погонов, кушака, строевых сапог... или просто хотелось только этого: чтобы не было Кашнева, Мити Кашнева, которому белье метила крупными метками сестра Нина, когда он был еще студентом последнего курса,— чтобы был Кашнев прапорщик, офицер такого-то полка и тоже при исполнении обязанностей, как и пристав.

Кровь шумно раз за разом била в виски, и это слышно было сразу во всем теле, как короткое односложное слово: «Хам!.. хам!.. хам!..» Но одевался Кашнев молча, стараясь не делать лишних движений и не слушать, как сопел, точно мехи раздувал, Дерябин. И когда надел он наспех шашку, портупеей поверх погона, он уверенно сунул руку в боковой карман, так как ясно вспомнил вдруг, что именно сюда положил бумажку, и так, с бумажкой, сложенной вчетверо,— как раз пришелся сгиб на синей эшелонной печати,— Кашнев подошел к Дерябину и сказал вызывающе:

— Вот. Извольте!

Пристав стоял, грузно уперев левую руку в угол стола, правую заложив большим пальцем за белую пуговицу тужурки, наклонив голову по-бычьи, настолько низко, насколько позволил прочный подгрудок, и выпуклыми мутными глазами смотрел на него исподлобья.

Бумажку он взял, протянул к ней четыре свободных пальца правой руки, но не поглядел на нее,— глядел в глаза Кашневу, не мигая, по-прежнему мерно сопя.

— Я вас прошу прочитать ее при мне! Не угодно ли прочитать, а не прятать! — подбросил голову Кашнев, а голосом сказал не особенно громким, только подсушил каждое слово,— казенными сделал слова.

— Про-ку-рор будущий! — нараспев проговорил Дерябин, улыбнувшись глазами, а губы тут же он забрал в рот, чтобы не улыбнуться широко и полно, чтобы не засмеяться; от этого все лицо стало лукавым.

Как раз в это время закричал попугай в столовой. Его разбудили светом и голосами, и теперь он сердито трещал спицами, кричал и ругался, как выживший из ума злой старикашка.

А Кашнев прощупал в кармане колючий значок и медленно, нарочно медленно, приладил его на груди и закрепил кнопкой.

— Командиру эшелона я подам рапорт... подробный рапорт,— сказал он опять служебно четко; и так как Дерябин смотрел на него так же, как и смотрел, зажавши губы, улыбаясь глазами и не говоря ни слова, то Кашнев повернулся и пошел в столовую, куда падал через двери свет полосой, по этой полосе прошел в третью комнату, пустую и темную: нужно было найти шинель и фуражку, одеться и уйти, но никого не было в комнате.

— Культяпый! — крикнул Кашнев, невольно с таким же тембром голоса, как у пристава, и вдруг услышал: сзади раскатисто хохотал Дерябин. Даже как-то жутко стало от этого хохота.

— Митя! Прокурор! — кричал пристав.— Вот роль я как выдержал! Хорошо? — и заколыхалась сзади его сырая фигура, приволокла с собою кощунство, трущобу.

— Нет уж, будет! Ради бога, увольте! Довольно!

Кашнев так был смущен этим новым изгибом пристава, что ничего не мог сказать больше,— только нижняя челюсть дрожала.

Культяпый высунул седую голову, прокатившись неслышно по полу,— неодетый, в одной рубашке, босой, маленький, весь собранный в белый комочек, похожий на какаду; догадался, что нужно, скрылся и тут же вытащил откуда-то фуражку и шинель; неслышно стоял с ними старенький, мигая глазами.

— Митя? Зачем? — умоляющим голосом сказал вдруг Дерябин, тихо взяв Кашнева за плечи.— С постели тебя поднял,— это глупо вышло... Очень глупо, и в том каюсь, прошу простить!.. Может быть, водочки выпьем, а? Да не одевайся же, брось! Что ты? На черта мне было в каземат? Да это ж я в конюшню хотел,— лошадь там больная,— посмотреть и только... факт! Ничего больше.

И, говоря это, он сжимал Кашнева все теснее — мягко, плотно и жарко, и, должно быть, мотнул головою Культяпому или просто посмотрел на него выразительно: ушел куда-то Культяпый с шинелью.

— Нет уж, будет! И нечего мне ерунду эту... Я не мальчик! — старался как можно злее и резче выкрикнуть Кашнев, но странно,— не вышло.

— Митя! У тебя ж душа! — восторженно кричал Дерябин, поворачивая его незаметно опять к столу, с кото-

рого не прибраны были еще бутылки и консервы.— Вот вишневый ликер, не хочешь? Даже и кофе можно сварить, я сам сварю... Но чтобы не отличить шутку от сурьеза — простой шутки армейской.— Митя, как же ты так? Ведь сам служишь в армии!.. Я тебе спать не дал, но-о... ты ведь выспишься дома,— ты молодой, что тебе? Я вот сам третью ночь не сплю... Бессонов!.. Митя! Если б ты знал, как мне моя служба опротивела! Ах, черт же ее дери, если бы ты знал только!

Он насильно посадил Кашнева в мягкое кресло перед столом, сам, поворотившись оборотисто, вынес из спальни лампу и, в то время как Кашнев смотрел на него недоверчиво и нетерпеливо, все время порываясь встать и уйти, говорил как будто даже и не пьяно, сердечно, искренне, возбужденно:

— Митя, ты вот честный, я понимаю, я не олух, слава тебе господи,— олухом никогда не был, но-о... у меня ж сила! Борцом в цирке где угодно выступать могу и без упражнений безо всяких, черт их дери! Куда сила идет? На кого? Я тебе перечту сейчас по пальцам, а ты слушай. Сила идет на воров, на мошенников, на мерзавцев, на прохвостов, на шваль, на цыган, на... на образа-подобия человеческого не имеющих, на грабителей, на сволочь неисчерпаемую,— двенадцатый палец,— на уличаемых, на предателей, на бродяг, на левых, но и на правых также, на пропойц, на укрывателей, на всякого вообще, который прячет, черт его дери!.. Да ведь нет его, факт, нигде его нет, человека, которому прятать нечего. Всякий прячет, потому что — вор, а я — гончая собака, бегаю, нюх-нюх — кусты нюхаю... За что осужден? А это и есть основа всех основ: воровать воруй, но... прячь! Прячь,— все киты здесь: тут тебе и социология, и генеалогия, и геральдика, и восточный вопрос!.. Митя, ведь честного дела этого, я его так ищу, как свинья лужи, уж сколько лет! На честное дело я на пятьдесят рублей в месяц пойду! Факт, я вам говорю!.. Вот тужурка — видишь? Два года ношу, а уж на ней — всякая кровь на ней побывала за два года: и цыганская, и молдаванская, и армянская, и хохлацкая, и кацапская,— отмывал и ношу, нарочно не меняю — ношу. Да без этого (сжал он тугой кулак пуда в полтора весом) с этим народом, да без этого,— тебя как нитку в иголку вденут босяцкие портки латать,— факт! У нас жестокость нужна!.. Строй жизни, строй жизни! Никакого строя жизни нет у нас, черт его дери! Половодье! — телеги не вывезешь!.. У нас кости твердой

нет, уповать не на что, понимаешь? Лежит и по земле вьется, сукин сын, а встать не может. Как это нас вот теперь на Дальнем Востоке... ты подумал? Да скажи мне при начале войны, что нас будут... я бы за личное оскорбление счел, и капут, безо всякой бы дуэли капут!.. Митя, вот крещусь и божусь,— в случае насчет свободы если,— пойду! Дай только с кем идти — и пойду, опереться чтоб было на что-нибудь — и конец, пойду! Потому что и мне, хоть я и пристав, нужно, чтобы было что уважать!.. Милый мо-ой! Да что же мне, кроме как приставом, и места нету? Да я всякого дела на своем веку переделал,— манеж беговой! И еще меня на сорок манежей осталось, факт!.. Приду и скажу: с потрохами берите, если годен,— брей лоб и на позицию рысью марш-мaарш! Везде гожусь!.. Я? Я везде гожусь, милый мо-ой! И людей я могу школить так, что и они годятся,— возле меня дармоедов нет! У меня вон Культяпый, нянька мой, божий старик, а я и ему спать не даю, когда сам не сплю, верно! И если бью я кого,— противно тебе,— то ведь, милый мой, ты юрист,— сам знаешь: кто сам не хочет, чтобы его били, того не бьют! Ведь даже и история вся, что она такое? Только и всего, что мемуары, кого и за что били, по порядку. Зря и людей не бьют. Бьет тот, у кого право на это есть. А что такое право,— это уж мне юристы говорили — никто этого толком не знает: прав всяких много, а что такое право — точно и ясно,— это вам, правоведам, неизвестно, факт.

— Как неизвестно? — спросил было Кашнев, но тут же забыл об этом.

Вот что было.

Пристав говорил, а Кашнев чувствовал себя отдельно, его отдельно. Он еще раньше искал слова, теперь нашел: на него «хлынул» пристав,— просто прорвал какую-то плотину и хлынул, и такое ощущение было, точно увяз по колено в хлынувшем приставе, как в чем-то жидком и густом. Теперь он не думал уже, что он — в наряде, на службе, наряда не было и службы не было, был только Дерябин. Роста он был огромного, плечист, полнокровен, лупоглаз, с осанистым бычьим подгрудком, говорил гулким басом немного в нос, и вот лился кругом и бурлил кудряво, как вода на быстрине,— только он, Дерябин, и не пристав даже, а просто Дерябин Иван, сначала Дерябин, а потом уж пристав, сначала сделает, а потом в слове «пристав» найдет оправдание.

Теперь Кашнев был совершенно трезв, и все, что он видел, он видел по-молодому ясно, и пустоту больших комнат ощущал так же отчетливо, как запахи: сургуча из канцелярии рядом, кислых консервов со стола, потного тела Дерябина — и не мог отделаться от представления: по колено угряз.

Утром была казарма, вчера утром — казарма, команды, желтая полоса солдатских лиц и металлический брезгливый голос командира роты. Но только теперь, когда говорил Дерябин, всем телом понял Кашнев, что если бы он не встал так решительно с постели и не надел свою тужурку, если бы он невзначай не удержал в себе человека,— ушел бы из него человек. И когда представилось это ясно всем телом, вдруг переместилось в нем что-то, точно переплыло, как кислое тесто из дежки куда-то вбок. Все стало напряженным, ночным и потому странным; глаза глядели на осанистого Дерябина с шевелящимися толстыми влажными губами и говорящими взмахами рук, а видели не его только, а другое: казарму. Выходил из-за широкой спины Дерябина командир роты капитан Щербатов, невысокий, сухой, с твердым и четким стуком каблуков, становился перед длинными шеренгами солдат и каким-то выработанно-гнусавым, высокомерно-презрительным голосом командовал ежедневно одни и те же ружейные приемы, хотя ведь шла война там, на Дальнем Востоке.

Там не это нужно было, а кое-что другое, гораздо более серьезное, а здесь вбивали в головы солдат только одно: делай то, что начальник прикажет. Когда прикажет начальник идти «усмирять беспорядки» в городах и деревнях, иди и усмиряй. Пусть капитан Щербатов назовет «внутренними врагами» твоих братьев, стреляй, не жалея патронов, в своих братьев,— это и есть твое назначение!.. Кашнев представил ясно, что и его могут послать на такое усмирение вместе со всею ротой, и на голове его замерли корни волос.

И так как единое, что возникло в нем вдруг теперь неопровержимо, как вера, была сила, простая, прочная бычья сила, и так как прочен и силен был огромный пристав Дерябин, вот теперь рокочущий густым голосом, голосом площадей, а не комнат, то встал Кашнев и внимательно прислушался к нему, осмотрел его молодыми глазами и сказал почти восторженно:

— Ваня! ты... ты прав, Ваня!

— Прав? Что? Так говорю? А? — радостно выкрикнул пристав, положив ему на плечи руки.

— Так! — твердо ответил Кашнев.— И что ты за свободой пойдешь,— этому верю! Верю! Потому что как же иначе?

— Веришь?

— Верю, потому что... украли душу, ограбили, и у этих, у ограбивших, нужно ее обратно...

— Украсть,— подсказал Дерябин.

— Украсть,— повторил Кашнев,— иначе некого уважать и не за что.

— Выпьем? — серьезно показал глазами на неприбранный стол Дерябин.

— Выпьем,— серьезно согласился Кашнев.

— Ура! — крикнул Дерябин во всю мощь объемистых легких.— И пойдет душу красть пристав Дерябин, а за ним воры!.. Ура!

X

— Митя,— спросил Дерябин,— невинность в тебе такая во всех щечках... ты как насчет женщин,— вкушал?

— Нет,— ответил Кашнев.

Они все еще сидели за столом, хотя было уже часов пять утра,— чуть посинели, посвежели слегка белые занавески.

— Нет? Как так нет? Шутишь?.. Совсем нет?..— Даже рот раскрыл от удивления Дерябин.— Во-от!.. И с университетом ты что-то рано управился, ни одного дня не потерял! Д-да!.. Ты — строгий. Должно быть, в мамашу вышел... женщины, они, брат, иногда даже игуменьями бывают,— случается, факт!.. Постой-ка, тут у меня альбом красавиц парижских, я тебе покажу!.. Это... это...— заторопился пристав.

— Да не надо, зачем?

— Как не надо?.. Не надо!.. Тут такие две мамочки есть,— с ума сойдешь... не надо!

И вытащил к лампе Дерябин истрепанный длинный альбом и, тыча толстым пальцем в снимки голых женщин, приговаривал:

— Это ж раз удивиться и умереть, а?.. Нет, ты всмотрись внимательно, хорошо всмотрись!

Потом говорили о сестре Кашнева, Нине, курсистке, и о тех местах, где вырос Кашнев, где не было дичи — только сороки.

— Нина в сестры милосердия поступает, в Красный крест... на войну едет,— сказал Кашнев.

— На войну? Великолепно! Умно! — одобрил пристав.— Непременно там женишка подцепит,— замуж выйдет. Простого армейца не стоит — с голоду помирать, а вот ты напиши ей,— штабного, академика чтобы... факт!

— Эка ты как-то все этак...— поморщился Кашнев.

— Что? Плохо говорю? Не то?.. Митя, поверь: женщине, хоть бы она и сестра твоя и Красный крест,— кто угодно,— ей только одно-единственное на свете нужно: мужчина... Факт, я вам говорю.

— Не лечь ли поспать? — поднялся и отвернулся Кашнев.

— Поспи! Ложись,— мягко втолкнул его в спальню Дерябин.— Ты ложись, а я только на больную лошадь гляну... Верховая, донец,— опоили мерзавцы, ноги пухнут.

И Дерябин вышел в сени, и потом слышно было, как протяжно с перехватами завизжал щенок.

Кашнев сел было на диван, где постлана была постель, потом привычно перестегнул портупею; в висках появилась тоненькая боль, как всегда после бессонной ночи. Думал о приставе, который хлынул вдруг весь отстоявшийся и свой и затопил под ним его землю. Но раздеваться почему-то не хотелось. Подошел к попугаю и разглядел внимательно его черный клюв, старые злые глазки и пышный хохол; пересмотрел еще раз альбом парижских красавиц. Вспомнил про шашку с надписью «лубимому начальнику», но на стене балдахином висело несколько шашек, из них три казачьих кавказского образца,— трудно было различить даренную. Вспомнил про подарок пристава — тульский наган, и решил не брать его с собой. Сквозь ставни пробивалась полосками холодная утренняя синева, и от нее пожелтела лампа, и комнаты стали холоднее и как-то просторнее на вид, и листья фикуса сделались чернее и сплошнее.

Прошел в канцелярию Кашнев, сам удивляясь своим шагам, звучавшим здесь по-чужому несмело. Тут же за дверью висела — он разглядел — его шинель и фуражка — красный околыш, первый полк. В соседней комнате блаженно посвистывал, как куличок, чей-то нос — должно быть, спал Культяпый. Есть уже совсем ничего не хотелось, но подошел к столу Кашнев и внимательно

и долго разглядывал закуски, потом вытащил из коробки клешню омара, пожевал и выплюнул. И когда захотел осознать, сделать ясным, почему не раздевается и не ложится он, то прежде всего плавно заколыхалось перед ним канареечное платье Розы, с извилистым хвостом,— как она танцевала с приставом, а потом почему-то так же заколыхалась желтая солома на полу каземата... и захотелось выйти на двор части, подышать ранним утром, посмотреть больного донца, у которого пухнут ноги.

Кашнев надел фуражку, набросил на плечи шинель, двинулся было к сеням,— но навстречу опять завизжал щенок, бурно застучали двери, раздался дерябинский рык. Отворилась дверь в канцелярию, и прежде всего Кашнев увидел того высокого тонкого парня, который играл на гармонике.

Дерябин толкнул его срыву, и он ринулся вперед головой и руками, точно в речную воду, и жестко упал на колени почти у самых ног Кашнева. За Дерябиным в дверях показался городовой, тот самый желтоусый, который вчера вечером ужинал щами. Фуражки на парне не было, и еще бросилось в глаза вчерашнее: красная слюнявая полоса сбоку около губ и дальше косяком по подбородку.

— Вот! Видал? — кричал торжествующим голосом Дерябин.— Ребята здешние!.. Вор, подлец,— меченый вор! Третий раз попадается!.. И гармонья краденая,— вчера же с окна где-то свистнул... Ах, мерзавец, цыган! — и острым носком сапога ударил Дерябин парня в заляпанный подбородок. Визгнул и упал на спину парень.

Сквозь ставни просилось в комнату синее утро. От лампы плавал по комнате масляно-желтый тяжелый свет. В толстое лицо Дерябина влились мертвые тени. У парня залоснились черные волосы в кружок, проступили вдруг невидные прежде глаза под густыми бровями, поднялись на Кашнева.

— Ваше благородие!.. Господин офицер!..

И потом в несколько коротких мгновений Кашнев ощутил остро: сорвавшийся крик Дерябина, прочную руку, сжатую в кулак, круглый выгиб серой спины, рыжую полосу усов городового, парня, затопленного болью, холод, охвативший все тело.

Как был в накинутой на плечи шинели, Кашнев выскочил на двор, отбросив щенка ногой, окунулся в сырое, мутное утро, по влажному песку двора чуть не бегом, обогнув крыльцо и чан с зеленой водою, бросился к ка-

литке и уже с улицы слышал, как кричал ему вслед Дерябин:

— А-а, свобода! Душу красть! Я ввам покажу душу! Я у вашей квартиры пост поставлю, знайте!.. Свобода? День и ночь постовой будет стоять! Я ввам покажу свободу!..

Кашнев остановился было,— подумал: обида это или пьян Дерябин? Надел в рукава шинель, вспомнил, что не взял кобуру,— осталась где-то у пристава вместе с его наганом, махнул рукою и пошел вдоль улицы.

Красовалась улица утренней тишиною.

Налаялись собаки за ночь, теперь и их не было слышно.

Ясный нарождался день; еще не приник к земле грудью, подходил издали, но уже было свежо и бодро. Широкие загребающие шаги делал Кашнев.

Город был для него новый; в этой части он никогда не был. Шел наугад, смутно вспоминая, как ехал вчера на извозчике.

Был ли на углу этот облезлый мазаный домишко с вывеской сапожника? И приходилось ли ехать по деревянным тряским мосткам через какой-то ров, и куда приведет эта длиннейшая, глубокая, синевато-серая улица? Решал и шел дальше, радуясь, крепким четким шагом.

Влажному свету был рад, тому, как жмурились домишки, как теплая детвора просыпалась. У акаций были влажны колючие ветки, отпотели ставни, воробьи звонко надрывались за заборами... У того бассейна, где ночью была засада, уже стоял водовоз с бочкой и подрагивала кожей рыжая колченогая лошаденка. А может, был это другой бассейн, не тот,— все равно; пахло свежим утром, осенней ясностью, солнечным ноябрем.

Думалось о Нине,— не о приставе, а о Нине, ясноглазой девочке. Когда просила шоколаду и не было — топала ногою и кричала: «А я хочу!..» Играла с мальчиками в индейцев, сильная, смелая и ловкая, и мальчики звали ее «Храбрым портняжкой». Теперь хочет ехать в Маньчжурию. Отец уговаривает ее остаться, а она топает ногою и кричит: «А я хочу!..» Полнокровная.

Не о Дерябине думалось; думалось о приокских лугах, заливных, зеленых, куда налетали вдруг серыми тучами гуси с какого-то далекого краю. Или вдруг всплывали белые круглые формы голых парижских красавиц, одевались на глазах в желтые капоты, танцевали.

Утро свевало пристава, как темноту, куда-то сдувало его,— схлынул пристав; длинное, пьяное, дикое осталось, а пристав стерся.

Работали легко и дружно мелкие солнечные пятна,— рябили муть. Открывались вовсю красные влажные черепичные крыши и синие трубы на них. Северянин был Кашнев, а в этих крышах и трубах таился все еще чужой для него юг — солнце, юг, молодость. И чем дальше в утро шел Кашнев, тем меньше оставалось Дерябина. Встанет вдруг, как темная глыба, крякнет низами горла: «Милый мой-й-й! У нас жестокость нужна!» И тут же разлезется, упадет, осядет. Хотелось, чтобы было только чистое, чистое все: небо — цельное, синее, воздух — ядреный, крепкий, в чистом саду за окнами, где он жил,— чистый синичий писк и чистое белье своей постели.

Чем дальше шел в утро, тем больше утро казалось своим. С кем можно разделить утро? Перед утром, молодостью, свежей силой — человек всегда один,— не одинок, а только целен, один, наедине с собою. Неистребимо длинной представлялась жизнь впереди и солнечной,— отчего? Оттого, может быть, что глубока была улица, ласково освещенная?.. Ложились уверенно полосы красные и полосы голубые, первые—ниже, голубые—выше: земля и небо. Небо слоилось сквозь розовую муть, пахнущую сырой землей. Дробилась земля на цветные кусочки, сильные, чистые, серые (днем выцветает земля). Желтые листья, точно невзначай, окапали встречные деревья. Кое-где трубы дымили синим... Выбежал из какой-то облупленной калитки густо обросший, каштановый кобелек, зевнул глубоко и посмотрел на Кашнева добродушно, постариковски, так добродушно, что Кашнев улыбнулся ему.

...Лошадиный галоп был слышен сначала откуда-то справа, потом на минуту замер, потом посыпался следом за ним, приближаясь: на легкой утренней улице такой тяжелый скок. И когда уже близко было и оглянулся Кашнев, увидел он,— на сером донце, пригнувшись неловко, скакал городовой с желтыми усами. Перешел на машистую рысь; подъехал; загарцевал на месте.

— Вот кобуру, ваше благородие, у нас забыли... Пристав послали отдать.

Протянул кобуру. Невольно пощупал Кашнев, беря, есть ли наган: не было нагана.

Отфыркался донец, сбросил желтую пену с удил; топыром поставил острые черные уши; горбоносый, смотрел на Кашнева искоса, высоко и строго, как надутый

Дерябин, переступал враскачку с ноги на ногу, пышал и дымился горячим потом, крутил завязанным в узел хвостом.

Похлопал его Кашнев по жилистой шее, круто от острой груди откинутой назад,— спросил:

— Это о нем говорил пристав, что опоили,— ноги пухнут?.. Не пухнут ноги?

— Нет, зачем опоили?.. Никак нет, справна лошадь.

Улыбнулся Кашнев. Смотрел в мелкие серые красновекие глаза городового и хотел было спросить, когда успел пристав отобрать свой подарок — наган, потом другое — о парне, но не спросил. Медленно вынул записную книжку и написал четко по синим клеточкам: «За знакомство спасибо. Кашнев». Слово «спасибо» зачем-то подчеркнул, листок сложил аккуратно вдвое.

— Вот, передай приставу.

И потом, привычно надевая шнур и прилаживая кобуру к кушаку, долго следил Кашнев, все улыбаясь, как мягко сверкали, откидываясь, гулкие подковы. Это был не галоп, а сбоистый, порывистый, горячий, играющий, издали красивый бег, когда силы накоплено много и ее хочется разбросать щедро и зря, как надоевшее богатство. Лохматый каштановый кобелек мчался около самых копыт, задыхаясь лаял трудолюбиво, а дальше, из дворов, наперерез донцу прыжками неслись две собаки: пестрая, тонкая, изгибистая, как змейка, и угрюмая, большая, гладкая, облезло-черная, с обвисшими старыми брыжами.

XI

Недели через две после этого «наряда в помощь полиции» Кашнев неожиданно для себя был переведен в другой город, в запасной батальон, готовивший маршевые команды для пополнений полков, понесших потери в боевых действиях на Дальнем Востоке.

В этом запасном батальоне и провел Кашнев первые четыре месяца 1905 года. Солдат в этой воинской части было много,— по двести пятьдесят человек в роте, офицеров же мало; и на тех и на других одинаково ошеломляюще действовали телеграммы с театра военных действий, которые не могли скрыть роковых неудач, неподготовленности к войне, расхлябанности и ошибок.

Дисциплина в батальоне была так плоха, что возму-

щала даже недавнего студента Кашнева, и он говорил своим сослуживцам:

— Если здесь, в глубоком тылу, такая дисциплина, то что же делается там, на фронте?

На это сослуживцы его, как кадровые офицеры, оставшиеся здесь от ушедшего в Маньчжурию полка, так и взятые из запаса, азартно игравшие в преферанс, советовали ему мыслями не задаваться, а садиться вместе с ними за зеленый стол.

К затяжной карточной игре Кашнев относился по-молодому, как к злостной потере времени. Однажды во время его дежурства по батальону произошел из ряда вон выходящий случай: нападение рядового на командира батальона, подполковника Долинского, старого, немногодумного, но и не ярого службиста.

Нападению, правда, помешали тот же Кашнев и бывшие рядом с ним унтер-офицер и ефрейтор, но солдата вскоре после того судили и приговорили к тринадцати годам каторги.

— Мне кажется, ваше превосходительство, что приговор этот слишком суров! — сказал тогда Кашнев генерал-лейтенанту, председателю суда.

Генерал посмотрел на него изумленно, увидел его университетский значок и хрипнул:

— Вы юрист?

— Так точно, ваше превосходительство... Было ведь только движение в сторону командира батальона, тут же предотвращенное.

— Э-э, движение, движение! — А если бы вслед за этим движением еще одно движение, то-о... был бы ему расстрел, а не каторга... Да такой и до каторги не дойдет,— не тоскуйте,— убежит с первого этапа!

Это было в конце апреля, а в мае он был назначен вести маршевую команду в полк, имя которого носил запасной батальон.

«Это был мой крестный путь! — обычно говорил Кашнев, когда ему приходилось кому-нибудь рассказывать о своем участии в русско-японской войне.— И если бы моя команда не вошла в эшелон из нескольких подобных команд, я ни за что не довел бы до места назначения и пяти человек...»

Не раз во время этого долгого пути из глубокого тыла на дальневосточный фронт Кашнев признавался самому себе, что он совершенно не властная натура, что он, хотя и знает все командные слова, командовать людь-

ми в серых солдатских шинелях совершенно не может. «Как юрист, я не к тому и готовился,— оправдывал себя он.— Не приказывать людям, а только убеждать их,— вот мое назначение в жизни». Однако и убедить своих солдат, что им непременно нужно ехать за несколько тысяч верст в красных товарных вагонах, на которых были надписи: 40 человек —8 лошадей,— он тоже не мог, не умел, не находил для этого слов.

И одному старшему унтер-офицеру из своей команды, с сединою в бурых усах и с пытливыми глазами, на подобный вопрос, заданный тихим голосом, с глазу на глаз ответил:

— Этого я и сам не знаю. Приказано мне ехать с вами,— вот и еду... И все... И ни в какие рассуждения не вдаюсь... Доедем,— узнаем.

Но и доехав до места стоянки полка, Кашнев не узнал, зачем он и сотни тысяч людей около него были оторваны от привычной, налаженной и как будто бы понятной в своих целях и способах жизни. Если офицеры запасного батальона запойно играли в преферанс, то офицеры здесь, в Маньчжурии, гораздо более самозабвенно играли в банк, «железку», макао и пили, доводя себя до совершенно нечеловеческого облика. Как ни много потерял в себе Кашнев за время своего «крестного пути», все-таки то, что он увидел здесь, его испугало. Здесь много встречалось ему таких же «мельхиоровых офицеров», как и он сам,— прапорщиков запаса, но и они одичали, быть может сознательно стараясь слиться с общей массой кадровых офицеров: если не одичать, то как же можно вынести всю невозможную дикость кругом.

Ему часто приходилось слышать от себе подобных: «Наш брат — прапорщик нужен в этой войне только затем, чтобы его убили, а потому...» — дальше следовал красноречивый жест, который, если бы передать его словами, звучал бы так: «Чем больше ты сумеешь себя оскотинить, тем для тебя же самого будет лучше!..» Но этой-то способности намеренно себя оскотинить и был лишен Кашнев.

Ему пришлось участвовать всего лишь в одном сражении и то в конце войны. Сражение было безрезультатное, но оно произошло ночью, притом на местности, очень плохо разведанной днем. Он не был ранен в этом сражении, он только попал вместе с людьми своей полуроты в какое-то топкое место, откуда выбрался с большим трудом только к утру, сильно простудился в холодной топи

и с ревматизмом ног был потом отправлен в лазарет, а после заключения мира долечивался в одном из тыловых госпиталей; но, кроме ревматизма, он заболел еще и нервным расстройством в тяжелой форме; и эта болезнь оказалась гораздо более затяжной, чем ревматизм.

Если бы понадобилось определить его состояние всего только одним словом, то это слово было бы: «ожог», душевный ожог, от которого оправиться еще труднее, чем от телесного ожога. Он потерял ощущение радости жизни, сохранив в то же время способность мыслить. Когда его спрашивали о чем-нибудь простом, обиходном, он отвечал, хотя и немногословно, но сам никому не задавал вопросов. Его не оживили даже и доходившие в госпиталь вести о революции.

Он начал возвращаться в свой прежний мир только тогда, когда приехала и была принята в штат сестер милосердия того госпиталя, где он лежал, его сестра Нина.

Она осталась такою же самой, какою он привык видеть ее с детства: всегда оживленной, всегда очень деятельной, с румянцем на круглых щеках и яркими глазами. С нею вместе пришло к нему, в затхлый, жуткий, равнодушный мир однообразно окрашенных железных госпитальных коек то свое, какое он потерял, и в марте девятьсот шестого года он смог уже покинуть госпиталь и выйти снова в запас. Но вскоре после этого его спаситель Нина вышла замуж за подполковника Меньшова и вместе с ним уехала куда-то в Среднюю Азию в город Керки, в пограничную часть. Кашнев поехал к матери в Могилев-Подольск на Днестре.

Там, в небольшом домике, где все было ему знакомо с ребячьих лет, день за днем убеждаясь, что вокруг него прежняя тихая понятная жизнь и прежние вполне постижимые люди, к концу года Кашнев начал уже думать о том, чем он мог бы заняться, и поступил на несложную должность в городскую управу. Тут он приглядывался к тому, как маленькие люди, по меткому слову одного из них, «каждый соблюдал свою выгоду», хотя в управу ежедневно приходило много людей в поисках «своей выгоды».

Когда в присутствии Кашнева председатель управы, владелец лучшего в городе магазина бакалейных товаров, стремившийся показать ему, что он вполне культурен, а не то чтобы самый обыкновенный Иван Данилыч Непейпива, проявлял несколько странную то неосведомленность, то забывчивость, то упущения, Кашнев только

пожимал недоуменно плечами; а когда однажды он, как бы нечаянно, уничтожил документы, по которым управа должна была произвести платеж около пятисот рублей, Кашнев счел за лучшее уйти и записался в помощники присяжного поверенного в Полтаве. Но месяца через три он уже писал сестре в Керки: «Мне очень не повезло с адвокатурой, я попал в помощники к явному соучастнику мошенников, и кажется, скоро придется от него уйти, пока я сам не впутан им в какое-нибудь грязное дело».

Скоро он перешел на службу в акциз. Эта служба хороша для него была тем, что протекала в тишине акцизного управления, где он имел дело не столько с людьми, сколько с бумагами. Однако вся служба в акцизе сводилась к тому, что кто-то, и очень многие, то здесь, то там нарушали законы, и их, этих нарушителей, необходимо было уличать и привлекать к ответственности по тем или иным статьям акцизных законов.

Отклонения от строгих требований войны, как знал это по личному опыту Кашнев, вели к большим несчастьям, к поражениям, к огромной потере людей, к позорным условиям мира. Здесь же была обычная мирная жизнь: одни издавали законы, другие считали для себя более удобным их обходить.

Иногда он выезжал, как контролер, дослужившись уже до титулярного советника, в город Ромны. Здесь, в Ромнах, он встретил ту, которая через месяц стала его женою.

У нее была добрая улыбка и умные глаза. Эти умные, светлые женские глаза,— именно их не хватало Кашневу в жизни, именно в них он почувствовал свою опору. Она была классной дамой в женской гимназии. Всего на один год моложе его, она казалась ему гораздо опытнее его в жизни, гораздо более, чем он, способной в ней разбираться: «С такой не пропадешь! — говорил он себе: — Такая поддержит». Даже несколько необычное имя ее — Неонила — ему нравилось. Она была хорошего роста, ловких и мягких движений. И как-то даже странно было самому Кашневу сознавать, что она одним своим появлением перед ним почему-то вдруг осмыслила для него жизнь, в которой ему так жестоко, по его убеждению, не повезло: он совсем не того ожидал для себя, когда был студентом. И часто готов он был повторять то, что услышал от одного проигравшегося в карты пехотного капитана: «Ну, если не повезет, то и в чернильнице утопишься за милую душу!..»

Но вот теперь, с появлением на его пути Неонилы Лаврентьевны Покотило судьба повернулась к нему лицом; в первое время после свадьбы так это ему и казалось. Неонила Лаврентьевна, оставив свою должность в Ромнах, не искала другой подобной в Полтаве. Она нашла, что квартира в две комнаты, в которой жил Кашнев, для них теперь очень мала, и нашла другую, в четыре комнаты, с коридором, передней и кухней, и Кашнев согласился с нею, что эта новая гораздо приличнее старой, а между тем дело первой важности это именно квартира, пусть даже она будет и немного дорога: можно урезать себя в чем-нибудь другом, только никак не в квартире.

— Может быть, впрочем, эта квартира несколько велика для нас с тобой, Нила,— задумчиво заметил как-то Кашнев, глядя на одну из комнат, для которой не хватило купленной ими мебели.

— Нет, Митя, ты увидишь сам, что она нисколько не велика,— ответила ему Нила.

И он, действительно, вскоре увидел это: к его жене приехала сестра, о существовании которой он даже и не знал. Сестра была старше Нилы. Когда-то, еще в детстве, она повредила себе левую ногу и ходила, звонко стуча костылем. Глаза у нее были такие же светлые и умные, как и у Нилы, но она как бы совсем никогда не умела улыбаться.

— Она на неделю, на полторы. Погостит и уедет,— уловив недоумение на лице мужа, успокоила его Нила.

Однако дней через пять куда-то уходившая сестра Нилы (звали ее Софа) вернулась, имея победоносный вид, и сказала ему твердо:

— Я нашла себе место!

— Где место?.. Какое место? — удивился он.

— Бухгалтером в одной конторе... Мне не так далеко будет отсюда ходить на службу... Бухгалтером я была и в Гадяче, и ведь у меня есть рекомендации оттуда...

Она и заняла ту комнату, для которой не хватило мебели, и Кашневу самому пришлось переносить туда коечто из других комнат.

Но в Гадяче оставалась, как узнал это вскоре Кашнев, еще и мать Нилы и Софы, и не больше как через две недели после Софы приехала и она.

Нила объяснила мужу, что мать совершенно необходима ей теперь, когда она уже на седьмом месяце беременности.

Кашнев встретил приезд своей тещи без явных признаков радости. Он уже не спросил жену, сколько еще родственников ее намерено приехать в четыре комнаты его квартиры, но Нила как бы чутьем угадала, что этот вопрос вертелся в его голове, и пошла в наступление.

В день приезда ее матери произошла первая ссора ее с мужем, и в первый раз тогда было сказано ею, что он должен искать себе добавочного к его жалованью заработка, что для ребенка придется нанять кормилицу, что холостая жизнь вообще — это одно, а семейная — совсем другое; что акцизным чиновником можно быть и без всякого образования, что «хорошие деньги» (она так и сказала: «хорошие деньги») зарабатывают люди свободных профессий, каковы, например, адвокаты, а совсем не акцизники.

После этой размолвки Кашнев перестал думать, что ему повезло. Софа оказалась существом молчаливым. Найдя себе место, она за него и держалась цепко, и проводила в конторе своей большую часть дня. Теща же Кашнева, в видах помощи беременной дочери, взяла в свои опытные руки ведение хозяйства.

У нее оказалась привычка начинать, что бы она ни говорила, словами: «Теперь так...»

— Теперь так... Сервировка стола — самое важное в доме. Как можно садиться обедать и не иметь на столе букета цветов, хотя бы самых простеньких? Это верх неприличия! Вот я набрала здесь в огороде ромашек,— это для начала сойдет, и пока нет гостей. А при гостях прежде всего, Нилочка,— посередине стола — букет цветов!

Или:

— Теперь так... Если мебель какая-то вообще разномастная, то это непременно должно оскорблять вкус гостей, и об этом они будут говорить везде и всюду, что вот у нас в квартире какая мебель!

Или:

— Теперь так... Если муж уважает свою жену, то он должен предоставить ей удобства, какие необходимы... Рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где лучше. А под лежачий камень, говорится, и вода не течет...

И если Кашнев слышал это тещино «Теперь так», то морщился, как от занозы.

Глаза у Алевтины Петровны Покотило были еще более светлые, чем у обеих ее дочерей, а волосы совершен-

но седые. Она курила и кашляла, хотя вид имела сытый. Нила говорила мужу, что у ее матери бронхиальная астма.

Большим событием в жизни Кашнева оказалось рождение ребенка. В доме прибавилось вдвое суеты, хлопот и опасений. И Кашневу временно представлялось, что если бы у его жены были еще две, даже три сестры, всем бы им нашлось дело около маленького Феди.

Даже хроменькая Софа, придя с занятий в конторе, не принималась после обеда за чтение переводных романов (что было ее привычкой), а стремилась к своему племяннику, для которого подыскивалась уже на всякий случай кормилица, хотя бы и приходящая.

И скоро все разговоры трех женщин в четырехкомнатной квартире Кашнева стали сводиться от «хороших денег» к «хорошему адвокату», у которого Кашнев мог бы быть помощником, чтобы через несколько лет иметь уже не какую-то там квартиру, а собственный дом и даже... дачу в Крыму.

— Хорошие адвокаты, хорошие деньги, все это очень хорошо, конечно,— кротко, но рассудительно замечал Кашнев.— Но идти из акциза в помощники присяжного поверенного — это значит для меня менять верное на неверное.

Но тут оказалось, что у тещи был какой-то старый знакомый присяжный поверенный, с которым она уже списалась. Он готов был оказать покровительство ее зятю и «гарантировал» (это слово особенно часто пускалось в ход тещей) ему на первое время такой же заработок, как его месячное жалованье акцизного чиновника, и это ведь только на первое время, а потом...

— Теперь так... При вашем ораторском таланте,— говорила теща,— вы, Дмитрий Николаевич, можете далеко пойти.

— Но откуда же вы взяли, что у меня есть ораторский талант? — удивлялся Кашнев.

— Разве я глухая? — обижалась теща.— Разве я не слышу, как вы говорите? С каким выражением и с какими доказательствами. А на суде что же еще нужно? Нужно привести доказательства!

Адвокат, к которому теща вздумала направить в помощники зятя, жил в Симферополе, где имел собственный дом, и ему недалеко было ездить на свою дачу, которая была в Судаке.

— А при том, конечно, как у всех там в Крыму, свой порядочный виноградник,— мечтательно озарив белые глаза, победоносно добавляла Алевтина Петровна.

Когда в человека верят, когда на него надеются, что он откроет в себе зачатки способностей, тогда и человеку начинает казаться, что способности эти у него действительно есть. Исподволь Кашнева начали занимать судебные процессы, о которых он читал в газетах. Иногда он даже заходил в свободное время в окружной суд послушать, как велось то или иное дело. На его столе появились своды законов по гражданским и уголовным делам. Наконец, списавшись с крымским адвокатом, он поехал к нему сам, чтобы поговорить и взвесить, не грозит ли ему чем-нибудь такой серьезный шаг, как перемена на неверное верного,— это было уже весною 1911 года, Кашнев расстался с акцизом и Полтавой и перевез свое немалое семейство в Симферополь.

Софочка и здесь, как в Полтаве, деятельно стуча костылем, начала уходить по утрам и не больше как через неделю провозгласила, хотя и по-своему безулыбочно, но по виду торжественно:

— Я нашла себе место!

И Кашнев весело поздравил ее с удачей. Он вообще начал чувствовать себя веселее, когда снял свою акцизную чиновничью фуражку с кокардой и заменил ее обыкновенной шляпой. Квартира, которую нанял он в новом городе, конечно, была найдена женою и тещей не совсем удобной, но в первое же воскресенье по приезде устроили они поездку к морю, и это примирило их даже и с не совсем удобной квартирой.

День этот был ласковый, голубой, нежаркий, тихий. На пляже было много народа, такого же радостного, как они, и Кашнев в первый раз за несколько лет после военного госпиталя ощутил простую, давно забытую им детскую радость жизни, хотя кругом него и было много других людей.

XII

Присяжный поверенный Савчук, человек уже немолодой, хотя и не старый,— лет сорока пяти, раздобревший, как и полагается людям свободных профессий в его возрасте, значительно лысый со лба и носивший бороду смоляно-черного цвета (как он говорил, «для пущей солидности, необходимой адвокату»), говорил Кашневу:

— Для того чтобы преуспевать в жизни нашему брату-адвокату, нужно иметь много пронырства и даже, если хотите, нахальства, потому что конкуренция велика. Ведь в нашем стане орудуют не только юристы с образованием, а даже и подпольные адвокаты, из писарей: набили руку на переписке бумаг, прошений и отношений и действуют кто во что горазд. Я не так давно одного такого в окружном суде встретил: кивает мне на другого такого же, как сам, и хихикает: «Вот посмотрите-ка, он тоже выиграё-ёть дела!» «Выиграёть»,— как вам это нравится? А между тем они тоже наши с вами конкуренты!.. А то появился тут еще с полгода назад некий защитник невинных овечек по фамилии Волк! Хотя бы Волков, а то без всякого «ов»: Волк,— и вся недолга! Которые желающие — лезь ему прямо в зубы!.. Конкуренция большая, да, но... и наша губерния Таврическая, во-первых, не мала,— кроме Крыма, еще три уезда — Бердянский, Днепровский, Мелитопольский,— и население пестрое, и всяких мошенников на наш с вами век хватит!.. У вас же,— это я вам прямо скажу,— пусть даже никакой опытности, так себе нахальства,— и даже... даже, скажем так, нет осанки,— осанки, да, что очень необходимо авдокату, но-о зато у вас есть честность в глазах — ее не подделаешь, а у вас она налицо,— это я вам прямо говорю, без лицеприятства,— это вам большой плюс, потому что еще Некрасов сказал комплимент нашему брату, как вам, конечно, известно:

И, содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
«Перед вами стоит гражданин
Чище снега Альпийских вершин!..» [1]

— Вы говорите, Иван Демидыч, что вот там «честность в глазах» и прочее,— заметил, встревожась, Кашнев,— но ведь никаких явно нечестных махинаций мне, надеюсь, и не придется представлять на суде честными?

— Ну еще бы, еще бы,— успокоил его Савчук.— Надо вам помнить только, что защитник в суде и есть именно защитник,— все равно, что врач у постели больного... хотя бы этот больной и заслуживал каторги или даже виселицы.

И тут же снова заговорил о конкурентах, способных выхватить из рук наиболее выгодные дела.

---

[1] Здесь приводятся строки из второй части поэмы Н. А. Некрасова «Современники».

— Конкуренты в адвокатской практике — это, как вы сами должны знать, зло, известное с давних времен. На этой почве шла борьба и в древнем Риме. Клавдий, например, оратор Клавдий... вы не читали о нем?

— Нет, что-то не помню такого...

— Клавдий... Идет раз по улице и вдруг слышит: в окне из клетки птица какая-то говорит, может быть и картаво, как-нибудь, а все-таки как следует — по-латински!

— Какая же это могла быть птица?

— Не помню в точности... Только не попугай, конечно, попугаи появились в Европе из Америки... И вот Клавдий — дела его шли явно блестяще, человек он был богатый,— отвалил за эту птицу что-то порядочно серебра... Принесли ее ему домой, а он что же сделал? Приказал своему повару ее, говорящую, зажарить! Тот зажарил, а Клавдий съел!.. Скворец это мог быть, я думаю, а скворцов ведь и у нас едят... Зажарил и съел во имя чего же? Не смей быть моим конкурентом,— вот во имя чего! Я — оратор, и я говорю, а ты своей дребеденью не привлекай внимания моих, Клавдия, клиентов!

Савчук был женат, и жена его приходилась какою-то дальней родственницей Алевтине Петровне. Он имел троих детей, уже подростков, двух мальчиков и девочку. Кашнев видел, что его принципал, как называл он в своем домашнем кругу Савчука, на земле стоит прочно. И дом себе он устроил хозяйственно, из белого евпаторийского камня, который не нуждался в штукатурке и даже имел обыкновение сбрасывать ее с себя. Дачу в Судаке Савчук строил тоже сам, но из желтого керченского камня, доставленного туда морем на парусном баркасе.

У жены Ивана Демидыча, Ксении Семеновны, дамы преждевременно увядшей, с вечно озабоченными бровями, находилось о чем вспоминать, когда она виделась с Алевтиной Петровной, и та часто ходила к ней в гости. Город очень нравился теще Кашнева, и она больше, чем ее дочери, была довольна, что так отлично удалась ее затея. А сам Кашнев, вполне равнодушно относясь к городу, в который переселился, не имел поводов жалеть о покинутой им службе в акцизе: он и здесь делал только то, что ему поручал делать его принципал. Иногда тот передавал ему мелкие дела, на которые у него не хватало времени, и Кашнев вел их в суде, накоплял опыт. Бывали такие дела, когда людям действительно хотелось по-

мочь, так как совершали они не столько преступления, сколько ошибки.

То в его лице, что называл Савчук «честными глазами», действовало не только на присяжных заседателей, но прежде всего на тех, кто обращался к нему за помощью, так что новый помощник Савчука увеличил, даже и не заботясь о том, число его клиентов.

Через два года он стал зарабатывать уже больше, чем когда был акцизным чиновником в Полтаве. А так как Федя уже подрос и начал ходить, то Неонила Лаврентьевна однажды пришла радостная не менее своей сестры Софы и сказала точь-в-точь ее словами:

— Я нашла себе место!

Это было привычное для нее место классной дамы, и она не столько нашла его, сколько дождалась, когда освободит его старушка, выслужившая пенсию.

Теперь в квартире Кашнева вела хозяйство Алевтина Петровна, и Кашнев снова начал верить, что ему очень повезло тогда, в Ромнах, а теща его, совершая прогулки с маленьким Федей по улице около того дома, где они жили, уже начала поглядывать на все вообще дома деловито оценивающими глазами и даже больше: начала справляться, что почем и на лесном складе, и в скобяных магазинах, а цену пиленого желтого камня она знала еще с первых дней, как попала в Крым.

Когда все уходили из дома, она доставала из посудного шкафа запрятанную там школьную тетрадку и, время от времени говоря «Теперь так!», начинала чертить карандашом и вычислять, сколько пойдет камня на стены, железа на крышу, досок на полы, потолки, двери, окна, если сделать дом, например, в пять комнат, и сколько придется уплатить за работу каменщикам, кровельщикам, плотникам...

Когда же появлялись в квартире не только зять, но даже какая-либо из дочерей, Алевтина Петровна поспешно прятала свою тетрадку в самое незаметное место посудного шкафа.

Кашнев же, имевший теперь дело только с людьми, в большей или меньшей степени нарушающими законы, все больше и больше привязывался к маленькому Феде, пока еще ничего не понимавшему ни в каких законах, но пытавшемуся уже все время нарушать приказы своей бабки, то и дело кричавшей ему: «Федичка, нельзя так!.. Какой непослушный малыш!»

Каких бы красивых коней из папье-маше ни покупала она ему — серых с яблоками, гнедых или вороных со звездами на лбу,— он, пыхтя и сидя на полу с ними вровень, стремился непременно выдрать им хвосты и переломать ноги, чтобы потом, внимательно таращa глазенки, наблюдать, как «баба Аля», тоже пыхтя и сопя, старается склеить сломанные лошадиные ноги и восстановить на своих местах пышные хвосты.

Кашнев то носил Федю на руках, то сажал его к себе на колени, вглядываясь в его глаза, вслушиваясь в мало пока еще понятный его лепет и стараясь представить, каким будет он через год, через два, через пять лет.

— Воспитание детей, какое это ответственное дело! — говорил он теще, покачивая головой.— Ведь это наше осязаемое, видимое будущее... наше личное и всей России... и всего человечества! И нет вопроса в жизни более важного, чем этот вопрос!.. Вот, например, дети Ивана Демидыча,— и оба мальчика и девочка,— они хорошо воспитаны, мне они нравятся,— очень вежливы, выдержанны... И учатся хорошо... Это все, конечно, забота их матери,— самому ему некогда... Это делает ей честь, такие примерные дети.

Федя внимательно с виду слушал отца, сидя у него на коленях, но в то же время пытался дотянуться ручонкой до его шеи.

XIII

В октябре тринадцатого года к Савчуку обратился чиновник казенной палаты Красовицкий, человек уже старый, с седой подстриженной бородкой, тощий на вид, с воспаленными от бессонных ночей глазами, явно убитый горем. Он сказал Савчуку и Кашневу, что его сын Адриан, реалист седьмого класса, но имеющий уже восемнадцать лет, так как вследствие придирки к нему учителя математики просидел в четвертом классе два года, неожиданно арестован полицией на улице и уже отправлен в тюрьму «по совершенно нелепому какому-то обвинению в грабеже».

— Как больной обращается к врачам, так и я обращаюсь к вам, господа юристы, помогите! — с дрожью головы и с дрожью в голосе говорил Красовицкий.— Снимите позор с моей седой головы!.. Я всегда был доволен своим сыном, я никогда не хотел иметь лучшего сына, чем мой Адриан, и вдруг... обвинение в грабеже, аре-

ствуют на улице, сажают в тюрьму, и только после этого вызывают меня в полицейскую часть... меня, чиновника, почти тридцать лет беспорочной службы!.. Согласно ли это с законами, господа юристы?

— А что же должна была сделать полиция, если грабеж был произведен кем угодно, хотя бы и вашим сыном, на улице, как-то очень дерзко, может быть даже среди бела дня, а? — спросил Савчук, приглядываясь к Красовицкому.— Какая тут была допущена, по-вашему, ошибка со стороны полиции и превышение власти?

— Нелепо это! — выкрикнул Красовицкий.— Что же, мой сын — из подонков общества, а не из культурной семьи? Чему же его учили в реальном училище семь лет, а? Грабежу, а?

— Действительно, это что-то странно,— заметил Кашнев.— Не вяжется со здравым смыслом.

— Вот! Вот именно — «не вяжется»! Я об этом и говорю, что не вяжется! — почувствовав поддержку себе, подхватил слова Кашнева Красовицкий.

Но Савчук, проницательно глядя на своего помощника, сказал:

— Раз вам кажется, что «не вяжется», вот и займитесь этим делом, Дмитрий Петрович! Главное, конечно, протокол: в чем суть преступления, при каких обстоятельствах задержан и прочее... А я,— обратился он к Красовицкому,— прошу извинения, занят свыше головы! — И даже показал при этом рукою, насколько именно свыше,— чтобы лично взяться за такое дело.

Кашнева же, напротив, разогрел убитый вид Красовицкого и его убеждение в невиновности сына. Он подумал даже: «Может быть, просто школьничество, отнял что-нибудь у товарища-одноклассника. Проступок, конечно, но не грабеж, тем более что на улице и днем».

Он как-то непосредственно с этого реалиста Адриана Красовицкого перенесся мысленно к своему Феде, который пока еще только разламывал разномастных лошадок из папье-маше, установленных на аккуратных дощечках с колесиками, а в восемнадцать лет, когда станет гимназистом восьмого класса, вдруг вздумает отнять у товарища, возвращаясь с ним из класса, какую-нибудь книгу, или лупу, или пачку папирос фабрики Лаферм,— и вот тебе это же будет грабеж и за это — в тюрьму и, конечно, неизбежное исключение из последнего класса.

Однако дело оказалось гораздо серьезнее, чем он думал.

Реалист Адриан Красовицкий, одетый в свою форменную шинель, в фуражке с желтым кантом и медным гербом, оказался почему-то, к великому изумлению Кашнева, не в стенах своего училища, а в городском банке, куда не принес никакого вклада и где ничего не надо было ему получать. Он подходил то к одному окошку, то к другому, но чаще всего останавливался около окошка кассира, выдававшего деньги по проверенным чекам, вид он имел при этом вполне беспечный и пробыл в банке недолго: он вышел вслед за пожилой дамой, получившей по чеку и спрятавшей в свой ридикюль довольно большую на вид пачку денег.

Банк помещался на втором этаже. На широкой чугунной лестнице, по которой медленно спускалась полная пожилая дама, ее нагнал Адриан Красовицкий, изо всей силы ударил ее сверху кулаком по голове и, когда она, охнув, упала на ступеньки, вырвал из ее руки ридикюль и выскочил с ним на улицу.

Быть может, ему удалось бы безнаказанно скрыться с ограбленным ридикюлем, но как раз в это время шел по улице и подходил к зданию банка новый в городе, откуда-то переведенный для пользы службы высокий и мощный на вид пристав третьей части, и как только пробежал мимо него великовозрастный реалист с дамским ридикюлем, выхватил свой свисток. По этому свистку стоявший на углу городовой кинулся на реалиста и задержал его, пока не подошел пристав и не сдавил так мощно руку реалиста, что ридикюль с деньгами упал на тротуар.

Грабеж был налицо: в полицейский протокол занесено было и показание потерпевшей дамы, едва приведенной в чувство и теперь лежавшей у себя дома в постели.

Когда, ознакомившись с делом Адриана Красовицкого, Кашнев поглядел своими «честными» глазами в глаза чиновника казенной палаты, тот опустил голову. Однако он тут же поднял ее и сказал как бы даже с оттенком гордости:

— И все-таки, по моему глубокому убеждению, это со стороны сына был не грабеж!

— Как же так не грабеж? — теперь удивился уже ему, этому седобородому слепцу, Кашнев, но тот ответил еще убежденнее:

— Не грабеж, а как нынче принято называть — экс-про-при-ация!

— Вы так думаете? В политических, стало быть, целях?.. В фонды партии?.. Какой же именно?

У Кашнева отлегло от сердца. Старый Красовицкий измучил его своим видом глубоко потрясенного человека, но вот он же сам и нашел объяснение тому, что сделал его сын. В это объяснение Кашнев поспешил поверить. А старик раздумывал вслух:

— В пользу какой партии, этого я не знаю, нет... Откуда же я мог бы и знать это? Разве он мне говорил когда-нибудь, что он уже связан с какою-то партией? Он очень способный, он начитанный, да... Он много читал! Математика, правда, ему не особенно давалась, а книг он перечитал бездну... бездну... Моя жена умерла пять лет тому... от рака... А я, конечно, на службе... Вот его, значит, и втянули.

Кашнев смотрел в морщинистое, осунувшееся, скуластое лицо, жалкое, недоумевающее, и в мозгу его уже составлялся план защитительной речи.

А сам говорил:

— Ваше волнение мне вполне понятно. Столько лет воспитывать единственного сына, довести его почти до студенчества и вдруг его лишиться таким страшным образом: уличный грабитель... бандит... это, конечно, ни на что не похоже... но если им руководили намерения идейные, то... это меняет картину... Но только во всех отношениях хорошо было бы мне повидаться с вашим сыном, притом так, конечно, чтобы и вы пошли вместе со мною: я для него незнакомый чужой человек, и мне одному он ничего не скажет.

— Я только этого и хочу сам, сам! — даже обеими руками схватил его руку Красовицкий.— Я даже сам хотел вас просить об этом!.. Именно мы вдвоем, а не я один и не вы один! Непременно нам надо вдвоем!

Дня через два разрешение посетить задержанного за грабеж было им дано, и Кашнев увидел Адриана лицом к лицу.

Перед ним был рослый молодой арестант, глядевший на него намеренно прищуренными глазами. У него была белая, нисколько не загоревшая за лето кожа на щеках и лбу, пухлые губы с надменно-презрительной складкой.

Очень удивило Кашнева с первого же взгляда на него то, что он не казался подавленным тем, что с ним случилось, и это еще более укрепило в нем догадку старого Красовицкого, у которого теперь выступили на глаза слезы.

— Адриан, Адриан! Что ты сделал! Как мог ты это сделать, а? Ведь ты убил меня, убил!.. Убил!..— бессвязно повторял отец.

— Ну вот еще пустяки какие: убил,— высокомерно отозвался на это сын.

— Я приглашен вашим родителем защищать вас на суде,— сказал ему Кашнев, но на это Адриан только протянул почти насмешливо:

— А-а!.. Защища-ать?.. Вот как!

Кашнев отнес и этот тон его к тому, что перед ним действительно молодой политический, считающий свой поступок хотя и не приведшим к удаче, но тем не менее героическим.

Поэтому он спросил его хотя и тихо, но внятно:

— Вы в какой партии состоите?

Действие этого вопроса было совершенно неожиданным для Кашнева: Адриан удивленно открыл глаза; они оказались у него серые, холодные и наглые.

— Пар-тии какой? Вот это та-ак!.. Это за-щит-ник!..

— Адриан! — выкрикнул отец.— Думай, что говоришь!

Тюремный надзиратель с окладистой бурой бородой и двое конвойных, бывшие тут же, оживленно переглянулись.

— Вам хочется знать, какой я партии? — обратился к Кашневу Адриан.— Я анархист-индивидуалист! Если, по-вашему, есть такая партия, то, значит, я к ней и принадлежу.

— Вы совершили грабеж в чью же пользу, хотел бы я знать?

— Странный вопрос! В свою собственную, конечно!

Говоря это, Адриан даже пожал плечами, не узкими для его лет.

— Значит, ты посягнул на чужую собственность,— повышенным тоном начал было отец, но сын перебил его хладнокровно:

— «Всякая собственность есть кража», сказал Прудон.

— Что это, а? Что это? — уже к Кашневу обернулся старик.

— Не знаю,— пробормотал не менее его изумленный Кашнев.

А тюремный надзиратель, погладив бороду, предложил ему догадливо полушепотом:

— Может быть, желаете прекратить свидание?

— Д-да, мне, в сущности, больше не о чем говорить.

Но Адриан продолжал говорить теперь уже сам, притом поучающим тоном:

— Всякое богатство начинается с грабежа в том или ином виде. Ты напрасно горюешь, папа! Тюрьма для меня тот же технологический институт. Буду со временем отличным грабителем, хотя и без диплома инженера...

— Что ты говоришь! Опомнись! — закричал и замахал в его сторону Красовицкий.

Тут надзиратель, взглянув на Кашнева, дал знак конвойным, и они увели Адриана.

XIV

— Вот, вы слышали,— он привел изречение Прудона,— совершенно убитым голосом говорил Красовицкий Кашневу.— Это значит, что он читал всякие эти брошюрки. А партию свою выдавать,— ведь это у них не полагается делать, раз партия нелегальная.

Кашнев колебался, поддержать его или сказать, в чем он убедился. Поэтому проговорил неопределенно:

— Молодость!.. Она очень чутка ко всяким влияниям...

— А кроме того,— продолжал Красовицкий, когда они подходили к остановке трамвая,— он вполне естественно опасается, конечно, что за экспроприацию будут судить гораз-до строже, чем за обыкновенный грабеж... В этом вопросе двух мнений даже и быть не может.

Кашнев припомнил свой прямой вопрос, обращенный к Адриану, и ему стало неловко за свою опрометчивость. А старик продолжал:

— Мой сын, конечно, иначе говорил бы, если бы я пришел на свидание с ним один, а при вас... да ведь еще и надзиратель тут был... по своей обязанности, разумеется... В такой обстановке он просто фрондировал, мой сын... Он,— я понял его,— хотел меня успокоить, что переносит свое несчастье легко, так сказать... «Не горюй, папа!» — он так и сказал,— вы слышали?

— Д-да, эти слова я слышал...— стараясь понять старика, соглашался с ним Кашнев.

В трамвае они молчали, а когда вышли на своей остановке, им пришлось проходить мимо дома, занимаемого полицейским управлением третьей части города, и тут, на крыльце, Кашнев увидел, подходя, какую-то огромную фигуру полицейского чина, очень ему знакомую,

но в то же время полузабытую. А Красовицкий, проходя, шепнул ему: «Этот самый пристав задержал Адриашу» — и подобострастно как-то приподнял фуражку. Пристав чуть кивнул ему больше бритым подбородком, чем головою, и они прошли, но Кашнев обернулся и увидел, что пристав очень внимательно глядит на него.

— Ну, знаете ли, я его где-то видел, этого пристава, только очень давно. Однако и тогда он тоже был пристав, а не кто другой... Вы говорили мне, что сюда переведен он, к вашему несчастью, недели две назад,— а как его фамилия?

— Дерябин,—поспешил ответить Красовицкий, и Кашнев вспомнил довольно отчетливо, как этот самый пристав Дерябин угощал его водкой, сардинами, еще какими-то консервами из мяса, гулкими раскатами своего голоса и избиением парней, певших на улице ночью украинские песни.

Вспомнив это, он обернулся снова, уже шагов за пятнадцать от крыльца, и увидел, что пристав так же, как и прежде, смотрел ему вслед.

— Что же это,— неужели он меня узнал, как я его? — спросил Красовицкого Кашнев.— Ведь прошло уже лет девять с тех пор... и я был тогда в офицерской форме, а не в штатском пальто и шляпе.

— Это мне, конечно, смотрит он вслед,— объяснил ему отец Адриана слишком пристальный и прилежный, долгий взгляд пристава Дерябина. И вдруг добавил: — Не подозревает ли он меня в соучастии с моим сыном, а?

— Ну что вы! В каком там соучастии!

— В политическом, конечно,— в каком же еще? От них всего можно ожидать, от этих блюстителей порядка! Вот в какое положение я поставлен!

Кашневу пришлось долго успокаивать старика, а про себя он думал, что от защиты его сына не зря отказался Савчук и что то же самое сделать необходимо и ему.

Он так и сказал своему принципалу, вернувшись от Красовицкого:

— Знаете ли, Иван Демидыч, от этого дела лучше всего отказаться.

— Вас никто и не принуждает за него браться,— глядя в сторону, отозвался на это Савчук.— Я вижу, что вам очень жаль старика, как отца неудачного сына, но-о! Закон есть закон, и открытый грабеж есть тяжкое преступление. И прежде чем решиться на такое преступление,

этому реалисту надо справиться, какому наказанию он подвергается... Грабеж да еще и с покушением на убийство! Можно сказать, усвоил курс реального училища! Дело во всех отношениях тухлое!.. Я вам советовал с ним познакомиться, но не советую за него браться.

XV

Прошло дня три.

Был теплый и тихий вечер, когда Кашневу пришлось проходить снова мимо управления третьей полицейской части.

Теперь никого не было видно на крыльце, но, пройдя уже это крыльцо, Кашнев услышал рокочущий голос:

— Пра-пор-щик Кашнев! Здравствуйте!

И увидел в открытом окне пристава Дерябина.

Остановясь и взявшись за шляпу, Кашнев спросил удивленно:

— Неужели вы даже и фамилию мою помните?

— О-бя-зан по-мнить! — раздельно проговорил Дерябин, добавив: — По долгу службы...— и протянул ему руку.

А когда Кашнев вложил свою руку в это мясистое теплое вместилище, они оба посмотрели пытливо друг другу в глаза. Наконец, Дерябин сказал:

— Если никуда не спешите, то...— и, не договорив, сделал пригласительный жест головою на бычьей шее.

— Никуда не спешу и зайти могу,— тут же отозвался на этот жест Кашнев, поняв это так, что Дерябин сам хочет поговорить с ним не о чем другом, как только о деле Красовицкого.

И вот во второй раз за свою жизнь сидел он хотя и в другом уже городе, но снова в квартире пристава Дерябина, сидел за столом, на котором пока ничего еще не стояло, кроме пепельницы в виде большой раковины причудливой формы, длинного чубука из матового янтаря и пачки папирос, разорванной небрежно.

— Вот где довелось нам встретиться через столько лет! — как будто даже и с радостными нотками в голосе заговорил Дерябин, будто знаком был с Кашневым когда-то очень коротко и близко, как будто это был, по крайней мере, его сослуживец по полку или по полицейской части.— Отлично вас помню я, да... Изменились вы, конечно, но-о... не так много, чтобы узнать было нельзя... А я?

— Вы?.. Вы стали старше на вид,— взвешивая слова, ответил Кашнев,— но даже, если бы не было на вас той же формы, я бы вас все равно сразу узнал.

— Были,— как мне слышать пришлось,— в Маньчжурии вы, а? — спросил Дерябин, сильно прищурясь.

— От кого вы могли это слышать?— насторожился Кашнев, но Дерябин только махнул в его сторону рукой, прибавив:

— Все должна знать полиция!

Кашнев понял это так, что Дерябин не у кого другого, как у Савчука, наводил о нем справки,— может быть, просто по телефону,— но упоминание о Маньчжурии было ему неприятно, и он постарался спросить, как мог, непринужденно:

— А вот как вы очутились здесь, а? Что я тогда попал в Маньчжурию,— это было вполне естественно, а что вы и через девять лет не исправником стали, например, а все тем же приставом остались, это уж...

— Тем же приставом! Каков? — перебил его Дерябин.— Да-ле-ко не тем же, милый мо-ой!.. Здесь я только на короткое время: стаж прохожу, как теперь стали выражаться!.. Исправ-ни-ком чтоб! Удивил!.. На черта мне исправником быть в каком-нибудь Кабыздохском уезде, когда я через два-три месяца помощником пристава столичной полиции намечен быть!.. Я сейчас — надворный советник, а тогда подполковник буду и на дальнейшее производство получаю права, а? Что? Карь-е-ра? — выкрикнул Дерябин ликующе.

— Карьера, да,— согласился Кашнев, а Дерябин продолжал упоенно:

— Года через три-четыре,— смотря по службе,— я уж буду пристав, то есть полковник! А это значит что, а?.. Значит это, что в отставку выйду я не иначе, как генералом,— вот что это значит, милый мо-ой!.. А вы мне — исправника в Чухломе! — И так это его развеселило, что он даже снисходительно захохотал.

— Но все-таки почему же именно здесь проходить вам надобно стаж? — полюбопытствовал Кашнев недоуменно.

— Вот тебе раз! Почему здесь? Да потому,— простота вы,— что через Симферополь государь в Ливадию следовать изволит,— вот почему! И он сам должен меня видеть, и министр внутренних дел, и вся вообще свита! В столичную полицию попасть,— это без протекции, ра-

зумеется,—это в прикупе все четыре туза чтоб,—вот что это такое «столичная полиция»!

— Однако кем-то из вышестоящих, выходит так, вам это уже обещано, значит? — спросил, чтобы все было для него ясно, Кашнев.

— Ну, а как же иначе? Служба моя была замечена там! — Дерябин поднял указательный палец.— И в девятьсот пятом году и позже... И ей подведен итог... В сумме получилась — столичная полиция...

— Так что Симферополь для вас это как бы трамплин, что ли, для прыжка вверх?

— Трамплин, да, вот именно, да, совершенно верно,— подхватил Дерябин.— Однако и вы, как я слышал, перешли сюда из Полтавы, где служили в акцизе, в каких же именно целях, как не в целях карьеры?

— Ну, какая же это карьера — помощник присяжного поверенного! — улыбнулся Кашнев, не удивляясь уже его осведомленности.— Разве можно ее сравнить с вашей? «Не нынче завтра генерал!» [1].

— Это... из какой-то пьесы вы, но ко мне подходит вполне! — как бы не заметив колкости в словах Кашнева, воодушевился Дерябин.— Вот, например, ожидается проезд через Симферополь королевы греческой с большой свитой в Петербург. Кого же назначить для встречи ее на вокзал, на дежурство? Только я и получу это назначение, как самый представительный из всех! Факт, я вам говорю!

— И ни акцизных чиновников, ни адвокатов на это торжество не пригласят, в чем я уверен,— не удержался, чтобы не вставить, Кашнев.

— Ну еще бы вас пригласили! — не сбавил тона Дерябин.— А могли бы, могли бы,— факт!..— И добавил вдруг, точно неожиданно вспомнил: — А я ведь полагал, что там, в Маньчжурии, вы отличитесь, получите Владимира четвертой степени или Георгия за храбрость, чин подпоручика... или целого поручика даже!.. Потом в Военную академию после войны... А уж Военная академия, милый мо-ой, это уж лучше для карьеры чего же и желать... Дай, думаю, помогу человеку, так очень вы мне тогда своей пылкостью по душе пришлись... И помог!

— То есть? Как и чем именно помог? — удивился Кашнев.

---

[1] Слова Фамусова о Скалозубе из второго действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

— Как же так «как» и «чем»? Да ведь это же по моей бумажке тогда вас в запасной батальон перевели!

— По вашей?

— Ну, разумеется!.. Я написал командиру вашего полка, что вы жаждою подвигов горите и желаете послужить родине!

— Вы?.. Спасибо вам! — пробормотал Кашнев.

— Не стоит благодарности,— серьезно с виду отозвался Дерябин, топя окурок папиросы в белом брюхе раковины.— А так как вы и там что-то засиделись, то я же написал командиру вашего запасного батальона, чтобы дал он вам возможность заработать отличие и чин...

— Вы не шутите? — не поверил Кашнев.

— Какие же в этом могут быть шутки? — очень искренне вырвалось у Дерябина.— Я, как бы сказать, судьбою вашей, фортуной вашей тогда был! Через кого могло привалить вам везение в жизни? Через меня могло повезти!.. Однако что-то у вас не вышло, но в э-том... в этом уж не я, конечно, виноват, а какое-то, как это говорится, стечение обстоятельств!

Кашнев вспомнил сразу и весь свой «крестный путь», и тыловые картины, и болото, в котором он чуть было не утонул во время ночного боя, и военный госпиталь... Поэтому на свою «судьбу-фортуну», пристава Дерябина, он поглядел совершенно ошеломленными глазами и сказал, понизив голос до полушепота:

— Это затем только вы меня пригласили сегодня к себе?

— Нет, не затем только! — сразу же, точно именно такого вопроса и ждал, ответил Дерябин.— Это я между прочим... Не в этом суть! Это — дело прошлое... А я хочу — по давнему с вами знакомству быть вашей фортуной и теперь тоже, да!.. И это потому я так, что видел вас с этой птицей-мымрой, Красовицким, вот почему!.. Предо-сте-речь вас хочу, по своей доброте душевной... Ведь город, как хотите, для меня новый, а единственный в нем старый знакомый оказались вы!

Кашнев смотрел не на Дерябина, а на носки своих ботинок и молчал: слишком неожиданно для него было все, что он услышал. Выходило так, что не попади он девять лет тому назад «в помощь полиции» по бумажке пристава Дерябина, его не перевели бы в запасной батальон, а потом даже из запасного батальона он все-таки мог бы не получить назначения идти с маршевой командой на Дальний Восток и на два года потом потерять в себе то-

го человека, которого выращивали в нем с раннего детства. Вся молодая жизнь его была изменена благодаря только вот этому грузному человеку с оглушительным рыком вместо человеческого голоса, и что он мог сказать ему в ответ? Решительно ничего! Сказать ему об этом? А зачем? Чтобы доставить ему лишнее удовольствие? Гораздо лучше просто встать и уйти, не дослушивать того, что не было еще им сказано. Однако чувствовал Кашнев, что не зря он заговорил о «птице-мымре». И, точно читая его мысли, вдруг выкрикнул Дерябин с подъемом:

— Эх вы, Аким-простота! По-ли-ти-ческое дело из самой паршивой уголовщины вам внушают создать, а вы-ы... сами лезете на крючок с такой тухлятиной! На мерзавце этом карь-еру свою адвокатскую строите?.. Кого вздумали жалеть? Птицу-мымру эту? Кар-теж-ника? Некогда было ему сыном заняться? Так он вам говорил? А каждый вечер в клуб уходить из дому и до полночи там в карты играть чтоб,— на это время он находил?

— Картежник он? — недоверчиво спросил Кашнев.— Неужели картежник?

— А вы не знали? То-то и есть!.. А шлюху уличную, с какой спутался этот Адриаша, вы видели? — торжествуя, кричал Дерябин.— Ради которой он и совершил грабеж двух с половиной тысяч, чтобы махнуть с нею на край света. Не видали, так можете поглядеть на это сокровище: сидит! И арестовал ее я!

— Об этом побочном обстоятельстве я ничего не знал,— пробормотал Кашнев.

— Хорошо «побочное», когда она «подбочная»!.. И самая главная!.. А иначе зачем было бы ему идти на грабеж с таким для себя риском? Шерше ля фам! [1] Вот он ее и нашел!.. Точнее сказать, она нашла этого выродка!.. А я нашел их обоих.

— Так по-вашему выходит, что он исполнял волю этой женщины? — спросил Кашнев.

— И даже бежал с ридикюлем не к отцу домой, а в ее подвальную комнатенку вонючую,— вот куда, если хотите знать! А там был для него приготовлен вольный кустюм-чик! Переоделся,— и готово дело! И поддельный паспорт в кармане есть... Не какой-то я там реалист Адриан Красовицкий, сын чиновника, а мещанин Подметулин Карп, по ремеслу своему кровельщик, двадцати лет. А в кулаке у него железная гайка зажата была,— я ее

[1] Ищите женщину! *(фр.)*

на лестнице около ограбленной нашел... А гайка эта, известно вам, зачем в кулак попала? Как следует стукнуть чтоб,— вот зачем! Он думал, подлец, что гайки этой его никто и не заметит,— ошибся, из молодых да ранний, будет эта гайка его на столе вещественных доказательств. Такая гайка, что череп могла бы пробить, если бы на даме этой не осенняя шляпка. А вы вдруг вздумали его спрашивать, какой он партии!

— Да, спрашивал,— подтвердил Кашнев.— А вы и это знаете?

— Полиция, она затем и существует на свете, чтобы все и о всех знать,— скромно сказал Дерябин, а Кашнев, поднявшись, чтобы с ним проститься, протиснул сквозь зубы с усилием:

— Благодарю вас.— И тут же добавил с подчеркнутой беспечностью: — Это очень интересно, что вы мне рассказали об Адриане Красовицком, но я ведь уже отказался от его защиты на суде... Вырожденец! Как можно его защищать?

— А если бы экс? — очень живо подхватил Дерябин.— Тогда бы вы, конечно, цветы красноречия рассыпали? — И рассмеялся густым, затяжным, добродушнейшим смехом, поднявшись тоже и провожая Кашнева до дверей.

Но, взявшись уже за скобку, чтобы отворить дверь и выйти, Кашнев вспомнил дерябинского попугая и спросил:

— А ваш какаду и здесь с вами?

— Что?! Попку у меня видали? Был! — вдруг просиял Дерябин.— Здорово ругаться умел по-русски! Кто-то его выучить постарался... Нет, сюда не взял, подарил там... И кому же подарил? Гу-бер-на-торше! Даме нежно воспитанной!.. Да вы ведь не спешите, сами сказали так,— куда же уходите? Посидите, старину вспомним!

И Дерябин взял Кашнева за плечи и повернул, чему тот не противился.

— Зачем человек на свете живет? Только затем, чтобы стать когда-нибудь генералом! — заговорил Дерябин, когда они снова сели за стол.— И вот я-то им стану,— решено и подписано,— а вы нет, хотя и старался я, чтобы стали и вы тоже! Окончить бы вам Академию генерального штаба,— и ничто уж тогда помешать бы вам не могло заработать генеральские эполеты! Губернатором бы тогда сделаться могли.

— И моя жена получила бы тогда от вас в подарок попугая-матершинника? — сказал Кашнев, не улыбнувшись.

Зато хохотом, заколыхавшим лампу, разразился на это замечание Дерябин.

— Во-об-ра-жаю!.. Во-об-ражаю, как она теперь с ним, а? Ни гостям его показать, ни самой слушать! А вы уж женаты, и даже сынище у вас есть, как я слышал?.. Что ж, я в молодости тоже был женат и тоже сынище у меня был... То есть, это не называется «женат», но-о... в этом все-таки роде было... Люблю женщин! — сказал он вдруг с чувством.— Особенно таких, какие с капризами. И, по-моему,— не знаю, как по-вашему,— женщина без капризов, что же она такое? Автомат? Кукла!.. Прошу простить,— не спросил: ваша жена как? С характером?

— Ей не полагается характера: она — классная дама здесь, в женской гимназии.

— Вон оно что-о! Классная дама если,— то вполне понятно!.. Прошу простить и к сердцу не принимать!

Тут в памяти Кашнева замелькало и закружилось что-то желтое, и он вспомнил дерябинскую Розу в желтом платье. Но только что он придумывал, как бы половчее спросить о ней, как шумно отворилась дверь и в комнату влетела, а не вошла, тонкая, стройная, молодая женщина, по-осеннему, но легко одетая, и, не обращая никакого внимания на Кашнева, крикнула визгливо:

— Ваня! Ты что же не прислал мне денег, как обещал? Безобразие какое!

Дерябин широко раскрыл глаза и тут же торопливо начал шарить в левом боковом кармане тужурки, откуда поспешно вынул одну за другой две десятирублевых бумажки и протянул женщине, не поднимаясь со стула, недовольно сказав при этом:

— Вот!.. Приготовил же и забыл. Только и всего: забыл!

— За-был! — протянула женщина, проворно пряча бумажки.— Безобразие! Я ждала, ждала!

— «Ждала, ждала»,— передразнил ее Дерябин.— Померла, воскресла, помчалась, получила и уходи!.. Ты видишь, что я занят?

— А мне начхать на это,— сказала женщина,— подумаешь, занят!

Кашнев пригляделся к ней. Она была на вид лет двадцати трех и, может быть, во вкусе Дерябина, капризна, но не было изящества в ее полнощеком лице, как не было

изящества в ее шляпке из темно-синего бархата, украшенной тремя багряными вишнями.

Женщина ушла, метнув в него огненный взгляд и не сказав ему ни «спасибо», ни «до свиданья», а Кашнев, поглядев ей вслед, даже и не спросил, кто это: он понял, что это — вроде желтой Розы.

Да и сам Дерябин, несколько моментов посидев нахмурясь, заговорил не о ней, а о тех двадцати рублях, какие ей дал.

— Двадцать рублей — это не две с половиной тысячи, как у вашего подзащитного! Нет! А той мерзавке вон сколько сразу захотелось добыть... чужими руками! Две с половиной тысячи — это писцу в моей канцелярии надо сто месяцев — восемь лет с лишком верой и правдой служить, чтобы их заработать! А тут нашла дурачка, получила бы и умчалась к черту на рога с такими деньгами, а дурака-молокососа бросила бы где-нибудь на узловой станции,— в Харькове, например,— на что он ей нужен?

— Она что же,— старше Адриана годами? — спросил Кашнев, представляя при этом только что бывшую в комнате женщину.

— Ну еще бы нет... Прожженная! Сквозь все медные трубы успела пройти! Она же и весь план грабежа обдумала до мелочей, а этот анархист, как он себя называет, только похождений разбойника Антона Кречета начитался. Продавались такие книжечки, по пятаку за выпуск, и даже иные барышни посылали за ними к газетчику прислугу. Романтика! Вот это она самая и есть: романтика! Так в «Московском листке» сочинитель Пастухов «Похождения Васьки Чуркина» печатал, и «Московский листок» нарасхват покупался. Никак не могла пастуховская полиция этого Ваську Чуркина сцапать, пока, наконец, генерал-губернатор ей этого не приказал. Тем и кончились для газетки счастливые дни, а то было вон как на Ваське Чуркине разбогатела! Но-о, скажу я вам на ухо,— гаркнул вдруг пристав,— близко уж такое подлое время, когда этих антонов, васек, адрианов разведется тьма-тьмущая, и вот когда понадоблюсь я, пристав столичной полиции полковник Дерябин!

И гордо поднял он голову и посмотрел вполне победоносно, как застоявшийся могучий конь, выведенный конюхами из конюшни на показ усатому ротмистру ремонтеру.

XVI

— Собери на стол! — коротко приказал Дерябин белобрысому, быстроглазому молодому городовому, вошедшему на его звонок.

Городовой притворил в комнате ставню, щелкнул штепселем, и комната озарилась матовым мягким светом.

— Хотите ужинать? — спросил Кашнев, поднимаясь,— Ну, а я пойду уж, и без того засиделся.

— Что вы, побойтесь бога! — умоляюще сложил перед собой руки Дерябин.— Пойдете к жене своей, которую видели ведь сегодня, как и каждый день, а меня сколько лет не видали!.. И разве же подобает вам это, адвокату, защитнику человеков, взять вот так и уйти...

— От своей судьбы! — закончил за него Кашнев.— Д-да, говорится не так почему-то: «От судьбы не уйдешь».

— Правильно говорится! Не уйдешь! — одушевясь подхватил Дерябин, беря его за плечи и сильно давя на них, чтобы он опустился на стул.

— Остаюсь, буду вновь вашим гостем,— как бы про себя и глядя на затейливую раковину, говорил Кашнев,— но это не потому, что... проголодался, а потому...

— Что я вам открыл глаза на вашего подзащитного и на его папашу! — договорил за него Дерябин, видя, что он запнулся.

— Д-да, хотя бы и так,— согласился с ним Кашнев, думавший о себе самом.

На столе появилась скатерть с синими разводами; зазвякали тарелки, ножи, вилки, стаканы; заняли свое законное место в середине две бутылки вина. Быстроглазый городовой делал привычное для себя дело с большой расторопностью, как по уставу. И стоило только Дерябину кивнуть на бутылки с вином и сказать: «Добавь!»— как появился еще и графин водки.

Кашнев наблюдал это приготовление к ужину молча, думая все о том же своем: о своей судьбе, которая сидела против него за столом и имела непреоборимо мощные формы.

«Моя жизнь могла бы сложиться совершенно иначе,— думал он, глядя на выпирающие из форменной тужурки плечи и грудь Дерябина,— если бы не вот этот человек встретился случайно мне на пути... Я мог бы, прежде всего, не попасть в какой-то запасной батальон,

как не попали многие прапорщики полка, где я служил, это раз; я мог бы остаться даже и в запасном батальоне до конца войны, уже близкого в мае девятьсот пятого года, но неусыпно следивший за мною вот этот пристав послал командиру батальона какую-то подлую бумажку,— и начался мой крестный путь!..»

Кашнев приписывал прежде это свое последнее назначение в маршевую команду тому генералу, который председательствовал на суде над рядовым Щербанем, но оказалось, что не этот генерал, сам по себе человек добродушный, а вот именно он, этот пристав, был виновником всех его бед...

Отвечая этим своим мыслям, он сказал про себя, хотя и вслух:

— Вы сказали мне, что ваше искреннее,— я подчеркиваю это: искреннее желание было сделать мне добро тогда, во время японской войны,— чтобы непременно я выслужился там, в Манчьжурии, получил бы возможность держать экзамен и поступить, конечно, в Академию генерального штаба, чтобы сделать со временем военную карьеру... Допустим, что это, с вашей стороны, было действительно так... Примем за чистую монету. Но откуда же это померещилось вам, что я-то сам должен стремиться непременно к военной карьере? Если бы я хотел этого, то пошел бы в военное училище, а не в прапорщики запаса, не так ли? Я был еще очень молод тогда, а молодых, случается, прельщает военная форма, да и женщины, как известно, «к военным людям так и льнут, а потому, что патриотки...» [1]. Но я смолоду, как и теперь, человек невоинственный, и не следовало вам, судьбе моей, как вы сами себя назвали, насильно гнать меня делать то, к чему я по натуре своей совершенно неспособен.

Проговорив это, Кашнев в упор посмотрел в выпуклые серые глаза Дерябина. Но Дерябин был устроен так, что смутить его ничем было нельзя, и в этом убедился Кашнев, когда сказал тот на низких нотах и далеко даже не в половину своего голоса:

— Вы ошибаетесь в этом: я отлично все понял и отлично знал, что я такое делал... Я вас спасал, если хотите знать, и, увидя вас рядом с птицей-мымрой, очень был рад, что спас! Вот за это сейчас с вами и выпьем, за спасенье раба божия Димитрия!

---

[1] Слова Фамусова из второго действия «Горя от ума».

И он налил две рюмки водки и одну протянул Кашневу.

— В сущности я ведь не пью,— поморщился Кашнев.

— Но за спасение свое должны выпить! — требовательно сказал Дерябин.

— Не пойму, за какое такое спасение!

— Не понимаете? Неужели не понимаете? А во время революции вы где именно были и что делали?

— Где был тогда?.. Лежал в военном госпитале.

— Ранены были?

— Нет, не от раны лечился... От ревматизма ног... и от сильного нервного расстройства,— с усилием выговорил Кашнев: в последнем ему признаться не хотелось.

— Вот!.. Военный госпиталь!.. Не Военная академия, так военный госпиталь. Этим самым вы, значит, и спаслись!

— От чего же именно спасся? — все еще недоумевал Кашнев.

— От участия в революции,— объяснил ему Дерябин.— А то вас непременно бы втянули в это самое участие, это уж вы мне не говорите, что нет! Я вас, как облупленного, насквозь тогда видел: втянули бы за милую душу, и вы бы попали как кур вó щи! Вот что, милый вы мой, имейте в виду. А теперь, благодаря мне тогда, вы вот сидите у меня за столом, и служим мы с вами в одном ведомстве.

— Как это так «в одном ведомстве»? — почти возмутился Кашнев.

— В одном ведомстве,— факт, я вам говорю! — хладнокровно ответил Дерябин.

— Вы — в министерстве внутренних дел, а я — в министерстве юстиции, если уж причислять меня к какому-нибудь министерству,— разграничил было себя от него Кашнев, но Дерябин захохотал густо:

— А не один ли черт, скажите на милость! Пишется «Ливерпуль», читается «Манчестер», пишется «министерство юстиции», читается «министерство внутренних дел»!

— Гм... Вон вы какого мнения о министерстве юстиции! — не то чтобы удивился, а только сделал вид, что удивился, Кашнев и добавил: — А вы, стало быть, во время революции отличились?

Он попытался даже вложить в свой вопрос самую большую дозу язвительности, но Дерябин ответил не без достоинства:

— В моей части никаких выступлений против правительства не было!

Кашнев посмотрел на него внимательно и сказал:

— Этому поверить можно.

— И поверьте,— отозвался Дерябин,— и давайте еще по одной.

— Нет уж, меня увольте.

— Не зарекайтесь! Узнайте сначала, за что выпьем... За исполнение моей давнишней... как бы это сказать... только ни «мечты», ни «фантазии» сюда не подходит: — жениться на графине!

— Гм... Графини, конечно, всякие бывают,— криво усмехнувшись, заметил Кашнев.— Бывают молодые, красивые, богатые, а бывают ведь и так себе, ни то, ни се: и не молоды, и не красивы, и не богаты...

— Нет-нет! — удержал его за руку Дерябин.— От второго варианта меня избавьте,— только первый, как вы вполне точно указали: молода чтоб, красива чтоб, богата чтоб!

— И чтобы непременно графиня?

— На меньшем не помирюсь!

— И достигнете цели?

— И непременно достигну!

— Ну что ж... Желаю успеха!

— Вот! Желаете?.. Верно! За это и выпьем!

Кашнев невольно взялся за свою новую рюмку и чокнулся и, только выпив через силу и закусив сардинкой, спросил:

— Не понял я все-таки, почему же именно на графине?

— А почему бы графине не выйти за меня замуж, если в руках моих будет большая власть? — расстановисто спросил в свою очередь Дерябин.— Если она, допустим, лет уже тридцати — тридцати двух, притом же, скажем, вдова, и дела по имению у нее запущены, и нуждается она вообще в человеке, на которого могла бы опереться,— а на меня-то уж можно, я думаю, опереться, то почему же нет?

— Все это я в состоянии понять: и вдову, и запущенное имение, и чтобы опереться, только вот «графиню» не совсем понимаю!

— Как же так этого не понять? Вот тебе раз!.. А потомство?.. По моей мужской линии — потомственные дворяне, а по женской, по ее линии,— графини... Что?

— А-а,— понятливо протянул Кашнев.— Значит, вы рассчитываете на большое потомство...

— Именно, да! В этом и есть весь смысл жены графини... Этим род мой будет введен в знать, а где знать, там власть!.. А где власть, там и все блага жизни!.. И если я говорю с вами об этом вот теперь, это потому, как объяснял уже, что город для меня новый, и вы оказались единственным здесь,— поймите,— единствен-ным, кто меня знает не со вчерашнего дня!..

— А что же, собственно, мог я о вас узнать тогда, девять лет назад, и за один только вечер?

— Узнали, что я шел, а теперь видите, что иду к своей цели!

От идущего к своей цели пристава Дерябина Кашнев ушел поздно, а придя домой, этим поздним возвращением очень обеспокоил Неонилу Лаврентьевну.

XVII

Весь следующий день Кашнев как бы вел в себе самом упорную борьбу с нахлынувшим на него вновь, как девять лет назад, приставом Дерябиным. Но если тогда он был только ошеломлен им, то теперь к ошеломленности прибавилось еще что-то, похожее на испуг.

Он не хотел называть этого ощущения испугом: даже перед самим собой он пытался казаться и опытнее, и тверже, и дальновиднее, чем был; однако то, что открыто ему было так, пóходя, между прочим, этим глybоподобным приставом,— не какая-то нелепая случайность.

Не слепая судьба,— с завязанными глазами, как ее изображали художники,— а вот этот пристав с его подлыми бумажками явился причиной его злоключений... И вот эта причина снова здесь, стоит рядом с ним и смотрит на него, хотя и лупоглазо, как бы близоруко с виду, но на самом деле придирчиво-зорко. И вновь, как и тогда, могут пойти от него, пристава Дерябина, бумажки о нем, Кашневе, и может вновь получить уничтожающий толчок кое-как налаженная, пусть и скромная во всех отношениях жизнь.

И мало того, что вновь сломает жизнь, но еще и скажет, что спасал тебя от каких-то величайших несчастий.

— Есть старый греческий миф о людоеде Минотавре, обитателе Лабиринта на острове Крите,— говорил за обедом жене своей Кашнев.— Вот будто у такого Ми-

нотавра я вчера и побывал в гостях. Я остался жив, но он дал мне понять, что съесть меня может, когда угодно, когда явится у него аппетит. И в это вполне можно поверить, так как это чудовище, Минотавр этот в полицейской шкуре, однажды чуть было не проглотило меня, а зубами своими измяло сильно: чувствую это на себе до сих пор...

Он смотрел на Неонилу Лаврентьевну, как на самого дорогого человека в мире, ее умные, светлые, спокойные глаза не променял бы он ни на какие глаза графинь, витавших в мечтах пристава Дерябина. Вот тянулся к ней сидящий за столом крохотный Федя, держа в пухлых ручонках пышный черный хвост, выдранный из нового коня гнедой масти, и говорил победоносным тоном:

— Мама! Смотри!

— Ах, озорник! Ну и озорник растет! — говорит Алевтина Петровна, внося с кухни сковороду с чем-то дымящимся,— не то сырниками, не то жареной печенкой. Она глядит на внука белыми глазами своими и притворно сердито и добродушно — любуясь, умея както делать это в одно и то же время.

Обыкновенная комната в самом скромном на вид с улицы одноэтажном доме, обыкновенный домашний обед, обыкновенный двухлетний ребенок, но это — все, что подарила ему, Кашневу, жизнь. Однако даже это может показаться совершенно незаслуженным Минотавру, стремящемуся к генеральству (хотя бы и в отставке), пишется им бумажка, и кто-то по этой бумажке за глаза начинает о нем «дело», как будто это он ударил по голове пожилую женщину и вырвал из ее рук ридикюль с двумя с половиной тысячами рублей.

— Как вы полагаете, Алевтина Петровна, можно за две с половиной тысячи немудреный домик построить? — обратился к теще Кашнев.

— Ну еще бы нельзя! — так вся и вскинулась седоволосая Алевтина Петровна.

— Может быть, даже и за две можно?

— Теперь так: если самому за всем глядеть,— за матерьялом, за рабочими, а подрядчик в это чтобы не мешался, то и за две люди себе строят!

И теща глядела на зятя такими загоревшимися, ожидающими глазами, что ему даже неловко было охлаждающе сказать ей:

— Это я так вообще спросил: в моей адвокатской практике всякое знание бывает полезно.

В пять часов закрылась контора, в которой работала бухгалтером Софа; чтобы не слишком беспокоить других в квартире, она с приходом надевала на свой костыль резиновый наконечник.

Кашнев представил, что вот и на нее, его свояченицу, без которой он не мог уже представить своей семьи, косвенно может обрушиться несчастье, благодаря заботе о нем неусыпного пристава третьей части, и остро заныла в нем большая жалость к этой изувеченной, но гордой девушке, похожей лицом на его жену, и он почувствовал к ней самую большую нежность, на какую только был способен.

— Я не герой, конечно,— говорил в этот день поздно вечером Кашнев Неониле Лаврентьевне.— И тебе было известно, что я — самый обыкновенный средний человек, акцизный чиновник. Больше никуда не пригодился в жизни. Война ошеломила меня. Я потерял девять десятых прежнего себя за время, когда стал участником войны. И я ведь не обещал тебе никаких золотых гор, ни того, что ты станешь когда-нибудь генеральшей. Власть над многими людьми? Нет! Это меня всегда пугало даже, а не то чтобы привлекало. И даже постройка дома,— если даже допустить, что когда-нибудь мы с тобой доживем до этого,— я скажу тебе наперед, что буду обходить ту улицу, на которой будут рабочие строить нам этот дом. Меня будет пугать уже одно то, что какие-то плотники, каменщики, штукатуры, кровельщики, печники, маляры будут делать это не для себя, а для меня, которого они совсем не знают, который им, как человек, совсем не нужен... А вот приставу этому, Дерябину, и я оказался нужен, как почему-то все люди кругом. И здесь, в нашем городе, ему тесно,— давай ему Петербург,— столицу России! Он самой природой создан для того, чтобы командовать, кричать, наводить порядок, ловить на улицах воров и грабителей, покупать женщин за двадцать рублей... И ему не перечь! Он — судьба сотен людей, а стремится к тому, чтобы стать не кем иным, как судьбою тысяч! Откуда в нем такая закваска? Этого я не пойму... Да и зачем мне ломать голову над этим? Однако вот такими и держится вся наша жизнь!

— А как дело с реалистом Красовицким? — спросила Неонила Лаврентьевна, чтобы отвлечь его от явно тяжелых для него мыслей.— У нас в гимназии говорят, что он произвел нападение на даму в банке, чтобы по-

крыть карточный долг отца: отец его будто бы проигрался в клубе...

— Неужели говорят и такую чушь? — изумился Кашнев.

— Я так слышала мельком от одной нашей учительницы... Мне тоже показалось чепухой это,— однако же вот сочиняет же кто-то в таком духе...

— Во-первых, старый Красовицкий совсем не похож на какого-то записного картежника,— вспоминая картежников-офицеров, начал пылко опровергать этот слух Кашнев.— Картежники — народ бесшабашный и приверженный вдобавок к спиртному, а этот...

— Да говорят, что и Красовицкий тоже порядочный пьяница,— вспомнила Неонила Лаврентьевна.

— Я видел его раза три,— он был совершенно трезвый... только что походил на пьяного, потому что очень убит был горем. Если я доживу до такого ужаса, что с нашим Федей случится то же, что с Адрианом Красовицким...

— Замолчи, пожалуйста! — протянула руку к самым его губам Неонила Лаврентьевна, но Кашнев все-таки закончил:

— То я тоже буду казаться всем пьяным!

XVIII

Однако, когда через день после того встретил его на улице Красовицкий и заговорил о возможностях защиты сына, Кашнев отозвался на это сухо:

— Мне кажется, слишком забегаете вы вперед, так как дело вашего сына только что передано судебному следователю, у которого много подобных дел,— значит, вестись они будут долго. И в окружном суде много дел ждут еще своей очереди... Так что дело вашего сына могут назначить к разбору когда же? К весне только, может быть, а может, и позже.

— Неужели все это время должен сидеть мой мальчик? — испуганно спросил Красовицкий.

— А как же иначе?.. Наивный вопрос!

— Да, наивный... Согласен с вами... Мне кажется даже, что я помешался,— пробормотал Красовицкий.— Сам не понимаю, что говорю.

— Вы бы полечились,— участливо посоветовал Кашнев.— Не со мною о сыне вам надо бы говорить, а с врачом о себе... Я однажды был в подобном состоянии, и

меня лечили... в военном госпитале. Так что ваше состояние я понимаю, но я ведь не врач и не могу прописать вам бром и тому подобное, чтобы вы спали, сколько следует, чтобы вы пришли в себя... Что пропало, того бессонницей вы не вернете...

— Бром, вы говорите? Это я иногда пью, только он, бром этот, мне уж не помогает,— проговорил Красовицкий, длинный нос которого заметно для Кашнева заострился.

«Птица-мымра»,— по-дерябински подумал, глядя на этот нос, Кашнев и, вспомнив про то, что Красовицкого не один Дерябин называл картежником, заметил сухо:

— Игра в карты еще меньше может вам помочь, чем бром.

— Я разве хожу теперь играть в карты? — так и вскинулся Красовицкий.

— Не знаю, как теперь, но раньше-то, говорят, часто играли! И даже не так давно в проигрыше были сильном,—безжалостно на этот раз, но из желания знать, верен ли этот слух, сказал Кашнев.

— От кого вы слышали, что в проигрыше большом? — воззрился на него воспаленными глазами Красовицкий.

— Да там уж от кого бы ни слышал,— но, значит, правда?

— Я покрыл этот проигрыш! Пусть не сразу, но все равно,— весь покрыл! — запальчиво и с достоинством, как и не ожидал Кашнев, выкрикнул старик.

Кашневу все не верилось прежде, что этот убитый горем отец будто бы был картежник. Картежников он возненавидел еще со времен войны. Поэтому теперь, когда сам Красовицкий подтвердил ходившие о нем слухи, Кашневу сделался он неприятен, и он совершенно непроизвольно проговорил:

— Прокурор на суде в своей обвинительной речи не упустит случая задеть и вас!

— То есть как именно меня?.. Я верой-правдой тридцать почти лет служил...

— Речь будет идти не о вашей службе, конечно, раз вы прослужили столько времени в здешнем казначействе, то и для прокурора будет ясно, что вы были исправный чиновник, но служба ваша службой, а сын сыном: почему сын стал преступником? Ведь прокурор может даже съязвить на ваш счет, что сын, мол, имел желание помочь отцу погасить его карточный долг, поэтому...

Кашнев не договорил, так как старик вдруг схватил его костлявой своей рукою за лацкан пиджака и крикнул:

— Я слышал эту гадость! Не повторяйте!

Он тут же отдернул руку, но Кашнев не удержался, чтобы не сказать:

— Вот видите, вы уже начинаете прибегать к сильным жестам!.. Лечиться надо,— это я вполне серьезно вам говорю. Врач вам лично может еще помочь, но никакой адвокат, поверьте мне, не в состоянии помочь вашему сыну... Грабеж с покушением на убийство,— это ли не серьезное преступление? Ведь в руке у вашего сына, как выяснено, большая гайка была зажата. Потерпевшая и сейчас еще лежит в постели: что, если будет у нее сотрясение мозга?

— Так, значит, вы отказываетесь защищать моего сына? — глядя совершенно безумными глазами, но теперь уже тихо проговорил старик.

— Не могу придумать облегчающих вину обстоятельств,— уклончиво ответил Кашнев.

— Что же, буду искать другого!

— Желаю удачи!.. Хотя повторяю, что очень преждевременно это. Следователь только что получил это дело, но следствия, как мне известно, пока еще не начинал.

— Зря, значит, обращался я к вам,—резким тоном сказал старик, отходя, и не только не протянул ему руки на прощанье, но даже не прикоснулся ею и к своей форменной фуражке с кокардой на тулье и с зеленым бархатным околышем.

XIX

Через неделю после того, как Кашнев отказался от защиты Адриана Красовицкого, Савчук с видом человека, наперед знавшего, как может окончиться это дело для старика отца, сказал своему помощнику:

— Есть слух, что повесился этой ночью!

И Кашнев сразу понял, о ком говорит Иван Демидыч.

— Пил, наверно? — спросил Кашнев.

— Запьешь с таким сыночком! — сказал Савчук, блеснув карими с желтизной глазами, и перешел к делу, какое готовился вести вскоре в суде.

Но, придя домой и услышав теперь уж от жены, что в эту ночь повесился старик Красовицкий, Кашнев разволновался. Он сказал жене:

— Не виноват ли, нечаянно, конечно, и я отчасти в его смерти? Ведь мог бы я не так сразу и не так резко отказаться от дела его сына, но кто-то меня ожесточил как раз перед этим... А кто еще, как не пристав третьей части Дерябин. Это он мне наговорил всего и о сыне и об отце тоже... Не зазови меня тогда к себе Дерябин, я бы не был так откровенен со стариком, и, может быть, у него обошлось бы, а? Острый период его переживаний прошел бы, для этого времени было бы довольно: ведь когда-то еще начался бы судебный процесс?.. Старик искал у меня хоть какой-нибудь поддержки, а я, выходит, его безжалостно оттолкнул! Скверно вышло с моей стороны.

Неонила Лаврентьевна своими доводами не могла его успокоить даже и после похорон старика Красовицкого: он был возмущен тем, что следователь опечатал его квартиру, чтобы в ней произвести обыск.

А дней через десять после этих похорон Кашнев узнал, что в городе сделала остановку в своем путешествии в Петербург греческая королева с большою свитою.

О том, что она пожелала остановиться здесь с тем, чтобы подкрепиться обедом, заранее, конечно, был извещен губернатор, но всего только за четыре часа; обед же должен был быть сооружен не где-нибудь в ресторане, что особа царствующего в Греции дома могла бы счесть для себя унизительным, а только в губернаторском доме. И вот тут-то, когда и полицмейстер и сам губернатор оказались в большом затруднении, выручил их не кто иной, как новый пристав третьей части Дерябин.

Он, самый представительный из всех чинов полиции,— оказался и самым распорядительным. Хотя и недавно попал в Симферополь, все-таки нашел способы в вечерние часы достать провизию и поваров, чтобы приготовить обед вовремя и на славу. А главное, обед обошелся не так дорого, как думали все, считая глазами огромную свиту королевы. За проявление таких хозяйственных талантов губернатор потом, усадив в вагон королеву, при всех благодарил Дерябина.

Как-то в середине ноября Кашнев, проходя по скверу, ведущему к вокзалу, увидел кавалькаду из трех парных извозчиков, причем в фаэтонах разместились одни только чины полиции. В первом фаэтоне сидел сияющий, как именинник, Дерябин.

Охваченный радостной догадкой, Кашнев, хотя шел от вокзала к себе домой, повернул обратно.

Стараясь быть как можно незаметнее, затеряться от зорких глаз Дерябина в толпе, Кашнев вскоре убедился в том, что догадка его оказалась верна: сослуживцы провожали пристава третьей части, получившего перевод в столичную полицию: об этом говорили с рюмками в руках за столом, об этом говорила и публика на вокзале.

Это событие решил отпраздновать и Кашнев. По дороге домой он купил бутылку вина и, садясь обедать, поставил ее, к удивлению жены и тещи, на стол весьма торжественно и, непривычно для них, радостно улыбаясь.

— Что такое случилось с тобою, Митя? — спросила Неонила Лаврентьевна.

— Оправдали кого-то в суде после вашей речи? — спросила Алевтина Петровна.

— Нет, сегодня я не был в суде и не выступал с речью,— весь лучась, сказал Кашнев.— Я был на вокзале и видел там, что моя судьба, мой злой рок, пристав Дерябин уезжает в Петербург, откуда, надеюсь, никаких злостных бумажек обо мне писать не будет!

<1910, 1956>

ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НЕУДАЧНЫЙ СЕАНС

I

Улицы пели.

Улицы начинали петь с утра, когда нищие стучали палками в рамы окошек и выводили унылыми голосами, как могли жалостней:

— Подайте милостыньки, ради Христа-а.

Нищие проходили медленно, отягощенные годами, мешками, увечьями. У них были облюбованные дома, где им подавали и куда они стучали уверенно. Не во всякое окно можно было стучать палкой, да и население тут было разноплеменное, разноверное,— это был южный город.

Другое дело зеленщики: в них нуждались одинаково почти все хозяйки. Забота о завтраке, об обеде,— а тут вот они, те самые, о ком думалось.

Походка их была деловая, голоса у них были бодрые, большей частью басовитые, убежденные в прочности своего дела на земле, и выводили они очень старательно:

— Цветна капу-у-уста!.. Огурцы, помидо-о-оры!

Конечно, это были ранние овощи, выращенные в парниках, а не то что на огородах, поэтому зеленщики имели завидно горделивый вид.

Однако неунывающие голоса имели и заливщики калош. Эти, кажется, считали даже своей обязанностью иметь именно заливистые голоса, раз только им приходилось петь:

— За-ли-ва-а-аю старые кало-о-оши!.. Эхх, ста-а-арые калоши залива-а-аю!..

Выигрывали они на том, что преобладал в их пении такой полноголосый сам по себе звук, как «а», в котором и торжество, и солнце, и радость.

Пели и точильщики. Правда, почему-то повелось, что точильщики здесь были люди все пожилых лет, и для них

явно нелегко было таскать на себе свои точила. Вид они имели чаще всего усталый, голоса тоже, и хотя полезность свою отчетливо сознавали, но особенного старанья в пенье не вкладывали, тем более что точило всякому на улице видно. У них выходило гораздо менее вдохновенно, чем у заливщиков калош:

— Точи-ить ножи — но-о-ожницы... бритвы пра-авить!

«Бритвы править» брали они почему-то в терцию ниже, чем «точить ножи — ножницы», и смотрели по сторонам не очень внимательно.

Лучшими из подобных уличных певцов были мороженщики.

Должно быть, какой-то особый задор подмывал их, когда они щеголевато проходили по улицам. Они чувствовали себя, вероятно, артистами перед публикой уже потому, что поди-ка кто, попробуй, прогуляйся не с каким-то там точилом на плече или за спиною или и вовсе с дырявыми калошами под мышкой, а с тяжелой, полной мороженого кадушкой на голове, отнюдь не поддерживая эту кадушку рукой, да так пройдись, чтобы не сбиться с ноги, точно идешь в строю под музыку.

Ты не замухрышка,— на тебе, как полагается, белый фартук, к тебе, как мухи к меду, липнет уличная детвора, на тебя умильно глядят девицы, а ведь под ногами может быть и некстати выдавшийся булыжник на мостовой (нельзя было ходить с мороженым по тротуарам, — полиция запрещала), и кирпич, и разбитая бутылка, и их надобно видеть, чтобы не споткнуться и не уронить наземь свое богатство, и под тяжестью давящей на голову кадушки надобно петь так, чтобы всем, даже и в домах с закрытыми окнами, было хорошо слышно, и как лихой вызов всем этим многочисленным препятствиям взвивались вверх звончайшие теноровые вопли:

— Во-о-от са-а-а-ахарная-я мо-ро-о-о-ожена-я-я...

И долго и самозабвенно звенело, реяло в воздухе «а-а-а», «о-о-о», «я-я-я», однако певцы не довольствовались этим, им казалось совершенно необходимым закруглить эту призывную восторженную мелодию отрывистыми, как удары барабанов, выкриками:

— Мороз! Мороз! Мороз!

В летний день, когда люди изнывают от зноя и ищут прохлады, неплохо бывает, конечно, напомнить им о морозе.

Мороженщики были виртуозы, и состязаться с ними не могли, конечно, слободские бабы и девки, продавав-

шие вразнос сначала клубнику, а потом черешню, малину, вишню, абрикосы, груши, тем более что и голоса у них почему-то были необработанные, с хрипотой и низкого тембра, и чувствовали они себя с лотками и корзинами не совсем удобно, и ходить по городским улицам не в праздничном наряде и не с полными карманами подсолнуха было не всем им привычно.

Они тянули однообразно:

— Клубнички садов-ой, клуб-нички-и!

Или несколько позже сезона клубники:

— Вишени садовой, ви-и-ишени-и!

Особенного увлечения пением не чувствовалось у них, но все-таки вносили они в общий поток уличных звуков и свою очень заметную струю.

Старьевщики, люди по большей части старые, прижимистые, черствые, тоже пытались петь:

— Ста-арые вещи покупа-аю!

Порядочных голосов ни у кого из них не было, и это пение было, пожалуй, сознательно безрадостное, чтобы показать полное презрение ко всем вообще старым вещам, которые кому же в сущности нужны? Только зря загромождают комнаты и портят настроение людям, и вот, пожалуй, что ж, так и быть, они, безрадостные певцы, могут от этого хлама избавить.

И вид у старьевщиков был наигранно скучающий, даже брезгливый, но они не пропускали ни одного дома, умело действуя своими крепкими палками, когда на них накидывались собаки.

Впрочем, тут были еще и другого рода старьевщики — казанские татары, у которых, кроме палок, имелись еще и свои мануфактурно-галантерейные магазины за плечами, чрезвычайно искусно запакованные в широкие холщовые простыни. Коричневые раскосые лица их под высокими черными шапками были совершенно бесстрастными, и пели они без малейшей выразительности, но с серьезностью чрезвычайной:

— Ха-алат — хала-ат!

Потом шла длинная пауза, потом снова точь-в-точь так же, как и прежде:

— Ха-алат — хала-ат!

Это надо было понимать так, что они выменивают старые вещи на свою блестящую неподдельной новизной галантерею и мануфактуру.

Трудно перечислить всех певцов, появлявшихся на улицах этого города летом 1914 года.

Но, кроме этих певцов-отсебятников, выступали иногда и заправские певцы, целые хоры певцов, торжественно шествовавших по улицам, когда требовалось, например, сопровождать на кладбище тело покойника из богатого дома.

Какое потрясающее «Со-о свя-тыми-и у-по-кой...» могучее колыхалось тогда в воздухе!.. Казалось, непременно должны были слышать его даже и те, за кого просили эти басы, которым явно тесно было между стенами домов, эти тенора, рвущиеся в небо, это духовенство в черных бархатных ризах, украшенных тусклым серебром...

Но пели и команды солдат, когда мерным и звучным шагом шли по улицам. Оставив небеса усопшим, они пели под шаг о земном забористо, лихо, с присвистом, во всю грудь:

Сол-да-тушки, браво-ребятуш-ки,
Где же ва-а-аши жены?
— Наши жены — ружья заряжены,
Вот вам на-а-аши жены!

Солда-тушки, браво-ребятушки,
Где же ва-а-аши сестры?
— Наши сестры — штыки-сабли востры,
Вот вам на-а-аши сестры!

Пели и колокола на всех городских колокольнях в праздники и накануне их. Только посвященные в это дело люди знали, как соперничали между собою мастера своего дела — звонари и сколько тонкости и любви к своему ремеслу они вкладывали в колокольный звон, целыми реками звуков разливавшийся по улицам, густо и упруго.

Но не только пели улицы, они еще и сверкали то здесь, то там, они переливисто играли в гамме то пленительно теплых, то притушенно холодных тонов,— каждый шаг вперед — новое очарование, сколько бы раз ни виделось это раньше.

И пожилой художник Сыромолотов, Алексей Фомич, утром в воскресный день шел по летней улице людного южного города, непосредственно настежь открытый всем встречным лицам, всем звукам, всем красочным пятнам. Шел, как шпагоглотатель для всего остро бросавшегося в глаза, как борец, чувствующий несокрушимую силу всех своих диковинных мышц.

Он и был еще очень силен, несмотря на довольно большие уже годы (ему шел пятьдесят восьмой). Плечи, как русская печь; широкое лицо в коротко подстриженной русой с сединками бороде, на большой голове мягкая белая панама, и глубоко сидящие серые глаза смотрят как бы сердито даже, но они просто чрезвычайно внимательны ко всему кругом, чтобы все насухо вобрать, все в себе самом распределить и все навсегда запомнить.

Остановившись перед толстой старой белой акацией около дома с ярко-зелеными ставнями, недавно окрашенными заново и потому блистательными, он так забывчиво-долго смотрел, закинув голову, на ее роскошную крону, на буйную темную зелень обильнейших перистых листьев и потом так любовно гладил дерево по жиловатой темно-коричневой коре, что к нему подошел догадливо человек южного типа и сказал почему-то таинственно:

— Может быть, вам, господин, требуются сухие дрова на кухню, то это я вам могу доставить в самом лучшем виде!

Сыромолотов не понял, о чем он, и поглядел на него с недоумением.

— Что, что? Дрова? — спросил он.— Какие дрова?

— Ну, на кухню вам,— я же это вижу,— повторил догадливый.

Сыромолотов оглядел его всего с головы до ног, отступил даже на шаг, на два, чтобы рассмотреть его еще лучше, потом коротко усмехнулся одним только носом, большим и широким, нисколько не меняя при этом выражения ни губ, ни глаз, и не спеша двинулся дальше.

Это только для равнодушного взгляда улицы — внешний их облик — не менялись из года в год, разве только кучка денежных воротил, затеяв устроить, например, банк взаимного кредита, начинала воздвигать вдруг ни с того ни с сего солидный дом с колоннами коринфского стиля с вычурным фронтоном. Для Сыромолотова же,— художника всем своим существом,— каждый день и каждый час во дню улицы были новы, потому что несравненнейший художник — солнце — не уставал показывать их ему,— только смотри,— все в новом и новом освещении.

И то, что улицы пели, для него был тот же солнечный свет. Он затруднился бы, конечно, объяснить это догадливым людям, но для него самого это была истина, не

требующая доказательств. И, когда он заканчивал какую-либо свою картину, он встревоженно вслушивался в нее,— поет ли? Звучит ли? Жива ли настолько, чтобы слышно было ее тем, кто будет на нее смотреть?

Да, он все-таки представлял перед своими картинами кого-то, зрителей, но не мог никак и никогда допустить в этих представлениях, чтобы они были не художники, хотя, поселясь тут несколько лет назад, он отъединился и от художников.

Когда экономка его Марья Гавриловна, простая женщина, ведшая несложное хозяйство в его доме и готовившая ему обед, по свойственному женщинам любопытству, спросила его как-то, осмелев:

— Почему же это все-таки, Алексей Фомич, ни вы никуда в гости, ни к вам никто? — Сыромолотов ответил ей после намеренно длинной паузы:

— Я, Марья Гавриловна, на своем веку решительно все уже слышал, что могут мне сказать люди: зачем же мне ходить к ним или им ко мне?

И тем не менее теперь, в это летнее утро, он шел к людям, хотя и не в гости, а писать портрет.

Обычно, когда он уходил за город с этюдником и черным зонтом, он говорил Марье Гавриловне: «Иду на натуру». Так же точно он сказал ей и теперь и сказал вполне точно, именно то, что думал: он шел «на натуру», хотя за портрет должен был получить немалые деньги.

Отъединившись от людей, Сыромолотов рассчитал, что его наличных средств при скромном образе жизни должно ему хватить надолго, почему в заработке он не нуждался. Он действительно чувствовал себя в это утро так, как будто шел «на натуру», тем более что «натура» эта не могла прийти к нему в мастерскую: почти не владела ногами, сидела в кресле, прощалась с жизнью.

И поскольку сам Сыромолотов был силен и крепок и всеми порами своими впитывал солнце, разбросанное кругом него, он шел, испытывая знакомую художникам жадность к тому, что вот-вот должно потухнуть.

Чтобы понять это, нужно видеть, как художники пишут закат с натуры, как широки у них в это время глаза, как торопятся их кисти, как напряжены их тела, подавшиеся вперед, туда, где догорает заря, где вот-вот начнут пепелиться облака, на которые пока смотреть

больно, до того они ярки, туда, где совершается волшебство, на которое вот-вот опустится занавес... Со стороны глядя на них, на художников, в это время, можно подумать, что они сумасшедшие, а они только ловцы солнца.

И здесь, на улицах, Сыромолотов не просто смотрел на все кругом,— он вбирал, он впитывал в себя то, что мелькало и исчезало, сверкало и гасло, чтобы никогда уж не повториться больше.

Вот чей-то беленький ребенок-двухлетка, чинно сидящий на охряной доске крылечка, вскинул на него ясные глазенки и сказал протяжно:

— Дя-дя!

— Совершенно верно,— отозвался на это Сыромолотов.— Тетей еще никто не называл.

И, улыбаясь, погладил ребенка по головке, следя в то же время, как в мягкие голубые тени прятались его пухлые пышущие щеки.

Колченогая серая, с красноватыми прихотливыми крапинками, лошадь водовоза-грека тащила зеленую бочку, полную воды, и вода эта веселой струйкой прядала вверх на каждой выбоине мостовой и потом растекалась по бочке, поблескивая. Лошадь была старая, явно недовольная своим делом: она держала голову вниз и смотрела только на гладко укатанные камни. Камни однообразно звякали под ее подковами; двуколка тарахтела; грек-водовоз, темно-бурый, чернобородый, ел на ходу селедку, держа ее за голову и хвост.

Около киоска, где продавались фруктовые воды, стояло молодое веселье. Сюда подошли пить воду две молоденькие девицы, обе в розовых платьях одинакового покроя,— сестры или подруги,— и у каждой из них на руках было по маленькому розовому поросенку. Обе держали поросят, как младенцев, закутав их в свои носовые платки так, что высовывались только мордочки и передние ножки. И какие-то смешливые подростки спрашивали бойко:

— Куда вы их тащите? Жарить?

— Ну да, «жарить»,— еще чего! — возмущались весело девицы.— Воспитывать будем!

— Смотрите же, чтоб они у вас гимназию окончили! — подхватывали подростки, и казалось, что хохочут вместе с ними даже и две колонки с сияющим сиропом — малиновым и вишневым.

На карнизе одного двухэтажного дома сидело в ряд несколько сизых голубей с рубиновыми глазами, а чуть-чуть поодаль от них стоял один и с большим увлечением гуркотал, раздувая веером перья на шее, будто старался убедить остальных в чем-то необыкновенно важном.

Возле уличного сапожника на углу двух улиц стоял какой-то молодой франт,— без фуражки, жесткие черные волосы ежом, белая рубаха в брюки, синий галстук горошком, одна нога в сандалии, другая босая; франт пресерьзно читал газету, сдвинув брови и выпятив губы, сапожник продергивал дратву в подметку его сандалии. Сапожник был в синих очках, длинноволосый, с ремешком на голове.

Девочка лет трех, бойко ступая по каменным плитам тротуара крохотными запыленными ножонками, тащила лисицу из папье-маше, к которой кто-то прицепил всамделишный лисий хвост — пушистый, рыжий. Кукла была большая — глаза из стекла янтарного цвета, уши торчком,— девочка была в упоении. Она никого не видела кругом,— видела только лисью мордочку, глядела только в янтарные, совсем как живые глаза... Прижавшись к ней всей грудкой, целовала то глаза, то уши, подбирала хвост, волочившийся по тротуару, и спешила-спешила дотащить ее, видимо, к себе домой, сквозь густой лес ног встречных дядей и тетей. А за нею, шагах в пяти, подталкивая один другого и не сводя с нее глаз, шли двое мальчуганов лет по десяти, оба плутоватые, продувные, что-то затеявшие...

Сыромолотов даже остановился посмотреть, что они сделают дальше, но улица была людная, они затерялись в ней, маленькие, их закрыли другие цветные пятна.

А из-за угла поперечной улицы, которую нужно было пересечь Сыромолотову, давая гудки, выкатился грузовик с черепицей; боковины грузовика — темно-зеленые, черепица — новая, оранжево-красная, а на черепице спал, раскачиваясь, но не просыпаясь, рабочий в синей рубахе и с копною волос цвета спелой пшеницы.

Сыромолотов остановился, чтобы запомнить и это и представить как деталь большой картины на стене своей мастерской.

Его знали в лицо многие в городе, но всем было известно и то, что он не выносит, когда с ним заговаривают. Поэтому и теперь такие встречные только раскланивались с ним, причем он слегка брался за панаму и делал вид, что чрезвычайно спешит.

Но вот неожиданно для него прямо перед ним остановилась девушка лет девятнадцати, в какой-то кружевной, очень легкой на вид шляпке, похожей на ночной чепчик, и в белой, по-летнему просторной блузке, и он никуда не свернул, а тоже остановился, вопросительно подняв брови.

Никогда раньше не приходилось ему видеть ее, поэтому он и на нее смотрел несколько секунд привычным для себя вбирающим взглядом, как на только что проехавший грузовик с черепицей, она же сказала радостно:

— Я шла к вам и вдруг вас встретила, какая мне удача!

— Гм... Удача? — усомнился он.

— Как же не удача? То я обеспокоила бы вас дома, а то вот могу вам сказать и здесь,— нисколько не смутилась девушка.

Он же спросил хмуро:

— Что же такое сказать?

Он пытался догадаться, что такое могла сказать ему эта в шляпке-чепчике, и в то же время вглядывался в нее, как в «натуру», оценивающими глазами: в ее круглое свежее лицо, слегка загоревшее, в ее белую открытую шею, в широкий, мужского склада, лоб.

— Видите ли, дело вот в чем,— заспешила она, слегка понизив голос и оглянувшись.— Мы собираем средства для отправки ссыльным и заключенным... политическим.

— А-а... «Мы» — это кто же именно? — спросил он, отмечая про себя, что у нее почти не заметно бровей над серыми круглыми глазами.

— «Мы» — это студенты и курсистки,— объяснила она, слегка усмехнувшись тому, что он спрашивает.— И вот мы решили обратиться к вам...

— Гм...— отозвался на это он до того неопределенно, что она поспешила закончить:

— Может быть, вы дадите нам какой-нибудь ваш рисунок, этюд или там вообще, что найдете возможным.

— И?.. И что вы будете с этим делать тогда, с этюдом, с рисунком? Кому именно пошлете — ссыльным или заключенным? — в полном недоумении спросил Сыромолотов.

— Нет, никуда не пошлем,— улыбнулась она, и лицо ее стало красивым,— мы думаем устроить лотерею,

кому повезет, тому и достанется. Мы уверены, что это даст нам много!

— Будто? — спросил он снова неопределенно, став так, чтобы разглядеть ее профиль.

— Конечно же, всякий захочет попытать счастья приобрести ваш этюд за какой-нибудь рубль,— объяснила девушка.

— Вы здешняя или приезжая? Я что-то не видел здесь вас раньше,— сказал он, уловив ее профиль.

— Разумеется, я здешняя,— здесь и в гимназии была, а теперь я на Бестужевских курсах, в Петербурге. И вы, может быть, даже знаете моего дедушку,— сказала она простодушно.

— Гм... дедушку? Может быть, если вы скажете мне его фамилию.

— Невредимов... И моя фамилия тоже Невредимова.

Девушка ждала, что он скажет на это, но он покачал отрицательно головой.

— Знать в смысле личного знакомства? Нет, не пришлось познакомиться. А фамилию эту я слышал.

— Слышали? Ну вот. Его весь город знает,— просияла девушка, а Сыромолотов, оглядев ее всю с головы до ног (она оказалась одного с ним роста), сказал подчеркнуто:

— Значит, с благотворительной целью вы у меня просите что-нибудь — так я вас понял?

— Вот именно, с благотворительной целью,— повторила она.

— В таком случае, если вы ко мне шли, значит, знаете, где мой дом...

— Разумеется, я знаю,— перебила она.

— Тогда что же... Гм... Так тому и быть: я что-нибудь выберу, а вы зайдите.

— Мы все будем очень, очень рады. Когда зайти? Сегодня?

— Сегодня? Гм... Как вам сказать? Сегодня я долго не буду дома... Впрочем, если к вечеру, то можете и сегодня, но-о... если вы не особенно торопитесь...

— Нет, я могу и завтра, если вам некогда сегодня,— поспешно вставила она.

— Да, завтра во всяком случае будет лучше.

— Хорошо. Во сколько часов?

— Да вот хотя бы в такое время, как сейчас.

— Сейчас (она быстро взглянула на часы-браслетку на своей оголенной до локтя руке) двадцать минут одиннадцатого.

— Ого! А к половине одиннадцатого мне нужно быть в одном месте...

И Сыромолотов взялся за панаму, она же сказала сконфуженно:

— Я вас задержала — простите! Значит, завтра в это время я к вам зайду. До свидания!

Сыромолотов только слегка кивнул ей и пошел дальше.

II

Все, что нужно было ему для работы,— холст на подрамнике, краски, кисти,— было уже в доме, где жила «натура», так как накануне, в субботу, состоялся уже первый сеанс. Ничто не отягощало Сыромолотова, когда он шел теперь, и каждому встречному могло показаться, что он вышел просто на прогулку.

Отчасти так казалось даже и ему самому, пока он не встретился с курсисткой Невредимовой и не узнал от нее время. Сам он не носил с собою часов, считая, что это для него зачем же? Спешить ему не приходилось, да и теперь он не стремился прийти непременно к половине одиннадцатого в дом богатого немца-колониста Куна; но дом этот был уже теперь совсем близко. Дом двухэтажный, как и другие около него дома, но над крышей, в отличку от других, на обоих углах зачем-то прилепилось по стрельчатой башенке: готика! Крыт он был черепицей, но черепица тут вообще предпочиталась железу; ярко-бел снаружи, как и другие дома; фундамент и карниз первого этажа — аспидного цвета; парадного хода не имел — входить нужно было в калитку, дернув для этого ручку звонка. На звонок отзывалась лаем цепная овчарка, потом отворялась калитка, и навытяжку стоял около нее высокий седобородый дворник. Так было в субботу, и Сыромолотов был уверен, что так же точно будет и в воскресенье, и не ошибся в этом.

Этот дворник, в розовой праздничной рубахе, подпоясанной узким ременным поясом, не мог не привлечь внимания художника — он был живописный старик, и Сыромолотов очень охотно посадил бы в кресло перед собою его, пока еще крепкого, бывшего солдата-гвардей-

ца, но писать нужно было другого старика, немощного, бритого, с свинцовыми тусклыми глазами, к которому совсем не лежало сердце.

И во время первого сеанса и потом у себя дома Сыромолотов думал над лицом и руками старого Куна: как поставить в комнате кресло, чтобы солнце заиграло на морщинах лица, на выпуклых синих венах рук и тусклый взгляд сделало живым и острым?

Медленно идя по певучим улицам, через край щедро озаренным, он как будто нес в себе подспудную мысль как можно глубже пропитаться солнцем и звуками, чтобы внести их с собою в бессолнечность и тишину гостиной Куна.

Сильный свет беспокоил старика: он морщился, жмурил глаза, жевал недовольно бескровными губами; но в то же время свет был необходим для художника, поэтому первый сеанс наполовину прошел в передвигании кресла и в подкалывании занавесок на окнах; отчасти это занимало Сыромолотова, который изучающе всматривался в свою натуру, успев только нанести ее на холст углем.

Малоразговорчивый вообще, он привык говорить со

всеми, кого писал: это помогало ему схватывать то естественное и живое, что пряталось в натянутой деловой тишине и могло проявиться только во время разговора.

Старый Кун был из семьи давних колонистов, он родился здесь, в Крыму, и хорошо говорил по-русски, и так как он сам теперь был уже не колонист, а помещик, то разговор с ним старался вести Сыромолотов об урожаях пшеницы, об удобрении фосфатами и навозом, о серых украинских волах, о красных немецких молочных коровах, о цигейских овцах...

Когда он спросил старика, много ли он держит овец, тот задумался было, пожевал губами, но ответил оживленнее, чем на другие вопросы:

— Нет, сравнительно если сказать, то не так много... А вот Фальцфейн,— вы знаете, есть у него имение — Аскания-Нова, тоже в Таврической губернии.

— Как же не знать, много наслышан,— отозвался Сыромолотов,— там у него заповедник, и чуть ли даже не слоны пасутся на воле.

— Слонов, положим нет,— поморщился старик.— но заповедник, как вы сказали, это есть... Так вот его один раз также спросили: «Герр Фальцфейн, сколько вы име-

ете овец?» И он на это ответил так (тут голос старика зазвучал торжественно): «Сколько у меня всех имеется овец, этого я не знаю, а что собак-овчарок при них шестнадцать тысяч, то это мне очень хорошо известно, потому что...— тут старик Кун сделал многозначительную паузу и досказал с ноткой сожаления: — потому что собак приходится кормить!»

— Гм, как же так все-таки не знать, сколько овец? — спросил, не столько удивясь, сколько для того, чтобы поддержать оживление на лице старика, Сыромолотов.

— Может быть, один миллион, может быть, полтора миллиона, может быть, и два миллиона, это смотря по окоту маток: все ли ягнята — одинцы, или же есть много двойней, тройней, и не было ли падежа, и, кроме того...— начал было словоохотливо объяснять старик, но закашлялся затяжным свистящим кашлем и умолк.

Когда входил в дом теперь Сыромолотов, он думал и над тем, о чем бы в этот сеанс поговорить с натурой, так как теперь это было гораздо нужнее и важнее, чем накануне: тогда был только уголь, а не краски.

Однако вопрос этот перестал его беспокоить, когда он увидел шедшего ему навстречу младшего сына «натуры», того самого довольно молодого еще и жизнерадостного человека, который был у него в доме, договаривался насчет портрета и помогал даже усадить отца, как хотелось художнику, но потом вызванного куда-то по делу, так что, уходя после сеанса к себе домой, Сыромолотов его не видел.

Высокий, плотный, прекрасного на вид здоровья, молодой Кун, Людвиг Карлович, чувствительно-крепко пожал мощную руку художника и имел такой обрадованно-вздернутый лик, точно приготовился уже сказать ему что-то чрезвычайно приятное.

Действительно, с первого же слова он расхвалил рисунок углем, найдя в нем «поразительное» сходство с натурой.

— Бесподобно, замечательно!.. Я, разумеется, и ожидал от такого художника, как вы, такого рисунка, но, знаете, должен вам сказать — поразительно, виртуозно! Это будет ваш шедевр, шедевр!.. Я все-таки знаю толк в живописи, должен вам сказать, я не профан, как другие!

Что он знает толк в живописи, об этом слышал от него Сыромолотов еще в первый день своего с ним зна-

комства. Тогда же он сказал ему, что у него есть профессия, что он инженер-электрик и что в этой области он надеется сделать себе со временем большое имя и состояние. Даже повторил:

— Большое имя и состояние, что, разумеется,— вы это понимаете сами,— никогда не бывает одно от другого отдельно, а всегда вместе.

У него была счастливая способность не сомневаться ни в себе самом, ни в том, что он говорил,— это заметил Сыромолотов. В то же время он точно щеголял вежливостью необычайной, которая как-то особенно удавалась ему, когда он стоял: тут он пользовался исключительной гибкостью своего стана. Голос у него был громкий, но какого-то неприятного тембра, а глаза все время искательно улыбались и неутомимо следили за собеседником.

Ему было лет тридцать, его отцу за семьдесят, в доме была и мать Людвига Куна, старуха крупная, тяжелая, белоглазая, в седых буклях. Она встречала Сыромолотова и тогда, когда он приходил в первый раз, однако ни тогда, ни теперь тоже он не заметил ни приветливости в ее обрюзглом большом лице, ни мягких ноток в ее словах: она была церемонна. Похоже было даже на то, что она недовольна сыном за то беспокойство, какое он доставил своему отцу и ей тоже, так как беспокойство это угрожало стать довольно долгим. По крайней мере она непритворно-испуганно сложила перед собой толстые, в крупных желтых пятнах руки, когда услышала, что портрет будет писаться не меньше как целую неделю изо дня в день.

III

Перед тем как взяться за кисти, Сыромолотов долго вглядывался в свою натуру. Конечно, он делал это как бы между прочим, занятый в это время приготовлениями, без которых нельзя было начать вливать жизнь в то, что было начерчено на холсте углем. Он искал в ящике краски преувеличенно медленно, чтобы вдруг вскинуть глаза на Карла Куна; он выдавливал из тюбиков краски на палитру, как бы усиленно обдумывая, нужен ли ему будет тот или иной тюбик и не мало ли он берет из него краски, а в это время, сильно сощурясь и откинув голову, прилипал долгим взглядом к тусклым глазам старика.

Со стороны могло бы показаться, что излишне было ему искать в обыкновенном немце-колонисте, разбогатевшем на отарах овец, на сотнях десятин пшеницы, чего-то значительного, но Сыромолотов не считал бы себя значительным художником, если бы не сумел найти даже и в такой натуре крупную для себя задачу.

Старый Кун как бы не один сидел перед ним в своем кресле: он двоился, троился, четверился, множился у него на глазах. Кун, возведенный в энную степень, несколько поколений Кунов, расплодившихся в сытых крымских степях, протискивались в эту гостиную, к этому креслу и смотрели сквозь эти тусклые, свыше чем семидесятилетние глаза.

Они все суетились не покладая рук, покрикивая на рабочих на своих полях, на чабанов-татар около овечьих загонов, трясясь на тарантасе, когда нужно было за тем, за другим ездить в город, проклиная дорогой русские порядки. Они все лепили лепту к лепте, чтобы создать состояние и тем самым ореол около своей фамилии: «Мы — Куны!»

Может быть, Сыромолотов и не согласился бы писать портрет Карла Куна, если бы он не увидел у себя в доме младшего сына его, Людвига, и не представил по этому образцу целую шеренгу подобных бравых светлоглазых Кунов, его братьев, какие бы имена они ни носили.

Этот, Людвиг,— инженер-электрик, другие могли быть инженеры-механики, химики, металлурги, или агрономы, или даже овцеводы, но непременно с таким же широким размахом, как знаменитый Фальцфейн,— как же можно было отвергнуть такую натуру?

Вот он сидит в кресле, старый Карл Кун,— звено в длинной цепи Кунов, раскинутой и по Крыму, и по Украине, и по Волге, и по Кавказу,— и разве нельзя прочитать на его обрюзгшем лице, сколько бочек своего немецкого пива, сваренного из русского ячменя, выпил он за долгую жизнь, сколько съел свинины во всех ее видах, сколько мук непонятого сердца перенес, давая взятки чиновникам, когда устраивал свои делишки?

Каждая складка, каждая крупная морщина на этом обвисшем лице — знаки чего они: поражений в житейской борьбе или побед? Ведь он, конечно, удачлив был в обделывании своих дел, этот Карл Кун, но, может быть, скорбит все-таки неустанно о том, что не в такой мере

удачлив, как ему бы хотелось? Ведь того, что называется мудростью, нельзя отыскать в этих стариковских чертах, однако же он не только поддержал честь Кунов, выходцев откуда-нибудь из Голштинии, он создал почти династию Кунов,— ого!.. Ему все-таки есть чем гордиться, так прочно обосновавшемуся на свете.

Чем больше вглядывался теперь, для красок, в свою натуру Сыромолотов, тем ярче рисовался в нем самом внутренний облик старика, но иногда взглядывал пристально и на Людвига и находил это необходимым: быть может, именно таким почти был с виду Карл, его отец, в тридцать лет, и столько же самоуверенности в нем тогда выплескивало наружу.

Когда Людвиг спросил Сыромолотова, не будет ли он ему мешать, если посидит немного тут, в гостиной, художник отозвался на это:

— Нет, нисколько, нисколько... при одном условии, впрочем, что вы сядете не сзади, а спереди меня, потому что, как вы сами должны понять...

— О-о, разумеется, я понимаю! — очень живо перебил его Людвиг Кун.— Ведь это было бы все равно, что смотреть игроку в карты! Я понимаю!

И он сел на один из мягких стульев, аккуратно расставленных вдоль стен и укрытых чехлами. Пестрый длинный галстук его на белой рубахе, спрятанной под широкий вязаный пояс с кожаными карманчиками, отлично разутюженные серые брюки, блестящие запонки, блестяще начищенные туфли светло-шоколадного цвета, свисающая на лоб прядь белокурых волос и ничуть не сомневающийся в себе постанов головы молодого Куна — все это отлично дополняло парадно одетого усталого старого Куна, и Сыромолотов часто переводил глаза с одного на другого, пока не начал, наконец, писать лицо.

Неудобство было только в том, что теперь уже старик как бы передоверил сыну разговоры с художником, а тот говорил, совершенно не затрудняя себя выбором темы: очень он оказался словоохотлив. Впрочем, начал он с живописи:

— Я всегда завидовал художникам! Как хотите, а по-моему, это большой козырь в жизни — талант художника, а?

— Гм... Пожалуй, да... Пожалуй, я и сам так думаю,— отозвался на это Сыромолотов.

— Ну еще бы, еще бы! Возьмите любую другую профессию: сколько возни, пока чего-нибудь добьешься, сколько труда!

— Так что вы думаете, что написать портрет, например, легко? — заметил Сыромолотов.

— Для такого художника, как вы? Я думаю — какой же это для вас труд?

— Гм... Не думайте так — и для меня трудно. И даже всякое полотно вообще, какое я начинаю, мне именно представляется очень трудным. Вы художника Сурикова видели что-нибудь?

— Ну еще бы, Сурикова! «Боярыня Морозова», например.

— Хорошо, «Боярыня Морозова»,— прервал Сыромолотов.— Вы там хорошо на этой картине всмотрелись в дугу?

— В дугу?.. Я помню там сани, эти, как их называют, розвальни, что ли...

— Ну вот, сани, а над лошадью дуга, и дуги этой вы, значит, не помните, не обратили на нее внимания — дуга и дуга. А сам Суриков, Василий Иваныч, мне рассказывал об этой дуге вот что...

— Очень интересно: что именно?

Сыромолотов писал в это время голову старика и наблюдал за выражением глаз его, а не сына: ему нужно было, чтобы интерес к дуге засветился в глазах Карла, а не Людвига, Куна, и когда он заметил проблеск этого интереса, то продолжал, обращаясь непосредственно к своей натуре:

— «Кажется, не все ли равно публике на выставке картин, какая именно у тебя там дуга,— так мне говорил Суриков,— да ведь мне-то, художнику, не все равно! Представляется мне дуга с цветами, до того ярко представляется наяву, что и во сне ее вижу, а выйду на базар ли, где подвод много, на Сенную ли площадь, все до одной дуги пересмотрю, нет, не те!»

— Это замечательно! — сияя, вскрикнул Людвиг и даже ударил себя по колену, а старик презрительно сжал губы, чем очень одарил Сыромолотова, тотчас же перенесшего на холст этот его жест.

— Отчего же он сам не раскрасил дугу, как хотел? — спросил старик.

— Вот в том-то и дело, что ему нужно было прежде самому поверить, что такая дуга могла быть именно то-

гда, когда везли боярыню Морозову, в старину то есть... Отсебятины он не хотел допускать, Суриков: он был начитан тогда в историке Забелине,— ну и вот, историческую правду должен был, конечно, сочетать с правдой художественной... «Таким образом,— говорил он мне,— целых три года искал я эту дугу».

— Три года? — изумленно выкрикнул Людвиг Кун.

— Неужели три года? — усомнился Карл Кун.

Выражения глаз старика, какое появилось вдруг только теперь, и ждал Сыромолотов. Весь подавшись вперед, отбросив уже мгновенно то, о чем говорил, но бормоча скороговоркой: «Три года, да-да, три года, вот именно... Целых три года...» — он в то же время писал правый глаз натуры, освещенный ярче, чем левый, и до того самозабвенно у него это вышло, что даже молодой Кун понял, что нельзя торопить его рассказом о суриковской дуге и отпугивать вопросами то, что его охватило.

Однако вот уже снова потускнели глаза старика, и Сыромолотов продолжал возбужденно:

— Чем же окончилось дело с дугой? Не художник, пожалуй, даже и не поймет этого.

— Я пойму, я пойму, говорите, прошу вас! — подзадорил его Людвиг Кун, а старый Кун тоже поглядел с засветившимся любопытством.

— «Выхожу я как-то на рынок,— это Суриков мне,— и что же вы думаете?»

— Нашел? — не вытерпел Людвиг, а у старика появилось как раз то самое выражение глаз, какое хотел найти Сыромолотов.

— И вот... что же вы думаете?.. Он... Василий Иваныч... Суриков...— бормотал Сыромолотов, занявшийся левым глазом старика.— Он... вдруг... видит, представьте... стоит воз... а около воза этого... лошадь пегая...

После этих отрывистых слов он замолчал, сам не заметив того, на полминуты, стараясь схватить кистью то, что появилось в левом глазу старика: этакое снисходительное презрение к какой-то там разрисованной широкой мужицкой дуге, которую будто бы искал, как дурак в русской сказке, какой-то художник в Москве...

Откачнулся назад Сыромолотов, вгляделся, прищурясь, в натуру и потом в свой холст и продолжал с веселой ноткой в голосе:

— «Стоит лошадь выпряженная и жует сено, и около нее никого нет, но зато... зато, вы представьте только

радость мою: дуга!.. Вот она, та самая, которая мне снилась столько раз,— стоит прислоненная к стене. Харчевня там, что ли, была, говорит, какая или контора, черт ее знает, только дуга,— моя дуга! — вот она, стоит! И все цветы на ней точь-в-точь как надо, и облуплена-то она,— старая ведь дуга!.. Цоп я ее, эту самую дугу, и пошел!..»

— За-ме-ча-тельно! — выкрикнул Людвиг Кун и хлопнул обеими руками по коленям.

— Русская привычка,— сказал старый Кун.

Вот когда появилось во всем лице старика именно то выражение, которого искал Сыромолотов, как Суриков дугу. Теперь уже не одни глаза, а все складки губ «натуры», и дряблых щек, и рыхлого подбородка налились тем многолетним откровенным презрением, которое таилось под празднично-натянутой, скучающе-усталой миной бывшего колониста, а ныне русского помещика, имевшего, между прочим, для всяких надобностей дом в губернском городе, на одной из лучших его улиц, а также имевшего и нескольких сыновей — свое бессмертие.

Выражение это держалось с минуту, и эту минуту Сыромолотов считал потом лучшей в сеансе. Он заносил на холст четко определившиеся черты уверенной рукой, пока снова не появилась прежняя усталая мина, и вот только тут досказал он начатое:

— «Понес, говорит, я эту дугу,—прямо ног под собой не слышу от радости и ничего уж больше кругом не вижу: дуга у меня в руках,— чего мне еще надо?.. Вдруг крик неистовый: «Стой! Эй!.. Ребята, держи его! Дугу упер!..» Оглянулся я, вижу, бегут ко мне от этой самой — харчевня она была или контора какая... Сначала двое, потом еще двое, орут несудом... Остановился я. Подбегают. Конечно, сверкание глаз, и скрип зубов, и уж кулаки наготове. Я им, конечно, все в радости той обретаясь: «Сколько, говорю, дуга стоит — покупаю». Ну, тут, с одной стороны, на жулика я все-таки не был похож, и одет прилично, а дуге этой — полтинник цена, и то в базарный день. Как кулаки ни сучили, а все-таки, раз человек сказал: «Покупаю»,— у всех думка является: сорвать с него! Один кричит: «Трешницу давай!», другой: «Чево трешницу — пятерку!» А хозяин этой самой дуги — откуда у него и голос такой бабий взялся — как завизжит, точно над покойником: «Красную бумажку давай, ни в жисть не отдам за пятерку!» Вытащил я кошелек, посмотрел, есть ли у меня там десять рублей, вижу — есть, протянул ему:

«На, брат, тебе, раз ты оказался такой счастливый! Он даже и шапку снял при таком обороте дела, а я с дугою к себе домой. Прямо, можно сказать, не шел, а на крыльях летел...» Вот как далась Сурикову дуга на его «Боярыне Морозовой».

Говоря это весело, с подъемом, Сыромолотов так же с подъемом работал кистью, и с холста на него уже глядело лицо старого Куна таким, каким оно только и могло быть в своем степном имении, в своем семейном кругу, когда сыновья его — кто инженер-электрик, кто инженер-химик, кто инженер-металлург — говорили о том, что, по его мнению, не относилось к деловым разговорам.

IV

Как всегда и для всякого художника за работой, время летело для Сыромолотова совершенно незаметно: просто даже не было ощущения времени. Однако совсем иначе чувствовала себя живая натура. Старый Кун не только начал усиленно кряхтеть и кашлять, просидев полтора часа в своем привычном кресле, но начал уже хмуро поглядывать даже и на своего сына, не только на портретиста, и Людвиг, наконец, решил прийти ему на помощь. По свойству своего темперамента он сделал это довольно бурно.

— Браво, браво! Брависсимо!..— выкрикивал он, став за спиной Сыромолотова.— Классически! Лучше нельзя и представить! Вы превзошли самого себя!.. Вот я сейчас позову маму, пусть полюбуется!

И он бросился в соседнюю комнату, и с минуту его не было, чем воспользовался Сыромолотов, чтобы сделать еще несколько необходимых мазков, так как видел, что сеанс волей-неволей приходится закончить.

Людвиг привел не только мать: вместе с толстой рыхлой старухой пришла еще и молодая, с виду скромная, немка, а за ними шумно ворвался Людвиг, держа за локоть вполне по-товарищески человека своих лет, но гораздо более степенного, ниже его ростом, лысоватого и в очках.

Это было уже многолюдство, которое не могло, конечно, способствовать работе художника, и Сыромолотов поднялся и тут же положил кисть и палитру.

Никакого подобия улыбки не появилось на его лице, когда сияющий Людвиг знакомил его с четою Тольбер-

гов, пришедших в гости к Кунам по случаю праздничного дня и скромно дожидавшихся окончания сеанса; даже когда сам Тольберг с миной не меньшего знатока живописи, чем Людвиг Кун, стал расхваливать портрет, Сыромолотов протянул только:

— Ну, ведь он еще далеко не закончен...— и начал укладывать в ящик все, что вынул из него во время работы.

Его «натура», слабо переставляя ноги в матерчатых, вышитых не иначе как женою туфлях, тоже вместе с другими вглядывался в свой портрет и сказал, наконец, не совсем уверенно:

— Мне кажется, что есть все-таки сходство, а?

— Поразительное сходство! — живо отозвалась ему на это гостья, а ее супруг, поправив очки, сказал ей поучительным тоном:

— Дело не в сходстве, а в технике, Эрна. Сходство может схватить и всякий другой, который делает себе из этого специальность, а что касается тех-ни-ки...

Тут он многозначительно поднял указательный палец правой руки и сделал им энергичный отрицательный жест.

Белокожая, к тому же и щедро напудренная, с обильными волосами, блестевшими тусклым золотом, в завитках, Эрна, по-видимому, настолько уже привыкла к замечаниям своего мужа, что не обратила внимания и на это, а продолжала изучающе переводить несколько излишне выпуклые глаза со старого Куна на его портрет.

— Да, конечно, он бывает и таким,— расстановисто проговорила старуха, хотя к ней никто не обращался,— но больше он бывает другой...

Она сказала это будто про себя, но Сыромолотов быстро повернул к ней голову и сказал со всею серьезностью, на какую был способен:

— Портрет только еще начат, и судить о нем пока еще нельзя.

— Но зато можно себе представить, что это будет такое, когда он будет окончен! — подхватил Людвиг и добавил, не меняя восхищенного выражения: — Мы все очень просим, Алексей Фомич, отобедать с нами.

— О-о, благодарствую, я... я всегда обедаю у себя дома,— поспешил отказаться Сыромолотов; но оказалось, что отказаться от обеда у Кунов было не так легко.

— Я уже поставила на стол вам прибор,— строго сказала старуха.

— Может быть, вы не желаете видеть меня за столом вместе с вами? — кокетливо спросила Эрна.

— Мы вас угостим хорошим старым вином,— придвинувшись к нему вплотную, сказал вполголоса, точно поведал тайну, старый Кун.

Сыромолотов в ответ на все это радушие пробормотал было, что дома его будут ждать к обеду, но видел и сам, что довод этот неубедителен, так как Людвигу Куну известно было, что он несемейный, что дома у него только экономка...

Не нашлось достаточных причин, чтобы отказаться: неудобным показалось уйти из дома, где никто пока не был ему противен, где его уход могли бы, пожалуй, счесть за обиду. Кроме того, ему представилась возможность наблюдать свою «натуру» не в воображаемой только, а действительно в семейной обстановке, за столом, где Кун должен был распуститься, как цветок перед утренним солнцем, всеми лепестками своего венчика, тем более что на столе будет бутылка с «хорошим старым вином».

И Сыромолотов, закрыв ящик, вместе со всеми вошел в столовую, где длинный стол был уже уставлен приборами.

Это была обширная комната, украшенная не только большим резным дубовым буфетом, но и сервантом, тоже дубовым и с тою же резьбой. На это не мог не обратить внимания Сыромолотов, как художник, но, беглым взглядом окинув всю столовою, он заметил также и два портрета-олеографии: один весьма знакомый — императора Николая II, поясной, в натуральную величину, в рамке из бронзированного багета; другой, на противоположной стене, гораздо меньший по размерам и менее знакомый, в скромной рамке из черного багета, оказался, когда присмотрелся к нему Сыромолотов, Вильгельмом II, императором Германии; Николай был без головного убора, Вильгельм в каске.

Как ни странным показалось Сыромолотову, что на обеденный стол Кунов с двух противоположных стен глядели владыки двух соседних монархий, но он воздержался от вопросов о том, что было принято в этом гостеприимном доме.

Однако тень недоумения, скользнувшая по его лицу, была подмечена, очевидно, Людвигом, иначе зачем бы

вдруг сказал он ему очень подчеркнуто, кивнув при этом на своего гостя:

— Мы с моим другом Тольбергом состоим членами «Союза русского народа».

— Вот как!.. Скажите, пожалуйста! — отозвался на это Сыромолотов тоном большого изумления, однако не нашелся ничего к этому добавить и сел на тот стул, какой предложил ему так явно к нему расположенный молодой Кун, севший с ним рядом.

Как бы задавшись целью сразу разъяснить художнику, с кем именно сидит он теперь за одним столом, Людвиг продолжал торопливо:

— Мой друг Тольберг есть вместе с тем и мой товарищ по школьной скамье: мы с ним учились не только в электротехническом институте, но даже и за границей, а практически мы работали на предприятиях Симменс — Гальске... И мы с ним дали святую клятву в своей области сделать для своей родины, для России, все! Все, что будет только в наших силах, и мы сделаем!.. Это же ведь как раз такая область, в которой Россия отстала, ай-ай-ай, как отстала... Так, что даже и сравнивать с Германией, например, нельзя.

Сыромолотов посажен был так, что ему одинаково были видны портреты обоих монархов, и он мог, иногда взглядывая на них, сравнивать одного с другим. В то же время и оба друга-электрика тоже были перед ним, один справа, другой слева, и их желание осчастливить и осветить Россию так и блистало в каждом их взгляде.

— Россия отстала, да, это совершенно верно,— сказал он,— но отстала она, быть может, по причине того, что велика очень, не так ли?

— Нет, прошу меня извинить, не так,— решительно возразил теперь уже не Людвиг Кун, а Тольберг.— Россию можно рассматривать как метрополию плюс колонии на одном сплошном материке. О том, что отстала азиатская часть, мы не говорим,— это колония, но ведь европейская часть России могла бы идти вровень с остальной Европой,— вы согласны?

— Если бы не монгольское иго, она и шла бы вровень,— ответил Сыромолотов, принимая из рук Людвига переданную ему тарелку супа.

— О-о, монгольское иго!.. Когда оно было и когда сброшено? — очень живо подхватил Людвиг тему, на которую, очевидно, не раз говорил со своим другом.

— В чем же вы видите причину нашей отсталости? — спросил его Сыромолотов.

Задав этот вопрос, он почувствовал отсталым и себя самого, потому что не решился бы ответить на него категорически, точно и ясно, именно не решился бы, считая его очень трудным и сложным, поэтому с любопытством он ждал, что ответит Тольберг.

Но ответил ему не Тольберг, а Людвиг Кун, притом так, как не ожидал Сыромолотов:

— Причина одна: большинство русских плохо ценит свое достояние.

— То есть? Как это прикажете понять? — спросил Сыромолотов, принимаясь за суп, хотя он отлично понял сказанное: ему никак не хотелось слышать это от какого-то Людвига Куна.

Но Тольберг уточнил сказанное своим другом:

— А между тем русским ведь есть за что себя уважать,— ого, еще бы!

— За что же именно, позвольте узнать? — улыбаясь насмешливо, спросил Сыромолотов.

— Да прежде всего прочего хотя бы за то, что заняли они на земном шаре сплошное пространство в Европе и в Азии, какого не имеет даже Китай, хотя населения там в два с половиной раза больше,— ответил ему Людвиг Кун, поспешив предупредить в этом Тольберга.

— Гм-гм... Разумеется,— весело с виду сказал Сыромолотов, перед которым оказался бокал задорно пахнущего вина — золотистого, с искрами.

К нему тянулись с такими же бокалами и старый Кун, и его жена, и Эрна. У Эрны как будто от одного только вида вина вдруг очень оживленное, даже шаловливое стало лицо, и она произнесла что-то вроде короткого тоста:

— За здоровье автора очень-очень талантливого портрета.

И глаза ее при этом стали какие-то даже преувеличенно яркие, какие бывают у девочек-подростков, когда ими овладевает восторг, и Людвиг Кун, сказав: «Браво!», поднялся со своим бокалом, а за ним поднялись все, даже слабый на ноги старик; пришлось подняться, чтобы чокнуться со всеми, и Сыромолотову.

Его как бы чествовали. Он попал как бы не к обыкновенным заказчикам на художественный портрет, а в среду ценителей именно его таланта, из которых двое бы-

ли хотя и такие же немцы, как и другие за этим столом, но в то же время почему-то ни больше ни меньше как члены «Союза русского народа» — до того любят Россию!

Он, привыкший на все кругом смотреть жадными глазами художника, теперь как бы раздвоился: в первый раз это случилось с ним, что он как гость сидел у немцев, осевших в России. Теперь он не только смотрел, он слушал со всем вниманием, на какое был способен. В голове его вертелась чья-то старая, семидесятых годов прошлого века, пародия на стихи Пушкина о вóронах:

Август к Ми́хелю бежит,
Август Михелю кричит:
— Михель, где бы нам нажиться,
Как бы нам того добиться?
Михель Августу в ответ:
— А России разве нет?
И два друга обнялись
И в Россию поплелись.

Вот они, эти самые, теперь уже как будто достаточно нажившиеся, но мечтающие нажиться колоссально, как Фальцфейн с его миллионами овец. Они уже начинают заводить галерею предков, для чего и приглашен ими он, один из крупнейших художников России, о котором, несомненно, они читали и слышали, картины которого кое-кто из них видел, может быть, в столичных хранилищах картин или хотя бы в художественных журналах, помещавших снимки с них.

И, как бы подслушав его мысли, Эрна сказала сияя:

— Теперь у вас захотят писаться все богатые помещики-немцы, какие есть в Крыму.

— Почему же одни только помещики-немцы? — возразил жене Тольберг.— А фабриканты? А коммерсанты? А пивовары? А мукомолы?..

— После этого портрета на вас будут смотреть как на русского Ленбаха! — очевидно желая поддержать свою репутацию знатока живописи, с подъемом сказал Людвиг и начал снова наливать вино в бокалы.

Сыромолотов считал своего современника берлинца Ленбаха посредственным художником, но постарался ничем не выказать обиды от такого сравнения. А мысль Эрны, что он может стать знаменитостью среди крымских немцев-богачей и создавать для них «галереи предков», неподдельно его веселила. Он даже приложил левую ру-

ку к сердцу и, наклоняя голову то в сторону Эрны, то в сторону ее мужа и Людвига, говорил с преднамеренным ударением и раздельно:

— Польщен и тро-нут!.. Очень польщен и о-чень тронут!

Его неустанно-напряженное «я» художника не переставало деятельно наблюдать свою натуру теперь уже не один на один, а сравнительно со всеми другими, сидевшими за столом, даже с Эрной, до лица которой только еще прикоснулся резец времени, проведший глубокие черты на лице старого Куна. Но и то, что он слышал здесь с разных сторон, воспринималось им как фон для этого резко вылепленного лица, тот самый фон, который тоже является предметом поисков для художников...

Даже когда разговор с живописи перескочил на вегетарианство, и это тут же вплелось в сознании Сыромолотова в тот же самый осязательно необходимый фон.

— Ваш Лев Толстой проповедовал вегетарианство,— говорил Людвиг, когда подали второе блюдо — свиную корейку под соусом из фасоли,— но мы, немцы, убежденные мясоеды. У нас не едят мясо только грудные младенцы, потому что не имеют еще зубов.

— От мяса наша исключительная энергия во всех областях жизни,— поддержал его Тольберг.— Мы, лютеране, не знаем, что такое посты, у нас их совершенно нет.

Чтобы чем-нибудь отозваться на это, Сыромолотов сказал:

— Наш ученый Ломоносов, Михаил Васильевич, тоже был противник постов, но он имел в виду кое-что другое, а не энергию. Он писал, что посты наши препятствуют в России развитию скотоводства.

— Ага! Вот видите, как! — подхватил это замечание Людвиг.— Зачем же и в самом деле разводить свиней, если их не есть?

— А также и баранов,— развил его мысль отец.

А Тольберг, наморщив лоб, чтобы припомнить как следует, сказал вдруг:

— Ломоносов?.. Ведь он учился в Саксонии?

— Да, в Саксонию был послан императрицей Елизаветой изучать фарфоровое дело,— сказал Сыромолотов, чем явно обрадовал свою «натуру», спросившего с большой живостью:

— Значит, что же, ученик немецких мастеров по фарфору?

— Да-да... Ломоносов и с ним двое других... Потом он был поставлен во главе фарфорового завода в России... Занимался также и мозаикой — есть мозаичные иконы его работы... Но он же, мне кажется, внес в науку и закон сохранения энергии, это вам, конечно, известно,— обратился к Тольбергу Сыромолотов.

— Мне? Нет! Мне известно, что это закон Майера, немецкого ученого,— строптиво возразил Тольберг.

— Да ведь Майер жил позже Ломоносова, и даже гораздо позже. Впрочем, я давно убедился, что споры о том, кому принадлежит то или другое открытие, совершенно бесполезны,— примирительно сказал, улыбаясь, Сыромолотов.— Я, например, буду говорить, что радиотелеграф — детище нашего ученого Попова, а итальянцы будут кричать: Маркони! Маркони! — и зашвыряют меня гнилыми апельсинами,— и что мне тогда прикажете делать? Или если скажу я, что первую паровую машину изобрел не Уатт, а наш уральский рабочий Ползунов, то как к этому отнесутся англичане?

— Англичане? — оживленно отозвался на это Людвиг.— О-о! Они, пожалуй, даже не станут прибегать к такому средству, как гнилые апельсины, а скажут: «Очень хорошо, мистер Сыромолотов, Ползунов так Ползунов, но-о... если вы только имеете полномочия от какой-нибудь русской фирмы или от правительства, чтобы закупить большую партию машин, то можете адресоваться к нам, а не иметь дела с Германией...» Вот что вам скажут англичане.

Сыромолотов не мог не улыбнуться горячности, с которой это было сказано, а Эрна вдруг обратилась к нему:

— Я где-то читала или это я от кого-то слышала, не помню,— что в Мюнхене на выставке была ваша картина, правда?

Она глядела на него при этом так оторопело-ожидающе, что Сыромолотов счел нужным выручить ее; он ответил неторопливо:

— Да, давно уж это, еще в девятом году,— пять лет назад,— адресовались ко мне устроители, и я дал... Это была десятая международная выставка.

— И получили золотую медаль? — спросил теперь уже муж Эрны.

— И получил золотую медаль... и диплом к ней.

— Вот видишь, я тебе говорила! — торжествовала Эрна, обращаясь к мужу, а старый Кун многозначитель-

но подмигнул своей тяжеловесной супруге, добавив к этому оживленно:

— В Мюнхене! На международной выставке! О-о, это есть большое отличие!

И поднял указательный палец. И Сыромолотов именно теперь увидел особенно осязательно, что в молодости он был очень похож на своего сына, каким тот был теперь.

Людвиг Кун весь так и сиял, выкрикивая:

— Вот видите, вот видите, как вас оценили в Германии! Золотая медаль на подобной выставке — это миро-вой три-умф, вот что это такое! Золотая медаль и диплом — это не гнилые апельсины, нет! В Германии таланты ценить умеют!

— А почему же господин Сыромолотов живет здесь, если он такой знаменитый художник? — полюбопытствовала мать Людвига, обращаясь почему-то к своему сыну, точно неуверенная, что ее плохой русский язык поймет сам художник.

— Да, в самом деле? — подхватил Людвиг.— Вам, разумеется, надобно жить в Петербурге, Алексей Фомич, а не здесь.

— Мне здесь больше нравится, чем в Петербурге,— ответил на это Сыромолотов, уже не улыбаясь, а даже несколько недовольным тоном, так что Людвиг, видимо, заметил это, потому что заговорил о другом, очень круто изменив тему разговора:

— Вы не «Биржевые ведомости» выписываете, Алексей Фомич?

— Не-ет, а что? — удивленно отозвался на это Сыромолотов.

— Так, знаете ли: я все-таки слежу за политикой... А в Албании теперь восстание против принца Вида... Любопытно, чем оно окончится. Вы как полагаете, повстанцы ли победят, их ли победят?

— Совсем не читаю об этом,— буркнул Сыромолотов.— На что мне все это?

— Оно и мне, конечно, не слишком нужно, да ведь с маленького может дойти до большого. Балканы — это, знаете ли, такой котел, что каша в нем вот уже сколько лет все варится и довариться никак не может.

— Да ведь кончили уж там войну все эти болгары, турки, греки, сербы, навоевались уж досыта и отдыхают, однако до большого не дошло,— сказал Сыромоло-

тов, думая, что все уж исчерпал по этому вопросу, но Тольберг возразил живо:

— «До большого не дошло» в каком смысле? В том, что великие державы в эту войну не ввязались? Они еще не раскачались, быть может, но как будто уже раскачиваются и даже сильно.

А Людвиг Кун вдруг вскочил из-за стола стремительно, сказал, наклоняясь к Сыромолотову:

— Я вам сейчас принесу одну статейку! — и выскочил из столовой.

Должно быть, то, за чем он выскочил, было у него под руками в его комнате — он не заставил себя ждать и двух минут. Он вошел с газетным листом в руках, и Сыромолотов разглядел, что это был номер «Биржевых ведомостей».

— Вот, не угодно ли. Статья без подписи, но я наводил справки и узнал, что ее писал сам наш военный министр генерал Сухомлинов! — заговорил возбужденно Людвиг, садясь.— Статья называется «Россия хочет мира, но готова к войне».

— Позвольте, это от какого же числа газета? — спросил Сыромолотов.

— От двадцать седьмого февраля, вот, смотрите,— показал ему Людвиг.— От двадцать седьмого февраля, а сегодня — пятнадцатое июня,— значит, три с половиной месяца назад. Я эту статью берегу, как свое доброе имя, до того она... содержательна. Я даже могу из нее кое-что прочесть, если вы не будете иметь ничего против.

— Пожалуйста, прочитайте,— согласился Сыромолотов, слегка, впрочем, пожав плечами, и Людвиг начал:

— «С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. У нас нет причин волноваться: Россия готова...» Каково, а? Сильно сказано?

— Внушительно,— сказал Сыромолотов.

— Дальше: «За последние пять лет в печати всего мира время от времени появлялись отрывочные сведения о различного рода мероприятиях военного ведомства в отношении боевой подготовки войск. И мы не сообщаем здесь ничего нового и неизвестного. Мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время. Всем известно, что на случай войны наш план обыкновенно носил оборонительный характер. За

границей, однако, теперь знают, что идея обороны отложена и русская армия будет активной».

Тут Людвиг Кун остановился и испытующе поглядел не только на Сыромолотова, но и на Тольберга тоже.

— Гм... Активной,— неопределенно отозвался Сыромолотов.

— Да, да, вот именно: активной!.. Но слушайте дальше. «Не составляет секрета, что упраздняется целый ряд крепостей, служивших базой по прежним планам войны, но зато существуют оборонительные линии с весьма серьезным фортификационным значением... Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу. Законопроект о прапорщиках запаса решает вопрос о качестве запасных офицеров».

— Да ведь прапорщики запаса появились еще в русско-японскую войну,— заметил Сыромолотов.

— Да, были и тогда, я сам тоже ведь прапорщик запаса, как и он,— сказал Тольберг, кивнув на своего друга, а Людвиг продолжал, только кивнув головой:

— Вот что особенно важно: «Русская полевая артиллерия снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким орудиям, но во многих отношениях их превосходящими. Осадная артиллерия... имеется при каждой крупной боевой единице. Уроки прошлого не прошли даром. В будущей войне русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов! Артиллерия снабжена и большим комплектом и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов...» Видите, как?

И Людвиг многозначительно переглянулся со своим другом, хотя Сыромолотову было уже ясно, что статья эта хорошо была известна Тольбергу. Однако для него самого в ней теперь, при чтении со стороны, действительно оказалось что-то новое и притом важное новое, что, быть может, он пробежал бы мельком, если бы сам взял в руки газетный лист, и, отвечая на вопрос, к нему обращенный, он сказал:

— Да, вот подите же...

А Людвиг продолжал, воодушевляясь чем дальше, тем больше:

— «Техника военно-инженерного дела за последнее время сильно развилась, и кто же не знает, что военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высо-

ко. Военный телеграф стал достоянием всех родов оружия. У самой маленькой части есть телефонная часть. Русская армия в изобилии снабжена прожекторами. Офицеры и солдаты показали себя мастерами в железнодорожном деле и могут обойтись без обычного железнодорожного персонала. Не забыто и воздухоплавание. В русской армии наибольшее значение придается аэропланам, а не дирижаблям. Тип аэропланов еще окончательно не решен, но кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных дредноутов русской армии? Русская армия явится, если бы обстоятельства к этому привели, не только громадной, но и хорошо обученной, хорошо вооруженной, снабженной всем, что дала новая техника военного дела».

— Чья статья это, вы сказали? — обратился Сыромолотов к Людвигу.

— Сухомлинова — военного министра.

— Военного министра,— ого!

— Ха-ха-ха! — развеселился Людвиг.— А тут дальше, представьте себе, есть такое место: «Русская армия, бывшая всегда победоносной, воевавшая обыкновенно на неприятельской территории, совершенно забудет понятие «оборона», которое так упорно прививали ей в течение предпоследнего периода нашей государственной жизни... Конечно, если какая-нибудь держава питает агрессивные замыслы против России, то наша боевая мощь ей неприятна, ибо никто уже не может теперь питать вожделений о какой бы то ни было части русской земли. «Si vis pacem, para bellum» — «Если хочешь мира, готовься к войне». Россия в полном единении со своим верховным вождем хочет мира, но она готова».

— И одни готовы и другие тоже готовы,— неожиданно для Сыромолотова заговорил старый Кун,— а кто лучше готов — вот в чем является вопрос.

— Позвольте, я не понял все-таки, против кого направлена эта статья? — спросил одновременно и Людвига Куна, и его отца, и Тольберга художник.

— Как «против кого»? — удивился Людвиг.— Разумеется, против Австрии... Что удалось Японии в девятьсот пятом году, то, Австрия думает, может удастся и ей.

— Ну что вы, что вы! — заулыбался, как шутке, Сыромолотов.— Япония была очень далеко, Австрия у нас под руками. Да со времен японской войны так действительно много нового введено в нашей армии.

— А что, что именно введено нового? — так и вскинулся Людвиг Кун.

— Да ведь вот же вы сами сейчас читали, что нового.

— Ну, это, знаете, ведь общие фразы... Это официальная статья. А вы, может быть, от кого-нибудь слышали из военных, что введено нового,— скажите. Этим очень интересуются в Берлине, туда и можно бы было написать в одну газету, а? Это большое бы имело значение: частным корреспондентам гораздо больше там дают веры, чем вот таким, официальным. Официальные лица, вы сами понимаете, разумеется, должны, обязаны так писать, за это они огромное жалованье получают, а как на самом деле, если посмотреть со стороны, а?

И Людвиг впился глазами в глаза Сыромолотова так назойливо, что тот даже отмахнулся от него рукой, сказав при этом:

— Помилуйте, что вы, откуда же я такие тонкости могу знать!

V

Как все отмежевавшиеся от других, чтобы они как можно меньше мешали делу, Сыромолотов начинал уже негодовать на себя за то, что остался обедать у Кунов. Поднимать настроение вином он вообще не привык, так как этот необходимый для него, как художника, подъем настроения обычно чувствовал всегда: ему не случалось забывать о том, что он художник. Между тем выпитое им у Кунов вино не обостряло его зрения, а туманило, а главное, то, что говорилось кругом, выпадало из круга обычных его интересов. Прилежным чтецом газет он никогда не был. На то, чтобы пробежать газеты, он тратил не больше пяти минут в день, и менее всего могли интересовать его статьи каких бы то ни было министров.

Однако почему-то выходило так, что начинали переставляться помимо его воли предметы в рамке той картины, какую он для себя прочертил: далеко на задний план уходила его «натура», а на передний выдвинулся этот инженер-электрик, с прядью белесых волос, свисающей на лоб, и с назойливыми, тоже белесыми, глазами, молодой Кун, которому все свое внимание отдавали другие: и Куны и Тольберги. Даже Эрна не говорила с ма-

терью Людвига о чем-нибудь постороннем, как это принято у женщин, когда они долго уже сидят в обществе мужчин, а неослабно следила за разговором, затеянным Людвигом.

Вот он сказал вдруг:

— Вам, Алексей Фомич, как художнику, должны быть яснее подспудные эти, как бы сказать, течения жизни, которые могут ведь вдруг и прорваться наружу и, пожалуй, затопить даже, а?

— Мне? — искренне удивился Сыромолотов.— Мне, художнику, подспудное? Нет, с подспудным я не имею дела, а только с тем, что именно не подспудно, что я могу видеть своими глазами... А подспудное — это что же такое? Политика, что ли?

— Назовите хотя бы и политикой,— улыбнулся Людвиг.— Вы, конечно, скажете, что вы — не политик, не строите общественной жизни...

— Да, да... даже и электричеством не занимаюсь,— вставил Сыромолотов.

— Очень хорошо! Этим занимаемся мы с ним,— кивнул Людвиг на Тольберга,— но вы, художник, обладаете таким чутким аппаратом, который, одним словом, может сразу обобщить разные там факты и сделать вывод... Почему, например, наш военный министр Сухомлинов, хотя он и не подписался, выступает вдруг со статьей «Мы готовы»?

— В самом деле, что его могло заставить это сделать? Получил приказ от царя, что ли?

— В том-то и дело, в том-то и дело, что, может быть, и получил приказ! — подхватил Людвиг.— Ведь нужно знать, почему это вдруг — «Мы готовы». Для кого собственно это писалось? Это — вопрос, разумеется, но... Вот я вам принесу показать одну статейку...

И он, как и раньше, стремительно вышел из комнаты, унося при этом газету.

Вернулся он так же быстро, как и в первый раз, но теперь в его руках была уже не газета, а записная тетрадь в черной клеенке.

— Вот это я сам перевел на русский язык из одной подобной статьи,— сказал он садясь.— Статья называется «Вооружайтесь». Она довольно длинная, я прочту только начало, чтобы вы могли судить... «Вооружайтесь, вооружайтесь! Вооружайтесь для решительного боя! Балканы мы должны приобресть. Нет другого средства

для того, чтобы остаться великой державой. Для нас дело стоит так: быть или не быть. Перед нами — экономический крах, а за нами — распад монархии. Мы сможем возродиться только тогда, когда приобретем все Балканы, как всем ходом истории предназначенную только нам колонию для сбыта нашего промышленного перепроизводства, нашего духовного перепроизводства, для вывоза туда излишка нашего населения... Вооружайтесь, вооружайтесь! Приносите деньги лопатами и шапками! Отдавайте серебряные кубки, серебряные ложки; отдавайте золото и драгоценные камни, чтобы обменять их на железо; несите последний грош! Отдавайте ваши последние силы на вооружение, неслыханное, невиданное с тех пор, как стоит свет! Знайте, дело идет о последнем решительном бое великой монархии! Дайте ружье в руки отрока, дайте патроны в руки старца. Вооружайтесь беспрестанно, лихорадочно, не теряя минуты! Вооружайтесь ночью и днем, чтобы быть готовыми, когда настанет решительный бой. Иначе дни Австрии сочтены!..»

— Какая-то истерика, а не статья! — перебил Сыромолотов.— Кто же писал это? Неужели австрийский военный министр?

— Нет, что вы! — рассмеялся Людвиг.— Министры так не напишут, а подпись под статьей — Кассандер, но это, само собой понятно, псевдоним.

— Кассандер? Что-то знакомое, однако,— старался припомнить Сыромолотов.

— Кассандру вы знаете — жрицу, пророчицу, из Гомера,— подсказал ему Тольберг.

— Да-да. Кассандра... Значит, и этот заговорил сознательно таким пифическим языком, чтобы напугать веселых венцев? А на самом-то деле, я думаю, ничего страшного нет, а? Просто вроде наемных плакальщиц над покойниками: «Поди-ка, поплачь, Матренушка!» — «Да уж я плакать-то, милый, горазда, а вот сколько ты за это мне дашь?»

Говоря это, Сыромолотов надеялся, что с ним тут же согласятся оба инженера, но они только улыбнулись, однако повели отрицательно головами.

Ответить же ему не успел ни один из них, потому что как раз в это время, хотя обед уже кончался, появились в доме Кунов новые гости.

Сначала были слышны в коридоре их голоса, потом поднялись им навстречу все Куны: гости оказались по-

четные. И когда Тольберг, тоже поднимаясь, поймал спрашивающий взгляд Сыромолотова, он шепнул ему на ухо:

— Это Люстих с женой.

Сыромолотов когда-то слышал, что Люстих — один из богатейших помещиков степного Крыма, и не без любопытства смотрел, как, пропуская вперед свою жену, появился в столовой этот худощавый, среднего роста, бритый, как ксендз, пожилой человек неопределенных лет. Однако он именно «появился», в то время как его супруга мощно вплыла: по сравнению с нею он казался как бы бестелесным, она же сразу заняла собою чуть ли не половину столовой. И если после того, что шепнул ему Тольберг, у Сыромолотова завертелись было в мозгу снова слова из пародии на Пушкина: «Август к Михелю бежит, Август Михелю кричит...», то при первом же взгляде на фрау Люстих их сменило совершенно изумленное: «Даст же господь женщине такие неизмеримые формы!..»

Мало того, что она была высока, как это крайне редко встречается, она еще и раздалась вширь настолько, что перед нею даже толстая фрау Кун показалась просто слегка сытенькой, а Эрна — девочкой-подростком, которой еще года три надо ходить в гимназию.

И голос у этой великанши оказался густой и жирный, когда сказала она, обращаясь к обоим старым Кунам сразу по-немецки:

— Мы к вам только на одну минуту. Представьте, мы узнали от почтмейстера такую ужасную новость, что сейчас же едем к себе в имение!.. Мы очень расстроены.

— Ах, боже мой! Что? Что такое? — уже заранее подняла испуганно руки фрау Кун, а герр Кун только стоял с открытым ртом и выпученными глазами, старавшимися выкарабкаться еще более из сложно запутанных мешков.

Но нужно было все-таки, чтобы поздоровались с вошедшими и чета Тольбергов и Людвиг и чтобы Людвиг представил новым гостям Сыромолотова. Как ни велико было нетерпение фрау Кун, фрау Люстих поневоле затормозила стремительный свой разбег. Кроме того, узнав, что перед нею не одни немцы, а есть еще и русский, она перешла на русский язык.

— Только что получена телеграмма, господа, что убит националистами эрцгерцог австрийский Франц-Фердинанд вместе со своей женой, в Сараеве. Убийцы — сер-

бы... Сначала бросали бомбы, потом стреляли из револьвера...

Она сказала это с тою поспешностью, какой требовала подобная новость, и с тем акцентом, какой появляется у лиц, говорящих на чужом языке, когда они очень взволнованны.

Сказано было немного, но Куны и Тольберги были так поражены, что только переглядывались друг с другом безмолвно, а более спокойно отнесшийся к словам великанши Сыромолотов спросил ее:

— Откуда же все-таки получена телеграмма?

— Телеграмма из Берлина,— ответила та, а муж ее добавил:

— Обыкновенно, как это принято — телеграмма от телеграфного агентства, но только сегодня она публиковаться не будет.

— Потому что сегодня ведь воскресенье,— газета уже вышла,— пояснила фрау Люстих.

— А завтра она не выйдет, потому что понедельник,— заметил Людвиг,— но могут выпустить специальный бюллетень!

— Если только разрешит губернатор,— вставил Люстих.— Ведь убит не кто-нибудь, а, можно сказать, фактический глава Австро-Венгрии: император Франц-Иосиф стал очень дряхлый.

Он тоже говорил с акцентом, но все-таки более свободно, чем его супруга.

— Это может иметь оч-чень большие последствия,— проникновенно решил старый Кун.

— Колоссальные! — пробасила фрау Люстих.— Это нас так поразило, что мы...

— Да, мы благодаря этому спешим домой,— закончил за нее муж,— поэтому позвольте откланяться.

И хотя Куны, опомнившись, начали было усиленно просить вестников происшествия в каком-то далеком Сараеве присесть за стол, они распрощались и ушли к своей машине, а в сознание Сыромолотова угловато резко вошла тяжеловесная, как сама фрау Люстих, новость, принесенная ею.

Все трое Кунов пошли провожать гостей до калитки, может быть с целью узнать от них что-нибудь еще, а Эрна сообщительно обратилась к Сыромолотову:

— Конечно, вы должны были обратить внимание больше на фрау Люстих, чем на ее мужа, однако имение их принадлежит ему, а не ей.

— Они с Кунами соседи по имениям,— добавил к этому сам Тольберг.

— Где же именно их имение, я так и не удосужился спросить?

— Возле станции Курман, недалеко от города... Люстихи — очень богатые люди,— осведомил его Тольберг, как будто имея в виду, что вот если бы ему посчастливилось получить заказ на семейный портрет этой четы, он мог бы хорошо заработать.

Поняв его замечание именно так, Сыромолотов недовольно улыбнулся в усы, но в это время ворвался в столовую Людвиг с готовым восклицанием:

— Ну, знаете, это может вызвать положительно черт знает что!

— Подождем все-таки телеграмм,— попытался охладить его друг.— К завтраму их будет, конечно, больше, чем пришло сегодня. Завтра будет яснее, что там собственно произошло.

— Но ведь факт останется фактом: австрийский эрцгерцог убит.

— Я думаю, что эрцгерцогов в Австрии и без убитого довольно,— попробовал беспечным тоном сказать Сыромолотов, но Людвиг с нескрываемым возмущением исказил вдруг свое обычно благожелательное к нему лицо.

— Что вы, что вы, Алексей Фомич! — выкрикнул он.— Надо же знать, кто такой был Франц-Фердинанд... Это был самый способный из племянников Франца-Иосифа, из племянников, потому что детей у него, кроме Рудольфа, трагически погибшего, не было.

— Вот как! Не было разве? — довольно равнодушно отнесся к этому Сыромолотов.— Так долго на свете жить, как этот Франц-Иосиф, и не позаботиться о такой пустяковине, как наследник,— это, послушайте, даже странно!

— Он и позаботился: убитый негодяями эрцгерцог был прекрасный наследник,— раззадоренно продолжал выкрикивать Людвиг,— и из него должен был выйти выдающийся император!.. Пусть даже не такой, как Вильгельм Второй, но все-таки... незаурядный... И вот его нет... Этого не простит никому история! Нет, не простит!

Сыромолотов наблюдал теперь Людвига Куна, приподняв удивленно брови: тот горячился так, как будто убитый австрийский эрцгерцог был по крайней мере его хороший знакомый.

— История не простит или Франц-Иосиф? Или, те, кто правил под его именем? — спросил он.

— В конечном итоге это все равно, разумеется, кто именно,— может быть, даже третье лицо, со стороны, но немцы к такой подлости, как это убийство из-за угла, отнесутся единодушно строго,— вот моя точка зрения!

В это время вошли Карл Кун и мать Людвига, и Сыромолотов заметил оторопелое выражение лица своей «натуры».

— Ты слышал, что сказал мне на прощанье герр Люстих? — обратился старый Кун к сыну.

— Что именно? — встревоженно спросил сын.

— Что это... как бы выразить... хороший предлог к очень большой войне,— с заметным трудом подыскал слова отец и вопросительно вперил выцветающие глаза в горячие глаза сына.

— Я совершенно так же это понял,— не замедлил согласиться сын.

VI

Обед кончился скомканно, и как-то до такой степени не по себе стало Сыромолотому, что он едва удержался от желания взять домой ящик с красками и кистями, чтобы больше уж сюда не являться. А желание было сильное, так что удержаться от него было нелегко. Он решил, впрочем, посвятить портрету старого Куна еще не больше одного сеанса, чтобы облегчить и себя и свою «натуру».

Домой возвращался он по тем же самым улицам, по каким шел утром, но утренней открытости ко всему кругом теперь уже не было в нем. Людей, во множестве возникавших перед глазами на несколько моментов при встрече с ними на улице, совершенно заслоняли те несколько человек, которых он уносил в себе из дома Кунов.

В жизни Сыромолотова вообще мало было людей, которых он мог бы назвать «своими», но до такой остроты, как теперь, он — ему казалось так — никогда раньше не чувствовал «чужих».

В чем именно заключалась их «чужесть», этого он толково объяснить даже самому себе, пожалуй, не смог бы: он чувствовал это инстинктивно, но очень сильно.

Не чужесть даже, а совершенно непримиримая враждебность, какими бы масками внешних приличий она

ни прикрывалась. Он не столько доводами рассудка, сколько пространственно ощущал это: ему было тесно идти.

Впечатлительный, как всякий большой художник, он и по улице домой шел как будто не один, а рядом с Людвигом Куном и Тольбергом, с монументальной фрау Люстих и ее тощеватым, но жилистым мужем. Отрывая от них свое внимание для того, чтобы не столкнуться с тем или иным встречным или обойти кого-нибудь впереди из очень медленно идущих, он ни на минуту не забывал, что идет как бы рядом с кучкой чужих людей, начавших было даже и говорить на своем языке в его присутствии. Не в отношении только себя лично, но и в отношении всех, кого привык он считать своими, чувствовал он теперь их враждебность, несмотря на то, что как будто ничего ведь обидного для него и этих «своих» не говорилось в доме Кунов.

Однако именно то, что не говорилось там, договаривалось ими здесь, на улице, где он почти ощутимо чувствовал их локти. Теперь он сам спрашивал только что оставленных им людей о многом и сам за них отвечал; теперь его раздражали их ответы до того, что мешали четкости его шагов, опутывали ноги. Теперь он спрашивал их и о том, какие художественные достоинства найдены ими в олеографии «Вильгельм II, император Германии», чтобы повесить ее на почетном месте в столовой, и отвечал за них, что дело тут совсем не в достоинствах олеографии, а в том, что это — их Вильгельм.

Человек самоуверенный и гордый, Сыромолотов ловил себя, однако, на том, что спорит он теперь, на пути домой, только с Людвигом Куном и Тольбергом, изредка со своей «натурой», но не с матерью Людвига и не с Эрной, потому что они не стоят того, чтобы с ними спорить, и не с четой Люстихов, потому что им некогда спорить: они страшно заняты своими делами, они спешат, им не до споров, они выше каких-то там споров. Это он ощущал очень ярко и живо, и это его раздражало. Он вспоминал массивные золотые браслеты на массивных, пунцовых от горячего солнца руках фрау Люстих, ее шляпу, похожую на китайский зонтик, четырехугольные вздутые щеки, вспученные яростные глаза,командирски громкий голос и торс ее, немыслимый для объятий, и приходил к мысли, что для какого-нибудь официального скульптора-немца, получившего заказ на статую Пруссии или Баварии, днем с огнем не разыскать более подходящей натуры.

То, что он слышал у Кунов, то, что ему читал Людвиг из газет петербургской и венской, каким-то странным образом для всякого другого, только не для него — художника, отступало на задний план, а на переднем, как в древнегреческой живописи времен Полигнота, были одни фигуры людей, с которыми он расстался. То, о чем говорилось и читалось, не имело в нем никаких очертаний. Кто-то вопил: «Вооружайтесь!», кто-то докладывал: «Вооружились», наконец кого-то убили, кого, представить он даже и при желании не мог, и все это было чересчур далеко от глаз, эти же несколько человек осязательно близко...

Улицы между тем сверкали.

Было уже больше трех часов пополудни; солнце перешло зенит; появились тени, отчего еще ярче заиграли блики.

Воскресная уличная толпа гуще всего была около киосков с водами и у входов в кинематографы, украшенные кричащими плакатами. Загорелые смуглые южные лица; торопливость движений, несмотря на жару; звонкие голоса, энергичные жесты, говорящие здесь и там руки и плечи; цокот копыт извозчичьей пары, запряженной в фаэтон с опущенным кожаным верхом; гудки автомобилей, и вдруг совсем рядом чей-то молодой голос, почти пропевший:

— Я извиняюсь!

Сыромолотов повернул голову — прямо в его глаза глядели неробкие карие глаза тонкого худощекого юнца в белой рубахе с открытой шеей.

— Что вам? — спросил Сыромолотов недружелюбно.

— Я хотел вас спросить: вы не даете уроков живописи?

— Нет, не даю никаких уроков,— недовольно буркнул Сыромолотов, не останавливаясь.

— Я извиняюсь! — тем же тоном, как и в первый раз, почти пропел, отставая, юнец.

Неотступно стояло в мозгу Сыромолотова, как торопились ехать домой, в свое имение около станции Курман, Люстихи, чрезвычайно встревоженные тем, что услышали от начальника почты насчет убийства в мало кому известном городе Сараеве, а здесь, на сверкающих улицах, бурлила безмятежная с виду жизнь.

Около одного до черноты смуглого мальчишки, чистильщика сапог, стоял франт, задавшийся целью обно-

вить свои белые туфли, но рядом с чистильщиком сидел другой, такой же чернокожий, со щетками наготове и кричал неистово:

— Вот чи-стить, вот чи-стить, давай будем чи-сти-ить! — и в такт барабанил щетками по своей низенькой скамейке, перед которой сидел на корточках и сверкал белками глаз и зубами.

— Зе-ле-ный масла, зе-ле-ный масла-а-а! — тянул пожилой южнобережский татарин в круглой черной шапке и с двумя корзинами груш-скороспелок, носивших название «зеленое масло».

— Распродажа готовой обуви, во-от дешевый распро-да-а-жа-а!.. Пользуйтесь случаем, гас-па-да-а! — раздавая направо-налево печатные объявления об этой распродаже, насильно всовывая их в руки тем, кто у него не брал, заливался какой-то потный юркий низенький человечек...

Улицы пели.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО

I

Жизнь увлекательна, конечно, она заманчива, как путешествие в неведомую страну, хотя и далеко не для всех. Иных людей она угнетает до того, что они спешат из нее уйти, но это — заведомо больные люди. Здоровому человеку не скучно в жизни: он ее любит. Каждый день наполняет он своим содержанием, в каждом дне он видит работу тысячи тысяч людей и около себя и за много миль от себя и говорит, потирая руки: «Ого-го, как мы шагаем вперед!»

На каждом шагу жизнь сопротивляется ему, каждый шаг приходится ему брать с бою, но в этой борьбе и заключена главная прелесть жизни. Задавать себе задачи и их решать — вот жизнь.

Идет маленький человечек, всего только двух лет от роду, из своей детской к матери, сидящей в саду с шитьем. Какое трудное для него это дело! Он боязливо перебирается через высокий, как ему кажется, порог; он ползет, упираясь ножонками, с третьей на вторую, со второй на первую ступеньку крыльца; он идет, растопырив для

равновесия коротенькие руки, по длинной-длинной дорожке, в которой всего десять шагов взрослого человека, и когда перед ним, наконец, колени матери, он говорит, победно сияя: «Я пришел!»

Он приходит потом к поставленным себе целям множество раз. Он растет, и с ним вместе растут его цели; он мужает, он стареет наконец, а целей еще так много... В этом жизнь!

Есть у простых русских людей счет прожитых лет по «седмицам». Не всем удается дожить до десятой седмицы, то есть до семидесяти лет, но кто дожил, тот начинает уже думать о себе: «Однако как стал я древен!»

Старик Невредимов так сказал самому себе лет пятнадцать назад. Он не болел еще никакими тяжелыми болезнями, он не замечал в себе резких признаков дряхлости, но то, что им уже прожито «десять седмиц», его испугало. Под влиянием страха внезапной смерти он заказал себе гроб в «Бюро похоронных процессий», и гроб этот привезли к нему в дом и поставили пока в сарае.

Но, пережив свою жену и двух детей от нее, он жил одиноким вдовцом, и неотступно начала точить его мысль: «Вот заболею вдруг, а за мною и ходить некому будет!.. Помру — кто похоронит как следует?.. А семьдесят лет — это не шуточки, всего ожидать можно!..»

Как раз в это время заболел и умер его младший брат. Лет на двадцать он был моложе его и жил тоже в Крыму, только в другом городе. Этот пошел в семя: он имел восемь детей, которых, кстати сказать, старый Невредимов (его звали Петр Афанасьевич) не удосужился видеть. Занятый мыслями о своей смерти, Петр Афанасьевич написал вдове брата, Василия Афанасьевича, чтобы она вместе со всеми своими чадами переезжала к нему.

Семья его покойного брата жила на квартире, а у него здесь был вместительный дом и довольно большой сад при доме, заведенный еще в старые годы, не декоративный, фруктовый. Сад поливался, в нем был колодец, к колодцу была приспособлена помпа, к помпе — длинный шланг,— так что у Невредимова не было недостатка в яблоках, грушах, сливах, вишнях, а между тем всем хозяйством его ведала одна только пожилая уже давняя его кухарка, которую он называл, смотря по настроению, то Евдоксией, то Евдохой.

Удивлению и сокрушению Евдохи не было конца, когда появилась в доме невестка ее старого хозяина с целой

толпой ребят, из которых младшей девочке было всего только два года. Запричитала и даже заплакала и начала собирать свои вещички, чтобы уйти, однако осталась — велика была сила привычки к дому, в котором прожила она лет тридцать, попав сюда еще в девичьи годы.

Впрочем, едва ли меньше ее был удивлен таким обилием детворы в своем доме и сам Петр Афанасьевич. За долгие годы одинокой жизни он привык в нем к безлюдью и тишине, и вдруг заклубилось кругом, завертелось, зазвенело восемью голосами, заплакало навзрыд, заулюлюкало, затрещало в барабаны, засвистало в четыре пальца, задралось на самодельных шпагах, залезло на все деревья в саду, затопало по всем комнатам,— развоевалось до того, что дым пошел коромыслом!

У не вышедшей замуж пятидесятилетней Евдоксии была перед приездом этой шумной семьи только одна прочная привязанность — пестрый, черно-белый пушистый кот, которого звала она Прошкой, и Невредимов часто видел этого кота у нее на руках и слышал, как она нашептывала ему нежно: «Спи, кошечка Прошечка!» Уговаривать Прошку спать было даже излишне: это было обычное занятие его днем, а по ночам, особенно весною, он отправлялся путешествовать по крышам, не доставляя этим больших огорчений никому, кроме своей хозяйки. Теперь она, Евдоха, улучив время и кивая на многочисленных племянников и племянниц Петра Афанасьевича, ворчала, в надежде на то, что он услышит:

— Эх, накачлял себе на шею такую страсть с большого ума!

И в досаде гремела на кухне посудою так, что даже разбила несколько блюдечек, чего не случалось с нею никогда раньше, а когда начинала убирать в комнатах, то так двигала стулья и кресла, что Петр Афанасьевич приглядывался потом, не сломала ли чего, не валяются ли по углам отлетевшие ножки.

Он понимал Евдоксию и про себя, втайне, соглашался с нею вполне и в своем кабинете бормотал иногда вслух: «Накачлял, это правда, конечно, накачлял на шею... Однако кому же, кому же жить в доме? Не мне же,— я уже отжил свое,— им жить... Мне помирать, а им жить...»

Утвердившись в мысли, что он, по существу, не живет уже, а помирает (семь-де-сят лет!), покряхтывая, старал-

ся умирающими глазами и взирать Петр Афанасьевич на ворвавшуюся к нему в дом голосистую жизнь и всячески сторониться, уступая ей место. Вместе с тем, чувствуя усталость от жизни, он не мог не удивиться тому, какою хозяйственной оказалась вдова брата Василия, Дарья Семеновна, способная управляться с целым взводом юных башибузуков, произведенных ею на свет, и в то же время вникавшая во все мелочи распорядка, принятого в его доме, и во все работы, какие велись в саду.

Даже гроб, прекрасно отделанный, отлакированный, с медными ручками, торжественно стоявший в сарае в ожидании своего посмертного жильца, и тот привлек ее неослабное внимание.

— Что это за страсти такие? — спросила она Евдоху.

— Не видите, что ли, сами? Гроб,— сурово ответила та.

— Для чего же он здесь поставлен?

— Как это для чего? Хозяина дожидается.

Дарья Семеновна открыла тяжелую крышку, посмотрела и сказала:

— Большое помещение какое!

— Да ведь и хозяин не маленький,— буркнула Евдоха.

Действительно, Петр Афанасьевич был очень высок ростом и если сутулился, то пока только в шее, а не в спине.

Дарья Семеновна переехала сюда летом, когда в саду собиралась и сушилась вишня, для чего раскладывали ее на железной крыше сарая.

— Ну, пока что, пока хозяин еще не помер, что же такому ящику с крышкой без дела стоять,— сказала Дарья Семеновна и сама начала сгребать сушеную вишню с крыши сарая и наполнять ею гроб.

В тот же день от Евдохи узнал об этом Петр Афанасьевич и сначала было вскипел, что так вздумала невестка неуважительно обращаться с его последним жилищем, но урезонен был ее оправданием:

— Да ведь это пока, Петр Афанасьевич, пока, на время, чтобы не пустовал зря... И разве же ему что-нибудь сделается, если в нем полежит сушка? Напротив того, духовитее он станет. А выбрать вишню можно ведь, на случай чего, не дай бог, за пять каких-нибудь минут: это дело недолгое.

Петр Афанасьевич почесал пальцами седую бороду, пожевал беззубым уже почти ртом и отошел, а гроб так и остался ящиком для вишневой сушки.

Дарья Семеновна была крепкая сорокадвухлетняя женщина, из тех, о которых в русском народе принято говорить: «Сорок два года — баба ягода». Все у нее было круглое: плечи и лицо, глаза и голос, улыбка и движения рук, поэтому круглые тарелки, когда она мыла их после обеда, круглые корзины, в которые собирала она сливы или яблоки в саду, круглый белый хлеб, который резала она для завтрака,— все это к ней как-то прирожденно шло.

И сколько ни присматривался Невредимов к своим племянникам и племянницам, он замечал, что большая часть их вышла не в отца, а в мать,— так же круглоголовы, круглоглазы, круглороты и невелики ростом. Впрочем, запомнить их всех он довольно долгое время не мог и даже путал их с ребятишками, которых встречал, прогуливаясь по утрам, в своем квартале.

Постепенно все-таки они ему примелькались, эти пять мальчиков и три девочки, и он даже запомнил их имена, тем более что к концу лета на него свалилась забота старших из них определять в гимназию.

До того, как заболеть страхом близкой смерти, он был нотариусом, и поэтому все в городе знали его и очень многих знал он; но вот нотариальная контора его перешла к другому, а сам он очутился на полной свободе. Он мог в любое время дня выйти, чтобы погулять по своей улице; мог читать газеты, даже книги; мог подолгу приглядываться к деревьям своего сада. Мог думать и над тем, в каком необходимом ремонте нуждается его дом. Между прочим, мог наблюдать издали и даже иногда вблизи многочисленное гнездо своего брата, которое сделалось теперь его гнездом.

Каждую ночь, ожидая смерти (он уверил себя в том, что умрет непременно ночью), он вставал раньше всех в доме и, удивленно оглядывая свой кабинет, убеждался, что он жив. Это не избавляло его от страха перед следующей ночью, и перед сном он обыкновенно перечитывал духовное завещание, какое составил,— не пропустил ли он в нем чего, не надо ли чего добавить.

Но однажды вечером, когда Дарья Семеновна вместе с Евдоксией ушли «на привоз», то есть на рынок, куда с вечера начали съезжаться возы окрестных крестьян, Невредимов услышал из своего кабинета оглушительный визг и крики ребят в саду. Он выглянул в окно и увидел, что все восьмеро неистовствуют там около старого топо-

ля, увлеченные внезапно возникшей игрой. С первого взгляда трудно было понять, что они делали, но потом ясно стало, что все мальчуганы стремились забросить как можно выше на ветки тополя свои фуражки, чтобы они непременно застряли там и чтобы потом их можно было начать сбивать камнями.

Две фуражки уже прочно сидели между веток, идущих почти вертикально; выбить их оттуда камнями представлялось трудной задачей, однако по соседству с ними стремились застрять и другие фуражки, и то и дело взлетали они в воздух, пока еще неудачно.

Летели фуражки, летели камни, летели крики, летел визг...

— Ну, конечно! Столпотворение вавилонское! — сказал Петр Афанасьевич и вышел в сад.

Только что он показался около ребят, все старшие так и прыснули от него в стороны, как стрелы, остались только двое младших — девочка и мальчик. Они заплакали от страха перед ним, он же думал, что они ушиблены камнями, сделавшись жертвой слепого азарта старших.

Он поднял на руки сначала девочку, чтобы внимательно рассмотреть, целы ли у нее глаза, не набиты ли шишки на лбу, потом мальчика; шишек не было, и глаза были целы, и он забормотал обрадованно:

— Счастливо отделались! Чудесный случай! Могли бы стать калеками на всю жизнь...

Потом в сарае достал он длинный шест — чата́ло для подпорки яблонь и этим шестом не без труда снял застрявшие в тополе фуражки и отнес их к себе в кабинет.

А часом позже, когда вернулась Дарья Семеновна, он завел с нею разговор о той забаве, какую придумали ее дети.

— Батюшки мои! Могли ведь и стекло в окне выбить! — ужаснулась она.— Кроме того, что фуражки порвали...

— Стекло — это поправимо,— возразил он,— стекло можно вставить, а вот если бы глаз один другому выбил, тогда как?

— Избави господи! Куда же без глаза?

— То-то и дело... Над этим и надо нам с вами подумать...

Это был первый после многих других вечер, в который он старательно задумался над судьбами своих пле-

мянников и горчичника и забыл о том, что в наступающую ночь его, быть может, ожидает смерть.

А на другой день он лично позаботился, чтобы к детям Дарьи Семеновны была нанята надежная нянька.

II

Петр Афанасьевич не питал особенно теплых чувств к своему брату, считая его неудачником в жизни по его же собственной вине.

Гимназии он не окончил; служил он не на казенной службе, а на частной; наплодил кучу ребят, но остался все-таки легкомысленным: перегрузился на чьих-то именинах зимою, а потом до дому не дошел, заснул на холодной земле, простудился и умер от воспаления легких.

Когда получил Петр Афанасьевич письмо от Дарьи Семеновны о его смерти, то сказал, покивав головою:

— Ну вот... Вот и все... Глупо жил и глупо умер... Вот тебе и брат Василий!

Со стороны могло бы показаться, что известие о смерти брата принял он равнодушно, однако страх смерти, которым он заболел, усилился именно с того времени. И сам он вполне сознавал это и, будучи не в силах с ним бороться, пригласил к себе в дом Дарью Семеновну с детьми, потому что вспомнил пословицу: «Чем убился, тем и лечись».

Лекарство, какое он себе придумал, долго все-таки боролось с его болезнью, но оказалось довольно сильным средством.

Что ребятишки брата были единственными наследниками и дома его, и сада, и денег, которые лежали в банке, это разумелось само собой, но они могли бы и в своем отдалении от него дожидаться этого наследства, а теперь вышло так, что покойный брат от щедрот своих наградил наследством его, Петра Афанасьевича, совсем неприспособленного к тому, чтобы подобным наследством владеть, а главное, уже отчалившего в мыслях от жизни — от дома, от сада, от денег в банке.

И вот они закружились около него, целых восьмеро, как будто и схожие между собою внешне, но чрезвычайно разнообразные, если к ним приглядеться попристальней. И с того вечера, когда у него защемило сердце, что они в своей свирепой забаве выбьют друг другу камнями глаза, он и начал приглядываться к каждому из ребят.

Старшему мальчику было одиннадцать, младшей девочке два года.

У Петра Афанасьевича в молодости было двое детей, но еще крошками во время холерной эпидемии они умерли, и он сказал себе: «Лучше совсем не иметь ребят, чем так их терять», и этого правила потом строго держался.

Детская хрупкость, квелость — вот что осталось у него в памяти с того времени, и он вполне искренне изумлялся той бьющей ключом детской энергии, которая его теперь окружала. Это был очень дружный отряд: что бы ни начинали делать старшие, делали и младшие, точно по команде. Девочки ни в чем не желали отставать от мальчиков; даже самая маленькая, Нюра, и та пыталась швырять вместе со всеми камешки и, если остальные лазили на деревья, заливалась плачем, чтобы ее тоже посадили на сучок.

Из деревянных обручей рассохшегося бочонка они делали луки, из щепок — стрелы, старательно вырезывая наконечники их, чтобы они были острее, и, самозабвенно подкрадываясь, стреляли в воробьев на деревьях, а иногда в пылу азарта и в кур, копавшихся в саду, отыскивая долгоносиков. Во время дождя все как один бродили по лужам, немилосердно грязня свои штанишки и платья, чем приводили в отчаянье мать.

А Петр Афанасьевич говорил ей в подобных случаях:

— Это они, Дарья Семеновна, повторяют историю человечества... Теперь они живут в каменном веке... Уверяю вас, что все, что они делают, это у них инстинк-тивное повторение пройденного!

Однако и сам он, будто заразясь от ребятишек, «живущих в каменном веке», возымел вдруг большой интерес к истории Крыма с древнейших времен, хотя никогда раньше не проявлял ни малейшего любопытства к этой области знаний.

Нотариальное дело, которым занимался он большую часть своей жизни, ежедневно ставило перед ним густожитейские вопросы, по которым составлялись и подписывались им вполне узаконенные бумаги: именно в том, чтобы вкладывать все разнообразие житейских, денежных и других материальных дел в строгие рамки законов, и проходила его жизнь, и вдруг — бесчинства, беспардонное своеволие восьмерых маленьких людей около него,— это заставило его задуматься, это отбросило его

в далекое прошлое человечества, это, наконец, проторило ему путь в губернскую архивную комиссию, членом которой он и сделался, причем сам удивился этому гораздо больше, чем кто-либо другой в городе.

Он, думавший, что счеты его с жизнью окончились, раз ему стукнуло десять седмиц, неожиданно для себя приобрел какие-то новые цели в жизни и в будущем и в прошлом. Будущее — это были его маленькие племянники и племянницы, а прошлое — это древнейшие греки, заводившие колонии свои в Киммерии и ходившие по той же самой земле, по которой бегало теперь и стреляло из луков многочисленное потомство его брата; это — скифы, кочевавшие в крымских степях; это — более поздние византийские греки, строившие на берегу Черного моря — Евксинского понта — крепости Алустон и Гурзовиту, Херсонес и Сугдею; это — Киевская Русь, осаждавшая и взявшая Херсонес — по-русски Корсунь — при князе Владимире; это — генуэзцы, настроившие много новых крепостей на побережье, причем остатки их еще не успело разрушить и время; это — золотоордынец Мамай, разбитый Дмитрием Донским на Куликовом поле и бежавший в Крым, где и основал свое Крымское ханство сначала на небольшом клочке земли в степях под Евпаторией.

Осенью того же года, когда переселилась к нему Дарья Семеновна, Невредимов уже чувствовал под собою настолько твердую почву, что позволил себе поделиться с нею своими новыми знаниями как-то во время обеда (обедал он в заведенное время отдельно от детей):

— Этот самый город Симферополь, в котором мы с вами живем, Дарья Семеновна, он собственно что же такое? Совсем еще младенец, ему немного больше, чем мне: сто с небольшим лет. Симферополь — слово греческое, значит — полезный город. Но, можете себе представить, в незапамятные времена был на этом самом месте город Неаполис, что означает — Новый город. «Новый» почему же именно? Потому, что он на месте какого-то старого был построен, а какого же именно? Об этом история молчит! Молчит, вот как! Покрыто мраком неизвестности! Какой такой город мог тут быть тричетыре тысячи лет назад — поди-ка открой! И черепочка от него не осталось... Вот что такое дела людские — прошли, и нет их. А между прочим, человек за человеком тянется, поколение за поколением, народ за народом,

цепочкой, из самой что ни на есть тьмы времени и вот до наших с вами дней, и после нас с вами тоже пойдут эти самые века за веками,— вон как эта машинка вертится без останову!.. Вот это и есть то самое perpetuum mobile, то есть вечный двигатель, чело-век!.. Человек его ищет тысячелетие уж, поди, а это — он сам и есть. Почему же так происходит? Происходит так потому, что он допустил ошибку в одном силлогизме старинном: «Всякий человек смертен; Кай — человек; следовательно, и он — смертен...» А он, Кай этот, вовсе и не смер-тен, а совсем напротив того: бессмер-тен!

Дарья Семеновна смотрела на него круглыми глазами не столько с почтением к его знаниям, сколько с опасением за его разум.

III

Шли годы, и каждый год, по заведенному порядку, в черный лакированный дубовый гроб с медными ручками Дарья Семеновна ссыпала сушеную вишню. Петр Афанасьевич стал уже председателем архивной комиссии, не очень заметно старея на вид, а восьмеро его племянников и племянниц росли и заполняли собою все больше и больше места в его доме.

Они должны бы были звать его дядей, но как-то так повелось, что начали все как один называть его «дедушкой», и он принял это, решив про себя, что так, пожалуй, гораздо лучше,— так у него являлось как бы прямое потомство: восемь корней, как бы им самим пущенных в недра земли.

«Каменный век» старших прошел без увечий для них и для младших; Петр Афанасьевич замечал, что у младших он не затянулся: они ведь поглядывали на старших, а те стали уж гимназистами средних классов, начинали уже с достоинством носить свои синие мундиры и стеснялись надевать на спину ранцы из тюленьей кожи.

Признав, наконец, полезным для них, если будет обедать с ними за одним столом, Петр Афанасьевич ввел это новшество, причем требовал, чтобы кто-либо, кого он назначал сам, читал для всех молитву перед обедом и после обеда.

Он зорко следил за тем, как кто из них держит ножи и вилки, и не уставал делать им замечания. Он спрашивал их поочередно, что у них проходилось в классах и

как кто отвечал, если его вызывали. В эти часы он чувствовал себя действительно дедом, патриархом большой семьи.

Что его самого втайне изумляло, это то, что у них кое у кого начинали появляться способности, которых даже и не предполагал он в них, когда были они малышами. Так, старший, Коля, почему-то начал хорошо петь сначала альтом, потом, когда переломился голос, тенором и играть на скрипке. Следующий за ним, Вася, отлично декламировал стихи, а старшая из девочек, Ксения, оказалась лучшей в своем классе по математике, что даже казалось ему необъяснимым: ни его брат, ни он сам большими способностями к математике не отличались. Петя, его заочный крестник, почему-то вдруг начал искусно чертить географические карты, которые обыкновенно задавались на дом в каждую четверть года учителем истории и географии Ищейкиным, которого гимназисты за его толстый и малоповоротливый язык звали Телком.

Карты требовалось сделать не менее искусно, чем в атласе, для чего покупалась ватманская бумага и акварельные краски. У Пети карты выходили почему-то сделанными со вкусом, и Петр Афанасьевич наблюдал, как подражает ему в этом вторая по старшинству из девочек — Надя.

Открывая те или иные способности у молодых Невредимовых, Петр Афанасьевич склонен был думать, что и у него самого появляются дремавшие втуне десятки лет способности педагога, и своим беседам с ребятами за обедом придавал большое значение, точно перед ним был и в самом деле какой-то класс. Он даже обдумывал иногда, что бы такое сказать за обедом, на что направить внимание, чтобы это принесло свою долю пользы для старших или для младших.

Вдруг возьмет и скажет загадочное слово:

— Белуджитерий!.. Гм, да, белуджитерий,— что это может быть такое за штука, а?

И смотрит выжидательно то на одного, то на другого из старших, а потом начнет сам объяснять, каким было допотопное животное белуджитерий, и кстати скажет, что мамонты водились в ледниковый период в Крыму и что не один полный скелет мамонта был здесь найден учеными.

Мамонты его самого очень занимали, так как недалеко от города найдена была пещера, полная мамонтовых

костей, причем все трубчатые кости были разбиты каменным молотом.

— Значит, что же выходит? — торжествующе обводя глазами племянников, говорил Петр Афанасьевич.— Выходит, что была у первобытных людей не иначе как кухня, а? Кушали мамонтовую говядину!.. И, должно быть, ничего, на пользу им шло. А вот в Сибири, пишут, был такой случай: нашли целую тушу мамонта во льдах ученые. И вот один,— молодой, конечно, старый бы себе этого не позволил сделать,—вдруг и говорит: «Мамонт вполне сохранился, в леднике пролежал столько-то там десятков тысяч лет, и шкура на нем цела,— не иначе что его льдом накрыло, оттого и погиб, а не то чтобы от болезни какой... Дай-ка попробую котлеты из его мясца съесть!..» И по-про-бовал!.. Так что его потом врачи насилу выходили. Закаялся после того мамонтов кушать!

Так как старшие, поступив в гимназию, проходили уже древнюю историю, то дядя, упорно борясь за обедом со всем, что нужно было долго жевать, спрашивал их:

— А что, зубные врачи в древнем Египте были?.. Не знаете? Плохо же у вас историю проходят... Не только были, но даже золотые коронки фараонам делали... А я вот и теперь никак не соберусь зубы себе вставить...

И, вспоминая, что он — нотариус, хотя и бывший, спрашивал:

— А нотариусы в Вавилоне были? Тоже не знаете? Надо будет вашему учителю истории написать, что так преподавать предмет не годится... Были нотариусы, как и теперь, писали купчии-мупчии, как татары говорят, и всякие прочие акты на глиняных дощечках. Целые библиотеки таких дощечек остались, и вот (это торжественно) читают их теперь ученые!

Ученые, впрочем, упоминались им за столом очень часто, но происходило это неизменно в связи с салфеткой, которую Дарья Семеновна так же очень часто забывала класть рядом с его прибором.

Петр Афанасьевич объяснял, разумеется, такую устойчивую забывчивость тем, что поди-ка попробуй накрыть стол на десять человек: сколько тарелок, ножей, вилок, ложек надо достать из буфета и разместить что куда, а тут еще вдруг и салфетка!

Он пробовал просто напоминать об этом, но на другой же день опять не было салфетки. Тогда он придумал

сложный подход: с самым серьезным видом, как будто приготовясь говорить об индрикотерии или бронтозавре, он произносил:

— Многие ученые утверждают, что сал-фет-ка — предмет первой необходимости за столом, но другие ученые яростно отрицают это.

Этот подход возымел действие, однако не больше, как на три дня, потом вдруг оказалось, что Дарья Семеновна опять позабыла положить салфетку.

Тогда вдохновенным голосом начал Петр Афанасьевич снова:

— Многие ученые утверждают, что...

— Ах, голова у меня совсем затурканная! — вскрикнула Дарья Семеновна и пустилась искать салфетку.

Все-таки и после того, непостижимо уж почему именно, нет-нет да и приходилось Невредимову пускать в дело «многих ученых, утверждавших» и «других, которые яростно отрицали».

IV

Привыкший ко всякой «письменности» за долгое время своей работы нотариусом, Петр Афанасьевич не только вел чисто бухгалтерскую книгу расходов, чтобы, как он говорил, «не обанкротиться» и «в порядке держать бюджет», но еще и для себя самого ввел строгий режим, ссылаясь при этом на Канта.

— По Канту,— говорил он Дарье Семеновне,— философ такой был,— горожане поверяли свои часы: раз Кант вышел гулять утром, значит, семь часов... А вставал он в пять ежедневно... Вот что такое режим! Только благодаря строгому режиму Кант до восьмидесяти с лишком лет и дожил, а то куда бы ему: хилый был!

Слова «бюджет» и «режим» стали любимыми словами Невредимова. В режим поверил он, как в средство прожить по возможности подольше, чтобы успеть поставить на ноги всех птенцов брата, однако и бюджет нужен был для той же цели, и он деятельно вникал во все статьи расхода.

Когда он был во власти страха смерти, то просто отписался от всех хлопот и забот, сделав этих птенцов в духовном завещании своими наследниками, теперь же, одержимый твердым намерением прожить как можно дольше, он стал как бы их казначеем.

Но черствым человеком он не был по своей природе, а новизна положения, в которое он попал, его поневоле омолодила. Ловя себя на том, что он слишком, может быть, вникает в сложную жизнь пятерых племянников, он часто говорил им, с виду как бы сердито:

— Как же мне прикажете воспитывать вас, если я не буду входить в ваши глупые интересы?

Он не говорил им, что завел для них особую книгу с надписью «Кондуит», в которую не ленился по вечерам заносить свои заметки об их поведении, о каждом отдельно, стараясь определить их характер. Он не делал этого, когда у него были свои дети, но тогда и он сам был еще молод, теперь же он чувствовал себя как рачительный хозяин в новой для него отрасли хозяйства, тем более что крупных событий в общественной жизни тогда, в самом начале века, было мало, и усиленно отвлекаться в эту сторону, как это свойственно старикам, ему не приходилось.

Но вот неожиданно Япония начала войну на Дальнем Востоке, и восьмеро птенцов услышали от него как-то за обедом проникновенную фразу:

— Эх, паршивый у нас царишка!.. Для войны, раз она не пустяковая, а вполне оказалась серьезная, разве такой царишка нужен? Это тебе не мирное время, это — смотр для всех наших сил!

«Царишка» — это слово тут же вошло в обиход ребят, и, может быть, именно с него началось их вольномыслие. В гимназиях им этого не говорили. Там они слышали о царе, что он «благочестивейший и самодержавнейший», а для разнообразия «благоверный», как приходилось им петь самим в молитве «Спаси, господи, люди твоя», испрашивая ему, царю, «победы над сопротивными».

«Царишка» — это с легкой руки старого Невредимова пошло гулять через ребят и по обеим гимназиям, мужской и женской, и вообще по городу. И чем дальше шла неудачная война, тем с большей выразительностью произносилось всеми «Ца-риш-ка!»

Старшему из молодых Невредимовых, Коле, было в то время уже шестнадцать лет — возраст очень восприимчивый и склонный к критике. Он уже успел прославиться в гимназии тем, что в сочинении на заданную словесником тему: «Причины лени и апатии Обломова» доказывал, что никаких причин к лени и апатии Обломова

Гончаров не привел, что среда, из которой вышел Обломов, была такая же, из которой вышел и сам автор романа, однако же дай бог всякому столько путешествовать и столько написать, сколько написал Гончаров.

Конечно, словесник отнесся к этому сочинению неодобрительно, но Коля Невредимов, приведя много цитат из романа, яростно защищал свою точку зрения, что Гончаров в этом вопросе оказался не на высоте задачи, а мог бы оказаться на большой высоте, если бы взял свою тему шире и глубже и указал бы на истинные причины обломовщины.

У одноклассников Коля и до этого случая считался и начитанным и смелым в суждениях, а после диспута его со словесником репутация его укрепилась, поэтому от него ждали кое-чего и в будущем.

Словесник, человек еще очень молодой, вздумал устроить школьный спектакль, и на рождественских каникулах в год начала японской войны силами исключительно одних гимназистов был сыгран «Ревизор», причем Анну Андреевну играл один не по летам толстый и рыхлый семиклассник, загримировавшийся так, что его не узнали зрители, а роль Марьи Антоновны никто не согласился взять, кроме Васи Невредимова, хотя был он не то чтобы очень уж женственно-миловиден лицом, а главное, так велик ростом, что для него пришлось шить особое платье.

Появление такой величественной девицы с ажурным веером в руках вызвало взрыв неподдельного веселья в зале, но все должны были признать, что роль Марьи Антоновны этот юный артист провел отлично.

Любовь Васи к театру была так велика, что Петр Афанасьевич начал серьезно беспокоиться, чтобы он не сбежал в какую-нибудь бродячую труппу, и даже взял с него честное слово, что не сбежит, а что касалось роста, то рослыми, в своего отца, оказались трое мальчиков.

Как огромное большинство мальчиков, молодые Невредимовы обладали склонностью к подвигам, а наступившая война должна была особенно разогреть эту природную склонность. Но как бы много ни было проявлено личной отваги в эту войну, война в общем велась из рук вон плохо. Вооружение русских войск почему-то было хуже, чем у японцев. Враг оказался сильный, и это должны были бы знать прежде, чем доводить дело до войны с ним, однако пренебрегли подобным знанием,

предоставив японцам наводнить весь Дальний Восток своими шпионами, противопоставив всем его силам на самой дальней окраине России незначительные гарнизоны и устарелый малочисленный флот.

Между тем всеми своими страницами история говорила молодым Невредимовым, что Россия непобедима.

— Паршивый царишка! — повторяли дедовы слова они все, обескураженные неуспехом военных действий и на море и на суше.

Это была обида, кровная обида, нанесенная их юности, поре неукротимых мечтаний. Разборзились, расскакались, и вдруг — хлещут кнутом и тянут назад вожжами.

Когда японский адмирал Того разгромил в Цусимском проливе балтийскую эскадру, посланную выручать Порт-Артур, но опоздавшую, не старый Невредимов молодых, а молодые старого начали спрашивать, и спрашивать не о древнем Египте, не об индрикотериях, живших неведомо когда, а о том, что было у них перед глазами, частью чего они являлись сами,— о родине, о России.

— Гениальный мы народ или нет, дедушка? — с горящими глазами начинал за обедом этот острый разговор Коля.

— Гени-аль-ный ли? — удивленно повторял такой странный, по его мнению, вопрос дедушка.

— Ну да,— гениальный или так себе? — поддерживал брата Вася.

— Ничего как будто: живем — хлеб жуем,— думал отшутиться Петр Афанасьевич.— И очень многих уже пережили: половцев, печенегов, обров... Обры, а по иному произношению авары, были когда-то такие, и сказано о них в летописи: «Погибоша, аки обры».

— Обров, значит, мы победили, а вот япошек почему-то не можем! — вставила средняя по возрасту из девочек — Надя, вышедшая бойкой и стремившаяся не отстать от старших.

— Ну-ну, и ты, Брут, тоже!.. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней,— пытался остановить ее прыть дед, однако она была неуемной: она повторяла упрямо:

— Вот не можем,— и все, не можем,— и все... Никак не можем,— и все!

— Далеко — понимаешь, как это далеко, или не понимаешь? Вот по этому самому: далеко, отсюда и неуспех.

— А зачем же туда лезли, в эту Маньчжурию? — спрашивал Коля.

— Ну, это уж дело не наше с тобой, почему да зачем,— не наше!

— Как же это так «не наше»? Воевать — нам, и позор терпеть тоже нам? На каком основании? — резко спрашивал Вася.

— Вот шпилька, вот шпилька растет! — качал головой дед, однако только удивляясь, а не то чтобы негодуя, и вдруг находил ответ на вопрос Коли: — Народ может и вполне гениальным быть, а правительство... оно, конечно... может не соответствовать и, как это говорится, заставляет желать лучшего.

— Что же, значит, народ не виноват, что он такое правительство терпит? — подхватывал эти слова Коля.

— Народ, народ,— начинал бурчать дед.— Говорят: «народ, народ», а что такое народ, и сами не знают. Отвлеченное понятие — вот что это такое — народ!

— Мы — отвлеченное понятие? — вскрикивала Надя, крупно округляя и без того круглые глаза.

— Та-ак! Ты — тоже, значит, народ? — удивлялся дед.

— Я? А как же? Конечно, я тоже народ! — подтверждала Надя, оглядываясь, впрочем, на старших братьев.

Такого наскока дед уже не мог вытерпеть хладнокровно: он кивал уничтожающе белой своей головой и говорил свирепо:

— Ешь и не бунтуй!.. Смотри у меня, еще в гимназии так ляпнешь, что ты — народ, от тебя дождешься!

Однако все замечали, что тут же он начинал улыбаться и тянулся к салфетке, чтобы в ней спрятать свою улыбку.

В яркие здесь, солнечно-желтые осенние дни «отвлеченное понятие» обрело всероссийский голос после того, как правительство сконфуженно заговорило о мире. Почему-то вдруг перестали получаться столичные газеты и письма: говорили, что поезда не ходят. Дошли слухи, что повсеместно перестали работать заводы; потом ближнее: подняли восстание матросы Черноморского флота, и один из броненосцев,— самый сильный, «Потемкин»,— уже гуляет на полной свободе в море и нагоняет страх на полицию портовых городов...

Теперь молодежь в доме Невредимова имела ликующий вид и сидела за обедом с видом именинников, а Петр

Афанасьевич старался говорить только с Дарьей Семеновной на такие темы дня, как почем и что на базаре.

В середине октября, 17 числа, объявлен был царский манифест о свободах. Манифесту поверили. На другой день толпы народа залили улицу. «Свободу» понимали как свободу, поэтому из тюрьмы народ выпустил арестантов, из гауптвахты — лишенных свободы заключенных там на разные сроки,— недолгие, впрочем,— солдат местного гарнизона.

Народ ликовал — ему казалось, что он добился победы над правительством. Но, вынужденно подписывая одной рукой манифест о свободах, правительство зажало в другой привычную, испытанную плеть. В полдень 18 октября в городе начался погром евреев, подготовленный полицией, и первыми, на кого он обрушился, были ликующие толпы народа, ходившие с красными флагами.

Переодетые городовые, кучера, мелкие торговцы, а больше пропойцы с толкучки, направляемые приставами, раздававшими им колья, пошли навстречу густой толпе манифестантов, выставив трехцветные флаги и портреты царя, встретили их против губернаторского дома с одной стороны и городского сада с другой и пустили в дело свои колья.

Свыше шестидесяти человек было тогда убито ими, а к вечеру начали они громить еврейские магазины. Пехотный полк, стоявший в городе, был вызван «в помощь полиции для подавления беспорядков», но так как «беспорядки» производились самой полицией, то солдатам полка просто приказано было занять взводами перекрестки улиц и не двигаться с места.

Во главе одного из таких взводов пришлось быть прапорщику запаса Ливенцеву, который до войны был учителем математики в здешней женской гимназии. Он не мог, конечно, с одним взводом в сорок человек остановить погром, но молодые Невредимовы знали, что дня через три после погрома в местной газете появилась такая заметка: «Офицер 5 пехотного полка Ливенцев представил в комиссию юристов пространное показание по делу о погроме, из которого явствует, что полк проявил при этом преступное бездействие, противное военному уставу внутренней службы...»

Газету с этой заметкой купили все старшие из молодых Невредимовых, и все показывали ее ему с великой гордостью за своего педагога.

Тут особенно была взволнована Ксения, лучшая в классе ученица Ливенцева.

Петр Афанасьевич прочитал эту заметку и раз, и другой, потом сказал:

— Достойный человек — вполне достойный, конечно... Один против всех пошел — да, достойный... Хотя знает, я думаю, что против рожна прет и что плетью обуха не перешибешь...

Вздохнул и добавил:

— Вижу, что жалко вам будет его лишиться, а не иначе как уволят его из гимназии.

Племянницы и племянники убедились не больше как через месяц, что дядя их прав: против прапорщика Ливенцева в полку было поднято дело, а когда он был выпущен снова в запас, начальство гимназии предложило ему выйти в отставку, что он и сделал.

V

К лету 1914 года Петру Афанасьевичу шел уже восемьдесят шестой год. Но если в семьдесят лет он и говорил себе: «Однако я древен!», то теперь ничего такого не говорил,— до того укоренился в жизни.

Он начал сильно сутулиться и в спине, не только в шее,— вообще расти книзу; голова его стала заметно дрожать, особенно когда он волновался, но глаза еще глядели остро из-под некстати разросшихся седых бровей, и слуха он не потерял, но объяснял это тем, что регулярно пил лекарство два последних года.

Лекарство это было какое-то патентованное средство, привезенное из-за границы одним старым знакомым Невредимова,— белый кристаллический порошок в красивом объемистом пакете. Рекомендовано было разводить чайную ложку этого порошка в стакане воды и пить по два глотка несколько раз в день. Но случилось несчастье: пакет этот, еще только что начатый, лежал на столе в кабинете, куда принесла Евдоксия, очень уже постаревшая, ведро воды для мытья пола. Она и сама потом никак не могла понять, каким образом, вытирая стол тряпкой, смахнула с него пакет, но он попал прямо в ведро с водою, а она даже не заметила этого. Заметил вошедший минут через десять Петр Афанасьевич, что в ведре утонуло что-то, и обомлел от ужаса.

Для другого старика, с менее крепкими нервами и сердцем, такой удар мог бы, пожалуй, окончиться очень

плохо, но Невредимов все-таки превозмог его, хотя и много кричал и ахал. Выход из тягостного положения нашла на этот раз хозяйственная Дарья Семеновна, решившая, что не пропадать же добру, раз притом же порошок попал как раз туда, куда ему и нужно было попасть,— в воду.

— Да ведь в какую воду, Дарья Семеновна, в какую воду,— вот что! — горестно восклицал Петр Афанасьевич.

— В самую чистую, из колодца,—в какую же еще? В ту самую, какую и на чай берем, а также на кухню,— объяснила Дарья Семеновна.

— Да ведь ведро-то, ведро-то какое? По-мой-ное!

— Ничего не помойное, а самое обыкновенное: из помойного ведра разве пол у нас моют? Никогда этого еще не бывало, как я сюда приехала!

Пораженная своей оплошностью Евдоксия молчала, только кивала утвердительно головой всему, что говорила ее хозяйка.

— Да ведь не-ки-пяченая вода-то сы-ра-я! — последнюю свою горечь вылил Невредимов, но Дарья Семеновна нашлась и здесь:

— Да у нас в колодце вода такая чистая, как слеза, ее и кипятить не надо... И разве же написано было на бумажке, чтобы непременно кипяченая была?

Действительно, этого сказано в наставлении на пакете не было, и за это ухватился, наконец, Петр Афанасьевич, как за последний довод.

Размокшую бумагу пакета со всею осторожностью вытащила Дарья Семеновна из ведра серебряной столовой вилкой, воду же с распустившимся в ней порошком разлила по бутылкам, которые накрепко заткнула пробками и запечатала сургучом. А когда все это окончила, сказала так удовлетворенно:

— Вот теперь и пейте себе на здоровье! — что Невредимов даже успокоился и отозвался ей:

— Вы, Дарья Семеновна, прямо какая-то волшебница, ей-богу, волшебница!

Однажды было уже с ним, что невестка спасла его, может быть, даже от смерти. Вздумав съесть кусок вареного мяса, он довольно долго работал над ним беззубыми деснами, однако не прожевал, и комок застрял у него в глотке.

Кричать о помощи он не мог, только хрипел, но Дарья Семеновна заметила это и вовремя бросилась к нему,

чтобы вытащить из его рта комок своими пальцами. Теперь с этим утопшим пакетом вышло так, что она «деда» вторично спасала. Это был лишний повод к тому, чтобы в целебность заграничного средства поверить прочно, а во что поверишь, то не обманет: Петр Афанасьевич всем говорил, что держит его на земле порошок, который он принимал.

А большое гнездо начинало уже пустеть, и птенцы из него разлетелись почти все к этому времени, причем старший из них, Коля, окончив петербургский политехникум, остался в столице, работал на одном из заводов; следующий за ним, Вася, окончив там же медицинский факультет (он сдержал слово, не соблазнился рампой), стал земским врачом в одной из черноземных губерний; из Ксении, тоже успевшей уже окончить высшие женские курсы в Москве, вышла учительница; отличавшийся в гимназии способностью к черчению географических карт Петя заканчивал институт инженеров путей сообщения,— сдавал дипломную работу и был тоже в Петербурге, как и Коля.

Только двое младших из пяти братьев пока еще носили студенческие тужурки, а самая младшая из сестер — Нюра — только что, в конце мая, окончила гимназию и пока еще не решила окончательно, куда именно ей поступить теперь.

Ей и сказала обрадованно курсистка-бестужевка Надя, когда вернулась домой после встречи с художником Сыромолотовым на улице:

— Обещал! Обещал дать этюд для лотереи!

Нюра вышла ростом ниже сестры — круглая, полная, больше других сестер похожая на свою мать, и манера говорить, и голос были такие же, как у матери.

Она обрадовалась:

— Это тебе повезло, Надя! Как же ты его уломала?

— Никак не уламывала, я у него даже и не была: просто встретила его на улице, сказала, он сразу и согласился. Завтра к нему пойду в начале одиннадцатого.

— Ну, значит, ты ему понравилась! — решила Нюра.

— Фу-у, «понравилась»! — зарделась Надя.— Такие разве обращают внимание на нас, грешных! Ты бы на него посмотрела, какой он! Мне и говорить-то с ним было страшно, только я виду не подавала.

— Что же он, рычит и гавкает?

— На улице-то он, положим, не рычал, но, должно быть, потому только, что ему просто некогда было: он торопился куда-то.

— Сыромолотов торопился? — удивилась Нюра.— Куда же это ему было торопиться, если он никого знать не хочет? Я сама раза три видела его на улице, он пря мо каким-то мертвым шагом ходит! Больше стоит и разглядывает, как сыщик... Но раз этюд дает, то, конечно, дело не наше,— бог с ним, а этюд мы можем и с аукциона продать!

Мысль о лотерее пришла в голову Наде, Нюра же ее подхватила и развила, а два их брата — студенты, которые приехали домой на каникулы, с этой мыслью вполне согласились и принялись дружно ее воплощать, собирая разные мелкие вещи и книги у своих бывших товарищей по гимназии, добавляя к этому вышитые подушки, полотенца, кисеты, собранные сестрами в домах бывших подруг, и всему этому составляя списки и назначая цены.

Старший из них, Саша, был так же высок, как Коля и Вася; Геня — Геннадий — не выше Нади. И характера они были разного: Саша —движений стремительных и, при его росте, несколько опасных для окружающих его людей и хрупких предметов, но при явной опасности для него самого — очень хладнокровный, спокойный; Геня же — движений до того размеренных, что всякому с первого взгляда мог бы показаться ленивым, однако не страдавший этим грехом; но в то же время, выбитый чем-нибудь из обычной колеи, способен он был теряться до того, что Саша шутил над ним:

— Не-ет, ты братец мой, не годишься для подпольной работы: в случае чего — все дело провалишь!

Ни в какой партии, впрочем, они пока не числились, ни тот, ни другой, считая, что это не поздно будет сделать и позже. Один из них был естественник, другой, Геня,— юрист; оба учились в Москве, жили там на одной квартире и были между собой так дружны, как все-таки не слишком часто встречается у братьев; притом же каждый из них с уважением относился к тому, что штудировал другой, а это встречается еще реже.

Чтобы не обеспокоить деда многолюдством в его доме, лотерею они решили провести или в доме одного из своих товарищей, или на лоне природы, за городом, или в Воронцовском саду. Когда-то, в двадцатых и тридцатых годах прошлого века, генерал-губернатором всего юга России был Воронцов: в честь его и назван был этот сад.

В доме Невредимова не было никаких картин: он и сам сознавался, что к живописи его никогда особенно не тянуло. Он даже склонен был причислять к живописи и мастерство, какое выказывал Петя по части географических карт, и задумался над тем, откуда у него могла взяться такая способность. И едва ли не в первый раз заговорили о живописи в столовой деда именно в этот день, когда Надя никак не могла скрыть своей радости даже от старика — проговорилась.

Оказалось, что если Сыромолотов от кого-то и что-то слышал о нем, то и он от кого-то и что-то слышал о Сыромолотове.

— Чудак, мне говорили, какой-то... Нелюдим и много о себе думает,— подрагивая головой, сказал он.

— Отчего же ему и не думать много, если он — известный художник? — горячо вступилась за «чудака» и «нелюдима» Надя.

— Ну да, ну да, известный, конечно, все может быть... А что такое в сущности известность? — И поднял белые клочья бровей на морщинистый высокий лоб свой дед.— И какой-нибудь вор или убийца тоже может быть всем известен. Васька Чуркин, например, был, и кто же его не знал? Даже роман какой-то о нем написали. И печатался этот роман, я помню, в одной московской газете, и все никак не мог его сочинитель окончить, пока наконец-то начальство не приказало ему: Чуркина поймать, и в острог посадить, а то скандал какой-то получился, что полиция его никак пресечь не может.

— Очень талантливый художник он, хотела я сказать,— поправилась Надя.

Но дед не смутился и этим.

— И «талантливый» тоже — что это значит? — сказал он.— На один вкус талантливый, на другой — нет. А если на все вкусы угодил, то это... это... должен я сказать тебе...

Петр Афанасьевич не договорил, не счел нужным договаривать, только лукаво посмотрел на Надю и помахал возле своего носа указательным пальцем.

При этом была и Дарья Семеновна. Как мать, справилась она заботливо у дочери, сколько лет этому нелюдимому художнику, и когда услышала, что лет шестьдесят, то ко всему остальному, что о нем говорилось, отнеслась совершенно равнодушно.

Геня же обратился к сестре с таким советом:

— Проси у Сыромолотова этюд не маленький, а побольше. Говорю тебе, как юрист, обязанный знать, что такое публика. Какой бы шедевр публике ни преподнесть, но ежели он миниатюрен, публика не оценит его. Она не на вершки, а на четверти меряет, так что чем больше квадратных четвертей будет в этюде, тем большим он будет пользоваться успехом.

А Саша добавил:

— Рекомендую тебе обратить внимание на то, чтобы была на этюде подпись «А. Сыромолотов», это должно быть внизу, в правом углу... или в левом, что безразлично... А то вдруг он даст без подписи, и поди доказывай, что это не осел хвостом намазал! И какая тогда будет цена этюду?..

VI

После того, как пришел от Кунов к себе домой Сыромолотов, он долго не мог ни за что приняться и повторял время от времени то про себя, то даже вслух: «Какой неудачный сеанс!..» В чем была тут соль, почему сеанс вышел настолько неудачным, что выбил его из колеи, он не пытался даже объяснять себе, а только чувствовал это каждой порой тела, каждой клеткой мозга. Если он и не взял ящика с красками,— дома у него было все это,— то все же предупредил свою «натуру», что следующий день пропустит, однако теперь, у себя, приходил к решению пропустить и еще день. Он вообще теперь уже укорял себя за то, что принял заказ на портрет, когда надобности в этом никакой не было.

Только к вечеру он несколько успокоился, припомнив, что все вообще Куны и их первые гости — чета Тольбергов — были сами по себе все-таки терпимы, что только гороподобная фрау Люстих со своей новостью постаралась сразу смести, как паутину, ту сложную сеть впечатлений, которую плел он по своей исконной привычке художника.

Но она сделала гораздо больше, чем только это: вместе с паутиной она и самого паука, то есть его, художника Сыромолотова, трудом всей жизни создавшего себе полную независимость, как будто тоже вздумала вымести вон, подняв на щит тело какого-то эрцгерцога, кем-то убитого в каком-то Сараеве.

Для него несомненным было, конечно, что случилось нечто значительное в жизни Австрии, может быть даже и в жизни России, как рикошетный оттуда удар, но он-

то сам всем своим сильным существом восставал против него: для него это было просто вмешательством в его личную жизнь, которая шла пока уверенным и ровным путем прямо к цели, которую он же себе и поставил.

На стене в его мастерской висела на подрамнике большая картина, над которой работал он, забывая обо всем в мире (и помня в то же время весь мир), с начала этого года. Он хотел всего себя вложить в эту картину и вложил действительно много.

Она не была еще закончена настолько, насколько он сам хотел ее закончить, но главное, так ему казалось, было уже сделано в ней: она говорила.

Выдвинувшись вперед из открытого настежь окна на втором этаже,— точнее, в мезонине,— небольшого деревянного дома, голыми до плеч руками опираясь на карниз, молодая девушка, с распущенными русыми волосами, как пораженная первозданной красотою майского утра, широко глядела в то, что перед нею возникло, будто в сказке.

Не «на то», а «в то»: внутрь того, что видела, в глубочайшую какую-то суть, точно никогда ничего такого, ничего равного этому по красоте она не видела и никогда до этой минуты не думала увидеть. А перед глазами девушки был обыкновенный запущенный русский сад, за которым, видная сквозь широкую заросшую травой аллею, расстилалась русская даль, озаренная только что поднявшимся солнцем.

Этот неровный, колеблющийся, слегка алый свет, разлитый по молодой еще листве сада, по извилистой тропинке, убегающей к речке за садом, по дальним затуманенным ракитам, и воздух, еще не обогретый, еще сыроватый, и радость в широких глазах девушки,— вот какие задачи ставил себе Сыромолотов, и ему казалось, что он решил их, что чуткий зритель будет непременно искать тут, на ветках дерева, на переднем плане, голосистого зяблика, который должен утром в мае оглашать подобный сад своими раскатами.

В то же время зритель должен был представить себя на той же высоте, на которой была девушка, данная в естественный рост,— только тогда он мог бы проникнуться настроением картины во всей полноте, а для самого Сыромолотова эта условность была новой.

Особенностью его, как художника, было то, что он никогда не повторял, не перепевал себя, и во всей огромной галерее его картин не было другой подобной. Он ни-

кому еще не показывал этого полотна и не знал, какое впечатление может оно произвести, но сам для себя он привык быть нелицеприятно строгим судьею, и, как бы придирчиво он ни относился к этой своей работе, ему казалось, что она удалась.

Он начал ее по своим старым этюдам, сделанным не здесь, а в центральной России, но много раз этой весною поднимался с постели до восхода солнца, чтобы подметить и занести на холст то, чего недоставало, что не было досмотрено им раньше.

И вот теперь именно то, что он услышал у Кунов, вытесняло, почти вытеснило совсем его любование своей работой: картина оставалась прежней, но почему-то не было того подъема в нем самом, какой она возбуждала раньше. Он прошелся по ней невнимательными глазами и отвернулся к окну, за которым была улица... такая же, как в Сараеве,— удобное место, чтобы убить наследника какого-нибудь императорского престола и заставить потом этим надолго забыть о всяких вообще картинах.

Спать в этот день он лег рано, совсем не зажигая лампы, а встал, как всегда, с рассветом. После чая хотел было пойти на этюды, но вспомнил, что обещал курсистке Невредимовой быть в десять дома, и остался. Перебирал, что бы такое ей дать, и остановился на одном из старых эскизов к «Майскому утру», теперь уж ему не нужном. Этот эскиз и держал в руках, взглядывая при этом то на него, то на картину, когда услышал звонок во входной двери. На часах стенных, висевших в его мастерской, было двадцать минут одиннадцатого, что заставило его усмехнуться в усы и сказать про себя: «Однако какая точность!»

Бросив эскиз на стол, он пошел отворять двери сам, так как Марья Гавриловна ушла на рынок и еще не вернулась. Невредимова, одетая точь-в-точь так же, как накануне, сказала:

— Здравствуйте! Вы вчера мне велели прийти в это время.

— Ничего я не велел,— буркнул Алексей Фомич,— но... заходите.

Ему все казалось, что она прямо с прихода опрокинет на него свежую новость, слышанную им еще накануне, но она вошла робко и молчаливо и одним этим растопила ледок, который скопился было в нем с утра против всех вообще и против нее тоже. Он сказал:

— Выбрал я для вас один эскизик.

— Вот как я всех обрадую! — отозвалась она по виду искренне, а он вспомнил, что бросил эскиз на столе в мастерской, и остановился перед дверью.

Потом вышло как-то странно для него самого. Он хотел сказать: «Подождите здесь, я сейчас его вынесу», но не сказал и отворил дверь в мастерскую, в которую никого не пускал, отворил как будто не только для себя, но и для нее тоже. И она вошла вслед за ним, чего он даже и не заметил.

Картина висела на правой стене от входа, чтобы свет из окна сливался со светом от восходящего солнца, и не броситься в глаза Наде Невредимовой она не могла, конечно, и не остановиться перед ней как вкопанная Надя не могла тоже.

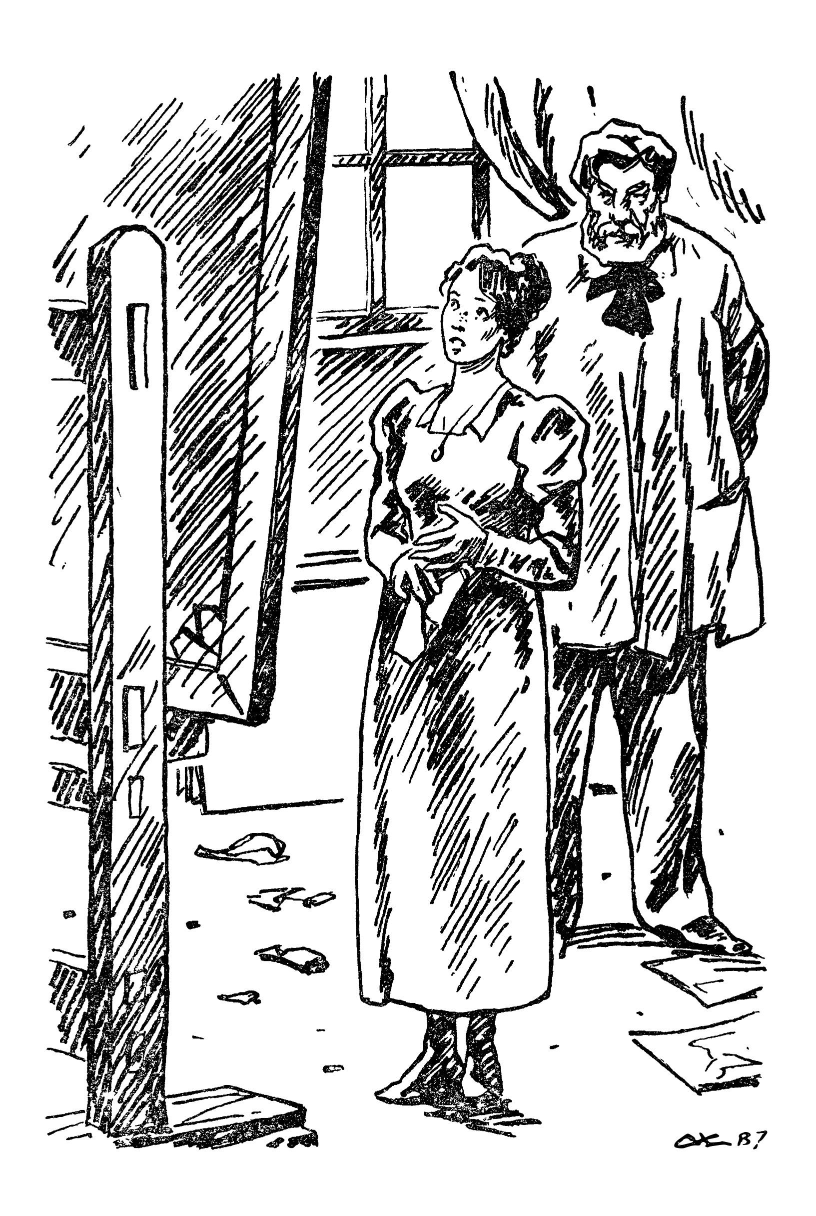
Окно в мастерской Сыромолотова было широкое, трехстворчатое, с занавеской, которую можно было очень быстро раздвигать и сдвигать. Перед тем, как выходил он отворять двери, свет в мастерскую шел только через треть окна, ближайшую к картине, а день выдался неяркий, облачный. «Майское утро» как бы впитало в себя половину света, шедшего с надворья, остальной же свет рассеялся по большой мастерской.

Когда шла сюда Надя, несколько раз поднимался преддождевой ветер и крутил столбами уличную пыль, так что приходилось прикрывать глаза рукою, а тут, в тишине, раскинулся перед нею зачарованный первыми утренними лучами сад, и такая же, как она, только что входящая в широкую жизнь девушка раскрыла перед ним изумленные, завороженные глаза.

Не отрываясь от картины, Надя сделала несколько шагов назад, чтобы охватить ее всю вбирающим взглядом, и замерла, забыв как-то сразу о художнике, стоявшем к ней спиною. Как будто сама она и не здесь стояла, а там, в окне старенького мезонина, а сад перед нею был дедовский сад, каким он вошел в ее душу в детстве, который сроднился с нею, как она с ним.

В ее детской хрестоматии были стихи Фета:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой...



Тысячу раз в своей недолгой жизни приходилось ей вспоминать эти стихи, и вот теперь она их вспомнила снова, но так, что каждое слово в них, как бы воплощаясь, проходило через эту картину, насыщалось в ней слегка алым светом, пропитывалось бодрящей сыростью воздуха и возвращалось к ней снова, и вдруг они все, озаренные и живые, затолпились около нее, эти слова, заполняя расстояние между ней и картиной, и время уже не владело ею, и о том, что она стоит в мастерской художника, к которому пришла за обещанным этюдом, она забыла.

Но не забыл об этом сам художник.

Допустив оплошность, не сказав ей: «Подождите здесь», то есть в гостиной, в которой, правда, не бывало никаких гостей, Сыромолотов счел уже совсем неудобным выпроводить ее, юную, из мастерской, когда она вошла уже вслед за ним, а потом вновь вздумал бегло пересмотреть несколько этюдов и эскизов, разложенных на столе,— не переменить ли решение, не дать ли какой-нибудь другой вместо намеченного. И когда, наконец, действительно отложил в сторону эскиз картины, а вместо него выбрал небольшой, более поздний этюд, то обернулся.

Первое, что он увидел, были крупные слезы, медленно катившиеся по лицу девушки.

— Вы что? — быстро спросил он, произнеся это как одно слово.

Как бы в ответ на это, слезы у Нади покатились чаще, и она сама заметила это и нервно начала шарить в своем ридикюльчике, доставая платок.

— Что такое? Плачете? Почему? — забеспокоился Сыромолотов и, сделав к ней два-три шага, стал с нею рядом.

— Нет, я... я ничего... я так...— по-детски пролепетала Надя, и художник ее понял.

Она была первая, которой он нечаянно показал свою картину, и вот...

— Отчего же вы плачете? — спросил он ее, понизив голос.

— От радости,— шепотом ответила она, пряча конфузливо обратно в сумочку свой платок.

И чрезмерно строгого к себе и сурового к людям, к публике вернисажей, старого художника растрогало это вдруг до того, что на своих глазах он тоже почувствовал

слезы. Он наклонил к ней голову и по-отечески поцеловал в лоб.

Потом он стал с нею рядом, чтобы посмотреть и самому на то, что вызвало слезы на глаза первой из публики.

С ним уже часто случалось это раньше, произошло и теперь: когда возле картины его на выставке толпились не равнодушные зрители, не снобы, считавшие основным правилом хорошего тона ничему не удивляться, не менять скучающей мины на своих жирных лицах, что бы они ни увидели, как можно скорее обойти всю выставку и уехать,— когда на нее смотрели подолгу, явно восторженно, он вырастал в собственном мнении о себе, он переживал снова тот подъем, без которого невозможно творчество. Картина его тогда вновь возникала перед ним во всем обилии деталей, не сразу ведь найденных и капризно иногда ложившихся на холст; он переживал ее тогда снова так, как это было с ним только в мастерской, один на один с тысячами трудностей, которые он побеждал, десятки раз отбрасывая то, что возникло в нем, пока не находил, что было нужно.

Картина жила. Картина мыслила. Картина говорила языком, понятным для начинающих жить широкой жизнью. Это была победа,— сладость победы.

Но горечь все-таки таилась в нем, и это она нашла первые слова, которые медленно и тяжело слетели с его языка:

— Когда тренер выводит на беговую дорожку лошадь и на нее вскакивает жокей, и она потом мчится среди других по кругу, то всем видна, конечно, ее борьба... Но вот она выдвинулась вперед на голову, на корпус, на десять, на двадцать корпусов и, наконец, рвет ленту, приходит первой,— то это ведь бесспорно, это явно для всех, это — торжество и лошади, и жокея, и тренера, и хозяина конюшни: работа их не пропала даром!.. Никаких кривотолков при этом быть не может: ясно, как солнце... А картина...

— Поймут, все поймут!—горячо перебила его Надя. совершенно непосредственно дотронувшись до его руки своею.— Как можно этого не оценить сразу, с первого взгляда!

— Это вы, может быть, потому так говорите, что сами занимаетесь живописью, а? — вдруг возникла в нем неприятная почему-то ему догадка, но она возразила с большой живостью:

— Я? Нет, что вы! Рисовала, конечно, на уроках, в гимназии карандашом, как все, с гипсовых фигур, а красками — нет! Только завидовала этому, а сама не решалась.

Ему хотелось спросить, что же именно так понравилось, так тронуло ее в картине, но он вспомнил, что слышал у Кунов и что расстроило его на весь остаток вчерашнего дня, и спросил:

— Продаются уже телеграммы?

— Какие телеграммы? — удивилась она.

— Значит, не выпущены еще? Впрочем, пожалуй, и действительно еще рано.

— О чем телеграммы? Что-нибудь случилось?

Он наблюдал, как она глядела теперь встревоженно ожидающими, совершенно круглыми глазами, в которых не осталось вдруг и тени слез.

— Как же не случилось,— сказал он.— Мир велик, и в нем каждую секунду случается что-нибудь чрезвычайное.

— Что же именно? Что?

— Я слышал,— говорили вчера в одном доме сведущие люди,— что убит австрийский наследник престола где-то там, в Сараеве...

Сказав это выразительно и вескими, как ему казалось, словами, Сыромолотов совершенно неожиданно для себя увидел, как она просияла вдруг.

— Здорово! — совсем по-мальчишески отозвалась она.— Вот это здорово!

— Позвольте-с, как же так «здорово»?.. Ведь это не кто-нибудь, а наследник престола, вот-вот мог бы быть императором, поскольку Франц-Иосиф уже мышей не давит!

— Кто убил его? Я поняла это так, что революционеры, но, может быть...

— Хотя бы и так, что из того?

— Революционеры, значит? — и она чуть было не захлопала в ладоши.

— Гм... Театр! — сказал Сыромолотов теперь уже сурово, как это было для него обычно.— Мне говорили, что это угрожает войной, а вы — «здорово»!

— Войной? С кем? Со своим народом? Что же тут такого? — зачастила Надя вопросами.

— Ах да, я и позабыл, что вы — в пользу ссыльных и заключенных устраиваете что-то там такое,— сказал Сыромолотов, отходя от нее к столу с этюдами.— Но дело

в том, что убийцы эрцгерцога этого сербы, а не австрийцы.

— Что же из того, что сербы? — не поняла Надя.— Революция — едина.

— Так-так-так,— уже дразнящим тоном подхватил это Сыромолотов.— А международного осложнения из-за этого политического акта вы не хотите получить?

— Разве может это быть?

— О том-то и разговор, что вполне может.

— У кого же и с кем?

— Да как вам сказать, у кого и с кем... Полагают люди так, что нас это тоже, пожалуй, зацепит.— И добавил: — А думать все-таки надо прежде, чем говорить...

Она не обиделась; она улыбнулась, сказав на это:

— О чем же тут мне думать? Об этом уж давно думали другие. После войны будет революция.

— Ах да,— революция!.. Вон вы какая — только о кинжалах мечтаете! — отозвался на это он не без иронии.

— О кинжалах? Нет! Это уж теперь устарело,— ничуть не смутилась Надя.

— Устарело?.. Вот то-то и есть, что устарело! — отвечая своим мыслям, согласился художник.— А как же они перечисляют то и другое и говорят: «Мы готовы»? А может быть, вся эта кавалерия и разное там, что они называют, тоже устарело! «Мы готовы»? А кто против нас воевать будет, он, может быть, в двадцать раз более готов? Авиация у нас есть? Так-с, очень хорошо-с,— а у них разве нету? Именно у них-то, там, на Западе, она и будет. И тогда уж, пожалуй, не скажем мы с вами: «Наша хата с краю»,— она с краю не будет, а может вполне оказаться там, куда бомбы с аэропланов станут лететь... Вот вам и прощай тогда мастерская!

— И вы думаете, что погибнет тогда вот эта картина! — с веселой живостью возразила она.— Не погибнет, нет,— мы ей не дадим погибнуть! И всем вашим картинам тоже, и вас мы будем беречь!

— Ого! Ого! И меня даже беречь? — усмехнулся Сыромолотов.— «Мы будем»! Кто же это такие «мы»?..— И вдруг стал не только серьезен, а зол даже, когда добавил: — А ножиками, перочинными ножиками кто же будет картины резать?

— Я это слышала, что у вас одну картину разрезал известный нам провокатор,— сказала она улыбнувшись.

— Как так провокатор? Кличка его была Иртышов,

насколько я помню, потому что ссыльным и заключенным он был где-то там на реке Иртыше! — досадливо выкрикнул Сыромолотов.

— Уверяю вас, нигде он не был ни в ссылке, ни в заключении, а просто он агент тайной полиции! — с такой энергией отозвалась на это Надя, что Сыромолотов не мог не поверить, однако спросил:

— Неужели же не революционер он, а провокатор?

— Провокатор и негодяй,— подтвердила Надя.

— Гм... Вот подите же, как можно сыграть роль! — искренне удивился Сыромолотов.— Провокатор! Кто бы мог подумать? А что это вы сказали насчет того, что кто-то убережет мастерскую мою от авиаторов?.. «Мы не дадим погибнуть»,— вы сказали. Это кто же такие «мы»?

— Разве у нас нет своих авиаторов? Вы разве не читали о Нестерове, например? — спросила она.

— А-а... Нестеров? Кажется, попадалась эта фамилия в газете. Есть художник Нестеров, поэтому запомнилась мне и фамилия авиатора этого... Ну так что же?

— Как «что же»? Он ведь первый в мире «мертвую петлю» в воздухе сделал! — воскликнула она с таким воодушевлением, что он как будто подкивнул в сторону кого-то невидного третьего:

— Знай наших! «Мертвую петлю» какую-то! Ну, все равно, впрочем, что же я с вами-то об этом толкую?.. Что вы такое знать можете? Хотя... хотя вы вот почему-то знаете, что некий негодяй разрезал мою картину ножом и что он был всего-навсего провокатор и жулик... Это — совсем другая материя и совсем другой коленкор...

Он присмотрелся к ней и вдруг спросил неожиданно для нее, а может быть, и для себя тоже:

— А с красным флагом впереди толпы вы могли бы идти?

— Конечно, могла бы! Отчего же нет?

— Ого! Ого! — очень оживился он.— Любопытно поглядеть, как это могло бы у вас получиться!

И, быстро схватив длинный муштабель, он начал искать чего-то по сторонам, потом, сказав: «Есть, есть,— знаю, где!» — быстро вышел из мастерской и тут же вернулся с красной материей, похожей на широкий шарф.

— Вот, вот это самое,— подал он ей и муштабель и красный шарф,— приспособьте-ка, чтобы получилось, что надо.

— Что приспособить? — не совсем поняла она.

— Ну, привяжите, чтоб получился красный флаг, а я посмотрю... Погодите, вот тут у меня имеется кусок шпагата...

Он не только протянул ей обрывок бечевки, но еще и помог привязать им к муштабелю шарф и сначала поднял сам этот флаг над головой, потом передал ей и показал в сторону картины:

— Подите, станьте-ка там, там светлее, и все будет как надо.

Она поняла его и стала с флагом.

— Выше голову! — скомандовал он.— Вы впереди! За вами идет тысяча человек! Помните об этом!.. Помните, что вы идете, можеть быть, на смерть!

— Помню! — строго ответила Надя, и лицо ее, расплывчатое, полудетское только что, стало вдруг тоже строгим, твердым в линиях: она поняла, что художнику нужно, чтобы она позировала, что он, может быть, как раз теперь задумал другую картину, которую назовет «Рабочая демонстрация» или как-нибудь в этом роде...

— Снимите шляпку! — скомандовал Сыромолотов.

Надя проворно вытащила шпильку и сняла свой белый чепец.

— Станьте ко мне в профиль.

Надя повернулась, как он требовал.

— Выше поднимите флаг!.. И голову выше!.. Так.

Минуты две прошло в полном молчании. Наконец, Сыромолотов сказал удовлетворенно:

— Ну вот, видите, как... С вас, Надя, можно будет написать, и выйдет неплохо, да... В вас все-таки кое-что этакое есть... Можете положить флаг.

Надя положила флаг и улыбнулась ему прежней полудетской улыбкой.

— Не знаю-с, может быть, кое в чем вы и правы... конечно, не сами по себе, а с чужих слов, с чужих слов,— как будто про себя проговорил Сыромолотов и взял со стола этюд, который ей приготовил.

— В чем права? — насторожилась Надя, прикалывая снова свою шляпку.

— А? Да... Это я так, больше вообще, чем в частности... А что касается этюда для благотворительной лотереи, то вот возьмите этот.

И, не показывая ей этюда, он свернул его трубкой и завернул в газетную бумагу.

— Мы вам очень-очень благодарны за это! — сказала Надя, принимая этюд.

— Не стоит благодарности,— сказал он.

Надя видела, что надо уходить, но не могла же она уйти, не посмотрев еще раз на очаровавшую ее картину. И с минуту стояла она еще в мастерской, и художник не торопил ее.

Провожая ее потом до дверей, он спросил:

— Вы, Надя, в доме Невредимова и живете?

— Да, мы его зовем дедом, но он нам приходится дядей,— ответила Надя, чем вызвала новый вопрос:

— Кто это «мы»?

— Мои братья и сестры... А вы когда же и где выставите свою картину?

— Зачем же мне ее выставлять? Совершенно никакой надобности мне в этом нет...— спокойно сказал Сыромолотов.— А вот если я начну писать другую картину, то... мне кажется... мне кажется, что вы с флагом красным можете выйти удачно.

— Ах, как я буду рада! — так непосредственно радостно сказала она, что он не мог не поверить.

Тут же после ее ухода он достал кусок холста, прикрепил его кнопками к доске этюдника и карандашом набросал Надю с флагом, как она осталась у него в памяти. Он припомнил и нескольких виденных им накануне на улицах людей и поместил приблизительные фигуры их тут же за Надей, а потом набросал просто безликую толпу.

Фасад дома Карла Куна с готическими башенками по углам он вычертил довольно детально, а рядом беглыми линиями другие дома, и это была левая половина, а на правой — шестеро конных городовых с приставом, тоже на лошади, посредине их неровной шеренги. В отдалении за конной полицией самыми общими штрихами показана была дежурная рота солдат, вызванная для «подавления беспорядков». Из окон дома Куна смотрело несколько человек...

В каждой картине, какую он задумывал, он прежде всего старался найти и наметить центр, к которому сходились бы диагонали. При планировке фигур здесь, на эскизе, ему было ясно с самого начала, что таким центром могла явиться только Надя.

Он вспомнил до мелочей не то лицо, которое видел у нее вначале, когда она пришла к нему, а другое, инстинктивно найденное ею в себе, когда она взяла в руки муштабель с шарфом. Это лицо он зарисовал отдельно на четвертушке бумаги, не столько заботясь о подлин-

ном сходстве, сколько о черточках воли к борьбе и горении экстаза. Этим рисунком своим он остался доволен.

А когда пришла с базара Марья Гавриловна, то принесла отпечатанную в типографии «Крымского вестника» телеграмму на розовой почему-то бумаге и сказала:

— Мальчишки бегают везде с криком большим и продают... Все покупают, вот и я купила. Убили будто бы какого-то важного... А может, и врут, может, сами померли?

Алексей Фомич прочитал в телеграмме:

«Его Величеству Государю Императору благоугодно было послать Императору Австрийскому Францу-Иосифу телеграмму с выражением соболезнования по поводу кончины Эрцгерцога Франца-Фердинанда Австрийского и его супруги герцогини Софии Гогенберг».

Так как Марья Гавриловна дожидалась, что он скажет, то он и сказал ей:

— Всякий, Марья Гавриловна, помирает сам. А насчет того, чтобы убили, тут как раз ничего и не сказано.

VII

Бывает иногда, что человек ощущает себя как-то вдруг расплескавшимся во все стороны, теряет представление о своем теле, о том, что оно имеет вполне определенный объем и вес и занимает столько-то места в ряду других подобных. Иногда даже уличная толпа или зрительный зал театра и прочие заведомо тесные места не способны заставить человека уложиться в привычные рамки.

Так было с Надей, когда она вышла от Сыромолотова и, не замечая ничего около себя и по сторонам, стремилась домой. Она не бежала, конечно, вприпрыжку,— ей было девятнадцать лет,— однако ей самой казалось, что она и не шла: это слово не подходило; она именно стремилась, как ручей с горы, хотя улица была ровная.

Когда близок уже был невредимовский дом, она вспомнила, что не только не посмотрела, есть ли подпись Сыромолотова под этюдом, не видала даже и этого этюда: художник не показал ей его, а просто сунул ей в руки в свернутом уже виде. Очень много несла она в себе, чтобы вспомнить о том, что несла в руках. Такою перенасыщенной новым и значительным она и ворвалась в комнаты дома, где встретила ее Нюра словами:

— Телеграмму читала?

Нюра держала розовый листок как будто затем, чтобы об него, как о стену, разбился какой-то сказочный тонкий хрустальный замок, выросший в Наде и в ней звучащий. Однако Надя, догадавшись уже, что это за телеграмма, пренебрежительно махнула рукой и ответила:

— Знаю... Пустяки!

Именно так, пустяками, не стоящими внимания, показались ей сообщения об убийстве австрийского эрцгерцога, которые только и могли быть напечатаны на этом глянцевитом розовом клочке.

— Принесла этюд? — спросила Нюра и взялась было за трубочку в газетной бумаге, но Надя резким движением спрятала этюд за спину, сказав недовольно:

— Подожди! Я еще и сама его не видела, а ты...

Ей показалось действительно чуть ли не святотатством, что Нюра увидит этюд раньше ее, которой он дан... дан вместе со всем другим, чрезвычайно большим и ценным.

— Какую картину я видела у него, Нюра,— вот это карти-на! — протянула она, остановясь среди комнаты и глядя на пустую белую стену, точно перенося сюда мысленно все краски «Майского утра» одну за другой.

— Ну? — нетерпеливо спросила Нюра, так как долго после этого сестра стояла, переживая, но не говоря.

— Что «ну»? Я разве в состоянии передать, что там? — даже удивилась легкомысленному понуканию Надя.— Я могу тебе сказать: девочка стоит, в окно смотрит, перед ней сад,— и все... Разве ты представишь, как у него на картине это вышло? И потом... он, может быть, с меня начнет писать новую картину какую-то... Я на ней буду идти с красным флагом...

Сказав это, Надя вдруг сама испугалась, как это у нее выскочило вдруг: за минуту перед тем она никому не хотела говорить об этом. Испугавшись, она прижала к себе сестру и зашептала:

— Только, пожалуйста, Нюра, никому-никому не говори об этом! Это он скорее всего пошутил только... Никакой такой картины он не будет писать, конечно,— зачем ему? Просто так сказал, для приличия. А вот та картина,— сад за окном и девочка смотрит,— вот это да-а! До чего замечательно,— это надо видеть, а так ничего нельзя тебе сказать!

Только несколько успокоившись, она взглянула на телеграмму, которую Нюра все еще держала в руке, и сказала небрежно:

— Только и всего? А я от Сыромолотова слышала, что их обоих, мужа и жену, убили революционеры сербы, а тут ничего этого нет.

— Так тебе все чтобы сразу! — заметила Нюра.— Хорошенького понемножку. Завтра в газете будет, если действительно их убили.

Надя увидела, что на Нюру это не подействовало так, как она ожидала: революционеры так революционеры, убили так убили, эрцгерцога австрийского так эрцгерцога — что же тут такого особенного?

Спокойствие Нюры передалось и Наде, так же как и нетерпение скорее посмотреть этюд, и вот Надя осторожно развязала бечевку, еще осторожнее развернула газету и не бросила ее на пол, а положила бережно на кресло, но только что хотела развернуть этюд, как вошли с улицы в дом оба ее брата, и тоже зарозовела в руке у одного из них, у Гени, телеграмма.

— И вы купили? — крикнула братьям Нюра, показывая им свою.

— Да тут что! А разговоров — не оберешься! — отозвался ей Геня.— Говорят, что телеграмм целая куча собралась, только печатать пока не разрешают.

А Саша дополнил:

— Событие, конечно в европейской жизни... Говорят, что из этого что-то такое может вообще разыграться, а по-моему — ничего особенного. Войны даже ждут,— дураки такие находятся! А социал-демократы на что? Их за границей сколько миллионов,— посчитай-ка! И в правительства там они входят. Разве они допустят, чтобы война началась? Ерун-да!

— Ну, конечно же, кто им даст солдат этим эрцгерцогам, которые еще живы! — тут же согласилась с братом Надя.

С ним и нельзя было не согласиться. Прежде всего это было бы совсем нелепо: вдруг почему-то ни с того ни с сего война!.. Война, которая, пожалуй, начнется теперь же, летом, когда каникулы, когда не убран еще хлеб, не поспели яблоки в садах и груши, не вызрел виноград и... Сыромолотов еще не решил даже, будет ли он писать с нее, Нади, ту, которая пойдет на его новой картине впереди шествия манифестантов, с красным флагом в руках... А потом, сам по себе Саша, такой вы-

сокий, в белой вышитой рубахе, с открытой загорелой грудью, с очень спокойным, очень уверенным, бронзовым от загара лицом.

На голоса молодежи вышел из кабинета Петр Афанасьевич. Розовые бумажки в руках Нюры и Гени обратили на себя его внимание.

— Это что у вас такое? Распродажа где-нибудь? — спросил он.

— Телеграмма,— протянула ему бумажку Нюра.

Привычное движение сделал дед, как будто подносит пенсне к глазам, но прочитал телеграмму и без пенсне: она была напечатана крупным шрифтом.

— Вот как! — сказал он.— Умерли оба, и муж и жена... Скоропостижно как-нибудь... или несчастный случай... Ничего не говорится об этом. Должно быть, автомобильная катастрофа, а?

— Об автомобиле действительно говорят,— неопределенно ответил Саша, переглянувшись с сестрами, чтобы те не тревожили преждевременно старика.

Он не встревожился, только пожал плечами. Но, с одной стороны, время подходило к обеду, с другой,— он внимательно вглядывался в Надю, так как помнил, что она собиралась утром идти к художнику, и вдруг спросил ее неожиданно:

— Что же ты, Надя, ходила?

— Вот, принесла,— сказала Надя и развернула этюд, чтобы самой посмотреть его раньше всех.

С холста глянули на нее широко открытые светлые глаза той самой девушки, которую она только что видела на картине. Это было для нее так радостно, что она ахнула.

— Что ты? — спросила Нюра.

— Это — она, какая в окно смотрит,— шепнула ей Надя, разглаживая холст и стараясь уложить его на столе так, чтобы он не коробился.

Этюд улегся, наконец, ровно. Только девичье лицо и вехняя часть торса вполоборота уместились на небольшом по размерам холсте, и над ним склонилось несколько молодых голов, уступая место в середине маститой голове деда.

— Конечно, за один прием сделано,— сказал первым свое мнение Геня.— И невелик.

— Раз этюд, то, разумеется, за один прием,— обиженно отозвалась на это Надя.

— Как живая! — восхитилась Нюра.

— Правда ведь? Как живая! — повторила Надя.

Но Саша из-за головы деда вперил пристальный взгляд в правый угол этюда и сказал разочарованно:

— Нет подписи!

— Неужели нет? — встревожился Геня.— Может быть, в левом углу? — И сам он нагнулся к левому углу, но подписи не разглядел и там.

— Что, нет? — спросил Саша.

— Не заметно.

— Ничего не значит, если нет подписи: он сам мне его давал, и я знаю, что он сам это делал, и с меня вполне довольно! — решительно заявила Надя.

— С тебя-то довольно, да ты-то не в счет, судить другие будут,— заметил Саша.— А как его прикажешь в список внести? Чей этюд?.. От этого же и оценка его зависит.

— Гм... да-да,— зашевелил губами дед, отводя глаза от холста и выпрямляясь.— А как же ты все-таки мог бы его оценить,— обратился он к Саше,— в какую именно сумму?

— Если бы подпись была, можно бы было, на худой конец, рублей... в пятьдесят, имея в виду, что художник-то не какой-нибудь, а известный.

— А поскольку подписи нет? — продолжал допытываться Петр Афанасьевич.

— А поскольку нет,— что же он стоит? Рублей двадцать,— неуверенным тоном ответил Саша...

Геня предложил вдруг:

— Можно отнести Сыромолотову, пусть подпись свою поставит.

Это возмутило Надю:

— Кто же отнесет? Ты, что ли? Я не понесу ни за что,— он обидится!

— Гм... да-да,— снова зашевелил губами Невредимов.

Он взял со стола этюд, подошел с ним к окну, отставил на всю длину вытянутой руки, откачнул насколько смог назад голову, смотрел на него внимательно и долго и, наконец, спросил Сашу:

— А это что же такое за оценка,— к чему она? Ведь это он — я так понял — Наде дал для лотереи с благотворительной целью?

— В том-то и дело, что для лотереи,— сказал Саша,— и всякому лестно будет взять билет за рубль, а выиграть этюд в пятьдесят рублей... Это ведь у нас должен

быть гвоздь лотереи, и вдруг — подписи нет,— все дело испорчено!

— Да-да-а... Теперь я понял... А что, как ты думаешь,— поглядев несколько лукаво, спросил Петр Афанасьевич,— если я возьму, допустим, пятьдесят этих самых рублевых билетов, может он мне достаться, а?

— Вполне может, вполне! — выкрикнула за брата Надя.— Берите, дедушка, берите, милый!

И кинулась ему на шею, чтобы разрядить напор впечатлений этого дня.

— Конечно, берите! — согласился с нею Саша.

И дед понес этюд в свой кабинет, а через две-три минуты вышел оттуда и передал с рук на руки Наде десять золотых пятирублевых монет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОЛОГ ТРАГЕДИИ

I

Звонким косым дождем летели на тротуары стекла из яростно разбиваемых окон... В окна вылетали здесь и там на улицы обломки мебели, разорванные книги, клочья картин... Энергичные крики избивающих, вопли избиваемых, револьверные выстрелы с обеих сторон... Полиция усиленно делала вид, что она заботится о порядке и тишине, а беспорядок, и крики, и вопли нарастали с каждым часом...

Улицы гремели, а между тем это были улицы патриархально-провинциального некрупного города Сараево. Такими они были 16 июня[1] 1914 года, в полдень.

«Взрыв народного возмущения леденящим душу злодеянием» подготовлен был в полицейских участках Сараева наспех, но для того, чтобы толкнуть людей на разбой, достаточно бывает только иметь под руками тех, кто к этому делу способен, и дать им оружие и приказ. Громили дома сербов.

Кто покушался на жизнь наследника австрийского престола и, наконец, убил его? — Два серба, которых схватили, которые сидят под арестом и нагло отвечают на допросах.

[1] Все даты в эпопее приведены по старому стилю.

Один из них — Неделько Габринович, по профессии типографский наборщик, двадцати лет; другой — гимназист восьмого класса Гаврила Принцип, девятнадцати лет. Первый бросил в автомобиль Франца-Фердинанда бомбу, но не рассчитал скорости хода машины, и бомба, брошенная им, разорвалась в промежутке между машиной эрцгерцога и другой, с его адъютантами.

Машина эрцгерцога не пострадала; была несколько попорчена другая, и в ней ранен один из адъютантов. Габринович бросился бежать к реке Милячке, но не успел перебраться на другой берег, был задержан стражниками. Он заявил на допросе, что бомбы получил от белградских анархистов,— значит, нить покушения вела в столицу Сербии.

Франц-Фердинанд приехал из Вены в Сараево по серьезному делу,— это был вообще деловой человек, получивший воспитание строго военное. Император Вильгельм очень ценил его и называл своим другом, не скрывая в своем интимном кругу сожаления о том, что Франц-Иосиф слишком зажился и не дает возможности проявить себя Францу-Фердинанду, гораздо более одаренному, но достигшему уже пятидесяти трех лет в ожидании, когда, наконец, освободится для него трон.

Серьезное дело, по которому приехал эрцгерцог, был, конечно, смотр сил, подготовляемых Австро-Венгрией к борьбе за Балканы,— маневры в пограничной с Сербией полосе.

С кем именно затевалась эта борьба? — В первую голову с Сербией, которую правительство Австрии решило проглотить вслед за Боснией и Герцеговиной. Это был шаг, на который Франц-Фердинанд получил уже согласие своего коронованного друга Вильгельма. Но за спиною Сербии стояла Россия, правительство которой считало своей исторической миссией покровительствовать балканским славянам, так что война против Сербии неизбежно должна была привести к войне с Россией.

Однако неизбежно ли? Этот вопрос задавали себе политические деятели Австро-Венгрии, а в их числе и эрцгерцог Франц-Фердинанд, но успокаивали себя тем, что сказал в совете министров России тут же после аннексии Боснии и Герцеговины тогдашний премьер-министр Столыпин, а он сказал так:

«Министр иностранных дел ни на какую поддержку для решительной политики рассчитывать не может. Но-

вая мобилизация в России придала бы силы революции, из которой мы только что начинаем выходить... В такую минуту нельзя решаться на авантюры или даже активно проявлять инициативу в международных делах... Иная политика, кроме строго оборонительной, была бы в настоящее время бредом ненормального правительства, и она повлекла бы за собою опасность для династии».

С точки зрения правительства Австро-Венгрии, внутренняя жизнь России в 1914 году мало изменилась сравнительно с осенью 1908 года, когда Россия должна была дать совет Сербии не бряцать оружием, так как прийти ей на помощь она не может: революционное движение и теперь не прекращалось, и «опасность для династии» оставалась в прежней силе.

Вместе с тем, учитывая свои силы, правительство Австро-Венгрии находило их достаточными, имея в виду огромные силы своего союзника — Германии. Правда, у России тоже был союзник — Франция, но Франц-Фердинанд был посвящен в план войны Германии на двух фронтах, Западном и Восточном,— план грандиозный и гениальный по своей простоте: сначала германские войска обрушивались на Францию и с быстротой, невиданной еще в истории войн, выводили ее из строя, затем перевозились на Восточный фронт, против России, которая к этому времени никак не могла бы успеть отмобилизоваться. Нападение на русские войска должно было ошеломить их своей стремительностью и доставить Германии и Австрии решительную победу в кратчайший срок.

Ближайшее будущее страны, трон которой он должен был занять, рисовалось Францу-Фердинанду вполне ясно. Приобретя Сербию, он думал ввести в своей империи федеративный строй, хотя и знал, что эти замыслы его не нравятся ни его дяде — Францу-Иосифу, ни политическим деятелям Венгрии, опасавшимся потерять тогда часть своего веса в общегосударственных делах. Но с мнением древнего старца, своего дяди, он не считал нужным соглашаться, а венгров он вообще не любил, что мешало ему овладеть мадьярским языком, хотя он и пытался что-нибудь из него усвоить.

Он приехал в Сараево со своей морганатической супругой, герцогиней Софией Гогенберг, бывшей графиней Хотек, чтобы доставить ей развлечение этой поездкой. Он имел от нее нескольких детей, но прямым наследником его, когда он занял бы престол, считался его пле-

мянник, двадцатисемилетний Карл, полковник одного из гвардейских драгунских полков.

Когда взорвалась бомба, брошенная Габриновичем,— стеклянная банка, начиненная гвоздями и кусками свинца,— и ранила, кроме одного из адъютантов, поручика Мерицци и еще несколько человек из публики, густо запрудившей набережную реки Милячки, эрцгерцог приказал остановить свою машину и вышел из нее. Убедившись, что поручик Мерицци ранен хотя и в голову, но не опасно для жизни, он приказал отвезти его в больницу, на перевязку, а сам направил свой автомобиль к ратуше, где его уже ожидали представители города и наместник края Патиорек, ничего не знавшие пока о покушении.

Его приготовились встречать речами, и ратуша была декорирована национальными и государственными флагами, а он вошел в нее взбешенный тем, что здесь так чинно и торжественно, в то время как на его жизнь только что покушались.

— В меня бомбы на улице бросают, а вы!..— закричал он.

Это произвело должное впечатление. Герцогиня принялась успокаивать супруга, и это ей удалось. Франц-Фердинанд обратился к городскому голове:

— Вы, кажется, хотели произнести речь? Можете начинать.

Обескураженный голова едва обрел дар слова. Гораздо более речиста была уличная толпа: в ней нашлись, как всегда, очевидцы, утверждавшие, что эрцгерцог убит. Тысяча человек собралась перед ратушей, чтобы убедиться в этом. Когда Франц-Фердинанд вышел на балкон и его узнали, раздалось громовое «Hoch!».

На балконе стоял наследник австрийского престола под руку со своей супругой. Он был предметом внимания толпы, вселившей в него самонадеянность. Что может случиться скверного с тем, которого, очевидно для всех, хранит провидение, которого так боготворят подданные? «Ничего не может случиться скверного»,—только так и мог ответить себе едва ли не всякий на месте эрцгерцога. И когда Патиорек посоветовал Францу-Фердинанду провести остаток дня в ратуше, пока полиция очистит улицы и допросит бомбометчика, эрцгерцог высокомерно сказал на это:

— Какие пустяки!.. И как вы смеете думать, что я — трус?

Патиореку оставалось просить извинения за свою неразумную заботливость, а шоферу приказано было везти высокого гостя в госпиталь, где он хотел узнать о здоровье раненого поручика.

Конечно, совершенно не нужно было ехать в госпиталь и узнавать лично о том, что могло быть известно от врачей просто по телефону, тем более что рана не была опасной для жизни. Но когда перст провидения чудесно для людей отвел занесенную для рокового удара руку, нужно же показаться толпе не только с высоты балкона ратуши, но и в окне медленно катящейся мимо нее машины.

Толпу не приказано было убирать с улиц, по которым должен был проехать Франц-Фердинанд. Но зато Патиорек, чувствуя ответственность, которая падет на него, если что-нибудь еще случится с высочайшей особой, сел рядом с шофером, а один из офицеров свиты эрцгерцога, граф Гаррах, стал на подножку машины.

— Как же и чем думаете вы защитить меня, граф? — спросил, улыбаясь, эрцгерцог.

— Своим телом, ваше высочество! — ответил доблестный граф.

Машина тронулась по набережной, а так как шофер не знал, как ему ехать к госпиталю, то Патиорек объяснял ему, что надо повернуть с набережной направо, на улицу Франца-Иосифа, говоря это очень громко, так как толпа кричала «Hoch!».

Казалось бы, все пошло как нельзя лучше, и вдруг из толпы, теряясь в реве голосов, раздались один за другим два выстрела. Они именно затерялись и настолько, что ни шофер, ни Патиорек не различили их, а граф Гаррах — не с той стороны, откуда стреляли, а с другой,— едва различил, едва уловил не столько выстрелы, сколько удары пуль в обшивку автомобиля, и начал кричать шоферу: «Стой!.. Стой!»

Ему не пришлось защитить своим телом ни эрцгерцога, ни его супругу: стрелявший в упор Гаврила Принцип не мог не попасть в тех, на кого покушался, но могла быть счастливая для них случайность — они могли бы отделаться не слишком тяжелыми ранами, хотя бы и такими, как у поручика Мерицци. Однако рука провидения на этот раз не отвела пуль, и одна из них пробила

тело герцогини в подвздошной области, другая перебила сонную артерию эрцгерцога.

Обе раны оказались безусловно смертельными, хотя Патиореку, обернувшемуся на крики Гарраха, почудилось, что ничего страшного не случилось: чета сидела так же, как и раньше, разве что герцогиня слегка склонилась к плечу супруга. И только когда увидал он кровь на ее платье, то испуганно приказал шоферу ехать в конак[1], который был гораздо ближе, чем госпиталь.

Когда открыли дверцу автомобиля, то увидели, что оба без сознания и уже при смерти. Через несколько минут они скончались, и тела их были положены в зале конака.

Гаврила Принцип был схвачен тут же, как произвел свои роковые выстрелы. Он держался, как удачливый стрелок на охоте. Он говорил, что уж давно мечтал убить кого-нибудь из высокопоставленных особ и вот ему так замечательно повезло, как очень редко бывает в жизни. Его спросили о сообщниках, но он решительно заявил, что никаких сообщников не имеет.

Черная туча забот свалилась на головы Патиорека и всех предержащих властей Сараева и края. Был июнь, время цветов, и корзины их, и венки из них, один другого пышнее, появились около тел, лежащих в конаке. Но тела, конечно, нужно было отправить в Вену после вскрытия их местными врачами, а когда именно и как, и каким путем отправить, на это нужно было получить точные приказы правительства.

Одна за другой писались и отправлялись телеграммы в Вену, откуда, в свою очередь, шли телеграммы во все концы мира.

Сараевская молодежь приступила было к разгрому двух редакций местных сербских газет в тот же день вечером, но это был самочинный порыв, ему только на другой день решено было дать законченную форму.

Погода стояла жаркая. Из Вены пришел приказ набальзамировать тела и получен был точный маршрут, каким нужно было отправить в столицу останки погибших. Колокола протяжно звонили в Сараеве, и никто не догадался в тот день, что похоронный звон этот не только по эрцгерцогской чете, но и по всей многовековой разноязычной монархии Габсбургов!

---

[1] Конак — правительственное здание.

II

Несмотря на праздничный день, экстренные выпуски газет в Вене вышли в день убийства наследника престола: слишком важна и мрачна была новость.

Так как «природа тел не терпит пустоты», то восьмидесятичетырехлетний монарх Австро-Венгрии распорядился о том, чтобы на утренний прием 17 июня явился к нему эрцгерцог Карл, которого необходимо было объявить наследником.

Кроме Карла, в это утро были приняты и министры-президенты двуединой монархии — австрийский, граф Штюргк, и венгерский, граф Тисса, а также министр иностранных дел граф Берхтольд. Францу-Иосифу указано было на то, что крайне подозрителен день, выбранный для покушения на наследную чету: 15 июня национальный праздник сербов в память сражения на Коссовом поле; отмечено было также и то, что сербская газета в Сараеве «Народ» ни одним словом, совершенно демонстративно, не обмолвилась о том, что в город приехал наследник австрийского престола.

Об этом были получены телеграфные донесения в Вене, и это связывалось в них с разгромом как этой редакции, так и гостиницы «Европа», принадлежавшей тестю сербского посланника в Петербурге Сполайковича: в кафе при этой гостинице собирались обыкновенно сербские политики-националисты. Гостиница была разгромлена так, что не осталось ни одного целого зеркала, ни одной люстры, ни одного окна и поломана была вся мебель.

О погромах сербов получены были в Вене сообщения и из Загреба и из нескольких других городов: отсюда делали выводы, что даже все несербское население Боснии и Герцеговины возмущено и стремится всех сербов вообще сделать виновниками в убийстве того, кто был главным деятелем аннексии этих двух провинций.

Вена стала в центре внимания всех стран Европы: телеграммы о соболезновании шли к Францу-Иосифу от всех дворов, от всех правительств. Все крупнейшие газеты посвятили убийству в Сараеве большие статьи; мельчайшие подробности этого события печатались и обсуждались. Как будто сознательно гигантскими мехами раздували два роковых выстрела девятнадцатилетнего анархиста в пламя широкого пожара.

Замечено было приближенными к Францу-Иосифу, что первое сообщение о смерти своего племянника и его

морганатической супруги древнейший в мире монарх принял довольно спокойно. Однако это спокойствие раскачивалось с каждым часом: нельзя было оставаться спокойным, когда все кругом — ближние, средние, дальние, самые дальние — настойчиво требовали возмущения!

Закономерно угасающую по причине редкой маститости жизнь императора, свидетеля еще событий сорок восьмого года, старались со всех сторон омолодить, представляя действия каких-то анархистов-сербов, уроженцев Боснии, выполнением планов, задуманных в Белграде, столице Сербского королевства.

Идея триединой монархии — австрийско-венгерско-славянской,— так лелеянная погибшим эрцгерцогом, бурно рвалась наружу теперь, после его смерти. Веселый певучий город Вена, родина оффенбаховских опереток, принял воинственную позу и горящими глазами стал смотреть на восток: смерть наследника престола должна быть отомщена,— что могло быть яснее этого для каждого торговца подтяжками, не только для министра? И мерой за меру во всех пивных и кафе признавалось только одно: навсегда лишить сербов возможности убивать представителей дома Габсбургов. А для того, чтобы этого добиться, следовало, конечно, двинуть, недолго думая, мощную армию на Белград и дальше, в глубь Сербии, вплоть до ее восточных и южных границ. Пусть оккупация Сербии будет объявлена сначала временной: при поддержке Германии она сможет стать и, разумеется, станет такою же аннексией, как Боснии и Герцеговины несколько лет назад.

Свыше шести десятков лет просидевший на троне Франц-Иосиф не мог, конечно, забыть, как в 1853 году содействовал он возникновению первой после наполеонады европейской войны, названной впоследствии Восточной или Крымской. Теперь были те же Балканы, а впереди рисовалось, подобное этому старому, возможное новое столкновение с Россией.

Ни при одном из монархов Европы не соблюдались так правила чопорного этикета, как при Франце-Иосифе: казалось, энергия всей его жизни ушла только на одно это кропотливое обдумывание поведения всех больших и малых чинов его двора и формы присвоенной им одежды для разных случаев их чрезвычайно сложного существования.

Однако позаботились при венском дворе и о высокопоставленных покойниках. В порядке чрезвычайной

спешности, но тем не менне пунктуально был разработан весь ритуал перевозки их тел из Сараева в Вену. Особенно пышно предначертано было путешествие набальзамированных тел по воде, от побережья Далмации.

Гробы, покрытые эрцгерцогскими штандартами, плыли на яхте «Далмат», утопающие в цветах, доставленных прибрежным населением. В гавани Метковичи, откуда отошла яхта, не только все дома выставили черные флаги, но и уличные фонари были окутаны черным флером. Впереди яхты двигался миноносец, на котором оркестр непрерывно исполнял траурный марш. В скорбных молитвенных позах, становясь на колени, должны были встречать и провожать глазами медленно двигавшиеся суда прибрежные жители, понесшие столь великую потерю, вознаградить которую могло бы только все целиком это строптивое государство — Сербия,— прибранное к австрийским рукам.

Конечно, в австро-венгерском генеральном штабе давно уж были разработаны и планы вторжения в Сербию и планы войны с Россией при могучем содействии Германии. Конечно, все военные заводы, начиная с завода Шкода в Пльзене, давно уж были загружены заказами на орудия, пулеметы, винтовки, боезапасы. Конечно, все тактические задачи, которыми занимались офицеры в полках, решались на картах русского Полесья, Волыни, Подолии.

Костер давно уже был подготовлен и сложен, гигантский костер, который должен был охватить, запылав, своим заревом все небо над полушарием Старого Света; оставалось только бросить в него зажженный смолистый факел. Этот зажженный факел строгая дама — История передавала уже в дряблые руки Франца-Иосифа...

Двигалась от далматских берегов яхта с гробами, взывающими о мести, но надобно было оглядеться в последний раз и особенно зорко по сторонам: в сторону Берлина первый поворот головы, в сторону Петербурга — второй, в сторону Парижа — третий, в сторону Лондона — четвертый,— полный румб. Звенья дружеских цепей, сковывавших Вену с Берлином, были прочны, но ведь не менее прочны, пожалуй, были и звенья других цепей, связавших республику Францию с самодержавной монархией — Россией.

План Германии, в случае открытия военных действий на два фронта,— напасть сначала девятью десятыми своих сил на Францию и, только молниеносно разгромив

ее, перебросить всю армию против России, был, конечно, известен Францу-Иосифу под названием «плана графа Шлиффена», но на Австро-Венгрию падала при этом серьезная задача сдержать напор русских армий не только против Галиции, но и на стыке границ со своей союзницей.

А между тем ничего ведь не может быть легче, как переоценить свои силы. Как будет вести себя армия, состоящая из швабов, венгров, чехов, словаков, хорватов, босняков-мусульман, итальянцев, поляков, украинцев, евреев, цыган, для которых единственным связывающим цементом может явиться только офицерский командный состав, тоже разноплеменный?

Об этом нужно было подумать, разумеется, раньше, теперь же только в самом спешном порядке готовить свою армию, какая бы она ни была, к боям, от которых будет зависеть будущность страны. Маленький старичок с висячими белыми баками выслушивал в эти слишком насыщенные жгучим содержанием дни многих, на кого он мог положиться, и однообразно кивал головой. Он был похож в эти дни на маленького паучка, широко раскинувшего кругом свою паутину и в то же время исполненного тайного страха перед тем, что добыча, какую ему хочется поймать, не только разорвет всю его паутину, но сдернет и его самого наземь.

А пока что, в ожидании тел своего бывшего наследника и его супруги, вырабатывал он совместно с мастерами этого дела пышный ритуал погребения, способный и потрясти и надолго ввергнуть беспечных жителей Вены в глубокую скорбь.

Вильгельм II был 15 июня в городе Киле, занятый соревнованием парусных гоночных яхт. Это ли было не увлекательное зрелище для монарха, сумевшего создать второй по силе в Европе морской военный флот?

Первым, конечно, оставался, как и раньше, английский, но мерещилась, однако, возможность помериться с ним силами в недалеком уже будущем. Пока же говорилось так: флот военный необходим для защиты действий торгового флота, поскольку Германия стала колониальной империей.

Но не только интересы двух миллионов квадратных километров колониальных земель, совсем еще недавно приобретенных Германией, требовали громаднейшего

торгового флота: он необходим был также и для развития внешней торговли, в области которой в весьма короткий срок Германия стала опережать старинного мирового купца — Англию.

Не Австрия, конечно, с ее вожделением к Сербии, а непомерно выросшая за последнюю четверть века Германия, ставшая удачливой соперницей Англии и искавшая уже предлога сразиться с нею за мировое господство,— вот кто делал очень повышенной температуру уютных кабинетов дипломатов.

Не за тридевять земель от Англии, а у нее перед глазами шли грандиозные работы по устройству Кильского канала, который явился мощной базой для всего германского флота. Против двадцати дредноутов английских германцы могли выставить четырнадцать своих, не менее мощных. Марка «Made in Germany» резала глаза англичанам во всех частях света, так как огромные гамбургские пароходы немцев бороздили уже воды всей Атлантики, и Великого, и Индийского океанов.

Больше того: началось уже вытеснение английских товаров даже из таких стран, которые издавна снабжались английскими фабрикантами и купцами: Берлин начинал перехватывать горло Лондона, и смертельная схватка между ними была неминуемой.

Но бок о бок с Германией копила силы раздавленная ею сорок с лишком лет назад Франция, и протянутая Лондоном в Париж рука встретила крепкое сочувственное пожатие.

Так создавался костер — годами, десятилетиями, энергией сотен миллионов людей разных наций, энергией, направленной к обогащению и связанному с ним господству. Добывались руды и каменный уголь, чтобы выплавлять из них металл; из этого металла делалось несметное количество машин войны и боевых припасов; необозримые склады до отказа набивались запасами провианта для войск, сапог и мундирной одежды; и вся эта деятельность прикрывалась до времени, как океан туманом, искусственным, для отвода глаз массам, шумом около какой-нибудь книги, пьесы, комического кинофильма, наблюдения в далекой области небесных светил, которые пока еще никем не могут быть захвачены как рынки сбыта...

Не раз и в Германии и в Австрии на протяжении последних десятилетий поднимался вопрос об аншлюссе, то

есть о слиянии единоплеменных немцев обоих государств, но горячие головы охлаждались гораздо более дальновидными умами. Уже после поражения австрийских войск прусскими в битве при Садовой в 1866 году был поднят вопрос о том, чтобы идти на Вену и захватить ее навсегда, но Бисмарк помешал этому.

Патетически вспоминал он об этом впоследствии:

«Я всегда буду помнить заседание военного совета, которое происходило в моей квартире на другой день после битвы при Садовой. Все, кроме меня, считали необходимым продолжать кампанию и захватить Вену. Я сделал все, что мог, чтобы удержать их от этой затеи. Они ничего не хотели слушать. Я вышел в свою спальню, которая находилась рядом и отделялась от зала тонкой деревянной перегородкой. Я бросился на кровать и не мог удержаться от громких рыданий... Они услышали, что я плачу, и замолчали, потом вышли из комнаты. Этого я и ждал. Завтра уже было поздно возвращаться к этому вопросу».

Чем не артист был в 1866 году прославленный «железный канцлер»?.. На театральных сценах ставились трагедии Шекспира, в которых артисты разных стран Европы потрясали сердца зрителей, но сочиненные трагедии были только вуалью, под прикрытием которой на громаднейшей исторической сцене не дутые, а подлинно талантливые артисты, как Бисмарк, рыдали, ведя серьезнейшую дипломатическую игру. «Железный канцлер» рыдал по-настоящему, содрогаясь всем своим массивным телом, заливая слезами подушку, но в то же время чутко слушал, какое впечатление производят его рыдания на тех, кто решал вопрос об аншлюссе в соседнем зале. И вот — заседание сорвалось, заседавшие вышли, вопрос об аншлюссе был снят.

Конечно, после такой дипломатической победы Бисмарк мог удовлетворенно утереть слезы фуляровым платком и сказать, мысленно обращаясь к трагическим актерам: «Так-то, почтенные! Вы не больше как мальчишки сопатые по сравнению с таким артистом, как я!..»

Игра Бисмарка стоила и свеч, и слез, и рыданий. В самом деле, зачем нужен был аншлюсс тогда, в 1866 году, когда существовал только союз самостоятельных германских государств — Пруссии, Баварии, Саксонии, Вюртемберга и прочих, но не было еще единой Германской империи? Зачем было дробить Австрийскую импе-

рию, которая по соседству со всеми немецкими странами проводила в жизнь Европы все ту же немецкую идею, оседлав для этой цели венгров, чехов, словаков, поляков, украинцев и других?

Политические деятели Германии смотрели на Австро-Венгрию как на свой форпост на юге-востоке Европы, работавший во славу немецкого знамени, безразлично руками каких именно народностей производилась эта работа. Что все вообще Балканы рано или поздно должны были войти в состав Германской империи, это было предопределено как будто даже и тем, что на румынском престоле сидел Гогенцоллерн, на болгарском — Баттенберг, а женою короля греческого Константина была родная сестра кайзера Вильгельма II.

На Балканы в Берлине смотрели как на коридор, ведущий германские капиталы и немецких капитанов на восток — в Турцию, к Персидскому заливу, к Индийскому океану. Уже строилась железная дорога Берлин — Багдад, уже был главным инструктором турецких военных сил германский генерал Лиман фон Сандерс, уже проданы были для усиления турецкого флота на Черном море устарелые немецкие броненосцы и выработан план передачи Турции современных быстроходных и мощных крейсеров, чуть только разразится война на востоке Европы.

Если не считать опереточного похода в Китай в 1900 году для предотвращения «желтой опасности», придуманной самим Вильгельмом, то Германии не пришлось воевать ни с кем после разгрома Франции во франко-прусской войне, однако это не мешало ни кайзеру, ни его генералам знать, насколько сильна их армия, предмет особых и постоянных забот, попечений, надежд.

Теперь на очереди стоял флот, объявлена была Вильгельмом к ежегодному празднованию «Кильская неделя» по случаю окончания работ в канале. На торжества в этом году прибыла броненосная эскадра Англии: соперница Германии в мировой торговле как бы хотела заявить этим, что примирилась уже с мыслью о сильном германском флоте и может даже идти на взаимное сближение.

Почти двадцать лет прошло с тех пор, как в последний раз английские военно-морские суда приходили с визитом в германские воды. Стоявший теперь во главе немецкого флота адмирал Тирпиц принимал у себя на ко-

рабле английских офицеров и посла Великобритании. За завтраком лились вина и речи. Казалось бы, никогда за последние два десятка лет не было более ясного неба над Северным морем и над Ламаншем, и вдруг, когда завтрак подходил уже к концу, прибыла телеграмма из Вены об убийстве в Сараеве австрийского наследника.

Одновременно с телеграммой получен был от Вильгельма с яхты «Метеор»,— на которой он был вместе с женою своей Викторией, любуясь парусными гонками,— приказ приспустить флаги на всех судах. Разумеется, в знак сочувствия, флаги были тотчас же приспущены и на судах английской эскадры.

Императорская яхта направилась в порт, откуда Вильгельм выехал в тот же день в Берлин, выразив желание присутствовать в Вене на погребении тела своего друга. Английской эскадре ничего не оставалось больше, как возвратиться в британские воды.

Если телеграммы из Вены, расходившиеся по всему свету, изображали Франца-Иосифа «глубоко потрясенным» убийством наследника, то они добавляли все же, «что он в тот же день, 15 июня, до позднего времени занимался государственными делами» и что «здоровье его не оставляет желать лучшего». Гораздо более впечатлительным оказался Вильгельм II, имевший в ту пору только пятьдесят три года.

Большая впечатлительность и порывистость была, впрочем, отличительной чертой последнего из прусских королей и императоров Германии. Придворная камарилья уверила его, еще когда был он только принцем, что он — способнейший из всех принцев; когда он вступил на престол Германии, двадцать шесть лет назад, ему уже не трудно было убедить себя в том, что он способнейший из монархов, и первое, что он сделал,— дал отставку рейхсканцлеру князю Бисмарку, основателю империи.

Став сам канцлером, Вильгельм начал проявлять себя не только в живописи, в музыке, не только в увлечении архитектурой (ремонт дворца), но и в политике, часто выступая с публичными речами (ораторское искусство), притом иногда настолько опрометчиво, что заместителям Бисмарка приходилось прибегать к сложным дипломатическим изворотам, чтобы сгладить впечатление от них и в самой Германии и за границей.

Только что вернувшись в свою столицу из Киля, Вильгельм собрался уже ехать в Вену, чтобы проверить на месте готовность к большой войне своего старого союзника, но получил от него телеграмму, что приезд его в Вену совершенно нежелателен. Разумеется, выражения для этого были выбраны наиболее мягкие, причины выставлены очень веские, между прочим указывалось и на то, что анархисты, подобные сараевским, могут оказаться и в Вене и, конечно, не преминут воспользоваться случаем пустить в дело против него, Вильгельма, револьверы и бомбы.

Словом, похороны убитых решили в Вене совершить без участия в этом главы союзного государства, и Вильгельм остался в Берлине.

III

В то время как одна броненосная английская эскадра отправлена была в Киль, другая, также в целях дружеского визита, появилась в Кронштадте. Командовал ею адмирал Битти, и входили в нее шесть дредноутов: «Lion» — флагманский корабль, «Queen Mary», «New Zeeland», «Princesse Royal», «Boadicca» и «Blond».

Как раз 15 июня происходила встреча этой эскадры кронштадтцами, причем городской голова поднес адмиралу Битти художественную вазу в виде старинной ладьи, в которой стояла русская женщина — Россия, опершись рукою на герб города Кронштадта.

Городской голова прочитал при этом адрес, составленный выразительно и тепло, на что Битти, принимая подарок, ответил подобающей речью.

Это было в полдень. Широко отпраздновать прибытие гостей приготовились русские моряки-балтийцы, но... злополучная телеграмма из Вены о сараевском убийстве надвинулась на праздничные столы, как айсберг гигантских размеров, и на другой же день английские дредноуты снялись с якоря и покинули Финский залив.

Обычно каждый год летом Николай со всей своей семьей уезжал в Крым, в Ливадию, но в этом году отъезд задержался, а когда пришлось посылать соболезнование Францу-Иосифу, был отменен совсем: не до Ливадии было. Те тучи, которые в последние годы шли с Балкан, где долго не прекращались войны, сначала между турками и несколькими народами, объединившимися для борьбы с ними, потом между болгарами и сербами, разъеди-

нившимися для жестокой междоусобицы,— эти тучи теперь явно для всех и сразу сгустились.

Если и раньше,— например, года два назад,— поднимался уже в русском военном министерстве вопрос, не задержать ли в рядах войск отслуживших свой срок солдат, не грянет ли осенью война, то теперь о возможности войны говорили все.

Балканы при русском дворе имели не только своих посланников: две черногорских княжны — Анастасия и Милица — были замужем за великими князьями, дядями Николая II, и один из них, муж Анастасии, Николай Николаевич, занимая высокое положение в армии, был более известен в военной среде, чем кто-либо другой из фамилии Романовых. Предрешено было, что в случае войны он будет назначен верховным главнокомандующим.

В полную противоположность своему царственному племяннику, он вышел в деда — Николая I — по двухметровому росту, очень зычному голосу, любви к парадной стороне военной службы и пристрастию к разносу высшего командного состава, даже начальников дивизий, в строю перед солдатами.

Эта придирчивость к подчиненным, эта способность громогласно распекать их принимались за твердое знание военной службы, а вопрос о том, обладал ли крикливый великий князь стратегическим талантом, даже не ставился: это разумелось само собой.

События надвигались закономерно, и все, сколько-нибудь причастные к общественной деятельности, не видеть этого не могли.

Клокочет внутри земли расплавленная магма и пробует здесь и там, нельзя ли где прорваться наружу. Это приводит к землетрясениям, и сейсмологи стремятся определить их эпицентры.

Политикам не нужно было в июне 1914 года вычислять и спорить, где именно находится эпицентр величайшего бедствия, гораздо более ужасного, чем все стихийные со времен библейского потопа,— он был указан во всех телеграммах: Сараево. Не всякий из образованный людей знал раньше, что это за город и где он, теперь же он был у всех на устах. Возникал жгучий для всех вопрос: что именно — воду или нефть привезут, примчавшись, пожарные команды великих держав? Потухнет ли, или запылает пламя, разлившись по всей Европе?

IV

В русском военном министерстве знали, что готовой к войне русская армия могла быть только разве через три года и то при непременном условии, если германская армия застынет на том уровне, на каком стоит, а три года для подготовки всех своих сил — срок почтенный.

Однако разве имели в России полное представление о том, как готовилась к войне Германия?

Там это было возведено в культ, там упивались военной муштрой, там на императора, который считался конституционным монархом, о котором прусские бюргеры пели: Unser König absolut, wenn er unsern Willen tut» («Наш король самодержавен, если он творит нашу волю!») — смотрели, как на верховного вождя.

Даже основатель Германской империи Бисмарк не отваживался мыслить как-нибудь иначе.

С такими взглядами на роль императоров вообще и германских в частности Бисмарк очень долгие годы стоял у кормила власти в стране, с которой предстояло вести жесточайшую борьбу расхлябанной распутинской России; правитель же этой огромной страны, России, озабочен был только тем, чтобы сберечь династию, совершенно чуждую русскому народу и по крови и по духу.

Но кто знает, может быть, именно это сознание своей чужести России и заставило царя и царицу широко открыть двери Зимнего дворца перед несомненным чистопородным русским хлыстом, уроженцем села Покровского, Тобольской губернии, и назвать его своим «Другом» (с большой буквы!).

В Берлине зорко поглядывали в сторону Петербурга и Парижа, приглядываясь, впрочем, и очень пристально, также и к Лондону и даже к Токио.

Еще года за четыре до сараевского события Вильгельм вызвал на откровенный разговор Николая, когда тот был его гостем, когда они вместе охотились на оленей в одном из заповедников Восточной Пруссии.

— Я изумлен, дорогой Ника,— говорил Вильгельм,— твоей политикой в отношении японцев. Так недавно, кажется, они причинили тебе очень много неприятностей, и вот теперь у России с Японией едва ли не дружба!.. Но ведь Япония — это Азия, а не Европа! С кем же ты хочешь быть: с Азией против Европы или с Европой против Азии? Ответь мне на мой прямой вопрос: с белой ты расой против желтой или с желтой против белой?

— Раз вопрос тобою, Вилли, поставлен так прямо,— сказал Ника, улыбаясь,— то и ответ на него может быть только прямой. Разумеется, я — с Европой и против Азии. Двух мнений об этом быть не может.

— Я другого ответа и не ждал, конечно,— продолжал Вильгельм.— Но объясни же мне, пожалуйста, почему ты сосредоточил свои войска не на Дальнем Востоке, а против моей с Россией границы?

Николай предпочел вместо ответа промолчать и только неопределенно пожать плечом, дескать: «Ты отлично и сам знаешь, почему так делается, и я даже не в состоянии понять, как у тебя хватает неделикатности поднимать подобные вопросы вслух и с глазу на глаз!.. Разве не довольно для тебя того, что делают в твою пользу бесчисленные твои агенты всюду в России: и во дворце, и в министерствах, и на военных заводах?»

И теперь от него не утаили осведомленные люди, что его кузен и друг уже любуется новой картой Германии, к которой должны были, по всем его расчетам, перейти и русская Польша, и Прибалтика, и Украина.

Но как долго ни обдумывалась общеевропейская война в кабинетах министров обеих коалиций держав — России, Франции и Англии,— с одной стороны, и Германии, Австро-Венгрии и Италии,— с другой,— все-таки решиться начать эту войну было не так просто, хотя удобнейший предлог для этого — сараевское убийство — и был уже налицо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

I

Постоянство привычек — немаловажная вещь; это одна из основ жизни.

Издавна повелось в доме Невредимова, что он прикреплялся к бакалейной лавке купца второй гильдии Табунова, тоже постоянного в своих привычках и часто говорившего: «Нам ведь не дом домить, лишь бы душу кормить!» или: «Нам рупь на рупь нагонять не надо, нам абы б копеечку на копеечку зашибить!..»

«Зашиб» за долгую деятельность здесь Табунов порядочно и дом построил вместительный; кроме бакалей-

ной лавки, у него на базаре был еще и мучной лабаз. Неожиданно для всех появился даже и пчельник, хотя и небольшой, при доме: это было вызвано тем, что через улицу устроили склад сахарного песку и рафинада. Табунов подмигивал своим домашним и говорил:

— Пчелку учить не надо, где ей взятку брать: она умная, сама найдет.

Действительно, нашла и каким-то образом проникла внутрь склада.

Когда испортился в лавке целый бочонок сельдей и старший приказчик Табунова — Полезнов нанял уже дрогаля, чтобы отвезти бочонок на свалку, как возмутился этим рачительный хозяин, как раскричался!

— Добро чтобы зря черт те куда везть да еще платить дрогалю за это? — накинулся он на Полезнова.— Эх-х, умен, а уж, почитай, тридцать лет в приказчиках ходишь! Гони дрогаля в шею!

Дрогаля прогнал, а испорченную селедку сам за один день рассовал покупателям по две, по три штуки,— совершенно бесплатно,— знай доброту нашу!.. А когда опустел бочонок, торжествующе поучал своего давнего помощника:

— Видал, как оно вышло? Кто захочет съесть — скушает на здоровье, а кому гребостно — дух нехороший,— в свою помойную яму выкинет; однако же из лавки вон, и никакого дрогаля не потребовалось,— понял? Вроде как в премию давал, какие постоянные покупатели: и им от меня польза, и мне от них меньше убытку.

Косоват на один глаз был Табунов, но других изъянов никаких за собою не замечал и часто хвастал:

— Я мужик сер, да ум-то у меня не волк съел!

А сер он был действительно как изнутри, так и снаружи: борода серая, картуз серый, зимою ходил в серой поддевке, не на меху, на вате: зимы здесь были мягкие.

В лавке любил коротать время за шашками. Неизменно из года в год выписывал газету «Свет», стоившую четыре рубля в год, причем шутливо называл ее «Тьмою»; читал ее усердно, поэтому знал все, что творилось в обширном мире, не говоря о России. Как всякий, кому удалась жизнь, в суждениях своих был категоричен и не любил, когда с ним кто-либо спорил.

Но такие примерные люди действуют на подобных им заразительно, поэтому Полезнов — человек уже лет пятидесяти, но очень крепко сбитый, в русой бороде и голове пока еще без седин — был тоже себе на уме, и Табунов

знал о нем, что он, поздно женившийся на такой, которая почти вдвое была его моложе, свирепо копит деньгу, чтобы от него отколоться и завести свое дело, причем не бакалейное, а мучное: меньше хлопот.

Насчет того, что он тридцать лет был приказчиком, Табунов несколько перехватил: приказчиком Полезнов сделался после того, как отбыл солдатскую службу в пехотном полку, а женился в сорок пять лет, когда уж не могли больше взять его даже в ополчение.

Когда он говорил своему хозяину: «Я, Максим Андреич, несмотря что не особо грамотный, а все-таки правильную линию жизни имею»,— Табунов соглашался: «Против этого ничего тебе не говорю: ты — аккуратист».

Так они действовали долгие годы рядом, в общем больше довольные друг другом, чем недовольные, а главное, очень хорошо понимавшие один другого и одинаково толково умевшие разбираться во всем, что касалось сахара, чая, сыра, мыла, свечей, керосина, перца, лаврового листа, риса, ветчины, колбасы, копченой кефали и прочего, чем была наполнена бакалейная лавка на Пушкинской улице и что было необходимо, как воздух, всем в окружности.

Сознавать, что ты необходим для многих, может быть, для целой тысячи человек,— это ли не гордое сознание? И хозяин и старший приказчик знали себе цену.

Это придавало им самим вес и тогда, когда рассуждали они о разных разностях, случавшихся в мире. Оба степенные,— Табунов лет на двенадцать был старше Полезнова,— они рассуждали довольно спокойно на темы высшей политики, заражаясь этим спокойствием от старого отставного генерала Комарова, редактора-издателя газеты «Свет».

Спокойствие не покинуло их и тогда, когда узнали они об убийстве эрцгерцога в Сараеве. У Табунова появилось даже вольномыслие: вместо «эрцгерцог» он начал говорить «эрц-герц-перц» раздельно и выразительно и сербов, Принципа и Габриновича, не осуждал.

Догадки о том, что вдруг из-за этого может разыграться война, доходили и до него, конечно, но он энергично отмахивался от них руками:

— Из-за какого-то эрц-перца война,— что вы-с! Теперь не прежнее время.

Полезнов, как бывший унтер, считавший себя особенно сведущим в вопросах войны и мира, даже позволял

себе усмехаться свысока, когда слышал что-нибудь о возможных военных действиях, и говорил, крутя головой:

— Сами не знают, что болтают! Разве из-за одного человека,— ну, пускай из-за двух, если жену его тоже считать,— войну начинать можно?.. Войну начинать — это же очень много соображения надо иметь... Как-нибудь войну весть, шаля-валя,— мы уж по японцу знаем,— теперь неприятель не дозволит, а чтобы как следует — это ума много надо иметь, и денег опять же много, и людей много, и лошадей на войне много должно погибнуть. И войско корми зря, может, год, может, два, а то и побольше... Своим чередом людей, лошадей дома от дела оторвешь, значит, дело должно погибать,— что поля, что торговля,— все!.. Тут тебе мобилизация, тут реквизация, ну да-а! Вся чисто жизнь наша должна тогда колесом под гору скакать!

— Это у нас так,— поддерживал Полезнова Табунов,— а в других разных странах не один черт? Там небось образованных, понимающих людей побольше нашего, какие в котелках ходят... Там небось и мужик ходит — брюки навыпуск да в котелке, так что его в праздник и от барина не отличишь... Говорится: Ев-ро-па, а что же ты думаешь, в Европе турки, что ли, живут? Небось немец тоже свой расчет имеет: чем ему с большой горячки под пули лезть, он себе лучше хладнокровным манером колбасу с капустой наворачивать будет да пивом запивать,— вот что, а то «война-а!..»

Очень устойчиво все было в обиходе торговли Табунова: в лавке пахло лимоном из Европы, «колониальными» товарами, как перец, гвоздика, корица, отечественной ветчиной и воблой — с давних, молодых лет привычные запахи; в лавке была чистота: приказчики ходили в белых фартуках, пол раза три в день поливался из чайника и подметался; в лавке царила вежливость: Табунов требовал, чтобы к каждому покупателю, кто бы он ни был, раз он вошел, обращались с вопросом: «Чего прикажете-с?» И вдруг,— представить только,— прыжок в какую-то неизвестность из таких размеренных границ!

Но однажды зашел мимоходом в лавку один из самых почетных покупателей, которым стремительно подставлялся стул,— старый Невредимов,— и сказал, едва успев поздороваться с Табуновым, голосом очень встревоженным:

— Что такое значит, а? Не выдают золотом в банке!.. «Извольте, говорят, получить бумажками!»

— Неужто не выдают? — так и присел от изумления Табунов.— Никому не выдают?

— Понятно, никому, в том-то и дело! — даже обиделся Невредимов такому вопросу.

Табунов тихонько присвистнул и поглядел на Полезнова.

— Вчерашний день выдавали,— я сам получал,— сказал Полезнов.

— Гм, «вчерашний»! Говорится: «Ищи вчерашнего дня»,— закивал головой, явно волнуясь, Невредимов.— Вчера выдавали, а сегодня строгий приказ: никому ни одной монетки!

Это было на восьмой день после того, как появились первые телеграммы легкомысленно-розового цвета. Новость показалась Табунову до того нелепой, что он спросил:

— А вы, Петр Афанасьич, извините, в каком же это банке деньги свои получали? Не во «Взаимном кредите»?

Это был вопрос существенный: банк «Общества взаимного кредита», не так давно тут основанный, сумел уже прославиться разными махинациями одного из своих основателей, итальянца Анжелло, и у Табунова таилась еще надежда, но ее разбил Невредимов сердитым ответом:

— Стану я во «Взаимном» деньги свои держать! В Госу-дар-ствен-ном!

— В Государственном?.. Ну-ну-у!..— И полез Табунов в свою бороду пятерней, что делал только тогда, когда был озадачен ловким шашечным ходом Полезнова.

— Этого и в японскую войну не было, чтобы золото в банках не выдавали,— припомнил Полезнов.

— Не было же,— истинно, не было! Никогда с того времени, как ассигнации ввели, этого не было, чтоб Государственный банк стал банкрут! — азартно подтвердил Табунов.

— Тут не в банкротстве дело,— заметил Невредимов, хотя посмотрел на него не строго.

— Однако же почему же на бумажки перешел?

— Явное дело, золото из обращения изымают,— вот почему.

— А для чего же изымают?

— Разумеется, на случай, ежели вдруг война.

— Неужто ж и всамделе быть войне? — обратился Табунов к Полезнову.

— В банке разве объяснения дают? Получай бумаж-

ки да уходи с богом,— неопределенно ответил Полезнов, сам ошарашенный новостью не меньше хозяина.

Невредимов сидел в лавке недолго, он взял два лимона и ушел, а Табунов потом весь день, принимая деньги от покупателей, озабочен был только тем, золотом будут ему платить или бумажками, знают ли уже все, что золото «изымают», или кое-кто еще не успел узнать. Оказалось, что к вечеру об этом знали уж все и золотом не платили. Табунову оставалось сказать по этому поводу:

— Не зря, стало быть, говорится: добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит... Теперь, значит, подымется у людей за золотом гонка.

А Полезнов поддерживал:

— Как бы к тому не привело, что за десятку золотую рублей по пятнадцать люди платить будут,— только давай!

— Во-от, истинно, так и быть может! — воодушевлялся Табунов.— У кого сбережёны золотые были в своем бабьем банке,— в чулку,— этот, считай, теперь раза в полтора богаче станет!

— А войны никакой и духу и звания не будет! — стоял на своем Полезнов.

— Дураков теперь много не найдешь войну начинать: все на том свете остались,— не оспаривал его Табунов.

Про себя, конечно, каждый из них соображал, сколько у него может найтись в «бабьем банке» золотых монет и нельзя ли вот теперь же, сегодня вечером, пока не все еще знают о приказе правительства, каким-нибудь образом добыть золота в обмен на бумажки.

II

Ни у Табунова, ни у Полезнова в семьях не было никого призывного возраста, так что лично их война, если бы она в самом деле разразилась, не задевала остро: у Табунова совсем не было сыновей, только дочери и от них малолетние внучки, а Полезнов только еще совсем недавно «пошел в семя».

Невредимов же не мог не обеспокоиться: пятеро племянников его уже стали совершеннолетними, и пока шел он к дому, держа фунтик с лимонами в левой руке, он соображал о каждом из них, смогут ли они уцелеть от призыва.

Вопрос этот был, однако, труден: неизвестно было, какая ожидалась война, если действительно допустить, что

ожидалась: долгая или короткая? И сколько она могла потребовать людей: больше ли, чем японская, или меньше?

Коля был уже готовый офицер военного времени: он отбыл воинскую повинность и вышел прапорщиком; притом же он жил в Петербурге, и, хотя был инженером, все-таки это не освобождало от призыва. Вася мог быть взят в армию как врач; Петя — как только что окончивший свой институт. Только остальные двое — студенты — могли остаться.

Он подходил уже к своим воротам, когда встретился ему полковой врач расквартированного здесь довольно давно уже пехотного полка Худолей, Иван Васильич,— «святой доктор», как его тут звали, человек, снедаемый талантом жалости к людям.

Эта встреча показалась Невредимову как нельзя более кстати.

— Вот у кого я узнаю,— сказал он,— в чем суть дела! Здравствуйте, Иван Васильич, дорогой! Как у вас в полку насчет войны говорят?

Голова Невредимова, покрытая соломенной шляпой с широкими полями, подрагивала ожидающе, но Худолей,— христоподобный по обличью, очень усталый на вид,— только удивился вопросу:

— О какой войне?.. Кто с кем воевать начал? Я ничего не слыхал и не читал. Значит, все-таки начали?

— Со своими, со своими воевать начали,— объяснил Невредимов,— золото прячут!

— Как прячут? Отбирает полиция, что ли?

Только тут припомнил Невредимов, что доктор Худолей был вообще «не от мира сего», хотя и носил воинственные погоны — серебряные, с черными полосками — на своей тужурке. Поэтому он не стал ему ничего больше говорить насчет золота, спросил только:

— Как думаете, Иван Васильич, моего Васю,— ведь он теперь земский врач,— возьмут в случае войны или могут оставить?

— Значит, войны пока нет, а только догадки, что, может быть, будет,— понял, наконец, Худолей.— В случае войны Васю?..

Он знал всех племянников и племянниц Невредимова и даже склонен был думать, что Вася вследствие одного разговора с ним выбрал после гимназии медицинский факультет. Но так как ему не хотелось огорчать старика, то он ответил уверенным тоном:

— Нет, не должны взять, если даже будет война... Вольнопрактикующих врачей могут взять, а земские,— помилуйте, они ведь и так считаются на боевой службе: обслуживают очень большие районы, а жалованье получают незавидное, и практики у них в деревнях никакой. Нет, земские врачи должны быть неприкосновенны: как же без них обойдется деревня? К знахаркам пойдет? Этого не допустят, Петр Афанасьич.

— Я решительно так же точно и сам думаю,— обнадеженно отозвался на это Невредимов.— Не должны Васю, нет, он — человек необходимый, раз он сельский врач... Так же, думаю я, и инженеры на заводах, а? Если инженеров возьмут, то как же тогда заводы?

— Это вы о Коле? — догадался Худолей.— Если завод станет военного значения, то это ведь все равно та же служба... А как же иначе? Нельзя же оставить заводы без инженеров: ведь на них же не хлебы пекут.

— Положительно, да, положительно точно так же и я рассуждаю, Иван Васильич, положительно так же,— просиял Невредимов.— Очень вы меня успокоили, спасибо вам!.. Разумеется, как же заводу быть, если инженеров возьмут?

— Да ведь скорее всего никакой войны и не будет... То есть я не так сказал,— поправился Худолей.— Не то что «скорее всего», а вообще не будет! Кто посмеет войну начать? Культурные народы чтобы воевали в двадцатом веке,— подумайте, ведь это же нелепость, сумасшествие! А парламенты, наконец, на что же? Если отдельные люди могут свихнуться от тех или иных причин, то депутаты пар-ламентов — это же мозг... мозг каждой европейской страны,— что вы, Петр Афанасьич! Никакой войны не допустят парламенты,— и даже думать об этом вам не советую! Мы ведь не во времена Кира, царя персидского, живем, и не в Азии, а в Европе.

Очень убедительно говорил Худолей,— притом же был он военный врач, и совершенно забывший уже о неприятности с золотом в Государственном банке старик Невредимов мелко кивал своею шляпой с черной лентой и поддакивал оживленно:

— Так-так-так... Это вполне, вполне разумно, вы... Да-а-да-да... Вполне!

Но вот к Худолею подошла и остановилась небольшая девушка, похожая на него лицом, стеснительно поклонившись Невредимову, и тот догадался, что это его дочь,

о которой что-то пришлось ему слышать не совсем приличное.

Он еще только силился припомнить, что именно, но, не припомнив, отбросил и самую эту мысль о неприличном: у девушки было такое робкое, почти детское лицо, с мелкими, не успевшими еще определиться как следует чертами.

— Так что гоните от себя даже самомалейший намек на войну,— протягивая Невредимову руку, чтобы с ним проститься, заключил разговор Худолей, и не успел отозваться на это старик, как юная и такая робкая на вид дочка его вдруг сказала:

— А по-моему, война непременно будет. И я тогда поступлю сестрой милосердия в какой-нибудь госпиталь.

— Что ты, Еля, что ты,— забормотал ее отец, спеша проститься с Невредимовым.

Она не поколебала, конечно, своим восклицанием той уверенности, какую вселил в старика ее отец, но все-таки, простившись со «святым доктором», Невредимов уносил с собой какой-то неприятный осадок, что заставило даже его припомнить и то, за что эта невысокая девушка с детским личиком была уволена из гимназии. Она будто бы успела завести роман с пожилым уже человеком, командиром местного полка полковником Ревашовым... «Из молодых, да ранняя,— подумал о ней Петр Афанасьевич, входя к себе в дом.— Ведь вот же у меня целых три девицы выросло, однако, спас бог, никаких таких художеств за ними не водилось! Значит, у меня все-таки строгость необходимая была, а бедный Иван Васильич, он оказался слабоват... Хотя, конечно, служит и везде его просят к больным,— некогда человеку вздохнуть свободно, не то что за своими детьми присмотреть...»

И точно в подтверждение того, что сам он оказался очень хорошим воспитателем для детей своего брата, Надя, которая была постарше и гораздо виднее дочки Худолея, встретила его с сияющим лицом.

Она ничего не сказала при этом, так что он сам уж, присмотревшись к ней, спросил, как спрашивал иногда раньше, в ее детские годы:

— Ты что будто кирпичом начищенная?

И она ответила радостно:

— Я только что от Сыромолотова, дедушка... Он пишет мой портрет. Сегодня был первый сеанс.

Конечно, это было совсем не то, что пришлось только что услышать от другой девицы — чужой — старому Не-

вредимову, однако почему-то и это показалось ему не особенно приятным.

— Молода еще, молода, чтобы художники портреты с тебя писали,— ворчнул он.— Ничего такого замечательного в тебе нет.

— Мало ли что нет, а вот все-таки пишет! — продолжала тем же тоном Надя.

— Надеется, что и за твой портрет ему пятьдесят рублей дам?.. Пусть зря не надеется, не дам,— как бы в шутку, но без всякого подобия улыбки сказал дед, утверждая на вешалке шляпу и передавая Наде лимоны.

— Ух ты, как здорово пахнут! — воскликнула Надя, поднеся к носу фунтик, и добавила не без лукавства: — Да ведь Сыромолотов моего портрета и не продаст ни за какие деньги!

III

Сыромолотов не только пропустил два дня после того «неудачного» сеанса, он не пошел к Кунам и на третий день, а на четвертый к нему пришел обеспокоенный Людвиг и с первых же слов спросил:

— Вы заболели, Алексей Фомич?

— Я? Нет, не имею обыкновения болеть,— ответил художник.

— Не больны? Значит, заняты очень?

— Это вернее... Начал новую картину... А когда начинаешь новую картину, всегда, знаете ли, получается както так, что времени совершенно не хватает.

Людвиг Кун начал было расспрашивать, что это за новая картина, но Сыромолотов оборвал его, говоря, что, пока она еще не откристаллизовалась как следует, он затрудняется передать ее содержание, оторваться же от нее на час, на два, пожалуй, сможет, чтобы закончить портрет старого Куна, и тут же пошел вместе с Людвигом, решив, что идет в дом Кунов последний раз.

На ходу он только исподлобья взглядывал прямо перед собою, редко — по сторонам. Людвиг заметил, конечно, что он не в духе, и пытался его отвлечь от того, чем он был занят, но Сыромолотов отвечал односложно.

Молча потом он сам добивался в гостиной Кунов того же самого освещения, какое было раньше, подшпиливая занавеску на окне, а когда добился, принялся писать тоже молча, и только сонливая поза «натуры» заставила

его, наконец, прибегнуть к разговорам, чтобы в глазах Куна засветилась хоть кое-какая мысль.

В этом помог ему снова Людвиг, который, придя вместе с ним в свой дом, вскоре ушел, а возвратился не один.

По голосам, доносившимся к Сыромолотову из соседней комнаты, он думал, что опять встретится с Тольбергом, однако гость Людвига был не Тольберг.

— С вами, Алексей Фомич, очень хочет познакомиться некто господин Лепетов,— вкрадчиво сказал Людвиг, войдя в гостиную.— Он говорит, что в очень хороших отношениях с вашим сыном.

Сыромолотов нахмурился и густо задышал, не поднимая глаз на Людвига.

— Какое же отношение имеет это ко мне, что он в хороших отношениях с моим сыном? — выжал он из себя с явной натугой.

— Да, разумеется, вы — сами по себе, ваш сын — сам по себе,— поспешно отозвался на это Людвиг,— но я просто подумал, может быть, вы заинтересуетесь этим Лепетовым, как художник.

Он говорил вполголоса и поглядывал на дверь, через которую вошел, что не укрылось от Алексея Фомича, который поэтому поднял голос:

— Мой сын тоже художник, как вам известно, я думаю...

— О, конечно, разумеется, я это отлично знаю! — заулыбался, сгибаясь в поясе, Людвиг.

— Но-о... у нас с ним разные вкусы,— докончил Сыромолотов; и вдруг, подняв глаза на молодого Куна, который оказался так общителен и так осведомлен, и посмотрев на него презрительно, сказал: — Впрочем, пожалуй, пусть войдет и сядет вон там, не ближе.

Он кивнул головой в ту сторону, где сидел Людвиг во время прошлого сеанса.

— Именно там мы и сядем,— мы вам, конечно, не будем мешать, как можно! — и Людвиг, изогнувшись в поклоне, вышел, а не больше как через полминуты вошел снова, пропуская вперед Лепетова.

Сыромолотов только скользнул цепким взглядом по вошедшему и оценил всего с головы до ног «хорошего» знакомого своего сына. Перед ним был человек, очевидно, чувствовавший себя на земле гораздо прочнее, чем преувеличенно вежливый и гибкий в поясе Людвиг Кун, хотя годами был едва ли старше его.

Впрочем, возраст его с одного взгляда уловить было затруднительно: у него было полное, плотнощекое бритое лицо, едва ли способное к передаче мимолетных ощущений, и какие-то очень сытые глаза; тело было тоже сытое, пожалуй даже холеное; роста же он оказался одного с Людвигом.

— Господин Лепетов, Илья Галактионович,— представил его Людвиг, не забыв и при этом склонить свой торс.

Сыромолотов переложил кисть в левую руку и протянул Лепетову правую, отметив при пожатии, что рука его была какая-то неприятно мягкая и слегка влажная, и сказал, кивнув в сторону стульев у противоположной стены:

— Прошу сесть там.

Лепетов, подхваченный под руку Людвигом, выразил согласие на это не столько головой, сколько веками глаз, отошел неторопливо, причем спина у него (он был в белом пиджаке) оказалась широкой сравнительно со спиной Людвига, почему Сыромолотов спросил его, когда он сел:

— Вы что же, тоже цирковой борец, как и мой сын?

Неприязненный тон этого вопроса был вполне откровенный, однако Лепетов сделал вид, что он не обижен, что он вообще знает, с кем говорит, и удивить его резкостью нельзя.

— Нет, не борец,— ответил спокойно,— хотя, признаться, ничего зазорного в этой профессии не вижу и силе Ивана Алексеевича завидовал. Дай бог всякому такую силищу!

— Гм, так-с... Конечно, что ж, сила в жизни не мешает, если только внимания на нее не обращать и не выходить с нею на подмостки,— продолжая действовать кистью и вглядываясь в свою натуру, потерявшую упругость мышц под бременем лет, как бы размышлял вслух Сыромолотов,— но куль-ти-ви-ровать силу, но стремиться непременно другого такого же здоровенного болвана прижать лопатками к полу... в присутствии почтеннейшей публики, это, смею вас уверить, мне, его отцу, не нравится, нет! А вы где же знакомство с ним свели и когда?

— За границей это было,— глуховатым голосом ответил Лепетов, по-прежнему глядя спокойно и не меняя выражения лица.— Я был за границей, как турист, там и встретились.

— Мне неинтересно, где именно и как вы там встретились, —желчно сказал Сыромолотов, хотя Лепетов и

не выказывал желания говорить об этом.— Может быть, вы — тоже художник, как и мой сын?

— Нет, я не художник, так же как и не борец...

— В таком случае,— ваше место в жизни? — уже смягчаясь, спросил Сыромолотов, и Лепетов ответил расстановисто:

— По образованию — юрист, по профессии — коммерсант.

— Вот ка-ак! — теперь уже несколько удивленно протянул художник.— Купец?

— Ком-мер-сант,— подчеркнул Лепетов, и Сыромолотов, как будто поняв какую-то разницу между этими двумя словами — русским и иностранным,—спросил:

— Какое же у вас дело? Кажется, так это называется: дело?

— Дело хлебное,— сказал Лепетов.

— В этом не сомневаюсь,— слегка усмехнулся художник.— Я только хотел уточнить...

— Точнее сказать и нельзя,— весело по тону перебил его коммерсант: — хлебное.

— Только не в смысле торговли хлебом здесь, а в смысле отправки его за границу,— вмешался в разговор Людвиг.

— Так-ак, так! Ну вот, теперь все ясно,— совершенно уже беззлобно отнесся к этому Сыромолотов.— Это солидно, да, это почтенно... и кого же это вы кормите русским хлебом? Итальянцев? Греков?

— Имею дело только с немецкими фирмами,—попрежнему спокойно и подчеркнуто ответил Лепетов.

— С немецкими? А-а!— И Сыромолотов вспомнил, что, войдя, Лепетов не здоровался со старым Куном,— виделись, значит, уже в этот день, может быть досыта наговорились уже о хлебе урожая этого года, которому куда же еще и идти морем, как не в Германию через Дарданеллы и Гибралтар.— Дело, так сказать, хлебное в квадрате... Но позвольте, позвольте! Вот здесь же я слышал несколько дней назад, что может начаться война,— и как же тогда ваша коммерция?

— Война?— пренебрежительно протянул Лепетов.— Начать войну между великими державами не так-то легко, как многие полагают. Это ведь не восемнадцатый век, даже не девятнадцатый, а двадцатый. Теперь начать войну большого масштаба — это равносильно самоубийству для всей европейской цивилизации. Армии должны быть многомиллионные, разрушения многомиллиардные, а ка-

кой же выигрыш для победителей? Кто будет за битые горшки платить и чем? Никому никакого расчета. Если даже стихийно как-нибудь начнется война, то через пять-шесть недель прекратится.

— Вот как вы читаете книгу судеб!— удивился Сыромолотов.— Пять-шесть недель, если даже начнется? — И подмигнул своей «натуре»: — Видите, как?

«Натура» слабо улыбнулась и снисходительно махнула пальцами руки, лежащей, как ей и полагалось лежать, на одном из колен, а Людвиг Кун заметил:

— Илья Галактионович имеет на этот счет свои соображения.

— Соображения?— живо подхватил Сыромолотов.— Это гораздо важнее, конечно, чем «взгляды». Какие же именно?— обратился он к Лепетову, не переставая работать над холстом.

— Их можно выразить в трех словах,— важно ответил Лепетов.— Это интересы международной торговли.

Каждое из этих трех слов он тщательно оттенил, но художник сказал на это с недоумением:

— Торговля —да, конечно, жизненный нерв, однако, кроме торговли, есть еще и промышленность... Выходит, что если война, то против международной торговли поднимается международная промышленность, почему и начинается кавардак со стихиями.

— Промышленность работает для торговли,— захотел разъяснить ему Лепетов.

— Но во время войны начинает работать для уничтожения всех и всего, между прочим и торговли, как же так?— старался уяснить для себя вопрос художник.

— Только не для уничтожения торговли, а для расширения ее в послевоенное время,— поправил его коммерсант.— А если война интересам международной торговли начнет наносить очень крупный ущерб, то она и прекратится сама собою.

— И вы полагаете, что она должна будет прекратиться через несколько... месяцев?— немедленно переиначил слова коммерсанта художник.

— Недель, а не месяцев,— поправил его коммерсант.— Несколько месяцев, например пять-шесть,— это слишком долго для европейской войны между великими державами.

— Гм, скажите, пожалуйста, как я отстал от времени здесь, в глуши! — как бы про себя отозвался на это художник, но тут же добавил:— Как же все-таки так вдруг

может остановиться машина войны, когда ее раскачали? У меня не хватает соображения, чтобы это представить... Я однажды хотел растащить двух собак, которые друг в друга вцепились, и целую садовую лейку воды на них вылил, и бить их принимался этой лейкой, и минут десять ничего с ними поделать не мог: мертвая хватка у обеих,— вот как бывает с собаками, с двумя только собаками,— а ведь вы сами говорите, что если война, то миллионы людей воевать будут. Да ведь для них воды целой Волги не хватит, чтобы их разнять потом!

Лепетов слегка улыбнулся, как старший младшему, и сказал на это:

— И начинаются войны и кончаются войны в кабинетах у дипломатов, и никакой волжской воды для этого не понадобится.

— Очень хорошо, что не понадобится, но в таком случае объясните же мне, как это за несколько недель несколько миллионов человек на одной стороне смогут истребить несколько миллионов людей другой стороны?— заметивши беглую улыбку Лепетова и слегка вздернутый ею, спросил художник.

— А какая же надобность будет истребить непременно все силы одной стороны?— в свою очередь спросил коммерсант.— Для мировой торговли был бы от этого только непоправимый вред. Покажут только, кто насколько силен в средствах нападения, в средствах защиты, про-де-мон-стрируют, так сказать, свою тяжелую промышленность, а потом и договорятся за спиной у войск.

— Э-э, вы что-то очень расчетливы не по годам, очень расчетливы! — с заметным раздражением принял это художник.— Это только нам, старикам, в пору, а? — обратился он к Карлу Куну, на что тот сочувственно потряс головой.

После этого настало неловкое молчание, которое Лепетов прервал вопросом:

— А что, где сейчас Иван Алексеевич?

— Не знаю-с. Совершенно этого не знаю-с. Гораздо меньше это мне известно, чем всех интересующий вопрос о войне,— ответил Сыромолотов.

— Но ведь он, кажется, довольно давно уже отсюда куда-то уехал,— продолжал Лепетов.— А куда же именно?

— Не знаю-с... В это я не вникал. Он уже теперь человек самостоятельный, и жизнь у него своя. А перепи-

сываться друг с другом — этой милой привычки мы с ним никогда и прежде не имели и сейчас не имеем.

С минуту еще после того просидели Людвиг Кун и Илья Лепетов молча, потом, чувствуя большую неловкость, поднялся первым Людвиг, встал и Лепетов.

— Ну, Алексей Фомич, мы уж вам больше мешать не будем, и у нас есть свое дело, так что будьте здоровы, и прошу извинить,— сказал Людвиг, подойдя к художнику проститься.

Простился и Лепетов, теперь уж и со старым Куном, видимо совсем уходя из дому, и весьма непосредственно сказал художник своей «натуре» спустя минуту после его ухода:

— Да, вот поди же, какие спокойные люди на свете рядом с нами живут! Посмотришь на такого, пожалуй и сам если не в войну, так хотя бы в драку полезешь!

Он думал, что Кун если и отзовется на это, то каким-нибудь неопределенным междометием, однако тот неожиданно зло пробормотал:

— Делает такой вид, что очень спокойный! Э-э, schlechter Mensch! [1]

При этом Кун презрительно сморщился и начал кашлять.

IV

Этот кашель не помешал художнику: главное — лицо и руки — он уже вылепил на холсте. Портрет он решил закончить в этот, третий по счету, сеанс и сидел долго, пока не сказал:

— Все. Больше я ничего не могу прибавить.

Он не прибавлял и тогда, когда говорил Людвигу, что очень занят своею новой картиной: это была та самая картина, эскиз которой он набросал несколько дней назад, после того как ушла от него Надя.

Он не сказал бы только, почему именно затолпились вдруг люди в его мозгу и властно потребовали от него, чтобы он воплотил их на полотне большого размера. Было ли это следствием прочитанных им телеграмм из Сараева, или разговоров о возможной войне, или вызвала в нем эти толпы одна только Надя Невредимова своими несколькими словами, своею убежденностью в чем-то, ту-

[1] Плохой человек! *(нем.)*

манном еще, конечно, и для нее самой, но картина стояла перед его глазами неотбойно, и он принялся за нее со всею страстью, на которую был способен, несмотря на годы.

Годы, правда, не сокрушили пока еще в нем ничего, чем он отличался и в молодости как художник. Напротив, с годами он научился яростнее и гораздо успешнее, чем тогда, защищать свое рабочее время от всяких на него покушений.

И когда центр будущей картины для него окончательно определился, когда все горизонтали сошлись на фигуре молодой женщины, идущей впереди с красным флагом, он написал на четвертушке бумаги:

«Вот что, Надя: приходите, если свободны, завтра утром, часов в десять,— попробую написать с вас этюд. А. Сыромолотов».

Эту записку, вложенную в конверт, Марья Гавриловна отнесла в дом Невредимова, причем она попала непосредственно в руки Нади, обрадовав ее чрезвычайно. Конечно, в назначенный час Надя уже вошла в мастерскую, которая была теперь для нее открыта отнюдь не нечаянно.

Она видела, что и сам Сыромолотов был теперь другой: куда девалась его насупленность... Он широко улыбался, он встретил ее, как приготовившийся к тяжелой борьбе может встретить соратника, поспешившего прийти ему на помощь.

— Ну вот, ну вот, Надя,— говорил он,— в вас, стало быть, имеется одна хорошая черта: пунктуальность! Вполне уверен, что откроются для меня и другие, еще лучшие.

— А какие вы находите «еще лучшими»?— не утерпела, чтобы не спросить, Надя.

— Еще лучше будет, если вы сумеете хорошо держаться впереди массы,— подумав, ответил художник.

— Здесь? У вас?.. Подумаешь, какой труд!— пренебрежительно сказала Надя.

— Ишь ты, ишь ты,— что значит молодо-зелено!— подзадоривал ее Сыромолотов.— Там, на улице, вам придется, если придется, конечно...

— Непременно придется! — перебила она.

— Хорошо, допустим... Придется быть в напряжении каких-нибудь десять — двадцать минут, а у меня в мастерской, может быть, десять — двадцать часов. Что, есть разница?

— Если вы меня поставите так, чтобы я видела эту картину,— кивнула она на «Майское утро»,— то я могу и сорок часов простоять!

— Ого! Ого! Знай наших! — отозвался на это Сыромолотов, но отвернулся при этом, чтобы скрыть смущение — очень искренне у нее вырвалось то, что было сказано.

Эскиз новой картины красками он уже сделал. Летний день, сверкающее солнце, горячая пестрая толпа — с одной стороны, шесть конных фигур и за ними ряды солдат — с другой стороны, а в центре, в фокусе картины,— высокая прямая девушка с красным флагом,— это уже было скомпоновано так, что стало устойчивым и в его сознании и на холсте: нужно было только вдохнуть жизнь, живую душу, экспрессию в каждый вершок картины.

Самым важным и трудным лицом из нескольких десятков лиц определилось для него лицо ведущей. Он что-то схватил тогда зорким глазом художника в Наде, а потом начал уже сомневаться: не почудилось ли ему? Так ли он разглядел? Подойдет ли эта натура?.. И вот, когда она подбросила голову, кивнув на «Майское утро», он почувствовал, что не ошибся, что у нее «выйдет», а значит, выйдет и у него.

В густом потоке жизни капризно и, казалось бы, совершенно случайно переплетается сеть влияний одного на другого, то губительных, то благотворных, то благословляемых, то проклинаемых впоследствии со всею горячностью, какая свойственна человеку. Но так ли все случайно даже в явно случайном,— оставим для будущего эту загадку. Однако,— без надежды, впрочем, решить ее,— над нею думал Сыромолотов, когда размашисто принялся зачерчивать углем на холсте Надю почти в полный рост.

Разителен и увлекателен для него был прежде всего контраст между конченым человечком — старым Куном и этой — только что начавшей жить.

Она была поставлена так, чтобы перед зрителем пришлось три четверти фаса. Она глядела здесь на «Майское утро», а там, на картине, должна была открываться перед нею поперечная улица, на которую непременно должны были свернуть демонстранты и где их ожидали и наряд конной полиции с приставом во главе и солдаты.

— У вас, Надя, должна быть напряжена до отказа каждая точка тела,— волнуясь сам, заставлял ее волноваться художник.— Это — самый высокий момент всей

вашей жизни,— помните об этом, каждую секунду помните!

— Я помню! — торжественно отвечала Надя, не поворачивая к нему головы.

— А не устали вы так стоять, Надя?— спрашивал он через минуту.

— Нет, не устала,— твердо отвечала она.

Если на сеансах у Куна Сыромолотов сам стремился говорить со своею натурой, чтобы поддержать в ней то живое, что ему хотелось удержать, то теперь он работал молча и мощно, вскидывая глаза на Надю только затем, чтобы тут же перевести их на холст.

Только уголь скрипел, а иногда ломался в сильных пальцах, и это слышала Надя, втягивая смешанный запах скипидара, красок и нового холста, знакомый ей уже по первому визиту к художнику.

Неслабая от природы, она теперь действительно вся напряглась, как этого от нее потребовал Сыромолотов,— момент ее воображаемой встречи с поджидавшей ее полицией очень затянулся,— но она точно приросла ладонями рук к древку флага (теперь это был настоящий флаг, подрубленный на машинке Марьей Гавриловной и прибитый к аккуратно оструганному тонкому шесту).

Голова ее была открыта, и густые русые волосы касались плеч. Она чувствовала сама, что даже это придавало ее высокой фигуре ту торжественность, которой не было бы, будь у нее одна толстая коса по пояс или хотя бы две с намеренно растрепанными концами: волосы должны быть именно такими — короткими, до плеч, торс должен стоять именно так, освобождая грудь для глубоких вдыханий при медленном выдохе; в глазах — вызов всей этой тупой и дикой силе... «Самый высокий момент всей вашей жизни»,— повторяла она про себя слова художника; они нравились ей, эти слова, своей энергией, но мало этого: они выражали очень точно именно то, что переживала она сама.

Но Сыромолотов сказал коротко, точно подал команду:

— Будет! — Потом добавил: — Отдохните!

Надя опустила флаг, повернула к нему голову и только теперь заметила, как у нее дрожат руки, как утомил ее этот первый в ее жизни случай позирования художнику. Тут она вспомнила о натурщицах и спросила:

— А как же натурщицы?

— Тоже устают,— ответил Сыромолотов.— Привыкают, конечно, но ведь железными от этого не становятся.

— А у меня плохо, должно быть, вышло?

— Напротив, Надя, вы стояли отлично,— ободрил он ее.

Это ее обрадовало.

— Ура,— значит, я могу выйти на вашей картине?

— Мне кажется,— медленно проговорил он, все еще продолжая зарисовку углем,— что именно вы-то и выйдете на картине гораздо лучше, чем кто-либо другой...

— Ура! — теперь уже вскрикнула она и стала за его спиной, разглядывая рисунок.

Красок не было. Черно и резко,— не зря ломались угли,— плакатно дана была женщина-знаменщик, женщина-героиня, женщина, вышедшая завоевывать близкое грядущее счастье для масс. Лицо свое на рисунке Надя видела непривычным, не таким, как в зеркале,— и старше, и строже, и в то же время это было ее лицо. Красок не было, но они почему-то ярко чудились, заполняя все непокрытые углем места на холсте.

— Здорово! — восхищенно тихо сказала Надя, но тут же добавила вдруг:— А какое на мне будет платье? Вот это?

— А чем же плохо это?— спросил Сыромолотов, заслышав в ее голосе беспокойство.

— Ну, это что же, это обыкновенное,— заспешила объяснить Надя,— это я уж сколько времени ношу, раз двадцать оно стиралось... А если не двадцать, то десять уж наверно! Нет, я потом надену другое — новое, красивое,— можно?

— Гм... Можно, конечно, и другое,— повернув к ней голову и оглядывая ее всю вновь, сказал Сыромолотов,— но я уж и к этому привык... мне и это нравится.

— Нравится?— повторила она.

— А чем же оно плохо? Покрой вам надоел, что ли?

— И покрой и цвет тоже... Вы видите, оно уже слиняло! Нет, я в следующий раз надену другое!— решительно заявила Надя.— Как можно в таком платье в такую минуту?

— А-а, вот вы о чем,— понял ее, наконец, художник, но тут же добавил строго: — Я на этом вашем платье всю гамму тонов на картине строю, а вы мне тут желаете разрядиться какою-то куклой, попугаем!

— Попугаем?— оробела Надя.

— Не попугаем, так колибри,— не один ли черт! Вы туда,— кивнул он на холст,— не на концерт, не в театр пришли, а на подвиг,— поняли?

— Поняла,— прошептала она.

— Ну вот, и извольте не выдумывать лишнего.

Он отставил от себя холст на вытянутую руку, секунд десять смотрел на него, сильно прищурясь, наконец сказал удовлетворенно:

— Теперь можно пройтись красками.

— Вы сказали: «Гамму тонов строю...» Как это «гамму тонов»? — спросила Надя.— Ведь это только в музыке бывает.

— Вот тебе на! — добродушно усмехнулся Сыромолотов.— А это разве не музыка? Эх вы, провинция! Отдыхайте, пока я приготовлю тут все... Помахайте руками. Можете даже покружиться, потанцевать, если хотите.

— Ну зачем же я буду танцевать,— смутилась Надя.— Я лучше посмотрю на вас, как вы...

— Как я краски на палитру буду выдавливать?— договорил за нее он.— Что ж, посмотрите, занятие любопытное: основа живописи, можно так сказать... А лимонаду выпить не хотите? Вам не жарко?..

Через несколько минут Надя снова стояла, как прежде, крепко прижав ладони и пальцы к древку флага, и вызывающе смотрела туда, где предполагался пристав на гнедом коне впереди пяти конных полицейских, а Сыромолотов напряженно и молча ловил и наносил широкой кистью на холст яркое чередование красочных пятен.

V

Легко было за полгода до того, зимою, шестнадцатилетней гимназистке Елене Худолей решиться пойти к командиру кавалерийского полка полковнику Ревашову просить его, чтобы он замолвил слово у губернатора Волкова за ее брата Колю.

Все тогда казалось ей простым, как вышивка на деревенском полотенце. Генерал-майор Волков был приятель Ревашова, и Ревашов часто бывал в губернаторском доме и играл там в винт,— это все знали у них в гимназии. Когда Колю, который был старше ее, Ели, всего на год, губернатор вздумал в административном порядке выслать в Сибирь за то, что нашли у него при обыске какие-то запрещенные брошюрки, печатанные на стеклографе, отец его и Ели, врач, всеми уважаемый в городе, не мог добиться, чтобы Волков отменил свое решение: его просто не хотели и слушать. Но зато Волков, как свой

своего, конечно, должен был бы выслушать Ревашова и, по дружбе с ним, не мог бы ему отказать.

В этом замысле Ели все было обосновано и очень хорошо лепилось одно к другому. Она пошла к нему, Ревашову, одиноко жившему в богатой квартире пожилому видному человеку, вечером, так как днем его трудно было бы застать,— он был днем у себя в полку, как она у себя в гимназии. Она пошла, хорошо, как ей казалось, обдумав, что ему нужно было сказать, и сказала именно так, как придумала, но как случилось то, что Ревашов усадил ее пить чай с ромом, расспрашивая при этом про Колю с явным участием, и что вышло потом — это для нее самой все еще представлялось смутным при всей яркости. Бывает так: казалось бы, необыкновенно ярко, но это только обман зрения; на самом же деле чрезвычайно запутанно и неясно, потому что мысли в это время страшно спешат, точно играя в чехарду, перескакивают одна через другую, и найти их концы и связать эти концы друг с другом невозможно уже на другой день, а тем более через неделю, через месяц, через полгода.

Для Ревашова найдено было слово: «подлость»; однако же за эту подлость его не судили; для Ели тоже нашли несколько слов: «неосмотрительность», «легкомыслие», «неразумность» и другие подобные, однако ее поспешили исключить из гимназии без права возврата туда, и она успела уже понять, что потеряла свое место в жизни.

Герой одного из прочитанных ею романов, задумав покушение на убийство, сунул для этого в свой карман медный пестик от ступки. С подобным же медным пестиком Еля раза три приходила по вечерам к дому, где жил Ревашов, в надежде встретить его на улице, так как в самый дом ее теперь уже не пускали денщики полковника.

Но оказалось потом, что Ревашова совсем не было в то время в городе. Подготовлено ли это было им раньше, Еля не узнала, но только он через три-четыре дня после памятной для нее ночи уехал по каким-то будто бы неотложным делам своего полка в Одессу и пробыл там почти месяц, дав таким образом истории своей с гимназисткой улечься и, по возможности, потухнуть.

Тем временем брат Ели, за которого вздумала она хлопотать через Ревашова, был все-таки выслан губернатором, но два других брата — восьмиклассник Володя, прозванный «Маркизом», и четвероклассник Вася,

а также мать Ели каждый день были перед нею, и то новое, что появилось для нее в их глазах, не потухало.

Страдавшая талантом отчаяния мать Ели уже в первые дни после «истории» исчерпала, конечно, весь немалый все-таки запас накопленных ею за долгую жизнь средств проявления своего таланта. Тут были и стоптанные туфли, которыми она не один раз принималась бить Елю, и визгливые причитания непременно при открытых форточках, чтобы их было слышно на улице, и слезы, и холодные компрессы на сердце, и несколько пузырьков выпитых ею валерьяновых капель.

Стремительная и бойкая до того Еля была до такой степени поражена тем, что с нею случилось, что замолкла вдруг: ее совсем не было слышно в доме весь остаток зимы. Она ожила только весной, когда оживают и бабочки и начинают мелькать в воздухе сначала неловкими, неровными, очень утомляющими их движениями отвыкших от деятельности крыльев.

Весною она начала было чрезвычайно усидчиво готовиться к переходным в седьмой класс экзаменам вместе со своими одноклассницами, однако гимназическое начальство не разрешило ей даже экстерном держать эти экзамены. Ей сказали: «Поезжайте куда-нибудь в другой город, где вас не знают».

Поняв, наконец, насколько считают ее опасной для ее бывших подруг, Еля перестала читать свои учебники; ехать же в другой город, чтобы провести там среди чужих людей весь май и первые числа июня, пока закончатся экзамены,— на это ее отец не мог достать денег, хотя только он, отец, в силу своего таланта жалости, пытался как-нибудь понять ее и во всяком случае не беспокоить попреками.

Старший брат ее — «Маркиз», откуда-то набравшийся правил «хорошего тона», за что и получил в гимназии свое прозвище, всячески стремился показать и раньше, что он возмущен сестрою: не умеет себя держать, вечно вступает в споры, слишком остра на язык, теперь же он просто старался не замечать ее: нет у него никакой сестры и не было, а эта шалая девчонка, какая почему-то живет под одною с ним крышей,— какая же она его сестра?

Младший брат, Вася, обычно державшийся диких еще законов, свойственных его сверстникам, даже когда оглушительно свистел в четыре пальца, отворачивался от нее

при этом, как бы желая этим показать, что она для него так же не сестра, как и для старшего брата.

Такую зачумленность перенести в шестнадцать лет было трудно. Спасительным являлось только то, что у нее в доме была особая небольшая комнатка-каморка, куда она и забивалась на целый день, как улитка в раковину.

Едва сводившая кое-как концы с концами мать Ели перенесла в июне свое отчаянье с нее на «Маркиза», который получил аттестат зрелости и уже начал требовать, чтобы ему купили студенческую фуражку,— синий околыш, белый верх.

Он хотел поступить непременно в Московский университет, имея склонность стать филологом, но связанные с этим расходы, которых не было раньше, до того пугали мать, что запах валерьянки в доме стал побеждать даже запах цветущих возле дома белых акаций, а «Маркиз» стал теперь нестерпимо важен и криклив и повторял повышенным тоном однообразно, но не допуская, однако, возражений:

— Мне нет никакого дела до всяких там ла-ментаций! Я окончил гимназию для того, чтобы быть студентом, вот и все! И извольте приготовить мне для этого средства, чтобы мне в Москве не подохнуть с голода!

В частной практике своей полковой врач Иван Васильич Худолей продолжал, как и в прежние годы, оставаться врачом для бедных, на которых часто тратил кое-что из своего жалованья. Но если своей дочери, исключенной из гимназии, он мог дать только один совет — поступить ученицей в аптеку, то что мог он посоветовать старшему сыну, которому не имел возможности достать даже и ста рублей, необходимых для права слушания лекций на первый год? Совершенно неразрешимой задачей представлялось и для него, не только для его жены, откуда брать деньги на ежемесячные переводы Володе в Москву... А студенческие шинель и тужурка? А книги?.. И все эти расходы не год и не два,— несколько лет!

Зинаида Ефимовна, мать Ели, вела домашнее хозяйство как-то так, что денег до конца каждого месяца неизменно не хватало и оставался на другой месяц неизменно долг в ту же бакалейную лавку Табунова, в которой покупалось все Невредимовым.

В тот день, когда «святой доктор» от Невредимова услышал о золоте, которое перестали выдавать банки, Зинаида Ефимовна услышала то же самое от торговок

на базаре, так что для нее уже не было новостью, что сказал ей муж.

Не оказалась новостью и догадка Невредимова, не готовится ли в скором времени война: она услышала и это. Новостью было другое: она заметила, что ее дочь, с которой во всей семье говорил только отец, которая сжималась и держалась понуро и молчаливо при ней и при обоих братьях, теперь, придя с отцом, вдруг подняла голову и не опускала ее и с прежней своей бойкостью в карих, отцовских, глазах (у самой Зинаиды Ефимовны были тусклые, бесцветные, судачьи) смотрела на нее и братьев.

Дом Худолея был небольшой,— всего три комнаты с кухней,— но во дворе, кроме того, был еще флигель в две совсем маленьких комнатки, где жили мальчики летом; вплотную к этому флигелю примыкал сарай для дров. Во дворе росло всего три дерева — акации, между двумя из них висел гамак и стояли стол и два стула с плетеными продавленными сиденьями.

Бывшая бонна, засидевшаяся в девицах, Зинаида Ефимовна неожиданно для себя самой вышла замуж лет двадцать назад за молодого младшего полкового врача, каким был тогда Иван Васильич (талант жалости к людям проявился в нем рано), очень быстро раздалась вширь и перестала следить за тем, как ей лучше одеться, но каким-то образом умудрилась сберечь кое-что из жалованья мужа и купить старенький дом на улице имени Гоголя, а во дворе потом пристроить к бывшему сараю флигель.

Конечно, дом она купила на свое имя, и это сразу подняло ее в собственных глазах, но все хозяйственные способности ее как-то навсегда были исчерпаны этим приобретением: дальше начались только ежедневные сокрушения, аханья, окрики на детей, потом вечные ссоры с детьми, когда они подросли, компрессы на грудь и валерьянка.

Денщик Худолея Фома Кубрик готовил обед в сарае, обращенном в летнюю кухню. Там сквозь отворенную настежь дверь на петлях из жженой проволоки видна была его белая рубаха и черноволосая голова в облаке пара от кастрюль. Володя лежал в гамаке и читал какую-то книгу в надорванном рыжем переплете. Рубахи на нем совсем не было, он подложил ее под голову; он «принимал воздушную ванну», как это и раньше слышала от

него Еля. Ей бросились в глаза его длинные тонкие слабые руки и глубокие ключичные впадины; кожа пока еще была белой, не успела загореть. И первое, что она сказала, хотя и вполголоса, обращаясь к отцу, как к военному врачу, едва только вошла вслед за ним во двор через калитку:

— Разве такие могут воевать, папа?

Она сказала это с явным презрением и в голосе и в словах. Она слишком много слышала от старшего брата оскорбительных слов, но ей нечего было возразить ему. Это было первое, чем она отозвалась на все, что от него вынесла и за последние месяцы и раньше, и еще раньше; она ничего не умела забывать и не забыла.

Расплескавшись над столом жирным обвисшим телом, Зинаида Ефимовна резала ножом кроваво-красные помидоры, принесенные ею с базара. Жидкие волосы ее были собраны на затылке в трясучий кулачок; широкие рукава блузы засучены до плеч.

Вася (у него было скуластое лицо, как у матери, и глаза серые) мастерил что-то — склеивал какую-то коробку из картонки, сидя на пороге флигеля. Он поднял было голову на вошедших во двор отца и сестру, но тут же углубился снова в свое занятие. Он не перешел в пятый класс: ему дали переэкзаменовку по двум предметам.

Еля наблюдала все кругом так, как будто все для нее было внове: и акации, и гамак, и люди. Она очень остро отметила про себя, как мать отозвалась отцу насчет золота и толков о возможной войне:

— Бабы на базаре тоже болтают...

Так было сказано это, как будто совсем ничего не стоила эта новость, и так оскорбило ее почему-то это, что она вставила вдруг в разговор отца с матерью:

— Говорят еще, что пожар начинался нынче утром кварталах в пяти от нас, да потушили ведрами бабы.

— Ты что это, а? — удивилась и словам и тону ее мать, повернув к ней плоскую голову.

— Ничего, так,— сказала Еля и отвернулась.

Белобородый древний старик Невредимов, говоривший на улице с ее отцом, неотступно стоял теперь перед ее глазами. Вещие были у него глаза, мерцавшие в глубоких глазницах. Не поверить такому было нельзя: он знал. Он сказал что-то такое о золоте и банках,— это было между прочим, но он добавил: «война», и это во-

шло в Елю, как входит в дерево клин,— расширяя, готовясь расколоть его.

Пока она шла с отцом к дому, она ничего не спрашивала у него,— она поднималась сама на этом коротком, но многозначительном слове «война», как на крыльях. Она пережила очень много, пока шла и молчала, в эти несколько — может быть, семь-восемь, не больше, минут. Горячечно быстро в ее мозгу мчались с гулким топотом кавалерийские полки один за другим, сверкая обнаженными шашками... Гремели орудия, и дым заволакивал все кругом, как на картинах Верещагина... Потом отбрасывало дым,— и вот какое-то поле с желтой травой, на этом поле много лошадей и драгун сбиты снарядами, и ближе всех к ней, так что всего его видно,— полковник Ревашов... Он не убит, он только ранен... И она подходит к нему с сумкой через плечо... В сумке бинты и лекарства,— прежде всего йод,— на сумке красный крест...

Эта картина еще стояла в ее мозгу, когда она увидела другую: мать над помидорами, брата в гамаке, денщика Фому Кубрика в пару кухонных кастрюлек...

Вот брат, отведя чуть-чуть глаза от книги, говорит небрежно:

— Ерун-да,— война! Бабьи сказки...

— Сказки? — вскрикнула Еля, вся дернувшись.— Нет, не сказки!

— Че-пу-ха! Никакой войны не будет...— И снова глаза в свою рыжую грязную книгу.

— Будет! Будет! Будет! — вдруг сама не своя неистово закричала Еля.— Будет! Будет!.. Будет!.. Будет!..

Была и кончилась зима, наступила и кончилась весна, шло лето, полгода молчала Еля, и вот теперь вдруг этот крик о войне, этот призыв войны, которая все должна опрокинуть, переиначить, преобразить, переделать... Как же можно дальше жить, если не будет войны?

И отец ее понял. В то время как мать кричала Еле ответно: «Мерзавка! Паскуда!», а Володя если не кричал еще, то сел уже в своем гамаке, готовясь к стычке, в то время как Фома выглянул из сарая, а Вася оторвался от коробки и клея,— Иван Васильич обнял за плечи Елю, повел ее в дом и говорил ей тихо:

— Поди, полежи, голубчик... Поди, успокойся, Елинька... Выпей капель, милая, и все пройдет.

Еля шла, едва переставляя ноги, прижавшись плечами к отцу и крупно вздрагивая всем телом.

VI

Табунов по праздникам закрывал свою бакалейную лавку и ходил в церковь, где был свечным старостой. Полезнов тоже по праздникам был свободен.

В наступившее воскресенье он сидел за столиком в пивной, пил бокбир и закусывал раками. Угощал его Федор Макухин, его однокашник по службе в 19-м пехотном Костромском полку. Хотя Полезнов был лет на двенадцать старше Макухина и служили в этом полку они в разное время, но все-таки вспомнить им было что. Кое-кто из младших офицеров при Полезнове стали уже ротными командирами в то время, когда служил Макухин; даже фельдфебелей мог припомнить Макухин таких, которые при Полезнове только еще получили две лычки на погоны, выйдя из учебной команды.

Свой своему поневоле брат, но у Полезнова с Макухиным было теперь еще и другое, что их сближало: оба стремились нажиться на торговле хлебом, только Макухин уже начал вести эту торговлю, а Полезнов пока все еще собирался к ней приступить — прикидывал, соображал, примерялся, выпытывал.

Знакомство у них было не со вчерашнего дня. Макухин, раньше живший на Южном берегу Крыма и занимавшийся поставками камня для построек, имел случай познакомиться с Полезновым гораздо раньше, когда приезжал по делам в Симферополь.

Макухин был в новой панаме с красной лентой, в вышитой рубахе, забранной в чесучовые брюки; широкий вязаный пояс его имел два кармана — для мелочи и для часов; белые туфли, палка с золотой монограммой, толстое золотое обручальное кольцо на правом указательном пальце и отливающие золотом толстые усы, тщательно закрученные в два кольца. По сравнению с Полезновым вид у него был барский, и Полезнов в разговоре с ним иногда сбивался с «ты» на «вы»: ведь на нем самом был обыкновенный белый картуз, а рубаха подпоясана тоже обыкновенным шнурком с кистями. Отчасти потому, что стоял жаркий день, но больше из уважения к тому капиталу, который подозревался им у Макухина, Полезнов с явным удовольствием пил пенистое холодное пиво и из раков высасывал все, что мог высосать, оставляя от них только красный панцирь.

Они сидели не в общем зале этой большой пивной, хотя зал был далеко не полон, а в искусственном сади-

ке около, где был натянут тент от солнца, между столиками расставлены кадки с цветущими олеандрами, а настурции и вьюнок, тоже цветущие, отделяли, подымаясь к тенту, полупрозрачной стеной этот уют от раскаленного тротуара.

Полезнов придерживался еще скромных привычек, и если заходил в пивные, то в другие, попроще, а эта считалась лучшей в городе. Раки в мелководной речонке, на которой стоял город, к тому же почти пересыхавшей летом, не ловились,— их привозили с севера; а когда привозили, то попадали они прежде всего в эту пивную, на дверях которой появлялся тогда торжествующий призыв: «Кушайте раки!»

Деловой разговор между Макухиным и Полезновым начался раньше, даже и не в этот день, когда они случайно встретились на улице, теперь же он продолжался вяло одними как бы выводами из предыдущего, притом же часто перескакивал на совершенно посторонние предметы.

— Говорится: «умей продать»,— раздумчиво и точно наедине с собой сказал Полезнов, вытирая пальцами усы,— а это нашему брату тоже надо прежде всего помнить: «умей купить», вот что!

— Об этом-то и толк,— поддержал его Макухин.— Продать-то, раз требуется, всякий дурак продаст, да кабы себя самого не накрыть... А, между прочим, конечно, деньги оборот любят,— это главное.

— Оборот, это да: без оборота капитал — это уж живая насмешка,— принимаясь за нового рака, решил Полезнов, а Макухин не то чтобы воодушевленно, однако назидательно рассказал старую историю о двух сыновьях деловитого отца:

— Дал отец один — дело было утром — двум своим хлопцам по рублю: «Вечером мне скажете, куда вы их денете». А оба были такие, что ни в пивную, ни в ресторан, никуда, однако ушли из дому. Ждет отец, к вечеру являются — оба трезвые. Он к старшему: «Ну, куда рубль девал?» — «Никуда, говорит, не девал, вот он... Я чтобы его зря не потратить, в землю его закопал, да от него ходу, а вечер подошел — выкопал!» — «А ты?» — ко второму отец. «А я,— этот говорит,—того-сего на него купил, а потом продал, да еще купил, да опять же продал,— вот, одним словом, получай, папаша, вместо од-

ного рубля — два!» Какого же сына похвалить отец должен?.. Вот к чему сказка сложена!

— Хотя сказать, и другой сын тоже не прощелыга какой! — подхватил Полезнов.

— Разумеется, тоже цену деньгам знает, только котелок не варит...— И, внимательно приглядевшись к одной из подавальщиц, добавил Макухин: — Невредная бабочка! — на что Полезнов отозвался рассудительно:

— Ежели вредных сюда принимать, хозяин тогда в трубу вылететь должен.

Макухин, раскрывая рачий панцирь, с некоторым сомнением поглядывал на желтую бурду, которая в нем содержалась, и откладывал ее снова на тарелку, принимаясь за шейку и клешни, если находил, что они достаточно крупны, чтобы с ними возиться. Наблюдая за тем, как все отложенное им забирал к себе Полезнов, он заметил:

— Однако же ты к ним без милосердия, Иван Ионыч!

— К ракам? О-о, брат! Я с ихними родичами смальства воевать начал,— очень охотно принялся объяснять свое пристрастие к этому деликатесу Полезнов.— У нас же там, откуда я сюда-то забрался, река разве такая, как здесь? У нас она в половодье как разольется,— чистое море, только что желтое. Ну, что касается раков, было их в ней там по обрывам целая гибель. Мы их, ребятишки, по тыще в день из нор надирали, так что все пальцы они нам клещами своими порасковыряют, бывало. Наловим — варить. Наварим — едим, пока уж с души начнет воротить,— вот мы как с ними... Конечно, кабы у нас там поблизу город какой был, чтобы продавать их, могли бы раками прямо забогатеть, а у нас до города почитай верст пятьдесят было, да и то город такой, что там и своих раков не знали куда девать,— вот какое дело.

— Вот видишь,— подхватил Макухин,— что значит человека не было, какой бы за это дело взялся. Где их густо, а где совсем пусто, а где совсем пусто,— значит, туда их и гони. Получалось поэтому что? Капитал ребята из воды руками выгребали да сами же его транжирили. Что они, хлеба с солью не могли поесть? Да кроме того, летом луку везде растет черт те сколько,— вот ребятам и давай, а раков — в отправку... Так же точно и с зерном везде по хозяйствам, какие даже сроду не слыхали, как паровоз гудки дает.

— Это верно, что не слыхали,—тут же согласился Полезнов, наливая себе восьмой стакан.—Недалеко ходить,

мой дядя родной из деревни нашей в город поехал, а туда уж железную дорогу провели, а он этого дела не знал. Едет себе парой по открытому месту, а с ним сынишка его — выходит, мой брат двоюродный,— едет, а дело к вечеру, смотрит: что за оказия? Далеко гдей-то вроде бы пыль большая, а возле него тихо. Ну, не иначе, думает, вихорь там поднялся. Все-таки же вихорь, он не вечный: поднялся — упал, а тут что-то пыль эта что дальше, то больше... И вот догадка у него: конокрады,— не иначе, что так! Конокрады табун лошадей гонят!.. Ну, с одной стороны, конечно, и конокрадов тех ему, дяде моему, боязно,— кабы и его пару к своему табуну не прихватили, а с другой стороны,— ехать, конечно, надо, а то уж ночь скоро: пока, дескать, тот табун доскачет, авось я проскочу. Он лошадей нахлестывает, а табун, брат ты мой, все ближе, и так что слышно уж стало, какой от него топот: аж земля дрожит... Одна надежда — впереди строения какие-сь: видать, люди живут. Он это поспешает к тем строениям, а табун уж вот он,— тоже спешит... Да как взялся весь дымом черным, да как засвистит, да как заорет вдруг голосом страшным, тут от такого ужаса пара дядева,— а лошадки обе молодые были,— как повернет да вскачь, да с выбрыком, так что и дядю и Степку,— это брата моего,— из телеги вытрясли наземь и скачут, и скачут, куда ноги их, бедных, несут. А Степка потом мне рассказывал: «Мало того, что расшиблись мы с отцом оба, главное, страху натерпелись: ну, явный черт или какой змей-дракон — одним словом, конец жизни!..» Вот какие дела: в пятидесяти верстах от деревни люди железную дорогу вели, так что и поезда уж ходить начали, а там хоть бы тебе сорока на хвосте принесла,— никто ничего не знал!

— Ну, это, конечно, давно дело было,— важно, однако понизив голос, сказал Макухин,— теперь же всем известно, что в случае вот войны, например, овес для лошадей в армию нашу доставлять надо будет? — Надо. А кто его доставлять будет? — Кто же иначе, как не мы с тобой в компании, а?

Вопрос этот был поставлен прямо, и ответ на него ожидался тоже прямой; Полезнов понимал это, однако ответил подумав:

— Сознаю, Федор Петрович, дело вы предлагаете вполне хорошее, особенно, если всамделе война... А только, вот мы же с вами одного оказались Костромского полка, и вдруг начнется мобилизация, тогда как?

— Думаешь ты, что я с бухты-барахты тебе говорю,— усмехнулся Макухин,— не-ет, брат, я насчет этого застрахован: я ведь свои тринадцать лет запаса уж отбыл, теперь в ополчение зачислен. Ополчение трогать не будут, как его и в японскую войну не трогали. Обо мне не сомневайся.

— Конечно, тебе видней, раз это тебя касается, а не меня, как я уж из ополчения вышел... Ну, ведь может случиться и так, что никакой войны и не будет, а так только, смущение людей,— тогда как? — осведомился Полезнов.

— Не будет, так не будет,— плакать об этом не станем, а дело свое откроем. Конечно, если наотрез откажешься, тогда уж ты загодя мне скажи,— я другого компаньона искать буду, а то уж хлеб люди косить начинают,— как будто между прочим сказал Макухин.

— Ячмень?

— Хотя бы ячмень.

— Ячмень уж косят, это действительно... Нет, уж другого пока погодите искать, Федор Петрович. Мы уж с вами все-таки не то чтобы...

Полезнов затруднился договорить то, что ему хотелось сказать, занятый печенью совсем уже маленького рачка, последнего, какой еще оставался у них на столике, а потом случилось так, что договорить и вообще не пришлось: несколько раздвинув заросли вьюнков и настурций, молодая женщина в широкополой шляпке крикнула с тротуара:

— Федор! Ты здесь?

Потом она обернулась назад и сказала:

— Ну вот,— я ведь говорила, что он здесь!

— Это моя жена,— успел шепнуть Полезнову Макухин.

VII

В уютный садик пивной вошло с улицы четверо: жена Макухина Наталья Львовна, ее отец Добычин Лев Анисимович, полковник в отставке,— с белыми зигзагами на погонах,— ее мать, толстая старая слепая дама, и Алексей Иваныч Дивеев, с недавнего времени близкий этой семье человек, в фуражке гражданского инженера, с молоточками крест-накрест на зеленом околыше и с кокардой на тулье.

Конечно, Макухин пытался было представить их Полезнову, но из этого, по многолюдству их, по новости для него самого такого сложного дела и по непривычке к таким положениям Полезнова, ничего не вышло, кроме невнятного бормотания и крепких со стороны Полезнова рукопожатий. Если бы Полезнов имел в это время возможность присмотреться к своему собеседнику, он разглядел бы, что тот не выражал ни малейшего удовольствия при этом вторжении своих семейных и близких. Он только пытался скрыть это, суетясь, где бы и как бы их устроить. Ему помогла в этом та самая «невредная бабочка»: вместе с ним она приставила к их столику другой, пока пустовавший, а также еще четыре стула.

Конечно, тут же вслед за этим появились и новые бутылки пива и новая порция раков. Перебегавшими по лицам этих четверых новых для него людей глазами Полезнов не мог не заметить того блаженства, какое разлилось по широкому, совершенно круглому лицу белоглазой слепой, когда она взяла обеими руками свой стакан с пенистым холодным напитком, но он думал, что ей просто жарко и хочется пить. Однако она сказала хрипуче:

— Сколько это бутылок нам дали, а, Наташа? Смотри, чтобы на мою долю полдюжины!

В пристрастии к пиву тестя Макухина, как военного, Полезнов не сомневался и, как человек неглупый, понял, что деловой разговор наладить с Макухиным снова теперь уж, конечно, не удастся.

Главное же, чем обескуражен был Полезнов, это тем, что попал он в такую компанию: полковник, инженер, настоящая дама — жена Макухина, совсем не похожая на его жену... да и слепая старуха, тоже не кто-нибудь, а полковница, привыкшая пиво пить не иначе, как дюжинами бутылок!

О чем можно ему было бы заговорить с ними, он совершенно не знал, но они, видимо, совсем и не предполагали говорить с ним: они продолжали говорить между собою, о чем говорили, должно быть, на улице, когда сюда подходили.

Жена Макухина, одетая в такое легкое пальто, что оно все могло бы, кажется, быть свернуто, как носовой платок, и спрятано в любой карман, говорила инженеру:

— Нет, как хотите, Алексей Иваныч, а вы просто никогда и раньше не умели жить на свете!

— Вполне возможно... Даже, может быть, вы совершенно правы,— бормотнул Алексей Иваныч не особенно

внятно; потом вдруг добавил громче и раздельнее: — Уметь жить — вы знаете, что это такое? Это полнейшая безнравственность, тупость и безмозглость,— вот что!.. Умеет жить на свете свинья в хлеву, а порядочный человек тем-то и порядочен, что он не... того, как это говорится... простите!

Тут Алексей Иваныч как-то непонятно для Полезнова смешался, втянул голову в плечи и как будто даже несколько покраснел.

Кожа лица его была вялая, дряблая, хотя он не казался старым. Он и не загорел почему-то, что удивило Полезнова, так как даже и по лицу слепой старухи, сосредоточенно вливавшей в себя пиво, был разлит сильный южный загар. Впрочем, он был блондин, с белесыми усами в обвис; когда же он снял фуражку, то оказалось, что спереди и до темени был начисто без волос.

Полковник Добычин был, правда, тоже лыс, но к нему, человеку старому, это шло, притом же лысина его сияла, как канделябр,— полнокровная, розовая, внушающая почтение. У него был большой, с горбиной нос, уткнувшийся в седые усы, подстриженные снизу, и очень заметен был кадык на морщинистой коричневой шее.

— Уметь жить на свете — это значит не волноваться

по поводу пустяков разных,— вот что это значит,— уверенно высказал свое мнение полковник и, принявшись за самого большого рака, обратился к Макухину: — А как, Федя, раки? Они не того? А?

— Самые заправские! — хозяйственно ответил Макухин, усевшийся рядом с женой.

— Свежее и быть не может,— подтвердил Полезнов.— Раков только здесь и есть!

— Эх, под такое пиво пульку бы разыграть на свежем воздухе! — повернув к Полезнову белоглазую маску лица, хрипуче, но с искренней страстью в голосе сказала слепая.

Полезнов посмотрел в недоумении на Макухина, и тот объяснил любительнице преферанса:

— Здесь, мамаша, в карты не играют: это занятие домашнее.

— Ну что же, что домашнее,— упорствовала слепая.— Вот и приходите к нам домой,— сыграем... Вы кто такой? Зовут вас как?

— Зовут Иван Ионыч,— поспешил Полезнов ответить на второй вопрос, затруднившись первым.

Зато Макухин, повернув голову к слепой, но глядя на жену и тестя, сказал, как уже решенное:

— Это, мамаша, мой компаньон в деле. Фамилию имеет Полезнов.

— А-а! Хорошая фамилия какая! — задумчиво протянула слепая.— Компаньон? В таком случае нужно устроить звон стаканов.

— Действительно, это надо запить,— согласилась с матерью Наталья Львовна, подымая свой стакан красивой, оголенной почти до плеча рукою.

Ей можно было дать лет двадцать пять — двадцать семь,— возраст, когда женщины отлично уже разбираются во всей жизни кругом,— так думал, глядя на нее, Полезнов. У нее была высокая ровная шея, высокие полукруглые брови и высокий отцовский лоб, отчего она казалась, когда сидела, высокого роста. Полезнов не знал, какого цвета глаза были у слепой, но так как у полковника глаза были серые, а у Натальи Львовны карие, то он решил, что этим она пошла в мать.

— Компаньон в деле — это, конечно, веселее гораздо, чем одному,— поддержал свою дочь полковник, тоже подняв стакан.

Алексей Иваныч добавил к этому:

— Давно известно, что человек — животное социальное... Кажется, Аристотель еще это сказал.

А полковник оживленно поддакнул и продекламировал вдруг:

Аристотель оный,
Древний философ,
Продал панталоны
За сивухи штоф!

Это мы еще в старину в Чугуевском юнкерском училище хором пели... Там есть и такой куплетец, помню:

Цезарь, сын отваги,
И Помпей-герой
Продавали шпаги
Тою же ценой!

— Знаменитая песня,— я тоже ее слышал,— сказал Макухин и чокнулся с Полезновым, а потом начали чокаться с ним все остальные, так что тот почувствовал, что неловко уж, пожалуй, было бы теперь отказаться от дела, предложенного Макухиным, хотя около него и устроился для течения своей жизни какой-то все неделовой народ.

— Дай бог нажить нам, а не прожиться,— говорил, кланяясь и привстав, Полезнов, понимая, что раз люди желают настроиться на праздник, то надо их подогреть в этом.

Что тесть у Макухина оказался полковник, хотя и в отставке, лестно почему-то было и для него, а насчет инженера он думал, что его просто прихватили на улице,— случайный какой-нибудь знакомый. Однако Алексей Иваныч, архитектор по своей профессии, уже месяца три жил у Макухина, просто так как-то, потому что ему негде и жить было, кроме как у него.

Макухин взял его на поруки из тюрьмы, куда попал Дивеев за покушение на Лепетова, бывшего любовника его покойной жены. Покушался на убийство Лепетова Алексей Иваныч в этом же городе на вокзале, и Макухин безусловно убежденно говорил тогда, как свидетель, дававший свои показания на следствии: «Считал и считаю Дивеева не вполне нормальным».

Он же поместил его, взяв на поруки, в частную лечебницу, которую вздумал устроить здесь полковой врач Худолей, но лечебница эта существовала очень недолго.

— Судя по вашей внешности, вы — купец? — неожиданно для Полезнова спросил его Дивеев.

— Торгуем понемножку,— ответил Полезнов, слегка улыбнувшись.

— Ну да-да, теперь я понимаю, мне говорил Федор Петрович,— продолжал Дивеев, как бы только теперь разглядевший, что он — в пивной, что перед ним какой-то совершенно новый для него человек.— Это хлеб, кажется? Насчет хлеба?

— Вот именно, по хлебной части хотим заняться,— отозвался Полезнов.

— Дело хорошее, всем нужное, а больше всего иностранцам,— быстро и четко проговорил Дивеев.

— Ячменя иностранцам смотрите не продавайте, а то пива не из чего будет варить,— вставила, ни к кому не обращаясь, слепая.

— Ячменем нашим заграница мало интересуется, больше пшеницей,— успокоил ее Макухин. Он оглядывался при этом по сторонам с беспокойством, вполне понятным,— ведь за другими столиками сидели люди, кроме того, люди проходили и по тротуару. С одной стороны, было неплохо, чтобы люди,— те и другие,— знали, что вот тут не кто-нибудь такой сидит вместе с другими, вполне приличными людьми, пьет пиво и ест раков, а хлебо-

торговец (новое звание для самого Макухина), а с другой,— он опасался, как бы слепая «мамаша» и «не совсем нормальный» Алексей Иваныч не сказали чего-нибудь лишнего. Торговля, конечно, любит рекламу, особенно если дело приходится только еще ставить, начиная с того, чтобы завербовать себе компаньона, однако в его планы не входило, чтобы вся его новая семья явилась в то время, когда он еще не разговорился как следует с Полезновым; это вышло совершенно случайно.

Он наблюдал и Полезнова, как он отнесся к его родне: больше ли стало у него доверия к нему, Макухину, или меньше? Действительно ли он приобрел в нем компаньона, или тот скажет ему завтра, когда встретится с ним один на один: «Подумаю еще, погоди: дело все-таки как-никак рисковое,— кабы не прогореть...» А это значило бы, что пошел на попятную, и еще в такое время, которого терять никак уже нельзя: люди покупают хлеб на корню, и у них уже все налажено — и где покупать и кому продавать,— а ему это все надо еще наладить.

Наконец, колебания, браться ли всерьез за это дело, и у него у самого были, и он, даже не совсем осознавая это, нуждался в поддержке кого-нибудь другого, тоже пока осмотрительного и осторожного, чтобы не попасть в лапы прожженных жуликов. Полезнова он ценил за то еще, что тот гораздо лучше его знал людей, с которыми пришлось бы ему теперь иметь дело, и был, по его наблюдениям, пока еще скромен.

Вот он вполне толково отвечает «папаше», полковнику, на какой-то его вопрос:

— В нашем торговом деле, если вам желается знать, большую самую роль играет кредит, а не то чтобы наличные! На наличные кто же дело ведет? Да их и не всегда достанешь, сколько их требуется, значит, что же прикажете? Лавочку на замок, а зубы на полочку? Сущий убыток. В торговом деле так: я тебе верю, а ты мне веришь,— выходит, обоюдная порука.

— Круговая то есть,— поправил полковник.

— Пускай круговая — еще лучше... Одним словом, на кредите основано.

— Вся жизнь на кредите основана, однако же вся она, целиком и в розницу, дичь и вранье! — вставил вдруг Дивеев, повысив голос.

Полезнов принял это как шутку и отозвался усмехнувшись:

— Вся не вся, ну, конечно, не без того: попадается, слова нет.

— Вся! — резко выкрикнул Алексей Иваныч.— Сверху донизу вся!

— Однако же вот пиво вполне приличное,— прохрипела слепая.

— И раки тоже,— поддержала свою мать Наталья Львовна,— а вы, Алексей Иваныч, несколько преувеличили, сознайтесь!

— Простите! — кротко сказал вдруг Дивеев и левой рукой сделал хватающий жест, как будто хотел показать, что сказанное берет обратно.

Он как-то поник после того, еще больше втянув голову в плечи, так что Полезнову стало его даже почему-то жалко, а Макухин, считая нужным поддержать своего будущего компаньона, обратился к тестю:

— Вот, например, есть тут банк, называемый «Взаимного кредита». Это же оно самое и есть, о чем вот Иван Ионыч говорил: ты мне доверяешь, я тебе доверяю...

Он хотел развить это общее положение на придуманном им примере, как вдруг до него донеслась от соседнего столика не к нему лично направленная, однако хлесткая фраза:

— Не все, значит, еще насчет «Взаимного» знают, что на нем уж замок висит!

Макухин обернулся, посмотрел встревоженно в ту сторону и Полезнов.

Там сидело двое молодых людей в одинаково белых рубахах и без шляп. Очень смуглые оба и горбоносые, они похожи были на греков. Прежде их не было слышно: они играли в домино и казались до того углубленными в это занятие, что даже и не могли слышать, что говорилось за другими столиками,— однако, выходит, слышали.

— Как так на замке «Взаимный»? — спросил Макухин, обращаясь сразу к обоим.

— Так и на замке,—ответил один, а другой добавил:

— Вчера с обеда.

— По какой же причине? — допытывался Макухин.

— Учет идет, проверка,— объяснил один.

— Директор скрылся,— сказал другой.

— Вот тебе раз! Какой же директор?

— Какой же еще, как не Анжелло? — полувопросом ответил один, а другой добавил:

— Бежал, конечно, не иначе как в Одессу, а оттуда в Италию... А разве кто бежит, так он это делает с пустыми карманами? Вот поэтому и проверка.

Макухин посмотрел на Полезнова, Полезнов на Макухина, и оба одновременно поднялись с мест и взялись один за свою шляпу, другой за белый картуз.

Не то чтобы много, но кое-что все-таки лежало у каждого из них про запас в банке «Общество взаимного кредита», платившем по вкладам по пяти процентов годовых, в то время как Государственный банк платил только по четыре.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

I

Экстренный поезд с гробами эрцгерцогской четы прибыл в Вену на пятый день после убийства в Сараеве — 19 июня в десять часов вечера.

Он подошел к южному вокзалу, залитому электрическим светом, задекорированному трауром, сплошь заполненному встречавшей его толпой.

Тут был и эрцгерцог Карл, новый наследник престола, который по ритуалу должен был первым поклониться праху своего дяди, так неожиданно освободившего для него место у престола; тут были и военный министр, и начальник генерального штаба, и все высшие военные и придворные чины, которые прежде всех прочих граждан Австро-Венгрии должны были воспламениться глубочайшим негодованием к национальности, давшей убийцу, и жаждой мести.

Мертвые, в двух цинковых, покрытых флагами и венками гробах, именно этот замысел и таили, и сравнительно поздний час, когда они появились на венском вокзале, не только не мешал, но даже способствовал их обширному замыслу.

Вена была слишком жизнерадостным городом, чтобы проникнуться необходимой серьезностью днем, да еще летним днем, когда так много веселого солнца. К идее мести, к идее смерти за смерть шел только мертвенный лунный свет электрических ламп, а траур должен был подчеркиваться и углубляться бездонно этими резкими поздневечерними тенями.

Парадные комнаты вокзала были превращены в часовню. Между входом в эти комнаты и вагоном с гробами стали шпалерами лейб-гвардейцы. Сквозь их ряды к вагону прошло духовенство. Но первые звуки, какими были встречены гробы в Вене, не были звуками молитв: однообразно и резко, но зато бесспорно воинственно затрещали многочисленные барабаны, и под непрерывный барабанный бой тяжелые гробы были извлечены из вагона на перрон, чтобы перед ними смог торжественно преклонить колени эрцгерцог Карл.

Только после того бравые гвардейцы понесли гробы в предшествии духовных лиц. Конечно, парадные комнаты вокзала не смогли вместить всех желавших непременно присутствовать при церковном обряде благословения гробов, особенно придворных дам, одетых в глубокий траур, но обряд этот был недолог.

Вот подъехала пышная траурная колесница; на нее установили гробы, и вся тысячная толпа избранного общества Вены опустилась на колени.

Тут были те, с которыми явно или скрыто связана была жизнь четы, убитой в Сараеве; тут были те, которые должны были стать в первые ряды рыцарей государственной чести, оскорбленной хотя и уроженцами Боснии, хотя и подданными австрийской короны, но не немцами, не венгерцами, а сербами, побывавшими перед тем в Белграде, столице Сербского королевства.

Траурная колесница двигалась потом по траурным улицам, среди многотысячной траурной толпы, медленно и торжественно, чтобы именно эту мысль, острую, как боевой клинок, вонзить в мозг обычно легкомысленных, обычно шутливых, веселых венцев. Ночь для безошибочного действия этой мысли более подходила, чем день.

Колесница в сопровождении других колесниц, более современного устройства, подвезла гробы к приходской церкви Гофбурга, где тяжеловесный старинный церемониал тысячелетней монархии проявился во всей своей силе, покоряющей массы. Теперь уже не тысячи, не десятки тысяч, а не меньше как треть населения миллионного города заполнила улицы, так как закрыты были в знак общенародной печали все театры, бары, кафе...

Мертвые проплыли перед живыми, предоставив им выбор возможностей для действий, и первыми действиями возбужденных такою ночью венцев были демонстрации перед сербским посольством.

Конечно, большой наряд полиции заранее был командирован к этому посольству, но толпа, состоявшая из студентов христианско-социалистической корпорации, рвалась в бой, крича: «Долой убийц!»

Однако эта траурная ночь должна была послужить только вступлением к настоящему взрыву всестоличной гневной скорби, отложенной церемониймейстером на день 20 июня, когда появился в Вене император, приехавший из Шенбрунна.

— Как он убит горем, наш добрый старик! — должны были говорить и говорили венцы, с открытыми головами встречая и провожая глазами сидевшего в открытой машине маленького согбенного раззолоченного старичка с белыми, привычными для всех, баками.

Заупокойную мессу совершал кардинал князь-архиепископ Пиффль в сослужении огромного числа духовных лиц разных рангов, между которыми был и папский нунций.

Все эрцгерцоги и эрцгерцогини, все родственники убитых, весь придворный штат, все министры, председатели парламентов австрийского и венгерского и депутации от них, все послы и посланники при венском дворе, весь генералитет, бургомистры венский, будапештский, загребский, начальники высших государственных учреждений, старшие в чинах представители многочисленных военных депутаций заполнили придворную церковь.

Эхо двух сараевских выстрелов, которых в восторженных криках толпы даже не расслышали шофер машины эрцгерцога и сидевший рядом с шофером генерал Патиорек, должно было прозвучать на весь мир, и звуки печальных заупокойных молитв должны были перелиться в команды войскам, уже приготовленным для марша к восточным границам.

Окончилась служба. Снова в Шенбрунн мимо толп проследовал «убитый горем добрый старик»; гробы же, вновь погруженные на колесницы, были подвезены к набережной Дуная, потом на пароме переправлены через реку и, наконец, снова на поезде пошли в последний путь к замку эрцгерцога Франца-Фердинанда Артштеттен, где и были погребены в фамильном склепе. Новый наследник Карл, его супруга Цита и многое множество эрцгерцогов, эрцгерцогинь и высших лиц в государстве вернулись обратно в Вену.

Преждевременно начавшиеся и прекращенные поэтому полицией эксцессы толпы ночью перед сербским по-

сольством, теперь разрешенные и поощряемые, разразились с большей силой днем. Наряды полиции были значительно усилены и перед посольством и перед домом, где жил посланник Иованович, стекла в квартире которого непременно хотелось выбить толпе.

Однако не только перед сербским посольством — большие толпы собирались также и перед русским, здесь также кричали: «Долой убийц!», а перед германским посольством, напротив, стройно пели «Wacht am Rhein» и австрийский народный гимн.

Во всех демонстрациях чувствовалась направляющая рука, строго определяющая границы дозволенного и предотвращающая все переплески чувств.

В Вене в этот день начинался во многих местах и погром сербских магазинов, но столичная толпа, привыкшая подчиняться правилам уличной дисциплины, не доходила, конечно, до того, до чего доходили в провинциальном Сараеве и других боснийских и герцеговинских городах, откуда уже получались негодующие телеграммы, вроде подписанной вице-президентом боснийского сейма Воиславом Шолой:

«Так как сотни магазинов и частных жилищ невиновных, верных династии и лояльных сербских граждан Сараева были совершенно разгромлены и разграблены чернью, чем почти все сербское население превращено в нищих, то среди сербов, как и среди всех культурных жителей края, царит глубокое возмущение и негодование на зачинщиков погрома».

Были разрушены, между прочим, и сербские школы и приют для детей; в доме сербского митрополита Летицы были выбиты окна. Общие убытки от погрома превышали миллион крон. Но волна погромов прокатилась по всем городам за несколько лет до того насильственно присоединенных к Австрии провинций.

Для того, чтобы подогреть антисербские демонстрации, венские газеты опубликовывали заведомо сочиненные «материалы следствия», из которых можно было вывести, что все Сараево в день покушения на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда было прошпиговано бомбами, приготовленными для широко задуманного акта.

Бомбу с часовым механизмом будто бы обнаружили под столом в здании конака, где должны были угощать завтраком наследника престола; бомбу нашли в рату-

ше, где должны были чествовать его приветственными речами; бомбы нашли в нескольких местах на улицах; у какой-то женщины-сербки оказался даже целый склад подобных бомб.

Принцип и Габринович на допросе будто бы показали, что оружие свое они получили от комитаджия Михо-Цыгановича, будучи в Белграде, и там именно были подкуплены на совершение убийства.

«Нити страшного злодеяния, совершенного в Сараеве, ведут в Белград!» — с необходимой энергией восклицали венские газеты. Продолжая ковать железо, пока оно горячо, сотрудники газет сообщали также во всеобщее сведение, что император Франц-Иосиф одобрил программу, принятую советом министров, и что выступление австрийского правительства в Белграде состоится в ближайшем будущем.

Конечно, нельзя было говорить в газетах вслух того, что решалось пока еще только в закрытых совещаниях, притом с соблюдением известной осторожности в выражениях, так как для всех было очевидно, что одно дело пробовать дергать веревку колокола, а другое — раскачать ее во всю длину так, чтобы железный язык ударил в колокольную медь — металл набата.

Только через три-четыре дня после похорон эрцгерцога появилось в газетах несколько слов о выступлении, которое готовилось Веной в Белграде:

«С уверенностью можно утверждать, что это выступление не явится вторжением в область суверенных прав Сербии и не будет содержать в себе ничего, что могло бы быть истолковано как оскорбление или унижение сербского правительства. Можно поэтому ожидать, что сербское правительство в полной мере примет к исполнению все австрийские требования, которые имеют целью, с одной стороны, наказать подстрекателей к покушению на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда, а с другой стороны, настоять на принятии сербским правительством мер к устранению того вредного порядка, который несовместим с корректными добрососедскими отношениями».

Так в выражениях, чисто канцелярских, расплывчатых, но в то же время подчеркивающих большое неравенство австрийских и сербских сил в пользу Австрии, было составлено это постановление совещания министров под председательством самого «убитого горем доброго

старого» Франца-Иосифа. Между прочим, добавлено было, что на совещание это были приглашены для дачи разъяснений «по некоторым техническим вопросам» начальник генерального штаба и представитель главноначальствующего флотом.

Разумеется, даже и младенцам от политики не могло не быть понятным, что это совещание австрийских министров подготовило ни больше ни меньше как ультиматум сербскому правительству. Вопрос сводился только к тому, когда и как этот ультиматум мог быть предъявлен.

Если при австрийском дворе по убитом наследнике престола был назначен шестинедельный траур, то, в свою очередь, и при сербском дворе назначили траур пятнадцатидневный. Если русское правительство прислало в Вену телеграмму сочувствия, то не отстало от него в этом и сербское. Разумеется, никакого ликования по поводу убийства в Сараеве не допускалось в тоне белградских газет, так что прямого повода, к которому можно было бы придраться, чтобы предъявить ультиматум, не оказывалось налицо: сербское правительство вело себя благонравно.

Но демонстранты в Вене не зря толпились перед германским посольством и пели «Wacht am Rhein» и австрийский гимн: толчок ультиматуму, созданному советом министров в Вене, мог дать только Берлин. А пока что сербов-рабочих начали сотнями высылать из Вены в Белград.

II

Как боевой конь, заслышавший трубу, Берлин напряг зрение, слух и мышцы.

И если в Вене (или в одной из императорских резиденций — Ишле, Шенбрунне,— безразлично) шло совещание Франца-Иосифа со своими министрами, то и в Берлине (в Потсдамском дворце) Вильгельм II созвал на совет тоже кое-кого из своих государственных людей.

Что и говорить, положение было острым. По существу-то оно было прозрачным, как капля воды для невооруженного глаза, но ведь та же самая капля воды под микроскопом бывает полна чудес.

Конечно, в том всеевропейском конфликте, который мог разразиться, Сербии Берлином отводилось последнее место. Но на Сербию падала густая тень от стоящей за ее спиной исполинской России, а с запада доносился

сдержанный звон оружия Франции, сорок три года готовившейся к реваншу.

Отношения с Англией как будто стали теплее, и английская эскадра под командой адмирала Уоррендера только что была с визитом на «Кильской неделе», но почему же вдруг в «Times», газете лондонского Сити, появилась статья о германских морских вооружениях с такими странными словами в конце:

«Хотя рост германского флота и его боеспособности и не приводит нас в крайнее раздражение, но, конечно, он не улучшает отношений между обоими правительствами и народами».

Отлично была известна в Берлине хроническая, ставшая правилом неготовность Англии к континентальной войне в Европе, но было ли это прочным ручательством, что она не вмешается в войну на стороне Франции, хотя и с неминуемым опозданием? Намерена ли Англия опоздать в такой степени, когда помощь ее будет уже не нужна разгромленным французам?

Можно смело сказать, что столько же лет, сколько Франция думала о реванше и о том, чтобы отобрать у немцев обратно Эльзас и Лотарингию, в Германии думали о том, чтобы совершенно и навсегда подчинить себе всю Францию, так как, только владея береговой линией Франции, можно было со временем поставить Англию на колени.

Но если статья в газете «Times» могла и не отражать мнения правительства Англии, то как можно было отнестись к тому, что как раз в то время, когда получилось известие об убийстве в Сараеве и гостивший в Киле английский флот готовился к отплытию в свои воды, британский посол в Петербурге сэр Бьюкэнен опубликовал только что заключенную морскую конвенцию с Россией? По этой конвенции английский и русский флоты должны были действовать вместе при открытии военных действий... Против кого? Договаривать не нужно было того, что для каждого ясно.

Ни с Францией, ни с Россией Англия не была в союзе, а только в «соглашении»,— в «сердечном соглашении» — «Entente cordiale», однако насколько это соглашение было менее прочно, чем союз? И, наконец, разве решится русский царь поддерживать цареубийц? А если не решится, то кто посмеет утверждать, что Россия, не готовая к войне ни в смысле финансов, ни как военная сила, ввяжется в серьезную войну? А если Россия оста-

нется в стороне, то Франции ничего не останется больше, как спрятать до более удобного времени свою шпагу. Австрии же никто не помешает поговорить с Сербией на внушительном языке пушек.

Слишком много было всевозможных «если», опутавших простую и ясную, как задача из детского задачника, борьбу Германии с Англией за рынки сбыта фабрично-заводских товаров, которая, разумеется, должна была когда-нибудь привести к смертельной схватке с оружием в руках.

Чтобы уверить всех, что общим врагом не одной только Германии, но также и Франции и России является Англия,— какую огромную деятельность развило германское правительство в разных странах, всюду стремясь основать «Общества для пропаганды германских идей и идеалов»! На это были ассигнованы большие средства, к этому было привлечено множество немцев. Этому делу не без основания придавалось крупное значение — как завоеванию мирным путем.

Как раз перед сараевским убийством основано было немецко-греческое общество. Это общество взяла под свое покровительство греческая королева София, родная сестра Вильгельма. В числе его основателей насчитывалось свыше ста человек немецких ученых, политиков и военных.

Армения не была государством,— она была только русской окраиной на юге,— однако как раз на второй день после убийства Франца-Фердинанда в Берлине состоялось учредительное собрание только что образованного немецко-армянского общества «для более тесного сближения немцев с армянами». Основатель его, известный «армянофил» доктор Лепсиус, был избран председателем общества, а вице-председателями — немец Рорбах и «армянин» Гренфельд, составитель первого, роскошно изданного сборника произведений армянских и немецких писателей.

Нечего и говорить о том, что в Германии нашлось множество «украинофилов»; их возглавлял отставной генерал от инфантерии барон фон-Гебзаттель, деятельным помощником его, ни слова не знавшим по-украински, был доктор Левицкий из Кракова.

Финляндия, Эстляндия, Курляндия, Литва давно уже пропитывались насквозь въедливой эссенцией «германских идей и идеалов», поскольку замки немецких баронов повсеместно украшали ландшафт Прибалтики.

Мирное завоевание окраин России — это одно, но война с Россией — это совсем другое.

22 июня Вильгельм пригласил к себе в Потсдам рейхсканцлера Бетман-Гольвега, военного министра Фалькенгайна, товарища министра иностранных дел Циммермана и других, чтобы обсудить с ними положение дел, так как именно в этот день утром австрийский посол в Берлине передал ему личное письмо от Франца-Иосифа. «Убитый горем старик» сообщал, что в убийстве виноват Белград и что австрийское правительство намерено предъявить Сербии ряд решительных требований и в случае, если Сербия откажется их принять, двинуть туда войска.

Письмо престарелого императора, подкрепленное меморандумом, составленным еще до убийства, было слишком важным документом, чтобы его не обсудить всесторонне при участии Бетмана, первого после кайзера лица в государстве.

Бетман-Гольвег был пятым канцлером за долгое, четвертьвековое царствование Вильгельма. Это был человек безукоризненной логики, всегда лучше других умевший обосновать то, в чем он был убежден. Он склонен был поучать всех около себя, даже и самого кайзера. Эту привычку он усвоил еще в детстве, почему товарищи его по классу называли его «Гувернанткой». Он был убедителен не только потому, что занимал высокий пост: его доклады были снабжены ссылками на все, что обычно признается незыблемым в сфере политики. Он умел доказать основательность своих взглядов на вещи даже тогда, когда противникам его они представлялись с первых же слов грубейшей ошибкой.

Генерал Фалькенгайн, как военный министр, показал на совещании в Потсдаме, что он отчетливо знает, что должна делать германская армия, начиная с первого дня войны, рассчитанной на молниеносность. Он твердо усвоил план Шлиффена, по которому сначала нужно было, заходя правым крылом армии через Бельгию, наголову разбить Францию, а после того бросить все силы против России, чтобы с нею покончить в кратчайший срок. Всем было известно, что таково же было мнение и начальника главного штаба Мольтке.

О действиях флота не поднималось вопроса, так как русский флот не считался серьезным соперником германскому, а выступление английского решительно отметалось, как лишенное всякой вероятности.

В заключение совещания Бетман обратился к кайзеру с почтительнейшей просьбой не озабочивать себя никакими государственными делами теперь, летом, когда организм нуждается в движении, в перемене места, в путешествиях. Зная, что Вильгельм хотел совершить поездку в фиорды Норвегии, которые изумительно живописны летом, он настойчиво советовал ему не откладывать ни на один день поездки, которая, конечно, необходима ему со всех точек зрения.

Еще раньше он убедил взять отпуск для отдыха всех наиболее самостоятельных из государственных людей Германии: и морского министра Тирпица, и министра иностранных дел Ягова, и начальника главного штаба Мольтке.

Ему казалось, что никто лучше его не в состоянии разобраться в той задаче, которая была задана европейским дипломатам выстрелами в Сараеве; что все остальные из виднейших членов правительства будут только мешать ему; и что больше всех, конечно, способен испортить дело кайзер Вильгельм, горячность и несдержанность которого достаточно всем известна.

Вильгельм действительно отправился в Норвегию, не без того, разумеется, чтобы не иметь при этом кое-каких мыслей, способных принести Германии пользу.

Что же касается Бетмана, то одним из его доводов был такой: чем скорее уедет кайзер из пределов своей страны, тем доказательнее будет для противников Германии, что она совсем и не думает готовиться к войне, а это, в свою очередь, охладит военный пыл и у них. Как всякий добросовестный ученик готов воспользоваться каждой минутой, чтобы еще и еще раз заглянуть в учебник и подзубрить урок, так и Бетман, несмотря на утверждения высших генералов, что такой армии, какая имеется у Германии, нет и не может быть у ее возможных противников и что блестящий успех в столкновении с ними вполне обеспечен, все-таки хотел и надеялся отсрочить несколько начало войны, как бы ни казалась она неизбежной и желанной.

Конечно, никому из людей не дано знать будущего, но в то же время, если бы человек не представлял себе будущее так же ясно, как настоящее, он не был бы человеком. Тем-то и трудна была роль канцлера, что он должен был читать будущее, как открытую книгу.

По общему признанию всех немцев, это удавалось делать Бисмарку, творцу германской империи, первому

рейхс-канцлеру Германии. Но если ни до Паганини, ни после Паганини не нашлось виртуоза, который мог бы так же владеть скрипкой, как он, то то же самое,— Вильгельм это видел,— можно было сказать о Бисмарке: он оказался в Германии единственным и неповторимым.

Теперь все было в Германии новым: и мировая торговля, в интересах которой непомерно развилась промышленность, и могучий флот, и обширные колонии в Африке... К мировому господству оставалось сделать последний решительный шаг.

Этот шаг подготовлена была сделать армия, что было известно и Вильгельму, и Бетману, и любому лавочнику в Германии, однако настал ли уже теперь, именно теперь, летом 1914 года, настоящий момент для этого шага? Точно ли подготовило его время, течение мировой жизни? Нет ли просчета, нет ли ошибок в решении этой — что и говорить — труднейшей задачи?

Ведь решать приходилось не только за Германию, но и за Австрию, и за Италию — как союзников, за Францию, Россию, Англию — как противников; до последнего человека, до последней марки надо было знать силы свои и союзников, однако то же знание необходимо было канцлеру иметь и о всем стане врагов как действительных, так и возможных.

А поведение во время войны так называемых нейтральных стран, которые по существу никогда не бывают, да и не могут быть чопорно нейтральны? А окружение, которое неминуемо начнется с первых же дней войны, если в нее вступит Англия с ее чудовищно огромным флотом? А сможет ли выполнить транспорт (30 тысяч паровозов и 700 тысяч товарных вагонов) ту колоссальную работу, которая потребуется от него при ведении войны одновременно на западе и на востоке? А достаточны ли будут запасы нефти?..

Бетману, имевшему природную склонность к самому детальному всестороннему анализу, было над чем подумать, держа в руках меморандум и копию письма Франца-Иосифа Вильгельму о выступлении Австрии в Сербии, которое было решено на совете министров в Вене.

«Гувернантка» не зря позаботилась о том, чтобы ни Тирпиц, ни Мольтке, ни Ягов, ни сам кайзер не мешали ему думать: наступил момент доказать, что в Германии есть второй Бисмарк!

III

Едва успел уехать из Берлина в Норвегию Вильгельм, как назрела неотложная необходимость президенту Франции Пуанкаре ехать в Россию, а затем тоже в Норвегию, в Швецию и Данию, то есть в скандинавские страны, которые должны были оставаться нейтральными в случае, если по вине Германии начнется европейская война.

Конечно, поездка Пуанкаре требовала довольно значительных средств, и вот в палату депутатов был срочно внесен законопроект об отпуске в распоряжение президента суммы в четыреста тысяч франков на предвиденные и непредвиденные расходы.

Для богатого государства, каким была Франция того времени, деньги небольшие, но перед депутатами встал вопрос не столько о них, сколько о целях этой поездки президента.

Против кредита президенту высказался от лица своей партии вождь французских социалистов Жорес. «Социалисты,— говорил он,— относясь с симпатией ко всем демонстрациям, сближающим народы и гарантирующим мир, а также признавая историческое значение франко-русского союза, считают, однако, что за последнее время подобного рода передвижениями начали усиленно злоупотреблять. Кроме того,— и это самое важное,— социалисты не могут допустить, чтобы во время подобных поездок принимались за счет Франции какие-либо обязательства, способные отразиться на внутренней и внешней политике республики. Социалисты противятся секретным договорам и считают, что теперешняя русская Государственная дума не представляет для них гарантий...»

Поддерживая законопроект, премьер-министр Вивиани, напротив, обращался к палате с горячим призывом принять его единогласно. Опасения Жореса, что во время поездки Пуанкаре примет какие-либо обязательства, секретные и нежелательные для Франции, Вивиани решительно отвергал, выдвигая при этом необходимость обмена мнений между представителями обеих союзных стран.

Он заявил далее: «История Европы доказала, что франко-русский союз, дополненный дружбой с Англией, с одной стороны, отвечает чувствам и интересам обеих

наций, а с другой, служит средством поддержания общего мира».

Во имя этих-то результатов франко-русского союза Вивиани и предлагал доказать голосованием неизменную привязанность к спасительному союзу всех патриотов Франции.

Законопроект был принят подавляющим большинством голосов, а на другой день в русских газетах был уже опубликован порядок встречи Пуанкаре в Кронштадте, так как он предполагал прибыть на одном из крупнейших военных судов французского флота.

Но гораздо раньше Кронштадт и Петербург должны были принимать принца Генриха Нидерландского, который уже отправился сюда из Копенгагена на броненосце «Zeeland».

В это же время президент Швейцарской республики принимал в Берне бельгийского короля Альберта. Парадный завтрак в честь высокого гостя украшен был речами президента и короля. Благодаря за посещение, президент отметил общие интересы, которыми связаны нейтрализованные государства, король же указал на «высшую задачу, выпавшую на долю обоих государств, отдавать свои духовные силы служению делу солидарности интересов народов».

В конце мая (по старому стилю) состоялось «сердечное, совершенно неофициальное», как писали газеты, свидание в Конопиштах Вильгельма II с убитым всего через две недели после того эрцгерцогом Францем-Фердинандом. Среди лиц свиты германского императора был и морской министр Тирпиц, что указывало на большой интерес Вильгельма к состоянию австрийского флота.

Тогда же, в конце мая, газета «Deily Telegraph» сообщила, что английский король Георг предполагает по случаю своего восшествия на престол посетить Берлин и Петербург.

Эти визиты, правда, не состоялись, но зато император Николай счел нужным сделать визит румынскому королю Карлу, для чего вместе со своей семьей отправился через Одессу в Констанцу 1 июня на яхте «Штандарт».

Суда Черноморского флота — крейсер «Кагул» и четыре миноносца — сопровождали яхту.

Русский царь был в Румынии в первый раз за все свое царствование.

Констанца приукрасилась, как успела, для встречи царя, даже «Боже, царя храни!» — совсем, как в Рос-

сии — зачервонело на арке в порту Констанцы; другая же подобная арка сооружена была на площади Независимости, на пути от порта к дворцу короля.

Все, чем была богата Румыния, выставила она в Констанце для встречи Николая: весь свой маленький флот, всех своих министров, представителей всех парламентских партий, президента Академии Наук, ректоров своих университетов, всю высшую военную и гражданскую власть, мэра Констанцы, почетный караул с командиром армейского корпуса генералом Сторжеску на правом фланге...

И сам король Карл и наследник престола Фердинанд были в летней форме 18-го Вологодского пехотного полка, шефом которого числился король. Всюду вились рядом с румынскими русские трехцветные флаги; знаменитые румынские оркестры объединенными силами исполняли русский гимн...

Почти в одно время отбыли в свои столицы и Вильгельм из Конопишты, и Николай из Констанцы, унося в себе, должно быть, одинаковую уверенность в том, что дела их в общем идут хорошо.

Однако нельзя было не заметить общего беспокойства коронованных владык, когда предчувствие, с одной стороны, и знание общеевропейской обстановки, с другой,— говорили им, что троны их стали непрочны.

За долгие годы мира между крупнейшими державами Европы накопилось много такого, что угрожало внезапным взрывом. Этим сильно пахло еще до убийства в Сараеве, нечего и говорить о том, как упал барометр в кабинетах не только премьер-министров всех европейских стран, но и всех тех, кто хоть сколько-нибудь интересовался политикой.

IV

Как бы ни было велико воображение любого великого человека, представить со всей ясностью и полнотой действия миллионных масс, получивших приказы к войне, он не может. Воображение, казалось бы, вполне безошибочно нарисует ему одно — действительность подсунет другое. Воображение наше часто находится в плену у бывшего, у того, что занесено на страницы истории, но страницы истории,— правдивы ли они, или ложны, безразлично,— стоят на месте, а действительность ежедневно, ежечасно растет. Этот рост становится совершенно

необычайным во время войны, когда обычный год в 365 дней равен целой эпохе.

Учесть все без исключения возможности такого стремительного роста, предусмотреть огромнейший подъем человеческой энергии в начале войны; сделать скидку на усталость, как неизбежную реакцию во второй этап войны; не забыть, однако, и о том, что велика приспособляемость людей ко всяким вообще условиям жизни, как бы тяжелы они ни оказались; держать всегда в известности число машин войны на фронте и машин труда в тылу, неуклонно следя за кривой машин, как врач следит за кривой температуры больного; питание фронта людьми и машинами, питание людей и машин провиантом и боеприпасами; уголь, железо, нефть, медь, свинец, олово и десятки других металлов; вагоны, автомобили, корабли, как средства быстрейшей переброски людей; фронты, растянувшиеся от северных морей Европы до южных, и земля, как единственное убежище от всеразрушающих снарядов тяжелых орудий,— вот то общее, что рисовалось воображению виднейших генералов и политических деятелей Европы.

Никто из них не вспоминал о Наполеоне, бывшем сто лет назад богом войны; слишком изменилось за эти сто лет самое понятие «европейская война», тем более что эта война грозила по мере своего развития перерасти в мировую.

Усиленно делались подсчеты: сколько может выставить солдат то или иное государство в случае европейской войны?

Этот подсчет сделал граф Шлиффен, крупнейший военный деятель Германии при Вильгельме. В одной своей статье, писавшейся тут же после того, как Австрия прикарманила Боснию и Герцеговину и когда вопрос о европейской войне был поставлен в порядок дня, он решительно отбросил все привычные до того рамки возможной войны.

Он писал: «Германия со своими 62 миллионами населения может призвать в случае войны 4750 тысяч человек, а Франция даже 5500 тысяч». При этом он делал подсчет только тех, которые прошли в полках обучение военной службе, значит, совершенно не говорил об ополчении.

Непричастная к высшему генералитету Европа ахнула, встретившись в статье Шлиффена с такими чудовищными цифрами, а он продолжал хладнокровно:

«Не было ни одного полководца, который бы жаловался на чрезмерную численность врученной ему армии, но все без исключения сетовали на ее недостаточность».

Это была правда, конечно, однако не меньшая правда была вложена Шлиффеном и в такое утверждение: «Оружейные и артиллерийские заводы создали больше приветливых физиономий и больше готовности к услугам, чем все мирные конгрессы».

Проповедь культа силы взяла в статьях Шлиффена, а вслед за ним и других германских генералов небывало до того высокую ноту. Их откровенность граничила с цинизмом. Однако о гаагских мирных конференциях все перестали думать и усиленно принялись отливать пушки, готовить снаряды, шить сапоги и шинели сразу на миллионы солдат.

Конечно, грандиозных приготовлений этих к готовой в любой момент вспыхнуть мировой войне нельзя было никому сохранить в секрете, как бы кто ни старался сделать из этого военную тайну. Наконец, жуткие масштабы возможной войны начали пугать даже и неробких вначале государственных людей великих держав, и Шлиффен не замедлил отметить это в таких словах:

«Все ощущают колебания в предвидении огромных расходов, неизбежных больших потерь и того красного призрака, который встанет в их тылу. Всеобщая воинская повинность, превращающая в равноценное пушечное мясо как знатных, так и простых, как богатых, так и бедных, сократила жажду войны».

И в этом была правда, однако колесо, пущенное по гладкой дороге с пологой горы, продолжало катиться, все набирая и набирая скорость. Над военными заказами, размещенными по фабрикам и заводам, работало множество людей. От всего того, что уже сработано было в целях близкой войны, ломились склады. Заводчики и фабриканты были довольны: они расширяли производство в основательной надежде, что для войны всего будет в конце концов мало, и склады опустошатся быстро, и заказы будут сыпаться щедрой рукой. Если одна только подготовка к войне внесла такое оживление в промышленность, то что же будет, раз начнется война!

Немецкий полководец Гельмут фон Мольтке писал о войне: «Вечный мир —это сон, война же — самим богом созданный мировой порядок. В ней получают развитие высшие добродетели человека: мужество и самоотвер-

женность, чувство долга, самопожертвование. Не будь войны, человечество погрязло бы в тине материализма».

Разгромивший Австрию и Францию Мольтке писал это в 1880 году, а в 1912 году германский генерал Бернгарди опубликовал книгу «Deutschland und der nächste Krieg» («Германия и будущая война»).

Он проповедовал наступательную войну, утверждая, что военные захваты ценнее мирных завоеваний. Он называл «ядом» движение в пользу всеобщего мира и всячески стремился доказать, что «историческая задача германского народа может быть разрешена только мечом». Даже самая попытка уничтожить войны представлялась им как «дело безнравственное и недостойное человечества».

Что можно было делать этому «безнравственному» человечеству, когда оно видело в своей среде такого насыщенного и силой и убежденностью, что только сила — право кулачного бойца, уже засучившего рукава, уже сжавшего пудовые кулаки и только размышляющего о том, кому первому из его окружающих выгоднее для него раздробить челюсть?

Есть битвы и битвы. Когда-то, после битвы при Вальми, Гете сказал сидящему у бивачного огня: «Вы участвовали в битве, с которой начинается новая эпоха в истории».

Великая битва предстояла Европе, и новая, революционная эпоха в истории уже стояла на пороге этой битвы и ждала своего дня, чтобы родиться.

V

Убитый в Сараеве эрцгерцог был упрямый, резкий в обращении человек, и при дворе Франца-Иосифа его терпели, конечно, как будущего монарха, но не любили. Его не любили венгры, его не любили чехи, его не любили сербы, но зато его очень ценил Вильгельм, и, конечно, этим двум весьма деловым людям было о чем говорить во время свидания в Конопиштах.

Николаю и Карлу также было о чем беседовать в Констанце. Между Австрией и Румынией давно уже существовала военная конвенция, в силу которой голова Румынии была повернута на восток, в сторону Бессарабии. Задачей русской дипломатии было повернуть голову Румынии на запад, где в Трансильвании страдали под ав-

стрийским игом и ожидали освобождения миллионы румын.

Италия хотя и входила в Тройственный союз, но союзницей была ненадежной: миллионы итальянцев страдали под австрийским игом на берегах Адриатики — в Триенте, Триесте, Далмации, и Австрия не выражала ни малейшего желания отдать эти области Италии в уплату за ее помощь в войне против Антанты (Entente cordiale).

Но вместо Румынии и Италии Германия и Австро-Венгрия надеялись завербовать Болгарию и Турцию. Турция давно уже обрабатывалась Германией, не скупившейся на займы и посулы, чтобы добиться ее согласия на проведение через Малую Азию железной дороги Берлин — Багдад, в чем она и успела, а германские офицеры приводили в порядок турецкую армию.

Великий двигатель прогресса — каменный уголь потеряла Франция в Эльзасе, проиграв в 1871 году войну с Германией.

Французская промышленность попала в положение ящерицы с откушенным хвостом,— и куда бы ни глядели другие государства, Франция приковала свой взор к потерянным своим провинциям: Эльзасу и Лотарингии.

У Англии никто не отнимал ее давних провинций или колоний, но... могли отнять. Вся политика ее в XIX и XX веках была построена только на этом: подозревать и пресекать, не дожидаясь, когда начнутся активные действия возможных противников.

Германия была пока еще только соперником, но соперником мощным.

Она наводняла своими товарами даже европейские страны, вытесняя из них Англию. Она стала колониальной империей, обосновавшись в Центральной Африке, и помешать этому было нельзя: пришлось уступить ей в этом, чтобы она не проникла в Марокко, в близкое соседство к Египту.

Железная дорога Берлин — Багдад выводила ее к Индийскому океану: оттуда она могла угрожать драгоценнейшей из английских колоний — Индии. Но она успела проникнуть и на берега Тихого океана, взяв у Китая Циндао и создав там первоклассный порт с огромным торговым оборотом. Для Германии же достаточно было запустить хоть один коготь, чтобы там очутилась и целая лапа ее черного орла.

Скачок, который у всех на глазах делал германский империализм, был до того громаден, что не один государственный деятель Англии, страны старого капитализма, мог бы припомнить слова Суворова, сказанные им в ссылке, в селе Кончанском, когда он читал в газетах о Наполеоне: «Молодой человек этот слишком широко шагает, пора бы его унять...»

В конце концов для Англии возникала в лице Германии самая серьезная опасность со времен низложения Наполеона, тем более что никто из писателей немецких, подобных генералу Бернгарди, не скрывал стремлений немцев к мировому господству.

Еще тогда появились и развивались на все лады теории о немцах, как о расе господ, которой дано в недалеком будущем судьбою объединить сначала все народы Европы, а потом и мира под своею властью, облагодетельствовать весь мир «высокой немецкой культурой».

Пусть это не говорилось еще самим Вильгельмом, когда он посещал Англию, явившись, например, в Лондон на похороны короля Эдуарда VII, сына Виктории, незадолго до события в Сараеве, но книги в Германии выпускались затем, чтобы их читали всюду, между прочим и в Англии, и нельзя было не задуматься над этим.

Уже 25 июня отчасти благодаря министру иностранных дел Австро-Венгрии, графу Берхтольду, который не хотел делать из этого тайны, стали известны требования ноты, которую австрийское правительство намерено было отправить Сербии.

В ней содержалось несколько пунктов, из которых довольно привести три:

«1. Король Петр должен обратиться к своему народу с прокламацией, призывающей воздерживаться от великосербской пропаганды.

2. Один из высших австрийских чиновников должен быть допущен к участию в расследовании преступления.

3. Должны быть отставлены и примерно наказаны все офицеры и чиновники, участие которых в покушении будет доказано».

Правда, пока это стало известно только правительствам нескольких великих держав; это не опубликовывалось в газетах, это был как бы пробный шар, пущенный советом австрийских министров с намерением выждать, как к этому отнесутся союзники и враги.

В министерствах иностранных дел каждого из государств Европы сидели, разумеется, знатоки междуна-

родного права, и для каждого из них достаточно было, конечно, только взглянуть на эти требования Австрии к такому же, как она, суверенному государству, чтобы сказать решительным тоном: «Это противоречит международному праву. Это — явное вмешательство одного государства в дела другого. Это неприкрытое оскорбление, способное вызвать только войну. Таких нот посылать не принято, если этой войны не желают».

Но другие, не меньшие знатоки международного права, сидевшие в кабинетах министров Австрии и Германии, имели наготове негодующий вопрос: «Значит, из одной страны могут явиться в другую убийцы, сознательно направленные для совершения террористического акта над наследником престола этой последней страны и преступное правительство может остаться вполне безнаказанным?»

Однако «преступное правительство» Сербии на негодующий вопрос этот отвечало не менее негодующе: «Смешно и глупо подозревать сербское правительство в подготовке и проведении подлого убийства в Сараеве! Арестованные убийцы — Принцип и Габринович — только они одни и ответственны за совершенное ими злодеяние. Хотя и сербы по рождению, сербскими подданными они не являются. Они — австрийцы и на австрийской территории убили своего австрийского эрцгерцога из побуждений, им одним известных. При чем же тут сербское правительство?»

Принцип и Габринович на всех допросах отвечали одно, а именно: «Мы — анархисты. Мы не признаем и ненавидим власть. Нам давно хотелось убить какое-нибудь высокопоставленное лицо. Когда представился случай убить эрцгерцога, мы это сделали и ни малейшего раскаяния не ощущаем».

Австрийское правительство говорило, что нити преступления ведут в Белград; сербское называло эти нити сработанными на австрийских фабриках и явно гнилыми.

Положение стало неразрешимо сложным, едва только попытались представить его простым и понятным, но при всей своей сложности оно настойчиво стучалось во все двери министров иностранных дел крупнейших европейских держав, создавая сумятицу за этими высокими прочными дверями.

Министерства иностранных дел помещались в прекрасных зданиях, где было много воздуха и света, где

толстые пухлые ковры ловили и прятали звуки шагов, чтобы государственным людям ничто не мешало думать над вопросами первейшей государственной важности, недоступными обыкновенным смертным.

Сигары высших марок, как известно, способствующие накоплению и обороту мыслей, окутывали священнодействующих кадильным дымом. Выискивались и подбирались все доводы за то, чтобы Сербия могла принять австрийскую ноту уже по одному тому, что она тоже является монархическим государством, а убийство в Сараеве сильно колеблет монархическое начало...

Но совершенно другой оборот принимало дело, стоило только хоть на одну четверть часа перенестись в Белград.

Высшие и прочие чиновники, а также и военные чины Австрии, производящие следствие в соседней суверенной стране,— позвольте-с! разве это не то же самое, что обыск в частном доме при существующем законе о неприкосновенности жилища? Но для обыска в частном доме требуется письменное распоряжение властей, основанное на прямом обвинении владельца дома или квартиры в преступлении уголовном или политическом. Значит, в данном случае обвинение уже вынесено, обвинительный акт составлен. Кто же посмел составить его в отношении суверенного государства? Так могут поступать только победители с побежденными, но разве была война Австрии с Сербией, и Австрия в этой войне победила?

И кто именно, младенец или слабоумный, может поверить тому, что следствие этими высшими и прочими австрийскими чиновниками,— допустим, что им позволило это сделать сербское правительство,— будет вестись действительно беспристрастно, а не с предвзятым желанием непременно доказать, что обвинение правильно?

И кто смеет оскорблять сербских офицеров и чиновников, бросая им предвзятое обвинение в сообщничестве с сараевскими убийцами, и требовать заранее отставки и наказания их? Эти сербские офицеры вели себя героями в двух только что закончившихся балканских войнах и создали славу Сербии, а чиновники клали все свои силы на то, чтобы поддержать сербскую армию своей примерной работой в тылу.

И кто и как решится заставить старого короля Петра выступить с прокламацией, которую напишут для не-

го австрийские перья? И что он должен будет сказать своему народу? Не это ли: «Сербы, не будьте сербами!»?

Тот, кто не желает уступить в споре, обыкновенно бывает непобедим. Особенно же часто случается это тогда, когда он может подтвердить свое право силой. Силы Сербии были хорошо известны в министерствах иностранных дел. Они, конечно, не могли идти в сравнение с силами Австро-Венгрии, но за спиной Сербии,— все знали это,— стояла Россия, которая имела под ружьем в мирное время 1 400 000 человек, а в случае войны могла выставить военнообученных около восьми миллионов.

Это была логика, которая заставляла задуматься. И в обширных, строго, но прекрасно обставленных кабинетах министров нескольких весьма заинтересованных стран в Европе усиленно обдумывали проект австрийской ноты.

VI

Лето — прекрасное время года, радушное, любвеобильное, открытое, гостеприимное...

Щедрость солнечных лучей обогащает даже заведомо бедных, преображает в довольных судьбою даже привычных нытиков и золотушных...

Шубы пересыпаны нафталином и спрятаны; тело свободно дышит под невероятно легкомысленной тканью, и неудержимо тянет всех на так называемое лоно природы. Проходят самые заядлые горожане мимо крестьян в дачной местности, поливающих свою редиску, и как они им завидуют знойно!

В них просыпается давно, казалось бы, забытая детская безмятежность. Зеленое и голубое вытесняет в их душе все эти блеклые, искусственно созданные городские краски. Городской человек становится наивным в летние дни. Он начинает даже верить в разную несбыточность,— мечтать, как мечтают дети. И, что всего изумительней, этому впадению в детство бывают подвержены даже лица почтенных лет, высокого ранга, строгого образа мыслей. Даже они почему-то начинают улыбаться, приглядываться к тому, как садится солнце за дальним сосновым лесом, и восклицают: «Какой закат! Это просто картина художника — замечательная картина!»

Всегда были интернациональны курорты Европы. Немцы ездили в Италию и Францию, к чарующей голу-

бизне Средиземного моря, французы и итальянцы во множестве встречались на благоустроенных курортах Германии и Австрии; сыны туманного Альбиона и русских равнин считали своим долгом и поплавать по Средиземному морю, и посмотреть на развалины Колизея, и побывать в Ницце, и выпить положенное количество какой-нибудь, черт ее знает насколько целебной, тухлой противной воды на том или ином из прославленных немецких курортов.

И в это предгрозовое лето курорты были так же переполнены, как всегда; неукоснительно совершались прописанные немецкими врачами процедуры, на славу работали гостиницы и рестораны. На одном из немецких курортов наслаждался благами культуры член Государственного совета граф Витте, на другом — министр народного просвещения в России Кассо, на третьем — командир корпуса, расположенного на Волыни, генерал Брусилов.

Они и другие русские тайные и действительные тайные советники, генерал-лейтенанты и полные генералы читали, разумеется, в немецких газетах, что какие-то сербы убили в каком-то Сараеве австрийского эрцгерцога, но значения этому не придавали: высшие русские чиновники были обстрелянные люди. Если бы даже их начали уверять, что выстрелы в Сараеве могут привести к мировому катаклизму, они бы только пожали снисходительно плечами или даже расхохотались вполне искренне, подчиняясь чудодейственным чарам лета, усыпляющим мозг картинами заката солнца за сосновым лесом на живописных высотах, откуда вытекали прославленные на весь мир целебные воды.

Но за гибкими спинами весьма вежливых и исполнительных метрдотелей с пышными усами, чрезвычайно внимательных к богатым пациентам врачей, всего вообще громадного и тщательно подобранного штата лиц, обслуживающих щедрых на чаевые курортных, за всеми благами показной культуры иные русские высшие чиновники и военные не разглядели другой Германии,— Германии, уже припавшей к земле, чтобы сделать смертоносный прыжок в сторону Франции и спустя самое короткое время повторить подобный же прыжок, но уже в сторону России.

Как паук, невидный, но видящий, что ему надо видеть, нервно, по-охотничьи выжидающий, запутаются или нет в его хитро развешанной паутине мухи,— Виль-

гельм скрылся в норвежских фиордах только после того, как одобрил текст австрийской ноты. В Германии, с чрезвычайной любезностью принимавшей на многочисленных курортах русских, французов, англичан, шла лихорадочная подготовка к такому военному столкновению с их странами, какого еще не знала история.

Это была пока война на бумаге, война, как она рисовалась воображению.

И военный министр Германии Фалькенгайн и начальник главного штаба Мольтке, племянник фельдмаршала Мольтке, отлично разбирались в плане действий, который был начерчен Шлиффеном, умершим незадолго до того, как этот план, всесильной волею обстоятельств, должен был осуществиться.

— Только крепите правое крыло! Как можно сильнее крепите правое крыло! — говорил Шлиффен, переселяясь в мир, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий.

Главное, чего можно было достичь, выполняя план Шлиффена, была чисто цезаревская быстрота победы: «Veni, vidi, vici!» [1].

Шлиффен подражал Аннибалу, уничтожившему войско римлян в сражении при Каннах при помощи охвата их правым крылом своего войска. Правое крыло немецкой армии должно было по плану Шлиффена обойти армию французов, двигаясь через Бельгию, в то время как левое крыло должно было приковать к себе главные силы французов на линии их крепостей: Бельфор, Эпиналь, Туль, Нанси, вдоль границы с Эльзас-Лотарингией.

Поскольку в дело вводились миллионные массы, этот маневр Аннибала должен был, по замыслу Шлиффена, дать победу Германии в несколько недель: попавшая в гигантские клещи армия французов должна была капитулировать, как армия маршала Базена под Седаном. После того, не теряя ни одного дня, необходимо было перебросить победоносную, значит достигшую высшей моральной крепости, убежденную в своей непобедимости армию против русских, которые не успеют еще отмобилизоваться, и гнать их до Урала, так как никакой стойкости от этой бесформенной массы людей в серых шинелях ожидать нельзя.

---

[1] Пришел, увидел, победил! *(лат.)*

Пока германские армии всей своей неодолимой силой обрушивались бы на Францию, австро-венгерцы должны были начать наступление на русские войска на всем своем фронте, а для защиты Восточной Пруссии признавалась достаточной расквартированная там армия, по счету восьмая.

Была, правда, как бывает при составлении всех великих планов, кое-какая заминка, когда начинали в Берлине подсчитывать возможные силы двуединой монархии. Их выходило всего только два с четвертью миллиона против сербов и русских.

Но тут все надежды возлагались на быстроту, с какой австро-венгерцы должны были справиться с сербами, прежде чем появятся на фронте русские корпуса.

Аннибаловский маневр, питавший пафос Шлиффена,— охват, клещи, «Канны»,— австрийский генеральный штаб разработал и в отношении Сербии. По этому плану столица Сербии, отделенная от Австрии всего только пограничной рекою Савой, обходилась двумя армиями: одною — из Боснии в направлении на Вальево, другою — из Сирмии, через Саву, туда же, так, чтобы вся сербская армия оказалась в котле и положила оружие. Так как это, по замыслу австрийского штаба, отняло бы не больше двух недель, то против русских успела бы скопиться часть австро-венгерских сил, вполне способная если не разбить, то сдержать их, пока подоспели бы германские армии.

Что Белград превращен сербами в сильнейшую крепость, которую атаковать в лоб было бы слишком трудной задачей, это тоже учитывалось австрийским штабом: такой крепкий орех мог быть раздавлен только двойными клещами.

Австро-Венгрия имела пятьдесят миллионов населения, уступая в этом Германии не так уж много, чтобы довольствоваться армией вдвое меньше, чем немецкая! В Берлине были, конечно, известны причины этого: вечные трения между Венгрией и Австрией; слишком большая зависимость военных министров и начальников штабов от прижимистых на военные расходы парламентов; слишком короткий срок действительной службы в войсках... Но так как в Берлине решено было взять руководство австро-венгерской армией в свои руки, то ни сравнительная слабость этой армии, ни ее малочисленность никого не смущали.

VII

Главный и самый сильный враг германского могущества был по ту сторону Ламанша, но его пока деятельно отбрасывала военная клика Берлина. Это был враг не первого, а второго плана; он был силен только на морях; он не имел сухопутной армии; он сначала объявлял войну, а потом начинал готовиться к ней; он имел привычку не спешить, а выжидать успехов своих союзников, чтобы присоединиться к ним в конце кампании; его генералы и солдаты учились воевать во время войны.

Мериться силами крупных единиц германского флота с объединенным англо-французским флотом было невозможно, конечно, как бы хороши сами по себе ни были новопостроенные дредноуты и тяжелые и легкие крейсера. Но в плане войны против Англии стояла работа подводных лодок, которым придавалось ничтожное значение во всех странах, имевших флоты, кроме Германии.

Правда, количество субмарин в Германии было все-таки меньше, чем в Англии, но зато дерзания немцев в области подводной войны далеко оставляли за собой дерзания англичан.

Все планы германского генерального штаба строились на том, что война будет молниеносной. Подавляющие силы обрушатся сначала на Западный фронт, потом на Восточный и окончат войну раньше, чем раскачается Англия. К этому вела вся долговременная подготовка к войне. Силы Франции и России рассматривались как сухопутные силы союзников и вот — они разбиты. Что вы предпримете теперь, господа англичане?

Была еще карта, на которую ставили Мольтке-младший, Фалькенгайн и другие: отсутствие общего фронта у французов и русских, отсутствие единой воли во время ведения войны. Нажим со стороны французов в соединении с одновременным нажимом со стороны русских сил — это двойной нажим; одновременный удар тех и других — двойной удар. Но разве в состоянии поспеть за действиями французов русские с их сетью железных дорог? Они неминуемо запоздают.

С другой стороны, если русские очертя голову кинутся, как говорится, напролом, надеясь на свое численное превосходство, непременно окажутся не готовыми поддержать их французы, так как будут поставлены в необходимость беречь людей и семь раз станут отмери-

вать, прежде чем отрежут... Как можно было не ставить на такую карту?

В этом отношении Германия и Австрия были гораздо счастливей: дирижерская палочка Берлина отлично была видна из Вены.

Все это было подготовлено к началу войны в главном штабе Германии.

Не упущена была, конечно, и такая возможность наносить неожиданные удары врагу вслед за разведкой, как воздушный флот. Как бы мало ни было в германской армии самолетов, все-таки по числу их она занимала первое место в мире.

Ее тяжелая артиллерия была вне сравнений с кем-либо из ее противников: русская армия имела очень ограниченное число тяжелых батарей, у французов их вовсе не было!

Убийство в Сараеве совершенно неожиданно свалилось на Австрию, как и на Германию, однако этот повод к войне как нельзя более отвечал и замыслам и настроениям германской военщины. Если бы его не было, его нужно было бы заказать.

Но в то же время, как ни были самонадеянны и Вильгельм, и Мольтке, и адмирал Тирпиц, и Фалькенгайн, и Клук, и многие другие немецкие генералы, все-таки война на два фронта казалась им совершенно излишним осложнением дела: они предпочитали воевать сначала только на западе, потом только на востоке или наоборот, если вдруг представится такая возможность.

Предъявить ультиматум — значит, конечно, бросить вызов, значит, стать нападающей стороной и в первую очередь потерять Румынию как возможного союзника в борьбе с Антантой. По военной конвенции между нею и Австрией она обязалась выступить на стороне Австрии только в том случае, если на нее нападут, а не она сама объявит войну.

Как бы ни ценились низко вооруженные силы Румынии, все-таки ее гораздо выгоднее было бы иметь в стане союзников, а не врагов. Над этим приходилось тоже думать имперскому канцлеру Бетману, как и над тем, что Бельгия, сколько бы ни собрала она сил для противодействия немецким армиям, заходящим правым крылом, все-таки выставит их, а нарушение нейтралитета Бельгии с первых же дней войны вызовет разрыв отношений с Англией, которая в Бельгии привыкла видеть свой форпост.

Бетман был человек штатский. Он проходил службу, поднимаясь очень быстро со ступени на ступень, исключительно по гражданской части. Личное знакомство Вильгельма с его отцом, прусским помещиком, притом знакомство давнее, когда Вильгельм был еще только лейтенант гвардии, не могло не содействовать карьере Бетмана, который был и обер-президентом Бранденбурга и имперским статс-секретарем по внутренним делам.

Теперь в его письменном столе лежала злополучная бумажка — проект ультиматума, составленный в Вене, и надо было решить — воздержаться от решительного шага в Белграде и попытаться сохранить на несколько лет еще мир или обрушить залпы тяжелой артиллерии на европейскую культуру.

Задача была не легкая, но, смолоду склонный быть «гувернанткой», Бетман вполне добросовестно трудился над ее решением.

Шли дни. Бетман вынимал из своего стола готовый уже ультиматум, перечитывал его в сотый, в двухсотый раз и снова прятал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАТМЕНИЕ

I

Ожидалось затмение солнца в августе 8 числа.

Вычислено было, что полное затмение можно будет наблюдать в России, причем лучше на юге России,— именно в городе Феодосии, в Крыму, где солнечных дней летом, в августе, больше, чем где-либо еще.

Имя этого города запестрело во всех газетах мира. В несколько дней приобрел этот небольшой город огромную популярность. Сотни миллионов людей в разных концах земли узнали, что на его долю выпало завидное счастье: в такой-то день и в такой-то час в нем среди белого дня вдруг станет зловеще темно, почти как ночью, испуганно закудахтают куры, обеспокоенно замычат флегматичные коровы, завоют собаки, а люди сквозь закопченные стекла будут наблюдать протуберанцы.

Конечно, кроме обывателей с закопченными стеклами, полное затмение солнца должны были наблюдать

астрономы, для чего в Феодосии начали уже готовиться к установке необходимых аппаратов, а городская дума уже вынесла постановление об ассигновании трехсот рублей для приема гостей из разных стран, наплыв которых обещал быть немалым: ожидалось до полутораста ученых и до тысячи туристов.

Писали, что «от русской императорской Академии Наук приедет камергер двора его величества г. Донич», из Франции — граф де Бомплюринель, из Италии — Рико, от Кембриджской обсерватории — профессор Ньюдоль. Аргентина посылала большую экспедицию Лигской обсерватории. Кроме того, ожидались астрономы из Германии, Испании, Португалии и целый ряд частных экспедиций: везде были астрономы-любители, большей частью состоятельные люди.

Главная Николаевская обсерватория командировала в Феодосию несколько профессоров; Харьков — экспедицию от университета с ректором Нетушилом во главе... Каждый день получались в Феодосии новые и новые письма с русскими и иностранными марками, и в каждом письме была, разумеется, просьба отвести номер в гостинице и место за табльдотом.

Гостиницы в Феодосии не были так обширны, чтобы вместить всех, задумавших непременно увидеть полное затмение, тем более что летом не было недостатка в приезжих, как это повелось ежегодно. Хотя Феодосия стояла на Киммерийском, а не на Южном берегу Крыма, все-таки и там в августе поспевал столовый виноград и было прекрасное купанье. Много больших и богатых дач, выстроенных с целью улавливать этих ежегодных приезжих, были вполне подготовлены к тому, чтобы разместить тысячу-полторы «затменных», и отцам города не нужно было много беспокоиться об этом.

Но Россия оказалась в центре внимания не одних только астрономов. Откуда-то из Сибири, из Тюменского уезда, Тобольской губернии, вдруг полетели телеграммы о том, что некая Гусева серьезно ранила ножом в живот известного уже всему миру «старца» Григория Распутина. Отношений «святого старца» к царю Николаю и ко всей вообще царской семье никто за границей не понимал, как, впрочем, не понимал их никто и в самой России. Но все привыкли к тому, что это — очень высокопоставленное лицо в России, что перед ним заискивают министры, что от него зависит решение тех

или иных дел общегосударственного значения, что он, значит, способен влиять и на мировую политику.

И вот вдруг он, Распутин, оказался в очень сложный и трудный политический момент почему-то не в Петербурге, около царя и царицы Александры, которая благоговейно выслушивает все его мнения, а в Сибири, куда в России ссылают преступников.

Пусть даже он воспользовался летней теплой погодой, чтобы посетить свою родину, село Покровское, но откуда явилась там какая-то Феония Гусева, с провалившимся носом и с ножом под шалью? И куда же смотрела полиция, которая, конечно, должна была охранять царского друга? И нет ли в этом покушении на убийство руки врагов России, действовавших через Феонию Гусеву, как через наемного агента?

Тем более загадочно было это, что совпало с бегством из пределов России другого «святого», неистового царицынского иеромонаха Илиодора, причем проникло в печать, что он вывез в своем багаже рукопись, разоблачающую Распутина, и намерен продать ее тому заграничному издательству, которое больше за нее даст. Будто бы кто-то видел его в Ростове-на-Дону, где он, как полагали, сел на иностранный пароход и теперь находится уже вне пределов досягаемости русских властей.

В это же самое время — в начале июля по старому стилю — в Париже начался громкий процесс по обвинению жены бывшего премьер-министра и министра финансов Франции Кайо, Генриетты Кайо, в убийстве Кальметта, редактора газеты «Фигаро».

Если это был и не политический процесс, то во всяком случае великосветский; кроме того, и Кайо и убитый Кальметт были миллионеры.

Поводом к убийству послужило то, что Кальметт хотел опубликовать в своей газете интимные письма Генриетты к Кайо, написанные еще в то время, когда Кайо не был ее мужем. Эти письма украдены были у Кайо его первой женой, с которой он развелся, чтобы жениться на Генриетте. Помещением в газете этих писем Кальметт хотел подорвать репутацию Кайо, который, если и не был уже в то время министром, мог быть приглашен в новый кабинет министров.

Весь Париж, вся Франция, весь мир жадно начали следить за этим процессом, не пропуская ни одного слова. Всех, как самое кровное дело, занимал вопрос: может

ли женщина, защищая свое честное имя, убить того, кто хотел ворваться в ее интимную личную жизнь и опозорить через читаемую всеми газету и ее и мужа? Героиня она или преступница? Будет ли оправдана она, или осуждена?

Она была уже довольно долго в предварительном заключении, пока тянулось следствие, и из тюрьмы была привезена во Дворец Правосудия. Парижанам много говорило и то, что в тюрьме Консьержери ей была отведена камера рядом с той, которую занимала перед казнью королева Мария Антуанетта. Не та же самая, правда, только рядом с нею, но и это уже создавало какой-то ореол около Генриетты Кайо.

Как раз в то время, когда начался этот процесс в Париже, президент Пуанкаре приближался к Петербургу: громадный дредноут «La France», на борту которого был президент, сопровождаемый другим однотипным дредноутом «Jean Bart», бороздил уже последние линии вод Финского залива.

Но к моменту ожидаемого приезда президента союзного государства, как бы к этому приезду ни относились царь и правительство, в столице России произошла забастовка рабочих, размеры которой превзошли все раньше бывшие забастовки.

Трудно бывает объяснить иное стечение обстоятельств, и, тем не менее, оно почему-то кажется закономерным. Столица третьего члена Антанты — Лондон— была обеспокоена в той своей части, которая называется Сити, тем же самым вопросом, какой беспокоил и петербургские власти. На собрании магнатов капитала, лондонских банкиров квартала Сити, окончившемся, конечно, банкетом, представитель правительства Ллойд-Джордж должен был сказать речь, посвященную новой силе, назревшей в жизни Англии,— рабочим, сплоченным в союзы.

Это был отчет ставленника подлинных хозяев могущественной страны перед теми, кто требовал этого отчета. Одно дело давать объяснения в парламенте и совсем другое, когда министр приглашен на собрание капиталистов, у которых свои интересы и свой язык.

Магнаты капитала были обеспокоены,— их надобно было успокоить. Они требовали объяснения таким странным явлениям, как кризисы в промышленности и тучи, которые, по словам газет, сгущаются на Ближнем Востоке.

Речь Ллойд-Джорджа была длинна и обстоятельна: он говорил с деловыми людьми. Он не смог объяснить, впрочем, откуда берутся кризисы, он сказал, что они необъяснимы, зато нарисовал, в цифрах конечно, утешительную картину роста оборотов внешней торговли Англии за последние двадцать лет с 680 миллионов до 1400 миллионов фунтов стерлингов, причем особенно большой прирост выпал на последние годы.

Выходило, что кризисы остаются кризисами, а доходы доходами, что кризисы так же неизбежны, как и рост предприятий. Однако Ллойд-Джордж должен был признать, что существует большая опасность благополучию квартала банкиров. Она надвигалась с двух сторон: как извне, так и изнутри страны.

— В прошлом году,— говорил он,— война на Ближнем Востоке создала затруднения и угрозу европейскому миру; в настоящий момент там неспокойно снова. Но мы надеемся, однако, что здравый смысл поможет преодолеть затруднения. Очень, очень прискорбно, что народы тратят такую огромную часть своего достояния на войны! В течение последних десяти лет на войны и на приготовления к ним истрачено свыше четырех с половиной миллиардов фунтов стерлингов! Финансисты могут положить конец этому росту вооружений, который грозит катастрофой!

Финансисты Сити переглянулись. Эти слова не могли быть продиктованы наивностью,— ведь говорил министр, притом едва ли не самый выдающийся из министров, однако почему же они сказаны? А Ллойд-Джордж продолжал:

— Нам угрожает волна гигантских забастовок, перед которыми все бывшие до сего времени покажутся сущими пустяками. Рабочие создали колоссальную организацию. Железнодорожные и транспортные рабочие, а также углекопы объединились в одну Федерацию, численностью в два с третью миллиона членов. Они уже предъявляют теперь свои требования, а в ближайшем будущем намерены пустить в ход всю силу своей организации.

Это было существенно. Это в головах финансистов присчитывалось как веское слагаемое к тому, что они только в этот день могли узнать из немецких газет.

Тон статей влиятельнейших газет, как «Berliner Tageblatt», «Vossische Zeitung», «Kölnische Zeitung», был весьма вызывающ.

«Между желанием России заручиться английской морской поддержкой на случай войны и согласием на это Англии — дистанция огромного размера,— писала одна из этих газет.— Это право Англии — решать вопросы внешней политики по своему усмотрению. Мы, однако, должны сказать, что морская конвенция между Англией и Россией воскресила прежнее недоверие между Англией и Германией».

Несравненно резче был тон, взятый в отношении России.

«Мы достаточно сильны,— кричали две другие газеты,— чтобы отнестись равнодушно к русскому хвастовству своими колоссальными вооружениями. Если Франция верит в страшную силу России, то пусть она верит,— нам незачем ее разубеждать. 1870 год дает нам право верить в непобедимость Германии... Франция напоминает детей в лесу, которые, желая скрыть свой страх, распевают песни о силе своих старших братьев».

II

То, от чего предостерегал английских финансистов Ллойд-Джордж,— движение рабочих масс, «волна гигантских забастовок»,— происходило уже в Петербурге. Начавшись как поддержка бастовавших рабочих в Баку, условия жизни которых были ужасны, они потом не затухали. Испытанные приемы «усмирения» — стрельба и аресты, приводившие к жестоким избиениям арестованных, не прекращали, а, напротив, расширяли движение, поднятое рабочими в защиту своих прав.

О тяжелом положении рабочих Петербурга, особенно на таких казенных военных заводах, как Путиловский, Обуховский, «Новый Лесснер», разумеется, не раз подымался вопрос в Государственной думе депутатами фракции большевиков, но, по выражению одного из них, «как бессмысленно прививать оспу телеграфным столбам, так же бессмысленно говорить о положении рабочих в черносотенной помещичьей думе»; между тем по одной из статей закона, изданного в 1905 году, за стачки рабочие не могли привлекаться к ответственности.

Действительность показала обратное, и вот заводы, имевшие по несколько тысяч рабочих, опустели, улицы же Петербурга стали весьма многолюдны. Дошло до того, что полиция, как ни стреляла, вынуждена была бежать, осыпаемая градом камней, бастующие останавли-

вали уличное движение, снимали кондукторов вагонов трамвая, не пропускали автомобилей. Магазины и лавки закрывались сами, и приказчики присоединялись к бастующим, а казенные винные лавки и трактиры закрывались рабочими. Почти все фабрики и заводы стали.

В день приезда Пуанкаре, 7 июля, число бастовавших рабочих в Петербурге дошло до 130 тысяч. Полиция уже не в состоянии была рассеять их; она получила от начальства задачу более скромную: не пропускать рабочие массы на Невский проспект — парадную улицу Петербурга.

Как раз на воскресенье пришлось 6 июля, и кстати было украсить по-праздничному и Петербург и Кронштадт; всюду на домах заколыхались русские и французские флаги, щиты, гирлянды, особенно же щедро расцвечена была набережная Невы, тоже деятельно охранявшаяся от рабочих масс и полицией и нарядами из частей гарнизона.

Так вышло в понедельник 7 июля, что одна половина Петербурга, значительно меньшая, но сановная и чиновная, а также депутации от французской колонии и корреспонденты газет стремились с утра к набережной, откуда на небольших пароходах отправлялись в Кронштадт. На одном из пароходов были исключительно только корреспонденты газет: русских, французских, английских, германских, австрийских, итальянских.

Как раз в этот день в Белграде все еще переживали похороны русского посланника Гартвига, умершего на своем посту, защищая интересы Сербии от натиска Австрии.

Человек тучный и темпераментный, он беседовал по поводу сараевского убийства с австрийским посланником, но тема беседы была такова, что трудно было соблюсти присущее дипломатам спокойствие. Гартвиг умер от разрыва сердца, и эта смерть отозвалась во всех сербских сердцах так, что Белград не видел еще более пышных похорон.

Когда в Петербурге готовились встречать Пуанкаре, в Белграде хоронили русского посланника так, будто хоронили половину сербских надежд.

Дежурный петербургский дождик стремился занавесить даль, но, точно убедясь, что все равно, хоть и попортит парадные костюмы, не испортит парадности

встречи, перестал, и пароходы подошли к Кронштадту при вполне сносной погоде.

На малом кронштадтском рейде, украшенные флагами, праздничные, стояли крейсеры: «Богатырь», «Громобой», «Паллада», «Баян», «Адмирал Макаров», а с запада по заливу — уже видно было — шли самым медленным ходом, чтобы не прийти раньше времени, громадные, в двадцать семь тысяч тонн, дредноуты «La-France» и «Jean Bart» в сопровождении эсминцев.

Встреча была расписана по часам. Дредноуты должны подойти ровно в два часа по петербургскому времени, но двух еще нет, поэтому они еще движутся... Но обменяться салютом с крепостью они уже могут, и вот взлетают там, на головном дредноуте, круглые белые дымки и раздается мощный залп. С одного из фортов крепости, ближайшего к дружественным судам, отвечают подобным же залпом: первое «здравствуйте» сказано с обеих сторон.

На батареях форта выстроились солдаты. На одной из мачт форта высоко поднят флаг с блестящими золотыми буквами «RF» («Republique Francaise»), на другой мачте — андреевский флаг.

Совсем уже близко подошли суда-гости, и новый салют перекатами потряс воздух: это салютовала русская эскадра.

Сотни биноклей направлены были на палубу дредноута «La France», чтобы разглядеть президента и Вивиани, который его сопровождал. Дредноут двигался еле заметно (все еще не было двух часов). Салюту русской эскадры ответил другой великан — «Jean Bart».

Но надо же было начать выражения восторга, рвущегося неудержимо и из людских сердец, не только из жерл огромных орудий. Закричали «ура» и русские и французские матросы. Грянули оркестры с французских судов: «Боже, царя храни!» Им в ответ белые шеренги моряков на палубах русских кораблей во всю силу, какую только могли взять эти отборные бравые люди, кричали: «Вив ля Франс!»

В бинокли отлично было видно и Пуанкаре и Вивиани. Оба невысокого роста, оба во фраках и цилиндрах, они отличались друг от друга тем, что у первого была небольшая бородка, подстриженная а ля Буланже, и орден Почетного легиона слева, а у второго бритый подбородок и полное отсутствие орденов.

Вивиани казался даже и при таком горячем приеме несколько погруженным в государственные мысли: он по-наполеоновски сложил руки на груди и глядел на все кругом невнимательными глазами. Зато курносый Пуанкаре оживленно раскланивался, приподняв цилиндр, с публикой пароходов, теснившихся к борту дредноута.

Однако стрелки часов подходили к двум, и новый салют громадных пушек «Жана Барта» отметил подход императорской яхты «Александрия», шедшей из Петергофа.

Катер, спущенный с яхты, небольшой, но все же вместительный и прекрасной отделки, пошел за высоким гостем. В катере сидели морской министр адмирал Григорович и лица, назначенные «состоять при особе» президента: генерал-лейтенант Пантелеев и флигель-адъютант Скалон.

Конечно, их визит к Пуанкаре не был долгим,— президента ждал император,— и не больше как через десять минут президент, Вивиани и другие французы, составлявшие свиту президента, спускались уже по трапу, чтобы сесть на катер, а Николай, одетый в морскую форму и тоже окруженный своею свитой, ожидал его на борту «Александрии». В его свите были: старый министр двора граф Фредерикс, министр иностранных дел Сазонов, русский посол в Париже Извольский и французский посол в Петербурге Палеолог.

III

Что могли сказать на банкете вечером в тот же день, в Петергофе, главы двух союзных держав, когда поднимали бокалы? Думая о войне, они говорили, конечно, о мире.

— Господин президент! — так начал свой тост Николай.— Позвольте мне вам сказать, как я рад обратиться к вам здесь со словами: «Добро пожаловать!..» Издавна объединенные взаимной симпатией их народов и общностью интересов, Франция и Россия уже скоро четверть века поддерживают тесную связь для успешнейшего достижения одной и той же цели, заключающейся в том, чтобы охранять свои интересы, содействуя вместе с тем сохранению равновесия и мира в Европе. Я не сомневаюсь, что, оставаясь верными своему мирному идеалу и опираясь на испытанный союз, наши две страны будут продолжать пользоваться благами мира,

обеспеченного полнотой их сил, и еще более укреплять тесные узы, которые их связывают. С этим искренним пожеланием я поднимаю свой бокал за ваше здоровье, господин президент, равно как за благоденствие и славу Франции!

Придворный оркестр грянул французский гимн, после чего поднялся для ответной речи Пуанкаре.

Начав с благодарности за оказанный ему прием, Пуанкаре говорил о том же самом, о чем только что сказал царь: этого требовало древнее искусство дипломатии, этого требовали и обстановка и серьезность политического момента.

— Около двадцати пяти лет прошло с тех пор, как оба наши государства, в ясном предвидении своих судеб, объединили деятельность своей дипломатии. Счастливые результаты этого постоянного сотрудничества каждый день дают себя чувствовать в мировом равновесии. Основанный на общности интересов, освященный мирными стремлениями обоих правительств, опирающийся на армии и флоты, укрепленный продолжительным опытом и дополненный ценными дружбами, союз наш, инициатива которого принадлежит славному императору Александру Третьему и президенту Карно, постоянно с тех пор давал доказательства своего благотворного влияния и непоколебимой крепости. Ваше величество может быть уверено, что Франция, как до сих пор, так и впредь, в тесном сотрудничестве со своей союзницей будет трудиться над делом мира и цивилизации, на благо которых оба правительства и оба народа не переставали работать...

Когда Пуанкаре кончил перечислять, за кого он пьет, раздался русский гимн — «Боже, царя храни!». Этикет был соблюден.

Банкет в Петергофском дворце в этот знаменательный день был исключительно пышен и многолюден.

Все великое множество великих князей, княгинь и княжен было на банкете. Конечно, это вышло не преднамеренно, но стороннему наблюдателю могло показаться, что бесчисленные представители дома Романовых явились сюда, чтобы убедиться в прочности своего положения: над Европой, в частности над Россией, нависла черная грозовая туча.

Тут среди них особенно выделялся великий князь Николай Николаевич, командующий гвардией и войсками Петербургского военного округа. Он был наиболее вну-

шительным, имея при громадном росте безупречно воинственную осанку.

Кроме Сазонова и Извольского, за столом сидели и председатель совета министров Горемыкин, и граф Коковцов, и все министры, и все придворные дамы... «Головка» России! Однако тут же были и все три дочери князя Николая Черногорского: Анастасия, Милица и Вера, успевшие породниться с домом Романовых, так что если не Сербия, то Черногория имела в их лице своих представительниц на банкете.

Тут только разве малолетнему наследнику российского престола не была известна нота, которую намерено было предъявить правительство Австрии правительству Сербии, а также и то, что Сербия подобной ноты принять не может, что для нее это равносильно не бесчестию даже, а почти самоубийству. В то же время тут почти все знали о массовых забастовках в столице и, помня 1905 год, не решались отнестись к ним с легкомыслием.

Тут была русская знать, но где знатность, там и богатство, а где богатство, там имеется очень тесная связь с биржей, чутким политическим барометром всех стран. Между тем как раз утром в этот день получены были телеграммы, что на берлинской бирже началась паника в связи с боевым тоном официозных берлинских газет, взятым в отношении как Сербии, так и России и Франции.

Газетные статьи вызывали падение ценных бумаг, а падение бумаг давало пищу для новых вызывающих статей, цель которых была запугать и правительство Сербии и тех, кто думает ему помогать с оружием в руках.

Писали даже и так в одном органе немецких финансистов:

«Стоило бы обнажить меч, чтобы упредить тот момент, когда Франция и Россия достигнут расцвета своей силы. Впрочем, германское правительство и народ обладают достаточно крепкими нервами, чтобы не пугаться картин будущего. Конечно, если Сербия, опираясь на поддержку России, откажется выполнить волю Австрии, то пушки заговорят сами собою. В этом нет и не может быть сомнений».

Понятно поэтому, что на банкете в Петергофе 7 июля было больше искусственного подъема, чем прочной уверенности в том, что этот многолюдный банкет не будет последним перед вплотную надвигавшейся войной и что

пушки не «заговорят сами собою», быть может, через какую-нибудь неделю.

В предчувствии этого разговора пушек разговор в громадном Петровском зале дворца не мог не вращаться около острых тем, выдвинутых в последние дни.

Даже для многочисленных титулованных дам за столом было ясно, что обычные великосветские интересы теперь должны уступить место гораздо более серьезным интересам политики. Когда одна из царских дочерей — Анастасия—начала было довольно живо передавать своей соседке слева, великой княгине Марии Павловне, как она была испугана сверхъестественно длинным шлейфом платья королевы румынской Елизаветы, известной в литературе под псевдонимом Кармен-Сильва, то сидевшая рядом с нею мать, императрица Александра Федоровна, сделала такие большие глаза и так выразительно пожала покатыми плечами, что рассказчица оборвала на полуслове.

За столами, составленными в виде буквы «П», сидело не менее пятисот человек, и среди них бóльшая половина таких, которые ведали важнейшими отраслями государственной жизни, но в то же время были светски воспитанными людьми, то есть умели не затрагивать, будучи в обществе, вопросов служебного характера.

Однако вопросы эти, помимо их воли, успели уже вырваться из тиши их кабинетов, да, наконец, и представителям одного ведомства хотелось приватно узнать, что творится в недрах другого ведомства, чтобы нарисовать для себя сколько-нибудь правдивую картину России, какова она есть теперь, когда, по всем вероятиям, наступают для нее труднейшие дни, а присутствие на обеде французов заставляло, конечно, сопоставить силы и возможности двух союзных стран, не забывая при этом и третьей «почти союзной» страны — Англии.

Как раз в эти дни Ирландия очень сильно зашевелилась, отстаивая свои права на промышленный округ Ульстер, причем вопрос этот был выдвинут ирландскими националистами в связи с вопросом об ирландской автономии — гомруле. Ввиду неустойчивости английских консерваторов начались опасения гражданской войны, и в дело вмешался сам король Георг V, хотя такое вмешательство противоречило законам английской конституции.

В Албании, служившей яблоком раздора для трех соседних с нею держав — Австрии, Сербии и Италии, все

шире развертывалась гражданская война, и ставленник Австрии и Германии, кузен Вильгельма, принц Вид, готовился уже бежать из своей столицы Дураццо в Австрию. А проект самостоятельности Албании был создан немецкими странами в тех целях, чтобы лишить Сербию выхода к Адриатическому морю, поэтому к тому, что делалось в Албании, не могли равнодушно относиться и сербы, и русское правительство, и высокие гости из Франции.

Разговоры об этом, как и о многом другом, неотбойно серьезном, вроде забастовок на военных заводах в Петербурге, начатых как раз когда встал во всей своей мрачности вопрос о войне, и об очень плохом урожае в России, в связи с засухами, сусликами, жуками-кузьками, саранчой и другими вредителями полей, не могли не возникать здесь и там за обширным столом, несмотря на изобилие придворных и великосветских дам, назначение которых было разряжать густоту атмосферы.

Прекраснейшей темой для них был процесс Генриетты Кайо. Неужели французский суд пошлет на гильотину ту, которая своим судом расправилась с этим интриганом Кальметтом? Этого не хотели допустить русские высокопоставленные дамы. Из уст французских гостей непосредственно они добивались услышать, что адвокат Генриетты, знаменитый Лабори, победит адвоката наследников Кальметта Шеню, что судьи Франции докажут, что они — неподкупно честные люди, и Генриетта будет оправдана.

Говорили за столом и о призе для авиаторов, объявленном князем Абамелек-Лазаревым за перелет из Петербурга в Севастополь или Одессу, который должен быть совершен за одни сутки. А в связи с этим призом вспоминали и другой, международный, для авиатора любой страны, который за девяносто шесть суток сможет совершить полет вокруг земного шара. Этот приз был в двести тысяч долларов и назначался правительством Соединенных Штатов. Но так как соискателей этого приза ни в одной стране не нашлось, то как раз в один из дней, ближайших к 7 июля, проникло в печать сообщение, что срок этого величественного и, разумеется, крайне рискованного перелета увеличен до ста двадцати дней, а приз — в десять раз, то есть — два миллиона долларов.

Приз, конечно, большой, но попробуй-ка заработай его, когда авиаторство — такое опасное ремесло, что почти повсюду ежедневно аварии не только в воздухе, но и на земле при спуске, даже при подъеме аэропланов,

и только и читаешь в газетах что о смерти и похоронах авиаторов как штатских, так и военных.

Вспоминалась в разговорах и женщина-авиатор, которая была француженка — кто же еще!.. Из своего аппарата, в котором испортился мотор, она выбросилась с парашютом в руках, но парашют не раскрылся, и вот, в виду массы публики, падала она, как камень, и разбилась...

Паника на берлинской бирже, где бумаги летели вниз на шесть, на восемь, даже иные на десять процентов, явилась общей темой разговоров. Что началось в Берлине, непременно должно было перекинуться и в Париж, и в Лондон, и в Петербург: законы биржи для всех одни, и этого не мог опровергнуть новый русский министр финансов Барк, человек глубоко штатский, но имевший в непосредственном подчинении корпус пограничной стражи в пятьдесят тысяч человек. В то время как иным дамам казалось, что министр, облеченный такою властью, мог запретить играть на понижение на петербургской бирже, сам он утверждал категорически, что запретить этого нельзя...

Обед, начавшийся в половине восьмого, затянулся до десяти, но солнечный свет не слабел: был разгар белых ночей.

Знаменитые петергофские фонтаны около дворца и дальше, в парке, изумляли прихотливой игрой нежных красок. Колоссальный бронзовый Самсон привлек внимание Вивиани, вице-адмирала Ле Бри и других французов, сопровождавших президента, уже бывшего раньше в Петергофе.

Гостям, с которыми после недолгой отдельной беседы простился царь, отвели комнаты во дворце, отделанные под старую слоновую кость и предназначенные исключительно для представителей дружественных царствующих домов в случае их приезда.

IV

Бывший министр иностранных дел и премьер-министр Пуанкаре покинул свою страну в очень ответственный момент и не для того, чтобы попусту терять время. Со дня на день можно было ожидать предъявления Австрией ультиматума Сербии, а этот шаг мог предоставить, разумеется, как России, так и Франции не много времени

для обсуждения австрийских требований, а точнее, для стягивания войск к своим угрожаемым границам.

Между тем Пуанкаре должен был еще успеть побывать в столице Норвегии, которую, несомненно, склонял на свою сторону Вильгельм,— иначе зачем ему было туда и ехать.

Яснее, чем кому-либо другому, именно Пуанкаре видно было, что в сущности мельница, на которую льют воду европейские страны, мельница грядущей войны работает безостановочно, что следствие по делу убийства, которое ведет правительство Австрии, только предлог для того, чтобы привести в известность все пружины войны и расставить их по своим местам.

План Шлиффена о захождении правым крылом против Франции через Бельгию был, конечно, изучен Пуанкаре, и ему важно было убедиться в том, что русские стратеги все поставят на карту, чтобы только сорвать этот взлелеянный Берлином план, двинув громадные силы в Восточную Пруссию.

Согласованность действий — вот чем обеспокоен был Пуанкаре, хотя о том же самом беспокоился уже приезжавший в Россию за год перед тем маршал Жоффр и план войны с центральными державами подробно обсуждался уже тогда: нужно было держаться наготове, имея такого предприимчивого и чересчур полнокровного противника, как Германия.

Лето — время маневров. Близ Красного Села широко раскинулся лагерь гвардейских частей, имевших строгого командира в лице Николая Николаевича, старавшегося быть хранителем традиций своего деда Николая I. У такого командира гвардейский корпус, разумеется, был образцовым по строю, и высочайший объезд войск Красносельского лагеря, на котором присутствовали Пуанкаре и Вивиани, не мог не пройти блестяще. Что люди, что кони — тут все было отборное, цвет русского войска, как бы предназначенный к тому, чтобы радовать даже самый придирчивый и взыскательный военный глаз, а президент и премьер-министр Франции были к тому же штатские люди.

Но у этих штатских людей успело уже создаться представление о будущей войне, как войне преимущественно артиллерийской, поэтому блестящие кавалерийские полки гвардии казались им несколько устаревшим уже родом войск, больше декоративным, чем деловым, хотя они и не скупились на слова одобрения.

Декоративным представлялся и Николай Николаевич, точно вынутый из музея старины, когда предводители войск должны были прежде всего иметь внешность, поражающую воображение.

О том, что в случае войны этот великий кнзяь может получить высокий и ответственный пост верховного главнокомандующего, им было, конечно, известно, и они видели, что он превосходит ростом и строгостью даже маршала Жоффра, богатыря видом, но им хотелось бы получше узнать его как стратега.

Он был уже в почтенных летах, с живописной сединой на висках и в бороде, и это можно было принять за ручательство того, что он не сделает опрометчивых шагов, но он казался все-таки слишком горячим для стратега, а главное, прямолинейным.

В то же время и Пуанкаре и Вивиани соглашались с тем, что они слышали от французского посла в России Палеолога, что лучшего главнокомандующего среди русских генералов найти нельзя по той причине, что он — великий князь и все-таки из всех вообще великих князей, которых очень много, наиболее сведущий в военном деле. Что же касается холодного и обширного ума, то им, разумеется, должен обладать тот, кто при подобном главнокомандующем назначен будет состоять начальником штаба, а им мог быть только начальник главного штаба генерал Янушкевич.

Янушкевич был, конечно, тоже в Красном Селе,— представительный, еще не старый, красивый, полный энергии человек, светских манер, прекрасно говоривший по-французски. Между прочим, Палеолог не утаил от президента и премьер-министра, что в свое время, когда нужно было выбрать из двух кандидатов на пост начальника главного штаба, Янушкевич был предпочтен другому генералу — Алексееву — только потому, что гораздо более бегло изъяснялся по-французски. Военный министр Сухомлинов так и говорил царю об Алексееве: «Помилуйте, ваше величество! Ведь начальник нашего главного штаба должен будет непосредственно сноситься с начальником французского главного штаба,— поедет в Париж присутствовать на маневрах, и как же он будет там себя чувствовать, плохо говоря по-французски? Совсем другое дело генерал Янушкевич: этот говорит на французском языке, как на родном».

Сам Сухомлинов тоже хорошо говорил по-французски, в чем имел случай еще раньше этого приезда убе-

диться Пуанкаре: он видел, что этот еще очень подвижной для своих довольно преклонных лет бородатый генерал держит себя как ловкий придворный, но ему были мало известны чисто военные достоинства как ставленника Сухомлинова — Янушкевича, так и самого Сухомлинова, тем более что он знал, как легко для иных в последнее время стало получить в России министерский портфель.

Во время объезда войск над лагерным сбором летали внушительный по размерам «Илья Муромец» и отряд из нескольких аэропланов.

Царский шатер был раскинут на военном поле, и перед ним к окончанию объезда полков собралось до тысячи человек музыкантов всех оркестров гвардейской части. Из шатра Пуанкаре и его свита могли оценить концерт, исполненный с присущим гвардейским оркестрам большим искусством.

Наконец, в шесть часов вечера, состоялась «заря с церемонией», которая тоже должна была произвести впечатление на высокого гостя из союзной страны и его свиту.

В Красном Селе был дворец Николая Николаевича, и, пока президента угощали музыкой и «зарей с церемонией», в этом дворце люди сбивались с ног, чтобы приготовить все, что нужно, для обеда весьма многочисленных чинов свиты царя и свиты президента, министров, лиц высшего командного состава,— всех, кто был вместе с царем на военном поле, и, разумеется, самого царя с семьею.

Это был не такой торжественный, конечно, обед, как в Петровском зале Петергофского дворца, не пятьсот, а не более ста человек разместились тут за составленными столами, но все же это был значительный шаг вперед в деле сближения двух союзных стран и взаимного понимания их интересов в тревожный для обеих момент.

Если Пуанкаре и Вивиани наблюдали каждый про себя возможного в близком будущем верховного главнокомандующего вооруженными русскими силами, то и сам Николай Николаевич стремился получше разглядеть их, а через них уяснить себе, так ли единодушна будет Франция во время нападения на нее мощной соседки, как этого потребует дело обороны.

Он как бы пользовался тем, что был хозяином здесь, в своем дворце, а царь, его племянник, был только гость,— поэтому иногда, как бы забываясь, вел себя не-

сколько бравурно, по-хозяйски, причем раза два, точно в свое оправдание, сказал:

— Я — солдат, а не политик, прошу меня извинить...

Так, ему вдруг в середине обеда захотелось узнать о Жоресе в предводимой им партии.

— Я обратил внимание на то,— говорил он, обращаясь к Вивиани, сидевшему рядом с ним, справа, в то время как Пуанкаре сидел слева от него, рядом с царем,— на то, как вел себя Жорес, когда в парламенте возбужден был вопрос о кредите на поездку вашу в Россию, мсье Вивиани. Должен признаться, мне это не понравилось.

— Но ведь Жорес и его партия не могли высказаться как-нибудь иначе, ваше высочество,— с оттенком недоумения на твердом горбоносом лице ответил Вивиани.— Было бы даже неожиданно и очень странно, если бы Жорес вдруг вздумал вотировать за кредиты.

— Очень хорошо, мсье Вивиани, но я хотел бы знать: как могут себя вести подобные Жоресу в случае, если начнется война? — с живейшим интересом спросил Николай Николаевич.

— Как добрые французские граждане, ваше высочество,— тут же ответил Вивиани, несколько будто бы даже задетый этим вопросом.

Через некоторое время Вивиани услышал от него новый недоуменный вопрос, только теперь уже не о Жоресе, а о Кальметте и его миллионах.

— А что этот Кальметт, а? Он ведь, между нами говоря, был, кажется, порядочный негодяй, этот Кальметт, а, мсье Вивиани?

— Он был известный журналист, главный редактор «Фигаро»,— уклончиво ответил Вивиани.

— Да, да, это мне, конечно, известно, да... Но что мне гораздо менее известно, так это вопрос о том, откуда он мог взять свои двадцать пять миллионов франков? — несколько излишне громко, как показалось Вивиани, спросил великий князь.

— Нажил литературным трудом, ваше высочество.

— Ну, полноте,— «литературным трудом», мсье Вивиани! — готовясь как будто даже расхохотаться, воскликнул Николай Николаевич, заметно побагровевший от вин.— Двадцать пять миллионов нажить честным литературным трудом ведь нельзя, согласитесь сами!

— Трудно, конечно,— снова уклончиво ответил Вивиани,— но при известном таланте Кальметта...

Он не докончил, разведя вместо слов руками и улыбнувшись, а великий кнзяь продолжал безжалостно:

— Талантливыми журналистами богата прекрасная Франция, это бесспорно, однако я, прошу извинить мне мое невежество, не знаю другого такого Кальметта из числа французских журналистов. Он, несомненно, помогал кое-кому кое в чем, а? — за что и получил кое-что, а, мсье Вивиани?

— Кайо ведь тоже владеет миллионным состоянием, ваше высочество,— напомнил, уклоняясь от ответа, Вивиани.

— Да-да, но у него это состояние от отца, оно просто получено по наследству, а что касается Кальметта, мне говорили, например, что он получал большие деньги из Венгрии, а также из Германии, от Дрезденского банка,— то есть из стана врагов Франции, а? За что же именно?

И, сказав это и неотрывно глядя на собеседника, Николай Николаевич принял поднесенный ему на подносе стакан его любимого бордо.

Однако Вивиани остался верен себе и тут. Он только слегка пожал плечом и ответил снова весьма уклончиво:

— Несомненно, это будет выяснено на суде, ваше высочество, если только суд найдет нужным копаться в прошлом человека, уже расстрелянного, хотя и частным лицом.

Он постарался, конечно, улыбнуться после того, что сказал этот Вивиани, но вице-адмирал Ле Бри, сидевший напротив, счел нужным пойти навстречу хозяину чудесного дворца и изысканного обеда и, как только взглянул на него Николай Николаевич, сказал почтительно:

— Что касается меня, ваше высочество, то я вполне уверен, что суд именно этому вопросу уделит достаточное внимание. Вообще этот процесс очень хороший урок для журналистов.

— Я думаю, я думаю, что очень хороший, мсье Ле Бри, но он несколько запоздал, этот урок! — весьма выразительно подчеркнул Николай Николаевич, а так как сам он тоже несколько запоздал осушить свой стакан, который держал в руке, то, сказав вместо тоста: «За правосудие!», он буквально влил в себя вино так, что нельзя было заметить, чтобы он делал при этом глотки.

Это был свойственный только ему одному способ пить вино; в этом он был вполне оригинален и даже непревзойден.

Оригинален был по сравнению с обедом в Петергоф-

ском дворце и весь вообще обед в Красносельском дворце великого князя, хотя на нем, как и там, в Петергофе, присутствовал царь с семьей.

Этот обед был кое в чем обдуман заранее, заметно отступая от обычного.

Точно продолжался тот воинственный пыл, которым должны были пропитаться насквозь все участники обеда на только что покинутом ими лагерном поле, военный оркестр на хорах играл один за другим французские марши, чередуя их так, что чаще других исполнялся марш Самбры и Мезы и особенно Лотарингский марш.

На обеде были все великие князья, отличавшиеся своей воинственностью, однако не менее воинственными оказались, как это увидел Пуанкаре, и жены двух великих князей братьев Николая и Петра Николаевичей — Анастасия и Милица, дочери князя Николая Черногорского.

Одна из этих смуглых красавиц, хозяйка дворца, Стана (Анастасия), не утаила от президента Франции только что полученную ею от отца шифрованную депешу, в которой было несколько знаменательных фраз: «Война начнется еще до конца этого месяца... От Австрии ничего не останется... Франция отвоюет обратно Эльзас и Лотарингию... Наши войска встретятся в Берлине...»

Другая, Милица, торжественно поставила перед Пуанкаре роскошную вазу с чертополохом, причем сказала вдохновенным тоном:

— Это символ, господин президент! Этот чертополох я привезла из Лотарингии... Он начал расти там, на чудесной французской земле, с семьдесят первого года... Мы здесь всем сердцем верим, что Франция, руководимая вами, господин президент, вырвет вон с корнем этот колючий немецкий сорняк в этом же году!

Горячо сказанные слова прозвучали как тост, который Пуанкаре выслушал, поднявшись с места. Вслед за тем раздался Лотарингский марш. Тост произвел впечатление и был сердечно запит, а ваза с чертополохом так и осталась на столе перед президентом до конца обеда, хотя царь и Александра Федоровна обменялись по этому поводу красноречивыми взглядами и пожиманием плеч, затрудняясь все же определить, в какой степени этот заранее обдуманный «черногорскими пауками», как звали они в интимных разговорах обеих сестер, экстравагантный выпад нарушает придворный этикет.

Однако предстояли шаги огромнейшей важности, хотели или не хотели их сделать здесь, в Петербурге и его

живописных окрестностях — они все равно уже делались другими. Шаги эти были уже слышны, тяжелые шаги всеевропейской войны.

Однако не всё же одни только полковые оркестры, хотя бы и в тысячу труб и барабанов,—нужно было показать главе союзной страны, на какой высоте стоят веселящие слух и глаз вокальное и хореографическое искусства России, и вот после обеда в Красносельском театре состоялся спектакль.

Столичный оперный театр блеснул тут Смирновым и Липковской, выступавшими в одном из действий старой добротной оперы «Лакмэ», и столпами своей балетной труппы — Кшесинской и Преображенской.

Заслуженная артистка Кшесинская выступила в балете «Фея роз», другая заслуженная — Преображенская — в дивертисменте.

Конечно, из всех выступавших наибольший успех выпал на долю Кшесинской, потому что и высокий французский гость и вся его свита успели уже узнать, что она — обладательница гораздо большего капитала, чем казненный частным образом Кальметт, что она имеет и дворец в Петербурге, выстроенный для нее на средства одного из великих князей, Сергея Михайловича, состоящего инспектором артиллерии, а до Сергея Михайловича (который был, разумеется, тоже и на обеде у своего кузена и в театре) на эту звезду русского балета широко тратились другие великие князья.

Какому же государству не лестно было иметь такого союзника, который мог выставить в поле в первые же месяцы войны восемь миллионов обученных военному искусству солдат и мог затратить несколько десятков миллионов золотых рублей на содержание всего одной только балерины Кшесинской?!

V

А в то время, как в Красном Селе выяснялись возможности строгой согласованности военных действий, в случае если войны предотвратить будет никак нельзя, в Петербурге рабочие наглядно показывали всем, какая сила могла бы раз и навсегда предотвратить войны во всем мире: ведь в огромном большинстве это были рабочие заводов, занятых выполнением военных заказов, притом заводов очень крупных: Путиловский, например, имел двенадцать тысяч рабочих.

Нечего и говорить, что царь и министры, стремившиеся показать президенту союзной страны товар лицом, были чрезвычайно сконфужены выступлением рабочих, имевших, несомненно для всякого, политический характер. Поэтому еще в день приезда Пуанкаре вечером министр внутренних дел Маклаков совещался с петербургским градоначальником, какие нужно принять меры.

Были напечатаны и расклеены всюду воззвания, что меры будут приняты очень крутые, однако воззвания не помогли и число бастующих дошло до полутораста тысяч.

Появились даже и баррикады на улицах, особенно на Выборгской стороне: остановленные вагоны трамвая, бочки, столбы — все, что нашлось под рукой, загромоздило поперек улицы, ограждая митинги здесь и там от наскоков конной полиции.

Но волна забастовок прокатилась и по многим крупным промышленным городам России.

В Риге начали бастовать такие большие и важные в военном отношении заводы, как «Проводник», «Унион», «Феникс»; забастовали также и портовые рабочие, а всего бастовавших было до пятидесяти тысяч. В Ревеле бросило работы на трех судостроительных заводах около десяти тысяч человек. В Николаеве забастовали рабочие судостроительного завода. Бастовали в Одессе, в Тифлисе, в Самаре, в Киеве...

Этот вопрос — не разовьется ли забастовочное движение в грозную силу, которая может сорвать мобилизацию России, задавали русским министрам и Пуанкаре и Вивиани, но в ответ услышали, что подобные опасения совершенно напрасны, что забастовки носят чисто экономический характер и прекратить их зависит только от действий министра торговли и промышленности Тимашева.

Зато гостям из Франции предоставлено было присутствовать на высочайшем смотру войскам Красносельского лагерного сбора, а это ли была не величественная картина?

Нечего и говорить, что Красное Село было украшено как полагалось: гирлянды из флагов и арки, увитые зеленью. Праздничный вид имели и войска, построенные на военном поле в каре, в середине которого поднимался небольшой вал, называемый «Царским».

Вал этот, конечно, был достаточной площади, чтобы на нем могли разместиться все приглашенные царем на

смотр войск. И теперь на нем, кроме царя с его семьей, находились и все гости — французы, и послы, и министры с Горемыкиным во главе, и многие придворные.

В десять часов утра все были готовы начать смотр, и царь верхом, а Пуанкаре в экипаже рядом с Александрой Федоровной и всеми четырьмя ее дочерьми начали объезд фронта.

Погода была прекрасная, и это позволило гвардейским полкам оставить у Пуанкаре, Вивиани, вице-адмирала Ле Бри и других французов впечатление большой, красивой, упругой силы, поэтому за завтраком, после смотра, гости не скупились на комплименты хозяину.

Но близился час отъезда сначала в Петергоф, потом на суда «Jean Bart» и «La France».

На той же яхте «Александрия» гости были отвезены на свои суда, и царь, в морской форме, сопровождал их.

Прощальный банкет был дан теперь уже гостями на дредноуте «La France», и на этом банкете, конечно, произнесены были прощальные тосты.

Десятки журналистов наперебой записывали эти тосты Пуанкаре и царя, надеясь проникнуть в тайный смысл слов, которыми обменивались главы двух союзных держав.

— В знаках внимания, мне оказанного,— говорил Пуанкаре,— моя страна увидит новый залог тех чувств, которые ваше величество всегда обнаруживали по отношению к нам, и блистательное подтверждение неразрывного союза, соединяющего Россию и Францию. Относительно всех вопросов постоянно устанавливалось согласие и будет устанавливаться и впредь, тем более что обе страны неоднократно испытывали выгоды, достигаемые каждой из них этим постоянным сотрудничеством, и что у них обеих один и тот же идеал мира в силе, чести и достоинстве...

На это царь отвечал очень похожими словами:

— Согласованная деятельность наших двух дипломатических ведомств и братство наших сухопутных и морских сил облегчит задачу обоих наших правительств, призванных блюсти интересы союзных народов, вдохновляясь идеалом мира, который ставят себе две наши страны в сознании своей силы...

После банкета царь и его семья простились с президентом, и при пушечном громе с французских судов яхта «Александрия» пошла обратно в Петергоф по сверкающим под лучами вечернего солнца тихим водам залива.

Казалось бы, все совершилось именно так, как было заранее расписано при дворе лицами, ведающими областью церемоний и придворного этикета, и можно было, наконец, отдохнуть от напряжения.

Между тем именно в этот самый час, вечером 10 июля, ультиматум был передан правительству Сербии посланником Австрии Гизлем.

Венский полуофициоз «Neues Wiener Journal» по случаю передачи ноты Сербии писал на другой день торжествующим тоном:

«Приблизился один из тех исторических моментов, которые не повторяются. Теперь Австрия может завершить то, что она подготовляла в течение десятилетий».

Вполне естественно было Берлину поддержать Вену, и газета «Berliner Local Anzeiger» в статье от 11 июля, несомненно продиктованной из высших сфер, поведала миру:

«Сейчас вопрос идет о сведении счетов с Сербией. Австрия долго колебалась, теперь она поняла наконец, что ее престиж на Балканах требует, чтобы она рано или поздно сосчиталась со своим зловредным соседом. В Белграде австрийскую ноту встретят, конечно, как пощечину. Сербия стоит перед альтернативой: или преклониться перед унижающей и подрывающей ее достоинство нотой, или готовиться навстречу пулям австрийских ружей, которые заговорят очень скоро. Напрасно было бы искать помощи в Петербурге, Париже или Афинах,— Сербии никто уже не поможет. Со вздохом облегчения германский народ поздравляет Австрию с достойным ее решением и обещает ей верность и поддержку в грядущие трудные дни».

Тут было сказано все. Общий смысл статей других берлинских газет сводился к нескольким словам: «Сербия должна покориться или погибнуть».

Берлин кипел так, точно дело Австрии и Сербии было его кровным делом. В редакциях газет и на бирже, в банках и в кафе — всюду говорили только об австрийском ультиматуме, а также гадали о том, что сможет теперь предпринять Россия. Теперь, когда все уже знали, какой величины камень был брошен Веной в огород Белграда, Берлин напряженно вглядывался в сторону Петербурга: как там отнесутся к этому подарку?

Ответом послужило несколько строк, напечатанных в «Правительственном вестнике» 11 июля:

«Правительство весьма озабочено наступающими событиями и посылкой Австро-Венгрией ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием сербско-австрийского столкновения, к которому Россия не может оставаться равнодушной».

В то же время английские газеты давали Сербии почти единодушный совет «удовлетворить все требования Австро-Венгрии», из чего в Берлине и Вене не могли сделать никакого другого вывода, кроме одного: Англия вмешиваться не желает.

Было бы неправильно ожидать того же самого от Франции, и действительно — вся пресса Парижа отзывалась об ультиматуме возмущенно и предостерегающе отнеслась к австрийкому правительству.

В «Journal de Débats», например, писали:

«Покушение, подготовляемое на Сербию, недопустимо. Сербия должна согласиться только на требования, совместимые с ее независимостью, произвести расследование и указать виновных, но если от нее требуют большего, то она вправе отказаться, а если против нее употребят силу, то Сербия не тщетно будет взывать к общественному мнению Европы и к поддержке великих держав, поставивших себе задачей сохранение равновесия».

Три державы — Германия, Россия и Франция — сказали свое слово по поводу ноты. Однако, чуть только известны стали в Берлине отклики России и Франции, германское министерство иностранных дел заявило совершенно официально:

«Решение вопроса: война или мир? — находится в руках Франции и России. Германия прилагает все усилия, чтобы локализовать австро-сербский конфликт. В случае, однако, если кто-либо придет на помощь Сербии, Германия, согласно договору с Австрией, а также для поддержания собственного престижа, вмешается в конфликт».

К подобному заявлению ничего уж не нужно было добавлять больше.

Как могла отнестись к этому парижская биржа? Конечно, все бумаги начали стремительно падать, а русские упали так, что котировка их сделалась невозможной: их только всячески старались сбыть с рук, однако покупателей на них не оказалось.

Как бы случайно, а на самом деле умышленно, конечно, вручение Сербии ультиматума совпало с путешествием Пуанкаре, приближавшегося вечером 10 июля к Стокгольму. В Петербурге же, в министерстве иностранных

дел, полное содержание ультиматума стало известно почему-то на семнадцать часов позже, чем в Белграде. Таким образом, Вена, предоставив Белграду думать над нотой в течение сорока восьми часов, очень значительно сократила этот срок для Петербурга.

Так или иначе — совершилось, что ожидалось долго.

Жребий был брошен, на весы судьбы положены были благополучие, счастье, участь сотен миллионов людей.

Европа после этого рокового шага Австрии бурно покатилась навстречу небывалой в истории истребительной, страшной войне.

VI

А в Красном Селе, где, по случаю маневров, находился двор, во дворце под председательством самого царя назначено было на утро 12 июля заседание совета министров для обсуждения австрийской ноты.

Министры совещались уже накануне, и теперь, при царе, чтобы не затруднять его, им оставалось только доложить каждому по своему ведомству о том, насколько Россия готова к войне с двумя немецкими странами.

Предполагалось даже, что эти доклады, если они будут и не очень многословны, все-таки способны будут утомить царя, поэтому премьер-министр Горемыкин приготовил краткое подведение итогов по состоянию финансов, промышленности и торговли, земледелия, путей сообщения, предупредив Сухомлинова, Маклакова и Сазонова, что им придется выступить самостоятельно, так как в связи с их докладами будут приняты важные решения.

Горемыкин был уже стар, но из всех министров, собравшихся в Красносельском дворце, он имел наибольший опыт администратора: несколько раз в прошлом и подолгу занимал он министерские посты. Говорится у картежников: «Не с чего ходить — так с бубен»; говорилось при дворе: «Некого назначить, так давай сюда Горемыкина».

И Горемыкин, незадолго перед тем получивший «всемилостивейший рескрипт» и сданный в архив Государственного совета, назначался снова и говорил: «Ну вот, опять меня вытащили из нафталина».

О нем ходили чьи-то всем известные стихи:

...Граф Валуев горе мыкал,
Мыкал горе Маков-цвет,
Но недолго он намыкал
И увял во цвете лет...

Друг, не верь пустой надежде,
Говорю тебе, не верь:
Горемыки были прежде,
Горемыкин и теперь.

Последние две строчки читались иногда и так:

Горе мыкали мы прежде,
Будем мыкать и теперь.

Что и говорить: фамилия премьер-министра огромной страны могла, разумеется, всякого навести на печальные размышления и в стихах и в прозе, но сам он, украшенный серебристыми баками средней длины и не обладавший уже твердой походкой по причине подагры, оставался еще вылощенным царедворцем.

Сазонов, министр иностранных дел, выдвинутый на этот крупный пост бывшим премьер-министром Столыпиным, женатым на его дочери, именовался в семье царя «Длинным носом». Действительно, в смысле носа он не был обижен природой, но всем, кто имел с ним дело, бросалось в глаза, что этот пожилой, довольно высокий и внешне собранный человек не имел выдержки, необходимой дипломату, легко терял равновесие и быстро переходил от одного настроения к другому.

В умении владеть собою значительно превосходил его министр внутренних дел, гофмейстер Николай Маклаков, ставленник императрицы и Распутина, довольно еще молодой и представительный. Министром он сделался недавно, но вошел в эту роль так, как будто именно для него-то она и была создана. Очень быстро усвоил он привычку говорить тоном, не допускающим возражений, и смотреть на собеседника, если только он не выше его по положению, снисходительно оттопырив несколько излишне полную нижнюю губу.

Сухомлинов пользовался неизменным расположением царя, как человек, начиненный анекдотами и умевший рассказывать их с большим мастерством.

Царь был в летней форме полковника Преображенского полка, батальонным командиром которого числился он в день смерти своего отца, Александра III. Бронзовый памятник этому царю, сумевшему процарствовать четырнадцать лет без войны, был поставлен на площади перед Николаевским вокзалом в Петербурге, причем скульптор Паоло Трубецкой изваял огромного тучного бородатого всадника на огромном тучном куцехвостом коне, обнаружив такое приближение к правде, что при

всей некартинности этого памятника его все-таки не решились забраковать и открыли торжественно.

При этом царе Вильгельм II, бывший тогда еще принцем, держал себя как завзятый русофил: до того ему нравилась гороподобная консервативная фигура, рявкающая, как медведь, и весьма приверженная к спиртному.

Когда Вильгельму I, деду Вильгельма II, и его бессменному рейхсканцлеру Бисмарку вздумалось загладить весьма неприятное впечатление, оставшееся в России после Берлинского конгресса, который лишил русскую армию возможности войти в Константинополь после кровавой войны 77—78 годов, принц Вильгельм был послан к Александру III с предложением ни больше ни меньше как вожделенного Константинополя за кое-какие уступки в пользу Германии. Не любивший разговоров о политике, Александр III ответил принцу, что если ему будет нужен Константинополь, то он возьмет его и без разрешения Бисмарка.

С того времени прошло почти тридцать лет. Из «русофила» вышел яростный русофоб, а на престоле русском, взамен рявкающего медведя, умершего от водянки, сидел его маленький, в мать — датчанку, сын.

Все как будто было в полном порядке. Оставалось только выслушать министров, что являлось необходимостью, без которой, впрочем, легко можно было бы и обойтись, так как мнения всех министров заранее были известны царю.

Однако должна была укрепиться уверенность в том, что война окажется победоносной. Именно затем, чтобы укрепить эту уверенность, не очень прочно державшуюся в царе, и были созваны министры в Красном Селе 12 июля, причем говорили они больше о том, конечно, как именно, какими мерами можно было бы сохранить мир, хотя приходили к неизменному выводу, что сохранить его никак нельзя.

VII

Заняв председательское место за длинным столом, покрытым красным сукном с золочеными кистями, царь тут же открыл свой портсигар, закурил папиросу и милостиво разрешил министрам:

— Курите, господа!

Вид у него был спокойный. Светлые, несколько как бы стеклянные глаза глядели на всех одинаково равно-

душно. Рыжие усы, широкие и густые, были однообразно вытянуты влево и вправо; рыжая бородка подстрижена клином. Движения рук были неторопливы.

Министры знали, что царь не настраивал себя на преувеличенное спокойствие: он обычно и был таким, сколько они его знали. Получил ли он это в наследство от своего отца, или искусственно было привито это ему путем воспитания, только иным министры его не видели, раз дело касалось серьезных государственных вопросов, поэтому и теперь, когда предстояло решить серьезнейший из всех вопросов, возникавших когда-либо за неполные двадцать лет его правления, он оставался с виду невозмутимым.

Но этой невозмутимости неоткуда было взять Сазонову, который должен был первым высказаться по поводу австрийской ноты. Он даже начать своего доклада не смог спокойно. Накануне вечером ему пришлось говорить с германским послом графом Пурталесом после того, как он говорил с австрийским послом, графом Сапари, и никак не мог теперь отделаться от целого вороха невысказанных им обоим мыслей, пришедших позже, чем они оба от него ушли. Он как будто все еще продолжал препираться с этими двумя хитрыми дипломатами, когда говорил, обращаясь к царю:

— Игра идет заведомо краплеными картами, игра нечестная, имеющая своею целью только одно — выиграть время для нападения на Сербию, которое уже решено заранее, решено гораздо раньше убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, гораздо раньше даже свидания его с императором Вильгельмом в Конопиштах... Точнее, сам покойный эрцгерцог и явился инициатором этого замысла напасть при первом удобном предлоге. Теперь, со смертью эрцгерцога, такой именно предлог и явился, и Австро-Венгрия так же не упустит его, как и Германия... Ультимативная нота составлена так, что вся в целом не может быть принята ни одним правительством, если только оно не хочет расписаться в своем бессилии и рабской покорности. На это именно и рассчитывали те, кто ее составлял. Их ссылка на то, что следствие будто бы приводит нить заговора в Белград, решительно ничего не стоит и никем не может приниматься всерьез. За действия подданных другой страны, хотя бы эти подданные и были сербы, суверенное государство Сербия отвечать не может, и не только не может, даже и не смеет, чтобы не создавать опаснейшего прецедента... Мне говорят послы Австро-

Венгрии и Германии, что европейского пожара можно не опасаться, что конфликт будет будто бы локализован столкновением только Австрии с Сербией. К чему же, однако, это могло бы привести? Только к тому, что Австрия проглотит Сербию, как проглотила на наших глазах Боснию и Герцеговину. Аппетит приходит по мере еды, но если шесть лет назад достаточно было Германии выдвинуться перед Австрией во всеоружии, чтобы аннексия совершилась беспрепятственно, то теперь обстоятельства значительно переменились. Двух мнений об австрийской ноте быть не может: немецкие государства этой нотой бросают нам вызов расовой войны, так как отлично знают, что наша политика хотя и мирная, но не пассивная — pacifique, mais pas passive,— и хладнокровными зрителями процесса поглощения героического славянского народа одним из немецких государств мы быть не можем. В этом вопросе единодушно станет стеной за нами весь русский народ. Вместе с тем было бы явным преступлением развязывать войну,— такое величайшее бедствие народов,— не попытавшись предотвратить ее. Вопрос только в том, что можно сделать, точнее, что можно успеть сделать теперь, когда ответ на ноту сербским правительством должен быть дан через несколько часов и этот ответ удовлетворить алчных агрессоров не может? Мне кажется, мне представляется совершенно ясным, что только наша твердость, наша явно выраженная воля стать на сторону слабейшей державы в этом конфликте могли бы приостановить бряцание оружием со стороны Австрии, которая, как известно, мобилизует уже восемь корпусов для нападения на Сербию. Но для всякого очевидно, что Австрия не позволила бы себе даже и предъявить Сербии свою гнусную ноту, если бы текст ее не был одобрен, а может быть даже и дополнен в Берлине. Слишком вызывающий тон берлинских газет был взят ими не со вчерашнего дня: мы познакомились с ним еще весною этого года, задолго до убийства в Сараеве. Германское правительство не считало нужным вмешаться в это — значит, тон этот был им же и инспирирован. Как можно урезонить человека, который очертя голову лезет в драку? Можно сделать только одно: против его кулака выставить свой. Никакие другие меры, я позволю себе так думать, не в состоянии уж будут помочь, раз дело зашло так далеко и раз Англия, желая даже и теперь как будто остаться в стороне от событий на континенте, дает устами своих газет несчастной Сер-

бии такой «мудрый» совет, как безоговорочно принять все пункты ноты, то есть позволить без боя наводнить свою страну австро-венгерскими войсками. Разумеется, если пожелать кому-либо, чтобы он покончил самоубийством, то можно посоветовать ему броситься под курьерский поезд. Но мы только что проводили президента Франции, а от него слышали нечто другое...

Зная, что его слова будут иметь самое большое значение на совещании, Сазонов говорил долго и обстоятельно, со всех сторон рассматривая вопрос, к чему могла бы привести политика невмешательства в австро-сербский конфликт. Доказывая, что в самое короткое время Сербия была бы приобщена к землям двуединой монархии, он закончил с подъемом:

— Допустив равнодушие или даже медлительность в отношении к единоверной славянской стране, мы допустим такую ошибку, которая нам не простится длинным рядом поколений русских людей!

Вступление было сделано. Генералу Сухомлинову не понадобилось затрачивать излишних сил, чтобы попасть в ту же самую борозду. Он только неторопливо достал из портфеля заранее заготовленную бумажку, которую тщательно зачем-то разгладил, хотя она не была измятой, и, надев пенсне, начал:

— Ваше величество! Я получил этот документ недавно, можно сказать только что, почему и не успел доложить его вашему величеству. Осмеливаюсь думать, что уместно будет мне прочитать его теперь, поскольку он способен осветить положение... О военной игре этого года в австро-венгерской армии мы уже кое-что слышали, но во всех подробностях она до нас не доходила, так как сочинялась и проводилась австрийским генеральным штабом с соблюдением тайны. Играть никому воспретить нельзя, однако есть игра и игра. А тут перед нами такая картина... Во-первых,— и это уже нам известно,— в Вене выработан проект, по которому очень будто бы легко будет основать в России великое княжество Киевское в границах Чернигова, реки Дона, Одессы и Львова и всю область, отвоеванную у России, аннексировать к апостолической Австро-Венгрии, по примеру Боснии. Так вот, как это осуществить — и было задачей военной игры... Имеется в Австро-Венгрии шестнадцать корпусов. Из них против России направлялись только семь, но они подкреплялись четырьмя новыми, а девять корпусов должны обеспечить Австрию от Сербии, Черногории, предпо-

ложительно от Румынии и Болгарии, наконец и от своих славян в Чехии и Хорватии, если бы им вздумалось проявить сепаратизм и выступить за общеславянское дело... Конечно, в игре прежде всего делался расчет на Германию, но всего только на три корпуса. Итого четырнадцать корпусов, то есть пятьсот пятьдесят тысяч, быстрее мысли от границ Царства Польского повели наступление прямо на Киев. Предоставляя Германии левую сторону Вислы, австрийская армия двигалась по правому берегу на Люблин и Иван-город, а оттуда на Брест-Литовск, где и соединилась с германской. Другая австрийская армия из семи корпусов, перейдя границу между Львовом и Залещиками, занимает города: Луцк, Ровно, Дубно, затем Могилев-на-Днестре и идет на Киев. При этом германские армии и флот идут на Петербург и его занимают в кратчайший срок!.. Можно сказать: экие фантасты!.. Однако в результате этой игры, очевидно детально разработанной, в австрийском генеральном штабе все проникнуты убеждением, что победа над Россией безусловно обеспечена.

Тут Сухомлинов снял пенсне и продолжал, глядя на царя почти неотрывно:

— Такой вывод, ваше величество, заставляет особенно насторожиться. Пусть это плод чистейшей фантазии, однако должна же иметь под собою почву какая угодно фантазия: совершенно бессмысленно фантазировать взрослые люди не умеют, только дети лепечут, что им вздумается, а в австрийском генеральном штабе сидят не дети. В то время, когда мы еще обдумываем план помощи Белграду, там уже двигают корпуса на Киев... предоставляя германскому штабу честь взять Петербург. Дипломатия Австрии и Германии всегда заботилась о том, чтобы ширмы, за которыми она плела свою паутину, были плотны, непроницаемы для постороннего глаза; теперь же ширмы совершенно отброшены,— дело идет начистоту, цели намечены точно: образовать Киевское княжество в границах до Дона,— это для Австрии,— и взять все, что лежит между Брест-Литовском и Петербургом, включая оба эти пункта, чтобы отбросить нас от Балтийского моря,— это для Германии. А в конечном счете ясно, и то и другое — для Германии, для хозяина положения. Таковы планы немецких держав. Сербия — только ворота, через которые должны хлынуть австро-германцы к нам. Сербия — слишком маленький кусок для их аппетитов... На чем же строится в этой фантастической военной

игре, какую я привел, успех наших противников,— разумеется увиденный ими во сне? Исключительно на быстроте действий, на том, что мы не успеем мобилизовать свои силы, а они уже идут и берут у нас все так, как расписали... Мы еще только направляем корпуса к Луцку, Ровно, Дубно, а их уже нет у нас,— они заняты австрийцами! Мы торопимся помочь Сербии, а между нами и Сербией выросла уж непрошибаемая стена!.. При громаднейших средствах, какие накоплены для войны Германией, при тех людских массах, какие могут быть выставлены в поле, кампания обещает развитие стремительное, а при такой кампании первые успехи могут оказаться решительными. Сейчас нам известно, что Австрия будто бы мобилизовала уже восемь корпусов для действий против Сербии. Конечно, такой ультиматум, какой она предъявила, должен быть подкреплен силой, но, во-первых, восемь корпусов против одной только Сербии — не слишком ли много? А во-вторых,— только ли восемь мобилизовано?.. Что же касается Германии, то, при известной густоте там железнодорожной сети, что стоит Германии мобилизовать свои войска в какие-нибудь два-три дня, если к этому все уже готово и призывные карточки всем запасным разосланы?.. Всю Германию из конца в конец можно проехать за один день, но ведь этого ни от кого и не потребуется: не дни, а часы,— и вот все на месте, все одеты, всем выданы винтовки, и полки уже грузятся в вагоны, и вот мы уж их видим против себя!.. При наших же огромных пространствах, хотя нами и сделано все, чтобы провести мобилизацию успешно, мы с нею неизбежно запоздаем, если не начнем ее с сегодняшнего же дня, когда политическое положение стало совершенно ясным, неизбежно запоздаем, ваше величество, и этим оправдаем все надежды наших противников...

Так как царь при этих словах, не меняя пристального, однако ничего не выражающего взгляда, начал тушить далеко еще не докуренную папиросу, то Сухомлинов на несколько секунд приостановил свою речь и закончил, как бы перескочив через несколько заготовленных фраз:

— Поэтому единственное, что мы можем сделать для успешности мирного разрешения очень острого вопроса сербско-австрийского, это — объявить мобилизацию... Этим мы заставим австрийцев быть сговорчивее — австрийцев и, конечно, германцев, стоящих уже не за их спиной, а с ними рядом. А в случае если и это не подейству-

ет, то не окажемся в худшем положении, чем могли бы быть... Положение достигло уже такой степени напряженности, когда дипломатия сходит с авансцены и уступает свое место генеральным штабам. Может быть, даже не дни, а считанные часы отделяют нас от бомбардировки австрийцами Белграда, на который пушки уже наведены. Пушки, может быть, заговорят уже завтра утром, и это будет именно то самое, что называется на дипломатическом языке локализацией конфликта, но что фактически, на самом деле, отнюдь никакой локализацией не будет, а станет только началом европейской войны... Что касается Англии, то как бы она ни относилась к Сербии, но флот ее во всякую минуту готов выступить на помощь Франции, а нападение Германии на Францию уже висит в воздухе,— это мы слышали всего два дня назад от лиц более чем авторитетных. Другой вопрос, появятся ли английские войска на континенте, и третий — появятся ли они вовремя, если появятся. Оба эти вопроса сами по себе для нас чрезвычайно существенны, но у нас уже нет времени гадать над ними: в двери нашего дома уже ломится грабитель, и все, что у нас есть под руками, мы должны успеть взять в руки, чтобы дать ему достойный нас отпор!

Слово «мобилизация» стояло, конечно, в этот день в мозгу каждого из министров; оно произносилось и накануне, когда совещались по поводу австрийской ноты только министры; но теперь, когда оно было сказано вслух перед главой государства и выставлено как последнее средство сохранить мир, все поняли смысл этого слова гораздо глубже, чем понимали раньше.

Будто открылась дверь перед пропастью, через которую необходимо перескочить, когда ноги уже отвыкли от подобных слишком сильных и смелых движений, когда у многих они нуждаются уже в помощи палки для того даже, чтобы ходить по тротуару.

Министр императорского двора граф (бывший барон) Фредерикс, до того старый, что готовился уже праздновать шестидесятилетие своего «пребывания» в офицерских чинах и тридцатипятилетие — в генеральских, с белыми глазами и белыми усами, которые, несмотря на все его ухищрения, стремились уже устало висеть, а не вытягизаться в стрелки, имел даже неприкрыто испуганный вид и вместе с тем недовольно глядел на военного министра, который как будто нарушил придворный этикет, предложив слишком сильное средство.

Он относился к царю, как нянька: он считал своим долгом оберегать его от слишком сильных впечатлений; он говорил привычно, как и двадцать лет назад: «Царь еще слишком юн...» Наконец, если уж нужно было произнести слово «мобилизация», то он, Фредерикс, считал, что только он лично мог произнести его в разговоре с царем один на один, что никто другой, кроме него, не мог бы подойти к этому слову так, как нужно; у Сухомлинова же получился какой-то слишком прямой, по-солдатски грубый подход.

Однако, если на лице царя и промелькнула некоторая растерянность после заключительных слов военного министра, то он справился с нею очень быстро. Голосом несколько глуховатым, с серьезной любезностью, какую считал приличной для себя в такой момент, он обратился к Маклакову, предложив ему высказаться о положении внутри государства.

Он не сказал, что, кроме фронта, существует тыл, имеющий самостоятельное и большое значение во время ведения войны: министрам это было известно. И Маклаков начал говорить не издалека, а тоже о том, что было у всех перед глазами: нужен был только немногословный вывод.

— Страна очень неспокойна, ваше величество,— начал он.— Положение напоминает тысяча девятьсот пятый год, с тою только разницей, что тогда оно явилось следствием войны на Дальнем Востоке, теперь же оно является как бы предвестником войны на ближнем Западе. Можно ли предотвратить надвигающуюся на Европу войну? По моему глубокому убеждению, время для этого уже упущено, однако его и нельзя было не упустить... Я, конечно, не допускаю и отдаленной мысли о чьей-либо победе над нашей доблестной армией, но те, кто не уверен в победе, не начинают войны, а зачинщики грядущей войны сидят в Берлине и Вене... Остается, чтобы, по примеру тысяча девятьсот пятого года, начались бунты на наших военных судах и в частях наших сухопутных войск! Это было бы всего более желательно нашим врагам, но есть средство, которое способно сразу положить конец начинающейся гражданской войне, и средство это — мобилизация!

У Маклакова был дар слова. Граф Фредерикс мог и на него с укоризной поднимать бесцветные глаза, но впечатление, произведенное на царя его короткой речью, было очевидно для всех министров.

«Мобилизация» и была тем самым кулаком, выставить который советовал Сазонов, так что все три министра сказали по существу одно и то же.

Царь смотрел поочередно то на одного, то на другого и вдруг обратился к Сазонову:

— Что последнее передал вам британский посол?

И Сазонов ответил:

— Последние, то есть позднейшие по времени, слова Бьюкэнена таковы, ваше величество: «Ради бога, будьте сдержанны! Не забывайте, что мое правительство есть правительство общественного мнения и что оно может деятельно вас поддержать только в том случае, если общество будет за него».

— Вот видите,— сказал царь.— А между тем мобилизация, одно только объявление ее, может значительно повредить делу мира.

— Ваше величество! — с пафосом воскликнул Сазонов.— Мы присутствуем при агонии, при последнем издыхании мира в Европе — что же может повредить умирающему на наших глазах миру? А между тем опоздай мы с мобилизацией хотя бы на один только день, последствия этого могут быть действительно чрезвычайно печальны! Австрия и Германия торопятся. Мы просили продлить срок ультиматума, но ведь нам ответили отказом...

Длинный, заметно скривившийся налево нос Сазонова покраснел при этом так, как будто министр иностранных дел желал разразиться слезами от прихлынувших горестных чувств, и голос его вибрировал так, что царь счел за лучшее не делать больше никаких замечаний, а взяться за свой золотой портсигар.

Доклад Горемыкина давал картину общего состояния России в смысле финансов, сельского хозяйства, рудного дела, промышленности тяжелой и легкой, путей сообщения и прочего, занял довольно много времени, хотя касался всего в самых общих чертах и был наполнен цифрами, которых никто, конечно, не в состоянии был запомнить во всем их объеме.

Но под произнесенное в кабинете царя в этот день уже трижды жуткое слово «мобилизация» доклад премьер-министра подводил деловой фундамент: что могло быть, кроме живой силы, мобилизовано для борьбы, хотя и кратковременной, как думали, но тем не менее чрезвычайно кровопролитной и жестокой.

Продолжительной, длящейся несколько лет войны почти никто в России того времени не в состоянии был

себе представить, как не могли представить себе этого и в Германии, где планировалась только молниеносная война, способная подействовать на нервы и морально раздавить противника.

Когда-то Наполеон говорил, что для войны нужно три вещи: деньги, деньги и деньги, но денег в России было мало на длительную войну: золотой запас Государственного банка не превышал полутора миллиардов рублей.

Доклад давал подсчет паровозов и вагонов, а также речных и морских судов, могущих послужить делу переброски солдат и полезных военных грузов, кроме того, лошадей (свыше тридцати миллионов лошадей было тогда в России), рогатого и прочего скота, запасов муки и хлеба в зерне, запасов металлов и каменного угля, нефти — всего, что должна была и могла в той или иной степени истребить чудовищная по своей прожорливости война.

Доклад Горемыкина был необходим здесь, в совете министров под председательством царя, не только по своим данным, не только потому, что он подводил итоги русским силам, но и потому еще, что давал возможность каждому из участников совещания, а прежде всего царю, тщательнее обдумать тот шаг, который подготовлялся.

По мере чтения доклада созревало решение, а когда Горемыкин закончил доклад, без подъема, тусклым голосом, однако уже не колеблясь, Николай отдал Сухомлинову приказ подготовить ему на подпись указ правительствующему Сенату о необходимости привести на военное положение часть армии и флота, для чего «призвать на действительную службу низших чинов, офицерских и классных чинов запаса и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения»,— маневры же прекратить: не игра в войну, а война стояла у порога.

В этот же день, 12 июля, досрочно произведены были в офицеры выпускные пажи и юнкера военных пехотных, кавалерийских и артиллерийских училищ, а также гардемарины флота, так как для мобилизованных частей и для морской пехоты необходимо было множество офицеров.

Рубикон был перейден...

В шесть часов вечера в этот день все пажи и юнкера, отбывшие лагерный сбор в Красном Селе, были построены тремя фасами, со своим начальством на правых флангах: царь счел нужным лично поздравить их с производством в офицеры.

Он был не мастер говорить речи. Главное же, он боялся какого бы то ни было возбуждения, прилива чувств, которые бывают иногда даже и с венценосными ораторами и заставляют их тогда говорить не то и не так, как нужно говорить царю.

И голос у него был грудной, незвонкий, и расслышать его могли только ближайшие к нему ряды юнкеров.

В тот же день вечером он уехал в Петергоф, чтобы на другой день так же точно поздравить выстроенных в три фаса гардемаринов с производством в мичманы.

А Николай Николаевич, объявив войскам, собранным в Красном Селе, о прекращении маневров и о том, что на другой же день все полки должны вернуться в свои гарнизоны, дал прощальный банкет высшим офицерам, командирам частей и генералам.

Сознательно пригласил он на этот банкет германского военного атташе, майора фон Эггелинга, и генерала фон Хеллиуса, прикомандированного Вильгельмом к Николаю для непосредственных личных с ним сношений.

С Германией еще не было разрыва в тот день, офицеры генерального штаба могли еще говорить с Хеллиусом и Эггелингом так, как говорили с ними и раньше, а те должны были видеть, что возможность близкой войны с Австрией из-за Сербии застает русских офицеров за веселой попойкой, что с ними и сам командующий гвардией и войсками Петербургского округа, что он — в прекраснейшем настроении, бодр и неутомим...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

I

Как истый художник, влюбленный в свое дело, работал Сыромолотов над «Демонстрацией» и в несколько дней успел сделать много.

В середине картины уже стояла Надя с красным флагом, и Сыромолотову, как это бывало у него с каждым новым полотном, казалось, что в этой стремительной женской фигуре, озаренной солнцем, он превзошел себя, что у него еще не было такой задачи и такого решения, что вместе с этой картиной он растет как художник.

Самым уничтожающим для себя самого он считал бы, если бы ему сказали: «Да ведь у вас был уже этот мо-

тив, вы повторяетесь!..» Но пока еще этого никто не говорил, пока еще он шел вперед, иногда быстрее, иногда медленнее, но не было такого случая, чтобы он топтался на месте.

В этом была его гордость художника. Об этом он говорил Наде, заканчивая этюд:

— Vita brevis est! — так завещали нам древние римляне: «Жизнь коротка», поэтому не упускай из нее ни одного дня, а упустишь, значит, дурак, значит, не вышел из детского возраста, и на черта ты живешь в таком случае, совершенно непонятно... Жизнь коротка, и если ты на нее смотришь под-сле-по-вато, зеваешь, в затылке чешешь, спишь по десять часов в сутки, а проснешься, брюзжишь, что тебя блоха кусала, то ка-ко-е же право имеешь ты жить, идиот этакий? Иди ко всем чертям в могилу и как можно скорее и не погань землю: она не для таких, как ты, мерзавец! Вы на меня не смотрите такими удивленными глазами, Надя, и вообще не поворачивайте головы, а смотрите на пристава, который сейчас в вас стрелять станет... Это я, между прочим, и о нем говорю, поэтому у меня такой стиль... Жизнь дается на короткий срок, и она сама по себе величайшее счастье. Учителя, который не внушает этого своим ученикам, в три шеи гони из школы! И чтобы не выходили из школы в жизнь всякие кисляи, нытики, с мышьяком в карманах, чтобы не декламировали они, слизняки: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,— такая пустая и глупая шутка!» Жизнь — это картинная галерея, в которой что ни холст, то и шедевр, а ты смотришь на нее, как баран, и ищешь только, нет ли где сенца!

— Барану без сена тоже ведь нельзя,— вставила Надя, хотя и упорно глядела «на пристава».

— Позвольте-с, Надя, с баранами! Жизнь — умна, и чем дальше, тем больше в ней ума, а вы как будто хотите утвердить необходимость в ней баранов,— возразил Сыромолотов, не переставая действовать кистью.— А вы только представьте хоть на один момент жизнь без баранов,— представляете, а? Вдруг исчезли все бараны, сколько их было, и с каждым кругом себя можете вы говорить, как с самим собою, в полной надежде, что вас поймут все, представляете? Все без малейшего исключения! Вот это была бы жи-изнь!.. А то вы ему про Фому, а он про Ерему. И выходит, что без спасительного одиночества обойтись невозможно, иначе только зря будешь время терять... Но — жизнь коротка, а человек портит и

укорачивает ее вполне сознательно, то есть по законам своей «бараньей логики». Баран ведь поживет год-другой, а потом и начинает блеять: «Под нож, нод нож хочу!»

— Я сомневаюсь, чтобы этого хотели бараны,— рискнула не согласиться с художником Надя.

— Сом-не-ваетесь? — протянул притворно-свирепо Сыромолотов.— Скажите, пожалуйста, какая сомнительная! А вы знаете, как кричат болгарские солдаты, когда в атаку бегут со штыками наперевес? Не знаете? То-то и есть... Кричат: «На нож!» — вот как-с! Такую и команду получают перед атакой: «На нож!» Да ведь и у нас говорят сплошь и рядом: «Ну, пошли на ножи!..», «Началась поножовщина!..» Так что же вы сомневаетесь? Даже и Пушкин сказал: «Стадам не нужен дар свободы, их должно резать или стричь...» Вот их и будут резать и, разумеется, стричь,— стричь и резать... Ведь немцы и французы сорок с чем-то лет не воевали, англичане же, если не считать маленьких кровопусканий в Индии, в Африке,— то со времен Наполеона! Шутка ли, целых сто лет терпеть? И теперь они поют на все голоса: «На нож! На но-ож!..» И это называется процесс «обновления жизни», черт бы его драл! Расцвет жизни!

— Обновляться время от времени жизнь все-таки должна же, иначе может она так зацвесть, как вода в стоячем болоте. Но обновление...— начала было Надя.

— Да я ведь не против того,— отходчиво уже отозвался на это Сыромолотов.— Ежели «он, мятежный, ищет бури», то, значит, она ему нужна, но штука вся в том, что мятежный-то в этой буре покончит существование, а бараны останутся, потому что они хоть и блеют: «Под нож хотим», однако за чужие курдюки прятаться любят... Впрочем, черт с ними, и с мятежниками, и с баранами, и с ножами! А что касается вас, Надя, то вы свое отстояли на пять с плюсом. Вот видите как иногда проявляются у человека способности, о каких ему самому и во сне раньше не снилось: жила-была себе филологичка — оказалась она вдруг идеальной натурой, за что художнику остается только отвесить ей нижайший поклон!

— Правда, Алексей Фомич? Я вам помогла все-таки? — ликующе спросила Надя, теперь уже повернув к нему голову.

— Еще бы не помогли! Я вам уж двадцать раз говорил, что не только помогли, а что не будь у меня тут, в

мастерской, вас тогда... тогда, ну... тогда... не было бы и картины.

— Вот как я рада! — всплеснула руками Надя, однако добавила: — Хотя все-таки картины же нет пока, а вы говорите: «Не было бы».

— Ну, начинаются придирки к словам!.. Конечно, пока еще нет, но раз я ее вижу уж во всех деталях, это значит, что она уже есть, только еще не вся дописана.

— Это вы о каждой своей картине так говорили? — вдруг спросила Надя.

— То есть? Что именно говорил? — не понял Сыромолотов.

— Да вот, что вам стоит только ее начать, и вам уже кажется, что она готова.

— Кажется? Ничего мне не кажется, а так оно и должно быть со всяким, кто художник,— спокойно ответил Сыромолотов.— Если я не представляю себе всю картину в целом, то как же я могу начать ее писать? Вот я поставил вас в центре создания,— кивнул он на полотно, где углем уже набросаны были все фигуры,— это значит, что я сделал по меньшей мере семьдесят процентов того, что надо, а теперь... теперь мне не хотелось бы только одного: о-поз-дать со своей картиной.

Он посмотрел на Надю очень проникновенно, как будто у нее в глазах желая прочитать, успеет ли он закончить картину до того, как действительно, может быть, начнется что-нибудь такое в мире, что сделает его картину уже ненужной, изжитым вчерашним днем, к которому долго не возвратятся.

— Как именно «опоздать»? — не поняла его Надя.

— А вдруг если даже не завтра, так через две недели война?

— Вот вы о чем! — как-то даже снисходительно к нему, как одержимому какою-то навязчивой идеей, протянула Надя, пожав плечами и махнув рукой.— Вы ведь читали же в газетах, что в Петербурге как раз идут теперь рабочие демонстрации?

— Читать-то читал, конечно, да ведь «как раз теперь», как ни стремись к этому, картины все-таки не напишешь,— очень серьезно заметил Сыромолотов.

— А вы сказали, что она уже готова, как же так?

— Противоречия тут нет: готова здесь,— он шлепнул ладонью по своему широкому лбу,— а там,— он кивнул на холст,— там еще работы над нею много... Я ведь не

бытовик, не Василий Маковский. «Майское утро», например, каждый год и тридцать один раз в каждом году было и будет майским утром, а это?..

— А это — это каждый год, и каждый месяц, и каждый день, и в каждой стране, где есть заводы и полиция,— может быть! — пылко выкрикнула Надя.

— Гм, гм... Вон вы как... Да, пожалуй, пожалуй,— бормотал не особенно внятно Сыромолотов, явно любуясь ее пылкостью.— Пожалуй, до известной степени вы и правы.

— Не «до известной степени», а вполне права,— поправила его Надя.

— Ну, положим, положим. В большем тонет меньшее — это закон.

— А что вы считаете бо́льшим, что — меньшим? — очень заинтересованно спросила Надя.

— Войну я считаю бо́льшим,— вот что-с,— серьезно сказал он.— А вам как кажется?

— Мне?.. Позвольте мне над этим подумать...

В первый раз в жизни поставила такой вопрос себе самой Надя, хотя и обратилась с ним к художнику, и ей представилось, что никто никогда такого вопроса не ставил,— по крайней мере, она не встречалась еще нигде с таким вопросом: что более вечно, что более значительно, что вообще больше, как явление,— революция или война?

— Ну что же, думайте... Чаю, может быть, хотите? Без чаю жарко в такую погоду думать,— сказал Сыромолотов без всякого особенного нажима на последние слова, но слова эти подстегнули Надю, и она ответила быстро и несколько даже запальчиво:

— Война что может сделать? Только перекроить границы между государствами, и больше ничего, а революция, если только она удастся, переделать может всю жизнь так, что никаких войн нигде не начнется — вот вам!

— Так что, по-вашему, демонстрация с флагами...

— Гораздо значительнее всяких войн между разными там державами,— перебила и закончила Надя.

— Вы, кажется, сказали, Надя, «если удастся»? — спросил Сыромолотов.— А где же и когда революции удавались?

— Вот тебе раз,— «где удавались»! — удивилась Надя.— А великую французскую революцию забыли?

— Нет-с, не забыл, а только помню и то, что очень скоро закончилась она Наполеоном и новой империей. А таких революций, чтобы они уничтожили войны хотя бы на двадцать, на десять лет, я что-то не знаю, простите мне мое невежество.

— Таких революций?..— Надя добросовестно подумала с четверть минуты и сказала: — Я могу справиться дома насчет таких революций, но это совсем не так важно, если даже их и не было: не было, но должно быть, вот и все. Радия тоже не было, пока его не открыли Кюри. Жизнь идет вперед, а не назад.

— Гм, гм... Радикалка же вы, Надя! Можно сказать, просто смотреть приятно,— без малейшей тени насмешки проговорил Сыромолотов.— Выходит, знаете ли, что? Что вы не только помогли зародиться этой картине (он показал на холст), а еще ее и спасаете,— вот что! Я бы ее, может быть, и бросил, но теперь, после такого вашего заступничества за нее, пожалуй, не брошу.

— Только «пожалуй»? — обиженно подхватила Надя.

— Ну, вот тебе на!.. А как же я должен был сказать, по-вашему?

— Вообще и ни за что не бросите, вот как! — решительным тоном отчеканила Надя и поглядела на него так, как будто имела какое-то даже право потребовать, чтобы он не бросал этой картины.

— Да, вот видите, как получилось,— точно не ей даже, а с самим собой говоря, сказал Сыромолотов.— Бывают, значит, возможны иногда такие случаи в жизни, когда ты колеблешься, а тебя непременно желает поддержать ребенок, очень мало понимающий в искусстве, чтобы не сказать — совершенно ничего не понимающий... Значит, я все-таки в чем-то таком не прав,— вот к какому я выводу прихожу... А что касается картины этой, то ее-то уж во всяком случае не брошу.

Это вышло у Нади совершенно непроизвольно, а, может быть, просто потому, что он назвал ее ребенком: она схватила обеими руками его правую руку, приблизила лицо к его лицу и спросила торопливо, совсем по-ребячьи:

— Даете, даете слово, что не бросите?

— Да ведь сказал уже,— притворно хмурясь, ответил Сыромолотов.

— Ну, хорошо, я верю... А когда кончите, мне ее покажете?

— Кому другому, может быть, и не покажу, а вам, Надя, во всяком случае, и притом первой,— серьезно

сказал Сыромолотов и так же, как это у него вышло в первый раз, когда она увидела «Майское утро», по-отечески поцеловал ее в лоб.

II

В этот же день вечером, когда стемнело в доме настолько, что нельзя уже было писать красками, Сыромолотов неожиданно, выйдя немного пройтись по своей улице, встретил сына.

На улице было сумеречно, но не настолько, чтобы два человека исключительной телесной мощи — отец и сын, хотя бы и довольно давно не говорившие друг с другом и не писавшие друг другу писем,— могли разойтись, притворясь, что не узнали друг друга.

Прошло уже несколько месяцев, как они не виделись, но, неожиданно столкнувшись почти грудь с грудью, Сыромолотов-отец остановился; Сыромолотов-сын остановился тоже.

Они не поздоровались друг с другом, не подали рук друг другу. Только отец коротко спросил сына:

— Откуда?

— Из Риги,— ответил сын.

— А-а, у этой, у своей, был, у циркачки?

— Между прочим, и у нее тоже,— рокочущим голосом сказал сын, более высокий, чем отец, и заметно более широкий в плечах, хотя еще молодой на лицо, моложе двадцати пяти лет.

— Как ее? Шютц, Шульц? Эльза?

— Шитц Эмма,— поправил отца сын.

— Выступал там, в цирке? — спросил отец, глядя исподлобья.

— Между прочим... Однако и выставку своих картин там сделал...

— Ого! Выставку картин... которых нет...

— Набралось все-таки на целый зал.

— Что-то не слышно было об этой выставке. Где о ней писали в газетах? — строго спросил отец.

— В Риге в одной газете была статейка... А в петербургских, в московских, разумеется, и быть ничего не могло.

— Так-с. Выставка, значит... А сюда зачем?

— Приехал дом свой продать.

— А-а, вот как! И потом опять туда, в Ригу?

— Едва ли удастся, если бы и хотел.

— Что так? Почему может не удаться?

— Как же так «почему»? Я хотя и белобилетник, но ведь отца не кормлю,— пробасил сын.

— Еще бы я тебе позволил себя кормить! Хорошо и то, что хоть сам себя кормишь, у меня не просишь... Но все-таки, при чем тут белобилетники?

— Услышать пришлось в Петербурге, что будто бы будут брать и нас в ополчение.

— Вот ка-ак! Ополчение брать? На моей памяти никогда не бывало,— встревоженным уже голосом сказал отец, а сын добавил:

— И запас, и ополчение — все силы сразу... Говорят, война ожидается такая, какой еще не видали.

— Это в Петербурге так говорят?

— В Петербурге.

— Там должны знать, я думаю: там двор и все власти.

— Ну еще бы. Там — всё.

— А мы тут сидим и только еще гадаем на ромашке: будет — не будет. Значит, непременно?

— Вернее верного.

— Гм, да. Вот это — новость... Ты когда же, впрочем, приехал?

— Только что. Час назад с поезда.

— Куда же идешь на ночь глядя?

— Хотел к нотариусу зайти, через которого дом покупал,— не найдет ли покупателя за ту же цену, только бы как можно скорее.

— Той же цены, то есть какую ты сам дал, нотариус тебе не даст, раз дело к спеху.

— Да ведь не он же сам будет покупать.

— Это все равно. Кроме того, сейчас поздно уж по нотариусам ходить.

— Я ведь к нему на квартиру хотел.

— Будет гораздо хуже. Завтра ведь будни, найдешь его в конторе, там и скажешь,— кстати, там народ; комиссионера какого-нибудь найдешь или комиссионер к тебе сам прицепится, что точнее. А к одному комиссионеру еще пять прилипнет,— вот они тебе и найдут покупателя, а нотариусу об этом незачем даже и говорить.

— Комиссионеры — это, пожалуй, так... Я об этом даже и не подумал,— пробасил сын.

— Ну еще бы. Где же тебе об этом думать,— сказал отец.

— В таком случае, я поверну домой...

— Если чаю не пил, можешь зайти,— кивнул на свой дом отец,— там Марья Гавриловна теперь самовар ставит.

— А Марья Гавриловна все еще у тебя? — вместо согласия спросил сын.

— А почему же ей у меня не быть? Она свое дело справляет. Иди, а я еще погуляю минут десять.

Сыромолотов-сын сказал:

— У меня дом пустой сейчас... У нотариуса я думал чаю напиться.

— Ну вот и иди,— сказал отец и двинулся дальше, а сын грузными шагами направился к дому отца.

Конечно, десяти минут Сыромолотов-отец не гулял: он дал только сыну возможность одному, без него, войти в дом, чтобы удивить этим Марью Гавриловну. Он был слишком встревожен тем, что узнал от сына, и потому только дошел до угла своего квартала и тут же повернул домой, откуда выгнал Ваню (так обычно все звали его сына) несколько месяцев назад.

Именно то, что отец никогда не мог понять, что такое делает и зачем делает сын, и было причиной их последней размолвки, как нескольких до того. Однако Алексей Фомич давно уже привык к тому, что у Вани своя жизнь, как у него своя. Никаких особенных отцовских чувств к нему он не питал и раньше, когда жива еще была его жена, мать Вани, а теперь тем более, когда из него вышел не столько художник, сколько борец на цирковой арене, произошло отчуждение, и, может быть, даже отец прошел бы мимо сына, отвернув от него голову, если бы не простое любопытство, откуда именно он приехал.

Минуты через три, войдя к себе, он услышал от Марьи Гавриловны в прихожей таинственный шепот:

— Алексей Фомич, а у нас Иван Алексеич,— только что сейчас вошел, сидит в столовой.

— А самовар у вас готов? — осведомился Алексей Фомич.

— Самовар сейчас закипит.

— Да вы какой, маленький, конечно, поставили? Поставьте-ка еще и большой: он ведь стаканов двенадцать выпивает, не меньше.

Марья Гавриловна тихо всплеснула руками, однако шепнула:

— Сию минуту поставлю! — и шмыгнула на кухню; у нее появилась и чрезвычайная быстрота движений и

таинственность в голосе: приход сына к отцу в дом оказался в ее представлении событием чрезвычайным.

А отец сказал сыну, войдя в столовую, где только что были закрыты ставни и зажжена лампа:

— Я не спросил тебя — ты в Петербурге был только проездом из Риги или пожил там хоть немного?

— В том-то и дело, что насчет войны, что она вот-вот, я слышал в Риге...

— В Риге? Ну, тогда все понятно!

И Алексей Фомич с минуту ходил по своей столовой молча, по столовой, украшенной арабским изречением, написанным готическим шрифтом на дощечке: «Хороший гость необходим хозяину, как воздух для дыхания; но если воздух, войдя, не выходит, то это значит, что человек уже мертв».

Ваня сидел на диване, покрытом белым чехлом, и белая блуза его, тускло освещенная лампой, так странно сливалась с этим чехлом, что делала «чемпиона мира» еще шире, чем был он на самом деле. Чтобы прервать молчание, Ваня сказал в спину шагавшему тяжело отцу:

— Я там, в Риге, две картины написал... Кроме, конечно, этюдов... И даже офортом занимался.

Алексей Фомич ничем не отозвался на эти слова. Подождав, Ваня хотел было сказать еще, что писала рижская газета по поводу его выставки, но отец спросил вдруг отрывисто:

— Почему война?

— Не знаю... Ах да,— этот же там какой-то убит сербами... Ну, читал же ты, должно быть, в газетах,— с усилием, как о чем-то совершенно для него лишнем и ему ненужном, пробасил Ваня.

Здесь голос его, не расплываясь, как на улице, а отражаясь от стен и потолка, гудел и делал все слова его каким-то сплошным рокотом, и Алексей Фомич отметил это, сказав:

— Если возьмут тебя все-таки, просись в дьячки,— октавой петь будешь.

— В дьячки бы ничего, да говорят, в военное училище брать таких будут,— зарокотал Ваня.

— Каких таких? Октавистов?

— Нет, с образованием какие... Через год прапорщиком буду.

— Через год? Как через год? — очень изумился Алексей Фомич и даже остановился посреди комнаты:— Значит, целый год будешь там артикулы проходить?

— Будто бы так, а в точности не знаю.
— Я вижу все-таки, знаешь ты очень мало!
— Да от кого же было узнать больше? — удивился теперь Ваня восклицанию отца.
— Ты пойми: год! За коим же чертом, когда война может окончиться через три месяца?
— Да я и сам так думаю... Соберут нас, скажем, тысячу человек, будут с нами биться, чтобы всю эту премудрость военную нам вдолбить, а к чему?.. Так, должно быть, на всякий случай: может, и в три месяца кончится война, а может, и года на два затянется,— беспечным тоном и с самым беспечным выражением на плотном молодом лице объяснил Ваня.

Однако и слова эти и самый тон объяснения возмутили отца.
— Думай, думай прежде, чем говорить! — прикрикнул на сына он.— Как это так «на два года?» Ты представляешь, что это такое «два года»?
— Да ведь там как хочешь представляй, а можешь даже и вовсе не представлять, от этого что же изменится? — полюбопытствовал Ваня и сам себе ответил: — Ничего решительно.

Только Марья Гавриловна, стоявшая у двери с кипящим самоваром в руках и решившая, что настал момент его внести, предотвратила взрыв возмущения отца прежним, давно уж ему известным равнодушием сына.
— Вот вам сначала маленький, какой поспел,— сказала она певуче-приветливо,— а большой, какой на пятнадцать стаканов, только что поставила.

III

Когда Надя вернулась от Сыромолотова домой, то первое, что она сказала сестре Нюре, было:
— Вот что, Нюрочка, нам с тобой надо ехать в Петербург.
— Так рано? — удивилась Нюра.
— Ну, не так и рано, положим, а главное — надо не опоздать.

Что Нюра поступит тоже на Бестужевские курсы и будет жить в одной комнате с Надей, это уж было решено, конечно, гораздо раньше, но ехать думали в конце июля, а теперь не было еще и половины месяца.
— Как так опоздать? Куда опоздать? Почему опоздать? — зачастила вопросами Нюра.

Но Надя была настроена так, что благодушно ответить на них не смогла,— она возмутилась даже, что сестра ее так легкомысленна.

— Ты что в самом деле, Нюрка, пяти лет, что ли? Должна уж помнить, в какое время живешь, гимназию кончила!

— А в какое такое особенное? — удивилась Нюра.

— Здравствуйте, хорошо ли вам спалось!.. В Петербурге забастовки, ультиматум Сербии объявлен, а она говорит: «в какое»?!

— Что же я, не знаю, что ли? — почти обиделась Нюра.— Какая же тут новость?

— Вот такая, что надо ехать, пока не поздно... Соберемся и поедем.

— Подумаешь, долго как собираться надо!

Это знала и сама Надя, что недолго, но не могла же она сказать младшей сестре, что главное, почему ей хочется как можно скорее ехать, это желание быть там, где забастовки и демонстрации рабочих.

От братьев Коли и Пети давно уже не было писем, и в семье Невредимовых не знали, что это значит. Даже и старик беспокоился и, подергивая головой, ворчал за обедом, ни к кому не обращаясь:

— Молодость, молодость!.. Куда ветер дует, туда и она гнется... Костяка-то этого самого нет еще, а без него что же? Та же трава... Надо послать телеграмму: что с ними?

Дарья Семеновна, конечно, беспокоилась тоже, но она подходила ближе к возможной опасности и спрашивала своих студентов:

— Вот бастуют себе рабочие,— хорошо, дело ихнее, конечно,— а как же инженеру тогда быть? С кем же Коля быть должен: с ними ли, или, я так думаю, хозяйскую руку он должен держать, иначе как же? Иначе его должны непременно уволить с завода.

На этот деловой вопрос один из студентов — высокий Саша — отвечал без малейшего затруднения, как об очень хорошо ему известном:

— Инженеры, мама, по самой сути своей — офицеры производственной армии, поэтому, конечно, ни бастовать, ни бунтовать им не полагается по уставу... Однако мало ли чего не полагается делать, однако делается.

А другой студент — невысокий Геня — добавил к этому, чтобы успокоить мать:

— Наш Коля, мама, не из таковских, чтобы не понимать, что ему надо делать.

— А Петя? — тут же спросила Дарья Семеновна, но на это ответили сразу Саша и Геня:

— Что ты, мама! Пете разве есть время?.. Ему некогда — ему дипломную работу сдавать надо.

Четверо молодых, пятая старуха, а шестой — совсем уже древний, с головой белой и дрожащей, как шапка одуванчика под легким ветерком, готовая облететь,— они каждый по-своему переживали внятное уже прикосновение чего-то большого и зловещего, что надвигалось. Молодым хотелось поднять головы выше, чтобы разглядеть лучше; старой — втянуть голову в плечи, а древнему зачем-то понадобилось тут же после обеда подойти к сараю, остановиться в его полуоткрытых широких дверях и начать приглядываться к тому, что в нем было наставлено.

Обычно после обеда Петр Афанасьевич спал часа полтора, иногда и два, и потом поднимался бодрый, умывался, шел в сад и там говорил самому себе, однако вслух:

— Вдруг вот так возьму да и доживу до ста лет, а?.. Все может быть. Ведь доживают же другие... Еще и побольше ста лет живут, но это уж, это уж я нахожу излишним, а до ста лет отчего же нет? Вполне, по-моему, возможно... Никаких так называемых кахектических болезней у меня нет, стало быть... стало быть, вполне могу...

И в такие бодрые минуты он подходил к каждому дереву в саду своем, как к старинному другу или как отец к детям: ведь каждое сажал он сам и каждое помнил, каким оно было, когда его ставили в ямку и засыпали землей, причем он каждое старательно притаптывал, чтобы не раскачало ветром. Он о каждом своем дереве знал, чем оно болело, если болело, какое было особенно плодоносным, какое не очень, какое росло буйно, а какое с оглядкой, какое с каким вело долгую борьбу там, в земле, где захватывало как можно больше земли корнями, и здесь, где раскидывало как можно шире крону, чтобы впитать в себя побольше солнца, творящего ткань растений.

Вдоль ограды сада стояли у него тополи и вязы — деревья-завоеватели: они летом сбрасывали с себя так неисчислимо много летучек, что те, подхваченные ветром, засыпали всю землю далеко кругом. Если бы от

каждой такой летучки пошло новое дерево, то они быстро покорили бы и весь город и все окрестности его верст на тридцать кругом: везде были бы только тополи и вязы с их зеленой мощью, с их чудеснейшим переплетом ветвей, у каждого из всех тополей и у каждого из всех вязов совершенно особенным, неповторимым.

Но в этот день после обеда, уйдя к сараю, Петр Афанасьевич не посмотрел ни на тополи, ни на могучие вязы, ни на яблони и груши и вишни в своем саду. Его мысли заняты были теперь другим, тем же самым, чем были заняты они лет семнадцать назад: присматриваясь к разному хламу в сарае, он искал глазами тот дубовый, когда-то отлакированный, прочный гроб, который сам для себя приготовил в ожидании близкой смерти.

Это был приступ не то что тоски, щемящей сердце, а вполне отчетливого желания уйти в тень, посторониться от чего-то, уже громыхающего, как отдаленный гул грома.

Не найдя глазами гроба, он испугался, как будто потерял самое необходимое, и как же без него теперь? Он уже от сарая начал кричать, повернувшись к отворенным окнам дома:

— Дарья Семеновна! Да-арья Се-ме-нов-на-а!..

Та выскочила в испуге.

— Господи-сусе! Что с вами?

— Где же он? Куда вы его дели? — накинулся на нее древний.

— Кто это? Кого дела? — не сразу поняла Дарья Семеновна.

— Как «кто это»? Гроб, конечно! А что же еще?

— Гро-об?.. Что это вы об нем вздумали?

— Где он? Вы что же это? Продали его? А?

— Да батюшки, где стоял, там и стоит,— что вы! Стану я его продавать! И кому, в самом деле так рассудить, он нужен,— гро-об?.. Подумаешь, зависть на него у людей, что ли?

— А что же я, что же я его не вижу совсем, а?

— Заставили кое-чем всяким, вот и не видите... Теперь уж сушки вишневой в нем не держу,— он и без надобности.

И, немного отойдя от сильной оторопи, добавила, крестясь:

— Вот до чего же вы меня напугали, Петр Афанасьевич! Разве же так можно? Я ведь тоже года уж не маленькие имею... У меня сердце уж стало небось все рав-

но как тряпочка, а вы меня так разволновали своим криком, что и не знаю как!

Успокоившись несколько, оттого что гроб оказался на месте, и даже разглядев, наконец, из-под каких-то ящиков его бронзовую или медную ручку, Петр Афанасьевич ничего не нашел больше сказать ей по поводу ее волнения, как только это:

— Как же можно было на гроб ящики какие-то ставить? Гроб — это последнее жилище, а ящики что же такое, зачем? В печку их, на кухню, и все... Поколоть топором и на кухню.

Так увлекся, что в забывчивости еще несколько раз повторил: «Поколоть и на кухню», когда пошел уже от сарая в дом. Лег было по долголетней привычке у себя в кабинете на «самосоне», но и «самосон» не помог,— не заснул.

А четверо молодых, разойдясь после обеда по своим комнатам,— так как братья обычно редко когда говорили с сестрами, считая их интересы гораздо более мелкими, чем свои,— занялись тем же, на чем застал их час обеда, и Надя продолжала убеждать Нюру, что медлить с отъездом в Петербург теперь уж никак нельзя.

— Может быть очень большой наплыв на курсы,— говорила она,— и ты рискуешь остаться за флагом, если поздно поедешь.

— Ну вот, глупости какие,— остаться за флагом! — упорствовала Нюра.

— Не понимаю, что ты здесь, наконец, так прилипла! — начинала уж раздражаться Надя.—Что ты здесь такого не знаешь? Все знаешь, и все уж тебе должно надоесть, а там теперь одни белые ночи чего стоят! В Эрмитаж сходим, в музей Александра Третьего пойдем,— сколько картин ты увидишь! Люди из-за одного этого туда нарочно бог знает откуда, из Сибири туда едут, а ты уперлась, как все равно ослица какая, а чего уперлась — неизвестно!

— Да я совсем не уперлась, что ты! — слабо уже защищалась Нюра.— Откуда ты взяла?

— Ну, прилипла, как муха к липучке! Там, ты пойми, вся жизнь,— вся, какая только быть может! А здесь что? Буквально муха прилипшая!

— Я и не прилипла, не выдумывай, пожалуйста, а дней десять еще бы можно ведь погодить.

— Ну, если ты так, я и одна могу поехать,— внезапно решила Надя,— а ты уж сама потом приезжай.

— Выдумала тоже!

— А что же ты думаешь, это шуточки, что от Коли с Петей вот уже две недели нет писем?

— Подумаешь! Люди и по месяцу не пишут... О чем и писать, когда не о чем?

— А если они арестованы оба, в тюрьме сидят? — шепотом проговорила Надя.

— Ну да, еще чего — «арестованы»,— также шепотом пыталась отрицать возможность этого Нюра, пытливо в то же время вглядываясь в глаза сестры.

— Ничего невозможного нет, раз там такие везде демонстрации. И вот они где-нибудь там одни, бедные, в камере сидят и написать оттуда ничего нам не могут.

— А Ксения, может быть, уже приехала из-за границы,— последнее, что могла, высказала Нюра.

Ксению, как старшую, обе сестры младшие называли почтительно полным именем. Она еще в начале каникул уехала из Петербурга в заграничную экскурсию вместе с несколькими десятками еще учителей и учительниц из разных концов России. Она служила в одной из женских гимназий Смоленска, но возвращаться из-за границы ей нужно было через Петербург. В последней своей открытке из Берна она писала, что экскурсия уже на подъеме домой, так как и каникулы на исходе и все издержались.

Наде, конечно, никакого труда не стоило доказать Нюре, что Ксения, если даже успела уже с экскурсией вернуться в Петербург, едва ли одна что-нибудь может сделать в пользу братьев, если они действительно сидят оба, а втроем они, конечно, могли бы добиться, чтобы их освободили.

К вечеру Нюра начала уж укладывать в корзину свои книги и в чемодан белье и платья. А на другой день,— кстати, это был тот день, когда в городе известно стало, что Россия — в лице русского правительства— выразила намерение прийти на помощь Сербии, если она подвергнется нападению Австрии,— обе сестры уже садились в поезд, который должен был довезти их до Петербурга.

Петр Афанасьевич только благословил обеих и всплакнул при этом, расставаясь с Нюрой, но на вокзал не поехал, хотя поезд отходил днем, а Дарья Семеновна расплакалась на вокзале, прощаясь с дочерьми, так, как будто отчаялась уже когда-нибудь их увидеть.

IV

Володя Худолей тоже готовился в это время ехать в Харьков: несколько десятков рублей для этой цели дали его отцу из «офицерского заемного капитала» в штабе полка.

Однако командир полка Черепанов, распорядившись выдать ему деньги, сказал:

— Придется и нам с вами готовиться к отправке.

— К отправке? Куда именно? — спросил Иван Васильич, надеясь услышать от своего начальника точный ответ, так как насчет отправки вообще были разговоры в полку, но все какие-то смутные.

Однако и Черепанов,—высокий человек, с глухариными бровями и слишком длинной черной с проседью бородой,— сказал только:

— Куда прикажут, туда нас и повезут... А мы все должны быть готовы,— вот и все.

— Но ведь может и так быть, господин полковник, что никуда не отправят, потому что незачем будет,— попытался уяснить свое будущее Худолей.

Черепанов задумчиво побарабанил длинными пальцами по столу, за которым сидел, и ответил:

— Хорошо бы, разумеется, только едва ли.

Потом добавил:

— Ваше дело пока маленькое,— вы в обозе с лазаретными линейками... А в случае военных действий — на вас большая ответственность ляжет, имейте это в виду. Опыта же у вас в этом нет: вы — врач мирного времени, а к нам на перевязочный пункт будут везти и нести тяжело раненных... Легко раненные не в счет — этим только перевязка, а тем операции придется, пожалуй, делать, а? Вы же ведь совсем не хирург.

И Черепанов, который сколько уже лет относился к нему хорошо, никогда не вспоминая о том, что он не хирург, теперь смотрел на него недовольно, сдвигая к переносью дюжего носа густые брови.

— На перевязочном пункте операций делать не придется, господин полковник,— кротко отозвался на это Худолей, но Черепанов заметил еще недовольнее, как будто Худолей виноват в этом:

— И младший врач тоже не хирург,— так нельзя! Остается войти с ходатайством, чтобы дали хирурга.

Худолей знал, что Черепанов, обеспокоенный трахомой в своем полку, сам часто заворачивал верхние веки

солдатам в ротах, но не было такого случая, чтобы хоть два слова он сказал ему когда-нибудь насчет хирургии. Из этого он сделал вывод, что какие-то секретные приказы по поводу войны уже получены в штабе полка и поэтому думать над вопросом, будет или нет война, теперь уже лишнее: будет.

И не только сам Черепанов, но и полковой адъютант поручик Мирный, у которого был такой же янтарный мундштук, как у командира, вдруг из самоуверенно-благодушного стал раздражительным и крикливым.

Прежде он говорил со всеми просто, поучительным тоном, только иногда вставляя в свою речь:

— Приказ по полку, господа, надо читать, а не «думать» и в облаках не парить.

Теперь же он, когда к нему обращались с расспросами, отвечал раздраженно:

— Готовиться надо, и все... И не о чем больше думать!

Длинный и с длинным бритым лицом, с высокомерным жестким рыжеватым ежом на узкой голове, поручик Мирный всем своим видом теперь как будто даже стремился показать, что вот-вот полк ринется куда-то в бой.

Не удивился поэтому Худолей, когда подошел к нему потом, в лагере, поручик Середа-Сорокин, охотник, обладатель двух борзых собак пегой масти и двух гончаков. Вытянув гусачью шею, искательным тоном сказал ему Середа-Сорокин:

— Доктор, у вас ведь дом есть, хозяйство,— вам, наверное, нужна собака, а?

— Как вам сказать, право, не знаю,— боясь его обидеть отказом, отвечал Иван Васильич.

— Что же тут не знать? Понятно, нужна... Я вам приведу одну борзую, а? Привести?

— Не знаю, как жена, вот что я хотел сказать. Она собак никаких не любит... И до сего времени обходились ведь без собаки,— ничего.

— Ну как же можно, послушайте: иметь свой дом и не иметь собаки! Я могу и гончую вам дать, на время войны, разумеется, а потом возьму обратно.

— Да нет, знаете ли, лучше не надо,— и пытался уйти от поручика Худолей, но тот был неотступен.

— Двух уж пристроил к месту,— говорил он,— только две остались: борзая и гончак. Прекрасный гончак,

вы убедитесь, а если хотите борзую, то отчего же: приведу борзую.

Так как Худолей хорошо знал свою Зинаиду Ефимовну, то, несмотря на весь талант жалости, не решился все-таки пожалеть Середу-Сорокина и постарался спастись от него, нырнув в дверь околотка, где совсем не было больных в этот день и только классный фельдшер Грабовский сидел на табуретке и читал газету по старой привычке своей интересоваться политикой.

Проверив опытными пальцами, так ли, как надо, лежат его усы, Грабовский, губернский секретарь по чину, имевший поэтому две звездочки на погонах, сказал значительным тоном:

— Двое суток — срок ультиматума — прошло уж, Иван Васильич! Теперь думайте, что хотите. Может быть, там уж началось, только что мы не знаем.

— Нет, это не может быть так скоро,— решительно отверг опасность Худолей.— Ультиматум одно, а военные действия — совсем другое... Я убежден, что договорятся в конце концов.

Грабовский улыбнулся снисходительно: в вопросах политики старший врач полка казался ему сущим младенцем; и Худолей признавал его над собой превосходство в этих вопросах, однако теперь ему не хотелось уступать своему классному фельдшеру, и он добавил:

— Сколько на свете мирных людей и сколько воинственных,— попробуйте-ка прикинуть на счетах.

— Ваша правда, Иван Васильич, мирных, может быть, в двести раз больше, только власть-то не в их руках — вот в чем закавыка! — победоносно возразил Грабовский.— Потому-то у нас и начинают проявлять энергию... Даже вот Акинфиев идет сюда! — и кивнул на открытое полотнище палатки.

Акинфиев, младший врач, ежедневно заходил в полк, и совсем не нужно было вставлять «даже», но несколько насмешливое отношение сорокалетнего уже фельдшера к молодому врачу, с одной стороны, и необычайность момента, с другой, подсказали ему именно это словечко.

Высокий, но узкий и сутулый, в дымчатых очках, так как глаза его боялись слишком яркого здесь летнего солнца, Акинфиев имел вид больного, желавшего, чтобы его уверили в скором выздоровлении.

— Что это, Иван Васильич, суета такая в полку, будто тревога объявлена? — спросил он, войдя поспешно и улыбаясь робко.

— Неужели суета? Я что-то не заметил,— сказал Худолей.

— Да и мне, пожалуй, так только показалось,— тут же согласился с ним Акинфиев и благодарно посмотрел на Грабовского, который заметил, глядя в газету:

— Сказать, чтобы особая какая-нибудь суета, этого нельзя: идет подготовка, конечно, на всякий случай.

— Я тоже думаю, что это еще не то чтобы настоящая... Именно, на всякий случай,— тут же согласился Акинфиев, а Худолей, вспоминая, что услышал от полковника Черепанова, но не желая говорить об этом, вставил будто бы между прочим:

— Хирурга нам должны бы прислать, а то ведь ни я, ни вы не сильны в хирургии.

— Мало того, запасных должны пригнать тысячи две, чтобы полк был по военному составу, а не по мирному,— сказал Грабовский и выпятил грудь: у него была выправка.

— Запасных? — удивленно повторил Акинфиев.— Ведь это бывает, когда уж мобилизация...

— Вот тебе на! — удивился и Грабовский.— Конечно же, раз война, то и мобилизация!

Но то, что было ясно для одного, оказалось и темно и непостижимо для другого.

— Однако же в японскую войну так не было, это я отлично помню,— сказал Акинфиев.— Война уж шла, а мобилизацию потом объявили.

— Кажется, именно так и было,— поддержал его, впрочем весьма неуверенно, Худолей, но фельдшер-политик Грабовский вскинулся на двух врачей, не привыкших читать газеты:

— Как же это вы судите, не понимаю! Ту войну японцы начали как? Как никто ее не начинал никогда, вот как! Пока наши только еще ворон ловили, те уже армию свою высадили,— получайте!

— Да-а,— протянул весьма неопределенно Худолей.— Что-то в этом роде действительно было... Но в общем, если в полку суета, то, значит, надо суетиться и нам... Пойти хоть свои лазаретные линейки посмотреть.

— А что же их смотреть?—сказал на это Грабовский и потом снова сел на табурет и уткнулся в газету, когда Худолей, взяв под руку Акинфиева, вышел из околотка.

— Вот беда, Иван Васильич, если в самом деле война начнется,— доверительно и вполголоса обратился

Акинфиев к Худолею, направляясь с ним в сторону обоза.— Расстроится тогда моя свадьба!

Худолей ни разу не слышал от него раньше, что у него есть невеста, поэтому удивился, но не успел спросить, кто же именно: очень зычно заорал дневальный десятой роты, ходивший со штыком на поясе по передней линейке:

— Кап-те-нармусов ротных выслать на середину полка-а-а!

Крик этот тут же был подхвачен дневальным одиннадцатой роты, потом двенадцатой, потом перекинулся в четвертый батальон. Дневальные вели обычную передачу и были похожи на утренних петухов, но в этот день все почему-то казалось очень значительным.

— Каптенармусов на середину полка вызывают,— зачем же это? — спросил Худолей, вместо того чтобы спросить своего младшего врача о его невесте.

— Получать что-нибудь из полкового цейхгауза,— подумав, ответил Акинфиев.

— То-то и дело, что получать, а что именно? Не для запасных ли что-нибудь такое, а?

И как раз в это время, так как недалеко было до обоза, раздался оттуда начальственно-хриповатый голос капитана Золотухи-первого, командира нестроевой роты:

— Отчего колеса у аптечных двуколок не подмазаны, а? Т-ты, рыло свинячье!

Худолей и Акинфиев переглянулись, и первый сказал второму:

— Слыхали? Колеса уж подмазывать требуют!

— Вот в том-то и дело,— упавшим голосом отозвался второй.

— Говорится: не подмажешь — не поедешь.

— Понятно: собираются ехать.

Но на пути к Золотухе-первому попался командир шестнадцатой роты Золотуха-второй, тоже капитан и брат первого, такой же бородатый и черный, с таким же хриповатым рыком.

— Что, уже колеса подмазывают? — таинственным голосом спросил его Худолей, кивнув в сторону обоза, но Золотуха-второй или не понял, или не захотел понять намека. Его рота была выстроена перед палатками и делала ружейные приемы под команду фельдфебеля Фурсы.

Низенький, но очень плотно сбитый, Фурса скомандовал:

— Начальник слева!.. Слуша-ай, на кра-ул!

И на Худолея, звякнув винтовками, выкатила глаза вся рота, так как именно он, в сопровождении Акинфиева, подошел в это время слева.

Фурса, должно быть, просто хотел воспользоваться случаем, чтобы солдаты его роты действительно видели кого-то, подошедшего слева, но, видимо, это не понравилось Золотухе-второму, почему он и неприязненно встретил Худолея.

— Какие колеса?— спросил он хмуро.

— Обозные,— пояснил Худолей.

— Так что? Подмазывают?.. Колеса, они на то и существуют, чтобы их подмазывали,— что же тут такого?

— Однако же, если их не подмазывали раньше, значит, не нужно было,— постарался еще ближе к делу подойти Худолей, но Золотуха-второй вдруг закричал неистово своему фельдфебелю:

— Вся середина первой шеренги штыки завалила, а ты куда смотришь, а-а? — и ринулся к роте.

Канцелярия полка и летом продолжала оставаться в городе, там же, где была и зимою, но из этого не вытекало никаких неудобств: дом стоял на окраине, среди других домов казарменного квартала, а лагерь начинался недалеко от казарм.

Худолей давно уже помнил этот лагерь, однако в первый год его службы в полку тополи, со всех четырех сторон замкнувшие лагерь, были только что посажены, теперь же они встали четырьмя высокими стенами, отрезавшими этот мирок от остального мира. Если в остальном мире кругом было множество интересов, разнообразно переплетающихся между собою, то здесь плохо ли, хорошо ли делали только одно: готовили полторы тысячи людей к сражениям. Была даже одна команда — «К бою го-товьсь»,— по которой штык грозно оборачивался в сторону возможного врага, ведущего лобовую атаку.

Здесь кололи соломенные чучела с разбегу, занимались самоокапыванием, пуская в ход свои саперные лопатки, брали на «ура» земляные валы и деревянные заборы — укрепления противника...

Главное, здесь было поле кругом, гораздо более похожее на поле сражения, чем зимняя казарма. Поэтому Худолею всегда казалось странным видеть и в лагере те же ружейные приемы, как и на дворе казарм, но теперь эту заботу Золотухи-второго о чистоте приема «слушай, на кра-ул!» он принял за упорное нежелание знать, чем взволнован весь мир.

Впрочем, из шестнадцати ротных командиров полка Золотуха-второй казался всегда ему едва ли не самым отсталым, недалеким, наименее склонным к какой бы то ни было новизне, к какой-нибудь, хотя бы самой небойкой, игре мысли.

Однако и другие пятнадцать командиров рот были капитаны как капитаны — довольно прочно сработанные люди, любители поиграть в преферанс в часы, свободные от занятий в ротах.

Один, впрочем, капитан Диков любил вырезывать лобзиком рамки для фотографий, но Худолей затруднялся решить — очень лучше это, чем игра в преферанс, или не очень, во всяком случае, это не увеличивало его чисто военных знаний.

Как врач, он больше знал офицеров полка и их семейства со стороны здоровья, но, отойдя от шестнадцатой роты настолько, что его не могли бы услышать ни Золотуха-второй, ни двое его полуротных, ни Фурса, он неожиданно для себя сказал Акинфиеву:

— Ведь это вот, что мы с вами видим, и есть именно будущее России!

— То есть как будущее? — не понял Акинфиев.

— Ну, в общем, я хотел сказать: то, от чего зависит наше будущее — и мое, и всех ста семидесяти или восьмидесяти миллионов, сколько их там считается, граждан России,— уточнил Худолей.

Эта простая мысль осенила его внезапно и удивила его: никогда раньше не приходилось ему задумываться над этим — и некогда было, и как-то не было подходящего случая. Но Акинфиев все-таки смотрел на него с недоумением, почему он и продолжал, воодушевляясь:

— Представьте хоть на одну минуту такую картину... При Николае Первом говорили: «Сорок тысяч столоначальников,— то есть разных там титулярных советников, мелких чинушек,— управляет Россией...» Вообразите же сорок тысяч Золотух, ротных командиров, и скажите, пожалуйста, не в их ли руки будет отдана судьба России, если начнется война?

— Отчасти, конечно, в их руки...— начал было возражать Акинфиев, но Худолей перебил:

— Как же так «отчасти»? Не отчасти, а вполне! Без капитанов нет полков, без полков не будет дивизий... Капитан — это альфа и омега армии, все равно что николаевский столоначальник.

— А командиры полков, бригад и прочие?

— Приказывать будут, а выполнять их приказы — на это имеется капитан Золотуха... Он не болеет золотухой, но, может быть, лучше бы было, если бы болел и не служил поэтому в армии, а на его месте был бы кто-нибудь другой — и помоложе и поумнее.

— Вот как вы уж теперь рассуждать стали, Иван Васильич,—удивленно сказал на это Акинфиев, остановясь: ему никогда прежде не приходилось слышать подобное от своего прямого начальника, который был чрезвычайно снисходителен к людям.— Может быть, вас чем-нибудь обидел Золотуха?

— Чем же он мог бы меня обидеть? — удивился в свою очередь Худолей.— Нет, ничем... Разве что самым фактом своего существования...

— Насколько мне известно, он существует в полку лет двадцать, однако же...

— В обстановке мирного времени,— перебил Худолей.— В обстановке же мирного времени все вообще военные только исключение. Но вот, пожалуйте, война, и у нас их, может быть, в десять раз будет больше... В чьих же руках будущее России?

Он двинулся с места, чтобы на ходу закруглить свою мысль, но из деревянной палатки, в которых поселялись на лагерное время батальонные командиры, вышел подполковник Швачка, ведавший четвертым батальоном, и сказал как бы расслабленно:

— Вот говорится: на ловца и зверь бежит... Это правильно, господа медики... Зайдите-ка на минутку.

Медики переглянулись и зашли в маленький барак Швачки, в котором помещались только стол, стул и койка и очень трудно было бы поместить что-нибудь еще. Два окошечка прорезаны были по сторонам двери, а пол был выкрашен красной охрой. Несколько кустов розовой мальвы росло около барака — и это было все украшение подполковничьей летней здесь жизни.

Швачка был тучный, оплывший старик, однако Худолей не помнил, чтобы он жаловался ему на болезни: теперь же он, впустив обоих врачей и заботливо прикрыв за ними дверь, сказал вдруг вполголоса:

— Плох я стал, господа медики... Откровенно говоря,— ни-ку-да!.. Послушали бы вы в свои... как они называются?

— Стетоскопы,— подсказал Акинфиев.— У меня, к сожалению, нет.

— И я не захватил. Но это в сущности ничего не значит,— решил Худолей.— У каждого из нас есть уши. Что же, снимите рубаху, послушаем.

До предельного возраста для подполковников Швачке оставалось всего два-три месяца,— это знал Худолей, как знал и то, что вообще подполковники, так же, как и капитаны, «предельного возраста» не любят: с ним связана отставка и пенсия, на которую трудно прожить.

Однако в эти тревожные дни мог быть спасителен и «предельный возраст», и могли быть желательны часто связанные с ним болезни. Расспрашивать о чем-нибудь Худолей счел излишним. Перед ним стоял покорно снявший рубаху, жирнотелый, с волосатой выпуклой грудью человек, весьма поживший, лысый, с тусклыми глазами, с сединой в бороде и усах, по строевой привычке старавшийся держаться прямо, но чуть только память подсказывала ему, зачем он пригласил врачей, вдруг начинавший сутулить спину и шею.

Худолей стучал пальцами в его грудь, прикладывал к ней ухо и говорил то «Дышите!», то «Не дышите!», то «Вздохните глубже!» Наконец, отошел на шаг и уступил свое место Акинфиеву, который тоже стучал пальцами и слушал.

— Прилягте-ка,— обратился потом к Швачке Худолей, и тот со всей серьезностью, которой требовал от него этот важный в его жизни осмотр, грузно улегся на заскрипевшую койку.

Поочередно мяли ему живот и спрашивали: «Больно?» — на что подполковник предпочитал отвечать, что больно вообще и везде больно.

— Явная эмфизема легких,— сказал после всех своих действий Акинфиев,— а также и гипертрофия сердца.

— Кроме того, цирроз печени,— добавил Худолей.— Можете надеть рубашку.

— И как же все это, господа,— серьезно? — спросил Швачка, поднявшись и натягивая рубашку.

— Еще бы не серьезно,— утешил его Акинфиев.

— Разумеется,— окончательно одобрил его Худолей.— Притом же это ведь поверхностный осмотр, а если более детальный, то к трем основным дефектам может ведь присовокупиться и еще...

— А разве трех этих, как вы их назвали, не будет довольно? — на всякий случай спросил Швачка.

— Вполне довольно,— успокоил его сомнение Худолей; Акинфиев же пояснил:

— Важна ведь степень запущенности болезней... Может быть и одна болезнь, да зато в такой сильной степени, что... А тем более, если три.

Когда благодарно пожимал руки врачей Швачка и отворял перед ними дверь своего барака, оживленным стало его широкое лицо и помолодел голос:

— Как же вы думаете, Иван Васильич, могут меня оставить здесь командиром запасного батальона?

— Какого запасного батальона? — не сразу понял Худолей.

— Нашего полка, конечно: полк уйдет, а маршевые команды к нему на фронт откуда же посылаться будут? Из запасного ведь батальона.

— Ах да, как в японскую кампанию было... Отчего же не могут! Вполне могут. Вы скажите об этом командиру полка.

— Да я уж говорил и даже почти обнадежен,— решил теперь улыбнуться слегка Швачка.

— Сегодня мне попенял командир полка, что мы с вами оба — не хирурги,— сказал Худолей Акинфиеву, направляясь к обозу,—а между тем, конечно, война, это — сплошное увечье человеческих тел... Не хирурги, да, но мелкие операции мы можем все-таки делать, а вот один командир батальона счел за благо остаться в тылу...

— Иван Васильич! — вдруг просительным тоном отозвался на это Акинфиев.— В самом деле, ведь запасной батальон как же может обойтись без врача? Не могу ли я остаться здесь врачом в запасном батальоне, а?

Так непосредственно это было сказано, с такою верой в только что явившуюся мысль глядел младший врач на старшего, что Иван Васильич даже отвернулся сконфуженно.

— Запасному батальону никакого врача особого не полагается,— ответил он и добавил: — А нам с вами еще рано отлынивать... Швачке все равно подходил уже предельный возраст, а вам что такое? Ах да,— жениться захотели? Стоит ли перед войной жениться,— подумайте-ка. По-моему, подождать бы до конца войны.

— Да ведь войны, может быть, и не будет,— сказал на это Акинфиев, чтобы сказать что-нибудь.

— Может быть, и не будет,— счел нужным согласиться Худолей, чтобы загладить неловкость.

А в обозе тем временем уже шла война: там развоевался Золотуха-первый, и хрипучий голос его тяжело

реял над линейками и двуколками, выкрашенными в прочный зеленый цвет и с толстыми железными шинами новых дебелых колес.

V

Не потому только, что здесь стояло два полка,—пехотный и кавалерийский,— успело докатиться сюда слово «мобилизация», дня за три до того прозвучавшее в Красносельском дворце: слишком многих касалась эта военная мера, чтобы ее соблюдали как строгую тайну, пока она не была бы объявлена всем.

— Вот штука-то! Будто бы не один только запас, а даже и ополченцев первого разряда брать будут! — войдя в свою квартиру, сказал Макухин Наталье Львовне, сидевшей на балконе с Дивеевым.

Бывают такие новости, которые высказывают только затем, чтобы начали яростно опровергать их,— иначе они слишком пугают. Макухин не то чтобы надеялся на это со стороны жены или Алексея Иваныча, которые знали по части запаса и ополчения гораздо меньше, чем он, но даже услышать энергично сказанное кем-нибудь из них слово «чепуха» для него было бы как вода во время жажды.

И Наталья Львовна первая сказала:

— Чепуха, должно быть! Болтают, лишь бы побольше наболтать.

— Это о чем? — осведомился Дивеев.

— Будто бы и ополченцев брать будут,— повторил Макухин.

— Ополченцев? — Дивеев задумался на секунду и спросил: — Когда же их? В конце войны?

— В том-то и дело, что будто бы не в конце, а в самом начале: запас и ополчение в один день.

— Никогда этого не было! Никогда не слыхал я, чтобы... Нет, это — явная действительно чепуха, Федор Петрович! Ополченцы, ведь это что же такое? Это — бороды по пояс и топоры за поясом... На какой-то картине я видел,— в двенадцатом году такие были, сто лет назад... Как же можно,— даже и подумать смешно! Нет, ты не верь!

Алексей Иваныч даже и руки поднял вровень с лицом, чтобы защитить себя от чепухи явной и недвусмысленной и оберечь от нее Макухина.

— Я и сам тоже думаю, какая же такая крайность, чтобы тут тебе сразу и запас и ополчение,— решительно чтобы всех? — начал рассуждать, перейдя с балкона в комнату, Макухин.— Кормить ополченцев нужно? А как же их не кормить? Это денег будет стоить? Еще бы нет! Раз! Помещение для них надо заготовить? Полагать надо, что не на свежем воздухе будут они жить. Это тоже клади на счеты... Да если все как есть, что для них, для ополченцев, требуется, на счеты положить,— в казне и денег не хватит! Не считая того, что от дела их оторвут,— прямо сказать, миллионы людей, а толку от них никакого: молодых обучать еще строю, там, стрельбе и прочему надо, а стариков переобучивать... По всем видимостям выходит,— кто-то зряшный слух об этом пустил, а людям разве втолкуешь? Прямо как перед светопреставлением каким, все головы потеряли! Полезнова сейчас видал, говорил с ним, и тот туда же: «А что, говорит, если и мои года брать будут?» А ему уж пятьдесят, и то страшится. «Детишки, говорит, только еще ползать начали, а ходить еще не ходят,— вдруг прикажут: «Надевай шинелю!» Конечно, об деле нашем он теперь вовсе молчок. «Слава богу, говорит, что не начал!»

Дивеев вскочил и начал ходить из угла в угол, ступая очень быстро, что было у него признаком охватившего его волнения.

— Я был в тюрьме,—заговорил он,—а потом в каком-то маленьком сумасшедшем доме,— помню, помню... Однако, позвольте, чем же отличается это? Там — маленький, а здесь — большой, только, только. Дело в размерах, и, кроме того, там, в общем, безвредно было... Пользы, разумеется, никому никакой, зато хоть явного вреда не было. А что же такое теперь собирается начаться, а?.. Россия, Австрия, Германия, Сербия, Франция — все, все, вся Европа! А потом еще какая-нибудь комета явится посмотреть, как Земля с ума сходит! Комета с двумя хвостами... А хотя бы и с одним, все равно... Войны нет пока, однако почему же это, почему же допускают так много разговоров всяких о ней, а? В газетах умные люди или нет сидят? В дипломатах, в министрах умные люди? С генеральскими эполетами, со звездами налево-направо от лент через плечо, а?.. Они что, из сумасшедших домов выпущены? Нет? Тогда почему же такой начинается всеевропейский погром здравого рассудка? Федор Петров! Быть этого не может, чтобы началась война! Не верь!

— Да ведь кому же хочется верить? И я не верю, упираюсь, конечно, изо всех сил, а как ежели по затылку стукнет, тут уж не в вере будет значение, а в силе,— проговорил Макухин, все-таки несколько ободренный беспорядочными словами бывшего архитектора.

— В мире чего больше, скажи: ума или глупости? — схватив его за плечи, спросил горячо Дивеев.

— Да ведь глупости, конечно, тоже хватит,— понимая, к чему этот вопрос, уклончиво ответил Макухин.

— Нет-с, ума! Все-таки ума, иначе не было бы совсем жизни! — выкрикнул Дивеев.— В двести раз больше ума, чем глупости, откуда же, скажи, может взяться война?

— Смотря что перетянет,— хотел сдаться, но намеренно тормозил себя Макухин.— Пудовая гиря, она ведь невидная, или камень-дикарь возьми, а половы, скажем, овсяной, ее на пуд сколько пойдет? Мешок половы на спину вскинь,— тебя за этим мешком и видно не будет... Знаешь, как Адам в раю волов своих обманул, на которых там землю пахал?

— Нет, не знаю,— опешил несколько Дивеев.

— Это мне татарин один рассказывал... Волы, конечно, трудились, пришел им черед хлеб молотить своими ногами,—обмолотили... Вот какая кучка того хлеба лежит, вон какой омет соломы наворочен. Ну, Адам, конечно, их спрашивает: «Чем хотите кормиться, выбирайте... Что себе выберете, то и будете от меня получать каждый день». Волы смотрят на хлеб,— так себе кучечка незавидная; смотрят на солому,— прямо целый дом стоит, и запах от этой соломы вкусный. Пошли мычать вперебой: «Вот это нам давай!» — и рогами в солому уперлись. Адам, конечно, тому и рад: «Это и будете от меня получать,— я свому слову верный...» Кинулись волы к той соломе — вот хрумчат и вполне довольны, Адам же тот хлеб свой поскорее с ихних глаз долой, натолок зерна в ступе да лавашу себе напек... Так точно и это, что ты говоришь.

— Что же тут такого «так точно»? Я тебе об уме и о глупости, а ты мне какую-то сказку про белых бычков! — почти рассердился Алексей Иваныч.

— Не знаю уж, белые они были или же серые, а только ежели счесть Адама за умного, а волов его, конечно, за дураков, то посчитай, сколько в Адаме весу да сколько в паре тех волов, хотя бы и райских.

— К чему же ты клонишь, не понимаю? —недовольно спросил Дивеев.

— Да к чему же мне больше клонить, как не к уму да глупости? Ведь я твои же слова повторяю,— отозвался Макухин.

— Хорошо «повторяю»! Разве так повторяют? — вмешалась Наталья Львовна.

— Я ведь неученый, что же с меня взять,— угрюмо улыбнулся Макухин.— Как умею, так и повторяю... А как если ополченцев брать будут, значит, придется тогда идти.

— Как это так «придется идти»? Ты что это глупости говоришь? — возмутилась Наталья Львовна, докурившая к тому времени папиросу и бросившая в угол окурок.

— От нескольких человек слышал.

— От таких, каким нужна война? — резко спросила Наталья Львовна.

— Кому же она тут нужна?

— Ну да, конечно, кому же она тут нужна? — поддержал Макухина Алексей Иваныч.— Тут пушечных королей нет.

— Илье Лепетову нужна,— вот кому! У него, как известно, большие планы,— сказала Наталья Львовна.

— Кроме того... кроме Ильи... тут еще кое-какие заводишки есть,—пробормотал Дивеев не совсем внятно.

— Вот видишь, заводишки,—подхватил, обращаясь к нему, Макухин.— А они что же, как по-твоему,— ум или глупость?

Однако старая рана в сердце Алексея Иваныча была уже вновь разбережена выкриком Натальи Львовны, и он ответил не на вопрос Макухина, а на свой:

— Илье, конечно, бесспорно, ему война, да, ему... Он в ней разберется, как в собственном доме... Она — для него... Для таких, как он, я хочу сказать... Однако разве Илья Лепетов — это ум? Это только подлость с открытой харей, а совсем не ум!.. Он подойдет, да, он вывернется из любых тисков, и он достигнет... Несмотря ни на что, или... или благодаря всему... Даже и войне тоже... Он приспособит к себе войну — вот в чем его ум: в том, чтобы приспособить мерзость, тюрьму, сумасшедший дом!..

Это был вечерний уже час, когда слепая спала после обеда, а полковник Добычин выходил на прогулку. Если не с кем было гулять, он уходил один, и вот теперь в прихожей раздалось шлепанье туфель спешившей на его звонок прислуги, потом стало слышно, как он преувеличенно бодро почему-то крякал... Таким бодрым и крякающим он и вошел в комнату, где говорили трое волнуясь.

— Вот какую новость подхватил я прямо, можно сказать, на улице! — начал он сразу, как только вошел.— Австрия-то какова? Объявила уж, говорят, войну Сербии!

— Как так объявила? — почти шепотом прошелестела Наталья Львовна.

— Очень просто: взяла и объявила! Ведь срок ультиматума прошел, а как же! Значит, Сербия чем-то не угодила — вот и начали.

— Да от кого же это вы? — изумился Макухин.— Отчего же я не слышал? Я ведь только что сам-то пришел,— другое слышал, а этого нет.

— А что такое ты слышал? — полюбопытствовал Добычин.

— А вы от кого слышали про войну? — захотел сначала удостовериться Макухин.

— Грек один говорил в табачной лавке, что уж будто австрийцы стрельбу через Дунай по Белграду открыли,— вот откуда.

— А грек этот откуда же мог узнать? — усомнился Алексей Иваныч.

— Как же так откуда? Греки чтобы не знали! — не сдавался полковник.— Да они всю подноготную знают.

— Однако же никаких телеграмм.

— А, может быть, у них свой телеграф — кабель какой-нибудь в Черном море! А ты что слышал? — обратился полковник к Макухину.

— Я — плохое... Будто ополченцев первый разряд призывать вместе с запасными будут...

Макухин думал, конечно, что его тесть возмутится этим так же, как жена и Алексей Иваныч, но увидел, что полковник как-то вытянулся вдруг и посмотрел почему-то молодцевато.

— Опол-ченцев? — раздельно спросил он.

— В том-то и дело.

— Составлять, значит, дружины ополченские думают? По регламенту Александра Первого? Тысяча девяносто шесть человек в дружине?.. Вот это, это действительно новость! От кого же ты это слыхал?

С каждым своим восклицанием полковник выпрямлялся и, наконец, даже как будто попробовал выпятить грудь.

— Несколько людей говорили, не от одного слышал.

— Но ведь в таком случае,— знаешь ли ты, что я состою в списке штаб-офицеров, пред-наз-на-а-чен-ных к занятию должностей командиров дружин?

— Папа? Вот как? — удивилась Наталья Львовна.— Отчего же я об этом не знаю?

— Неужели я не говорил? Говорил, должно быть, да ты недостаточно вслушалась в мои слова, почему и забыла... Да-с, вот именно так: могу быть командир дружины. А ты, значит, будешь у меня под командой, если тебя возьмут.

И полковник покровительственно положил руку на спину зятя и добавил:

— Неловко, конечно, нижний чин ты,— ну, что делать, как-нибудь тебя устрою...

— Выходит, Лев Анисимыч, что вы как будто бы даже... ничего не имеете против войны? — спросил Дивеев.

— При чем же тут война, братец? — прогудел начальственно Добычин.— Война и дружина! Дружина будет себе в тылу, хотя бы здесь, нести гарнизонную службу, и все... Никто с нее ничего больше не спросит.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ИСПУГАВШИСЬ ДОЖДЯ, ПРЫГНУЛА В ВОДУ

I

Надя и Нюра, отправляясь в Петербург, сели не на курьерский, а на почтовый поезд, однако вместо двух с половиной они пробыли в дороге почти четыре дня: почему-то очень долго стоял на узловых станциях их поезд, пропуская вперед какие-то другие, большей частью товарные поезда,— красные вагоны и платформы. Надя строила сначала догадки, что простои на узловых станциях от забастовок, так что эти задержки на пути в бастующую столицу только поднимали ее настроение. Но, проехав Харьков и Курск, она, как и другие пассажиры, убедилась в том, что мешают движению их поезда военные поезда, которые идут не в целях подавления забастовки.

Выходя кое-где на станциях с чайником за кипятком, Надя очень внимательно смотрела по сторонам и вслушивалась в разговоры, однако пока все еще оставалось прежним — и станции с их суетой, и разговоры.

В Понырях, где на перроне толпилось много солдат, Надя спросила одного, веселого с виду:

— Далеко едете?

— Куда везут, туда и едем,— ответил веселый.

— Куда же вас везут?

— Про это начальство знает,— сказал веселый; но пригляделся к ней другой, с тяжелым взглядом, с серебряным кольцом на указательном пальце и с одной лычкой на погоне, и спросил ее сам:

— А вам, барышня, зачем же это требуется знать?

— Так себе,— сказала простосердечно Надя.

— А «так себе», значит, это вам ни к чему,— загадочно решил ефрейтор, но посмотрел на нее при этом так неприязненно, что она только вздернула плечом и отошла.

В отношении Нюры она вела себя подлинной старшей сестрой. В дороге это было тем более к месту, что Нюра в первый раз выехала из Крыма, а Наде было уже знакомо много станций, и хотя из окна вагона, но она уже видела раньше и не один раз многие города по магистрали Петербург — Севастополь, и с каждым у нее уже было связано кое-что.

Так, когда подъезжали к Павлограду, она говорила Нюре:

— Там возле станции шпал очень много лежит — шпалопропиточный завод рядом, а города не видно совсем: он где-то там, за дубовым лесом...

Когда подъезжали к Харькову, предупредила:

— Тут такой запутанный вокзал,— столько платформ в разные стороны, что тебе одной нельзя там и выходить!

— Ну вот, «нельзя»! — обижалась Нюра.— Почему это нельзя?

— Потому и нельзя. Заблудишься и попадешь как раз не в свой поезд... Тем более что там поезд передвигают почему-то с одной платформы на другую — то туда, то сюда.

— А город видно?

— Еще бы не видно, когда там университет!

Когда после Харькова поезд миновал Казачью и Веселую Лопань, Надя говорила:

— Сейчас Белгород. Обрати внимание: церквей в нем — и сосчитать нельзя!

— А почему он Белгород?

— Как же так «почему»? Он же весь на меловых горах стоит... Конечно, это не то, что наши крымские горы, а так себе, ну все-таки весь мел, каким ты на доске, в классах писала, не иначе как оттуда шел.

Курск очень понравился Нюре.

— Вот это — красивый город, — говорила она.— Этот действительно на горе стоит.

— А река, мне говорили, там маленькая, вроде нашего Салгира.

— Какая? Как название?

— Название... Я сейчас вспомню... Какое-то очень чудно́е...

И Надя долго силилась вспомнить, щелкала пальцами, делала досадливые гримасы, наконец выкрикнула:

— Тускарь, Тускарь! Речка Тускарь... Дальше будет Орел, там Ока, а в Курске — Тускарь.

И добавила с большим оживлением:

— А гусей белых ты увидишь, когда мы между Курском и Орлом будем ехать, прямо миллионы! Как в Белгороде горы все белые, так там прямо лугов из-за гусей не видать: все решительно как молоком залиты,— везде гуси!

Надя не просто показывала младшей сестре страну, в которой они жили, она не была бесстрастным путеводителем, она сама упивалась просторами, красотой, богатством земли, расстилавшейся вправо и влево от железной дороги, перерезавшей с севера на юг русскую равнину.

Больше того: Надя чувствовала себя совсем по-хозяйски, и так начала чувствовать только теперь, когда взяла в Петербург, столицу России, Нюру, никогда до того не видавшую просторов России.

Она как будто сама росла, и очень стремительно, переживая вновь то, что уже было ей известно, но впитывая его в себя гораздо глубже. Она следила при этом и за сестрой, и ей чуть ли не преступлением казалось, когда замечала она рассеянный, полусонный взгляд Нюры, стоявшей у окна в коридоре вагона, у окна, за которым — море чудес.

Она понимала, конечно, что обилие впечатлений могло утомить сестру, но самой ей все хотелось в кажущемся однообразии картин отыскать новое и новое.

Она везла новое в себе самой: она одаряла этим своим новым сестру, но готова была одарить и всех кругом, и все кругом. Она оказалась самой словоохотливой в своем купе и во всем вагоне.

Спала она мало, тем более что июльские ночи, чем дальше к северу, становятся все короче; вскакивала чем свет, выходила на площадку вагона и спрашивала кондуктора:

— Это мы на какой станции стоим?

По ночам поезд больше стоял, чем шел. Что-то совершалось под прикрытием ночей,— Надя ощущала это, хотя и не могла осмыслить. Совершалось что-то большое, творилась чья-то воля, перевертывалась страница истории, пока еще с легким шелестом.

В Москве пришлось спать: поезд пришел туда поздно вечером и простоял там всю ночь. Так как вагон, в котором ехали Надя с Нюрой, был прямого сообщения до Петербурга, то его вместе с другими подобными вагонами перевезли по окружной дороге и прицепили к составу петербургского поезда. Однако тронулся этот поезд не так рано, часов в девять, так что по вагонам уже пробежали мальчуганы с только что вышедшими московскими газетами.

Надя успела заметить за свою короткую жизнь, что в поездах у людей появляются почему-то чудовищный аппетит и непреодолимая тяга ко сну; газеты же если и покупались, то исключительно в хозяйственных целях, как оберточная бумага; едва брали их в руки люди, расположившиеся на верхних полках, как тут же засыпали, не успев прочитать и десяти строк.

К удивлению своему, она наблюдала это и теперь, несмотря на то, что день только еще начался, а в газетах, хотя бы и между строк, можно было найти объяснение тому, что их почтовый поезд не спешил, спешили же, напротив, товарные поезда, которые везли на платформах что-то очень тщательно прикрытое брезентами и охраняемое солдатами.

Та московская газета, которую купила Надя у разносчика-мальчишки, наполовину состояла из объявлений. В них не заглядывала она, но зато прочитала все остальное, и это была первая газета, которую Надя прочитала с передовой статьи до объявлений.

Она думала, что прежде всего ей бросится в глаза со столбцов газеты знакомый уже заголовок: «Забастовка в Петербурге», однако о забастовках на всех восьми страницах не было ни слова. Зато вверху одной из страниц была «шапка», набранная очень крупными буквами: «Угроза европейскому миру», и вся страница переполнена была чрезвычайно важным.

Прежде всего сообщалось о расколе в Тройственном союзе. Крупным шрифтом было напечатано извещение «по телефону из Петербурга»:

«Римский кабинет в определённой и ясной форме заявил, что если Австрия начнет войну против Сербии, то Италия не окажет Австрии никакой военной помощи, так как это не входит в круг обязанностей Италии, обусловленных союзным договором между нею и Австрией».

И еще тем же шрифтом:

«Германия, как это точно установлено, была отлично осведомлена о тоне и сущности требований австрийского ультиматума, и выступление Австрии состоялось с ведома и согласия берлинского кабинета. Момент вручения ноты был выбран Германией и Австрией по общему соглашению».

И несколько ниже, но в том же столбце:

«Англия через своего посла в Берлине только что сделала германскому правительству заявление, что в случае европейской войны Англия станет на сторону России».

— Нюра, слушай! — то и дело обращалась Надя к сестре, читая ей новость за новостью, одну важнее другой.

Сообщалось, что в Мюнхене немцы разгромили кафе, где обычными посетителями были сербы: перебили посуду, мебель, зеркала, люстры, окна, а сербов избили. В Берлине отмечались демонстрации перед русским посольством, огромные толпы целый день собирались там и кричали: «Долой Россию! Долой сербов!»

Главное же — были помещены на этой странице ответы: сербского правительства на ультиматум и австрийского — на сербский ответ.

Надя напряженно вчитывалась в тот и другой.

Дважды перечитывала она сербскую ответную ноту и возмущенно сказала Нюре:

— Ну, это я даже не знаю, что это такое! По-моему, сербы себя страшно унизили, так что мне даже стыдно за них, — я их считала храбрыми, а это уж называется извиняться во всем, в чем даже не виноват, и ножкой шаркать!

— На что же они согласились? — спросила Нюра.

— На все, понимаешь, на все решительно! И чтобы в газетах сербских против Австрии ничего не писали, и чтобы офицеры и чиновники сербские против Австрии ничего не говорили, а иначе против них приняты будут суровые меры; если кто уличен будет, что так или иначе в сараевском убийстве участвовал, то предан будет суду... Ну, одним словом, на все соглашаются, прямо досадно!.. Только вот разве это одно: «Что же касается расследования агентов австро-венгерских властей, которые были бы

откомандированы с этой целью, то королевское правительство не может на это согласиться, так как это было бы нарушением конституции и законов об уголовном судопроизводстве», и, понимаешь, за это-то именно и ухватились австрийцы: «Под ничтожным предлогом,— они пишут,— совершенно отклонено наше требование об участии австро-венгерских органов в розыске находящихся на сербской территории участников заговора...» И конечно! Значит, ответная нота найдена австрийцами неподходящей!.. А сами они что сделали? Вот смотри: «За несколько часов до истечения срока ультиматума в Будапеште был арестован начальник штаба сербской армии генерал Путник, находившийся в целях лечения на одном из австро-венгерских курортов». Вот тебе и ожидали ответа на ультиматум! Очень он им был нужен, этот ответ! А ты знаешь, что это за шишка такая начальник штаба армии? Это все равно, что армии голову отсечь!

— Ну-у, поло-жим! — недоверчиво протянула Нюра.

— Вот тебе и «положим»! Его, правда, потом все-таки освободили, но это уж по требованию русского правительства,— сами они законопатили бы его куда-нибудь подальше... А сербское правительство предлагает австрийскому пойти на третейский суд, если оно того хочет.

— А может быть, все-таки пойдут на третейский суд, хотя... Вот тут австрийцы пишут в ответе на сербскую ноту, будто за три часа до передачи ноты сербы уж мобилизацию объявили...

Надя не решилась прямо ответить сестре, что война стоит уже на пороге и может войти в любой момент. Как раз в это время читала она «правительственное сообщение», которым запрещалось говорить в газетах обо всем, что касалось числа и состава воинских частей, их передвижения, вооружения и прочего, и вспомнила свой вопрос, заданный в Понырях веселому солдатику. Поэтому она сказала Нюре:

— Ты только смотри, где-нибудь на станции не задавай никаких вопросов солдатам, а то тебя еще за австрийскую шпионку примут и арестуют!

II

Пуанкаре успел побывать только в Стокгольме: для Норвегии и Дании не оставалось уже времени — события развивались слишком быстро и настоятельно требовали возвращения президента Франции в Париж.

Вернулся из уютных фиордов Норвегии в Берлин и Вильгельм: наступали решающие дни, так как дипломатические ходы Бетман-Гольвега не удались.

Всю свою логику пустил в дело Бетман, чтобы отколоть Францию от России, но Франция ко всем увещаниям его отнеслась совершенно спокойно. Он получил не одно уверение из Лондона в том, что Англия ни за что не ввяжется в среднеевропейский конфликт, но она тем не менее привела весь свой флот в полную боевую готовность, а лондонские газеты начали уже писать, что «Сербия — не остров где-нибудь в Тихом океане, а европейское государство, и Англия не имеет права безучастно относиться к ее судьбе».

Если готовилась Франция к реваншу, то Германия готовилась к тому, чтобы проглотить Францию. Вильгельм ясно представлял опасность для Германии одновременной войны на два фронта, и если Бетману не удалось отколоть Францию от России, то со всей отличавшей его энергией Вильгельм пустился воздействовать на Николая, стремясь внушить ему, что он должен предоставить Сербию своей участи, иначе начнется европейский пожар.

«С глубоким сожалением я узнал о впечатлении, произведенном в твоей стране,— писал он в телеграмме Николаю,— выступлением Австрии против Сербии. Недобросовестная агитация, которая велась в Сербии в продолжение многих лет, завершилась гнусным преступлением, жертвой которого пал эрцгерцог Франц-Фердинанд. Состояние умов, приведшее сербов к убийству их собственного короля и его жены, все еще господствует в стране. Без сомнения, ты согласишься со мною, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы других правителей, заставляют нас настаивать на том, чтобы все лица, морально ответственные за это жестокое убийство, понесли бы заслуженное наказание. В этом случае политика не играет никакой роли. С другой стороны, я вполне понимаю, как трудно тебе и твоему правительству противостоять силе общественного мнения. Поэтому, принимая во внимание сердечную и нежную дружбу, связывающую нас крепкими узами в продолжение многих лет, я употребляю все свое влияние для того, чтобы заставить австрийцев действовать открыто, чтобы была возможность прийти к удовлетворяющему обе стороны соглашению с тобой. Я искренне надеюсь, что ты придешь мне на помощь в моих усилиях сгладить затруднения, которые все еще могут возникнуть.

Твой искренний и преданный друг и кузен *Вилли*».

Пока Николай еще обдумывал ответ на эту телеграмму, Австрия, внимая совету Вильгельма «действовать открыто», объявила Сербии войну.

Казалось бы, все в сербской ответной ноте было сказано так, чтобы не возбудить гнева сильного противника: австрийским дипломатам не за что было ухватиться, кроме разве одного только недоумения сербов по поводу желания Вены лично и своими силами и средствами произвести следствие в Сербии. Вена за это и ухватилась: поставив знак равенства между началом следствия и началом военных действий, она открыла артиллерийский обстрел Белграда.

Это сделалось известным в Петербурге после полудня 15 июля.

Война началась так, как ее задумали, то есть в целях приобщить Сербию к землям короны Габсбургов, и в этом направлении сделан был первый «открытый» шаг.

III

Стоял ясный, почти безоблачный день, когда поезд, везший Надю и Нюру, подходил к Твери, так что лето казалось как лето в Крыму и здесь, где так часты дожди, и Нюра, попавшая сюда в первый раз, готова была не видеть разницы между очень уже далеким теперь родным ее Крымом и тверской землей.

Она смотрела в окошко вагона с ненасытным любопытством, отмечая про себя, что крыши деревенских изб пошли здесь не только деревянные, но и очень крутые, что чернолесье остается уже позади, а на смену ему все больше и гуще выдвигаются сосны и елки.

— Что я собственно знала о Тверской губернии? — говорила Нюра сестре.— Что здесь было когда-то Тверское княжество удельное, что князь какой-то кричал: «Тверичи, не выдавайте!» и что Волга вытекает отсюда из какого-то озера Селигер... Больше я что-то решительно ничего не помню.

— Вот видишь! А теперь по Тверской губернии едешь и можешь все видеть своими глазами,— покровительственно замечала Надя,— а потом по Новгородской поедешь, по Петербургской...

— Огромная все-таки какая наша земля!

— Это что! А вот у нас одна курсистка из Благовещенска, так той две недели приходится до Петербурга ехать.

— Куда же, в таком случае, суются против нас идти немцы?

— Не сунутся небось! Немцы не дураки ведь,— знают, куда им нечего соваться...

Надя оставалась упорной в своем убеждении, что, несмотря ни на что, войны все-таки не будет. Объяснить ни кому-нибудь, ни себе самой она не могла бы, откуда у нее такое упорство, но никаким «угрозам европейской войны», о которых писали газеты, все-таки не хотелось верить.

— В Твери долго будем стоять? — спросила она у кондуктора, когда показался уже вдали город.

— Ну, а то не долго,— буркнул, проходя, кондуктор-старик.— Везде чтобы долго, а в Твери чтобы пять минут,— новости какие!

— Что он сказал? — спросила сестру Нюра.

— Говорит, что всю Тверь пешком исходить можно, пока поезд тронется,— ответила Надя.

— Ну что же, и в самом деле мы там походим — посмотрим, а чемоданы авось не сопрут,— кому-нибудь их поручим, правда?

Возможность походить вволю по старинному городу, о котором говорилось в отделе «Удельная Русь» гимназического учебника Иловайского, очень радовала Нюру, и Надя тоже склонялась к мысли: отчего бы и в самом деле если не походить, то взять за двугривенный извозчика и проехаться по главным улицам?

Однако в дело вмешалась неожиданность и повернула по-своему.

Когда остановился у перрона тверского вокзала поезд, сестры уже договорились с усидчивой раскидистой мамашей двух небольших детей, что она никуда не будет выходить из купе и присмотрит за их двумя чемоданами и корзиной. Они считали себя совершенно свободными от всяких докучностей по крайней мере на целый час и, взявшись за руки, ринулись было через вокзал туда, где около всех вообще порядочных вокзалов стоят обыкновенно извозчики, как вдруг остановил их громкий и радостный окрик из густой толпы:

— Надя! Нюрка!

Они остались на месте с открытыми ртами и увидели,— протискивался к ним брат Петя. Он был в своей

старой студенческой тужурке и в форменной, тоже старой, фуражке, и первое, что он спросил, когда дотискался до сестер, было удивленное:

— Как же вы меня не узнали?

— Да мы ведь по сторонам не смотрели, а только вперед,— сказала Надя.

— Мы хотели Тверь посмотреть,— сказала Нюра.

Поцеловавшись, отошли к сторонке, и начались расспросы:

— Ты как здесь?

— Еду же в Москву.

— В Москву? Зачем?

— За песнями,— за чем же еще! Конечно, по делу. На завод. Товарищ один вызвал телеграммой.

— А домой почему телеграммы не послал?

— Послал же! Вчера послал. Как только Колю освободили.

— Вот видишь! Значит, сидел?

— Еще бы не сидел! Спасибо, что только неделю продержали.

— Где же он теперь? Дома?

— Конечно, дома.

— А ты не врешь?

— Зачем же мне врать? Приедете — увидите.

— Мы так и думали, что посадили... Только мы думали, что обоих.

— Ну вот, обоих! Жирно будет по целому таракану, хватит и по лапке... Я дипломную работу сдавал, мне некогда было.

— Сдал все-таки?

— Ну еще бы нет! Теперь кончено,— инженер, с чем можете и поздравить.

— Поздравляем! Поздравляем!

— Да что же толку-то, когда война подоспела!

— Неужели будет?

— Прикажи, чтобы не было... А тебя, Надюха, кто же надоумил теперь Нюрку в Питер везти?

— Сама надоумилась. А что?

— Ничего, не плохо... Позже, пожалуй, труднее было бы.

— Труднее? Я тоже так думала. А почему труднее?

— Вот тебе на — «почему»! Завируха же, конечно, начнется... А мама как?

— Ничего и мама и дедушка... О вас беспокоились.

— Ну, понимаешь, нельзя же было писать: арестован

и так далее... Обошлось все-таки, и ладно. А Саша с Геной когда едут?

Даже при самом беглом взгляде, каким обычно обмениваются друг с другом люди в тесной вокзальной толпе, всякий мог бы безошибочно решить, что разговаривают так оживленно брат и сестры: Петя был очень похож на Надю и Нюру и ростом, только немного повыше их: круглое румяное лицо, круглые серые глаза — этим все трое они вышли в мать.

— Где же твой поезд? — спросила Надя.

— А там, на четвертой платформе,— неопределенно мотнул куда-то головой Петя.— Больше часа стоим, и никто не знает, сколько еще стоять будем... Вы тоже тут застрянете надолго... Так что я, пожалуй, вполне успел бы взять билет обратно да поехать с вами.

— Поедем, Петя, в Петербург! — радостно вскрикнула Нюра, но Надя оказалась строже сестры.

— Как же так, Петя, ведь тебе же надо в Москву? — спросила она, сделав ударение на «надо».

— Надо-то надо, да, признаться, что я больше на радостях, что Колю отпустили с подпиской о невыезде. Ему, дескать, нельзя никуда уехать, а мне можно,— вот и поеду... А то в сущности едва ли стоит ехать.

— А что? Почему не стоит?

— Да ведь завод-то немецкий, то есть хозяева немцы, а вот-вот война с немцами... Получается дыня с квасом... Говорят люди, что завод этот тогда неминуемо прикроют... Или, может быть, в лучшем случае отберут.

— Ну что же, это хорошо будет, если отберут,— пылко сказала Нюра.

— Хорошо-то хорошо, да ведь и меня тоже отобрать могут.

— Куда, Петя, отобрать?

— Как куда? В армию, конечно...

— Неужели? Ведь ты же инженер теперь, Петя!

— Что из того, что инженер... У нас, в Крыму, тоже инженеры были из немцев-колонистов — Кун, например, электрик, Тольберг, тоже электрик, и другие — их уже вызвали в Германию служить в армии.

— Как так в Германию вызвали? Почему в Германию, если они наши немцы были? — удивилась Надя и добавила: — И откуда ты это знаешь, что их в Германию вызвали?

— Знаю. Писали мне. Теперь уж их нет в Симферополе. Они ведь отбывали воинскую повинность в Герма-

нии и лейтенанты запаса, а там так: запасным посылается карточка, где бы они ни жили, и — пожалуйте на цугундер. Двадцать пять корпусов Германия имеет кадровых войск, а двадцать пять корпусов еще у нее будет без объявления мобилизации из этих вот самых запасных, какие по карточкам явятся. Вот тебе и два миллиона войска налицо!.. Я такие источники раскопал, когда дипломную работу готовил, что прямо малина! Как раз мне к теме это пришлось, только что писать об этом тогда нельзя еще было... Такие открылись горизонты, что как же и не быть войне! В Петербурге что творится!

— А что, Петя, а что именно? — заволновалась Надя.

— Манифестации! Дамы зонтиками машут и кричат: «Долой немцев!» В Германии считают, что мы уж у них в кармане, остается только этот карман застегнуть аккуратно на пуговку, и вся недолга.

— Мы? Огромная страна такая,— запальчиво вскрикнула Нюра.

— Вот тебе и огромная. А порядки наши...

Очень большая толчея была на вокзале оттого, что два поезда стояли здесь в ожидании отправления: однако, кроме пассажирских, тут был еще и воинский поезд и два поезда товарных, но с военным грузом. На такое обилие людей тверской вокзал не был рассчитан, поэтому, кое-как выбравшись из давки на двор со стороны города, именно туда, куда устремились было Надя и Нюра, все трое вздохнули гораздо свободнее.

— Еще войны нет, а уж такая бестолочь,— сказала Надя,— а что будет, если война начнется!

— Призвать меня в армию, думаю так, на этих же днях могут,— отозвался Петя и гораздо более оживленно продолжал: — Но все-таки что же мне делать, в самом деле? Ехать ли в Москву, или с вами назад?

— Бери билет, Петя, голубчик, поезжай с нами! — тут же отозвалась на это Нюра, но Надя, сделав строгое лицо, заметила:

— А если там, в Москве, ты место потеряешь?

— Да теперь ведь, кажется, все места потеряют,— вздохнул Петя.

— Ну, это ведь только твое личное мнение такое.

— Ничего, ничего, приедешь в Петербург, и твое личное мнение станет такое же!

Петя похлопал слегка по плечу Надю, раздумывая, а в это время на вокзале зазвякал колокольчик швейцара, и раздался тягучий басовый голос:

— По-езду на Москву пер-вый зво-нок!

— Ого! Вот так штука! — встрепенулся Петя.— Наш поезд желает двигаться! В таком случае, так и быть уж, поеду!

— Неужели поедешь? — удивилась больше, чем опечалилась, Нюра, а Надя сказала:

— Поезжай, конечно! В случае чего, приехать в Петербург всегда успеешь.

— Резон,— одобрил ее Петя и, взяв под руки сестер, снова втиснулся с ними в гущу вокзала.

IV

Как ни медленно шел почтовый поезд на Петербург, как ни долго стоял он на станциях, все же в десятом часу утра он дотащился до Николаевского вокзала, и первое, чем встретил Надю этот вокзал,— на нем почему-то было непривычно мало носильщиков. Пришлось самим взять чемоданы и корзину и медленно, вслед за другими, тоже отягощенными своим багажом пассажирами двигаться от поезда к выходу на Знаменскую площадь.

Зато тут, около входных дверей на вокзал с площади, Надя и Нюра увидели первую петербургскую толпу, внимательно читавшую какое-то длинное, видимо свеженаклеенное объявление.

— Что это? — спросила Надя, кивнув на эту толпу какому-то железнодорожнику.

— Мобилизация,— строго ответил железнодорожник.

— Мобилизация? Нюра, слышишь? Мобилизация! Пойдем читать!

И обе, как были, с чемоданами, вместо того чтобы идти к длинному ряду извозчиков и ехать тут же на Пески, на квартиру Коли и Пети, сестры подошли к толпе и подняли головы к белому листу, помещенному достаточно высоко, чтобы передние ряды читающих не могли помешать задним; очень крупными и четкими были и буквы, так что легко читались слова, сколь бы ни был тяжел и зловещ их смысл.

«Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату.

Признав необходимым привести на военное положение часть армии и флота, для выполнения сего, согласно с указом, данным нами сего числа Военному и Морскому Министрам, повелеваем:

I. Призвать на действительную службу, согласно действующему мобилизационному расписанию 1910 года, нижних чинов запаса и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения:

а) во всех уездах губерний: Костромской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Астраханской».

— А Петербургской? — спросила вслух Надя.

— Петербургской дальше,— ответил ей кто-то,— тут только во флот призывают.

Действительно, дальше Надя нашла и восемь уездов Петербургской губернии, которые должны были дать пополнение флоту.

В общем же указ был длинный, на четырех столбцах, и касался он если не всех уездов в губернии, то все-таки всех почти губерний. Значительность этого указа Надя и Нюра видели по всем лицам толпы: они были сосредоточенно хмуры. Хмурой была и погода.

Еще на ночь в вагоне пришлось им достать и надеть теплые кофточки, но здесь было холодновато и в них. Сеялся мелкий дождик; дул порывистый ветер.

— Ну, вот видишь это тебе не Крым,— говорила Надя, отходя с Нюрой к извозчикам.

— Еще бы не Крым, когда теперь уж ясно, что война,— сказала Нюра.

Это стало ясно и Наде, что Крым в ее душе, Крым, как солнечность, нежность, живая легенда, почти сказка, чарующая музыка, красота, «Майское утро» на стене в мастерской художника Сыромолотова, «Демонстрация», в центре которой молодая смелая девушка — она, Надя — идет отдавать свое все, свою жизнь за дело народной свободы,— это кончено теперь. Вломилось непрошеное в дом и начинает уже бить посуду.

Извозчики знали, что объявлена мобилизация, поэтому начинали запрашивать втрое дороже обычного, и напрасно Надя ссылалась на таксу,— пришлось набавить. Зато сестер ожидала удача: Коля, который мог ведь и уйти куда-нибудь, оказался дома и был заметно рад их приезду.

В глазах Нади он был героем: он сделал то, что мечтала сделать она; он мог вполне попасть на новую картину Сыромолотова — заслужил это, в то время как она

только еще собиралась заслужить и похоронила уж сегодня утром эту надежду.

Благодаря тому, что потолки комнаты в квартире Коли были низковаты, он показался очень высоким не видавшей его больше года Нюре, и раза три повторила она:

— Какой ты огромный, Коля!

Даже и Надя, приглядываясь к нему, решила, что он все-таки выше и Саши и Васи и плотнее их.

— Плотность — дело наживное,— шутливо отозвался на это Коля.— Студентам, разумеется, полагается быть поджарыми, а инженеру можно уж и мясо наживать.

Легко, как книги, переставил он с места на место их чемоданы и корзину, которые казались им такими увесистыми, почти неодолимыми, когда тащили они их с поезда на вокзал.

— Коля, а тебя как арестовали, расскажи,— обратилась к старшему брату Надя, когда он усадил уже обеих сестер за чай.

— Что же тут рассказывать,— усмехнулся Коля.— Арестовали, как обыкновенно, на улице вместе с другими, каких загнали в тупик, вот и все. Деваться там было некуда, пришлось совершить прогулку в участок.

— А тебя там не били? — не удержалась, чтобы не спросить, Надя.

— Нет, со мной обошлись без физического воздействия,— улыбнулся ей Коля и добавил: — Все-таки я инженер, телесным наказаниям не подлежу.

— Значит, меня бы били, если бы я им попалась? — с живейшим любопытством спросила снова Надя.

— Поскольку ты — курсистка, девица образованная, то едва ли бы начали бить,— подумав, сказал Коля,— а вот рабочих били, я это слышал, хотя и не видел,— криков было много.

— Что же ты? Как же ты на это?

— Протестовал, разумеется, как мог.

— А они что на это?

— Что? Разумеется, сказали, чтобы я их не учил, что они сами знают, что делают.

— А тебя, что же, все-таки судить будут? — допытывалась Надя.

— Кто их знает. Если война, то я думаю, подождут с этим занятием,— а впрочем, не знаю как.

— А место твое на заводе?

— Занято, конечно, кем-то другим, более благонадежным.

— Послушай, Коля, как же так,— разволновалась вдруг Надя,— в таком случае, если ты не на заводе, тебя ведь могут взять по мобилизации?

— Пока еще только берут запасных во флот, но, в общем, что же тут такого?

V

Конечно, указ царя о мобилизации был объявлен в этот день, 17 июля, во всех газетах, но в этот же день газеты поместили и манифест императора Франца-Иосифа о войне с Сербией, хотя австрийские пушки уже целые сутки громили Белград, нанося ему множество разрушений.

Из трех императоров первым выступил на мировую арену бесчисленных убийств, увечий, уничтожений самый старый, наполовину уничтоженный уже сам, придавленный к земле тяжким бременем восьмидесяти четырех лет.

Это вышло зловеще для человечества. Будто сама ее величество Смерть подписала смертный приговор целому государству, дав этим сигнал для начала такого истребления людей в Европе, какого не видел еще мир со времен «всемирного потопа».

День 17 июля принес людям целую метель достоверных, самых достоверных и наидостовернейших слухов вперемежку с тем, что уж не подлежало сомнению,— с указами, приказами и сообщениями правительств крупнейших стран.

Прежде всего провалилось предложение сэра Эдуарда Грея о конференции четырех держав по австро-сербскому вопросу: не до конференций уж было, когда военные действия начались, а Германия отказалась от участия в конференции еще до начала бомбардировки Белграда. Наивными оказались надежды кое-каких подернутых плесенью политиков, что вот приедет из Норвегии Вильгельм в Берлин, и он, «известный своим миролюбием», сразу переложит руль с войны на мир. Вильгельм приехал не для того, чтобы отдалить, а чтобы ускорить войну.

Все, чем жил он долгие годы, совершилось: Германия имела могучую армию, которой не было равной в мире; она имела военно-морской флот, второй по силе после английского, но могущий уже соперничать с английским; она имела тяжелую промышленность, превосходившую по своим размерам промышленность Англии, не говоря о других европейских странах, и она имела еще своего

прусского бога, который «передвигал для нее тучи на небе»... Ее готовность к войне достигла предела, и Вильгельм, второй по старшинству лет император Европы, зорко следил только за действиями третьего императора — Николая, чтобы тому не вздумалось как-нибудь предупредить его, воина, гения, героя!

Что германская армия, готовая стать действующей, уже удваивалась благодаря тайной мобилизации, это считалось Вильгельмом в порядке вещей; что Николай предлагал ему обратиться для решения австро-сербской распри к Гаагской конференции, это ожидалось Вильгельмом; разные мелкие распоряжения русского правительства, вроде погашения маячных огней в районе Севастополя или введения военной охраны на железных дорогах, его не беспокоили.

Он только усмехнулся, когда Бетман ему поднес при докладе о положении в России только что опубликованное в Петербурге «правительственное сообщение» от 15 июля такого содержания:

«Многочисленные патриотические манифестации, происходившие за последние дни в столицах и в других местах империи, показывают, что твердая и спокойная политика правительства нашла сочувственный отклик в широких кругах населения. Правительство надеется, однако, что эти выражения народных чувств отнюдь не примут оттенка недоброжелательства по отношению к державам, с коими Россия находится и неизменно желает находиться в мире. Черпая силу в подъеме народного духа и призывая русских людей к сдержанности и спокойствию, императорское правительство стоит на страже достоинства и интересов России».

Еще бы не желало «императорское правительство» России находиться в мире с Германией! Было бы, напротив, полным безумием стремиться к войне с ней.

И вдруг мобилизация в России,— не тайная, а явная, объявленная с высоты престола!

Было от чего прийти в крайнюю степень негодования Вильгельму...

Весь план войны на два фронта — против Франции и России — строился только на том, что Россия, при жалкой сети железных дорог на своих огромных пространствах, при неспособности и продажности чиновников, непременно запоздает с мобилизацией настолько, что позволит разбить Францию, взять Париж, заключить мир с побежденными и бросить все силы на Вислу,

чтобы покончить на русской равнине все «до осеннего листопада». Мобилизация в России путала все эти расчеты.

16 июля вечером Вильгельм послал телеграмму Николаю. В ней о Германии не говорилось ни слова. Не говорилось ничего и о том, удовлетворителен ли ответ Сербии на австрийский ультиматум. Подчеркивалось только, что, каков бы он ни был, какую бы покорность ни высказала Сербия, война, объявленная ей, была неизбежна, чтобы закрепить силой оружия то, что обещали сербы на бумаге.

Значит, сербы должны были дать Австрии какой-то кусок своей территории как бы в залог того, что свои обещания они сдержат, австрийцы же должны были разгромить и уничтожить сербскую армию в залог того, что на остальную территорию Сербии, кроме занятого ими куска, они покушаться не будут.

Эта странная мысль, принадлежала ли она самому Вильгельму, или соавторами его были также берлинские и венские дипломаты, проникла также и в газеты, которые поместили вдруг заметку: «Новый шанс на сохранение мира».

В этой заметке говорилось, что, несмотря на крайнюю сложность и запутанность положения, шансы на сохранение европейского мира еще не утеряны окончательно. «Выходом из положения послужит, быть может, занятие Австрией Белграда. После этого события Англия может возобновить попытку созвать международную конференцию, и есть некоторые основания думать, что на этот раз предложение Англии будет принято Германией».

Европейские политики, по крайней мере те из них, которые поверяли свои мысли газетам, думали убедить кого-то, что стоит только сербам отдать Австрии свою столицу, и молох войны удовлетворится этой подачкой. Но чересчур широка была пасть молоха и бесконечно вместительно его чрево.

Телеграммы, которыми обменивались Вильгельм с Николаем, были немногословны, переговоры же, которые вел Пурталес с Сазоновым, длились часами. Как все споры между людьми ведутся обычно из-за разного понимания слов, так и тут — Пурталес и Сазонов неодинаково понимали слово «мобилизация». По Пурталесу выходило, что мобилизация в России означает уже начало войны, так как должна вызвать и вызовет непре-

менно мобилизацию в Германии, а Сазонов силился доказать ему, что раз мобилизация была проведена в Австрии, то это, конечно, должно было вызвать и вызвало мобилизацию в России, но «мобилизованная русская армия может, в случае нужды, хоть целые недели стоять с ружьем у ноги, так как в России мобилизация еще далеко не означает войны».

В то же время Сазонов выставлял и такой довод в пользу мобилизации, что венский кабинет «категорически отклонил непосредственный обмен мнений с Петербургом».

На Пурталеса, на его несговорчивость жаловался в своей телеграмме Вильгельму Николай, поэтому Вильгельм, уже издав указ о военном положении в своей стране, телеграфировал Николаю:

«Не может быть и речи о том, чтобы слова моего посла были в противоречии с содержанием моей телеграммы. Графу Пурталесу было предписано обратить внимание твоего правительства на опасность и серьезные последствия, которые может повлечь за собою мобилизация. То же самое я говорил в моей телеграмме к тебе. Австрия мобилизовала только часть своей армии и только против Сербии. Если, как видно из сообщения твоего правительства, Россия мобилизуется против Австрии, то моя деятельность в роли посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя по твоей усиленной просьбе, будет затруднена, если не станет совершенно невозможной. Вопрос о принятии того или другого решения ложится теперь всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несешь ответственность за войну или мир».

Последние слова этой телеграммы имели цель запугать Николая. Почетно «нести ответственность» за мир, но совсем другое дело быть виновником всеевропейской войны. Предостережение «преданного друга и кузена Вилли» должно было прозвучать библейски грозно.

Но император Николай, обладавший весьма средними способностями ума, был прекрасно воспитан. Никто бы не мог не признать за ним выдержки и полного уменья владеть собою.

Вместо того чтобы как-нибудь отозваться на угрозу в конце телеграммы императора Германии, он сделал вид, что совсем не заметил ее. Он ответил утром 18 июля:

«Сердечно благодарен тебе за посредничество, которое начинает подавать надежды на мирный исход кризиса. По техническим условиям невозможно приостановить наши военные приготовления, которые явились неизбежным последствием мобилизации Австрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий. Даю тебе в этом мое слово. Я верю в божье милосердие и надеюсь на успешность твоего посредничества в Вене на пользу наших государств и европейского мира.

Преданный тебе *Н.*».

Мир уже дрогнул во всех своих финансовых операциях в предчувствии войны, которая встала во весь рост у всех на глазах и заполнила собой горизонты.

Ввиду полного хаоса и банкротства крупных банков лондонская биржа закрылась. Закрытие биржи вызвало всеобщую панику. Публика штурмовала банки, требуя размена кредиток на золото.

В магазинах, ресторанах, кафе, даже в кассах железных дорог Парижа были уже выставлены плакаты: «Платите звонкой монетой — бумажек не принимаем!»

Даже в финансовых кругах очень далекого от Европы Нью-Йорка началась паника.

Вследствие небывалого падения ценностей многие крупные фирмы прекратили платежи. С часу на час ожидалось банкротство целого ряда банков.

Наконец, и в Берлине, где так методично, с немецким педантизмом все готовились к войне, публика неистовствовала, требуя полностью свои вклады из сберегательных касс, а известный в Берлине банкир Бибер, разоренный биржевой паникой, покончил самоубийством, отравившись вместе с женой...

Главный двигательный нерв войны — деньги, и чувствовалось, что война вот-вот разразится, что до начала ее оставались, может быть, не дни уже, а только часы. В самой России отдавались приказания то о полной отмене дачных поездов, то о сокращении пассажирского движения, чтобы беспрепятственно гнать и гнать военные поезда к западной границе... 18 июля было объявлено первым днем не только о мобилизации запасных, но даже и ратников ополчения первого разряда...

Спешили в России, потому что поспешили в Австрии; спешили в Германии, потому что спешили в России; спе-

шили во Франции и Англии, потому что спешили в Германии. Спешили везде, спешили все, потому что всеми владела острейшая боязнь опоздать, но опоздать к чему же именно? — к началу европейской войны!

VI

— Петербурга нельзя узнать! — изумленно говорила Надя сестре, выйдя с нею на улицы.

Она привыкла к Петербургу чиновно-сухому, подтянутому, с чопорно сжатыми губами. Публика в трамваях была вежлива, но безмолвна; публика на тротуарах ходила стремительно, глядела бегло, безучастно. Провинциалов из теплосердечных, неторопливо солнечных губерний обдавало здесь в первые дни совершенно непривычным холодом. Таким строго холодным Петербург и остался в представлении Нади, проведшей в нем почти год на курсах.

Для Нюры она уж заготовила про себя кучу всяких объяснений, почему Петербург такой с первого взгляда нетеплый город и почему все-таки это совсем не так плохо, как может показаться какому-нибудь растяпе из Те-

тюшей или Царевококшайска, или даже, чтобы недалеко ходить,— Москвы.

И вдруг Петербург неожиданно преобразился, разжал строгие губы, как не могла бы и вообразить Надя раньше, когда она ехала сюда.

По улицам шли толпы людей, и полицейские не только не разгоняли их, но, стоя на своих постах, то и дело прикладывали руки к козырькам фуражек.

Плескались трехцветные русские флаги — бело-красно-синие,— которые обычно появлялись на домах по высокоторжественным дням, но не в толпе в будни; кроме флагов, совершенно невиданные плакаты пестрели над толпой людей: «Да здравствует Сербия, Франция, Россия!», «Да здравствует русская армия!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Сербия, Англия, Франция!», «Да здравствует славянство!» Часов в шесть вечера толпа подошла к дому военного министерства на Мойке.

— Да здравствует русская армия! — беспорядочно кричала толпа.

Около часа спустя толпа была вблизи дома австрийского посольства, где уже стояло много народа и то и дело гремели выкрики: «Долой Австрию!»

— Почему мы остановились? — спросила вдруг Нюра.

— Почему?.. Наверное, полиция,—догадалась Надя.
— Что там? Полиция? — спросила Нюра у своего соседа.

— А вы что бы думали? Разумеется, полиция охраняет порядок,— устранил все сомнения сосед.— Иначе бы весь дом развалили к чертям... А дом все ж таки ведь наш, русский.

Когда часам к восьми вечера Надя и Нюра добрались домой, их встретил Коля, добродушно улыбаясь:
— Что, нашлялись?.. А я, пока вы шлялись, призывную карточку получил.
— Какую карточку призывную? — не поняла Надя.
— Такую самую. Призываюсь в полк.

VII

Не только с графом Пурталесом, но и с графом Сапари, послом Австро-Венгрии, вел длительные переговоры Сазонов.
Мобилизация русская касалась в первую голову его, графа Сапари, так как предназначалась (об этом говорилось официально) для защиты Сербии от Австрии, и в то же время Сазонов уверял его, что к приказу о мобилизации будет добавлено объяснение, что Россия не намерена вести войну, а желает только занять положение вооруженного нейтралитета.
Сазонов предложил послам Австрии и Германии согласиться с таким его предложением:
«Если Австрия, признавая, что ее конфликт с Сербией принял характер общеевропейского интереса, заявит о своей готовности исключить из своего ультиматума пункты, посягающие на суверенитет Сербии, Россия обязуется прекратить всякого рода военные приготовления».
Казалось бы, чего лучше? — Австрия заявляет о своей готовности, занесенный над головой Сербии меч вкладывается в ножны, мобилизация в России отменяется, и банкиры перестают объявлять себя банкротами...
Но Австрия наотрез отказалась вложить меч в ножны, и Германия в лице своих дипломатов вполне согласилась с нею. И с какой бы стороны ни подходили к заколдованному кругу, он оказывался непреоборим, и дипломаты отлично понимали, что топчутся на месте, но в силу обстоятельств ревностно продолжали топтаться.

Война созрела и, как спелый плод чудовищной формы, готова уж была свалиться на человечество, но для этого нужен был последний толчок.

Дипломаты и политики всех стран, витающие в сфере строгих силлогизмов; миллиардеры и миллионеры, признающие только одно, что война — деньги, деньги и деньги; моралисты, число которых в те годы было еще достаточно велико; рабочие и крестьяне, которым суждено было на своих плечах вынести всю страшную тяжесть наступающей войны,— все ждали с бо́льшим или меньшим волнением: произойдет этот толчок или не произойдет.

18 июля Вильгельм из своего Нового дворца послал в Петергоф Николаю такое предупреждение:

«Вследствие твоего обращения к моей дружбе и твоей просьбы о помощи, я выступил в роли посредника между твоим и австро-венгерским правительством. В то время, когда еще шли переговоры, твои войска были мобилизованы против Австро-Венгрии, моей союзницы, благодаря чему, как я уже тебе указал, мое посредничество стало почти призрачным. Тем не менее я продолжал действовать, а теперь получил достоверные известия о серьезных приготовлениях к войне на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять предварительные меры защиты. В моих усилиях сохранить всеобщий мир я дошел до возможных пределов, и ответственность за бедствие, угрожающее всему человечеству, падает не на меня. В настоящий момент все еще в твоей власти предотвратить его. Никто не угрожает могуществу и чести России, и она свободно может выждать результатов моего посредничества. Моя дружба к тебе и твоему государству, завещанная мне дедом на смертном одре, всегда была для меня священна, и я не раз честно поддерживал Россию в моменты серьезных затруднений, в особенности во время последней войны. Европейский мир все еще может быть сохранен тобой, если только Россия согласится приостановить военные приготовления, угрожающие Германии и Австро-Венгрии.

Вилли».

Мобилизация Австрии родила мобилизацию России, мобилизация России вызвала мобилизацию Германии — так хотелось представить для суда истории это дело Вильгельму.

«На меня готовятся напасть — я обязан защищать свою границу»,— и правая, деятельная, рука хитреца торжествующе потирает левую, сухую, руку, а прищуренные стального цвета глаза над желтыми, вскинутыми кверху усами удовлетворенно подмигивают в сторону Петербурга.

Сделав вид, что забыта, совершенно выскочила из памяти мобилизация всех промышленных и военных сил страны, длившаяся десятки лет и приведшая, наконец, в ужас всю Европу, Вильгельм пытался еще убедить Николая, что он, Николай, «вынуждает его принять предварительные меры защиты»; сделав вид, что дружба его не только к Николаю, но и к России остается непоколебимой, как и была (!), он призвал для доказательства этого даже тень Вильгельма I, своего деда, действительно завещавшего на смертном одре ему, Вильгельму II,— тогда еще только принцу, но уже готовящемуся стать и кронпринцем и императором ввиду безнадежной болезни отца,— не нарушать мира с Россией.

Это было давно, тридцать лет назад, и тогда было явное превосходство сил на стороне России.

Телеграмма Вильгельма получена была в Петергофе вечером, а утром 19 июля Николай послал своему «другу» такой ответ:

«Я получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска, но желаю иметь с твоей стороны такие же гарантии, какие я дал тебе, то есть, что эти военные приготовления не означают войны и что мы будем продолжать переговоры ради благополучия наших государств и всеобщего мира, дорогого для всех нас. Наша долго испытанная дружба должна, с божьей помощью, предотвратить кровопролитие. С нетерпением и надеждой жду твоего ответа.

Ники».

Слова потеряли уж свою полновесность, стали шелухой, мякиной, ненужным сором, оттяжкой действий, грозных и сокрушительных.

А между тем накануне Николай дал аудиенцию послу Пурталесу, с которым говорил, как с представителем Вильгельма, о мобилизации в России.

Пурталес не поскупился на выражения, чтобы запугать царя. Он не остановился даже и перед тем, чтобы сделать последний вывод: русская мобилизация ни боль-

ше ни меньше как личное оскорбление, нанесенное германскому императору...

— В самом деле вы так думаете? — совершенно спокойно, точно речь шла о прошлогоднем снеге, спросил Николай.

Даже видавший виды Пурталес был изумлен и таким равнодушным видом и таким тоном царя и не знал, чему приписать это: исключительному самообладанию или полному непониманию того, что происходит.

— Только отмена приказа вашего величества о мобилизации, может быть, еще будет в состоянии предотвратить войну — вот что я думаю, ваше величество,— ответил на это Пурталес.

— Вы — бывший офицер,— заметил на это Николай,— как же можете вы говорить, что легко это сделать: сначала дать приказ о мобилизации, потом вдруг отменить этот приказ. Даже просто по техническим причинам это совершенно невозможно.

Это было сказано без малейшего повышения голоса, так же, как и то, что он затем добавил:

— Вот я написал телеграмму императору Вильгельму с объяснениями настоящего положения вещей.

При этом он положил руку на черновик телеграммы, лежавшей перед ним на столе, и придвинул его к послу Вильгельма.

— По глубокому убеждению моему, ваше величество,— горячо возразил Пурталес, пробежав глазами телеграмму,— всякие вообще телеграфные объяснения настоящего положения вещей совершенно запоздали!

— Вы так думаете? — прежним бесстрастным тоном отозвался на это Николай.

— Я думаю также, ваше величество, что европейская война, если она только начнется, неизбежно явится сильнейшей угрозой монархическому началу,— с нажимом сказал Пурталес.

— Может быть, вы и правы,— сказал царь,— но я думаю все-таки, что все устроится лучше, чем полагаете вы.

— Лучше? Но каким же образом это возможно? — совершенно озадачился Пурталес.— Никакой поворот к лучшему невозможен, если не будет приостановлена русская мобилизация!

Николай чуть заметно, в усы, улыбнулся такой горячности посла Вильгельма и сказал, указав пальцами вверх:

— Ну, если так, то помочь может только один бог.

И протянул ему руку для прощанья. Аудиенция кончилась ничем.

Послав телеграмму 19 июля утром, Николай ждал от Вильгельма ответа весь день, но вместо того германский статс-секретарь по иностранным делам фон Ягов прислал Пурталесу для передачи русскому правительству телеграмму, пришедшую в Петербург около шести часов вечера:

«Императорское правительство старалось с начала кризиса привести его к мирному разрешению. Идя навстречу пожеланию, высказанному его величеством императором всероссийским, его величество император германский, в согласии с Англией, прилагал старания к осуществлению роли посредника между венским и петербургским кабинетами, когда Россия, не дожидаясь их результата, приступила к мобилизации всей совокупности своих сухопутных и морских сил. Вследствие этой угрожающей меры, не вызванной никакими военными приготовлениями Германии, Германская империя оказалась перед серьезной и непосредственной опасностью. Если бы императорское правительство не приняло бы мер к предотвращению этой опасности, оно подорвало бы безопасность и самое существование Германии. Германское правительство поэтому нашло себя вынужденным обратиться к правительству его величества императора всероссийского, настаивая на прекращении упомянутых мер. Ввиду того, что Россия отказалась удовлетворить это пожелание и выказала этим отказом, что ее выступление направлено против Германии, я имею честь, по приказанию моего правительства, сообщить нижеследующее: его величество император, мой августейший повелитель, от имени империи, принимая вызов, считает себя в состоянии войны с Россией».

Содержание этой телеграммы было устно передано Пурталесом Сазонову в 7 часов 10 минут вечера. Таким образом Германия объявила войну России.

И только в 10 часов 55 минут вечера собрался Вильгельм ответить на последнюю телеграмму Николая, и только во втором часу ночи этот ответ был получен в Петергофе.

Несмотря на то, что война с Германией была уже объявлена, Вильгельм сделал вид, что это ему пока совершенно неизвестно, и писал так:

«Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный путь, которым можно избежать войны. Несмотря на то, что я требовал ответа сегодня к полудню, я еще до сих пор не получил от моего посла телеграммы, содержащей ответ твоего правительства. Ввиду этого я был принужден мобилизовать свою армию. Немедленный, утвердительный, ясный и точный ответ от твоего правительства — единственный путь избежать неисчислимые бедствия. До получения этого ответа я не могу обсуждать вопроса, поставленного твоей телеграммой. Во всяком случае я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в коем случае не переходить нашей границы.

Вилли».

Николаю, получившему такую телеграмму со словами «я требовал» и особенно с этим великолепным заключением: «я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в коем случае не переходить нашей границы»,— ничего не оставалось больше, как написать на телеграфном бланке карандашом: «Получена после объявления войны».

Что же касалось не просьбы, конечно, а почти приказа русским войскам не переходить границы Германии, то Николаю очень хорошо было известно, как несколько дней уже полным ходом шло сосредоточение немецких войск, в избытке снабженных всем необходимым для начала военных действий в любой момент.

Николай знал, что его «преданный друг и кузен» успел уже закончить мобилизацию своей армии в то время, когда только начал угрожать ею, если не будет оставлена мобилизация в России.

VIII

Прошло всего только три дня со времени объявления Германией войны России; но за это короткое время совершилось много, так как германский генеральный штаб бурно принялся выполнять свой давно взлелеянный план молниеносной войны на два фронта.

Германия так спешила разбить Францию и Россию до осеннего листопада, что, во-первых, «рыцарски заступаясь» за своего союзника Австрию, она объявила войну России раньше самой Австрии; во-вторых, почти все свои силы направляя прежде всего против Франции, чтобы че-

рез две недели занять уже Париж, она только через сутки после объявления войны России вспомнила, что не объявила еще войны французам, и постаралась исправить эту оплошность.

Вышло все-таки так, что Россия и Австрия не были еще в состоянии войны друг с другом, когда Германии напомнил о себе третий член Антанты — Англия, державшаяся несколько в тени после того, как было отвергнуто канцлером Бетман-Гольвегом предложение Грея о «разговоре четырех».

Один совершенно ничем не замечательный французский офицер сказал немецкому врачу в лазарете ядовито-меткую фразу: «Vos armées sont terribles, mais votre diplomatie c'est un éclat de rire» («Ваши армии наводят ужас, но ваша дипломатия вызывает взрывы смеха»). Даже Вильгельм, отличавшийся своей прямолинейностью, был поражен теми ошибками, какие, по его мнению, наделал Бетман, пока сам он плавал в норвежских фиордах. Однако и Вильгельм вполне согласился с его убеждением, что Англия в затевавшейся европейской войне остается нейтральной.

В этом взгляде особенно укрепило его то, что 16 июля прибыл в Потсдам принц Генрих с извещением от Георга V, что в случае, если разразится война, Англия останется нейтральной. Склонный к театральности выражений, Вильгельм воскликнул: «Я имею слово короля, и этого с меня довольно».

Но в Англии, стране старой конституции, насчитывавшей несколько веков существования, кроме короля, был парламент, был премьер-министр Асквит, был министр иностранных дел Грей, был Ллойд-Джордж, был морской министр Черчилль, уже успевший привести военно-морской флот в состояние боевой готовности на всякий случай,— было много государственных людей, испытанных во всех тонкостях дипломатии, был, наконец лондонский квартал Сити, способный, и это было главное, если он в ней заинтересован, финансировать войну гигантских масштабов...

Отклонивший предложение Грея о конференции Бетман во всем остальном был чрезвычайно предупредителен к Англии. Он выразил даже готовность не выпускать немецкого флота из Балтийского моря, чтобы не возбуждать у англичан никаких подозрений, и Вильгельм распорядился уже, что германский флот будет действовать только против России.

Ослепленные своей «удачей» в отношении Англии, устранив, как они думали, Англию на все время войны, кайзер и канцлер не задумывались даже над тем, что, объявляя первыми войну как России, так и Франции, они сами отбрасывают Италию и Румынию как союзников, потому что если те и обязывались выступить по договорам в защиту центральных держав, то в том лишь случае, если им объявят войну, на них нападут.

Однако Англия тоже имела договор с Бельгией, по которому должна была прийти к ней на помощь, если на нее нападет «одна из европейских держав», то есть Германия.

Знали об этом кайзер и канцлер? — Конечно, знали.

Знали они о том, что Бельгия спешно мобилизует на случай нападения на нее свою маленькую армию, во главе которой изъявил желание стать сам бельгийский король Альберт? — Конечно, знали. И все-таки громаднейшие, неслыханные до того миллионные вооруженные силы Германии вторглись в Бельгию, чтобы напасть не на нее, а на Францию,— так выходило по логике немцев.

Но Бельгия была ведь суверенная нейтральная страна. Давала ли она согласие на пропуск германских войск для нападения их на Францию? Нет, и с нею даже не говорили об этом, считая этот разговор совершенно излишним, только ненужно осложняющим дело.

В самом деле, смешно было бы думать, чтобы маленькая Бельгия, с ее игрушечной армией, состоящей в большинстве из ополченцев, спешно поставленных в строй, могла сопротивляться двухмиллионной лавине немецких солдат, и все-таки, опираясь на свои ничтожные крепостцы, эта армия вздумала сопротивляться! Почему же? — Потому что за спиной Бельгии стояла могущественная Англия, связанная с нею договором.

«Разговор четырех», задуманный Греем, не удался, зато удался разговор английского посла в Берлине Гошена с германским канцлером.

Этот разговор, во время которого Гошен с полнейшим хладнокровием заявил, что нарушение нейтралитета Бельгии вынуждает Англию объявить войну Германии, совершенно вывел из себя Бетмана. В сильнейшем волнении подымая обе руки кверху, Бетман кричал, что поведение Англии неслыханно по своей гнусности, что это удар ножом в спину Германии, что последствия этого шага будут ужасны для обеих стран, живших до сего в ми-

ре, что договор с Бельгией, на который ссылался Гошен, не больше как ничтожный клочок бумаги.

В ночь на 23 июля Англия объявила войну Германии.

Но, объявив войну Германии, Англия имела, конечно, в виду и колонии немцев в Африке, на берегах Тихого океана. Она рассчитывала в этом на помощь своей союзницы Японии, которая не могла, конечно, спокойно смотреть на то, что немцы так прочно укоренились в Циндао, заарендованном на девяносто девять лет у Китая...

Так едва началась европейская война 1914 года, как она уже переросла в мировую, которой суждено было через четверть века получить название «Первой».

1943

ПУШКИ ЗАГОВОРИЛИ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПУШЕК

I

Так же точно, как русский император Николай II любил молчать и слушать, что говорят другие, германский император Вильгельм II любил говорить и наблюдать, как его слушают.

Громкий, резкий, самоуверенный голос его неумолчно раздавался и за обеденным столом во дворце, и в охотничьем домике в Роминтенском лесу в Восточной Пруссии, и где бы то ни было в другом месте, в интимном его кругу. Он был прирожденный говорун, всегда полный мыслей, которые, как ему казалось, имели бесспорно важнейшее значение для всех его подданных, начиная с канцлера.

Он охотно выступал и в церквах, как проповедник, одеваясь пастором. Считая себя исключительным знатоком всех искусств, он давал советы, звучавшие, конечно, как приказы, писателям, композиторам, художникам, архитекторам, скульпторам Берлина и других крупных городов Германии. Даже скромные, привыкшие рыться в прахе развалин древних городов археологи не могли избегнуть его многословных указаний. Даже богословы должны были часами выслушивать его соображения по вопросам их специальности: не он ли, император великой Германии, был гораздо ближе всех богословов к «старому германскому богу»?.. Даже Станиславский, режиссер Московского Художественного театра, приехавший на гастроли в Берлин, был вызван им в императорскую ложу, чтобы узнать от него, Вильгельма, как он смотрит на театр вообще и какие к нему требования предъявляет.

В день объявления Германией войны России — 19 июля 1914 года — Вильгельм тоже счел нужным обратиться к берлинцам с пламенной речью.

Он говорил с балкона дворца. Момент был исключительный и толпа слушателей огромна.

Здоровой правой рукой кайзер делал широкие жесты, а в левой, бездеятельной сухой руке держал какие-то бумаги.

— Дети мои! — начал кайзер.— Дети мои! — повторил в полный свой голос.— Нам объявили войну! Изменнически и подло русские объявили нам войну!.. Вот пачка писем русского царя в моей руке. В них меня уверяли в дружбе, а в это время на меня и на вас, дети мои, вероломно готовили нападение! Дети! Вы прочтете эти письма и увидите, что русские — изменники и предатели... Им мало того, чем они владеют,— они хотят подчинить себе все и всех! Они хотят, чтобы мы были их рабами. Но лучше умереть на поле чести, чем сделаться рабами этих варваров. Лучше смерть, чем позор, не правда ли, дети мои?

Что могла ответить толпа немцев на слова царственного оратора? Она притиснулась к самому балкону (кайзер говорил со второго этажа дворца), она заревела, завопила неистово:

— Nieder mit den Russen! Todt den Russen! Unser Kaiser, hoch! [1]

Вильгельм видел, что произвел впечатление, какого и ожидал. Ему пришлось сделать несколько взмахов правой рукой, пока толпа, наконец, затихла, и он смог продолжать:

— Дети! В тысяча восемьсот семьдесят седьмом году русские воевали с Турцией будто бы ради освобождения христиан от мусульманского ига. Мой дед, которого вы знали и любили, помог тогда России. Он думал, что русские действительно вели войну за христиан. Но они вели ее для себя. Они отобрали у румынского короля его земли и часть их взяли себе, часть отдали болгарам, которых подчинили своей власти. Это и значило, что они сражались за христианство!.. Они говорят, что защищают христиан на востоке. Мы знаем теперь, как они защищают. Они хотят сделать их своими рабами! Но разве мы худшие христиане, чем эти варвары? Почему они одни считают себя покровителями христиан? Мы сумеем их защитить и сами. Они же, русские, защищают разбойников и убийц сербов, которых наша верная союзница Австрия хотела наказать. Неужели же мы позволим

[1] Долой русских! Смерть русским! Ура нашему императору! (*нем.*)

им это сделать? Неужели позволим им, чтобы наши братья австрийцы попали в русское рабство?

И снова на прямой вопрос кайзера завопила толпа:

— Nieder mit den Russen! Todt den Russen!

Но не все еще было высказано кайзером. Снова он замахал рукой и, когда настала тишина, закончил так:

— Дети! Немецкий крестьянин зачастую не имеет клочка земли, чтобы посадить для себя картофель. Он доходит до того, что сажает картофель на крыше своего дома. А у многих русских помещиков земли больше, чем у баварского короля. Не забудьте, что через четверть века вас будет двести миллионов, так неужели же ваши дети будут умирать в русском рабстве? Неужели мы сдадимся? Нет, лучше смерть на поле чести! Правда, дети? Надо низвергнуть нашего врага! Долой русских!

Он ушел в комнаты с балкона, а толпа бросилась от дворца по улицам с криками: «Долой русских собак! Смерть русским!»

Вильгельм до разрыва и войны с Россией числился шефом русского пехотного Выборгского полка. Однажды, будучи еще молодым императором, он посетил царя Александра III летом, когда шли большие нарвско-царскосельские маневры. «Взяв» тогда вместе со своим подшефным полком какую-то высоту, он своим подвигом так был доволен, что сказал командиру полка:

— Я горжусь тем, что состою шефом Выборгского полка. Я буду ходатайствовать перед государем, чтобы полк мой получил отличие.

— Полк уже имеет отличие,— отвечал полковник.

— О да, я знаю, знаю: серебряные трубы,— припомнил Вильгельм.— Но за что он получил их?

— За взятие Берлина в Семилетнюю войну в тысяча семьсот шестидесятом году,— браво доложил полковник.

Вильгельм нахмурился, но только на мгновенье.

— Надеюсь, что больше уж никогда этого не будет,— сказал он и добавил: — Надеюсь, что мой полк получит от своего шефа золотые трубы за сражение не против моих войск, а вместе с моими войсками и под моей командой!

Это было сказано кайзером давно, но надежда стать во главе русских полков — Выборгского и других, изменила ему лишь теперь; однако в нем жила уверенность, что ненадолго. Только вместо добровольного подчинения русских войск ему, кайзеру Вильгельму, произойдет под-

чинение силой, которую непобедимые германские полки проявят в недалеком будущем на полях России.

Однако, по плану генерала Шлиффена, прежде чем привести к покорности Россию, должна была сдаться на милость кайзера ее союзница Франция.

II

Мысли многих людей, считавших себя передовыми, воплощенные в миллионы машин, придуманных для истребления, тяжко и грозно перешагнули через границу Германии, перешагнули через маленький Люксембург и вступили в Бельгию, чтобы с наивозможной быстротой перешагнуть и через нее и обрушиться на Францию.

Говорилось и писалось: в такой-то армии столько-то штыков, сабель, пулеметов, легких и тяжелых орудий,— и считалось, что этого вполне довольно для понимания.

Что оторванные от своих семей, от своих — больших ли, малых ли — мирных созидательных дел миллионы людей шли для того, чтобы направлять в других людей все эти машины сражений — зачем было говорить об этом? Тем более что этих людей убеждали в том, что они творят свою, а не чужую волю, что творят великое и вечное: мировое господство Германии.

Сначала марш на запад, после того — марш на восток,— два победоносных марша, и — «до осеннего листопада», как говорил кайзер, Германия станет владычицею континентальной Европы.

Какая-нибудь иная мыслишка и могла допытываться оправдания для начала таких неслыханных и невиданных по своим масштабам военных действий, но оправдание было давно наготове и брошено ей походя, между прочим, с великолепным жестом возмущения: «На нас нападают, мы защищаемся, а самое лучшее средство защиты —самим напасть!»

Важно было подготовить солдат и офицеров; важно было дать им в руки самое лучшее оружие, первоклассную технику, какая могла быть изобретена где же еще как не в Германии, стране воинов; важно было рассмеяться, как Вильгельм, когда он говорил о французах: «Они думают еще бороться с нами, не имея тяжелых орудий!» Важно было, наконец, двинуть семь армий на запад, оставив восьмую охранять Восточную Пруссию от возможного посягательства русских,— и вот заколыхалось, загрохотало, всех привело в ужас то, что называ-

ется *войной,* и где же могли найтись силы, способные остановить ее, остановить то, что совершалось по прекрасно обдуманным, разработанным во всех мелочах планам теми, кто хотел нового передела мира?

Главное было — план: систематически работающая мысль нанизывала силлогизмы на длинную и прочную нить, способную выдержать испытание времени. «Если такая-то из наших армий появится тогда-то и там-то, она займет то-то и то-то; если она займет то-то и то-то, этим она поставит под наш удар такие-то и такие-то крупные опорные пункты противника»... Цепь этих силлогизмов заканчивалась именно тем, что всего более хотелось всем в Германии: «К такому-то сроку (о, разумеется, к ближайшему!) победоносно будет закончена наша война».

С наименьшей затратой и сил и жизней достичь наибольших результатов, какие когда-либо в истории человечества достигались каким-либо народом,— разве не стоило ради этого забыть тьму мелких повседневных забот? Перерядиться и тут же переродиться; почувствовать локоть товарища, шагающего с такой же винтовкой, как у тебя,— и вот ты уже на высшей ступени, на какую только могла вознести тебя жизнь: ты идешь раздавить Францию и привести к рабской покорности заносчивых парижан; ощипанный тобою галльский петух будет биться в твоих мощных руках, пока ты не свернешь ему шею.

Мощь, ощущение непреоборимой силы в твоем теле, разве это не полнота счастья? Но ведь не только это. Мобилизация физических сил немыслима без такой же мобилизации сил духовных.

Где торжество силы, там торжество права; где торжество права, там торжество духа, в здоровом теле — здоровый дух,— и прочь все с земного шара, что вздумает противиться здесь или там нам, германцам! Наша победа в Европе явится прологом нашего победного марша по всему земному шару. Кто успеет подготовиться к борьбе с нами? Нет таких, и мы не дадим для этого времени тем, кто вздумал бы противодействовать нам.

Каждая наша победа в Европе будет растить и множить наши силы; с каждым новым шагом своим мы будем шире и шире: мы будем богаче, мы будем умнее, приобретая опыт, мы будем поэтому неодолимей.

У нас обдумано все, чтобы мы не споткнулись на первых своих шагах, а от первых шагов наших зависят все остальные, так как мы должны внушать нашим против-

никам страх: где страх, там дрожь, и оружие сложено в кучу под белым флагом, а мы пишем в своих оперативных сводках: «Сопротивление сломлено».

Всего только два слова, но после них не о чем больше писать нам, людям, шагающим по дорогам вашим с оружием в руках. После этих двух слов надобно начинать новые оперативные сводки о ходе борьбы на другой территории и с другим противником, если планомерный и предопределенный разгром его можно назвать борьбою.

Эти слова туманили мозг, как дурман...

Казалось бы, нет ничего капризнее и случайнее начала всякой войны, но тот, кто вглядится пристальнее в это начало, не может не сказать: в истории нет никаких событий, которые нельзя было бы обосновать.

III

Казалось бы, что держава, ставшая зачинщицей мировой войны, двуединая монархия Австро-Венгрия и должна бы была в первые же дни войны развить могучее нападение на Сербию, к которому она давно уж готовилась и, наконец, собралась проглотить, однако именно в этом углу Европы, на Дунае и Саве, действия войск протекали слабо: австрийские батареи долбили через Дунай Белград, сербские им отвечали, и только. О вторжении в Сербию армий, приготовленных для этой цели, пока, в первую неделю войны, не было слышно.

Даже и России, которой объявила войну Германия, Австро-Венгрия не объявляла войны.

Произошло то, что опрокинуло сразу все хитроумные переговоры дипломатов: смертельно оскорблена была будто бы Сербией Австро-Венгрия. Ответ Белграда на ультиматум Вены оказался неприемлем будто бы для Австро-Венгрии; развязала войну в Европе будто бы Россия тем, что объявила мобилизацию своих сил в защиту Сербии. А под покровом всех этих конфликтов на востоке Европы семь германских армий — свыше полутора миллиона человек — ринулись на запад, на Францию.

Англия не должна была выступать, это совсем не входило в расчеты Германии, но вдруг она объявила войну Германии и спутала все немецкие карты.

Выслушав от Бетмана за двадцать минут столько упреков, сколько в состоянии тот был подыскать, посол

Англии Эдуард Гошен принят был и Вильгельмом, давшим ему прощальную аудиенцию, но император превзошел канцлера, как способен только талантливый артист превзойти бездарность.

Гошен увидел кайзера в английском маршальском мундире с английскими орденами, и не успел он сказать заранее приготовленную для столь исключительного случая фразу, как кайзер начал срывать с себя ордена и с силой швырять их на пол. При этом лицо его было, какое полагается только трагикам на сцене, и, когда последний орден был сорван и отброшен, он сказал Гошену, вернее выкрикнул, а не сказал:

— Доложите своему королю, что вы здесь видели!

Потом повернулся и стремительно вышел из комнаты. Когда же Гошен вернулся в посольство, то тут же следом за ним принесли ему и тот английский мундир, в котором был Вильгельм.

Ордена, сорванные с мундира, были потом по приказанию кайзера проданы так же, как и русские ордена. То же самое сделали с русскими и английскими орденами Мольтке и другие высшие германские офицеры: все-таки это насколько-то увеличивало общегерманские средства, ассигнованные на борьбу с внешними врагами.

На параде в главной квартире Вильгельм сказал войскам речь перед фронтом:

— Нам предстоит не одно сражение, но успех будет сопутствовать нам. В уповании на нашего старого бога мы доберемся до шкуры наших врагов. Мы хотим победить и должны победить!

Перед отправлением воинских поездов из Берлина (Вена тут же переняла это) на всех вагонах наклеивались плакаты с крупными надписями:

Ein Schuss — Russ; ein Stoss — Franzoss! [1]

И малейшего протеста против действий правительства, начавшего войну, было достаточно, чтобы солдаты или офицеры тут же арестовывались, выводились из вагона и заключались в военную тюрьму: армию очищали от тех, кто пытался мыслить. Армия, как и вся Германия, должна была пылать лютой ненавистью к русским, французам, бельгийцам, англичанам, сербам. «Оставьте врагам только глаза, чтобы они могли оплакивать свою участь»,— это древнее изречение, которое любил повто-

---

[1] На каждую пулю — по русскому; на каждый удар штыка — по французу! *(нем.)*

рять Бисмарк, повторяли теперь многие и многие в Германии, полностью обратившейся в военный лагерь.

Как верховный главнокомандующий, Вильгельм стремился делить со своей действующей армией труды и лишения боевой жизни, и для него устроили походный разборный дом в две больших комнаты — кабинет и столовая. Пол в этих комнатах был паркетный, мебель дубовая, стол накрывался на двенадцать персон.

Движения и действия войск были строго рассчитаны на каждый день, так как через две недели после начала войны должны были по плану взять Париж. На полуторамиллионную армию в Германии смотрели, как на машину, хотя и довольно сложного устройства, но вполне слаженную, правильно пущенную в работу и во столько-то единиц времени, при непременном участии старого немецкого бога, обязанную дать столько-то и таких-то ударов, смертельно сокрушительных для врагов.

И когда молодая, всего двадцатидвухлетняя герцогиня Люксембургская вздумала в виду приближающегося авангарда одной из немецких армий выехать к нему навстречу в обыкновенном кабриолете, стать на мосту через пограничную речку и сказать подъехавшему верхом немецкому лейтенанту: «Я не могу пропустить немецкие войска через земли Люксембурга!» — как лейтенант выхватил револьвер, направил его на герцогиню и закричал:

— Прочь с дороги, иначе я застрелю вас!

В этом крике было больше изумления, чем возмущения: немецкий лейтенант был удивлен тем, что услышал от герцогини. Действительно, как было не удивиться: Люксембург — маленькое, игрушечное государство, не имеющее даже армии,— *не желает* пропускать через свою территорию всемогущее германское войско!..

В тот же день герцогиня была отправлена в один из немецких замков на Рейне.

IV

Молодой немецкий лейтенант все-таки мог бы обойтись вежливее с молодой и наивной герцогиней, но он проявил ту самую «тевтонскую ярость», которую германский генеральный штаб счел нужным включить в вооружение армии.

Для того, чтобы победить врагов на западе и востоке в кратчайший срок, мало было воздействовать на них

силой оружия на полях сражений, надо было еще и внушить им ужас,— так думали немцы.

Глаза живших в XX веке Вильгельма II и его генералов были обращены в седую древность. Как будто чарами волшебства вызывал генерал Шлиффен тень Аннибала и беседовал с нею, когда писал свою знаменитую книгу «Канны» и составлял планы военных действий против Франции.

Умерший незадолго до войны Шлиффен писал в последнем из этих планов: «Необходимо обязательно стремиться ударом в левый фланг французов оттеснить их в восточном направлении на их крепости на реке Мозель, за горный хребет Юры, к границе Швейцарии, где французская армия должна быть окончательно уничтожена. Самое существенное условие для достижения германцами такого результата операций заключается в образовании сильного правого крыла, посредством которого германцы должны наносить французам удары и непрерывным преследованием (тем же мощным крылом) все время их добивать».

Необыкновенно просто и в высшей степени ясно. Это писал высший военный авторитет Германии. Его возраст в то время был близок к восьмидесяти годам. Он был настолько одержим этим «правым крылом», что повторял его и на смертном одре: «Только как можно сильнее крепите правое крыло...» и умер. Тень Аннибала несомненно спешила ему навстречу — ведь она нависла тогда над целой Германией.

Всех зачаровала победа Аннибала при Каннах, но все постарались в то же время забыть, чем кончился поход Аннибала на Рим. Хотя бы вспомнили, как Руссо изображал донесения Аннибала в Карфаген: «Я наголову разбил римлян — пришлите мне еще войска; и наложил на Италию большую контрибуцию — пришлите мне денег!»

Седая древность внушила немцам XX века «тевтонскую ярость»; не зря в бесчисленных газетных статьях перед войною вспоминали они своих предков тевтонов, ходивших в шкурах убитых ими зверей и сражавшихся с римскими полководцами Марием, Суллой еще до Юлия Цезаря.

Однако и завоеватели азиаты, как Чингисхан, Батый, Тамерлан, с их пирамидами из человеческих черепов, тоже воскрешались в памяти немецких пивоваров и торговцев готовыми платьями. Всех немцев необходимо было заразить хладнокровной обдуманной жестокостью.

Стоило только Бельгии, обладавшей всего лишь немногим больше чем сотнею тысяч плохо обученного войска, выступить на свою защиту, как на нее обрушилась «тевтонская ярость»: уничтожен был мирный старинный культурный город Лувен, стерты с лица земли многие деревни, лежавшие на пути германских корпусов, поголовно перебиты или сожжены в горевших домах их жители.

Сильнейшая бельгийская крепость Антверпен находилась на берегу моря, вдали от спешивших к французской границе немецких армий. Но на пути их досадно торчали две небольшие крепости — Льеж и Намюр. Их обходили главные силы, но все-таки необходимо было взять их, чтобы не оставить у себя в тылу.

Их предполагали взять за день, за два, но осада Льежа, неожиданно для Вильгельма и его начальника штаба генерала Мольтке — племянника былого победителя французов,— затянулась: бельгийцы оборонялись упорно, приковав к своим фортам несколько германских дивизий.

Когда Англия объявила себя в состоянии войны с Германией, Вильгельм надеялся, что, верные известной медлительности своих действий, английские войска если и появятся на континенте Европы, то не раньше как в самом конце трагедии Франции, как говорится, «к шапочному разбору», появятся, чтобы снова сесть на суда и плыть на свои острова. Однако, совершенно неожиданно для себя, он узнал вдруг, что англичане начали высадку, когда не были еще взяты ни Льеж, ни Намюр.

Пусть высаживались пока незначительные силы, но ничто ведь не могло помешать вслед за первым корпусом высадить второй, третий, четвертый... А потом, разумеется, целая английская армия постарается ударить в тыл заходящему правому крылу немцев, соединившись с гарнизоном Антверпена.

С первых же дней война пошла несколько иначе, чем она рисовалась германскому генеральному штабу, не говоря уже о том, что предмет особых забот и попечений Вильгельма, его детище — флот оказался запертым англичанами, которые появились около всех выходов из Балтийского моря.

Только несколько крейсеров, застигнутых войною весьма далеко от германских берегов, могли принести какой-нибудь вред Англии, нападая на ее торговые суда, но они не в состоянии были, конечно, защитить обширные колонии немцев в Африке, Азии... Наконец, долго ли суж-

дено было им, этим небольшим по тоннажу крейсерам, оставаться неуловимыми для мощных судов английского флота?

V

Досужие чины генеральных штабов Европы высчитали, что площадь сражений в Маньчжурии во время русско-японской войны была в десять раз больше площади сражений франко-прусской и в шестьдесят пять раз превосходила площадь сражений эпохи Наполеона. Так что, если бы, например, вместо маньчжурских равнин представить столовую в большом доме, то обеденного стола хватило бы для Мольтке-старшего, подоконника — для Наполеона, а такой великий воин Древнего Рима, как Юлий Цезарь, вполне уместился бы на чайном блюдечке.

Но вот ареной войны с первых же дней августа 1914 года стала почти вся континентальная Европа, по которой развертывались и двигались миллионные армии сильнейших государств, и воображение даже тех людей, которые всю свою жизнь посвятили изучению истории войн, отказывалось представить это во всей полноте.

Роль защитника Франции от нашествия тевтонов вручена была генералу Жоффру, человеку несколько старше шестидесяти лет, довольно высокого для француза роста, плотному, седоусому, прекрасного здоровья, большой энергии, не приверженного к спиртным напиткам и с безупречным послужным списком.

Унаследовав от своих предшественников по должности шестнадцать планов войны с Германией, Жоффр составил семнадцатый, причем самых важных мыслей своих все-таки не решился доверить бумаге.

Эти мысли обнаружились в первые дни войны. Они сводились к тому, что Жоффр не на левом фланге своем собрал наибольшие силы, а на правом, будучи твердо убежден в том, что немцы начнут военные действия только с двадцатью пятью корпусами своих войск, часть которых оставят к тому же для защиты Восточной Пруссии от русских.

Он представлял себе, что армия германцев в шестьсот приблизительно тысяч человек в достаточной степени распылится, пока дойдет до северных границ Франции, и может быть прорвана французами без особых усилий, а в это время, опираясь на крепости Бельфор, Туль, Эпи-

наль, Верден, Нанси, правый фланг французов обрушится на левый немцев, сомнет его, разгромит и отбросит.

Он не предвидел того, что в первый же день войны в германскую армию будут влиты еще двадцать пять резервных корпусов, что сразу удвоит ее силы. Война уже в самом начале своем значительно перерастала те масштабы, с которыми он свыкся в своем представлении за долгие годы подготовки к войне, а ведь именно ему, Жоффру, Франция доверила свою оборону.

Он ставил себе в заслугу, что неослабно нажимал на Россию, как на союзницу Франции. Перед войною, за год до нее, он приезжал в Россию на маневры, обменявшись визитом с великим князем Николаем Николаевичем, в котором обе союзные державы видели будущего главковерха русских войск. Однако, несмотря на высокое положение царского дяди, Жоффр и дома и в гостях держался с ним, как может держаться только старший в отношении младшего, опекун к подопечному.

Что представляют собою русские войска? Чем и как могут они помочь Франции в ее борьбе с Германией? Куда и сколько именно корпусов они должны двинуть, чуть начнется война?.. Только эти вопросы занимали Жоффра, как и весь генеральный штаб французской армии, как и правительство Франции.

Жоффр настойчиво силился внушить и будущему главковерху русских войск, и военному министру Сухомлинову, и другим русским генералам, что Австро-Венгрия — противник совершенно ничтожный, что Сербия вполне может обойтись без сильной помощи России в первые недели войны, что самый мощный кулак свой Россия, без малейшего промедления, должна обрушить на Восточную Пруссию, откуда прямой путь на Берлин.

При этом Россия ни в коем случае не должна была дожидаться конца мобилизации своих сил: жалкие пути сообщения при огромных пространствах неизбежно должны были затянуть это дело. Все, что будет иметься под руками на западной границе, должно быть брошено Россией, по мысли Жоффра, исключительно против немцев, притом не позже как через две недели после начала войны.

Генерал Дюбайль выговорил для этой цели пять русских корпусов, Жоффру удалось довести до восьми пехотных при большом количестве кавалерии и других вспомогательных войск — таким образом, составлялись уже две сильных армии.

Жоффр вел себя в России как представитель страны заимодавца в стране должника: ведь двадцать миллиардов франков получило русское правительство от французских банкиров на постройку стратегических железных дорог и другие военные нужды. Поэтому вопрос о том, насколько провозоспособны дороги, ведущие к границе с Германией, и насколько боеспособны войска Варшавского и Виленского военных округов, изучался особенно тщательно Жоффром и его штабом.

Когда ему пытались представить австро-венгерскую армию в два миллиона штыков и сабель, как крупную все-таки силу, он снисходительно отзывался на это с великолепно сделанным презрением в голосе:

— Мой бог, какая же это сила? Стоит только нам совместно в кратчайший срок сломить Германию, Австрия тут же подпишет мир!

Даже когда началась война, Жоффр не сразу понял, что он жестоко ошибся, предполагая, что у немцев не хватит сил вести наступление через северные, а не через южные границы Франции, которые были защищены и людьми и природой.

Нужно было время, чтобы убедиться в этом, но кто же мог дать это время за дешевую цену, когда каждый день мог быть днем крупнейших и роковых для Бельгии и Франции событий?

Форты Льежа еще оборонялись, пусть даже только часть их, и гарнизон отвечал отказом на предложение о сдаче, а громадные валы немецких войск катились уже к северной Франции неотвратимо, так как французские армии не успели стянуться навстречу им в том числе, какое оказалось нужным, бельгийские же дивизии король Альберт уводил к Антверпену от своей столицы.

Дать бой при явно неравных силах было бы безумием. Войска французов отступали поспешно, оставляя город за городом. Миллионы беженцев запрудили все дороги. Лошади, мулы, ослики, велосипеды, ручные тележки — все это стремилось куда-то с возможной быстротой, лишь бы уйти от того, что хлынуло, как стихия.

Ожидалось, но никому не казалось настолько грозным; ожидалось, но никому не представлялось так близким; ожидалось, но втайне каждым про себя, о чем никому не хотелось говорить вслух, а это значит не ожидалось никем.

Ведь начиная войну наступлением на Эльзас-Лотарингию, Жоффр сулил именно победу; ведь решительное сра-

жение должно было разыграться где же еще, если не в Бельгии? Однако рушились все расчеты и все надежды.

Горный хребет Вогезы стоял одинаково на страже Эльзаса и Лотарингии, с одной стороны, и восточной Франции — с другой. Против правофланговых 1-й и 2-й французских армий расположены были 6-я и 7-я левофланговые немецкие армии под общим командованием баварского кронпринца Рупрехта. И в то время как Жоффр задумал нанести сокрушительный удар немецким армиям, Рупрехт в одном из первых своих приказов потребовал от подчиненных «отбросить даже тень гуманности в отношении к французам и расправляться с ними с беспощадной жестокостью».

Зверь бежал на ловца. Против замыслов столь тайных, что их боялись доверить бумаге, подымалась открытая широкозубая «тевтонская ярость». И против той части своего фронта, которую Жоффр вполне основательно считал наиболее сильной, он увидел немецкие армии, почти не уступавшие французским по числу штыков и превосходившие их по числу и мощи орудий.

VI

В последнем письме своем царю Николаю кайзер почти требовал, чтобы русские войска не переходили германской границы.

Он чувствовал тогда большой подъем сил. Объявленная им за два дня до того мобилизация германской армии прошла безукоризненно. В своем союзнике Франце-Иосифе, в его преданности германским интересам он был вполне уверен. До него дошли слова престарелого монарха: «Лучше быть часовым у дворца императора Вильгельма, чем допустить самостоятельную и свободную Сербию».

К России у Вильгельма было такое же презрительное отношение, как и к «другу» своему Николаю, и он, верховный главнокомандующий германских войск, приказал в первый же день войны перейти русскую границу в Калишской губернии и занять Калиш.

Уже 19 июля немецкий разъезд вечером появился в окрестностях Калиша и спрашивал в деревнях:

— Есть ли в городе казаки?

Ответы он получал однообразные: в городе не было ни казаков, ни каких-либо вообще русских войск. И на

другой же день, рано утром в Калиш вошли два батальона немецкой пехоты.

Жители Калиша не успели еще узнать, что Германия объявила войну России, в Калише не было никакого гарнизона, но именно в нем впервые начали свой внятный разговор немецкие пушки в ту войну.

В кого стреляли немецкие батареи? — Просто в город. Зачем стреляли? — Чтобы привести жителей в трепет и к покорности.

Распоряжался пальбой по безоружным калишанам майор Прейскер, командир отряда.

Хотя и считавшийся губернским, Калиш был небольшой город, однако Прейскер наложил на него большую контрибуцию. Городской голова Буковинский не успел собрать ее к сроку и за это был тяжко избит. Он валялся на улице, и первый, кто подошел к нему из калишан, чтобы ему помочь, был тут же расстрелян.

Прейскер думал найти много денег в казначействе, и там действительно было несколько сот тысяч рублей, но казначей Соколов успел сжечь их, чтобы они не попали немцам. За это Соколов и три чиновника, ему помогавшие, были расстреляны у дверей казначейства.

Жителям Калиша приказано было выставлять с вечера на окна зажженные лампы и не тушить их всю ночь. Несколько десятков расстрелянных валялось на улицах, но трупы их не разрешалось убирать — за это угрожали смертью.

Калиш горел, подожженный немцами с разных сторон. Пьяные солдаты заходили во все дома и грабили жителей.

Началось бегство из города. Бежали куда попало, лишь бы уйти от немцев, которые не только вселялись в дома, но и требовали, чтобы их кормили. Мясников города немецкий комендант обязал доставлять ежедневно в штаб отряда пятьдесят пудов ветчины, обещая им расстрел, если они хоть один день не внесут полностью этой дани.

Кофе, сахар, чай из магазинов вывозили на подводах: это шло на довольствие отряда. Однако и магазины с готовым платьем, обувью, посудой и прочим также ревностно опустошались солдатами, которые убивали при этом тех, кто хотя бы удивлялся вслух, видя это. Убивали и тех, кто пытался тушить пожары. Смерть глядела на каждого из каждой солдатской винтовки.

Десятка два наиболее видных жителей города вместе с избитым Буковинским были отправлены в Германию. Город сгорел. Майор Прейскер был награжден Вильгельмом за то, что он показал в этом пограничном уголке России, что представляет собою «тевтонская ярость».

Прейскер сумел придать разгрому Калиша характер возмездия за выстрел из револьвера в группу немецких солдат. Этот выстрел из окна второго этажа на лучшей улице города был выстрелом одного из лейтенантов его же отряда, но он был необходим, чтобы искать и не найти виновного и в наказание за «вооруженное сопротивление» жителей уничтожить город.

От этого выстрела вышел из строя один немецкий солдат — померанский гренадер, а ведь еще Бисмарк любил повторять, что «весь восточный вопрос не стоит костей одного померанского гренадера». Тут же были далеко не Балканы, не Константинополь, а всего только какой-то Калиш. Надо же было поведать России, надо было поведать всему миру, как высоко ценит своих солдат Германия и ее кайзер.

То же самое, что в Калише, произошло и в другом недалеком от него пограничном городке Ченстохове, и во Влоцлавске, и в Радоме, где действовали другие прейскеры.

Нужно было Вильгельму и его генералам показать России, какого противника она имеет. Нужно было произвести сильнейшее впечатление с первых же шагов, показать, с какой жестокостью будет вестись война; показать и испугать.

Выбор для нападения таких городов, как Калиш, Ченстохов, Радом, был предуказан тем, что в этой части русской Польши пока еще не было русских войск. Иными из руководителей русского генерального штаба отстаивался даже такой взгляд, что левобережье Вислы, как далеко выдавшееся на запад, защищать нельзя, что его лучше всего совершенно очистить в самом начале войны, чтобы избежать окружения войск и их неминуемого разгрома.

Линия крепостей русских проходила по Висле, далеко от границы. Притом крепости эти, основанные еще в семидесятых годах, явно устарели; однако вместо того, чтобы их привести в порядок, осовременить, исподволь проводилось мнение, что они бесполезны, ненужны, что инженерную подготовку обороны здесь надо начать совершенно наново.

Правы или нет были стратеги из генерального штаба, задумав отвести линию обороны против Германии на восток от Вислы, но они года за четыре до войны успели разрушить все, что было сделано раньше, и не успели создать почти ничего взамен. Во всяком случае это было очень выгодно для немцев, укрепивших тем временем Восточную Пруссию так, чтобы сделать ее совершенно недоступной для русских войск.

Между тем русские войска развертывались не для обороны, а для наступления, только развертывались не на Висле, а гораздо глубже в тылу: огромные пространства России, в которых тонула жиденькая сеть ее железных дорог, играли на руку немцам. А пока собирались русские войска, немцы стремились показать поярче, с каким противником им приходится иметь дело.

VII

Легко и просто было австрийцам начать бомбардировку Белграда, лежащего при впадении Савы в Дунай: и Дунай и Сава были пограничные реки, а дальнобойные австрийские батареи задолго до убийства в Сараеве были нацелены на столицу Сербии.

Однако прошел почти целый месяц, пока пехотные австрийские корпуса получили, наконец, приказ вторгнуться в Сербию: не до Сербии было, когда, по берлинскому плану войны, надобно было выдвинуть значительно большую часть своих сил против России, причем с лихорадочной быстротою.

Сначала наступление из Галиции в глубь России, потом уже расправа с Сербией, которая может и несколько запоздать: пусть трепещет жертва, обреченная на неминуемый разгром.

Только 12 августа вступили австрийцы в Сербию, истощенную продолжительной войной на Балканах. Зная о том, что бомбардировка Белграда почти наполовину уничтожила этот большой город и что сербы решили уже его не защищать, австрийские офицеры шли как на военную прогулку, заранее, впрочем, ругая заведомо отвратительные дороги «свинопасов сербов».

Гористая страна Сербия действительно не могла похвастать дорогами, но на этом бездорожье ее генеральный штаб строил будущие успехи защиты: еж мал, но колюч и «на что щука востра, а не съест ерша с хвоста».

Как бы ни была истощена небольшая Сербия той вой-

ной на Балканах, которую вела перед нападением австрийцев, она все же вышла из нее победоносной, расширилась: кроме Старой Сербии, в ней появилась Новая; она приобрела опыт войны, какого пока еще не было у ее новых врагов; сознание, что если она не отразит нападение, то погибнет, удваивало ее силы, а помощь, обещанная Россией, утраивала их.

Внутри страны, в городе Крагуеваце, находился арсенал сербов, и, разумеется, сюда должны были ринуться австрийские силы по долине реки Моравы, захватив предварительно Белград. Этот замысел можно было угадать еще задолго до войны по тому важному признаку, что австрийские железные дороги совершенно излишне для мирных целей сгущались к северу от Белграда. Теперь настало для них время работать на новую мощность.

Если Берлин пропускал со своих вокзалов по полторы тысячи поездов в сутки, то безостановочно поезд за поездом гнала на Сербию и Вена.

Пусть большая часть огромной австрийской армии направлялась против России — те корпуса, какие предназначались для захвата Сербии, считались вполне достаточными для «ничтожного противника».

Как в Бельгии во главе войск стал король Альберт, так и в Сербии верховным главнокомандующим сделался принц-регент Александр, а воевода Путник, едва не задержанный в Вене после объявления ультиматума, остался начальником штаба вооруженных сил, разделенных на четыре небольшие армии.

Суметь защитить себя, пока европейская война решится на других, гораздо более значительных фронтах,— такие цели ставила себе Сербия, а когда австрийские полчища вторглись в страну с севера по фронту в полтораста с лишком километров, сербы расположили свои войска на горном хребте — естественной крепости над долиной реки Ядара.

В половине августа начались яростные атаки австрийцев; однако на третий день они сменились уже контратаками сербов, а 24 августа враги были выброшены из пределов Сербии, потеряв 50 тысяч пленными и много артиллерии, винтовок, боеприпасов.

То, что предполагалось само собою, то, из-за чего как будто началась мировая война, совершенно не удалось: «цареубийцы» наказаны не были, но, разумеется, только потому, что дело было совсем не в них и не в «цареубийстве».

ГЛАВА ВТОРАЯ

СЕСТРЫ

I

Две студентки Бестужевских высших женских курсов в Петербурге: одна второкурсница, другая — только что зачисленная на первый,— сестры Невредимовы, Надя и Нюра, устроившись в комнате своего старшего брата Николая, инженера-технолога, взятого в армию в чине прапорщика запаса, находились в высоком подъеме чувств.

Для младшей из них, Нюры, это огромное событие — война — расцветилось еще и тем, что она впервые попала в великолепную столицу России из чистенького и весьма уютного, но простенького Симферополя.

Там все улицы и даже все постройки на улицах и все деревья в садах были ей известны с детства, а здесь все было необычайно, исключительно по красоте, ошеломляюще, особенно в белые, хотя и убывающие уже теперь, ночи, когда хоть и нужно было идти спать, но никак невозможно было поверить, что продолжающийся день почему-то считался ночью, и нельзя было заставить себя уйти с улицы домой.

Но между тем именно здесь, в этом сказочном городе, как будто на каждом доме сияла яркая надпись: «Война!» — и большую половину густых уличных толп составляли военные всех рангов, от рядовых солдат до престарелых генералов, старавшихся держаться ровно, шагать бодро и глядеть браво.

Надя Невредимова, бывшая всего на год старше сестры, только что окончившей гимназию, не только не старалась ввести жизнь Нюры в какие-нибудь определенные рамки, но и сама не видела никаких таких рамок.

Для нее еще сложнее, чем для сестры, развернулась вдруг жизнь: с нее известный художник Сыромолотов, живший в Симферополе, сделал этюд для своей картины «Демонстрация». То, что она, с красным флагом в руках, будет на этой картине идти впереди большой толпы, несмотря на наряд полиции и войск, переполняло ее гордостью, ей еще незнакомой, и этого нового чувства не могла заслонить даже начавшаяся война.

Она не в состоянии была ни одного часа оставаться одна, что-нибудь читать про себя, над чем-нибудь думать в тиши... Ей нужна была улица, как воздух, необходимы

были люди, люди, потоки, реки людей... Это было состояние войны вдали от войны. И даже больше того — совершенно бессознательно, но упрямо она старалась разглядеть в толпе не кого-либо другого, а только тех, кто предназначен вести в бой полки: генералов, полковников,— не ниже чином. Молодые офицеры совсем не привлекали ее внимания.

— Ты знаешь, Нюра, о ком я думаю? — сказала она как-то на ходу сестре: — О Жанне д'Арк... Во всей истории, какую мы с тобой учили в гимназии, она была для меня самой непостижимой!

Часа через два она уже забыла, что говорила это Нюре, и повторила свой вопрос и свой ответ, но в этот раз добавила еще несколько слов и о Софье Перовской.

От беготни в толпе из-под шляпок у них выбились тяжелые, небрежно подколотые русые косы, более светлые у Нюры. Они по нескольку раз во дню останавливались у киосков пить воду или заходили в кондитерские есть мороженое и сладкие плюшки. Об обедах они забывали.

Надя водила сестру в Эрмитаж, в музей Александра III, по-хозяйски внушая ей почтение к картинам старых и новых мастеров, и Нюра была ей податлива в этом: ей самой хотелось только одного — восхищаться, притом как можно дольше сохранить в себе восхищение.

Она останавливалась, впрочем, и перед пышными витринами всевозможных ателье, но в этом не препятствовала ей Надя: она не была пуританкой — красивые платья, костюмы, выставленные за огромными толстыми стеклами, привлекали и ее.

Надя не раз говорила в таких случаях торжествующим тоном: «Вот видишь?» — и это значило (сестра ее понимала): «Видишь, какая у нас красота везде и во всем: и в картинных галереях, и в театрах, и на улицах, и на площадях, и в витринах магазинов мод — какое богатство, какое многолюдье, какая сила,— и вот глупые немцы начали с нами войну, надеясь нас победить! Ну не абсурд ли это?»

И Нюра отзывалась Наде односложно: «Вижу!» — что означало: «Победить нас? Ну, конечно, полнейший абсурд!»

Однако если нас нельзя победить, то есть победим немцев мы, то как же тогда революция? Возможны ли будут тогда демонстрации вообще и та, в частности, «Демонстрация», в которой во главе многочисленной толпы

идет — должна идти — она, Надя Невредимова, с красным флагом?

Бегучие мысли Нади ни за что не хотели отказаться от победы, но в то же время пусть сказал бы ей кто-нибудь, что при этом условии революция в России немыслима!.. Даже и Нюре, которая была так без остатка вся поглощена Петербургом и войной, что не противоречила сестре, Надя не раз принималась объяснять, что это решительно не воспрепятствует революции — победа... Что от победы именно и оттолкнется всенародный революционный порыв... Что победа даст прежде всего основу всем и надежду к тому, чтобы себя уважать, а кто себя уважает, тот заставит и других отнестись к себе с уважением... Так думалось Наде.

— Ты пойми,— горячо говорила она Нюре.— Вот идет к Зимнему дворцу, вот к этому самому дворцу, перед каким ты стоишь, идет, как это было в девятьсот пятом году, девятого января, победивший народ, притом на другой же день после победы,— кто посмеет в него стрелять?.. Стрелять? А разве он сам не научился стрелять на фронте?.. Без оружия он будет? А почему же именно без оружия? Разве в девятьсот пятом году осенью в Москве, в декабре народ не стрелял? Отлично стрелял! И это потому, что тогда только что окончилась война, среди народа много было солдат... Было бы из чего стрелять, а разве нельзя после войны достать оружие? Сколько угодно, я думаю!.. Конечно, полиция будет требовать, чтобы все сдавали оружие, а его все равно очень многие будут прятать... По-ду-маешь, приказывать будет мне какая-нибудь полицейская крыса, когда у меня, например, два Георгия на груди! Скажут такие: «Кто из вас кровь проливал — ты, фараон, или я?..» Ого! Тогда с ними будут разговаривать совсем иначе... Тогда чувство собственного достоинства у каждого будет — даже у тех, кто не воевал, тоже... Это тебе, скажут, фараон ты этакий, не девятьсот пятый год, а девятьсот... пятнадцатый!

Перед тем, как сказать «пятнадцатый», Надя несколько запнулась, но это слово прозвучало у нее твердо: несколько раз уже и от самых разнородных людей пришлось ей слышать здесь, в Петербурге, что война протянется не больше чем полгода, а было только начало августа по старому стилю, война еще не успела развернуться как следует, но, разумеется, когда развернется, то уж пойдет полным ходом, сражение за сражением, пока со стороны немцев не покажется автомобиль с белым фла-

гом, а в нем парламентеры, офицеры генерального германского штаба...— так это представлялось Наде.

Адмиралтейство с его знаменитой «иглой», воспетой Пушкиным, «Медный всадник» на каменной глыбе и особенно Зимний дворец часто привлекали внимание сестер, тем более что жили они не так далеко отсюда.

Надя не забывала, что на картине художника Сыромолотова будет симферопольская, а не петербургская улица, однако представляла она себя впереди толпы почему-то не в родном городе, а здесь, потому что в воображении ее вставала не какая-то вообще демонстрация, а именно та, всем известная и памятная, 9 января, направлявшаяся к Зимнему дворцу... Демонстрации в других городах — будь это Симферополь или Орел, Житомир или Рязань,— к чему же они могли бы привести? Только к столкновению с каким-то приставом, красноносым захолустным пьяницей, взяточником и покровителем воров. То ли дело демонстрация здесь, в столице! Здесь не пристава, а министры, не губернатор, а царь...Вот в такой демонстрации получить честь идти впереди с красным флагом!.. Для этого момента стоит жить!

Но, лихорадочно думая именно так, Надя пристально, как мог бы только сам Сыромолотов, наблюдала на улицах все, что только, по ее мнению, могло бы войти в ту «Демонстрацию». Как-то независимо от царившего в столице военного колорита она жила картиной, затеявшейся в очень далеком Симферополе, и потому останавливалась то перед верховыми лошадьми (ведь их должно было быть полдюжины на картине), то перед полицейскими, дежурившими на подступах к Зимнему дворцу, щегольски одетыми, во всеоружии и в белых перчатках; то перед тем или иным, случайно встретившимся лицом в толпе, которое ей хотелось бы видеть на картине...

Один пристав даже прикрикнул на нее, когда она вздумала, остановившись, его разглядывать в упор: должно быть, он принял ее любопытство за что-то совершенно другое.

II

Зимний дворец... Нельзя сказать, чтобы очень красивое, но во всяком случае огромное здание, сложной архитектуры, несокрушимо прочное на вид. А чугунная ограда этого дворца безусловно красива,— так казалось и Наде, и Нюре, когда они проходили около дворца. Да-

же бесконечное повторение одного и того же узора между каменными столбами ограды каждой из них представлялось необходимым для того, чтобы усиливать и усиливать впечатление.

В столице огромнейшей страны, в городе, в котором так много величественных, прекрасных, вековечно-прочных зданий, стоит царский дворец. Разумеется, он должен быть самым величественным, прекрасным и прочным из всех зданий столицы,— таковы были требования к нему со стороны двух юных провинциалок, и одна другую пыталась убедить, что это так именно и есть, хотя все же, чтобы проверить это, надо бы было побывать еще и внутри дворца и пройтись по всем его залам.

Наде и Нюре, конечно, нечего было и думать о подобном осмотре дворца, но однажды издали они увидели, как у входа во дворец толпилось много людей, одетых в штатское платье, и их пропускала внутрь дворцовая полиция, проверявшая их документы.

Это было 26 июля по русскому стилю, когда Австро-Венгрия спохватилась, что не удосужилась еще объявить войну России, и император Франц-Иосиф выпустил манифест о войне, а Николай II ответил на этот манифест своим манифестом, который он решил объявить прежде всего лишь избранным им членам Государственного совета и Государственной думы.

Война уже шла на границах Австро-Венгрии и России без манифеста так же, как если бы и с манифестом — манифест о войне мог даже и не объявляться представителям высших государственных учреждений в присутствии самого царя и в царском дворце, но признано было необходимым подчеркнуть таким приемом, что начавшаяся война является серьезнейшим общегосударственным делом.

На языке безукоризненно официальном то, что должно было произойти в этот день в Зимнем дворце и для чего должен был прибыть сюда царь из своего загородного дворца, называлось «единением царя с избранниками народа». Для этого единения предназначен был не самый большой зал — в тысячу сто квадратных метров, а другой, значительно меньший, так как приглашенных было не очень много. Обстоятельства же на фронтах складывались так, что уже теперь, на восьмой день войны с Германией и на первый — открытой войне с Австрией, заставляли задуматься.

Когда канцлер Германии Бетман-Гольвег в послед-

нем своем разговоре с английским послом Гошеном сказал раздраженно:

— Зачем все время толкуете вы мне о договоре Бельгии с Англией? Ведь этот договор всего-навсего только клочок бумаги?

Гошен ответил спокойно:

— Пусть по-вашему это будет только клочок бумаги, но на этом клочке имеется подпись: Англия.

Связанное договором с Францией, царское правительство напрягало теперь усилия, чтобы выполнить его и не позже как на пятнадцатый день войны двинуть свои войска в Восточную Пруссию, чтобы отвлечь на себя часть немецких войск, двигавшихся к Парижу.

Время не ждало, дни были на счету. Войска Виленского и Варшавского военных округов не успели еще отмобилизоваться как следует и едва ли могли успеть это сделать за оставшуюся неделю до предусмотренного договором вторжения в Пруссию,— что было известно царю, но ведь на договоре с Францией, на «клочке бумаги», стояла подпись: Россия.

Царский манифест о войне с Австро-Венгрией указывал членам Государственного совета и Думы на то, что отныне усилия русских войск неминуемо будут двоиться, так как австрийцы, несомненно под давлением из Берлина, проявят большую активность, чтобы в свою очередь отвлечь внимание русской ставки от Пруссии.

Об этом, конечно, не говорилось в манифесте, это нужно было читать между строк. Манифест был составлен по тому образцу, который вошел в обиход русской политической жизни еще во времена Александра I, и кончался он всем уже известными по другим подобным манифестам словами: «И да поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руке, с крестом в сердце!»

Манифест этот читал, конечно, не царь; новизна была в том, что царь выступил с речью. Его речь состояла, впрочем, тоже из общих мест, почему он нисколько и не казался растроганным, когда произносил ее ровным, несколько напряженным голосом, чтобы слышно было даже и старичкам в раззолоченных мундирах и с бесконечным количеством орденов и бриллиантовых звезд.

И старички из Государственного совета, приложив ладони к заросшим ушам, отмечали каждый про себя, что речь царя коснулась между прочим и славян.

— Мы не только защищаем свои честь и достоинство в пределах земли своей,— говорил царь,— но боремся за

единокровных и единоверных братьев славян, и в нынешнюю минуту я с радостью вижу, что объединение славян происходит также крепко и неразрывно со всей Россией...

«Объединение славян с Россией» — в этом ничего нового не было ни для кого в дворцовом зале: «за славян» велись войны еще при Николае I, «за славян» велась тяжелая война при Александре II, и теперь, раз из царских уст раздался призыв к борьбе «за славян», то войну должен приветствовать русский народ и все трудности такой войны переносить бодро.

Ни малейшего волнения в голосе царственного оратора не замечали и члены Государственной думы,— ни в голосе, ни в мелких, незначительных чертах его лица. Поставивший и свою империю и свою династию под роковой для них удар, царь имел спокойный вид вполне усвоившего царственное величие человека даже и тогда, когда заканчивал свою небольшую речь словами:

— Уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете мне перенести ниспосланное мне испытание, и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик бог земли русской!

Разумеется, если кузен и друг его Вильгельм II очень часто в своих речах обращался к «старому германскому богу», то ему, русскому императору, что же и оставалось еще, как не вспомнить в такой важный момент «русского бога»!

На этом «единении царя с народом» в Зимнем дворце присутствовал вместе с другими министрами и министр иностранных дел, зять Столыпина, Сазонов.

Так как через него шли переговоры (после убийства в Сараеве) с Австрией и Германией, то на него и возложено было ознакомить всех членов Государственной думы с ходом этих переговоров, что он и сделал в тот же день, только в другом уже месте — в Таврическом дворце, на заседании Думы.

Подробно рассказав о том, как шли переговоры, и показав воочию, как не могли они привести ни к чему иному, кроме объявления войны сначала Германией, потом, вот теперь, Австрией, вызвав последовательно Думу на овации в честь представителей Бельгии, Франции и Англии, Сазонов, не в пример своему государю, завершил свою речь большой тревогой за судьбу России.

— Со смиренным упованием на помощь божию,— высоко поднял он свой теноровый голос,— с непоколебимой верой в Россию, с горячим доверием к вам, народным из-

бранникам, обращается правительство, убежденное, что в вашем лице отражается образ нашей великой родины, над которой...

Тут голос его изменил ему; переговоры, длившиеся целый месяц, сделали его очень нервным, отдохнуть после них не удалось — началась война; воспоминание о них, притом публичное, ответственное в каждом слове, его развинтило, и он закончил придушенно:

— Над которой да не посмеются враги наши!...

И сошел с трибуны с лицом, мокрым от слез.

III

Никогда до войны не читавшие газет, Надя и Нюра Невредимовы теперь неизменно каждый день покупали у мальчишек газетчиков то ту, то другую и узнавали в них, что повсеместно открывались курсы сестер милосердия и не могли вместить желающих попасть в них и что заранее открывались лазареты на огромное число раненых.

— Запишемся, Надя, и мы, а? — несколько раз обращалась к сестре Нюра, но Надя, борясь в себе самой с желанием сделать то же самое, что делают все, неизменно все же отвечала:

— Пока подождем.

— А чего же нам ждать? — не понимала Нюра.

— Как это чего? А где Ксения? Может быть, ее уже убили немцы! — объясняла ей Надя. И хотя из такого объяснения трудно было что-нибудь понять, но Нюра все-таки переставала после этого докучать Наде.

Ксения, старшая их сестра, учительница, уехала на каникулах за границу с экскурсией учителей и не возвращалась, о ней давно уже не было известий, а газеты были полны описаниями преследований, которым подвергались русские экскурсанты и больные на германских и австрийских курортах. Жену профессора Туган-Барановского, тяжело больную, выбросили в Австрии из лечебницы на улицу, и она умерла...

А между тем в России, в Петербурге, когда градоначальство захотело конфисковать под лазарет огромную, на шестьсот номеров, гостиницу «Астория», принадлежавшую компании немецких капиталистов, управляющий «Асторией» немец Отто Мейер заявил, что гостиница эта уже успела переменить владельцев, и теперь хозяевами ее являются французы.

Весьма бурно негодовали сестры, когда читали об этом в газетах.

Так как чехи, жившие в России, стали поспешно принимать русское подданство, то и многие немцы начали выдавать себя за чехов, и полиции пришлось назначить экзамен по чешскому языку для тех, кто не желал быть высланным на Урал.

Чешский комитет опубликовал в газетах такое воззвание:

«Чехи! Неудержимо надвигающиеся на Европу события свидетельствуют о том, что все идет к решительному столкновению двух рас — славянской и немецкой. Чехи, которые клали в XV—XVII веках свое существование за победу славянства, положат существование свое на алтарь отечества. Чехи останутся верными голосу своей крови!»

В своем комитете, впрочем, чехи занимались скромным сбором денег для будущих раненых и открыли мастерскую, в которой шилось для них белье. «Существование» же свое зарубежные чехи поневоле клали «на алтарь отечества», которое входило в состав Австро-Венгерской империи.

Однажды попалось сестрам в газете, что известный фабрикант Савва Морозов пожертвовал на союзы земств и городов и на нужды Красного Креста полмиллиона рублей и что то же самое сделал другой богач — Зубалов.

По этому поводу Нюра торжественно сказала:

— Ого! Вот молодцы!

А Надя процедила:

— Поскупились... Могли бы и по целому миллиону!

— Тебе все мало! — укоризненно заметила на это Нюра.

— А сколько они на войне наживут? — запальчиво отозвалась Надя.— Гораздо побольше, чем миллион!

— Неужели? — удивилась Нюра и добавила:— Если бы мне дали миллион, я бы даже и не знала, куда мне его девать.

— Ты не знаешь, да и я не знаю, а вот Зубаловы знают... На то и война такая началась, чтобы люди эти умели миллионы считать и знали бы, куда их девать... Война арифметике всех научит.

— Рас-суж-да-ешь ты! — протянула Нюра.

— Рассуждай ты, а я послушаю,— сказала Надя.

Заседание Государственной думы 26 июля все газе-

ты называли историческим не потому только, что на нем выступал Сазонов со своим докладом о переговорах перед войной...

Депутатам хотелось узнать, что думают о начавшейся войне латыши, эстонцы, литовцы, поляки, которые прежде всего пришлись бы под удар немцев, если бы этот удар был направлен из Восточной Пруссии в сторону Петербурга.

Никто не сомневался, конечно, в том, что никто не позволит себе сказать хоть одно слово против России, но очень чутко вслушивались все не только в слова, в оттенки слов и даже в паузы между словами: искренне или не совсем говорит тот или иной из ораторов? От души и сердца, или только отбывает скучную повинность?

И депутат, выступивший от литовцев, сказал:

— В этот исторический момент, я должен заявить от имени литовцев без различия партий, что судьбы нашего народа всегда были связаны с судьбою славянства. Литовский народ, на земле которого раздались первые выстрелы, идет на эту войну как на священную. Он забывает все обиды, надеясь увидеть Россию после этой войны великой и счастливой, твердо уверенный, что разорванные надвое литовцы будут вновь соединены под одним русским знаменем.

Декларация эта была коротка, конечно, но она не допускала двух толкований — она была выразительна и ясна,— и зал Таврического дворца ответил на нее громом аплодисментов.

От имени латышей и эстонцев говорил депутат латыш:

— Господа члены Думы! Один из первых выстрелов неприятеля прогремел в том крае, представителем которого являюсь я. Это было в Либаве. Но повелитель Германии глубоко ошибся, если полагал, что этот выстрел найдет отзвук в местном населении в смысле каких-нибудь враждебных выступлений против России. Наоборот, население Прибалтийского края, где подавляющее большинство эстонцев и латышей, в ответ на раздавшиеся выстрелы громко прокричало: «Да здравствует Россия!» И так это будет и дальше при самых тяжелых испытаниях. Среди латышей нет ни одного человека, который бы не сознавал, что осуществление всего, чего латыши должны достигнуть, возможно лишь тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет составлять нераздельную часть великой России... В море крови, в котором

захотел купаться восседающий в Германии тиран Европы, вольют, может быть, и латыши и эстонцы свою последнюю каплю, но для того только, чтобы постоянно угрожающий миру человек утонул, наконец, в этом море... Для нас, латышей и эстонцев, в нынешний момент превыше всего одна цель — отбить натиск общего врага, и я заявляю, что мы пойдем в святой борьбе до конца с русским народом. Не только наши сыновья, братья и отцы будут сражаться в рядах армии, но в каждой хижине, на каждом шагу неприятель найдет у нас дома своего злейшего врага, которому он сможет отрубить голову.

Не бурные аплодисменты, а подлинные овации думского зала были ответом на эту горячую речь.

Однако не он, не депутат литовцев, а представитель польского коло привлек к себе внимание не только членов Думы, но и министров.

— В этот исторический момент,— начал депутат поляк,— когда славянство и германский мир, руководимый вековым врагом нашим — Пруссией, приходит к роковому столкновению, положение польского народа, лишенного самостоятельности и своей свободной воли, является трагическим. Трагизм этот усугубляется не только тем, что разорванный на три части польский народ увидит сынов своих в разных странах, друг другу враждебных. Но, разделенные территориально, мы чувствами своими и симпатиями со славянами и должны составлять единое.

Аплодисменты не только депутатов, но и министров прервали оратора. Немного выждав, он продолжал:

— Это нам подсказывает не только то правое дело, за которое вступилась Россия, но и политический разум. Мировое значение переживаемого момента отодвигает на второй план все внутренние счеты. Дай бог, чтобы славянством под главенством России был дан тевтонам такой же отпор, как пять столетий тому назад им был дан Польшей и Литвой под Грюнвальдом. Пусть пролитая наша кровь и ужасы братоубийственной войны приведут к объединению разорванного на три части польского народа!

Овации долго не прекращались после этих слов: представитель поляков сильно разогрел зал Таврического дворца.

Площадь перед дворцом во время заседания была полна народа. Из уст в уста передавалось, как от имени при-

балтийских немцев выступал барон Фелькерзам, отбарабанив по бумажке, что «искони верноподданное население Прибалтийского края готово стать на защиту престола и отечества и голосовать за все военные кредиты», и как в ответ ему раздалось всего только два-три «дежурных» хлопка.

— Здорово!.. Поняли, с кем имеют дело! — кричали в толпе.

И тут же неожиданная, но воспринятая с радостью новость:

— А читали в вечернем бюллетене, что Метерлинк записался в армию волонтером?

— Метерлинк? Волонтером?.. Вот это так!

«Синяя птица», поставленная Московским Художественным театром, прогремела на всю Россию и сделала Метерлинка известнейшим писателем, и как нельзя более радостно были взволнованы все, что автор этой прелестной пьесы-сказки надел серую шинель солдата и стал в ряды защитников Бельгии от общего с Россией врага.

IV

Подробности того, что происходило на историческом заседании Государственной думы, передала сестрам их квартирная хозяйка Ядвига Петровна Стецкевич, дама с седыми буклями и пенсне, несколько излишне полная, но очень подвижная, способная проникнуть и в театр, когда «все билеты проданы», и на бега, когда разыгрывался дерби, и в Думу, когда там ожидался «большой день».

Она хорошо и бойко говорила по-русски, и в первый же день знакомства с нею сестры узнали, что она неплохо умеет готовить, особенно польские блюда, как бигос, мнишки, розбратель и прочие, но что ей совершенно никогда не удавалось, так это варка варенья.

— Представьте себе, я четыре раза варила варенье,— оживленно говорила она,— и что же получилось в результате? В первый раз варенье заплесневело, во второй — засахарилось, в третий — прокисло, а в четвертый — в каждую из трех банок варенья попало по одной мыши!.. Ффу, я так ненавижу мышей, я так их даже боюсь, должна вам в этом признаться, и вдруг — мыши в варенье! Три огромных банки по полпуда в каждой — малина, вишня и райские яблочки,— и все это пошло в помойную яму!

— Очень жалко, что тогда меня не было у вас,— мечтательно сказала на это Нюра.

— А что бы вы хотели сделать?

— Я бы мышей, конечно, выкинула и сверху варенье тоже, а зато остальное...

— Что, что «остальное»? — перебила от нетерпения Ядвига Петровна.

— Остальное бы переварила в трех тазах, и было бы у меня если не полтора пуда, то, допустим, пуд с четвертью,— быстро подсчитала Нюра.

— Во-от ка-ак! Вон какая вы сладкоежка!..— расхохоталась Ядвига Петровна и бросилась ее целовать.

Вполне естественно это у нее вышло.

По ее словам, она очень уважала Николая Васильевича Невредимова, как солидного своего жильца, и эту приязнь перенесла с первого же дня на его юных сестер.

— У меня не то, чтобы какие-нибудь шамбр-гарни [1],— говорила она,— у меня просто несколько большая для меня одной квартира осталась после покойного мужа, и я имею возможность сдавать из нее три комнаты, только, разумеется, с большим разбором: кому-нибудь первому попавшемуся я комнат не сдаю, я долго говорю с каждым, прежде чем сдать, кто он такой и чем занимается, и какие имеет привычки... Мне вам и сказать неудобно, какие иногда бывают у людей привычки!.. Так что я подбираю себе жильцов таких, которые безо всяких привычек.

Впрочем, у нее самой тоже была привычка перебирать своими полными плечами, выставляя вперед то одно, то другое, поднимая и опуская то одно, то другое. Лицо у нее было еще довольно свежее для ее почтенных лет, постарели только руки, кожа которых была в морщинах и даже в каких-то светло-коричневых пятнах.

Она была среднего женского роста, но от длинного капота фасона «гейша» казалась выше, чем была; капот же этот, канареечного цвета, с широкими рукавами до локтей, неутомимо мелькал целый день по всей квартире: то в комнатах, то в коридоре, то на кухне, то на балконе, где хозяйка сама развешивала и выколачивала свою постель, не доверяя этого прислуге Варе, женщине мало поворотливой и довольно робкой, недавно явившейся в Петербург из деревни.

---

[1] Меблированные комнаты *(фр.)*.

Говоря об этой Варе сестрам Невредимовым, Ядвига Петровна жаловалась на ее бестолковость, но добавляла все-таки:

— Держу ее, однако, потому, что пока еще воровать не научилась.

Хотя Ядвига Петровна избегала жильцов с «привычками», сестры вскоре убедились, что привычки у занимавших другие две комнаты в квартире все же были. В одной жил бухгалтер какой-то частной банкирской конторы, имевший скверную привычку храпеть во сне, так что было слышно через тонкую стенку. В другой давно уже помещалась корректорша ежедневной газеты, которая приходила с работы рано утром и, хотя у нее был ключ от входной двери, все-таки будила сестер в неурочный час, а потом спала до обеда.

Благодаря этой своей жилице Ядвига Петровна иногда узнавала газетные новости раньше выхода в свет газет. Так, 2 августа рано утром узнала она, что верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич выпустил обращение к полякам.

Кое-что из этого обращения корректорша переписала в свою записную книжку и листок с записью передала с приходом хозяйке, так что, когда проснулись Надя и Нюра, Ядвига Петровна была уже в довольно большом сумбуре мыслей и чувств.

Еще не успели встать Надя и Нюра с кроватей, как Ядвига Петровна уже читала им торжественным голосом воззвание:

«Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с русским народом. Русские войска несут вам благую весть этого примирения...» Что? Хорошо, а? Хорошо, говорите же!

— Очень! — сказала Нюра, сбрасывая одеяло.

— И даже неожиданно как-то! — сказала Надя, делая то же.

— Ну, а дальше несколько, мне кажется, хуже... Впрочем, на чей взгляд. Именно так: «Пусть сотрутся границы, разделявшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя. Под скипетром этим воссоединится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении». Как же это так

«свободная в самоуправлении», когда ей обещают быть «под скипетром русского царя» — вот я чего не пойму!

И Ядвига Петровна заблистала стеклами своего пенсне далеко не так добродушно, как обычно. Надя же, силясь понять, что это в самом деле значит, сказала, наконец:

— Это, должно быть, так же, как, например, Финляндия: за станцией Белоостров, если из Петербурга ехать, там уж великое княжество Финляндское.

— Значит, так же, как и было,— тут же подхватила Ядвига Петровна.— «Царь польский, великий князь литовский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая», как в манифесте пишется? Только что Польша русская станет втрое больше, а так она и останется русская?

— Ну, хорошо, а как же иначе? — наивно спросила Нюра.

Теперь стекла пенсне Ядвиги Петровны блеснули откровенно зло, и она выкрикнула:

— Иначе, милая моя, может выйти так, что Польша будет самостоятельным государством, каким она была до раздела,— вот как может быть иначе!

И не будучи, очевидно, в силах справиться с сильным напором чувств, Ядвига Петровна тут же выскочила из комнаты сестер, взмахнув, как крыльями, широкими рукавами своей «гейши» и оставив Надю и Нюру в большом недоумении.

V

Вскоре после этого сестры прочитали в газетах еще одно воззвание того же верховного главнокомандующего, только обращался он теперь к русскому народу Галицкой Руси.

«Братья! Творится суд божий!

Терпеливо, с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяния свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.

Да не будет больше подъяремной Руси! Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой великой нераздельной России... А ты, многострадаль-

ная братская Русь, встань на сретенье русской силы!.. Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России!»

Конечно, это новое воззвание было прочитано также и Ядвигой Петровной, и она не могла удержаться, чтобы не обрушиться и на него бурным потоком слов.

— Очень странно, не правда ли? Вспоминает какого-то Ярослава Осмомысла, неизвестно даже когда и жившего, а ни одним звуком не обнаружил, что̀ ему должно быть оч-чень хорошо известно, как и нам с вами!

— А что именно такое? — теперь уж не без робости спросила Нюра, в то время как Надя думала о том же самом.

— Как же так что, моя милая! Вы теперь уж студентка, и должны сами объяснять другим, что ведь в Галиции-то есть польские земли — часть Польского государства, а не какого-то Ярослава Осмомысла! При разделе Польши между Россией, Пруссией, Австрией они достались Австрии — только и всего! — как другие исконные польские земли отошли к России и к Пруссии... Мир не видал никогда такого варварства, какому подвергли тогда несчастную Польшу!.. И вот теперь оказалось уж, что Польшу желает великий князь объединить с Россией на тех же самых основаниях, как и Галицию... И почему, спрашивается, сочиняет эти воззвания великий князь, а не царь,— никто этого не понимает!.. Нет, как хотите, а приходится вспомнить пословицу, хотя она и неблагозвучна: рыба воняет с головы,— вот что!

Тут Надя, и это ей самой показалось странным, подумала, что ее квартирная хозяйка, которую она называла в разговорах с сестрой «очень симпатичной», вдруг обернулась стороною непримиримо враждебной, и даже то, что она сказала о рыбе, воняющей с головы, то есть о России с ее царем и дядей царя, великим князем, верховным главнокомандующим, ее покоробило.

Перед войною она могла бы это сказать и сама, теперь же, когда началась война с Германией, когда от руководства войсками русскими зависела победа, а руководить ими поставлен великий князь, по-видимому не даром же, а за свои военные способности, хотя и неизвестные широкой публике,— она бы так о нем не сказала.

Вскинув на Ядвигу Петровну удивленные округленные глаза, она хотела даже ответить ей резкостью,

но насилу сдержалась, вспомнила Ярослава Осмомысла:

— А в «Слове о полку Игореве» упоминается Ярослав Осмомысл, князь Галиции...

На это скромное замечание Нади Ядвига Петровна отозвалась яростно:

— Какое кому дело, что было при царе Горохе, когда лед горел, а соломой тушили?!. Давным-давно в польских галицийских землях польская культура, и ни о каких Гостомыслах никто там ничего не знал и не знает!.. Это все равно, как если бы сказать, что там когда-нибудь тигры водились! Может быть, и водились двадцать тысяч лет тому назад, так что же из этого? Напустить в Галицию тигров, пусть опять там водятся? «От Варшавы до Кракòва едне сердце, една мова» — вот как говорят у нас в Польше! И если нам не возвратят всех земель и не восстановят Польши, как самостоятельного государства, разве мы примиримся с этим положением? Никогда этого не будет!

И, точно Надя была виновата в обоих воззваниях великого князя, Ядвига Петровна посмотрела на нее острым уничтожающим взглядом и шумно выскочила из комнаты.

— Какая, а? — шепнула сестре Нюра, кивнув ей вслед, и добавила уже не шепотом:— Может быть, пойдем пройдемся?

Надя сразу же согласилась, что следует пройтись, и, спускаясь по лестнице, проговорила извиняюще:

— Надо все-таки войти в ее положение: ведь немецкие поляки должны будут теперь стрелять в русских поляков, а русские поляки в австрийских... Конечно, ей своих соотечественников должно быть жалко,— как же иначе?

Лекции на курсах еще не начинались, и можно было просто «пройтись». Но жизнь уже начинала читать юным сестрам свои суровые, строгие лекции, из которых нельзя было пропустить ни слова, так они были значительны, и часто на улицах звучали эти слова, притом не только у газетных киосков.

Улицы прежде такой чопорной столицы, как Петербург, теперь были возбуждены и говорливы. Теперь говорили даже в вагонах трамвая, в которых раньше царила чинная тишина. Теперь вообще петербуржцы стали общительны, насколько позволяла им их исконная замкнутость, сдвинутая с места важностью наступивших со-

бытий, последствия которых были пока еще очень загадочны, но во всяком случае должны были стать небывало еще в истории человечества велики.

На Аничковом мосту сестры встретили однокурсницу Нади, путиловку Катю Дедову. Ее отец работал модельщиком на Путиловском заводе, поэтому от нее Надя привыкла уже слышать о рабочих, о тех самых, которые шли когда-то, 9 января, к Зимнему дворцу, в которых стреляли под команду: «Патронов не жалеть! Холостых залпов не давать!»

Это был особый мир — Путиловский завод за Нарвской заставой. Надя знала, что там тысячи людей в длиннейших цехах готовят машины войны — пушки, что сам Путилов, владелец завода, почти то же самое для России, что для Германии — Крупп, что на этом заводе строят даже военные суда — миноносцы и крейсера.

Ей никогда не приходилось бывать ни на каких вообще заводах, и она с начала своего знакомства с Катей Дедовой относилась к ней с уважением за одну только ее прикосновенность к такому огромному заводу. Теперь же, когда началась война, это уважение выросло еще больше.

Нюра пытливо вглядывалась в плотную, крепкую на вид девушку, с крутыми щеками, выпуклым лбом, с не умеющими как будто совсем улыбаться губами, с густыми темными бровями, низко опущенными на небольшие карие глаза.

И голос у нее был низкого тембра, и с Надей она говорила как старшая с младшей, из чего Нюра вывела, что она, хотя и однокурсница сестры, но, должно быть, не одних с нею лет. И руки у нее были шире в кистях, чем у Нади. Так как стояли они трое теперь перед одним из вздыбленных бронзовых коней, которого хотел привести к покорности мускулистый бронзовый человек, то Нюре подумалось даже, что такая, как эта Дедова, пожалуй, тоже могла бы взять в свои руки повод и повиснуть на нем, чтобы прижать конскую голову поближе к земле.

На вопрос Нади, как на заводе настроены рабочие, Катя отвечала не то чтобы привычно хмуря свои густые брови, но как будто подчеркнуто хмуря их:

— Рабочие ведь теперь раскассированы: очень многих забрали в армию, несколько тысяч, а другие, которые тоже запасные или ополченцы, только очень нужные на заводе,— те оставлены, работают, только их преду-

предили, что чуть что — ушлют под пули без разговоров.

— А что это значит «чуть что»? — не утерпела, чтобы не спросить, Нюра.

— Это твоя сестра? — спросила Дедова Надю вместо ответа Нюре.

— Сестра же, я же ведь тебе сказала! — удивилась Надя.

— Я не расслышала. Она на тебя похожа,— сказала неторопливо Дедова и, оглядев Нюру цепким взглядом, как бы вскользь бросила ей: — Рабочие останутся рабочими, хотя и война.

— И хотя работают на войну,— добавила Надя.

— А что может выиграть на войне рабочий? — глядя по-своему, то есть как будто исподлобья, недоверчиво и недовольно, на Нюру, спросила Дедова.

— Ничего ровным счетом,— храбро ответила Нюра готовой фразой, слышанной ею от сестры, хотя в смысл этой фразы она еще не удосужилась проникнуть.

— То-то и есть... Поэтому настроения у наших рабочих остались прежние. А как их расстреливали в июле, этого они не забыли.

— Разве расстреливали? В июле? — изумилась Надя, понизив голос.

— А ты разве не знала? Впрочем, это уж были каникулы, ты уехала домой... На заводе же, на дворе, в рабочих стреляли... Были убитые, много раненых. Потом многих арестовали...

Густой, почти мужской голос Кати очень шел — так показалось Нюре — к тому, что она говорила, и потом, когда они простились, так как Катя куда-то спешила, Нюра совершенно непосредственно сказала сестре:

— Вот такая могла бы идти впереди с красным флагом, а совсем не ты!

Это больно укололо Надю.

— Не я? Не я? Не говори глупостей!.. Катя, может быть, тоже захочет идти, только у нее не выйдет.

— Почему не выйдет? Именно у такой и выйдет.

— А я тебе говорю, что не выйдет! Я знаю Катю получше, чем ты.

— Зато она рабочих знает, а ты нет,— не сдавалась Нюра.

— А ты почему думаешь, что я не знаю?

— А где же ты их могла видеть? В Симферополе?

— Где бы то ни было,— упорствовала Надя.

— Нигде не видела, а туда же!

— Не раздражай меня, пожалуйста!

— Во-об-ражает в самом деле! — не унималась Нюра. — Только потому, что Сыромолотову понадобилась, а если бы он эту увидел, он бы на тебя и не посмотрел!

— Дедову? Сыромолотов? И на меня бы не посмотрел?..

Это не оскорбило, а развеселило Надю. Она засмеялась и дружелюбно уже толкнула сестру в плечо.

— Значит, ты уверена, что ему нравишься? — постаралась по-своему понять ее Нюра.

— То есть ты хочешь сказать, как «натура»? Я думаю, что у него были соображения по этому поводу.

— А если бы в то время у нас была эта Катя и вы бы вместе пошли к Сыромолотову, то он, конечно, выбрал бы для картины ее, а совсем не тебя!

— Это ты говоришь просто потому, что сама к нему неравнодушна — вот и все! — выпалила одним духом Надя.

— Я? Неравнодушна?

— Понятно! Иначе отчего бы ты покраснела!

— Нисколько я не покраснела,— возмутилась Нюра, чувствуя, однако, что еще гуще краснеет.— Ну да, теперь я все понимаю,— безжалостно продолжала она.— Только не понимаю, как же ты так, когда он уже старик?

— Что ты выдумываешь дурацкие глупости! — прикрикнула на нее Надя, но спустя немного добавила: — Сыромолотов пожилой человек, хотя стариком его никто не называет пока.

— То-то все ты носишься с его картиной! — соображала вслух на ходу Нюра.— Картина, картина! «Я с красным флагом! За мной демонстранты! Впереди полиция и войска!..» А все дело в том только, что ты...

— Замолчи, пожалуйста! — перебила Надя.

— Хотя вот мы учили «Полтаву» Пушкина,— продолжала тем не менее Нюра.— А там Мария влюбилась в старика Мазепу... Конечно, он был целый гетман, а не то чтобы какой-то художник, зато ведь и Кочубей был «богат и славен» и «его луга необозримы».

Тут Надя бурно повернулась и пошла назад, и Нюре оставалось только повернуться тоже и пойти за ней следом, ничего больше не говоря, но в то же время улыбаясь слегка и с виду беспечно.

VI

После встречи с Катей Дедовой на Аничковом мосту два дня была Надя в сумятице чувств и представлений.

До этого хотя и думалось о демонстрации, но только как о теме для картины Сыромолотова: личное участие в подобном выступлении рабочих и интеллигентов сознанием откладывалось на неопределенное будущее. Теперь же раздвоилось то, что она считала единым и цельным в начавшейся войне. В одной стороне осталось прежнее: непременно должны победить; в другую отошло: а что будет потом, после победы?.. Может быть, потом, тут же, на другой день, вспомнят об ее брате Николае, который теперь офицер,— значит, нужен,— и его арестуют вновь? Может быть, из путиловских рабочих, которые теперь нужны, на второй день после войны половину сошлют в Сибирь?.. И нет правды в том, что говорила Ядвига Петровна? Как это в самом деле могло случиться, что целый народ в средней части Европы, целое довольно старое государство, взяли и поделили хладнокровнейшим образом три сильных его соседа? А теперь каждый из них, конечно, стремится только к тому, чтобы прибрать к своим рукам и остальные части, что и должно случиться, потому что надо же оправдать большие издержки войны. Наконец, из-за чего же и начинаются войны, как не из-за того, чтобы захватить у соседей что плохо лежит и так само и просится в руки?..

Сыромолотов как-то спросил ее, что, по ее мнению, значительнее,— война или революция, и она ответила, немного подумав, что революция, так как она способна прекратить на земле войны, если только хорошо удастся, а всякая война вызывает только новые войны. И вот теперь на досуге и уже во время ведущейся войны она придумывала один за другим доводы, подтверждающие тот свой ответ художнику.

Ей нравилось представлять себе, будто он спорит с ней, и она придумывала про себя, что он мог бы сказать ей, и опровергала его с большой горячностью. На это уходили у нее десятки минут, особенно когда она просыпалась ночью от храпа соседа или раннего прихода соседки.

Но, споря про себя с Сыромолотовым, она очень отчетливо представляла его себе, до того выпукло ярко, как будто он и в самом деле сидел рядом с нею и го-

ворил. Она виделась с ним в Симферополе всего три раза, но должна была признаться себе самой, что он был теперь для нее совсем не безразличен как человек, что он как-то, сам того не желая, конечно, вошел в нее; и вот она его часто представляет, как только можно представить при полной силе воображения, и не без успеха пытается говорить про себя его словами.

Картина же, начатая им,— так как Надя помнила размер холста,— стала представляться ей на белой широкой стене против ее кровати, и ей стоило только поглядеть хотя бы вскользь на стену, чтоб ее увидеть.

Само собою выходило как-то так, будто у нее, еще очень юной филологички, есть некое общее дело с маститым художником, который хоть и укрылся в провинциальную даль, но все же не мог не быть виден всем, кому хотелось бы его видеть. И это поднимало ее в собственных глазах, она гордилась этим. Она думала о себе рядом с художником часто, и Нюра не могла этого не заметить, не проникнуть в тайники сестры.

Что же касалось Путиловского завода, то странную для себя новость услышала днем Надя от корректорши, Анны Даниловны Горбунковой, соседки, у которой оказалось какое-то жеваное и недожеванное лицо — желтое с просинью, тускло мерцали бесцветные глаза, а черные зубы зажимали мундштук папироски. «Быть корректором и не курить невозможно, все равно как резать трупы в анатомическом театре и не курить тоже нельзя»,— объясняла она эту свою привычку Наде.

— Вот мы сейчас воюем с немцами чем? Пушками с Путиловского завода, а не угодно ли вам, ведь совсем было продали этот завод перед войною немцам,— сказала она выразительно.

— Как так немцам?! — приняла было это за шутку Надя.

— Очень просто, как продают такие предприятия: немцы совсем уже сладились с Путиловым купить акции завода на тридцать, кажется, миллионов, вот, значит, и был бы наш завод в немецких руках.

— Все-таки, выходит, не состоялась продажа?

— Нашим мерзавцам и горя было мало, да французы подняли крик и у немчиков выдрали акции из рук.

— Что вы говорите? А как же наше правительство? Ведь оно должно было знать?

— Разумеется, знало... Да ведь у нас какое правительство?

— Позвольте, Анна Даниловна, а вы откуда же это знаете насчет продажи завода? — вспомнила вдруг Надя, что Дедова ей ничего такого не говорила.

— Вот тебе раз, откуда знаю,— криво усмехнулась Горбункова.— Должна же я свою паршивую газету читать, раз я из нее вычесываю ошибки-опечатки!

— Постойте-ка, почему же она паршивая? Какая же это именно газета? — спросила Надя, чувствуя неловкость, что не догадалась раньше спросить об этом у Ядвиги Петровны.

— Вот тебе на, «какая»!.. «Русское знамя», самая черносотенная,— даже с некоторым ухарством сказала Горбункова, потом затянулась, зажав ноздри крупного носа, и обволоклась дымом.

— «Русское знамя»! — почти испугалась Надя.

— Что? Скверно?.. Порекомендуйте меня в «Речь» — перейду в «Речь»,— спокойно отозвалась на ее брезгливость корректорша.— Впрочем, теперь в нашей газете самая либеральная линия почти: мы против немцеедства... Не знаю, сколько наш издатель Дубровин взял с немцев, только он теперь за них горой стоит.

— За немцев! Что вы! Неужели?.. А как же ему позволяют?

— Да ведь за наших немцев! За тех, разумеется, какие в России у нас. А не один ли черт в конце-то концов. Всякий понимает, что все они в одну дудку дуют. Вот и продудели бы Путиловский завод, если бы не французы!..

— Постойте, как же так? — выкрикнула Надя.— Ведь это газета «Союза русского народа»!

— А между тем ведет себя совсем рыцарски: не желает знать разницы между русским народом и немецким, милые, дескать, бранятся, только тешатся!.. Ну, война и война, а зачем же отношения портить? Ведь у нас с немцами старинное соседство!

И недожеванное лицо Анны Даниловны приобрело на момент выразительность, чтобы потом утонуть в клубах очень почему-то густого табачного дыма.

В этот же день вечером, когда сестры были дома, к ним таинственно вошла Варя, поднесла к своему носу, похожему на утиный, уголок розового ситцевого фартука, с возможной для нее вальковатой поспешностью утерлась и сказала потихоньку:

— Какая-то к нам дамочка высокая заявилась, Николай Васильича спрашивает, а я ей сказала: «У нас

такого духу-звания нету, а есть Андрей Андреич, бухгалтер...» А она свое: «Не может быть, здесь он жил, а куда же в таком случае делся?» И стоит, не уходит, и вещишки при ней... А хозяйка куда-то ушедши, и никого, окромя вас, дома нету...

— Так Николай Васильевич — это же брат наш! — вскинулась Нюра.

— Бра-ат?.. Ну, вот она, с вещишками своими к нему, значит...

И у сорокалетней Вари стало просветленно-понимающим все широкое, скуластое, плоское лицо, а Надя выскочила в коридорчик, и оттуда донесся до Нюры ее радостный крик:

— Ксения! Ксюша!..

В этом крике было так много ей понятного и дорогого, что она мимо Вари бросилась тоже в коридор.

И когда Варя убедилась, что она ошиблась, что это не случайная какая-то жена, а проще сказать любовница, явилась с «вещишками» на жительство к брату барышень, а их старшая сестра, притом вырвавшаяся из рук немцев, она поднесла другой уголок своего розового фартука теперь уже к глазам и тихо вышла из комнаты.

Ксения же поразила сестер своим новым видом: такою они ее не представляли.

Высокая, с заострившимся, худым, усталым лицом, с бессильно опущенными тонкими руками, слегка сутуловатая, в шляпке, какой они на ней не видели раньше, может быть купленной там, за границей, широкополой, но как будто измятой и даже грязной, в платье, тоже каком-то несколько странном, или просто заношенном и тоже грязном, она обвела комнату сухими, с больным блеском, воспаленными, красновекими глазами и спросила глухо и натуженно:

— А где же Коля?

— Ведь Коля — прапорщик, он взят в армию,— ответила Надя и тут же, стараясь остаться радостной, добавила: — Садись же, чай сейчас пить будем!

— Что ты такая, Ксюша? — обескураженно спросила Нюра, взяла старшую сестру за руку и только что хотела к ней прижаться, как та отдернулась резко.

— Не прикасайся ко мне! Я вся избитая!.. На мне нет живого места!.. Мне везде больно!.. У меня половину волос вырвали!.. Меня ногами топтали...

Выкрикивая это, Ксения пятилась от сестер и, когда ткнулась коленом в диван, как-то подстреленно-глухо вскрикнула, упала на него ничком, и все длинное, тонкое тело ее, крупно вздрагивая, забилось от рыданий.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ХУДОЖНИК И ВОЙНА

I

Перед Архимедом, защищавшим свой родной город Сиракузы от римлян, стал кто-то и наступил на чертеж, который он делал на песке палкой. Архимед сидел, углубленный в свой чертеж. Это был проект новой катапульты, способной метать в осаждающих гораздо бо́льшие камни и гораздо быстрее, чем все им же сделанные машины.

— Не трогай моих фигур! — крикнул Архимед тому, кто бесцеремонно близко подошел к чертежу и стоял молча.

Великий физик не счел даже нужным поднять на него глаза: он смотрел на свои фигуры, попираемые чьими-то варварскими ногами, и силился восстановить их в своей памяти.

Но подошедший так некстати был воином одной из когорт, ворвавшихся в Сиракузы. У этого воина был в руке короткий меч, чтобы убивать, подойдя вплотную. И, взмахнув мечом, он убил Архимеда.

Художник Сыромолотов, сидя у себя дома, в Крыму, в Симферополе, вспоминал этот древний рассказ, когда смотрел на свою картину «Демонстрация», сильно и смело им начатую, но еще далекую от воплощения того, что он задумал изобразить. Пришел воин — не римлянин, а тевтон,— и наступил сапогом на картину.

Вышло не совсем так, как у Архимеда с его чертежами на песке: он, Сыромолотов, мог бы продолжать задуманную работу — он был жив, он был по-прежнему силен, никто не собирался его убивать ни коротким, ни длинным мечом; но в то же время он осязательно чувствовал, что продолжать не может, что начатый им холст не только раздавлен солдатским сапогом, но и отброшен куда-то далеко в сторону вместе с подрамником, на котором он был набит.

И стало место пусто вместо возможной, а главное, новой для него самого картины, потому что жизнь, вдруг нахлынувшая и всех — его тоже — охватившая, оказалась гораздо более новой и значительной, что ни говори о ней.

Иногда он пытался думать пренебрежительно: «Война, да, война... Что из того, что война? Была же ведь, например, война с Японией, погиб тогда Верещагин вместе с адмиралом Макаровым на «Петропавловске»... Глупо, что погиб, но в общем жили себе люди, как и до войны жили...»

Той войной он пытался отмахнуться от этой, но она стояла неотступно, как римский легионер перед Архимедом. И не потому даже коснулась она его так ощутительно, что сын его Ваня, спешно продавший за полцены свой дом, призван был в ополчение и уже направлен в школу прапорщиков. Он давно уже привык обходиться без сына, даже забывал иногда, что есть у него сын. Но живопись была его подлинной и полноценной жизнью, кроме которой существовала «натура», то есть то, что могло попасть на его полотно, но могло и не попасть, если не стоило того.

— И вот, это был первый случай в его живописи,— то есть жизни,— что она потускнела перед чем-то другим, несравненно более значительным, которое надвинулось неотразимо и от которого стало тесно душе.

Внешне как будто ничего не изменилось в его жизни. Он вставал так же рано, чуть свет, как вставал и раньше, потому что вместе со светом солнца начиналась его ежедневная жизнь, то есть живопись. Он упорно не хотел думать о войне, так как она его лично, художника Алексея Фомича Сыромолотова, совершенно не касалась: в армию взять его не могли — для этого он был уже стар,— поэтому он вполне мог бы смотреть на эту войну так же издали, со стороны, как смотрел на войну в Маньчжурии. И, однако, привычно работая кистью, он, изумляясь самому себе, стал замечать, что его как будто держит кто-то за руку и делает его кисть бессильной.

Марья Гавриловна, его экономка, уходя по утрам на базар, неизменно приносила ему свежие газеты или даже экстренные выпуски телеграмм, и он, раньше вообще не читавший газет, не только не в состоянии был запретить ей это, но даже прочитывал все против своей воли.

Полученный им на международной выставке в Мюнхене диплом он изрезал и бросил в топившуюся на кухне плиту, а золотую медаль лично занес в местный Красный Крест, открывший прием пожертвований в пользу раненых. Но это если несколько облегчило его, то на весьма короткое время — на час, на два. Скованность, связанность, сжатость продолжались. Что-то необходимо было выдвинуть из себя, чтобы стряхнуть их, но ничего такого не находилось. Наводнение, новый всемирный потоп, и он, как Ной, в утлом ковчеге.

Когда его спрашивали, отчего он, уже близкий к шестидесяти годам, так упорно не поддается времени, он отвечал, с виду шутливо, однако вполне убежденно:

— Поддаваться времени? Что вы, помилуйте! Да у меня и времени для этого нет.

Необщительный с людьми, он был очень разговорчив с «натурой», которую писал. Тысячи соображений мелькали у него в мозгу, даже когда он писал просто пейзаж с натуры. Это было глубокое проникновение в анатомию, в мускулатуру и костяк деревьев, холмов, человеческого жилья где-нибудь на заднем плане, яркого куста цветущего шиповника на переднем, извилины песчаного берега неглубокой, узенькой речонки...

Все было и сложно, и каждый день, и каждый час во дню ново, а живая натура, конечно, наводила на гораздо большее количество мыслей, чем пейзаж.

Жизнь не сужалась с годами, нет; она разворачивалась шире и шире, познавалась глубже и глубже, давала задачи трудней и трудней, и как же можно было вдруг отстать от ее стремительного бега, постареть?

Но вот совершенно неожиданно, необъяснимо на первый взгляд,— какой крутой поворот в сторону и назад сделала она вся сплошь.

Нераздельно как будто спаянная с живописью жизнь вдруг оторвалась от нее, бросилась, ошеломляюще грохоча, именно назад, не вперед, не к созиданию — к разрушению, а живопись — его, Сыромолотова, жизнь — осталась сама по себе брошенной и ненужной.

Как будто только что развивал перед огромной толпой слушателей свою находку в лабиринте человеческих мыслей, нанизывая образ на образ, подходил уже к выводу, ясному, как день, но вся толпа вдруг, сколько ее было, засвистав, захохотав, бросилась к выходу, а он остался один, с открытым от изумления ртом, с застывшим на языке словом.

Шесть конных фигур задумано было им на картине «Демонстрация», и временами им овладевало сомнение: не много ли? Миллион конных фигур готовила война для полей сражений и подсчитывала: не мало ли? И Сыромолотов наперед соглашался с тем, что будет мало. Всего только миллион конницы! Мизерно, скупо, необходимо удвоить, утроить...

Когда он ставил Надю Невредимову в центр своей картины, он думал: «Вот порыв! Вот взлет молодости, готовой принести жизнь в жертву идее!.. И рядом с той, которая в центре, сколько других, идущих на такую же жертву!.. Десятки, сотни, может быть!..»

На огромнейшее полотно выводились другим художником — Историей — десятки миллионов молодых, из которых треть, если не половина, будет покалечена и убита, даже не успев никого спросить, во имя чего именно и зачем.

Однако же все шли на такой грандиознейший бой, какого еще не знало человечество. А он, художник, всю жизнь бившийся с тем, что не хотело поддаваться, не лезло в рамки его холстов, теперь точно остался не у дел, вышел в отставку.

Он всячески пытался убедить себя, что его «Демонстрация» важнее, чем начавшаяся война, однако не мог убедить, тем более что ведь сам-то он не пошел бы с красным флагом впереди толпы рабочих под пули полицейских и вызванных в помощь им солдат.

II

Если раньше, до войны, Сыромолотов, солнцепоклонник, неослабно наблюдал игру света и теней и чередование красочных пятен, то теперь, в первые дни уже начавшейся войны, он вглядывался в людей.

Пожалуй, был при этом налет враждебности, будто каждый извозчик или водовоз был виноват в катастрофе, каждая торговка жареной печенкой на толкучке причастна к тому сдвигу в мировой жизни, который заявлял о себе ежедневно.

Точно человек около него, кто бы ни был, стал вдруг совершенно новым: Сыромолотов не замечал женских слез, не слышал причитаний, когда был на вокзале, где провожали запасных.

— Что это за чепуха такая, хотел бы я знать, словно подменили всех? — сердито спрашивал он, придя до-

мой, Марью Гавриловну.— Я ведь отлично помню, да и вы должны помнить, как бабы провожали своих мужей во время японской войны, какой тогда вой они подымали. Отчего же теперь воя нет? Полиция, что ли, им запрещает?

— Кто же их знает,— начала раздумывать вслух Марья Гавриловна, но вдруг добавила, отвернувшись: — Ведь вот же когда Иван Алексеевич уезжал взятый, вы же ведь тоже... не то чтобы я хочу сказать не плакали, а вообще...

— Ну да, еще чего! Чтоб я о таком балбесе плакал! — осерчал Сыромолотов.

— Я не говорю, Алексей Фомич, насчет плаканья, я только насчет жалости говорю,— попыталась оправдаться Марья Гавриловна.— Значит, выходит, народ вообще безжалостный стал.

— Как это безжалостный?

— А разумеется, чтобы если, да чтобы мне самой провожать на войну пришлось, будь у меня муж, то я бы вон как плакала бы, несмотря что на вокзале полиция или там какие жандармы!

— Э-э, полиция, жандармы! — поморщился Сыромолотов.— Я же вам говорю — не в них совсем дело. Есть они там или нет их, все равно посуровел народ... Может быть, дома отвылись, а на людях стесняются? Тогда вопрос: почему же стесняются? Очень сделались воспитанными за десять лет, чего быть, конечно, никак не может'

— Воспитание тут какое же, Алексей Фомич? — не поняла его Марья Гавриловна.

— То-то и есть: однако факт остается фактом.

Он не хотел все-таки этого факта и, помолчав с минуту, добавил:

— Хотя, впрочем, делать какие-нибудь выводы я не имею права — для этого слишком мало в сущности я видел, вы больше меня видите людей, вот почему я говорю вам...

Занятая в это время чем-то по хозяйству, Марья Гавриловна удосужилась только отозваться на это односложно:

— Ваша правда, Алексей Фомич, что я, конечно, людей больше вижу, только я много за ними не замечаю: мне впору о своем думать.

— Как же так «о своем», когда такая война? — не столько рассердился, сколько удивился Сыромолотов, но

Марья Гавриловна единственный человек, взявший на себя все мелочи его жизни и тем помогавший ему жить, ответила как будто даже с досадой:

— Хотят если воевать, и пускай воюют, а мне-то что?

— «Хотят»,— подхватил это слово Сыромолотов.— В семьдесят шестом году, насколько я помню, когда затеяли у нас освободить славян от турок, очень многие к генералу Черняеву добровольцами шли... Впрочем, и теперь не то же ли самое? Тогда от турок, теперь сербов от Австрии... Да, да, да... Вполне резонно говорится: ум хорошо, а два еще хуже.

Нужно было зацепиться за что-то для объяснения такого странного, на его взгляд, настроения у людей в то время, как опрокидывалась долгими годами упорного труда налаженная жизнь.

«Освобождение» — это слово оказалось очень объемистым, когда в него вдумался Сыромолотов, стоя перед начатой картиной «Демонстрация».

На тему «освобождения» он хотел написать картину, точнее, на тему войны внутренней, и это было для него понятно: впереди рабочих шла у него на холсте Надя, которую он знал. Она не была рабочей, она только поверила в то, что должна принести себя в жертву идее освобождения рабочих масс от власти капиталистов.

Она была еще очень молода, и отчего же ей, мечтательной, не отдаться этой идее?..

Гнет со стороны кого бы то ни было и освобождение от этого гнета — так теперь стала ему рисоваться жизнь вообще. Свою личную жизнь он устроил именно так, как ему хотелось устроить: довольствуясь небольшим, он считал себя внутренне свободным, точно и не жил на такой-то улице в таком-то городе, а как будто плавно и медленно пролетал над жизнью, наблюдая ее только сверху.

Иногда он думал даже, что в нем есть что-то общее с Диогеном из Синопа, с тем древним мудрецом, который не нашел ничего привлекательного даже в славе Александра Македонского, нанесшего ему визит в его ночлежном приюте — бочке. Ему нравились стихи Бенедиктова о Диогене:

Он героя — македонца,
Покорившего весь свет,
И царя, и полубога,
Гордой просьбой удивил:
«Отодвинься, брат, немного —
Ты мне солнце заслонил» [1].

---

[1] Строки из стихотворения В. Г. Бенедиктова (1807—1873) «Человек».

Он давно уже сказал самому себе: «Мой враг только тот, кто попытается заслонить от меня солнце». Он думал, что этим врагом,— конечно, неодолимым,— может быть только смерть: надвинется на его глаза и навсегда закроет.

Конечно, он опасался еще и слепоты, но зрение его не слабело, это он знал. Зато не был он уверен в том, что его не «хватит кондрашка». Иногда даже Марье Гавриловне он говорил как-нибудь за чаем или обедом:

— Черт его знает, вдруг хватит кондрашка, и отнимется правая рука — что тогда делать?

— Ну что вы, Алексей Фомич! — пугалась Марья Гавриловна.

— Да ведь если случится, не откажешься... Не отбрыкаешься, нет!.. Говорят, мясная пища очень вредна в мои годы, а как же без мяса прикажете быть? Манной кашей, что ли, начать питаться? Ведь это только беззубым, а у меня пока что зубов хватит. Мне манная каша — противнее ничего нет.

— Без мяса какой же обед,— соглашалась с ним Марья Гавриловна.

— То-то и дело... А все-таки,— вдруг возьмет и стукнет: — Чем черт не шутит!..

И чтобы не оказаться в полной власти паралича, который может обессилить его правую руку, Сыромолотов года два уже упражнялся в работе кистью и в рисовании левой рукой, и теперь думал о «кондрашке» гораздо более спокойно, чем раньше: это было освобождение от того насилия над ним, какое могло его подстеречь в будущем.

Когда он изорвал свой мюнхенский диплом и отнес золотую медаль в Красный Крест, он сделал это в силу своего личного чувства омерзения к людям, левой рукой раздававшим золотые медали на своих международных выставках иностранцам, а правой точившим нож против всей Европы.

Сделав это, освободился он от непрошеного поощрения тех, которых не уважал, которых возненавидел, как своих личных врагов. Вот поднялись они утверждать свое право на мировое господство, и стало ненужным почему-то даже ему, Сыромолотову, то, чем он жил.

А другие? А все кругом?

Странно было видеть вокруг подъем, однако он был. Его нельзя было объяснить только тем, что писалось в

газетах с целью поднять боевой дух во всех слоях населения. Газеты попадали далеко не ко всем, грамотными были тоже далеко не все.

Сыромолотов готов был допустить, что существует «душа народа» и что бывают моменты в жизни народа, когда эта душа просто и внятно говорит всем и каждому то, что, по мнению многих умников, нуждается в доказательстве и проверке.

Когда он поставил на место «души народа» инстинкт самосохранения, то тут же ему захотелось найти и для самого себя в себе самом родник того же инстинкта.

«Если народ с тысячелетней историей,— думал Сыромолотов,—народ, создавший громаднейшее государство, не желает, чтобы его учили, как надо жить и творить, то что же еще остается ему делать, как не дать отпор...»

Вспомнив о старом Куне, портрет которого он писал, Сыромолотов пошел к нему, чтобы перекинуться кое-какими словами о войне. Однако ставни во всем доме Куна оказались почему-то закрытыми, из чего можно было заключить, что никого не было в доме. Некого было даже и спросить, куда же это вдруг уехали из своего удобно устроенного двухэтажного дома все Куны...

III

2 августа Сыромолотов прочитал в газете о донском казаке Кузьме Крючкове, который в стычке с немецким разъездом убил одиннадцать человек, причем сам получил шестнадцать колотых ран, признанных не опасными для жизни. Командующий первой армией телеграфно поздравил наказного атамана Донского казачьего войска с первым в эту войну георгиевским кавалером.

Напечатано это было крупным шрифтом, и Сыромолотов сказал самому себе:

— Ого! Начинают уже творить героику!.. Ого!

По долговременной привычке художника представлять все поразившее его в виде картины, он пытался вообразить, как один человек, будучи, конечно, верхом, смог убить одиннадцать хорошо вооруженных и тоже конных немцев, но должен был признаться, что вообразить это трудно.

Однако этот эпизод вызвал в его памяти картон Леонардо да Винчи — «Битва при Ангиари». Экспрессия

этого картона, на котором не только ожесточенно, с искаженными лицами, сражаются люди, но и лошади тоже дерутся с лошадьми противников, его поражала в молодости. И вот сами собой, подняв круто хвосты, вздыбив гривы, шесть лошадей, только еще прочерченных на его холсте «Демонстрация», понесли своих всадников влево, в гущу таких же бешено вздыбленных коней, в сверкание взвившихся кверху сабель и выставленных вперед длинных пик...

Не «Демонстрация», а бой. Не порыв только, а наступление. Не отчетливо видная каждая деталь, а свалка, неразбериха: лязг, и крики, и звон, и рычанье с холста, и кто победитель, кто побежденный — неизвестно пока: момент схватки...

Не час и не два был охвачен художник теми образами, которые он же и вызвал перед собою, но они потухли так же быстро, как и возникли. С одной стороны, он припомнил, что Микеланджело ту же «Битву при Ангиари» изобразил не как битву, не как схватку, а только как преддверие схватки: воины еще только купаются в реке Ангиари, а кони их, хотя и оседланные, пасутся на берегу, когда разносится тревога: показался вдалеке враг. Выскакивают голые из воды, бросаются к своей одежде, полуодетые вскакивают на коней... Битвы еще нет, она вот-вот начнется, и многие из этих молодых и сильных тел будут повержены в прах...

Это — с одной стороны, а с другой — слишком велика была разница между эпохой, когда имела значение битва при Ангиари, и современностью, когда тысячам подобных битв суждено было затеряться в ходе войны, как простым стычкам конных разъездов.

Главное же было не это даже, а то, что «Битва при Ангиари», как «Бой при Ватерлоо», как сражение на реке Березине и множество других сражений, были со всех сторон открыты для художников: и начало и исход их были известны, они стали достоянием истории, тут было за что ухватиться кисти.

Эта же война только что началась. Опрокинув его «Демонстрацию», что поставила она на ее место? Он, художник, привык каждый день и каждый час во дню быть во власти тех образов, какие сам же и вызвал. Где же были эти образы теперь?

Прошло уже две недели с тех пор, как началась война,— они не возникали. Может пройти и два, и три меся-

ца,— они не возникнут. Что можно будет назвать решающим в этой войне? Это будет видно только через полгода, если война продлится только полгода.

Чем же, однако, заняться в эти сто восемьдесят дней?.. А если и за полгода не произойдет того, что должно будет решить вооруженный спор величайших держав Европы?.. Ведь надо же выждать, где и что покажется как бесспорно самое яркое, самое значительное в этой войне, а сколько же именно придется ждать и чем и как заполнить это время?..

Пока решено им было только одно, что заканчивать «Демонстрацию» не стоит: потускнело в ней все, что привлекло его раньше, отодвинулось слишком далеко назад. Но когда решение это совершенно окрепло и начатый холст был скатан и спрятан, получилось из Петербурга письмо от Нади Невредимовой.

Очень давно не получавший ни от кого писем, Сыромолотов был удивлен прежде всего самым уже видом адресованного ему письма, от которого притом пахло какими-то, слабыми правда, духами. Конверт был узенький, синий; почерк растрепанный, полудетский. Он не сразу догадался бы, от кого письмо, если бы внизу под его адресом не стояло: «От Нади Н.».

Уходя в последний раз и прощаясь надолго, она не говорила, что напишет ему, и он, конечно, не просил ее об этом,— это была для него неожиданность, заставившая его даже улыбнуться в усы и сказать:

— Вот так сюрприз — мое вам почтенье!

Читал письмо он очень внимательно, а дойдя до конца, перечитал его снова.

Начиналось оно, как всякое другое: «Многоуважаемый Алексей Фомич!», но тут же вслед за этим шла разная непредвиденность:

«Я хотя и уверена, что Вы далеко подвинулись в своей картине, все-таки мне очень, очень хотелось бы знать, что именно Вами уже сделано и что еще остается сделать. Так как я знаю, что Вам надо написать целых шесть лошадей, то с величайшим вниманием разглядываю я теперь каждую лошадь, особенно верховую, какая мне попадается на улице. Я никогда раньше даже и не замечала, какие они все разнообразные и какие попадаются из них необыкновенно красивые. На таких я смотрю долго и думаю: «Вот если бы такую ввел в картину Алексей Фомич! Это было бы бесподобно!..»

Я и людей теперь про себя отбираю: вот этот годился бы на картину, а этот нет.

Мысленно я продолжаю Вам позировать за всех, даже за лошадок. Я очень переживаю Вашу картину во всех ее подробностях. Иногда мне даже кажется, что я сама ее пишу — Вы мне извините это? А какого я пристава здесь нашла! Я так впилась в него глазами, что он даже крикнул мне: «Вам что угодно?..» И пятерых городовых я тоже подобрала таких, что Вы бы, я уверена, одобрили мой выбор. Когда будет закончена Ваша картина, как только один Вы умеете заканчивать, какой этим будет брошен вызов всем тем, кто сочиняет войны! Всем этим Вильгельмам, Францам-Иосифам, я хочу сказать, и им подобным... Здесь все убеждены, что эта война — последняя, что больше человечество уж не будет вести войн. И та война, которую Вы изображаете на своей картине, тоже должна быть последняя, вот в чем идея Вашей картины. Ведь я угадала, а? Ведь Вы так и сделаете, что всякому будет ясно: последняя... победоносная!.. Я вообще так долго думаю каждый день над Вашей картиной, что живу будто бы и не здесь, в Петербурге, а у Вас в мастерской. Поэтому я не пишу ничего Вам о своем, хотя два брата мои — Коля и Петя — взяты в армию. Нюра, моя младшая сестра, поступила на Бестужевские курсы. Очень беспокоит нас с нею, что старшая наша сестра — Ксения — все не приезжает из-за границы, куда она уехала летом с экскурсией учителей. В газетах пишут, что много русских подданных задерживают немцы, так что, может быть, и ее задержали. Но это я между прочим. Я начала о картине и хочу закончить о ней же. Может быть, у Вас найдется хоть две минутки свободных, Алексей Фомич, напишите, пожалуйста, мне в открытке, как далеко Вы уже шагнули. Я буду так рада получить от Вас хотя бы пять строчек. Может быть, мне сфотографировать этого пристава и послать Вам (у одной моей подруги есть кодак). Мне так хотелось бы быть Вам чем-нибудь полезной!

Не сердитесь на меня за это письмо!

Надя Н.».

Главн. почт., востр.

Алексей Фомич не рассердился, хотя мог бы и рассердиться, если бы написал кто-нибудь другой, какую ему нужно лошадь для картины и какой у него должен

быть пристав. Давно уж отвык он от чьего бы то ни было вмешательства в то, что он делал. Наде же он не только извинил ее приподнятый тон, но он был почему-то даже приятен ему: как будто она и в самом деле вошла к нему в мастерскую, чтобы сказать то, что у нее написано разгонистым почерком на палевом листочке плотной бумаги, пахнущем жасмином.

И после того, как улеглось в нем впечатление от письма, он вытащил на свет спрятанный было холст «Демонстрации», раскатал его на полу, прижав углы, несколько минут разглядывал его, представляя картину уже законченной, потом начал снова прибивать холст на подрамнике.

Вспоминая при этом яростное желание Нади сфотографировать для него непременно какого-то петербургского пристава, он даже развеселился. Он наметил уже, как вполне подходящего, одного из здешних приставов, и фигура его, неряшливо сидящего на гнедой лошади, была уже неотделима в его мозгу от остальной картины, но все-таки не без любопытства взглянул бы он на фотографию того пристава, которого облюбовала Надя.

Иногда бывает нужно очень немного, чтобы художник, вечно ищущий лучшего, отбросил найденное хорошее.

Несколько новыми глазами взглянул на все в целом на своем холсте и на каждое лицо там Сыромолотов после письма Нади.

Для него самого новым оказалось то живое участие в его работе, какое дошло до него от ее непосредственных слов. Ей, девятнадцатилетней курсистке, почему-то захотелось, чтобы картина вышла как можно лучше. «Что ей Гекуба и что она Гекубе?» — не один раз повторял про себя Алексей Фомич, но тут же припоминал какое-нибудь место письма и улыбался. Ее желание «позировать за всех, даже за лошадок» он не считал простою фразой, брошенной для красного словца: ясно для него было, что будь она здесь, а не в столице, или будь он в столице, а не здесь, она сумела бы действительно стать ему полезной, чтобы картина получилась, говоря ее же словом, «бесподобной».

Два десятка строк письма обыкновенной, казалось бы, Нади, каких чрезвычайно много, не только усадили на привычный табурет снова его, художника, смытого было нахлынувшей волной, но еще и утвердили на этом табурете прочнее, чем он сидел прежде. И, думая об

этом в своей мастерской, он не мог не бормотнуть время от времени:

— Вот так Надя, скажите, пожалуйста!.. Это называется: «Утаил от мудрых, открыл младенцам»...

И думал, готовя краски и кисти для работы: «Что же все-таки может быть открыто младенцам? — только инстинкты... Между прочим, конечно, инстинкт самосохранения... Не глядит ли именно этот инстинкт из письма Нади? У меня он, должно быть, почти заглох, а у нее, ввиду ее младости, очень еще ярок, почему и забегает даже вперед, обгоняет войну... Во всяком случае, в ее инстинкте есть кое-какой смысл, а в войне, какая началась, трудно добраться до смысла».

Три дня, почти не выходя из мастерской с раннего утра и до сумерек, провел Сыромолотов в работе над «Демонстрацией», и когда закончил подмалевок, когда заняли свои места на холсте солнечные блики и тени в общих очертаниях, когда разглядел он то многое, чего не хватало ему, чтобы достичь полнокровия и предельной силы, он решил пройтись по улицам, глотнуть, как он привык говорить, «натуры».

Совершенно как-то непредумышленно вышел он во время этой прогулки к дому Невредимова, а потом, несколько неожиданно для самого себя, вошел и во двор дома.

Была, правда, мысль посмотреть на братьев Нади — студентов: от нее он слышал, что эти братья еще не спешат ехать в Москву, а среди лиц в толпе ему как раз не хватало двух студентов... Он не представлял братьев Нади, но думал, что семейное сходство с героиней его картины должно проявиться и в них, а это дало бы картине единство, которого ей не хватало... Наконец, если уж уехали оба, то в доме должны были найтись с них фотоснимки.

Так вышло, что необщительный, даже нелюдимый художник оказался у Невредимовых.

IV

Конечно, первые минуты были очень неловки.

Художника в незнакомый ему дом привела его же картина, которая неотступно стояла в его мозгу, но как было сказать об этом людям, которых ему раньше не приходилось видеть? Он ничего не придумал в объясне-

ние своего прихода, и первое, что он спросил у пожилой невысокой женщины, шедшей из сада с корзиной груш, было:

— Что это за сорт такой, скажите? Кажется, «Мария Луиза»?

— Да, «Мария Луиза»,— недоуменно глядя на него, ответила женщина.

— Прекрасные груши,— сказал он,— прекрасные... А чей это дом? Невредимова?

Женщина была одета в простенькое платье, и он принял ее за прислугу, но это была Дарья Семеновна, мать Нади.

— Да, Невредимова, Петра Афанасьевича... Вам его нужно?

Сыромолотову было так не по себе, что он, пожалуй, был бы обрадован, если бы хозяином этого дома оказался кто-нибудь другой и он извинился бы и вышел снова на улицу.

Но делать было нечего, и он ответил:

— Хотелось бы увидеть... Петра Афанасьевича...

— Как сказать про вас?

— Художник Сыромолотов.

— А-а!.. Это вы портрет моей Надюши рисовали! — расцвела Дарья Семеновна и так стала вдруг похожа на Надю, что Сыромолотов наотлет снял перед нею шляпу, проговорив теперь уже без неловкости:

— Да, это именно я.

Дарья Семеновна поставила корзину наземь и протянула ему руку, он же галантно поцеловал эту загорелую руку, чем привел Дарью Семеновну в полное смущенье.

— Что вы! Что вы! — забормотала она.

— Позвольте вам помочь,— сказал он и, взяв корзину, первым направился с нею к крыльцу дома: а через минуту сидел уже на этом крыльце, имевшем вид небольшой веранды, в обществе обоих студентов, братьев Нади, которые случайно оказались дома. Они собирались уже уезжать в Москву, однако же не спешили с этим, и Сыромолотов так был рад своей нечаянной удаче, что, только перебросившись с ними несколькими фразами, вспомнил про хозяина дома и спросил:

— А Петр Афанасьевич где же сейчас?

— Дедушка после обеда обыкновенно ложится спать,— ответил один из студентов, длинный и узкова-

тый, Саша; другой же, пониже ростом, Геня, добавил улыбаясь:

— Древен наш дедушка. Вы его ни разу не видали?

— К стыду своему, должен признаться,— много слышал, но видеть не приходилось... Однако надеюсь увидеть, затем и пришел,— тоже улыбаясь, говорил Алексей Фомич.

Он смотрел на обоих братьев Нади так, как умеют смотреть только художники, вышедшие на поиски «натуры». Конечно, оба они сразу показались ему необходимыми для картины, и он следил только за поворотами их голов, чтобы перенести на холст наиболее резкий для каждого поворот.

На них не было ни студенческих тужурок, ни фуражек, только белые рубахи, у одного забранная в брюки, у другого подпоясанная витым пояском с кистями, но и этого он не хотел изменять. На картине было лето, а летом многие из молодежи ходили без фуражек, тем более на юге.

Он замечал, что и братья Нади в свою очередь смотрят на него впитывающими глазами, как умеет смотреть только юность на знаменитость. Но это не смутило его. Он вынул из кармана небольшой альбом, похожий на записную книжку, и сказал отчасти шутливым, отчасти деловым тоном:

— Грешен, очень большой зуд у меня в руках, когда вижу я новых для себя людей... Повернитесь, сделайте милость, так,— обратился он к Гене,— и смотрите, пожалуйста, вот в эту точку,— показал он, поднявшись, несколько выше этажерки с посудой.

— Ну вот... Что же во мне примечательного? — сказал было Геня, повернувшись, однако, именно так, как просил Сыромолотов.

— У меня это быстро, вам недолго придется... Да ведь и рисуночек-то маленький,— отвечал ему Алексей Фомич, не теряя при этом ни секунды.

Он действительно очень быстро набросал голову Гени и торс — больше не могло быть видно в толпе на картине — и тут же сказал: «Готово!» — и, поклонившись, перешел к Саше.

— А мне куда смотреть? — спросил Саша, вытягиваясь во весь рост.

— Ого!.. Да-с!.. Куда вам смотреть — это задача... Однако смотрите, прошу вас, в ту же самую точку.

Так как Саша, благодаря росту, должен был выделяться из толпы, то Алексей Фомич зарисовал его по пояс и отдал ему времени минуты на три дольше, чем Гене.

Однако щедрое послеобеденное солнце, пробивавшееся сквозь льняные слегка синие занавески на веранду, так озарило вдруг Дарью Семеновну, что она тоже запросилась на картину.

— «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — продекламировал Сыромолотов, обратясь к ней, подняв карандаш.

— Ну, уж меня-то, старуху, зачем же,— застыдилась Дарья Семеновна и хотела уйти.

— Одну минутку, только одну минутку! — убедительнейшим тоном подействовал все-таки на нее Алексей Фомич и занес ее фигуру в свой альбомчик.

Очень странно вышло для него в этом доме: как будто невидимо рядом с ним здесь была Надя, так быстро освоился он со всеми и так непринужденно чувствовал себя, что хотел уж было поговорить о неизвестной ему Ксении, оставшейся где-то за границей, но его предупредила Дарья Семеновна.

Кивнув на сыновей, она сказала:

— Вот только эти двое пока остались: студентов не берут ведь... А трех старших взяли.

— В армию?

— Ну да, в армию... Один, самый старший, инженером был, теперь офицером стал, прапорщиком; другой тоже институт путей сообщения окончил, в инженерный корпус попал, а третий — он же ведь земским врачом был,— думали мы, что не должны были взять,— нет, тоже в полк попал... Спасибо хоть дочка старшая нашлась, за границей была, наконец-то удалось ей, бедной, до Петербурга доехать.

— А-а, удалось все-таки! — так обрадованно отозвался на это Алексей Фомич, что даже Геня счел нужным вставить:

— Нынче утром письмо получили.

А Саша добавил:

— Письмо интересное — прямо хоть в газете печатай... Дедушка даже плакал, когда читал.

У Дарьи Семеновны нашлись улежавшиеся уже, раньше снятые груши, и несколько штук их на тарелке поставила она на стол перед гостем, а после того, перегля-

нувшись с Сашей, принесла из комнаты письмо в разорванном конверте и подала Саше. Сыромолотов заметил, что письмо было объемистое.

— Сколько лет вашему дедушке? — спросил он Сашу.

— Восемьдесят шестой год... Хотя иногда он говорит, что ему все девяносто.

— Старики любят иногда прибавлять себе года, чтобы им не было страшно,— улыбаясь сказал Алексей Фомич и добавил: — Если можно письмо это печатать в газете, то, может быть, можно и мне его послушать?

— Я уж его сегодня два раза читал — про себя и вслух; могу и в третий.

Голос младшего из двух братьев — Гени — напоминал Сыромолотову голос Нади, так же как и весь его внешний облик, поэтому с первого же взгляда к Гене он почувствовал большое расположение. Голос Саши был грубее, гуще, и в лице его, не только фигуре, было гораздо больше мужского, и кисти рук его были пошире, чем у Гени.

— Начать надо с того, что наша Ксения уехала за границу с экскурсией учителей в начале каникул...

— Да, это я слышал от Нади,— перебил его Алексей Фомич.

Ему почему-то не хотелось теперь ничего говорить о письме к нему Нади, в котором тоже упоминалась Ксения, но он добавил:

— Кстати, фотографической карточки Ксении... простите, не знаю, как по отчеству... у вас нет?

— Ксения Васильевна... Есть, как же не быть; мы вам потом покажем... пока — письмо. Начну с того, что имеет общий, так сказать, интерес.

И Саша, пробежав глазами первый листок письма до половины, начал:

—«...В сущности, войны не ожидал никто. Ну просто она казалась немыслимой в такой культурной обстановке, как за границей. Почему война, из-за чего война, кто с кем мог поссориться до того, чтобы схватиться за ножи, когда кругом сколько угодно всего, чего душа только просить может, этого никто из нас не понимал. По крайней мере, так это мне и другим из наших экскурсантов представлялось. Очень все были любезны, вежливы, тем более что ведь мы же оставляли в их карманах свои деньги. И вдруг — объявление мобилизации, и сразу переменилась картина... Я пишу и плачу. Что же это

за слепота была у нас, что за тупоумие мы не разглядели, не расслышали палачей, дикарей в котелках, с моноклями!.. Я не в состоянии передать и сотой доли тех оскорблений, тех унижений, какими они нас, русских учителей, и всех вообще русских, имевших несчастье к ним приехать, подвергли. Я не говорю уж о жандармах, полицейских, военных — этим удивляться не приходилось после того, как вела себя по отношению к нам штатская толпа — все эти лавочники и содержатели пивных. А в толпе ведь много было женщин, и эти женщины, фурии злобные,— я их никогда не забуду. Они буквально вопили, а не кричали: «Расстрелять всех русских!.. В тюрьме сгноить!.. Расстрелять!..» Выходило так, что жандармы и солдаты, которые выталкивали нас из вагонов прикладами (у меня и сейчас все тело в синяках) и вышвыривали на перрон наши чемоданы, они, может быть, нашими спасителями были... Так как я высокого роста...»

— Простите,— перебил с живейшим интересом Сыромолотов,— как именно высокого?

— Почти с меня,— ответил Саша и продолжал: «...то женщины кричали, подскакивая ко мне: «Это русский казак! Казак!..» Тут на меня накинулись жандармы, схватили за волосы и начали рвать изо всех сил, чтобы убедиться, что коса моя не привязанная. Однако не ограничились этим, подлецы! Тут же, на перроне, перед толпой меня стали раздевать догола, и сколько я ни протестовала, меня никто не хотел слушать, били пинками и кулаками, избили и несколько учителей из наших экскурсантов, которые вздумали за меня заступиться. А немецкий офицер, мерзавец, вздумал еще сказать: «Барышня очень тощая, но ничего: мы вас, барышня, откормим, и пойдете на колбасу нашим солдатам».

И как заржали солдаты после такой остроты своего начальника!

На пути от Берлина до Гамбурга три раза нас водили под конвоем в тюрьму, там всех раздевали и обыскивали. Семь дней нас буквально волочили то из вагонов в тюрьмы, то из тюрем в вагоны. Это делалось под предлогом того, что мы — шпионы, что мы приехали выведывать какие-то военные тайны немцев. Что такое мы могли видеть и слышать? Что войска немецкие двигались усиленно еще до объявления мобилизации? Что рабочие на вокзалах отрывали засыпанные до времени землей широкие колеи, приспособленные для русских локомоти-

вов и вагонов (немецкие колеи, как известно, несколько у́же наших) — тут никаких военных тайн нет. А вот что мы на весь мир можем громко сказать: «Вы не знали, что такое немцы, стоящие «по ту сторону добра и зла», как учил их стоять их учитель, выродок Ницше! Вы не знаете, что такое «сверхчеловек»! И если вас не стошнит от одного вида этого человекозверя, то, значит, вы тоже чрезвычайно опасны для будущего человечества!» Вот что мы можем сказать Америке, Азии, Австралии, Африке — всем материкам, где имеются хоть сколько-нибудь культурные люди, всем странам Европы, которые пока еще не воюют... Мы, приехавшие из Гамбурга в Копенгаген, изумились тому, что увидели людей,— вот до чего мы потеряли представление о человеке в Германии! У нас отняли там это представление вместе с нашими чемоданами. В Копенгагене нам сочувствовали, нам стремились помочь, нас жалели, и Швеция, через которую мы проезжали потом, тоже... И я думаю: неужели у нас не найдется достаточно силы, чтобы обуздать этих распоясавшихся мерзавцев? Ведь они действовали по приказу свыше, они всячески старались нас унизить — в этом был весь смысл их издевательств и истязаний. Они, конечно, отлично знали, что мы не шпионы, а туристы, русские педагоги. То же самое они делали и с нашими профессорами, лечившимися у них на курортах... Бывали войны в Европе, но мне не приходилось читать, чтобы какая-нибудь война еще начиналась так же, как эта. Поэтому я, насколько я в состоянии делать заключения, думаю, что эта война будет самой ужасной по своей жестокости...»

Тут Саша остановился и поднял глаза на Сыромолотова.

Художник сидел насупясь. Потом пробормотал:

— Да, вот... вот как обернулось дело с Мюнхеном и прочим...

Наконец, сказал размеренно и связно:

— Мой сын Иван тоже взят в ополчение, а оттуда попал в эту самую, в школу прапорщиков... Успеет ли окончить ее до окончания войны, не знаю, но если успеет, если выйдет офицером на фронт, то я думаю, я уверен, краснеть мне за него не придется.

— Еще бы! Чемпионом мира был,— сказал Геня.

— Да, чемпионом... И даже боролся с каким-то там чемпионом немцев Абергом, и в одном туре, в первом, ему не уступил все-таки...

V

Отворилась тихо дверь из комнаты на веранду, и показалась седобородая, седоволосая, белоглазая голова старого Невредимова, потом боком и тоже тихо, почти бестелесно, появился он весь, хотя и давно уже начавший расти книзу, но достаточно еще высокий.

Алексей Фомич встал и, рассчитывая на то, что старик, должно быть, потерял уже слух, сказал громко:

— Художник Сыромолотов!

Но Петр Афанасьевич слышал пока еще не так плохо, только голова его подрагивала на тощей шее.

— Я догадался, только взглянул, догадался, как же,— отозвался он, здороваясь.

— Я вас разбудил, должно быть, своим приходом не вовремя, извините великодушно!

— Разбудили? Не-ет!.. Не спал я... Лег спать действительно, а заснуть не мог: расстроился... Пожалуйте в комнаты, а что же здесь...

И, положив руку на мощное плечо Сыромолотова, старик сам открыл перед ним дверь, из которой только что вошел.

Первое, что подумал Алексей Фомич, когда осмотрелся в комнате (это была гостиная), касалось Нади: вот здесь, на диване под белым чехлом, у окошка, сидела она и читала свой учебник истории. Почему-то так именно и представилось — учебник истории; может быть, это было влияние только что прослушанного письма, в котором таилась — что же еще, как не страница истории? От этого чужая гостиная сделалась вдруг знакомой. Но на стене, очень резко освещенной склонявшимся солнцем, сиял в новенькой багетовой рамке его этюд, тот самый, который подарил он Наде для лотереи в пользу ссыльных и заключенных, и автор этого этюда не мог удержаться, чтобы не сказать:

— А-а! Каким же образом? Значит, он не попал в розыгрыш? Или Надя его выиграла?

— Да, да, вот... Именно Надя и оказалась такая счастливая,— с большой серьезностью ответил старик, как будто так оно и вышло на самом деле, и добавил, несколько помолчав: — А я на это личико, признаться, люблю смотреть: молодые годы свои вспоминаю,— поэтому... Не говоря, что ваша кисть,— всякому лестно иметь...

Произведения своей кисти Сыромолотов всегда рассматривал внимательно: они, конечно, говорили ему

больше, чем кому-либо, но то, что его этюд оставлен был Надей у себя (так он подумал), очень согрело его сердце, так что совсем было сорвалось с его языка, что он получил от Нади письмо,— едва удержался, чтобы не сказать.

Было и другое: он пригляделся к старику и подумал, что такой древний тоже ведь мог быть в толпе, идущей за Надей. Не старый интеллигент, а древний, который воспитывал своих внуков на передовых идеях, и как же ему было усидеть дома, когда пошли внуки?

— Присядьте, пожалуйста,— сказал Петр Афанасьевич, показывая ему на диван и сам опускаясь в кресло, ближайшее к дивану.

— Благодарствуйте,— сказал Алексей Фомич, но сел не с краю, а против какой-то круглой тумбочки, покрытой вышитой скатеркой и наполовину скрывавшей его от старика.

На эту тумбочку Дарья Семеновна заботливо перенесла с веранды тарелку с грушами и ушла хлопотать по хозяйству; зато вошли и сели оба студента.

Сели, впрочем, в отдалении — гостиная была обширна, а Сыромолотов вынул свой альбомчик и развернул его так, чтобы половину его прижать к тумбочке коленом, а на другой половине незаметно от старика зарисовать его голову и плечи.

Старик тряс головой однообразно, это не мешало улавливать его черты, а чтобы делать это совершенно для него незаметно, Алексей Фомич рисовал левой рукой, правой же для отвода глаз перекладывая с места на место груши на тарелке.

— Вот сегодня... Ксюша описала, моя племянница... мытарства свои,— обратился Петр Афанасьевич к Сыромолотову.

— Я слыхал — читали вслух это письмо,— отрываясь от альбомчика, отозвался Алексей Фомич.

— Слышали? Ну вот... Вот поэтому я и уснуть не мог.— Покивал и добавил раздумчиво:

— Каково, а? Волки!.. «Волк и Красная Шапочка». И бабушку съел и Красную Шапочку тоже... Это немцы придумали такую сказку, немцы.

— Немцы? — спросил Сыромолотов, желая вызвать нужный ему поворот головы старика.

— А как же?.. Он, волк, бабушкин чепчик надвинул на свои уши, а?.. Под бабушкино одеяло улегся: совсем бабушка, а? Нисколько не волк!.. Мы философией заня-

ты... Шопенгауэр, например, пессимист... «История, говорит, например, что такое история? Так себе — шатание бессмысленное из стороны в сторону... И вообще жизнь,— бессмыслица, чепуха...» Вот мы как к жизни относимся, не ценим ее совсем. Гартман еще у нас есть философ... Уж такого-то пессимиста поискать!.. А оказалось, волк этот такой же подлец, пессимист, как и настоящий лесной. И философия у него одна: гляди направо: там Франция — бабушка,— съешь ее!.. Гляди налево: там Россия — Красная Шапочка,— слопай!

— По-да-вится! — вставил Саша.

— А пока что авиатор французский, Роланд Гарро, дирижабль немецкий сбил,— обратился Геня к Сыромолотову.— Читали?

— Читать-то читал, да подумал: лучше бы гораздо было, если бы сам при этом жив остался,— сказал Сыромолотов.

— Что делать, погиб. Погиб Гарро, а какой авиатор был! Третьим после нашего Нестерова и француза же Пэгу мертвую петлю сделал! А вот о немецких авиаторах мы что-то этого не слыхали.

— Так что же, может быть, это только сердитое бессилие все эти немецкие выходки? — спросил Сыромолотов, перевернув страницу своего альбома, чтобы сделать вторую зарисовку головы Петра Афанасьевича, для чего передвинул тумбочку несколько в сторону и передвинулся на диване сам.

— Не-ет, конечно: цеппелинов таких, как в Германии, не имеют другие страны, а что касается армии...

Так как Геня тут несколько запнулся, то за него договорил Саша:

— Армия у немцев, конечно, первоклассная, да иначе они и не начали бы сами войны. Кто сам начинает, тот надеется победить, а немцы, разумеется, наперед знали, на что они идут, поэтому и пошли.

— Рассчитали! — подхватил старик.— Расчислили!.. Распределили всем роли, кто и когда должен быть разбитым!.. И поди-ка, поди-ка сделай кто-нибудь не по-их-нему,— оби-дят-ся!

Очень язвительно вышло это у старика, так что оба его племянника засмеялись, и Сыромолотов улыбнулся, но старик продолжал оживленно:

— Не о контрибуции уж теперь будет идти речь! Что контрибуция!.. Бисмарк когда назначил в семьдесят первом году контрибуции пять миллиардов — ахнули

французы! Ахнули и говорят: «У нас и мешков не хватит для пяти миллиардов, мешков!..» А Бисмарк, Бисмарк им на это: «Мешки вы можете заказать в Германии, у нас, у нас этот заказ примут и сделают вам мешки в лучшем виде...» Тогда контрибуцией отделались да Эльзас-Лотарингией, а те-пе-ерь, теперь, кажется так, и тело и душу, и тело и душу — вот что,— все давай... Вот почему Ксюша и пишет: «Маски свои сняли...» Встал волк на дыбы и к горлу!

Старик сам себя ухватил за горло правой рукой, и Сыромолотов удивился тому, как энергично это вышло у него, почти девяностолетнего. И мысли его были трезвы, и слова он подбирал без заметных усилий. Старик ему нравился. Он подумал, что фамилия Невредимова, которую тот унаследовал от своих предков, конечно, за то и была дана, что был это кряжистый род, в котором долго не поддавались старости и не хотели расставаться с земной жизнью. Почему-то при этой мысли ему стало радостно за Надю.

— Как же, Петр Афанасьевич, вы все-таки думаете: перегрызет нам горло волк или мы его оглоблей ошарашим? — спросил он, делая последние штрихи в альбомчике.

— Оглоблю-то, оглоблю огромную мы подняли — оглоблю хоть куда,— помолчав немного и глядя не на спросившего, а на свои туфли с какими-то цветочками на носках, проговорил Невредимов.— Множество людей от семей оторвали для этого волка... Да вот беда наша — царишка, царишка у нас плох! Нам бы Петра Великого сейчас, а что же этот?.. Так себе, местоблюститель какой-то!

Сыромолотов бросил взгляд на обоих студентов и заметил, что они уже слышали от своего «деда» насчет «царишки»; они слегка улыбались и смотрели на него вопросительно.

— Что касается Петра Великого, то он, Петр Афанасьевич, нам никогда бы, мне кажется, помешать не мог,— начал он, складывая и пряча свой альбомчик.— А насчет царишки тоже двух мнений быть не может. Но раз у нас имеется Дума (с большой буквы), то с такой поправкой мы уж как будто немного начали на людей походить. Другое дело — генералы!.. «Мертвую петлю» какую-то наш авиатор Нестеров сделал,— обратился он к Гене,— а есть у нас такой генерал, чтобы мертвую петлю на шею Вильгельму накинуть? Есть у нас Суворов

или нет — вот что мне очень хотелось бы знать. Кто командует у нас фронтами?

— Юго-Западным—генерал Иванов, а Северо-Западным — Жилинский,— без запинки ответил Геня.

— Очень хорошо-с, Иванов, Жилинский... Кто же они такие? Какие подвиги за ними числятся? Не знаете?

— Понятия не имею.

— А вы? — обратился Сыромолотов к Саше.

— В японской кампании, кажется, участвовали,— сказал Саша.

— То есть помогали ее проиграть? Почему же они назначены на высшие посты в эту кампанию, если только всего и сделали, что проиграли ту?

Покивав головой, старик отозвался на это:

— Да, вот именно!.. Скобелева отравили в Москве,— не по шерсти, не по шерсти гладил... Против немцев вздумал выступать... А Куропаткина, Куропаткина если бы назначили, этот бы...

— До Урала отступал бы,— договорил за «деда» Саша.

— Вот Скобелева вы вспомнили, Петр Афанасьевич,— оживленно подхватил слова старика Сыромолотов,— и ведь у Скобелева в штабе художник Верещагин был!.. Никому не говорил я, что мне думалось, но раз к случаю пришлось, скажу вам: очень бы мне хотелось посмотреть своими глазами — глазами художника — в пасть этому самому волку, Петр Афанасьевич,— и вот почему я насчет генералов заговорил.

— Штаб Скобелева где был? — спросил вместо «деда» Саша.

— Там же, где были военные действия,— ответил Сыромолотов.

— А штаб генерала Иванова, я слышал, в Киеве,— сказал Саша.— А Жилинского, кажется, в Вильне, откуда до всякой пасти очень далеко.

— А если вам прямо на фронт ехать, то куда же именно? В какой-нибудь полк только, а иначе вы никаких военных действий не увидите,— сказал Геня.

— Гм... военные действия... Их вам лучше всего совсем не видеть,— медленно проговорил старый Невредимов.

— Не видеть? — переспросил Сыромолотов, так как не понял старика.

— Вот именно, не видеть,— повторил тот.— Для чего вам видеть?.. Для картины, что ли?

— Для картины, конечно.

— А что же можно показать на картине? Один какой-нибудь только момент?

— Только момент, да,— согласился Сыромолотов.

— А вой-на-а...

— Я понимаю то, что вы хотите сказать,— перебил Алексей Фомич.— Война такая, как современная, как ее уложить в одну картину? А если... если написать серию картин: десять, например, пятнадцать, двадцать?

Старик кивал головой, точно переживал слабость живописи там, где суждено, быть может, долгие месяцы творить историю десяткам миллионов людей, и, наконец, сказал:

— Десять картин — десять моментов; двадцать картин — двадцать моментов... Может быть, это дело фотографов, а художник... художник тут решительно ни при чем.

VI

У Сыромолотова давно уже составилось свое мнение о публике вернисажей, публике картинных галерей и о публике вообще.

Если на вернисажах рядом с полными невеждами в области искусства появлялись и снобы, если в галереях можно было встретить скромных с виду, но любящих живопись людей, то публика вообще была совершенно далека от живописи.

Старика Невредимова он относил, приглядываясь к нему, к публике вообще, но он был «натурой», а «натуре» позволялось говорить об искусстве что угодно: с «натурой» Сыромолотов обыкновенно никогда не спорил.

Однако рассуждение о том, что «картина — момент», а «момент — дело фотографов», «художник же тут решительно ни при чем», вызвало у него, художника, улыбку, и он не удержался, чтобы не сказать:

— С одной стороны, по-вашему, Петр Афанасьевич, картина — момент, с другой — «момент — дело фотографов», то есть между картиной и фотографией вы ставите знак равенства, а с третьей, художнику даете как будто другое амплуа, чем фотографу... Простите, но я уж заблудился в этих трех соснах.

— Художнику — другое амплуа? — повторил старик и высоко поднял лохматые белые брови. Подержав так брови несколько секунд, он надвинул их на глаза еще

ниже, чем до того, и сказал не то чтобы поучительно, а как будто про себя, поэтому медленно и с паузами:

— Художник... он... должен давать... не то, что всякий... всякий может видеть... также и объектив, конечно... а-а то... что он один только... способен видеть,— вот что.

— Это я понимаю... Точнее, это мог бы сказать скорее я, а не вы,— отозвался Алексей Фомич на слова старика, несколько для него неожиданные, и, разрезав наиболее спелую грушу ножом, приготовился послать кусок ее в рот, но старик остановил его поспешным вопросом:

— Вы грушу видите?

— Грушу?

— Да. Видите... Снаружи и изнутри тоже... А войну?

— Я вас понял, понял, Петр Афанасьевич, понял! — весело теперь уже отозвался на это Сыромолотов.— Но ведь для того, чтобы видеть войну, как способен видеть ее только художник, он, художник, и должен быть на войне.

— Зачем же?

— Как зачем? Чтобы смотреть своими глазами.

— Вблизи?.. Такую войну?.. Разве можно?

Старик покивал головой и добавил:

— А где же дистанция?.. Если я вашу картину... хотя бы вот эту (он кивнул на этюд в рамке) буду разглядывать... как бы сказать, вплотную... Что я увижу?.. А как же на войну вплотную смотреть?

— Я над этим думал,— сказал Сыромолотов, разрешив себе снова заняться грушей.— Конечно, можно делать только зарисовки, этюды картины, а над картиной работать потом. Но главное тут даже не в этом, а в чем-то другом... Например, вы идете по улице ночью, а впереди вас в темноте крик: «Спаси-и-ите!»... И вот вы бежите на помощь.

— А спасете? — очень живо спросил старик.— Или и вас там того... пристукнут?

— Может быть, и пристукнут, конечно. Но все-таки... все-таки это как будто лучше, чем портреты каких-то Кунов писать.

— Кунов? — спросил вдруг Саша.

— Вы что, их знаете? — обратился к нему Сыромолотов.

— Имел удовольствие... Людвиг Кун, инженер, смылся в Германию еще до начала войны...

— А родители его высланы отсюда,— договорил Геня.

— Во-от ка-ак? — очень изумился Алексей Фомич.— То-то я проходил мимо их дома, а там — никого! Как же так?

— Германские подданные... Отсюда порядочно выслано немцев, разве вы не знали?

Сыромолотов смотрел то на Сашу, то на Геню теперь уж не как на «натуру»: они приоткрывали перед ним завесу, и он проговорил приглушенно:

— Вот видите, как!.. Я ведь не один раз бывал у них дома... И портрет Вильгельма на стене у них видел, но не придал этому значения. Они же, стало быть, смотрели на меня... совсем другими глазами, чем я на них...

— Обыкновенные немецкие агенты,— сказал Саша.

— Хотя и помещики и домовладельцы,— дополнил Геня.— На такие аферы они шли у нас.

— А Людвиг Кун каким-то образом даже членом «Союза русского народа» ухитрился быть!

— Значит, я прямо в пасть волчью смотрел? — удивляясь все больше, решил для себя Алексей Фомич.— Смотрел в пасть и этюд волчьего зуба сделал?.. Вот что может случиться иногда с художником!

Он перевел глаза с молодых Невредимовых на старика, и тот, как бы сочувствуя ему, заметил:

— Кунов и я знавал... И думал: «Что же, немцы — немцы как немцы...»

— А между тем эти Куны были уже война!.. Я же и не знал даже, что начал уже писать на тему войны.

После такого открытия Алексей Фомич сидел у Невредимовых недолго; от чая он отказался и пошел прямо к себе домой.

На другой день утром в то же отделение Красного Креста, куда раньше отнес он мюнхенскую золотую медаль, пожертвовал он на раненых и деньги, заработанные им с Куна. Но мимо дома Куна по противоположной стороне улицы прошел потом не один раз, всматриваясь в него теперь гораздо внимательнее, чем прежде.

Этот дом становился в его мозгу совершенно необходимой частью картины: его-то уж ни в каком случае нельзя было заменить никаким другим.

Типично немецкий по архитектуре дом на улице русского города выдвинулся теперь в его представлении значительно ближе к зрителю, для чего улицу нужно было сузить: не улица даже, а переулок, выводящий на широкую улицу, где ждет демонстрантов полиция на конях.

Дом немцев непременно на углу. Большие трехстворчатые окна в нем открыты. Сквозь одно окно виден на стене большой портрет Вильгельма; у другого окна стоят: старый Кун, его сын Людвиг и молодая немка — например, жена Тольберга, другого члена «Союза русского народа».

У всех трех, празднично одетых, довольные лица: канун задуманной в Берлине войны. Во Франции вождь социалистов Жорес высказался в парламенте против кредитов на поездку президента Пуанкаре в Россию, а в России «беспорядки» — забастовки и демонстрации. Есть отчего лицам Кунов и Тольбергов быть довольными!..

Они как будто деталь в картине, но слишком важная деталь. Действие на холсте приурочено к мирному времени, но это уже вступительный шаг в войну. В серии картин о войне именно эту картину мысленно ставил Сыромолотов на первое место.

Теперь уже не было колебаний, писать ли ее, или бросить; теперь она овладела уже всем существом художника.

VII

Письмо Нади лежало у него на столе, и ему самому казалось странным, что он, не имея желания перечитывать его, все-таки не убирал его с глаз и, совсем не собираясь отвечать на него, все-таки не раз вспоминал из него то ту, то другую фразу и про себя как будто принимался даже шутя возражать на них — шутя добродушно, а не зло, как он умел.

Будто какая-то теплота и жизнерадостность излучалась от узенького конверта с неровными строчками на нем. И самого себя он ловил на такой странности: ведь не нуждался он совсем ни в чьей теплоте и жизнерадостности, находя, что этого добра и в нем самом для него лично вполне довольно,— однако почему-то совершенно невзначай узенький конверт вдруг очутится в его широкой мощной руке, и он поглядит на него, прочитает адрес и бережно положит на стол на то же место или другое, более видное.

Незаметно для него самого как-то случилось так, что в этот именно конверт вложилось и то, что он видел и слышал у Невредимовых в доме, и даже те зарисовки, какие он сделал там, они как будто не в его альбомчике были, а тоже там, в конверте Нади.

Старый Невредимов уже нашел свое место на его картине, его уж никак нельзя было отбросить, заменить какою-либо другой фигурой.

Напротив, он как будто замыкал собою длинный ряд поколений русских людей, стремившихся добиться свободы. Маститая голова его особенно ярко выступала из толпы. Она являлась самой счастливой находкой художника, тем более что он знал уже, что именно таилось в этой голове,— для него она не была закрытой книгой.

Оба брата Нади тоже утвердились уже в картине рядом со своим «дедом», но их трудно было сделать более отчетливо и даже едва ли нужно: в толпе и без них неминуемо нужно было дать с десяток подобных молодых лиц; старик же, да еще такой древний, был единственный: он подчеркивал, углублял смысл того, что совершалось.

И когда подмалевок картины был, по мнению Сыромолотова, более-менее закончен, явилось не то чтобы желание показать его не кому-либо другому, а Наде, но что-то именно вроде этого желания.

Не без борьбы поддался он этому желанию, однако поддался. Так как он давно не писал никому писем, то не сразу заставил перо двигаться по бумаге, и мысли навертывались все не те, какие были нужны, и перо делало кляксы.

Наконец, вот что у него написалось:

«Рапортую, Надя: лошадки пока еще в туманной мгле, но люди уже идут (вслед за Вами), а главное, идет и некий дед, который вперил в будущее грозные очи. Но это — между нами: сам он об этом не знает. Снимать кого-то там у себя не трудитесь, не стоит труда, тем более что у меня ведь это — второй план: детали будут все равно мелкие. Один дом приобрел вдруг большой смысл (но этот дом не на той улице, где Вы здесь жили). Вообще дело пошло. Если так же оно будет идти дальше, как теперь, то через месяц, пожалуй... А? Вы, кажется, сказали: «Ого!..» Может быть, может быть, я несколько пересолил, однако мне хочется повторить: через месяц, наверное. Мне ведь что же тут больше делать? Я с книжками под мышками не хожу.

Итак, рапорт окончен. Адрес прежний».

Подписался он так замысловато, как взяло перо, но письмо не доверил Марье Гавриловне — понес его сам и опустил в почтовый ящик не на улице, а на почте, находя, что так оно верней дойдет куда надо.

Когда же возвращался он с почты домой, то встретил обоих братьев Нади. Они были весело настроены, и он понял это, когда Саша сказал ему:

— Завтра уезжаем в Москву, засиделись!

А Геня добавил:

— В такое время, как теперь, в Москве гораздо интереснее, чем здесь.

— Разумеется,— в этом вы вполне правы,— согласился Сыромолотов.— В Москве или, еще лучше, в Петербурге.

— А не читали в газете — в «Русском слове» это было,— Ленин будто бы арестован австрийцами в Кракове и сидит в тюрьме! — обратился вдруг к нему Саша.

— Кто, вы сказали?

— Ленин,— повторил Саша, а Геня, заметив недоумение на лице художника, пояснил:

— Вождь партии большевиков... Эмигрировал из России после девятьсот пятого года.

— А-а, Ленин! Да-а, я о нем имею понятие,— сказал Сыромолотов.— Так арестован, вы говорите, австрийцами?

— Да, и посажен в тюрьму в Кракове.

— Вот как!.. Я читал, что Максим Ковалевский арестован, профессор и вообще... деятель он какой-то.

— Да, и Максим Ковалевский тоже, но это еще и так и сяк,— сказал Геня,— а вот Ленин в австрийской тюрьме,— это гораздо более печально!

— Гм, да, конечно... Ленин, и вдруг...— скажите, пожалуйста! Может быть, затем арестован, чтобы выдать его русским властям? — выразил вдруг осенившую его догадку художник.

— Вот именно,— подхватил Саша.— Ведь это Ленин. Это социал-демократы большевики направляли русскую революцию девятьсот пятого года!

— Ленин?

— А как же! И австрийское правительство это отлично знало, конечно, и он не первый уж год, мне говорили, живет в Кракове, и вот — арестован!.. Ну, до свиданья, Алексей Фомич! Счастливо, как говорится, оставаться!

— Счастливого пути,— совершенно механически сказал Сыромолотов, и они простились.

А когда художник вернулся в свою мастерскую и глядел на «Демонстрацию», он силился как-нибудь представ-

вить себе того, кто руководил ни больше не меньше как революцией в России девять лет назад, и не мог, конечно. Он очень мало слышал о Ленине и никогда не видал, разумеется, его портрета.

Но зато картина «Демонстрация» осветилась для него, художника, новым светом, кроме обычного, солнечного, свойственного летнему южному дню. Как будто где-то вдали, за рамкой картины, стоял этот направляющий, руководящий — вождь революционных сил, и от него исходил этот другой свет, отражающийся на лицах, охваченных экстазом.

Он приоткрыл завесу в будущее, и свет хлынул именно оттуда, из-за этой завесы, из будущего, которое ему, Ленину, почему-то представлялось вполне ясным...

Но вот началась мировая война и сам он, вождь армии революционеров, вдруг оказался в австрийской тюрьме. Вопрос — что важнее, революция или война,— как будто решался в пользу войны... Однако Сыромолотову изо всех сил не хотелось допустить такого решения. Он был упрям, это с одной стороны, а с другой — он был теперь одержим своей новой картиной, которая очень тесно связывалась в его сознании с Надей Невредимовой.

Может быть, Сыромолотова не без основания считали черствым человеком, но он всегда питал кое-какую нежность к «натуре», кто бы она ни была. А Надя была не только «натурой» — она как бы подарила ему всю картину, которую он считал все более и более значительной, чем больше был ею занят.

Выходило как-то так, что Надя в нем самом стала неотделимой от картины, но ведь это она убежденно, по-молодому сказала ему, что революция важнее войны, то есть даже важнее всяких вообще войн, если только она удастся, даст прочные результаты, не выродится, как великая французская, в наполеонаду.

Теперь, думая у себя в мастерской о Наде, он представил, что она, подобно ее братьям, тоже знает из газет, что австрийцами посажен в краковскую тюрьму Ленин, и беспокоится о нем, быть может, гораздо больше, чем ее братья.

Ему самому странно было себе в этом признаться, но судьба Ленина, о котором он до этого дня почти совершенно ничего не знал, вдруг начала его беспокоить: может быть, и в самом деле такого видного русского рево-

люционера австрийцы будут держать в тюрьме до конца войны, чтобы выменять на него кого-нибудь из своих военнопленных?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЛК ПОД ОГНЕМ

I

Сыромолотов видал как-то раза три-четыре командира расквартированного в городе до войны пехотного полка и знал даже фамилию этого полковника — Черепанов. Особенно обращала на себя внимание художника привольно отросшая, черная с проседью, гордая борода Черепанова, человека вообще видного и по росту и по осанке.

Теперь Черепанов со своим полком, еще не успевшим вобрать в свои ряды две с лишним тысячи человек запасных солдат и офицеров, числился в 8-й армии на Юго-Западном фронте. Спешно эшелонами прибыл полк в Проскуровский уезд Подольской губернии.

Он входил в 7-й корпус, которым командовал генерал Экк, и 5 августа двинулся вместе с другими полками своей дивизии в Галицию.

Если бы Сыромолотов в тот день, когда был в доме Невредимовых и говорил там о своем желании поехать на фронт, попал каким-нибудь чудесным образом в полк Черепанова, он застал бы его на походе от Волочиска и пограничной реки Збруч по направлению на галицийский городок Подгайцы.

Это было величественно, потому что казалось бесконечным.

По прекрасному широкому галицийскому шоссе, очень часто уставленному с боков разными указателями на пестрых столбах, шло, и шло, и шло войско, полк за полком,— пехота, кавалерия, артиллерия, обозы, полевые кухни, госпитали, гурты скота, предназначенного для довольствия частей.

Летчикам с самолетов было видно много подобных шоссейных дорог на протяжении от Каменец-Подольска до Владимира-Волынского, и все эти дороги, ведущие в глубь Галиции, полны были войск 8-й и 3-й русских армий, двинутых, чтобы занять древние Галич и Львов.

Шли сотни тысяч людей, гремели по камням шоссе колеса тысяч орудий, цокали копыта красивых, тщательно подобранных под масть коней регулярных конных полков.

Но и севернее Владимира-Волынского точно так же, только по русским, волынским дорогам, навстречу наступавшим австро-германским армиям двигались корпуса 5-й и 4-й армий, чтобы, опрокинув их, пробиться к австрийским крепостям — Перемышлю и Кракову, к столицам — Вене и Будапешту.

А еще севернее — от Варшавы и Осовца, от Гродно и Ковно на Восточную Пруссию начали наступать 2-я и 1-я армии — другие сотни тысяч солдат, другие сотни орудий,— чтобы отозваться на крик сердца Франции: полтора миллиона немцев нацелились на Париж, пройдя Бельгию, смяв и отбросив французские войска в сражениях на северной границе.

«На Берлин!» — кричала каждая телеграмма от Пуанкаре, от Жоффра, направляемая в ставку верховного главнокомандующего в город Барановичи.— «Не медля ни часу, вы должны идти на Берлин, чтобы спасти Париж!»

Уже и то, что из шести русских армий только две (всего только третья часть!) были направлены против Германии, возмущало и пугало французов. Подсказы, советы, просьбы, требования наконец, чтобы Австрию пока оставили в покое, а большую часть сил — все силы бросить против Германии, летели из Франции непрерывной стаей.

«Что Австрия! Пустяки Австрия! Стоит ли обращать внимание на Австрию!» — таков был смысл каждой телеграммы, и это в то время, когда Австро-Венгрия сосредоточила против России четыре огромных армии и несколько отдельных групп и корпусов, между которыми были и германские.

Несколько более скрытый смысл призывов из Парижа сводился к одному: «Каковы бы ни были для вас последствия, но вы должны немедленно нас спасти, иначе зачем же мы дали вам взаймы под приличные проценты двадцать миллиардов франков?»

Телеграммы эти нервировали ставку; ставка дергала главнокомандующих Юго-Западным и Северо-Западным фронтами — генералов Иванова и Жилинского; Иванов и Жилинский в свою очередь дергали командующих армиями: первый — генералов Брусилова и Руз-

ского, Плеве и Зальца; второй — генералов Самсонова и Ренненкампфа.

По существу ни одна из русских армий не была как следует готова для наступательных действий: не отмобилизована, не снабжена всем необходимым,— этому помешали громадные пространства России и слабая сеть железных дорог. Но время не ждало, готовые к войне срединные империи спешили покончить со своими противниками на западе и востоке до осеннего листопада, значит, нельзя было и говорить о своих недостатках.

Пропускная способность всех путей сообщения была повышена до предела как в Германии и Австро-Венгрии, так во Франции и в России. Натуженно пыхтели локомотивы, гремели дороги. По Черному морю из портов Кавказа в Одессу шли пароходы с войсками, которые уже числились в 8-й армии Брусилова, но не успели еще вступить в строй и должны были догнать другие корпуса уже в Галиции.

В то же время 6-я армия формировалась в окрестностях столицы, 7-я — в Одессе, 9-я — в Варшаве.

Россия расшевелилась. Великое множество людей, и молодых и бородатых, призывалось, отправлялось, получало сапоги и шинели, пояса с подсумками и винтовки и зачислялось на довольствие в роты и команды.

Спешили... Всем казалось, что вот-вот, в ближайшие недели произойдет какая-то великая — величайшая в истории — битва народов, наподобие Куликовской, или Бородинской, или Лейпцигской, и эта битва одна решит войну, так как будет небывало ожесточенной и ясно покажет всем, кто силен, кто слаб, так что дипломатам останется только договориться об условиях мира.

II

Пограничные полосы как России, так и Австрии не укреплялись перед войною. На значительную глубину внутрь каждой страны могли проникать и действительно проникали не только кавалерийские, даже и пехотные части. Армии развертывались пока еще неумело и мешкотно для встречи наступающих в свою очередь армий противника. Первые бои поэтому только и могли быть встречными боями авангардных отрядов.

Полк Черепанова шел обыкновенным походным порядком, как на маневрах. Он был третьим полком дивизии. Ему указано было направление, и Черепанов счи-

тался вполне надежным командиром, чтобы вести в этом направлении свой полк.

В его аттестации было сказано, что он «труды походной жизни переносить может, в деле не потеряется, держится в седле хорошо». Он и действительно весьма неплохо для пехотинца ездил верхом и даже требовал от всех офицеров полка в мирное время уменья держаться в седле.

И вот теперь, в походе, уже третий день, в сопровождении полкового адъютанта поручика Мирного и трех конных ординарцев, он ехал впереди полка. Быть во время движений навстречу неприятелю где-либо в середине колонн, а тем более сзади он считал совершенно постыдным.

Во время русско-японской войны его полк оставался в России на случай возможных «беспорядков», и когда «беспорядки» вспыхнули действительно осенью 1905 года, полк Черепанова двинули к Севастополю, где подняли восстание матросы, и он недели три простоял близ станции «Мекензиевы горы», блокируя Севастополь.

Но вот Галиция. Пограничная река Збруч осталась позади. Во всем кругом чувствуется чужое, притом настороженное, угрожающее чужое, хотя поля и сады кажутся гораздо лучше обработанными, чем в Подольской губернии, очень частые большие кресты на дорогах и часовни-каплицы; сельские избы опрятны, крыты где соломой, где и черепицей, и название им «халупы»; церквей больше.

Разгар лета, жара и пыль.

Издалека местные жители могли безошибочно определить, что движутся по их дорогам большие отряды русских войск, потому что высоко поднимались над грунтовыми дорогами облака пыли.

Пыль эта лезла в глаза, в нос, в гортань каждому солдату и офицеру наступающей армии. Первое, что выставила Галиция на свою защиту, была эта густая пыль.

Поручик Мирный, ростом не уступавший высокому полковнику Черепанову и куривший папиросы из точь-в-точь такого же светло-янтарного мундштука, как у Черепанова, был по молодости лет у́же в плечах, чем полковник, но держался столь же начальственно с ротными командирами, так как сам ежедневно составлял приказы по полку и ведал всеми нарядами по походной службе.

Белесые, слабо росшие усы его не могли внушить к нему уважения среди офицеров полка, но зато серые вы-

сокомерные глаза часто смотрели на всех так презрительно, что ему обычно не возражали, даже когда тон его был резок. Он был признанным знатоком всех военных уставов и первым кандидатом в начальники учебной команды.

Полковник Черепанов вполне был убежден в том, что лучшего адъютанта полк вообще иметь не может, а Черепанов был ревностный хозяин полка, хорошо, как ему казалось, знавший не только фельдфебелей, но и всех унтер-офицеров своих, не говоря об офицерах.

У него были мохнатые черные брови и пристальные глаза. Никогда и ни с кем в полку не допускал он шутливого тона; когда был кем-нибудь недоволен, намеренно говорил в нос; когда командовал, показывал, какой у него раскатистый, внушительный голос. Очень точно знал о себе, что после первого же удачного дела будет представлен в командиры не отдельной бригады и, разумеется, получит назначение с производством в генерал-майоры; поэтому не только ждал с часу на час начала этого дела, но в успехе его ни на минуту не сомневался.

Так как из штаба дивизии сообщили еще с вечера, что «замечены воздушной разведкой авангардные отряды австрийцев на пути следования полка», причем, однако, не было сказано точно, где эти авангарды, то Черепанов приказал выслать вперед взвод команды разведчиков с поручиком Самородовым во главе.

Разведчики ушли еще затемно, а теперь когда шел полк, было уже часов семь утра. От Самородова уже пришло донесение, что неприятель обнаружен не был. Черепанов обратил вопросительный взгляд на своего адъютанта, и тот сказал веско:

— Значит, одно из двух: или авангарды австрийские еще далеко, или они отступили. Ничего третьего тут быть не может.

— Вернее всего, что отступили ночью,— выбрал Черепанов то, что нравилось ему больше.— Что еще им и остается, как не отступать?

Он привык уже думать, что полк — большая сила, и теперь, оглянувшись назад и в обе стороны, где двигались его роты, почувствовал это осязательнее, чем когда-либо раньше.

Даже местность впереди приобрела после этого какой-то, на его взгляд, новый, прихорошенный, ласковый вид.

Поля были сжаты. Жнитво однообразно золотело. Хлеба на полях уже не было ни в крестцах, ни в копнах,— он был весь начисто вывезен, и это тоже нравилось хозяйственному полковнику, как и то, что мощно и на широких площадях сидела кукуруза.

Местность была неровная, холмистая, с поднятым горизонтом, с частыми усадьбами, окруженными садами, что придавало ей живописный вид. Но жителей попадалось мало: очень как-то быстро они успели выехать или их вывезли по приказу властей.

Однако даже и это, что жителей оставалось мало, было приятно Черепанову так же, как и его адъютанту: был получен строжайший приказ следить за тем, «чтобы воинские части не становились во враждебные отношения к населению Галиции». Этот приказ, конечно, был объявлен во всех ротах и командах, но трудно было надеяться на то, что он станет безукоризненно выполняться и что не будет жалоб, особенно на солдат. Чем меньше было жителей, тем, стало быть, меньше можно было ожидать и жалоб. Наконец, и внешний облик старых русин, с широкими соломенными брилями на сивых головах, был тот же, что и у подолян-украинцев, и с ними Черепанов говорил, как со своими, а управляющие польских панов, сидевшие в усадьбах, откуда уехали владельцы, держались приниженно-вежливо и всячески силились выказать свою готовность пожертвовать небольшим, чтобы сберечь доверенное им все.

III

Если бы Сыромолотов неудержимо захотел увидеть знакомый ему полк под первым огнем со стороны противника и, преодолев все препятствия, был бы допущен для этого в штаб полка, он увидел бы очень мало, однако, как всякий художник, это малое он не мог бы не счесть большим.

Прежде всего он стал бы искать пристальными глазами так называемые «поля сражения» и не нашел бы их, а сражение между тем шло, как и должно было идти: австрийские и русские пушки вели разговор, сотрясающий землю.

Ни одного человека не было видно между укрепленными позициями австро-венгерцев и наскоро вырытыми окопами полка Черепанова, не видно было и позиций противника,— пейзаж не потерпел как будто никаких из-

менений, хотя трудились над этим тысячи людей; вправо зеленела раскидистая роща, близко к ее опушке искрасна желтели черепичные крыши и белели стены нескольких зданий, тоже в зелени, и это место на карте носило название «господский двор»; от господского двора извилисто шла к горизонту, теряясь между холмов, белесая дорога; эта дорога вбирала в себя, как одна речка другую, еще дорогу, идущую слева, со стороны целой дюжины мелких домишек, носивших на карте название «фольварки»; около этих фольварков правильными четырехугольниками разбросаны были огороды, а несколько дальше их влево взмахнула неподвижными теперь крыльями мельница.

Сыромолотов, стоя в укрытии рядом с Черепановым и его адъютантом, водил бы вправо и влево взятым у них биноклем и, наконец, сказал бы, улучив момент относительной тишины:

— Не понимаю, откуда же стреляют австрийские пушки?

На это Черепанов не отозвался бы, а поручик Мирный, выждав другой момент, ответил бы вздернуто:

— Что же тут не понимать?.. Тяжелые бьют из-за фольварков, а легкие — из рощи за господским двором,— от нас близко.

Сыромолотов прикинул бы на глаз расстояние до господского двора и до фольварков, убедился бы в том, что роща гораздо ближе фольварков, и спросил бы, быть может:

— Чьи же тяжелые пушки стреляют чаще — наши или австрийские?

На этот вопрос поручик Мирный ответил бы свысока, как он привык говорить со всеми вообще штатскими:

— У нас только легкая артиллерия, тяжелых орудий нет.

Сыромолотов поглядел бы на него недоумевающим взглядом, и, не пытаясь рассмотреть что-нибудь еще, не замеченное им на поле, передал бы ему обратно бинокль.

Это напомнило бы ему, как его сын Иван, тоже художник, но вместе с тем и цирковой борец, рассказывал ему о своей борьбе с знаменитым чемпионом мира Абергом, причем первая встреча на ковре осталась без результата, а во второй и третьей победил Аберг, и тогда он, отец, закричал, как будто сын оскорбил его самого своею слабостью перед немецким борцом: «Так какого же черта ты совался бороться с этим Абергом? Зачем

совался, если заранее знал, что он тебя сильнее, хотел бы я знать?..»

Сыромолотов знал, что тяжелые орудия бьют гораздо дальше легких и способны произвести гораздо бóльшие разрушения, и вот они имелись у австрийцев, которые защищались, но их почему-то не имели русские полки, которые наступали с целью разгромить противника.

Но тяжелые орудия с русской стороны не действовали и на других участках обширного фронта, хотя их положено было иметь в каждом русском корпусе столько же, сколько в австрийском, а легких пушек было гораздо больше, чем у австрийцев, и артиллеристы гораздо лучше, чем австрийские, были обучены стрельбе: тяжелые пушки и гаубицы просто не успели еще доставить на линию фронта.

Неожиданным показалось бы Сыромолотову, что на наблюдательном пункте командира полка сидел в углу, прямо на земле, по-татарски поджав ноги, молодой еще совсем, только что выпущенный из юнкерского училища подпоручик, лупоглазый, краснощекий, очень серьезного вида, по фамилии Плотицын, а перед ним был аппарат полевого телефона и в его распоряжении находился связной, ефрейтор Дзюбенко, тоже склонившийся над аппаратом, сидя на корточках. Фигура у него добротная, фуражка с заломом на правый бок; лоб широкий, очень загорелый, потный; густые черные брови подняты напряженно.

Если бы Сыромолотов спросил о них, чем они заняты, поручик Мирный ответил бы, что они держат связь с батареей, с командирами батальонов, со штабом начальника дивизии... Сыромолотов сказал бы про себя: «Вон они какие!» — и присмотрелся бы к ним с бóльшим вниманием.

Но в том, что произошло бы перед его глазами спустя не более полчаса, он ничего бы не понял и не привел бы в ясность, необходимую для художника,— однако это неясно было довольно долгое время и для полковника Черепанова и даже для самого поручика Мирного, его адъютанта.

IV

Связь действовала исправно, и начальник дивизии, генерал-лейтенант Горбацкий, найдя почему-то ровно в десять часов утра артиллерийскую подготовку вполне законченной, передал по телефону, что полк Черепанова

должен «атаковать противника на своем участке и выбить его из занимаемых им позиций».

Правда, в это время господский дом уже пылко горел, зажженный русскими снарядами; легкие батареи австрийцев не то что были вполне приведены в молчание, но отвечали слабо: несколько орудий там было явно подбито, так как недостатка снарядов быть не могло; в рощу падало много снарядов, и она даже и не в бинокль казалась теперь поредевшей, обитой; и все-таки трудно было заранее решить, как будет вести себя противник.

Не было заметно, чтобы он оставил свои окопы,— значит, он так же не был сбит русским артиллерийским огнем, как и русские солдаты огнем австрийцев, несмотря на свои потери.

Но приказ начальника дивизии должен был быть выполнен, и первый батальон полка начал атаку.

Это был уже не тот батальон, который двигался по пыльным дорогам сперва в Подолии, потом, перейдя Збруч, в Галиции: он стал меньше, усох за эти два часа артиллерийского боя, от которого заложило уши полковнику Черепанову и грохот стоял в голове. Хотя он переживал первый настоящий — не на маневрах — бой за всю свою жизнь, до этого никому не было дела: он должен был, как командир полка, забыть о себе и видеть, а если не видеть, то чувствовать весь свой полк и направлять все его движения.

Конечно, Черепанов был привычный, потому что давний уже хозяин полка, который обыкновенно ежегодно осенью убывал на несколько сот человек, уходивших в запас, и прибывал на столько же новобранцев. Эти приливы и отливы были регулярны, неизбежны, законны, как в открытых морях или на берегах океанов.

Случалось, что умирал от болезни тот или иной офицер, и его было жаль, но место умершего тут же замещал кто-либо равный в чине из своих или прикомандированных, и жизнь полка текла без перебоев: была потеря человека, но не было убыли в офицерском составе.

Когда же тут, перед позицией противника, которого надо сейчас выбить, Черепанов в своем наскоро вырытом и плохо прикрытом блиндаже узнал, что убит осколком снаряда командир первой роты, капитан Жудин — молодчина, силач, огромный и бравый, державший свою роту, красу полка, в крепких руках,— он крякнул, вобрал голову в плечи и сделал гримасу боли.

Это была уже потеря большая, невозвратимая и когда же? Перед самой рукопашной, когда должен показать себя полк!.. Кто же теперь поведет первую роту, то есть в сущности весь батальон в атаку? Поручик Середа-Сорокин? — неплохой офицер, однако куда же ему до Жудина... Охотник за зайцами, но каков будет против австрийцев,— вопрос.

Вслед за первой плохой вестью пришла в его блиндаж вторая: тяжело ранен в голову командир четвертой роты, штабс-капитан Венцславович, тот, который стрелял без промаха и выбил первый приз на офицерской стрельбе из винтовки при штабе дивизии! И, кроме того, там, в четвертой, снаряд вывел из строя до двадцати человек сразу, вместе с фельдфебелем Гришиным, тоже прекрасным стрелком.

Потери оказались и в других батальонах — первые потери за всю его службу, потери невозместимые и как раз тогда, когда нужна именно вся сила полка! От этого и сам он, Черепанов, стал как будто меньше ростом в собственном представлении, усох, обессилел.

Он обратился было взглядом за помощью к своему адъютанту, но поручик Мирный влип глазами туда, где поднимались в атаку роты первого батальона. Черепанов вспоминал отчетливо, что до окопов противника бежать цепям батальона не меньше двухсот шагов, и похолодел, услышав частую, сразу начавшуюся строчку австрийских пулеметов...

В бинокль было видно, как метнулся было за цепочкой своих солдат длинный и тонкий, с гусачьей шеей, Середа-Сорокин и вдруг взмахнул зачем-то рукой, перевернулся на месте и упал; через два-три момента, не успев сделать и десяти шагов в сторону противника, стали падать там и здесь, наконец повалились все поднятые было в атаку.

— Что это, а?.. Что это? — оторопело крикнул Черепанов Мирному.

— Пулеметы! — крикнул Мирный.

— Убиты? — крикнул Черепанов.

— Залегли! — крикнул Мирный.

— Залегли? — самого себя спросил недоверчиво Черепанов и снова: — Залегли? — уже с оттенком надежды, что действительно залегли, а совсем не убиты, и то, что многие как будто подпрыгивают на земле, он тут же объяснил свойственным каждому человеку желанием

устроиться за кочкой или за камнем, так, чтобы не быть заметным, чтобы пули летели выше головы...

— Окапываются, что ли? — спросил он Мирного, повысив голос, но Мирный ничего не ответил,— может быть, сделал вид, что не расслышал.

Но вот он оторвался от бинокля,— он услышал, как пули стучат в передние бревна их блиндажа... Он закричал во весь голос:

— А что же молчат наши батареи?!

— Передать на батареи, чтобы огонь! — закричал и Черепанов в сторону связистов.

— В штаб начальника дивизии! — поправил его адъютант.

— Начальнику дивизии! — поправился Черепанов.

Подпоручик Плотицын, который поднялся было, чтобы из-за спины адъютанта посмотреть, как идет атака, кинулся к аппарату и мгновенно сел снова, поджав ноги.

V

Полк Черепанова был третьим полком дивизии генерал-лейтенанта Горбацкого, и перед войной офицеры и солдаты в нем носили фуражки с белыми околышами, тогда как в первом полку — с красными, во втором — с синими, в четвертом — с черными. Перед смотрами, бывало, в роты отпускался мел, чтобы «подрепертить» околыши, которые были очень марки.

Исполняя приказ командира корпуса, генерала Экка, Горбацкий еще с раннего утра направил шесть батальонов своей первой бригады в охват левого фланга австрийцев и от этого маневра, а совсем не от лобовой атаки третьего полка, ожидал решительных результатов, поэтому новый артиллерийский огонь был открыт им не сразу, что выводило из себя Черепанова, и он кричал Мирному:

— Что же это, а? Ведь расстреливают людей!.. На выбор бьют!.. Не перебит ли провод!

— Поручик Плотицын! В штаб дивизии! — кричал Мирный.

Батареи заговорили снова, в бинокль видно было, что снаряды ложились по линии австрийских окопов, однако несколько минут еще пулеметы оттуда строчили попрежнему, а пули бойко, как град, стучали в накатник блиндажа, ненадежный, наскоро уложенный и слабо присыпанный землей, почему высокий Черепанов, как и его

адъютант, пригнулся, насколько мог, не выпуская, впрочем, из рук бинокля.

Командиром первого батальона был подполковник Мышастов — сильно седой и в очках. Человек тоже длинный, он имел нестроевую привычку горбиться, нежно любил свое небольшое семейство и бильярд в офицерском собрании, но Черепанов, как ни силился, не мог представить его теперь там, с ротами своего батальона. На смотрах Мышастов никогда его не подводил — у него в ротах все было в образцовом порядке, а как он сам теперь, сам-то он как? Ведь он в первый раз в бою за всю свою службу!..

Вскакивает вдруг подпоручик Плотицын и к нему, Черепанову,— с рукой у козырька, с подброшенными бровями:

— Начальник дивизии приказал — второй и третий батальоны в атаку, господин полковник!

— Передать командирам батальонов! — зычно кричит Черепанов и зачем-то кладет при этом правую руку на кобуру револьвера, точно готовясь и сам покинуть блиндаж, раз бóльшая часть полка идет в атаку.

Во втором батальоне (его как-то сразу весь представил Черепанов, будто он стоит на лагерном плацу со своим командиром, подполковником Диковым, впереди) больше порядка, чем в третьем, но почему-то кажется Черепанову, что третий батальон, где командиром подполковник Кубарев, отличится в этот день.

Лысый, крутощекий Кубарев, у которого даже бородка имеет запьянцовский вид, всегда бывал хорош во время торжественных обедов в офицерском собрании, когда нужно было говорить тосты и вообще подогревать чувства, и он на «ты» с любым подпоручиком, но почему-то в его батальоне народ казался всегда Черепанову куда более лихим, чем у Дикова, хотя сам Диков — фуражка на затылке, красное лицо с ястребиным носом вздернуто, голос резкий,— и имел очень воинственный вид.

— А почему же не сразу, а? — вдруг обратился к Мирному Черепанов.

— Что «не сразу»? — не понял Мирный.

— Ну «что» — все три батальона... с самого начала... а только один первый?

— Думал — хватит одного,— объяснил адъютант, а Черепанов кивнул бородой кверху и сказал с расстановкой:

— Индюк тоже... думал-думал... взял да издох.

Сам же он в это время усиленно думал, идти ли ему тоже из блиндажа вместе с ближайшим к нему вторым батальоном, или остаться; спросить об этом своего адъютанта он не решался, а прямого приказа об этом пока не получал.

Он мог бы спросить самого начальника дивизии, где ему быть, раз атаку будет вести весь полк, но счел неудобным спрашивать о том, что предполагалось известным ему самому, как командиру отдельной части.

Да и некогда уж было спрашивать: дальше все пошло гораздо быстрее, чем он представлял.

Первый полк и два батальона второго обошли левый фланг австрийских позиций; Черепанов не знал об этом и своему третьему батальону, который вел на окопы противника неосновательный Кубарев, приписал успех этого первого в своей жизни боя.

Когда в розоватом дыму от австрийских снарядов, делавшем все впереди фантастичным, бежали, вопя «ура», тысячи человек его полка, старый, долгобородый полковник не мог уже устоять в своем блиндаже: он выскочил наружу, несмотря на трескотню пулеметов и винтовок.

Все-таки он подлинный хозяин полка, этого отнять у него никто бы не мог, как никто бы не мог убедить его в тот момент, что не он, стоя сзади, ведет в бой свои батальоны. Подняв правый кулак и весь напрягаясь до красноты шеи, он тоже кричал «ура»,— он не отделял себя от своих солдат и офицеров, не замечая даже, как многие падали, следил только за тем, как сокращалось расстояние между его людьми и линией австрийских окопов, и вот тогда-то он заметил успех третьего батальона.

И когда рядом с ним вытянулся длинный и тонкий поручик Мирный, только что вышедший из блиндажа, он крикнул ему радостно:

— Каков Кубарев, а! Посмотрите!

На это Мирный отрапортовал, подняв к козырьку руку:

— Господин полковник, получена телефонограмма: подполковник Кубарев убит.

Черепанов вздернул мохнатые брови, вздернул плечи и непроизвольно перекрестился мелким крестом.

Встречный бой двух авангардных отрядов закончился победой дивизии генерала Горбацкого, но маневр его не мог, разумеется, застичь врасплох австрийцев: они отступили, очень искусно прикрываясь рощей, фольварками и складками местности за ними. Хорошо помог им и висев-

ший длинным полотнищем густой белый дым от разрывов русских снарядов. Впереди шли их батареи, за ними пехота форсированным маршем.

Горбацкий не отдал приказа преследовать отступающих; он решил, что его дивизия заслужила отдых, взяв позиции противника и около четырехсот пленных, из которых большинство были чехи.

Он приехал сам осмотреть позиции, которые занял.

Это был толстый, внушительного вида старик, давно уже привыкший в себе не сомневаться, но зато сомневаться во всех своих подчиненных, почему и смотреть на них не иначе как исподлобья, говорить с ними нарочито сиплым голосом и даже когда приходилось «благодарить за службу», то выкрикивать это с такой наигранной интонацией, как будто за благодарностью непременно должно было последовать весьма многозначительное «но».

Таким генерала Горбацкого уже несколько лет знал Черепанов, таким увидел его тут же после боя: ведь генерал был во время боя далеко в своем штабе и приехал на лимузине, что же в нем могло измениться?

Верхние веки его казались тяжелыми от двух черных бородавок на них, щели глаз узки еще и от зыбких мешков под глазами: в прозор между двух лопастей серой, как волчья шерсть, бороды мерцал орден.

Черепанов, делая твердые широкие шаги, подошел к нему с рапортом:

— Ваше превосходительство, вверенным мне полком противостоявшие позиции неприятеля взяты!

Ему казалось даже, что и этого не следовало говорить, лишнее, ведь генерал знал это, но Горбацкий, не опуская жирных пальцев, поднятых к правой брови, буркнул:

— А потери?

— Потери, ваше превосходительство, еще не приведены полностью в известность.

— Э-э, «не приведены»!.. Значит, и сосчитать трудно, а?.. Подадите потом письменный рапорт по форме.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Здравствуйте! — Протянул руку, приподнял веки с бородавками и добавил невыразительно: — Поздравляю.

Только услышав это последнее слово, Черепанов просиял, наконец, утвердившись в мысли, что вместе с его письменным рапортом будет послано по начальству представление его в командиры не отдельной бригады.

Горбацкий пробыл недолго,— он поехал в первую бригаду свою, предоставив Черепанову время для подсчета потерь, и тот мог, наконец, со всей очевидностью для себя, гораздо раньше, чем для начальства, уяснить, что осталось от его первого батальона.

Первая рота потеряла половину людей — сто двадцать два человека,— вторая тоже свыше ста человек, третья и четвертая несколько меньше, а всего один только батальон потерял больше, чем весь полк взял пленных. В других батальонах вышло из строя если и не так много людей, как в первом, однако их хватило бы на целую роту военного состава.

Черепанов не был жаден по натуре, но если бы вот теперь кто-нибудь сказал ему, что завтра же он получит бригаду, он прежде всего спросил бы: «Полную?» — и встревоженно ожидал бы ответа.

Подполковник Мышастов обрадовал его уже тем, что уцелел. Черепанов никогда раньше не был к нему сердечно расположен, но теперь, увидев его, едва удержался, чтобы не обнять.

Вид у сутулого Мышастова был все еще несколько оторопелый, и что-то дергалось сбоку левого глаза под стеклом его очков, когда он говорил Черепанову:

— Должно быть, жена умолила... Она у меня богомольная...

Тужурка и шаровары его были в подсыхающей грязи, и, когда на это обратил внимание Черепанов, он объяснил:

— Попалась такая канавка удобная: как в нее упал, так и влип во что-то, а пули над головой все время свистели...

И даже спросил удачливый Мышастов:

— А почему же все-таки не преследуем мы австрийцев?

— Не получили приказания,— и потому, вероятно, что можем наткнуться на превосходные силы,— не сразу ответил Черепанов, внимательно посмотрев в ту сторону, куда ушел противник, теперь уже скрывшийся.— Наконец, ведь и похоронить убитых надо, а?

И Мышастов тут же согласился:

— Так точно, это необходимо.

Он знал, что в случае производства Черепанова в генерал-майоры и откомандирования от полка командующим полком должен быть назначен он, как старший из

батальонных по производству в подполковники, и добавил почтительно:

— Прикажете, господин полковник, братские могилы рыть?

— А как же иначе? Ведь мы на своем участке должны, я думаю, и убитых австрийцев захоронить, а то кто же это будет делать?

Черепанов поглядел при этом на двух убитых рядовых, лежавших рядом в двух шагах от него, потом вопросительно на Мышастова и добавил нерешительно:

— Хотя распоряжения начальника дивизии об этом не было никакого, и когда он приедет, я к нему обращусь.

VI

Санитары то здесь, то там наклонялись над тяжело раненными, переворачивали их, поднимали, укладывали на носилки, или на распяленные шинели, или на свои скрещенные руки и уносили на перевязочный пункт, где шла беспрерывная суровая, жестокая даже на первый взгляд работа полковых врачей и фельдшеров над изувеченными человеческими телами.

Окровавленные спереди белые халаты, засученные рукава, потные лбы, утомленные лица старшего врача Худолея, двух младших — Акинфиева и Невредимова и классного фельдшера, имеющего чин губернского секретаря, Грабовского; кучи ваты и бинтов, пропитанных свежей кровью; запах йода, ксероформа, грязных портянок плотно висел в комнате, освобожденной от лишних вещей, в квартире управляющего имением бежавшего в Вену помещика. Предполагалось, что этого помещения будет достаточно для перевязочного пункта, но оно оказалось очень тесным: так много несли и несли сюда тяжело раненных.

Здесь не делали, конечно, операций,— только перевязка перед отправкой раненых в госпитали и лазареты. И молодой земский врач Василий Васильевич Невредимов попал в полк Черепанова не случайно: он был на учете в Крыму, а Худолей знал его еще гимназистом, так как хорошо был знаком со всей семьей старика Невредимова.

Человек очень мягкий и добрый по натуре, Худолей, хотя смолоду стал врачом, был весьма слаб в сложном искусстве перевязки тяжелых ран; более молодой врач Акинфиев, не крепкий физически, быстро устающий, так

же мало был знаком с этим делом, как и его непосредственный начальник; и только Невредимов, специальностью которого как раз и была хирургия, выручал их обоих, приходя то к одному, то к другому на помощь.

Высокий ростом и с высокой головой, привычно прямой, но вынужденный низко сгибаться над носилками, крупнопалый и с широкими кистями рук, двадцатичетырехлетний Василий Невредимов, не имеющий еще, конечно, достаточной практики в обращении с ужасными ранами, не имел времени и на то, чтобы задумываться над их разнообразием. Ему нужно было быстро найтись в каждом отдельном случае, чтобы сразу и без поправок решать, что и как необходимо сделать самому, что и как сказать обращавшимся к нему старшим товарищам — терапевтам, отнюдь не задевая их самолюбия и в то же время тоном опытного хирурга, чтобы его замечания имели вес.

Христоподобный Иван Васильевич Худолей, «святой доктор», как его звали в Симферополе, очень удрученный, в силу своего таланта жалости, видом человеческих страданий и способный под их напором даже потерять самообладание, укреплялся, взглядывая на своего младшего врача, оказавшегося таким умелым, уравновешенным; Акинфиев же, у которого так потели стекла пенсне, что он вынужден был часто протирать их куском бинта, тем более чувствовал свою малую полезность по сравнению с только недавно появившимся в полку молодым врачом.

И хотя всем вообще классным фельдшерам в полках свойственно было думать, что практически они знают медицину не хуже, если даже не лучше, врачей, все-таки и Грабовский, самоуверенный человек средних лет, средней упитанности, носивший среднего размера тщательно закрученные рыжие усы, внимательно присматривался к тому, как работал врач Невредимов.

А молодой врач Невредимов, который в гимназии на ученическом спектакле играл в «Ревизоре» Марью Антоновну довольно искусно и только ростом своим, совсем не женским, изумил публику, теперь чувствовал, что роль полкового врача во время сражения и тут же после него гораздо более трудна, чем даже женские роли.

Иные из раненых старались быть спокойными, но видно было по их глазам и плотно сжатым губам, чего им стоило это спокойствие; у других страдания выдавливали то скупые, то довольно обильные слезы; третьи беспре-

рывно стонали; четвертые вопили во весь свой голос; пятые, наконец, почему-то ругались.

Они смотрели ненавидяще, точно врачи виноваты были в их ранах, и разрешенно, на правах изувеченных, которым, быть может, грозит скорая смерть, ругали начальство, ругали войну, ругали врачей за то, что они-то вот спасались где-то в таком укрытом месте, что остались живы и целы. Им-то, конечно, что такая война? Только прибавка жалованья да какие-нибудь награды!..

Худолей объяснял такие выпады повышенной температурой, бредовым состоянием тяжело раненных, но Невредимов понимал это иначе, измерять же температуру подобных раненых было некогда.

Когда был доставлен на перевязочный поручик Середа-Сорокин, который как раз накануне объявления войны пристраивал своих охотничьих собак — двух гончих и двух борзых и одну из них пытался привести на двор Худолея, «святой доктор» ахнул от охватившей его жалости.

Скоро он, правда, принял вполне обнадеживающий вид и даже бормотал, глядя в полузакрытые глаза поручика:

— Ничего... ничего... счастливо отделались... Могло бы быть гораздо хуже, гораздо хуже...

Однако тут же призвал на помощь себе Невредимова:

— Василий Васильевич, вот, посмотрите, сделайте милость!

И Василий Васильевич, сам повернув полубезжизненное тело Середы-Сорокина, очень скоро убедился в том, что жить ему, пронизанному четырьмя пулями в области груди и шеи и с перебитой около плеча левой рукою, осталось уже недолго. Про себя он решил, что перевязку делать умирающему поручику нет надобности, но Худолей, конечно, не мог оставить без видимой заботы даже и таких раненых, и перевязку делать пришлось; не пришлось только ее закончить: поручик вдруг повернул к Худолею голову на длинной забинтованной уже шее, пытаясь что-то сказать ему, может быть о своих оставленных в Симферополе собаках, но не смог: поклокотал немного горлом, пошевелил пальцами здоровой руки и умер.

Один раненый, младший унтер-офицер, казалось, сам был удивлен тем, что перестала повиноваться ему правая рука, висевшая плетью, хотя кости в ней были целы.

— Прямо сказать вам — пуля только черябнула, а как же так получилось? — спрашивал он недоуменно фельдшера Грабовского, не желая затруднять собою врачей.

— Фамилия как? — спросил для проформы Грабовский.

— Борзаков Иван, шестой роты.

— Разденься... Сними рубаху.

Помогая зубами левой своей руке, Борзаков с трудом стащил с себя рубаху, и Грабовский увидел могучее тело с мышцами чугунной прочности. Австрийская пуля не задержалась во внутреннем сгибе локтя,— она прошила его и полетела дальше, но рука после того уже не могла согнуться.

— Я же этой рукой как возьму трехпудовую гирю, так только считай знай, сколько разов перекреститься ею могу,— расхваливал свою руку Борзаков, чтобы фельдшер его ободрил, но Грабовский, быстро ощупав локтевую и лучевую кости, сказал:

— Значит, повреждение нерва.

Вслед за ним и Акинфиев попробовал согнуть и разогнуть руку Борзакова и сказал вполголоса Грабовскому:

— Запишите: перебит нерв.

— Могу, как перевяжете, в строй идти, ваше благородие? — обратился к нему Борзаков и был очень изумлен, когда ответил ему этот хлипкий с виду, сутулый и тонкий молодой врач в очках:

— Нет, в строй нельзя. В лазарет отправим. И, похоже, надолго: ведь нерв!

— В лазарет?.. Как же это можно?

Борзаков поискал кругом испуганными глазами, остановился на Худолее, которого знал в лицо, как старшего полкового врача, и протиснулся к нему.

Весь свой недюжинный талант жалости призвал на помощь «святой доктор», чтобы ободрить силача, ошеломленного тем, что с ним случилось, но и он должен был сказать: «В лазарет», а третьего врача, самого молодого из трех, раненый унтер-офицер никогда не видал в полку раньше, поэтому к нему и не обратился. С большим презрением посмотрел он на свою всегда безотказно мощную, а теперь бессильную, тяжелую, ноющую руку и сказал ей проникновенно:

— Эх ты, сволочь несчастная! Нервы в тебе какие-сь нашлись, как у дамочки!

ГЛАВА ПЯТАЯ

НА ПРУССИЮ

I

Когда прогремели револьверные выстрелы в Сараеве и возможность европейской войны уже нависла над умами дипломатов и генералов крупнейших стран Европы, генерал Янушкевич, ставший в скором времени начальником штаба верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, говорил: «Если начнется война, нам придется, как в двенадцатом году, отступать от границ в глубь России».

Тогда не было уверенности в том, что с первых же дней войны в ней примет участие Англия, предполагалось, что Германия сможет и не держаться плана графа Шлиффена, а бросить против России, на Москву, большую часть своей пехоты, одновременно двинув свой могущественный флот против Петербурга. Притом Швецию видели уже в непременном союзе с Германией; австрийские же силы — всею своей массой направленными на Киев. Истощенная двумя балканскими войнами Сербия не считалась в русском генеральном штабе достаточно сильной, чтобы австрийцы выставили против нее больше четырех корпусов, и то резервных. Наконец, загадочным представлялось и поведение Румынии и Турции в первые дни войны: направленная против России работа немцев в той и другой стране не была, конечно, ни для кого тайной.

И вдруг гора упала с плеч в первую же неделю войны! Германия ринулась на Францию через Бельгию, верная плану своего военного авторитета; вследствие этого выступила Англия и заперла германский флот в Кильском канале; Швеция молчала; непосредственная опасность для Петербурга исчезла; и не только Москва, но даже и Киев оказался не под ударом, так как с первых же дней обозначилось распыление австрийских сил в трех направлениях веером: на северо-восток, на восток и на юг, против Сербии, а удар пятернею — это не удар кулаком.

Оказалось непредвиденное даже за месяц до начала войны большое у России превосходство в силах, с одной стороны, а с другой,— надо было выручать Францию, так как немцы стремились к Парижу. Поход на Пруссию стал необходим.

Этот поход бы обусловлен, конечно, гораздо раньше. О нем великий князь Николай Николаевич, еще будучи только кандидатом в верховные главнокомандующие, не раз имел случай говорить с Жоффром; о нем император Николай подробно говорил с президентом Франции Пуанкаре. Наконец, о возможности русского наступления на Восточную Пруссию уже свыше сорока лет, начиная с 1871 года, говорили и писали немецкие генералы.

И, разумеется, верховный главнокомандующий германской армии и флота — Вильгельм — не оставил Восточную Пруссию беззащитной.

Правда, из восьми немецких армий семь были направлены против Франции, и только последняя, восьмая, бывшая под начальством генерала Притвица, должна была защищать Восточную Пруссию. Но это была сильная армия, и в нее, кроме корпусов полевых войск, входило несколько дивизий и отдельных бригад ландвера. Многочисленны были и гарнизоны крепостей, как Кеннигсберг, Летцен, Грауденц, Торн, но и среди населения этой лесистой, озерно-болотистой, изрезанной в то же время во всех направлениях железными, шоссейными и прекрасными грунтовыми дорогами части Германии было много стрелковых и других обществ и кружков, в любое время готовых действовать как партизанские отряды по тылам противника, если бы ему вздумалось вторгнуться внутрь страны.

По своим размерам Восточная Пруссия не могла идти ни в какое сравнение с Россией, и однако, немецкие стратеги не забывали скифского способа ведения войны в южнорусских степях. Когда, например, за 513 лет до нашей эры Дарий, царь персидский, с войском в 80 тысяч двигался берегом моря от устья Дуная, пользуясь помощью греческого флота, который вез продовольствие для его солдат, он с трудом дошел до устья Днепра и с большой поспешностью повернул обратно, пробиваясь через скопища скифов, зашедших ему в тыл.

Сорок с лишним лет в германской армии на тактических занятиях с офицерами в военных ли академиях, или в полках решались одни и те же задачи,— как окружать и уничтожать русские части, которые вздумали бы проникнуть внутрь Восточной Пруссии — страны с однородным и очень густым населением.

Однако спасти Париж можно было только движением на Берлин, а путь на Берлин лежал только через Восточ-

ную Пруссию, поэтому образован был Северо-Западный фронт, и главнокомандующим этого фронта был поставлен командовавший войсками Варшавского военного округа генерал-от-кавалерии Жилинский, который во главе двух армий должен был по директиве верховного главнокомандующего в кратчайший срок занять Восточную Пруссию, после чего взять направление на Берлин.

1-й армией его получил назначение командовать генерал-от-кавалерии Ренненкампф, 2-й — тоже генерал-от-кавалерии Самсонов. Ренненкампф перед войной был командующим войсками Виленского военного округа, Самсонов — Туркестанского.

Все трое были участниками бесславной войны царизма с Японией: Жилинский занимал пост начальника штаба наместника Дальнего Востока адмирала Алексеева; Самсонов, как начальник кавалерийской дивизии, отличился в бою при Вафангоу и выдвинулся, как способный генерал, а Ренненкампф, попавший еще при Драгомирове из Киевского военного округа на Дальний Восток за казнокрадство, прославился и там не столько военными подвигами, сколько грабежами, но зато вскоре по заключении мира зарекомендовал себя с самой лучшей стороны перед царем, как ревностный душитель революции в Сибири. Его карательные экспедиции заканчивались обычно лесом виселиц, которыми любовался истинный мастер казней, сам Ренненкампф. За эти подвиги он получил генерал-адъютантство. Он имел до двадцати родственников в Германии, и полное имя его было Пауль-Георг Карлович Эдлер фон Ренненкампф.

Разумеется, как придворный немец, он прекрасно говорил по-немецки, а генерал-от-кавалерии Жилинский, получивший французское воспитание,— по-французски, и это знание иностранных языков имело решающее значение, когда выдвигались кандидаты на пост начальника генерального штаба. Этот пост получил Жилинский, как в совершенстве владевший французским языком: ведь нужно было ездить во Францию на маневры, говорить с Жоффром о планах войны... Разговоры эти привели только к тому, что Жилинский подписал обязательство непременно на пятнадцатый день мобилизации выступить против Германии. Он же должен был и разработать это выступление так, чтобы Самсонову, который должен был спешно прибыть в Варшаву из Туркестана, оставалось только пожать плоды трудов этого стратега.

II

Если Ренненкампф имел многих родственников в Германии, то и противостоящий ему командующий 8-й немецкой армией в Восточной Пруссии генерал фон Притвиц имел племянника, тоже фон Притвица, преспокойно, как и десятки тысяч других немцев, жившего в Петербурге. Он, правда, был арестован на пятый день после объявления войны, но на седьмой день выпущен на поруки, так как за него хлопотал крупный чиновник русского государственного механизма, тоже, разумеется, немец.

Русский меч в июле — августе 1914 года был поднят против той самой Пруссии, о которой отечески заботились русские императоры, начиная с Петра III, обожавшего короля Пруссии Фридриха II.

Казалось, что только заботами об интересах Германии вообще, и Пруссии в частности, можно было объяснить решение секретного совещания военного совета в Москве всего лишь за два года до начала мировой войны — без боя уступить немцам все польские губернии с Варшавой во главе и отодвинуть русские войска на линию Белосток — Брест... Между тем одним из генералов, выдвинувших этот проект, был начальник штаба Варшавского военного округа генерал-лейтенант Клюев; теперь он командовал одним из корпусов армии Самсонова, 13-м, оставаясь по-прежнему глубоко убежденным, что даже русской Польши русские войска были бы не в состоянии защитить, так как она далеко выдается вперед, и немцы неминуемо ее обойдут и отрежут.

Разумеется, на этом секретном совещании 1912 года были и Жилинский, и Ренненкампф, и еще несколько генералов, которым теперь предстояло не только не уводить свои части из Польши, но, напротив, вести их на Пруссию, в логово того самого медведя, которого они боялись.

Задача их всякому должна была показаться ясной: раз медведь кинулся всей своей тушей в сторону одного из обложивших его охотников, нужно было вцепиться в его правую заднюю лапу мертвой хваткой,— и это должна была сделать 1-я армия, а 2-я — двинуться по его следам и отсечь эту лапу, не допустив ее перешагнуть через Вислу. Удастся или нет отсечь, во всяком случае должно удаться настолько обескровить, чтобы медведь не мог далеко уйти вперед.

Могло случиться и так, что он вынужден был бы оглянуться назад, а это было бы спасительным для охотника,

на которого он ринулся. Франция сумела бы воспользоваться хотя бы и небольшой передышкой и приготовиться к отпору; Париж был бы спасен; война сразу приняла бы не тот оборот, который лелеяли в Берлине.

Не могло быть другого плана действий, кроме наступления в Галиции на Австрию и наступления в Восточной Пруссии на Германию; но эти наступления нужно было подготовить, и особенно последнее.

Двадцать миллиардов франков дали взаймы банкиры Франции русскому правительству на подготовку к войне и в первую голову на постройку стратегических железных дорог, а число их, ведущих в Восточную Пруссию, не прибавилось: одна — только одна! — линия могла обслуживать целую армию Ренненкампфа и одна — только одна! — армию Самсонова.

Перед 1-й армией лежала, как непроходимое препятствие, длинная цепь Мазурских озер, с сильно укрепленными междуозерьями и берегами и с крепостью Летцен, вынесенной перед ними. Поэтому 1-я армия получила директиву главными силами своими обойти эти озера с севера, 2-я же армия должна была действовать к западу от Мазурских озер, в местности очень пересеченной, болотистой и лесистой.

Не только 8-я немецкая армия, почти равная по числу штыков (если считать крепостные гарнизоны) обеим армиям русским, прекрасно снабженная и продовольствием и снарядами и, главное, тяжелой артиллерией (до двухсот орудий против двадцати русских), но целая страна с населением в несколько миллионов человек, военизированным, крайне враждебным, отлично приспособленным к самозащите, противостояла русскому вторжению. Не только победить 8-ю немецкую армию на полях сражений, но завоевать всю Восточную Пруссию в кратчайший, притом, срок — вот по существу какая задача выпала на долю нескольких корпусов Северо-Западного фронта.

Но из Парижа доносился вопль о помощи, а в русской армии все, от генерала до солдата из обозной команды, знали суворовское: «Сам погибай, а товарища выручай!» И в директиве из штаба верховного главнокомандующего генералу Жилинскому уже на шестой день войны появились слова: «Нам необходимо готовиться к энергичному натиску при первой возможности, дабы облегчить положение французов...»

Спешно подвозились сборные войска. Спешно подго-

тавливались тыловые учреждения — лазареты, артиллерийские парки, склады провианта и другие. Спешно производилась разведка оставшихся в Восточной Пруссии немецких сил, так как точных данных об этом не было... Все делалось спешно (и потому беспорядочно) с единственной целью, чтобы — готовы для этого или нет — на пятнадцатый день, как было условлено с Жоффром, начать «планомерное и спокойное наступление», как было сказано в одной из директив Николая Николаевича, который пока находился еще в Петербурге.

III

Александр Васильевич Самсонов прибыл к вверенной ему 2-й армии на пятый день войны, 23 июля, и части, с которыми он счел нужным познакомиться в этот день в городе Волковыске, увидели строгого на вид, тучного, с одутловатым лицом генерала, от распорядительности которого, от военных способностей, от энергии, от знания обстановки, от верного взгляда на дело зависела во многом их судьба.

Как ученики в классе внимательнейше вглядываются в нового учителя, стараясь определить его еще до первых слов, какие он скажет им со своей кафедры, так вглядывались в прибывшего к ним командарма офицеры и генералы незнакомых ему частей.

В свою очередь и Самсонов после смотра войск обращался к высокому, бравого вида полковнику Крымову, исполнявшему у него в Ташкенте обязанности генерала для поручений и взятому им сюда, в Волковыск:

— Вам не приходилось слышать, что это за генерал Кондратович?.. Вы не знаете, что представляет собою генерал Клюев?.. Любопытно бы знать, кого мне дали в командиры корпусов... Что же касается Ренненкампфа, командующего первой армией, то этого прохвоста я довольно хорошо знаю по японской кампании.

Ему было пятьдесят пять лет — возраст, когда иные люди, завидно крепкого до того здоровья, неудержимо начинают толстеть, страдать одышкой и с изумлением глядят на самих себя в зеркало и ощупывают свое новое бремя — живот.

Когда Самсонов командовал дивизией в Маньчжурии, он был худощав, строен, с плотным коротким ежиком волос на голове. Теперь темные волосы его сильно поседели, поредели, а в отпущенной, хотя и довольно ко-

ротко подстриженной бороде седины стало еще больше, чем в голове.

В Ташкенте, когда он был командующим войсками военного округа, он внушил себе, что эта седина, как и толщина, вполне соответствует его важной должности, требующей представительности; здесь же, в Волковыске, где все было неустроено, где все спешили, где все готовились к серьезному делу — походу на Пруссию, он видел, что излишне тяжел, ни к чему сановит, приобрел в Азии привычку не думать о разных мелочах, то считал обязанностью своих штабных.

Здесь,— он понял в первый же день,— никаких мелочей совсем даже и не было, все было важно, значительно: здесь не к ежегодным осенним маневрам готовились, а к войне, притом с гораздо более опасным врагом, чем японцы. Кроме того, здесь у него под начальством оказывалось больше полков и батарей, чем было их во всем Туркестанском округе в мирное время, и все они двигались, перемещались, занимали исходные позиции для того, чтобы тут же, по приказу свыше, начать «энергичный натиск» к западу от Мазурских озер.

А чем и как кормить армию, в которой набирается до полутораста тысяч человек? Как наладить для нее выпечку хлеба во время энергичного натиска?

Обеспокоенный этим, Самсонов в первый же день справился и узнал, что заготовлено пока только для трех его корпусов: муки — на три с половиной месяца, овса — на сорок дней, крупы — на полтора месяца и восемьсот тысяч банок консервов.

А как передвигать все это за армией, наступающей энергично? Оказалось, что, кроме обычных обозов, ожидается еще декавилька на сто верст, такая же, какая имеется уже в 1-й армии.

Снарядов для легких орудий (тяжелых пока не было доставлено) числилось по 650 на орудие, и Самсонов говорил Крымову:

— Для начала дела это неплохо: в японскую кампанию мы об этом не могли и мечтать. Ну, а как пойдет снабжение артиллерии дальше? Вот в чем загвоздка!

До границы Восточной Пруссии нужно было вести свои корпуса через польские губернии, а как будут настроены жители их к русским войскам? Как будут надежны поляки, вошедшие в полки?

Прежде чем попасть в Волковыск, Самсонов приехал из Ташкента в Варшаву, где в те дни — последние дни

июля по старому стилю — заканчивалась мобилизация, и счел необходимым познакомить с собою население Варшавы, выпустив тогда такое обращение к нему:

«Мобилизация в предположенные сроки закончена. Я считаю себя обязанным в этот торжественный момент для армии обратиться ко всему населению, пополнившему ряды вверенных мне войск, со словами глубокой благодарности за тот порядок, который царил всюду при явках запасных на службу. Нам предстоит еще много испытаний, но во всех случаях войны я призываю население к спокойствию и содействию армии всеми силами и средствами для достижения победы.

Твердо верю, что в противнике, скрестившем с нами оружие свое, население видит такого же заклятого врага, какого видит в нем армия. Пойдем же рука об руку! Ведь армия — это плоть от плоти и кровь от крови своего народа!»

Привычный в последние годы для Самсонова штаб Туркестанского округа остался почти весь в Ташкенте, и здесь приходилось спешно создавать новый, полевой штаб и начинать трудное, как оказалось, дело — срабатываться с новыми людьми.

В то же время не одна только подготовка к наступлению завертела, как водоворот, Самсонова с первого же дня прибытия в Волковыск. Кучами из разных мест расположения 2-й армии стали поступать жалобы от населения на самочинные реквизиции лошадей, сена, овса, причем отбиралось все это и другое подобное бесплатно, просто для нужд войны. А с линии фронта, где шли уже мелкие пограничные стычки конных разведчиков обеих сторон, поступали однообразные донесения о небольших, разумеется, потерях при этом, и одно из них, упоминавшее о нескольких пропавших без вести, возмутило Самсонова до того, что он собственноручно написал текст приказа по армии, помеченного № 4.

«Предупреждаю, что я не допускаю никаких насилий над жителями,— писал он.— За все то, что берется от населения, должно быть полностью и справедливо уплачено». И затем: «В одном из донесений я усмотрел, что несколько нижних чинов без вести пропало. В большинстве случаев без вести пропавшие впоследствии оказываются в плену. Попадать в плен позорно! Лишь тяжело раненный может найти оправдание. Разъяснить это во всех частях».

Приказы за приказами писались в штабе 2-й армии и диктовались по телефону в штабы отдельных частей. Приказы за приказами получались в штабе 2-й армии из штаба главнокомандующего фронтом генерала Жилинского. Щедрый ливень приказов заставлял тысячи людей беспорядочно метаться, недоедать, недосыпать, иметь задерганный, угорелый вид.

Для ускорения передачи приказов устанавливался искровый, как тогда говорили, телеграф, то есть радио,— военная новость для Самсонова.

Так как немецкая печать изо всех сил трубила о великом превосходстве немецкой авиации над русской и пророчила разрушение городов и истребление множества людей вследствие налетов на русскую территорию цеппелинов, то получались приказы о борьбе с цеппелинами при помощи связок из шестидюймовых гвоздей: русские летчики должны были, поднявшись выше цеппелинов, бросать в них эти пачки гвоздей, чем и продырявливать их оболочки.

Цеппелинов не было во время японской кампании: они тоже явились военной новостью. Вообще за очень короткое время после 1905 года, за какие-нибудь девять лет, выплыло на фронт порядочно таких новостей, но самой большой новостью оказался сам этот фронт; о нем не слыхали сто лет.

Карта Восточной Пруссии и подступов к ней со стороны русской Польши приковала к себе внимание Самсонова. Он изучал дороги, по которым должны были двигаться три его корпуса: 13-й, 15-й и 23-й. Он заранее намечал для них наиболее удобные привалы, ночевки и дневки. Он стремился, заботясь об этом, как старый кавалерист, определить на карте места, где могли бы развернуться и действовать лавой кавалерийские части, как десять лет назад обрушилась на японцев его дивизия при Вафангоу... Он старался, наконец, представить себе, как именно, и где, и какими силами будут противодействовать натиску его войск войска противника.

Свой правый фланг он не представлял иначе, как тесно примыкающим к левому флангу 1-й армии, но как было уберечь левофланговый корпус свой от обхода его немцами? Глаза корпуса — конноразведочные части он видел на карте рассыпанным веером перед пехотными полками корпуса, но ведь они могли только дать знать пехоте, что немцы накопляются на левом фланге,— предотвратить же обход не могли.

Однако о том, чтобы предотвратить обход, думали и в ставке и в штабе командующего фронтом, и вот армия Самсонова начала расти, в нее включен был еще один корпус — 1-й, который вышел из Варшавы, прошел через крепость Новогеоргиевск и примкнул к 23-му корпусу слева. А вслед за 1-м корпусом был влит в армию, теперь уже с правого фланга, еще и 6-й армейский корпус: 2-я армия стала значительно сильнее, чем 1-я.

Это могло бы льстить самолюбию Самсонова, если бы он не знал, что на него возлагается гораздо более серьезная задача, чем на Ренненкампфа. По данным разведки, главные силы немецкой 8-й армии сосредоточены были за линией Мазурских озер, и в то время как Ренненкампфу по директивам Жилинского предписывалось только обойти Мазурские озера с севера и взять крепость Кенигсберг, Самсонов должен был разбить главные силы фон Притвица, отрезать их от Вислы, обезвредить и потом идти на Берлин.

Чем больше, с каждым новым днем, в ставке главковерха и в штабе командарма крепла уверенность, что первые семь немецких армий все целиком прочно увязнут в Бельгии и Северной Франции, тем смелее и шире становились планы, потому что сильнее и настойчивее требовали из Парижа самой неотложной помощи.

Уже начали продвигаться к расположению войск 2-й армии гвардейские дивизии; в пути, как дано было знать Самсонову, находился один Туркестанский корпус. Появился проект о создании в Варшаве еще одной армии, по счету 10-й...

Выступление против Восточной Пруссии приурочивалось к пятнадцатому дню с объявления мобилизации, чтобы выполнить условие договора, и Самсонов не имел ни минуты отдыха.

Как-то утром, с очень тяжелой головой после жаркой душной ночи, он разбирал телеграммы на своем столе, пришедшие за ночь, и среди служебных попалась ему на глаза телеграмма из его имения под Елисаветградом от управляющего, латыша Апсита. Апсит писал, что он в отчаянье, так как для уборки урожая почти не осталось ни рабочих, ни лошадей — подвела мобилизация.

Еще только накануне в приказе по армии Самсонов писал, чтобы ни одного лишнего офицера и ни одного нижнего чина не было нигде в штабе и канцеляриях, чтобы всех зачисленных сверх штата отправляли в строевые части, а теперь вот его же управляющий, очевидно,

полагает, что немедленно после его «отчаянной» телеграммы появятся в имении на уборке хлеба солдаты из 2-й армии... Самсонов скомкал телеграмму и бросил ее в стоявшую под столом корзину.

IV

Петя Невредимов — брат врача Василия и студентов Саши и Гени,— только что окончивший институт инженеров путей сообщения попал по мобилизации в часть, вошедшую в состав 1-й армии, а поскольку 1-я армия деятельно готовилась к наступлению на Восточную Пруссию, обильно снабженную дорогами, то инженеры-путейцы были ей настоятельно нужны, почему в школу прапорщиков откомандировать Петю не спешили.

На гимнастерке цвета хаки, как раз против сердца, красовался у Пети путейский значок, серебряный, гораздо более богатый по рисунку, чем университетский, и достаточно массивный для того, чтобы немецкая пуля его не пробила. Шутя Петя называл поэтому свой значок талисманом.

Ростом не выше Гени и своих младших сестер — Нади и Нюры,— он обладал счастливой способностью не быть особенно заметным в толпе и в то же время по-молодому зорко замечать все что делалось кругом.

Саперная часть, в которую зачислили Петю, стояла в Вильне, где находился и штаб армии Ренненкампфа, поэтому водоворот надвигающихся событий захватывал всех военных инженеров, а через них и Петю, к которому не относились, конечно, как к обычному «нижнему чину», хотя носил он погоны обыкновенного рядового.

В штабе армии была своя канцелярская работа инженерной части — своя, конечно, неизмеримо меньшего размера, потому что была только маленькой частью штабной, однако старший начальник Пети — инженер-полковник Гладилин, человек не прижимистый, а, напротив, размашистый, даже веселый в своей среде, придя однажды из штаба армии и заливаясь хохотом (не злым, добродушным), рассказал своим офицерам:

— От Жилинского в один и тот же день два приказа! Приказ № 1: «Главнокомандующий приказал железных дорог не разрушать ввиду их необходимости при нашем наступлении». Конечно, подпись тут «Орановский» — начальник штаба Жилинский. Затем, не угодно ли,— приказ № 2, содержания примерно такого: «Германцы поль-

зуются железными дорогами для перебрасывания и подвоза войск с одного фланга фронта на другой. Посему главнокомандующий, в отмену прежних распоряжений, разрешает портить германские железные дороги в любом направлении, но без разрушения серьезных технических сооружений». Подпись — тот же Орановский.

У Гладилина было и без того широкое и плоское лицо, так что Петя Невридимов задавал уж одному прапорщику запаса в своей роте вопрос — не сидела ли на этом лице кормилица Гладилина, когда он был младенцем; когда же инженер-полковник во всеуслышанье хохотал над приказами о немецких железных дорогах, то вместо лица получился какой-то красномясый круг с разными ненужностями вроде вздернутого носа, длинной щели рта и черточек вместо плотно прикрытых веками глаз.

Пете не нравилась эта насмешка над приказами, хотя бы один из них и отрицал другой. Он вообще был настроен серьезно с первого же дня мобилизации. Так же серьезно он относился и к ружейным приемам, которым начал учить его в инженерной роте приставленный к нему «дядька», ефрейтор Побратимов.

— Слу-шай, на кра-ул! — командовал ему истошным голосом диковатый с виду дядька.

И Петя старательно, не дыша при этом и стараясь стоять как бы вросши в землю, делал в три приема «на караул».

— К но-ге-п! — почему-то непременно прибавляя совершенно излишнее «п», командовал дядька. И Петя трудолюбиво опускал в два приема винтовку к правой ноге.

Вообще к ружейным приемам Петя оказался настолько понятлив, что Побратимов не решился даже обучать его «словестности», то есть тому, «что есть знамя», «какой генерал считается старше — дивизионный или же бригадный», «кому и как отдается честь»... Он просто дал ему замасленную и истрепанную «Памятку новобранца» и сказал:

— Как вы несравнимо грамотнее, чем, я, то вот это вам, тут все есть в этой книжке, читайте сами, а я после того вас спрошу.

Петя не мог не оценить такой деликатности, вник в «Памятку новобранца», подивился заматерелому, не поддавшемуся времени языку этой книжонки и, как ему показалось, усвоил всю ее премудрость за двадцать минут. Однако действительность скоро показала ему, что теория — одно, а практика — совсем другое.

Вильна была переполнена военными до того, что штатские на ее улицах, особенно на главных, совершенно как-то затеривались, еле были заметны.

Офицеры младших чинов, разумеется, преобладали в числе, но много попадалось и капитанов, и штаб-офицеров: подполковников, полковников. И если капитанам, как обер-офицерам, рядовой Невредимов должен был при встрече только козырять за четыре шага и исправно «есть глазами», проходя мимо и держа руку у своей бескозырки, что он научился делать, то штаб-офицерам, а тем более генералам, он должен был делать фронт, что оказалось гораздо труднее.

И если он все же постиг эту мудрость, делая фронт своему дядьке на дворе, перед казармой, то улицы Вильны, на которых он в первый раз появился один, получив отпуск в воскресный день, весьма его затруднили: то и дело приходилось поднимать руку и при этом вглядываться в толпу на тротуаре, двигавшуюся навстречу, чтобы не опоздать сделать это еще и еще раз.

Но офицеры, кроме того, ехали посреди улицы в экипажах и открытых автомобилях, нельзя было пропускать и их, тем более что вот именно в экипажах и машинах чаще всего и можно было увидеть штаб-офицера или генерала.

Петя нарочно жался поближе к домам, где его заслоняли от улицы другие, но он совершенно упустил из виду, что в Вильне в то время на главных улицах разгуливать нижним чинам не полагалось, и это упущение оказалось для него погибельным: он не успел сделать фронт генералу с длиннейшими рыжими усами и толстым багровым носом, медленно ехавшему в новеньком вместительном автомобиле, и генерал это заметил и приказал своему шоферу, унтер-офицеру, остановиться.

— Эй, ты, ты-ы! — очень зычно закричал генерал, подымаясь с места и протянув руку к тротуару, и Петя с ужасом увидел, что глаза генерала устремлены на него, и узнал в этом генерале самого командующего 1-й армией, генерал-адъютанта Ренненкампфа.

Мелькнула было даже мысль броситься бежать, но тут же погасла: не убежишь — поймают, а преступление слишком огромно.

— Поди сюда! — крикнул Ренненкампф не кому-нибудь другому, а именно ему, хотя он привык уже, что офицеры говорили ему «вы», а не «ты», но то ведь были простые офицеры, а не командующий армией.

Вот один из офицеров и теперь кивнул ему головой — не головой даже, скорее только одними бровями, так как он сам стоял во фронт с рукой у козырька,— чтобы он шел к машине, и нечего было делать, пришлось покинуть тротуар.

— Ты-ы какой части? — заорал Ренненкампф, хотя отлично видел, конечно, значок путейца на груди Пети; и когда Петя ответил и потом назвал свою фамилию, Ренненкампф раскатился, как будто стараясь, чтобы всей улице было слышно:

— Иди немедленно в свою роту и заяви там, что я-я отправляю тебя на гарнизонную гауптвахту... за неотдачу мне чести... на десять суток... строгим арестом! Пошел!.. Кругом ма-а-арш!

И Петя повернулся кругом и зашагал снова к тротуару, а потом — в роту, автомобиль же с командующим армией проследовал дальше.

V

Просидеть все десять дней до конца на гарнизонной гауптвахте Вильны Пете все-таки не пришлось: он был освобожден за три дня до срока, так как часть, в которой он начал свою службу, отправлялась на фронт.

На 3 августа приходился тот самый «пятнадцатый день, считая от начала мобилизации в России», когда по договору с Жоффром, русские войска, сосредоточенные против Восточной Пруссии, должны были начать свой энергичный натиск, чтобы спасти Париж.

Начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Янушкевич, подавая накануне великому князю Николаю Николаевичу для подписи заранее составленный приказ Северо-Западному фронту о наступлении, счел все-таки нужным заметить:

— Ваше высочество! Мне кажется, что этот приказ опережает нашу готовность к выступлению на таком ответственном театре, как Восточная Пруссия.

Приготовившийся подписать приказ Николай Николаевич недовольно поднял наигранно строгое, преждевременно состарившееся лицо с немудрым лбом и спросил:

— Что вы хотите сказать еще?

— Может быть, ваше высочество, добавить всего только три слова: «Исполнить по возможности»? — вопросом на вопрос ответил Янушкевич.

— Нет, этого нельзя! — решительно сказал великий князь и подписал приказ.

— Оттяжка могла бы занять всего только пять-шесть дней,— упавшим уже голосом заметил Янушкевич, не прикасаясь к приказу, хотя он был и подписан.

— Фронт не готов к выступлению? — вдруг выкрикнул великий князь.— Разве это ново? Когда же и где это было, чтобы фронт был вполне готов? Никогда и нигде не бывало, а воевать тем не менее всегда начинали!

— За пять-шесть дней могли бы подтянуться резервы, ваше высочество...— стараясь быть убедительным, начал было излагать свои доводы Янушкевич, но главковерх перебил его коротким и начальственным:

— Успеют и во время военных действий!—и поднялся из-за стола.

Янушкевич был выше среднего роста, но главковерх — на целую голову выше его, и выражение лица его сделалось каменно-жестким. Начальнику штаба ничего не оставалось больше, как взять приказ, чтобы передать его по прямому проводу генералу Жилинскому.

В тот же день, то есть 2 августа, приказ великого князя породил директиву № 1, вышедшую уже из штаба фронта:

«Главнокомандующий приказал:

1. 1-й армии перейти границу 4 сего августа и с линии Владиславов — Сувалки наступать на фронт Инстербург — Ангербург, в обход линии Мазурских озер, с севера.

2. 2-й армии перейти границу с линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле, наступать на фронт Летцен, Руджаны, Ортельсбург и далее к северу.

3. Задача 1-й армии — возможно глубже охватить левый фланг неприятеля на реке Ангерапп, где предполагаются его главные силы, имея целью отрезать неприятеля от Кенигсберга.

4. Задача 2-й армии — свои главные силы направить на фронт Руджаны — Ортельсбург во фланг и тыл Мазурских озер».

В директиве № 1 было и еще несколько пунктов, но эти — основные и главнейшие. Разумеется, кавалерийские части должны были выступить на день раньше, чтобы не только оттеснить передовые отряды противника, но и осветить впереди лежащую местность для пехоты.

Для ставки главковерха все пункты этого приказа были предельно ясны и никаких других толкований иметь не могли. Однако уже в штабе Северо-Западного фронта кое-что в нем показалось не совсем ясным, хотя он и был передан в штабы армий без малейших, разумеется, изменений. В штабе обеих армий над ним задумались люди, которым гораздо виднее было положение дел, чем Жилинскому, а тем более главковерху.

Оно изменялось, конечно, по мере того, как конные части, оттеснив пограничные заставы немцев, начали глубже проникать в пределы Пруссии.

Противник не стоял на месте, выжидая; он тоже передвигался, пользуясь обилием и завидно исправным состоянием своих дорог, и получалось так, что данные разведки сегодня были одни, завтра другие, тем более что немецкая конница умело скрывала свою пехоту.

Наконец, сведения о противнике добывались и самолетами, способными проникать в его расположение гораздо дальше, чем кавалерийские части, и с кругозором куда более обширным.

Сводки ежедневно составлялись в частях на фронте и шли в штабы, где вполне отчетливо представлялось, что пехоте 1-й армии придется иметь дело прежде всего с частями 1-го немецкого корпуса, которым командовал генерал Франсуа.

Нервно ожидавшие энергичного натиска 1-й русской армии чины французского генерального штаба убедились, наконец, в том, что он начался, хотя и с небольшим опозданием, по их мнению: им казалось, что они, французы, если бы были на месте неповоротливых русских, начали бы его даже раньше назначенного срока.

VI

Из рядовых своей пехоты Петя почему-то особенно выделял плотника Гунькова, лет сорока, взятого, конечно, из запаса.

Началось у него с ним с того, что Гуньков, внимательно глядевший на путейский значок, спросил вполголоса:

— Небось, пожалуй, серебряная бляха-то эта?

— Конечно, серебряная,— улыбнувшись, сказал Петя, на что Гуньков, человек с виду крепкий, хозяйственный, калужанин с рыжеватой бородкой, сметливыми серыми глазами и очень деловитыми, как успел уже заметить Петя, толстопалыми руками, сказал, слегка подмигнув:

— Кабы не украли... Вам бы лучше снять это да спрятать от греха.

А когда Петя только засмеялся на это, Гуньков добавил не без грусти:

— Вы, конечно, господин образованный, а только я народ знаю и верно вам говорю.

В другой раз, чуть ли не в тот же день, Гуньков взял обломок доски, посмотрел на него сосредоточенно, ковырнул ногтем и отбросил презрительно, сказав:

— Елка!

Это заметил Петя и спросил просто так, чтобы понять его:

— Чем тебя елка обидела?

— Елка? — очень оживился Гуньков.— Говорится так об этом: все деревья простил плотник, когда помирать собирался, только одной елке простить не захотел — до такой степени она ему надоела.

— Елка? — удивился Петя.— Да это же мягкое дерево, чем же надоела?

— Ну, вы, значит, этого не знаете, потому говорите... Никаких вы, стало быть, делов никогда с елкой не имели, а уж боле шершавого дерева, чем эта елка, и на свете не существует. Что рубанок, что даже фуганок сразу забивает, и что ни минута, ты их бери прочищай — вот какая с елкой работа... У других досок — хотя бы у сосны — стружка ровная идет, а уж у елки — прямо одни только рваные клочья, вот какое это дерево — стерва!

А еще как-то, когда между солдат разговор зашел о своем сельском хозяйстве,— как-то с ним управятся бабы,— Гуньков бросил и свое замечание, на первый взгляд Пети как будто и не совсем идущее к теме:

— Баба — в поле, а лиса — в курятник.

— Среди бела дня? — насмешливо спросил его один из солдат.

— Ты, должно, из городских,— степенно отвечал на это Гуньков,— этого дела не знаешь. А что касается лисы, она, брат, не промахнется.

— Середь дня чтоб в курятник зашла?

— А то долго ей?

— А собаки?

— Боится она твоих собак, если она — лиса!.. Да зверь об себе все решительно знает, если ты хочешь понимать. Например, лиса... Она за людями все замечает, сколько лет возле них жимши. Нешто, ты думаешь, она не знает, что летом на нее охоты нет, как у нее мех лезет

и никуда он ни к черту не годен? Зна-а-ет! Нешто, ты думаешь, не знает лиса, что мясо у ней вонючее до такой степени, что никто его жрать не согласится? Зна-а-ет, брат!.. А кроме того, ведь у ней же лисята теперь возле норы ее ждут — корми нас! Как ей к ним показаться без курицы в зубах? Вот через это она теперь и храбрая. лиса...

Гуньков помолчал немного и добавил:

— Что касается волков, то они готовы верст за пятнадцать бежать от своего логова, только бы как-нибудь по нечаянности близко к себе какую живность не задрать. Волк, он всех телят, всех овец, всех жеребят возле свово логова наперечет знает, а только нипочем не тронет: поклацает на них зубами, шерсть в дыбки подымет, а потом тут же ходу скорей. Почему это? Зна-а-ет, что чуть он проштрафится, то тут ему и погибель, а всему его выводку тоже конец. А верст за пятнадцать, за двадцать набедокурит, поди его ищи-свищи.

Когда Петя после встречи с самим Ренненкампфом вернулся в роту, первый, кто узнал от него, что он должен идти под арест на гарнизонную гауптвахту, был Гуньков, который как раз тогда был дневальным.

Он ударил себя обеими руками по бедрам в знак удивления и протянул горестно:

— Ну что ты скажешь!.. Диви бы наш брат, серый, а то...— И он кивнул на серебряный значок и добавил с большим сожалением: — Ну, на гарнизонной там такие артисты сидят, что вы уж лучше это свое отличие дежурному или там начальнику караула на сохранение сдайте, а то с ним проститесь.

И он же первый увидел его снова, когда его выпустили, и был явно обрадован тем, что он цел и что при нем, как и прежде, его отличие — никто не спер.

Между тем дядька Пети, из-за него пострадавший, так как ротный командир поставил его на два часа под ружье,— мрачно предсказывал, что недосиженное на гауптвахте он, Петя, еще отсидит со временем.

— Раз ежли сам командующий войсками на вас за необразованность вашу наложил свое взыскание, то как же могут его отменить? — глядя в упор, говорил он вполне убежденно.

— Да ведь в поход идем,— пытался ему втолковать Петя, но дядька был непреклонен:

— Поход — это сюда не относится! Поход своим чередом, а взыскание такого начальства — своим. Здесь,

в городе Вильне, не пришлось ежли отсидеть — в другом каком городе отсидите.

— Не иначе как в каком-нибудь немецком,— помог ему Петя.

— А хотя бы ж и в немецком,— не смущаясь, повторил дядька.— Во-первы́х, он тогда не будет немецкий, а наш, а во-вторых, немецкие губвахты еще почище наших, это уж кого угодно из господ офицеров спросите.

— А если война в скором времени окончится? — спросил его Петя.

Однако и этот каверзный вопрос не поставил упрямого ефрейтора в тупик — он думал над ним не больше трех моментов и ответил решительно:

— Все одно, пропасть не должно: война ежли кончится, опосля войны досидите.

Рассмотреть всесторонне этот исключительный случай не хватило времени: грузилось с большой поспешностью на подводы и отправлялось на вокзал имущество части, а потом туда же отправлялись в полном походном снаряжении роты, и Петя убедился, что снаряжение его представляет порядочную тяжесть, особенно если тащить его не полторы-две версты по мощеным улицам Вильны, а десятки верст по лесам, пескам и заболоченным местам Восточной Пруссии.

Ему вспомнилось при этом, как перед войной, будучи в Ливадии, царь вздумал одеться рядовым, перекинуть через плечо катанку, с привязанным к ней снизу котелком, взять на плечо винтовку с примкнутым штыком, чуть ли даже и не с саперной лопаткой у пояса, с двумя патронными сумками, с вещевым мешком, отдувшимся от разной «выкладки» в нем,— словом, как говорится в полевом уставе, «в полной походной боевой амуниции». Царь с полверсты прошагал тогда где-то по задней аллее ливадийского парка для удовольствия придворного фотографа, для беспокойства столичной и ялтинской полиции, установившей свои посты за каждым кипарисом во избежание покушений на священную особу монарха, который действовал в назидание русскому воинству и потомкам: вот, дескать, как трудится царь даже и во время своего законнейшего отдыха в Крыму! Вот как входит он в интересы даже рядовых солдат — не слишком ли обременительно им будет совершать в июльский зной многоверстные походы!..

VII

Петя Невредимов не то чтобы был музыкален, но в гимназическом оркестре в Симферополе все же играл на скрипке, не портя ансамбля. Это служение искусству тянулось у него до шестого класса, когда он счел себя слишком взрослым для ученических сольфеджио и решил бросить не только игру на скрипке, но и вообще даже разговоры о музыке.

Его не тянуло к музыке и потом, когда он стал студентом: некогда было, не тем был занят, находил даже, что теория сопротивления материалов интереснее, чем музыка.

Но когда в первый раз — это было ночью, на границе Восточной Пруссии — он услышал полет в свою сторону тяжелого немецкого снаряда, ему показалось, что кто-то за лесом, темневшим на другом берегу пограничной речки, заиграл на флейте... Очень отчетливо — и чем дальше, тем отчетливей,— слышна была именно флейта, и вспомнился солист-флейтист гимназического оркестра, армянин Каштаянц.

Сначала, правда, ухо уловило там где-то за лесом непонятный какой-то грохот, которому только флейта дала объяснение: как будто в том же оркестре, по энергичному взмаху руки с камертоном учителя музыки, соборного регента Духавина, грохнули сразу барабаны, бубны, литавры, а потом уже началось соло на флейте.

Однако флейтист теперь недолго солировал; дальше звучно залязгали одни только литавры, притом с какой-то подчеркнутой оттолочкой, которой не изобразить на нотной бумаге: очень неприятным оказался для уха этот лязг с оттолочкой.

Но еще неприятнее было потом шипенье как будто огромной, высоко летящей змеи,— куда больше, чем боа-констриктор, хотя Петя и не был уверен, имеет ли способность боа к обычному змеиному шипенью.

И, наконец, как будто весь оркестр рухнул вниз вместе с хорами, на которых он помещался, и от этого ни с чем не сравнимое впечатление внезапной катастрофы: больно ушам, больно глазам, не проталкивается воздух из легких — спазмы схватили горло...

Снаряд упал и разорвался впереди, на том берегу, шагах в двухстах или больше, и кто-то знакомым голосом Пете крикнул: «Недолет!» — с таким выражением,

как будто издевался над немецкими артиллеристами за промах.

За промах по какой же все-таки цели? По своим же саперам, наводившим мост через речку, как это с вечера было приказано начальством?

По этому мосту утром должна была перейти пехотная часть с двумя батареями легких орудий, и Петя слышал от прапорщика запаса Якушова, что там за лесом на другом берегу, по данным разведки, нет немецких сил: были конные заставы, но отброшены нашей кавалерией... Откуда же взялось там тяжелое орудие?

Материал для моста отчасти привезли с вечера на подводах, отчасти собрали на месте — разнесли сарай, сложенный из сосновых бревен, причем из сарая этого вынесли трех убитых в перестрелке утром немецких солдат, быть может, взорвавших бывшую тут раньше переправу.

Работали над постройкой моста ретиво и не опасаясь стука, так как местность впереди и с флангов считалась очищенной от противника,— и вдруг оказалось, что противник прилежно следил за работой и, когда она уже почти подходила к концу, задался явной целью ее уничтожить, как был уничтожен накануне бывший здесь мост.

Петя только успел повернуться назад, чтобы отыскать в полутьме глазами того, кто крикнул: «Недолет!» — и едва соображая по звуку голоса, кто именно это крикнул,— как снова оттуда же, далеко из-за леса, донесся довольно плотный в сыром ночном воздухе грохот, и ухо настороженно ждало флейты, и зазвучала флейта... Ни из какого другого инструмента нельзя было извлечь такого звука...

Потом в ужасающей последовательности: лязг литавр с омерзительной оттолочкой, шипенье летящего по протоременной уже воздушной дороге огромного змея и, наконец, обвал, в ожидании которого Петя непроизвольно присел на корточки, не решаясь двигаться с места, как кролик перед удавом.

Теперь снаряд упал не спереди, а где-то сзади, и Петя после разрыва его только успел подумать: «Ведь там подводы наши стояли!» — как тот же голос крикнул около него: «Перелет!» — и стало ясно, что это Якушов и что он очень встревожен.

Тут же вслед за разрывом этого второго снаряда Якушов стал и гораздо ближе Пете: на нем утверждались

надежды за свою целость; и, точно стремясь оправдать эти Петины надежды, Якушов закричал:

— Ребята! С моста долой!.. Сюда! Ко мне...

Ночь была не из темных, хотя и сплошь в облаках небо. Ни луны, ни звезд не было видно, но они все же чувствовались за негустыми облаками, просвечивали чуть-чуть, и можно было разглядеть и Якушова, бежавшего от моста назад, забирая в сторону, и солдат, бежавших сперва по мосту со стуком каблуков, потом по кочковатому берегу с шарканьем ног.

Петя вспомнил артиллерийское: «Недолет, перелет, в цель» — и сразу с места опрометью кинулся вместе с другими за Якушовым... Зацепился было за кочку, едва не упал, но удержался на ногах и уже на порядочном расстоянии от моста услышал знакомый грохот барабанов и литавр,— всех сразу... Соло флейты он старался уже не слышать, но оно назойливо, как комар, лезло в ухо.

Перед тем как должны были по его инстинктивному расчету обрушиться хоры с оркестром, он заметил, что Якушов шагах в пяти от него вдруг упал, может быть, тоже зацепившись за кочку; Петя упал тоже — просто как-то не удержался на ногах, и кое-кто из солдат тоже не то упал, не то присел...

И все замерло, затаилось в душе Пети,— одно только сердце стучало часто и сильно. И мыслей как будто никаких не появлялось, кроме одной: «Где разорвется?»...

Этот разрыв оглушил до того, что с минуту после него голова не решалась подняться, чтобы оглядеться. И если от первых двух снарядов едкий дым, забившись в нос и в рот, очень мешал дышать, то теперь он стоял рядом, плотный, удушливый... А в разрыве почудился длительный всплеск воды и треск разрушения, и не то что подумалось,— ощутилось всем телом: мост!

Когда Петя поднялся, он увидел около себя Якушова.

— Это вы, Невредимов! — спросил Якушов.

— Я... так точно... Пропал мост! — сказал Петя, ища в то же время глазами мост и стараясь увидеть его не совсем уничтоженным.

— Да, пропал мост,— подтвердил Якушов.

— Как же теперь быть? — спросил его Петя не как рядовой офицера, а как инженер инженера: Якушов был тоже путеец, только года за три до того окончивший институт и успевший своевременно отбыть воинскую повинность.

Широкий в кости и рослый, но худой на лицо, скуластый и большеглазый Якушов ответил, как начальник:

— Мост нужен для наших батарей, значит, нужно строить новый.

— Но ведь опять разобьют!

— Здесь — да, конечно... Здесь нельзя. Отсюда уйдем сейчас... Где-нибудь в другом месте, или выше по течению, или ниже... Надо посмотреть, где можно.

Пете показалось, что Якушов как будто не то что отвечает ему, а просто думает вслух, не зная еще и сам, что теперь надо начать,— поэтому он спросил:

— Откуда же стреляли по нас?

— А черт их знает откуда!.. Верст за восемь откуда-то, или даже и подальше,— сказал Якушов.

— А откуда же узнали они, что мы тут именно мост строим? — спросил уже без надежды на ответ Петя и добавил:— Ведь на том берегу наши казаки.

— Как же это так «откуда»? — неожиданно зло ответил Якушов.— От здешних жителей, конечно, вот откуда! Сидит мерзавец где-нибудь вон там в подвале,— качнул он головой на тот берег,— и осведомляет по телефону их батарею... А что стрельба меткая, так у них же тут все давно пристреляно по квадратам, ничего нет диковинного...

И потом на ходу уже, идя не к мосту, а в тыл, добавил Якушов:

— Главное, что никто не предупредил, что у них там может быть тяжелая...

— А если доставили вечером? — попытался догадаться Петя.

— Тяжелую доставили? — усомнился Якушов.— Конечно, могли выкинуть такой фокус... Хотя, впрочем, дороги у них отличные, а разведка наша, очевидно, плохая.

— Посмотреть бы хотя, что осталось от моста,— сказал Петя, оглядываясь на речку, но Якушов был озабочен не этим.

Он крикнул солдатам:

— Иди веселей! Иди к подводам!

И только после того отозвался Пете:

— Смотреть там уж не на что,— только время терять. И что же, вы полагаете, только три снаряда припасли они по наши души?.. Хватит у них этого добра!

Петя и сам, впрочем, думал, что орудийный обстрел еще не окончился, и ему все казалось, что вот-вот он

услышит если не грохот далекого выстрела, то флейту снаряда. А Якушов спешил вывести людей и подводы из-под обстрела и перейти на другое, неожиданное для противника место на той же реке, чтобы к утру все-таки построить мост, хотя бы и похуже того, который был уже почти достроен.

Якушов спешил, конечно, не зря,— в этом убедился Петя, когда расслышал, уже приготовившись к этому, грохот выстрела тяжелого орудия. Однако почему-то ни флейта, ни потом лязг литавр не были уже так отчетливы, как в первые три раза; они как будто и не приближались сюда так стремительно, и Якушов сказал облегченно:

— Это не по нас!

— Эта, ваше благородие, в тую сторону пошла,— сказал и махнул вниз по течению речки рукой оказавшийся около, к радости Пети, его дядька ефрейтор Побратимов.

Действительно, где-то значительно дальше, ниже по речке упал четвертый снаряд, и какой-то солдат в стороне, различимый только, как сгусток тени, проговорил убежденно:

— Похоже, что по тому мосту теперь норовит он, какой наш первый взвод строит.

По голосу Петя узнал Гунькова и сразу поверил в его догадку: первому взводу, при котором были и полуротный поручик и фельдфебель, приказано было соорудить более серьезный мост именно в той стороне.

Якушов же выругался:

— Вот так черт! Вот так очистили левый берег!.. Всех шпионов на месте оставили, а тяжелая батарея где-нибудь в стогу соломы была спрятана и тоже осталась у них в тылу.

— А может быть, все-таки подошла какая-нибудь часть с тяжелым орудием? — спросил Петя.

— Может быть,— буркнул Якушов теперь уже более снисходительно к этой догадке.

Когда подошли к тому месту, где упал второй снаряд,— перелет,— Петя ахнул, разглядев сделанную им воронку. Но не только Петя, ахнули и другие, когда разглядели в нескольких шагах от воронки, на старой толстой ветле повисшую между сучьями разбитой головой вниз одну из своих лошадей.

Снаряд упал все-таки гораздо ближе к речке, и там, где стояли подводы с невыпряженными лошадьми, потерь

среди них, как и среди людей, по счастью, не было. Одну же лошадь выпрягли, чтобы попаслась, из жалости к ней,— она была послабее других. Эта жалость и оказалась для нее смертельной.

Пока снимались с места, чтобы перейти выше по течению речки, еще насчитали три выстрела в том направлении, как и первый,— и Якушов решил:

— Ну, значит, и тому нашему мосту крышка!

Однако не успели еще сняться — добирали кое-что из остатков своего моста,— как получили приказ никуда не уходить, и тут же вскоре загремела ружейными и орудийными выстрелами вся та сторона за речкой.

Даже и для новобранца Пети сделалось ясным, что по другим каким-то переправам вошли здесь в Пруссию и русские пехотинцы и прикрывающие их батареи.

В эту ночь впервые палили на этом участке не по прусской, а на прусской земле. Может быть, этот огонь русских пушек был не такой меткий, как только что пришлось видеть со стороны немцев, но Пете радостно было, что он гремит, а еще радостней было вместе с Гуньковым, Побратимовым и всеми другими снова облаживать мост, чтобы во что бы то ни стало был он вполне готов к утру.

VIII

В этот день, первый день наступления на Восточную Пруссию 1-й русской армии, немцы читали в своих газетах: «Русские войска, собранные против Восточной Пруссии, лишены оружия. Вместо винтовок им выдают вилы и косы, прикрепленные к длинным шестам».

Однако население приграничной полосы выезжало и вывозилось за Вислу в самом спешном порядке и с самым малым багажом, и начато это было еще за несколько дней до наступления русских.

Города, разбогатевшие за одно десятилетие на покупке и продаже русского хлеба, русских кож, русского сала, русских свиней, гусей, куриных яиц, щетины, льна и прочего, что упоминалось в статьях нового, чрезвычайно выгодного для немцев и разорительного для России таможенного закона — подарка Вильгельму II за нейтралитет во время японской войны; большие имения прусских помещиков — «юнкеров», даже обыкновенные деревни и фольварки, то есть хутора,— все это изобиловало и пре-

красным молочным скотом, и стадами мелкого скота, и запасами всего съестного.

Вывезти все это в короткий срок было невозможно, истребить же, чтобы не досталось русским, считали слишком крайней мерой, пока на защите границы стояли полевые дивизии, а над укреплением этой границы работали чины главного и местного штабов в течение свыше сорока лет, и такая работа, конечно, должна же была дать кое-что способное внушить уважение.

Превосходство в силах позволило частям 1-й армии начать действия сразу по всей линии, обозначенной в директиве Жилинского, и в первый же день запылал в разных местах город Эйдкунен, подожженный выбитым отсюда немецким полком.

Занят был ряд деревень, и войска подошли к городу Шталлупёнену, о котором известно было, что он сильно укреплен и защищается целой бригадой.

Тут ожидалось серьезное сопротивление, но успех русского оружия предрешен был заранее, так как Шталлупёнен должны были обойти с севера и с юга.

Армия Ренненкампфа двинулась энергично, как ей и было предписано, сам же он оставался пока в той же Вильне, на той же своей казенной квартире командующего войсками округа и с тем же привычным, весьма сообразительным и исполнительным начальником штаба генералом Милеантом, таким же чистокровным немцем, как и сам Ренненкампф.

Связанные общим делом в штабе, ежедневно они обедали за одним столом — Ренненкампф с Милеантом, и на работе в штабе и за обедом — Милеант знал это — не было для Ренненкампфа более приятной темы разговора, как о главнокомандующем фронтом Жилинском и его начальнике штаба Орановском. Разумеется, говорилось только о том, как «залетела ворона в высокие хоромы», и, конечно, обсуждались способы, какими можно бы было эту ворону изгнать, чтобы самому Ренненкампфу сесть на ее место.

Генерал-адъютантство ставило его ближе ко двору, чем был Жилинский; кроме того, к нему, Ренненкампфу, весьма благоволила императрица.

Самоуверенный от природы, как истый пруссак, Ренненкампф склонен был очень преувеличивать свою роль спасителя династии в 1905 году, в военных же талантах своих он никогда не сомневался, даже и во время своих

неудачных действий в Маньчжурии, тем более что там-то уж было на кого свалить любые неудачи.

До соперничества с Самсоновым Ренненкампф не унижался. Даже усиление самсоновской армии сравнительно с его показалось ему не слишком обидным, так как смотрел он дальше и видел себя в близком будущем непосредственным начальником и Самсонова и всей его 2-й армии, какой бы численности она ни была.

С первого же дня активных действий своих корпусов он занят был только тем, чтобы выставить эти действия в надлежащем свете и в глазах начальства и для печати, чтобы создать себе необходимую для будущего поста известность в русском обществе, благо все «левые», в свое время называвшие его не иначе как «вешателем», теперь притихли.

Но наряду с этим, главным, он не забывал и другого, к чему имел прирожденную страсть, развившуюся в бытность его на Востоке,— страсть к дорогим и редкостным вещам, мебели, мехам, картинам, фарфору...

Замки богатых помещиков Восточной Пруссии хранили в себе, как было ему известно, множество такого, что так само собой и просилось в его руки, и он уже командировал для этой цели кое-кого из чинов своего штаба на фронт, внушив им, что грузовые машины для отправки отобранного ими в тыл они должны требовать его именем. А для того чтобы его имя — звучное имя Ренненкампф — было прочно усвоено всеми, способными в России читать газеты, он в первый же день наступления своей армии постарался забросить в печать через газетных корреспондентов красивую, по его мнению, и многозначительную фразу: «Я отсеку себе руку, если в течение полугода не донесу о взятии мною Берлина!»

Тут в немногих словах назначался им и срок окончания победоносной войны и весьма ясно просвечивало сквозь слова непременное условие для взятия Берлина: он, как главнокомандующий фронтом, а не Жилинский, должен был донести об этом!

Иногда он доверительно говорил своему начальнику штаба:

— Мы с вами должны твердо помнить одно: начали войну между собой парламентарные государства Россия и Германия, но... не династии Романовых и Гогенцоллернов!

И так как в Роминтенском лесу близ русской границы, в заповеднике, где кайзер,— а иногда вместе с ним и Ни-

колай Романов,— охотился на оленей, был охотничий дом Вильгельма, то Ренненкампф заранее взял его под свое покровительство, чтобы русские войска, которые должны были через день, через два занять Роминтен, не нанесли ущерба этому дому и не вздумали бы стрелять в благородных оленей кайзера в заповеднике.

Вообще же для введения распорядка в Восточной Пруссии Ренненкампф полагал необходимым явиться туда самолично, как только будет взят Шталлупёнен, что тоже ожидалось им через день, через два,— не позже.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В ТЫЛУ

I

В то время как полковой врач Худолей Иван Васильич делал что мог на перевязочном пункте своего полка в Галиции, в его семействе, оставшемся в Симферополе, бурлил разброд.

На всех трех своих детей истерически кричала Зинаида Ефимовна, жена Ивана Васильича, но ее все-таки никто не хотел слушать.

Старший сын Володя, прозванный в гимназии за подчеркнутое изящество манер «Маркизом» и щеголявший уже в летней студенческой фуражке (синий околыш, белый верх), считал, что очень мало денег дают ему на первый месяц в университете, куда нужно было и платить за слушание лекций и покупать учебники, и устраиваться на квартире, и шить зимнюю шинель, и мало ли чего еще, почему и не ехал в Москву. Младший сын, Вася,— существо низенькое, скуластое, с насмешливыми узенькими глазами неопределенного цвета, получивший переэкзаменовки по двум предметам, упорно заявлял, что держать их не будет и останется на второй год в своем классе. А дочь Еля, уволенная из гимназии, стремилась попасть против воли матери на курсы сестер милосердия, хотя туда ее и не принимали, потому что требовались туда не моложе, чем восемнадцатилетние, а ей было только шестнадцать.

У четы Худолеев был еще один сын — Коля, но если шестнадцатилетние девушки не считались достаточно зре-

лыми для работы в отряде сестер милосердия, то семнадцатилетний подросток Коля был уже в ссылке, как политический преступник, и случилось так, что, имея хорошее намерение избавить брата от угрожающей ему ссылки, погубила свою репутацию Еля.

Мировая война, разразившаяся отнюдь не стихийно, а вполне подготовленно, нашла свое отражение в домике Худолеев в бурных криках, хлопанье дверями, швырянье об пол и об стены книгами, подушками, калошами,— что попадалось под руку,— и, в довершение всего, в густом запахе валерьянки, гораздо прочнее, чем раньше, воцарившемся теперь в комнатах, так как Зинаида Ефимовна, хотя и была женою врача лет двадцать, признавала одно только это лекарство сколько-нибудь действительным от разных треволнений жизни.

В довершение всех напастей, обрушившихся на голову Зинаиды Ефимовны с отъездом мужа на фронт, с ним вместе уехал и денщик его, бывший в доме за кухарку, и теперь и готовить на кухне и ходить на базар приходилось ей самой.

Непостижимым до ужаса, искажавшего все ее скуластое, как у Васи, широкое, дряблое лицо, казалось ей то, что Еля отказывалась стряпать вместе с нею.

— Не умею я стряпать, мама! — кричала в ответ на ее крик Еля.

— Научишься небось, прин-цес-са! Ишь ты как она: не умею! — передразнивала мать свою дочь.

— Не буду я стряпать, вот вам и прин-цес-са! — передразнивала дочь свою мать.

— А не будешь, со двора сгоню,— шляйся где хочешь! — кричала мать.

— И буду шляться, и буду шляться, и буду шляться! — кричала дочь с надсадой, наклоняясь вперед при каждом выкрике.

Еля считала мать виновницей того, что сослали Колю: она из всех четырех детей особенно не любила именно Колю, и никогда не приходилось Еле слышать от нее ни одного слова в его защиту. Бывшая до своего замужества бонной, Зинаида Ефимовна оказалась потом чересчур строгой к своим собственным детям, причем бестолково строгой, за что никто из детей не уважал ее. Любили отца, но вот его не было, и некому было сглаживать семейную жизнь, которая заскрипела теперь, как немазаное колесо.

— Васька! Васька, негодяй! Иди картошку чистить! — кричала Зинаида Ефимовна со двора на улицу, где Вася сговаривался со своим одноклассником идти купаться на пруд.

— Тю-ю, картошку чистить! — изумлялся, стараясь не глядеть на товарища, Вася и, при втором таком же окрике, прижав к бокам локти, убегал за угол квартала, а потом уже с самым решительным видом шел на пруд, куда, между прочим, было от их улицы Гоголя идти далеко, через весь город.

Володя же в тот день, стоя в кабинете отца, говорил матери так:

— У меня есть достаточный запас воображения, и я могу де-таль-но себе представить, что меня ждет в Москве, если мама не даст мне по крайней мере сто рублей, пока я устроюсь.

— Ты опять за свои сто рублей, ты опять! — криком отвечала Зинаида Ефимовна.— Говори, куда ты, подлец, семьдесят пять дел, какие отец для тебя у командира полка выпросил, а? Куда дел?

— Мама напрасно прибегает к сильным выражениям,— стараясь соблюсти спокойствие, отвечал Володя, внешностью похожий на отца, так же, как и Еля.— Семьдесят пять рублей у меня, я их никуда не тратил, а только этого очень мало... Хотя бы еще столько же, если не сто, пока я, может быть, нашел бы себе в Москве урок за стол и квартиру.

Наблюдая при этом искоса мать, Володя стоял лицом к отцовскому шкафу, в котором за стеклами видны были медицинские книги,— десятков шесть, все в довольно красивых переплетах,— микроскоп и еще несколько некрупных, но, на взгляд Володи, ценных приборов. Свои гимназические учебники он уже продал, но ему дали за них всего несколько рублей, и вот теперь Володя прикидывал про себя, сколько можно бы было просить за отцовские книги и микроскоп и прочее, если бы нашелся покупатель.

Это были только расчеты, носившие отвлеченный характер, но если Володя наблюдал хотя бы искоса мать, то мать очень пристально наблюдала его и вдруг очутилась рядом с ним и почти пропела весьма встревоженно:

— Что смо-отришь? Что-о смо-отришь, а-а?

— Отчего же мне не посмотреть? — удивился ее тревоге Володя.

— Украсть, а? Ты украсть хочешь отсюда, негодяй? — выкрикнула мать задыхаясь.

Володя даже отскочил от шкафа, пораженный этим криком.

— Думай, мама! Думай, прежде чем так орать, как торговка! — закричал он и сам, чувствуя, что у него горят щеки, шея, а мать торжествовала:

— Ишь, ишь скраснелся как! Знает кошка, чье мясо съела! Ты ключ тут стоял подбирал, а? Покажи руки!

Она заслонила шкаф всем своим приземистым сырым колыхающимся телом, прижалась к нему спиной и впилась острыми, хотя и мутными с виду глазами в руки сына.

— На! Смотри! Смотри! — кричал Володя, распяливая руки перед самым ее лицом, точно хотел вцепиться в ее жиденькие, пока еще не седые, маслянистые русые волосы.— «Скраснелся»? Это я потому, что у меня такая мать, вот почему!.. Другая бы мать сама бы продала и книги эти, и микроскоп, и все, и шкаф, и шкаф даже, раз сыну, которому ехать учиться надо, деньги нужны, а ты-ы... Эх, ты-ы! Прямо чудовище какое-то, а не мать!

— Ага! Ага! Сам признался, чем ты дышишь! — ликовала Зинаида Ефимовна, плотнее прижимаясь к шкафу.— Отцовские книги хочешь загнать? Не да-ам, не-ет! Не позво-лю, пока я жива! Не поз-во-лю!

— «Не поз-во-лю»! — передразнил Володя.— А зачем они тебе будут, если папу убьют на войне? — выкрикнул сын, с ненавистью глядя на мать.

— А-а-а, так ты, значит, смерти отца жде-ешь, мерза-а-вец! — опять почти пропела мать, с ненавистью глядя на сына.

Этого уж не в состоянии был вынести Володя.

— Я бы сказал тебе... Я бы сказал тебе!..— пробежал он мимо нее и выбежал вон из комнаты.

А в голове его потом целый день звенело материнское: «Ты ключ тут стоял подбирал, а?..» «Ключ подбирал...» «Ключ подбирал...» Трудно было от этого отделаться, да и не хотелось отделываться.

II

На другой день утром, когда мать ушла на базар вместе с Васей (она добилась все-таки того, чтобы он таскал ей корзинки с базара), Володя в первый раз с зимы,

с памятного для Ели утра, когда привезли ее от полковника Ревашова, заговорил с сестрой.

Для Ели это было так неожиданно, что она широко раскрыла глаза.

— По-моему, для тебя это единственный выход из твоего скверного положения,— сказал Володя.

— Что «единственный выход»? — почти шепотом спросила изумленная Еля.

— А вот то, что ты вздумала идти в сестры милосердия,— пояснил Володя, причем никакого тона превосходства даже, не только насмешки над собою, Еля в его голосе не уловила и посмотрела за это на него благодарно.

Однако ей пришлось сказать:

— Да ведь не берут меня по малолетству, называется это у них «возрастной ценз»... Ты же слышал, конечно,— я говорила маме: требуется непременно не моложе восемнадцати.

— А ты отчего же там им не сказала, что тебе уже есть восемнадцать?.. Совершенно не понимаю, чего же тебе было с ними стесняться? — возразил ей Володя с большим, свойственным ему презрением — только не к ней уже, а к ним.

— А документы? Ведь документы требуются, чтобы зачислили на курсы,— объяснила брату Еля.

— До-ку-менты!.. Подумаешь, великая штука!.. Представь увольнительное из гимназии свидетельство,— вот и все.

— Да ведь я представляла, а там стоит год рождения — тысяча восемьсот девяносто восьмой,— доверчиво поделилась с Володей своим несчастьем Еля и увидела, что старший брат ее, «Маркиз», всегда такой чопорный в последний год, пренебрежительно и даже как-то озорновато усмехнулся.

— По-ду-маешь! — протянул он.— Как будто нельзя в этой бумажонке переправить восемь на шесть! Большая штука!

— Как же так переправить, Володя? — прошептала испуганно Еля.— Ведь это же подлог будет, за это под суд отдать могут.

— Ну да, «под суд»! — снова усмехнулся совсем повзрослому «Маркиз».— Что же ты состояние, что ли, чужое этим подлогом приобретаешь? Только и всего, что будешь с вонючими ранеными возиться или сыпным ти-

фом болеть... Великая выгода тебе от такого подлога! — сразу разрешил все сомнения брат.

— А разве судить за это не будут, если узнают? — уже не шепотом, а вполголоса, чтобы окончательно поверить брату, спросила Еля.

— Вот так новости! Кому же это интересно будет тебя судить? Кто и что от этого может выиграть?.. Ведь ясно, что никто и ничего!

— А вот же в метрике моей — там никак нельзя исправить,— вспомнила Еля.— Там написано словами «девяносто восьмого года»,— вспомнила Еля.

— А какой же отсюда вывод? Только то, что о метрике ты молчи, как пенек,— вот и вся политика.

— Да ведь спрашивают ее, метрику... Говорят: «Метрическое свидетельство принесли?»

— Ничего не значит, что спрашивают. Ты скажи, что потеряла, а когда новую выправишь, то непременно доставишь в целости,— вот тебе и все.

— Ты, Володя, хороший! — растроганно сказала Еля, дотронувшись до его руки и глядя на него не только благодарно, а даже и восхищенно.

Она поняла его участие к ней так, как ей хотелось понять, то есть что он простил ей и забыл тот позор, какой, по его же словам, тогда зимою внесла она в семью всеми в городе уважаемого врача-бессребреника, «святого доктора» Худолея.

Володя же спросил ее вдруг:

— А занятия на курсах сестер бесплатные?

— Конечно, бесплатные, а то как же,— удивилась его неосведомленности в этом Еля.

— Вот видишь,— сказал Володя,— а мне непременно нужно будет, как приеду в Москву, внести пятьдесят рублей за слушание лекций за первый семестр, иначе меня и в аудиторию не пропустят, а мама не хочет этого и знать.

У Володи дрогнул при этих словах подбородок, и Еля поняла отчего — она слышала накануне крики матери и брата около шкафа отца.

Сразу стала она на его сторону.

— Конечно, Володя, ведь тебе же нужны деньги, а мама... Я не знаю даже, что бы я в состоянии была сделать на твоем месте, Володя! — вдруг пылко сказала она, сжав оба кулака сразу и вскинув их перед собой с большой энергией.

— А что бы именно ты все-таки сделала бы? — не без надежды спросил Володя.

— Взяла бы да действительно подобрала ключ,— ответила Еля заговорщицким шепотом и оглянулась при этом инстинктивно, хотя в доме никого не могло быть, кроме них.

— А как же это подобрать ключ? — перешел тоже почти на шепот и Володя.

Еля же припомнила вдруг:

— Я слышала, что даже и ключа подбирать не надо: можно и просто проволокой замок отпереть.

— Проволокой?

Володя добросовестно подумал секунды четыре, потом добавил:

— Представить, конечно, можно...— Еще подумал и добавил: — Ну, допустим, отперли мы шкаф проволокой, а запереть его потом как?

— Я думаю, хотя бы отпереть нам,— очень оживилась Еля,— а запереть... Почему же все-таки нельзя будет запереть, если отпереть можно?

— А хотя бы и запереть нельзя было, что же тут такого? — вдруг решил этот сложный вопрос Володя.— Ведь мы свое с тобою возьмем, потому что папино! Раз оно папино — значит, не мамино, а наше... Маме из папиного имущества только седьмая часть приходится,— я уж наводил справки у юристов.

— Конечно, папа для нас жалеть бы не стал,— тут же поддержала его Еля.— Пускай дом на имя мамы, а шкаф этот папин, и все, что в шкафу есть,— это тоже его.

После этих слов, едва договорив их, она проворно, как ящерица, выскочила из комнаты на улицу, тут же, не теряя ни секунды, вернулась и, взяв за руку ничего не понявшего брата, сказала торжественно:

— Я знаю, где у мамы ключ от шкафа, только это нужно сейчас, пока ее нет! Мы там такое что-нибудь возьмем, что она и не догадается, а потом запрем и ключ на место.

Очень преобразилась вдруг Еля на глазах у Володи. Он привык видеть ее за последние месяцы пришибленной, неразговорчивой, неулыбчивой, глядящей исподлобья, даже сутуловатой какой-то. Теперь же перед ним была прежняя Еля, даже, пожалуй, еще более предприимчивая, чем прежде.

Спальня матери не была заперта: там недавно осела дверь, и внутренний замок перестал действовать, а при-

звать столяра или плотника Зинаида Ефимовна все никак не удосуживалась.

Войдя в спальню, Еля быстроглазо огляделась кругом, сразу определила все укромные места, где могла бы таиться небольшая связка ключей от шкафов, и нашла эту связку ощупью в нарочно наброшенной на нее куче ситцевых обрезков и мотков шерстяных ниток, то есть там, где не пришло бы и в голову Володе их искать.

Большое торжество в глазах сестры увидел Володя, когда она звякнула ключами, и теперь уж она кивнула ему на дверь, шепнув:

— Посмотри,— не идет?

Как и она перед тем, Володя стремительно выскочил на улицу, поглядел направо, в сторону базара, даже и налево просто так, для очистки совести,— матери с Васей не было видно.

А когда он снова вскочил в комнату, Еля уже стояла перед отпертым шкафом и при нем взяла очень быстро одну за другой три крайних книги со второй, считая сверху, полки. На четвертой же, оказавшейся «Диагностикой по внутренним болезням» проф. Клемперера, она задержалась и вынула из нее что-то, завернутое в газетную бумагу.

Она шепнула очень взволнованно: «Вот он!» — и тут же поставила «Диагностику» на место, проворно заперла шкаф и кинулась в спальню матери, чтобы связку ключей спрятать по возможности точно так же, как это было проделано матерью.

Только после этого она отогнула краешек газетной обертки, чтобы убедиться, что под нею есть именно то, чего она искала, убедилась, сказала облегченно: «Здесь!» — но на всякий случай опять приказала Володе:

— Поди посмотри еще, не идут?

И Володя так же покорно и так же проворно, как и в первый раз, выбежал на улицу и тут же вскочил обратно в дом, подняв предупреждающе палец.

— Что? Идут? — спросила Еля теперь уже без всякой тревоги.

— Показались! Только еще далеко,— сказал Володя.

— Да теперь уж неважно... Слушай, Володя! Это — папин выигрышный билет какого-то «Второго выигрышного займа» — так папа его назвал. Когда был розыгрыш этой зимою, папа его доставал и смотрел, а я видела,— я тут у него была. Он сказал мне тогда, когда начал

смотреть: «Ну, Елинька, на твое счастье: вдруг окажется выигрыш!..» А потом сказал: «Нет, плохое у тебя счастье!..» А билет этот положил в книжку и шкаф потом запер. Я только запомнила, на какой полке была эта книжка, а какая она, этого хорошо не рассмотрела. Ух, как я боялась сейчас, что ничего не найду!.. Слушай, Володя! Папа просил меня никому не говорить — значит, и маме тоже! Ты понимаешь, папа даже и от мамы этот свой билет прятал,— вот как! Он хотел, значит, ей сюрприз сделать, если бы выиграл... Ты знаешь, сколько нам за него могут дать, если его продать? Рублей... триста, должно быть, вот сколько.

— А кому же продать? Кто его купит? — спросил Володя, очень увлеченный тем, что так удачно проделала сестра.

— Как это «кто»? Кто угодно, стоит только об этом сказать кому-нибудь, у кого есть деньги.

— Триста рублей? — усомнился было Володя.

— Что? Много, думаешь?.. А выиграть на него можно и сорок тысяч и двести даже, если кому повезет,— я уж узнавала. Поэтому люди их и берегут, эти билеты, и вот папа тоже берег... Только ведь папе — ты сам знаешь,— не везло никогда в жизни.

— Ну, зато нам с тобой повезло,— оживленно сказал Володя.— Знаешь, что? Я его возьму с собой в Москву, там и продам... Давай!

И он протянул было руку за билетом, но Еля спрятала билет за спину.

— А мне сколько дашь? — пытливо спросила она.

— Тридцать дам,— подумав, назначил он.

— Ого! Так мало?! — удивилась она.

— Мало? А откуда же я возьму больше! — несколько оторопело спросил он.

— Пятьдесят дашь?

Она решительно тряхнула головой с гладкой прической темных волос и еще решительнее посмотрела прямо в глаза брата.

— А с чем же я сам останусь?

— Хватит с тебя до Москвы доехать. А как только доедешь, продашь билет.

Но Володя вдруг спохватился:

— А ты знаешь, что эти билеты в тираж выходят? Тогда уж они ничего, конечно, не стоят.

Однако Еля отозвалась на это совершенно спокойно:

— Если бы ничего не стоил, то зачем бы папа его и прятал? Изорвал бы да бросил: пропало бы то, сколько он за него заплатил, вот и все,— а то ведь опять положил в книжку, значит, ни в какой тираж не вышел.

— Сорок, так и быть, пожалуй,— неожиданно повысил цену билету Володя.

— Мне не у кого занять ни одного рубля, ты понимаешь? — довольно азартно уже теперь выкрикнула Еля.— А ты жадничаешь!.. И пойдем уж отсюда, а то если мама нас здесь застанет, она начнет строить всякие догадки, покою не даст!.. Во всяком случае ты, может быть, займешь у кого-нибудь десять рублей или там, я не знаю, как-нибудь достанешь, а я нет,— и весь разговор.

Они вышли и разошлись в разные стороны вовремя: мать с Васей уже подходила к дому, и Вася нес две корзины.

Похищенный выигрышный билет отца Еля спрятала в надежное место, предоставив брату подумать над тем, где и у кого мог бы он занять или каким-нибудь другим образом достать всего только десять рублей, чтобы не сорок, а пятьдесят дать сестре за ее удачу.

III

В тот же день вечером Володя, пропадавший где-то в городе так долго, что даже не поспел к обеду, вызвал Елю из дома поговорить окончательно, и говорили они, встретясь на другой улице, чтобы не вызвать у матери подозрений.

К этому времени Володя узнал у сведущих людей, сколько стоит выигрышный билет 2-го займа, и даже решил про себя, что сестра его имеет, пожалуй, право считать его теперь своим, если одна только она и знала, где он находится и как его можно извлечь из шкафа.

Однако десяти рублей в дополнение к сорока ему все-таки не удалось достать, и вот около часа, пока уже достаточно свечерело, брат и сестра, принимаемые проходящими, быть может, за влюбленную парочку, говорили хотя и не в полный голос, но довольно горячо об этих именно десяти рублях, пока не согласились, наконец, на обоюдную уступку: «Маркиз» дал сестре сорок пять рублей, а от нее получил отцовский выигрышный билет, ко-

торый развернул тут же, осмотрел, прочитал, чтобы не было никакого подвоха.

Годы, проведенные с раннего детства до юности в унылой скаредной бедности, когда на всех четверых покупалась только одна зубная щетка, служившая им до тех пор, пока не стиралась, не могли не сделать очень расчетливыми их обоих, особенно теперь, когда каждый из них готовился отпочковаться от родительского дома, густо пропахшего валерьянкой, и начать свою жизнь.

А на другой день после недолгих сборов Володя уезжал в Москву, и провожать его пошла на вокзал только Еля, и то не открыто, а тайком от матери. Володя не решился истратить тридцать копеек на извозчика, и Еля помогала ему донести до вокзала тощий чемодан.

Нечего и говорить, что — услуга за услугу,— в увольнительном свидетельстве Ели теперь стояло уже не 8, а 6, и никто бы не смог заподозрить исправления: Володя был искусный каллиграф, прекрасно владевший несколькими шрифтами, между прочим и готическим; Еля не могла быть неблагодарной ему за его работу.

Перед отходом поезда они простились, как любящие друг друга брат и сестра, долгим и крепким поцелуем, и даже слезы выступили на глазах Ели, вспоминавшей в эти недолгие минуты только то лучшее, что бывало в их жизни на скромной улице Гоголя, в доме, владелицей которого считалась их мать.

Еля дошла в эти размягченные минуты до того даже, что извинила брату и все то презрение к ней, какое, не стесняясь, проявлял он больше полугода: почему-то именно здесь, на вокзале, при расставании, может быть, последнем, это именно презрение и возвышало Володю в ее глазах.

Она смотрела на него нежно как на своего рыцаря. Никогда до этого не думала она, как идет ему студенческая фуражка, какой у него в ней независимый, умный вид. И когда поезд тронулся наконец, она не сводила глаз с окна вагона третьего класса, из которого высунул голову Володя, хотя мало что и видела при этом — мешали слезы.

Но с вокзала домой — это было в два часа дня — Еля шла ободренная примером брата. Точнее, она как бы тоже уехала уже из дому, только в сторону обратную: он на север, она — на юг.

Деньги, хотя их было всего только сорок пять рублей, ее положительно окрыляли. Она шла с такою лег-

костью, едва касаясь земли, как давно уже не ходила. И когда увидела, что навстречу ей идет какой-то старый полковник с сияющим медным крестом ополченца на фуражке защитного цвета и в новенькой тужурке тоже цвета хаки, она остановилась вдруг и обратилась к нему довольно звонким, не сомневающимся в себе голосом:

— Послушайте, господин полковник!

Полковник — он был гораздо выше Ели — остановился и даже постарался держаться при этом молодцевато, хотя был стар. Его крупный ноздреватый нос с горбиной нахлобучен был на серые усы, и начавшими уже белеть от старости красновекими глазами он внимательно приглядывался к девушке — почти девочке,— которая его остановила.

— Что скажете?—спросил он ее не то чтоб недовольно, однако и без особого любопытства, и это отметила про себя Еля.

Однако ей непременно захотелось поговорить с этим полковником, так как она уже чувствовала себя не кем другим, как сестрой милосердия,— если даже не совсем еще, то почти,— поэтому она сказала:

— Я сейчас на курсах сестер милосердия, через несколько времени (она даже хотела было сказать «дней», но подвернулось другое слово) получу свой аттестат... Вы не заведуете ли лазаретом для раненых? Может быть, у вас есть свободная вакансия для сестры?

Последнее было сказано в один прием, без всяких пауз, и Еля очень светло и выжидательно смотрела прямо в красновекие усталые глаза полковника.

— Нет, не заведую лазаретом,— ответил полковник и добавил: — Я в ополченской дружине.

Еля увидела на его погонах с двумя полосками и без звездочек,— как у ее отца,— цифры 7 и 5, что значило 75-я дружина. Но ей хотелось поговорить с ним еще, и она поведала ему улыбнувшись:

— По-видимому, здесь, в Симферополе, я не устроюсь. Помчусь в таком случае в Севастополь.

— Да, вот в Севастополе — там большой гарнизон, кстати и флот тоже,— там, конечно, возможностей больше вам будет,— добросовестно рассудил полковник, но тут полуседые брови его как-то сразу вспорхнули на красный потный морщинистый лоб, и он спросил:

— А вы не шутите? Что-то очень молоды вы для сестры!

— Восемнадцать лет! — с ноткой обиды в голосе сказала она и добавила: — Неужели я показалась вам моложе, господин полковник?

Полковник вдруг улыбнулся в усы и ответил не без игривости:

— Не на много: так годика на три, не больше.

— Вот какая я моложавая! — ликующе наружно и встревоженно внутренне, склонив кокетливо головку на левую сторону, проговорила Еля, полковник же, глядя на нее очень добродушно, протянул:

— Да-а, приятно видеть!

Потом, поднеся руку к фуражке, добавил:

— Желаю здравствовать!

— До свиданья, господин полковник! Если будете когда в Севастополе, может быть, увидимся,— бойко сказала на прощанье Еля.

— Буду, буду в Севастополе,— сказал полковник, продолжая улыбаться добродушно,— и сочту долгом увидеть вас непременно.

Они расстались вполне довольные друг другом.

Еля в разговоре с полковником до такой степени ярко представляла себя в форме сестры милосердия, что решила ехать в Севастополь, не откладывая этого ни на один день.

Так как Еля не просила у матери денег на эту поездку, то Зинаида Ефимовна ничего против такого решения не возразила, а убедить ее в том, что начали принимать и шестнадцатилетних, не стоило никакого труда.

IV

Полковник Добычин, после встречи на улице с девушкой,— почти девочкой,— кончающей уже курсы сестер милосердия, пришел к себе на квартиру заметно для самого себя несколько помолодевшим, и своей дочери, Наталье Львовне, по мужу Макухиной, сказал с прихода:

— Война, Наташа, не свой брат,— война людей подбирает!.. Девчушку какую-то сейчас встретил очень симпатичную, так она уж без пяти минут сестра,— пожалуйте, прошу покорно!.. А раненым, разумеется, приятно будет, когда девушка такая молоденькая с красным крестом перевязки им будет менять: гораздо скорее на ноги встанут.

Он даже замурлыкал было, когда мыл руки над раковиной на кухне, какой-то мелодичный романс:

Под чарующей лаской твое-ею
Оживаю я сердцем опя-ять...

Впрочем, дальше этих двух строчек не пошел — может быть, не вспомнил, как дальше.

Его очень толстая от пристрастия к пиву, несколько лет назад ослепшая жена сидела уже на своем месте в столовой.

На ее долю осталось в жизни только это: садиться раньше всех других за стол, будь ли то завтрак, обед, чай или ужин, и ощупывать удовлетворенно поставленную для нее бутылку пива, а также стакан — толстый, граненый, тяжелый, в серебряном подстаканнике. При этом у ее ног ложилась тоже весьма отяжелевшая белая длинношерстная собачка Нелли.

Семья Добычиных провела месяц предыдущего года и начало этого года на Южном берегу Крыма, где Наталья Львовна, которой было уже больше двадцати пяти лет, нечаянно вышла замуж за состоятельного владельца каменоломен Макухина, теперь старшего унтер-офицера, каптенармуса в той самой дружине, в которой Добычин был заведующим хозяйством, поскольку командиром дружины оказался призванный тоже из отставки генерал-майор.

Благодаря положению своего тестя Макухин получил возможность приходить каждый день к себе обедать. Эту квартиру нанял он, когда переехал сюда с Южного берега и перевез сюда же не только всю свою новую семью, но и мало пригодного к самостоятельной жизни архитектора Дивеева, Алексея Иваныча, незадолго перед тем освобожденного от наказания за покушение на убийство некоего Ильи Лепетова, любовника его, Дивеева, бывшей жены, которой теперь уже не было в живых.

За обедом в этот день они сошлись все впятером. Основательного вида, с густым ежиком красноватырыжих волос и с усами того же цвета, белолицый Макухин даже и в рубашке «нижнего чина» был все же довольно представителен, и погоны с тремя новенькими лычками лежали на его плотных плечах немятые, и сапоги он носил офицерского фасона: вообще сделал все, что было в его средствах, чтобы не очень конфузить в дружине своего тестя — штаб-офицера.

Притом он же знал, что с поступлением на действительную службу из отставки тесть его должен был бы

снова стать подполковником, то есть нашить три звездочки на свои погоны, однако он не делал этого, как не делал никто из офицеров дружины.

Состоятельность давала ему все: ведь офицеры вообще относились несколько иначе к тем из нижних чинов, у которых могли в случае крайней нужды перехватить взаймы ту или иную сумму. Сам же Добычин лелеял мысль перевести зятя из каптенармусов,— что было тоже, положим, не так плохо,— в канцелярию дружины, сделать его зауряд-чиновником, что было бы во всех отношениях гораздо лучше.

Макухин носил бы тогда не рубаху, а тужурку, и на ней у него были бы белые серебряные погоны чиновника, что же касается образовательного ценза, то этот второстепенный вопрос он надеялся уладить по-домашнему с командиром дружины, человеком, по его наблюдениям, неравнодушным к кредитным билетам крупного достоинства.

О нем именно, об этом генерале Михайлове, и начался разговор за столом, когда выпили по рюмке водки и стали закусывать.

— Верите ли, просто стыд и срам с таким командиром дружины,— возмущался Добычин.— Ведь офицеров у нас в четырех ротах военного состава сколько всего? Пятнадцать человек всего, считая с заурядами: по два младших офицера в роте, только и всего. Пусть даже будем двух врачей считать, которым и делать-то нечего, ну, адъютант еще, он же и казначей. Да ведь для такого офицерского состава маленького, в прежние-то времена, командир — да еще генерал — открытый стол держал, вот что! «Приходите ко мне обедать, господа офицеры!» — вот как прежде было!.. А этот генерал на солдатской кухне обедает!.. Садится себе за грязный стол и чавкает, как все равно охряпка какой!.. Э-эх, глаза бы не глядели!

— Наголодался, бедняжка, в отставке,— объяснила эту особенность генерала слепая, но ее дочь, Наталья Львовна, родившаяся и выросшая в полку, нашла нужным вступиться за генерала Михайлова:

— По-моему, просто он добросовестный: пробует солдатскую пищу каждый день, только и всего.

Однако ее муж, каптенармус Макухин, подмигнул ей не без лукавства в умных мужицких глазах и заговорил не спеша:

— Пробовал также и волк один... Шел это поп вечером по лесу, по тропинке, а за кустами стоял, на него глядел волк пожилых годов... Стоит, глядит да думает: «Сколько лет на свете живу, и много я всякой живности поел, а вот попов никогда не пробовал... Аль попробовать?» Поп ближе подходит, а у волка глаза горят и зубы сами собой щелкают. Только поп дошел, волк на него — и цоп за горло, а сам про себя: «Мне ведь только попробовать, какой у попов вкус бывает!» Так он, значит, пробовал, пробовал да целого попа и съел...

Наталья Львовна только пожала плечами, дослушав мужа, Дивеев же спросил его:

— Значит, ты, Федор Петрович, думаешь, что это он из скупости ведет себя не по-генеральски?

— А разумеется,— сказал Макухин.— Солдат, конечно, от своего обеда обязан быть сытым — ему больше податься некуда, а обед свой он должен хвалить, а не похвали-ка — это уж будет «претензия»... А генералу и ветчинки, и грибков маринованных, может, захочется, и компотца там какого-нибудь, и супа с фрикадельками, и котлет де-воляй...

— Будет уж ученость свою показывать,— перебила его Наталья Львовна с пренебрежительной ноткой в голосе: конечно, она была недовольна мужем с тех пор, как он стал всего только каптенармусом, унтер-офицером.

Ей, дочери полковника, имеющей довольно счастливую внешность и всегда одетой сообразно с ее достатками — изящно, со вкусом, казалось теперь даже как-то совсем неудобным показываться с ним рядом на улицах города, где прежде было для всех очевидным, что он — состоятельный человек, хорошо одет, имеет приличный вид, поэтому ей втайне,— она никому пока не говорила об этом,— приятнее было выходить из дома с Дивеевым, который носил прежнюю свою фуражку с зеленым бархатным околышем, с кокардой и инженерскими молоточками в скрещенном виде. При этом Наталья Львовна не хотела задумываться над тем, почему живет у них на квартире и ест-пьет на их счет совершенно чужой им человек — Алексей Иваныч Дивеев, который тем не менее тоже как-то не собирается заводить разговора о том, что он в сущности приживал какой-то и почему-то вот никуда от них не уходит.

Случилось все же так, что именно в этот день заговорил об этом сам Дивеев.

И хотя как раз это было за первым блюдом и в руках у Дивеева были обыкновенная никелированная ложка и кусок хлеба, тем не менее вид его — почти начисто лысого, с бородкой светлого цвета и такого же цвета глазами, длиннолицего и кроткого по внутреннему своему существу,— был торжественным.

— Мне пришла в голову,— сказал он, обращаясь к самому Добычину,— вот какая мысль: что если я обращусь, Лев Анисимыч, к этому вашему генералу Михайлову, примет ли он меня волонтером в свою дружину?..— Сказал и добавил поспешно: — В свою и вашу, конечно, и в вашу тоже!

— Куда уж вам в сорок лет волон-тером! — отозвалась ему вместо мужа слепая.— И волос-то уж на голове нет, а тоже туда же!

Это у нее вышло и без желания его уколоть и без малейшей тени добродушия: Алексей Иваныч ничем не мешал, конечно, слепой жить, как она может, но он и не играл с нею, то есть с самим собой, в ее присутствии ни в карты, ни в домино и при всей общительности своей не находил интересных ей тем для разговора.

Наталья Львовна сделала удивленные глаза и вздернула плечи, а обнаженной почти до плеча, полной и белой правой рукой махнула в сторону Алексея Иваныча в знак его безнадежности, но не прибавила к этому ни слова.

Макухин сказал:

— В нашей дружине и без тебя, Алексей Иваныч, людей вполне хватит, даже и молодых, не только потраченных.

А полковник Добычин просто потянулся к графинчику с водкой и сказал Дивееву:

— Давайте-ка вашу рюмку, налью вам,— еще по одной выпьем по случаю жаркого дня.

Алексей Иваныч рюмку свою протянул полковнику, но ответил Макухину:

— В газетах я читал, что даже и постарше меня люди во Франции и Бельгии идут в армию волонтерами.

— Так то ж заграница, там люди все на счету, а у нас их даже и пересчитать невозможно,— сказал Макухин.

Добычин же между тем, наливая не совсем уверенными подрагивающими руками водку Алексею Иванычу, думал о своем зяте, что вот если и в самом деле отличится этот архитектор, явится к ним в дружину, не ухватится ли за него генерал Михайлов, не засадит ли его чиновни-

ком в канцелярию, тем более что чин титулярного советника Дивеев имеет... Тогда уж, пожалуй, не устроишь зятя зауряд-чиновником.

И он, чокаясь с Дивеевым, сказал решительно:

— Давайте пропустим еще по одной и о том, что вы такое сказали, забудем... Будьте здоровы!

Выпил, крякнул, закусил почкой, кусок которой нашел в рассольнике, а Макухин, который тоже выпил рюмку, покачал головой и заговорил:

— Не знаешь ты, Алексей Иваныч, что такое есть военная служба! Это же от себя откажись, стань навытяжку и только и делай, что: «Никак нет!..» «Так точно!..» «Слушаю!» Об чем же ты про себя думаешь, об этом ты, брат, помалкивай, а то тебя, будь ты хоть из разумных умный, все равно дураком назовут. Ты же ведь к дисциплине неспособен — это раз, ничего в военной службе не понимаешь — это два, и даже никогда, я тебе скажу, ничего в ней не поймешь — это три...

— И стреляет по третьему разряду,— добавила Наталья Львовна, напомнив тем Дивееву о его выстрелах в Илью Лепетова на Симферопольском вокзале, от которых Лепетов, разбивший его (а также ее) жизнь, пострадал в сущности очень мало,— выздоровел через месяц.

Алексей Иваныч поглядел вскользь на Макухина и на полковника и остановил взгляд на Наталье Львовне. Взгляд этот был сложный и довольно долгий. Наконец, он сказал то, что могло быть понятным только ей одной:

— Мне кажется, что мать Ильи была немка, а?

— Не знаю... Почему вам это кажется? — спросила Наталья Львовна.

— Не знаю, почему именно, а только я думаю над этим теперь часто, и мне все больше так кажется: полунемец, да?.. И больше немец, чем русский. В нем именно русского-то и очень мало,— факт!

— По-немецки, правда, он говорил хорошо,— начала припоминать Наталья Львовна,— однако что же из этого следует? Мало ли кто из русских хорошо говорит по-немецки?

— А я теперь возненавидел все немецкое,— очень оживился Алексей Иваныч от этих ее слов,— и немецкий язык тоже, и каждый немец теперь стал мой враг!

— Эх, мысли у вас, Алексей Иваныч! — крякнул и вставил свое слово полковник.— Вы бы их гнали куда-нибудь подальше, эти свои мысли! На кой они вам черт,

а? Это я вам вполне искренне говорю! А что касается поступления на службу, то посудите сами, ведь вас могут в какую-то там, новую совсем,— при мне, пока я служил на действительной, таких не было,— школу прапорщиков отправить, вот что я вам скажу!

— Очень хорошо! — повернувшись к нему, отозвался Алексей Иваныч.

— Ничего хорошего! Во-первых, торчать вы там будете целый год, а война может окончиться через полгода.

— А зачем же меня будут там держать, когда война окончится? — осведомился Алексей Иваныч.

— Как же так зачем? Прапорщика из вас надо же будет сделать или нет? — удивился его непониманию Добычин.— На будущее время пригодитесь: призовут, чуть что еще война откроется.

— С кем же еще может быть у нас война в скором времени?

— Да уж так, с кем придется,— сказал полковник.

— Нет, с кем придется мне совсем не нужно, а только с немцами. Немец — это не мой и не ваш только враг; это — Враг с большой буквы.

— Да, конечно,— отходчиво согласился с ним полковник, взялся было снова за графинчик, но, подумав, отставил его к сторонке, вздохнул и сказал то, что, по-видимому, внезапно пришло ему в голову: — Прапорщики теперь тоже вполне приличное жалованье получают... Вообще война эта — пускай даже она только полгода всего протянется — в о-очень большую копеечку нашему правительству вскочит!

В это время кухарка Макухиных, подававшая второе блюдо — жареного гуся с гречневой кашей и помидорами, обратилась к полковнику:

— Человек там этот до вас пришел...

Кухарка,— ее звали Мотря,— имела суровый вид, пожалуй даже надменный.

Бывают такие старухи, что о них не скажешь уверенно, умели ли они когда-нибудь улыбаться; брови вниз, на глаза, и все лицо, как давно уж высеченное из камня цвета песчаника, только потверже, и каждая морщинка проведена искуснейшим резцом.

Старуха жилистая, сильная; жила когда-то своим домком, и вот пришлось теперь жить у людей, на людей готовить, и того именно, что пришлось так, ни за что

этим людям простить не хочет она, и каковы бы ни были они сами по себе, никаких в них достоинств не видит, хотя бы были они, например, полковники и не моложе ее годами, все равно у них в доме все кажется ей не по ее, и всю бы посуду тут она бы перебила, и всю бы плиту на кухне разметала, и уж наговорила бы им, своим хозяевам, если бы только дана была ей на то воля!

Человек этот приходил уже не раз, но запомнить, кто он такой, она не считала нужным, и не столько сам полковник, сколько Макухин спросил ее:

— Какой человек? Не Полезнов ли? В пиджаке сером...

А Мотря ответила ворчливо, глядя не на него, а на слепую:

— Не знаю, сколько он полезный, а в пинжаку.

Макухин тут же поднялся и вышел из столовой.

С Полезновым, с приказчиком сперва мучного лабаза, потом бакалейного магазина купца Табунова, Макухин перед самой войной вошел было в компанию — по части отправки пшеницы за границу. Война опрокинула это почти уже налаженное дело, но явилась для Полезнова возможность взять на себя поставку овса для лошадей дружины, в которой заведовал хозяйством полковник, а потом день за днем к нему перешла поставка овса и на другие дружины (всего в бригаде их было шесть), а в 75-ю он же взялся поставлять и муку для выпечки хлеба. Могли бы дать ему и поставку мяса, но это уж требовало больших хлопот, и за это Полезнов не взялся.

Часть денег, на которые он орудовал, была дана ему Макухиным, так что Макухин, и будучи призван, остался все же его компаньоном. И он пошел, чтобы с ним наедине поговорить о делах,— не при жене, даже не при теще,— а потом уж привести его в столовую, и то, если он сам этого захочет, то есть если имеет на это время: как деловой человек сам, Макухин умел ценить время компаньона, точно свое собственное.

В столовой это так и поняли все, даже Алексей Иваныч, и продолжали есть жареного гуся с помидорами и гречневой кашей, как появился сначала Макухин, имевший ошеломленный вид, а за ним Полезнов, в широком сером пиджаке, в который точно влито было очень прочное пятидесятилетнее тело лабазника, и в красном новеньком галстуке на мягкой сиреневой рубахе.

— Вот так штука! — оторопело обратился Макухин к полковнику Добычину, пока тот, слегка привстав, подавал руку Полезнову.— Переводят вас в Севастополь!

И Полезнов еще не успел подойти к Наталье Львовне, как все за столом одновременно и одинаково повторили:

— В Севастополь?!

— Вот тебе раз! — точно выдохнула, а не сказала слепая.

— Да ведь это в отдаленном будущем! — оправившись и припомнив, что действительно говорилось что-то о Севастополе, захотела убедить себя в противном Наталья Львовна.

Но Полезнов, который подошел в это время к ней, объяснил и ей и всем за столом:

— Только что я из штаба бригады, там и слышал, с тем и к вам пришел.

— Ну-ну, братец мой,— уже оправившись от смущения, пробасил полковник начальственно,— я сам только что пришел из дружины, однако там ничего такого не знали.

— Только что сию минуту приказ пришел, господин полковник,— совсем по-строевому доложил Полезнов, бывший на действительной службе таким же унтером, как и Макухин, и даже в одном с ним полку, только гораздо раньше его.

— До дружины, значит, не успело еще дойти, когда вы там были,— уточнил Макухин, не то чтобы стараясь убедить полковника, а прикидывая про себя время.

— Хорошо, допустим,— согласился полковник,— но какой же дается срок?

— Завтрашний день чтобы все собирались к переезду,— безжалостно, точно сам и отдавал такой приказ, отчеканил Полезнов, и после этих слов все замолчали и поглядели (кроме слепой) друг на друга так, точно сейчас предстояло им утонуть и ниоткуда не могло быть спасенья.

А Полезнов говорил огорченно:

— Прямо не знаю теперь, на что решиться. Вы люди служащие, и раз от начальства приказ, вам остается садиться в вагон и ехать, а у меня же тут жена, ребенок ползает, хозяйство. В Севастополь, выходит, мне тоже не миновать с вами вместе, а на кого же мне здесь все

бросить. Прямо горе и наказанье, и я уж даже жизни не рад!

Так как никто не сказал ему на это ни слова,— до того все были поражены,— он добавил с полным уже сокрушением:

— Конечно, в военное время военных людей пыряют почем зря: одних туда, других сюда, а вот я-то влип в это дело, так что и отстать мне нельзя, и чистое для меня, господа, разоренье.

— Разоренье какое же? — первым отозвался ему Макухин.— Только что ездить тебе придется отсюда туда, в Севастополь, и, конечно, фрахт лишний.

— То-то что лишний! — подхватил Полезнов.

— Ну, это должны будут учесть,— сказал полковник.

— Учтено это будет, господин полковник?

— А как же можно? Я могу представление сделать,— так же и в других дружинах.

— Это только на первое время трудновато будет, а там ведь наладится,— обнадежил и Макухин и добавил: — Садись, что же ты стоишь!

Полезнов заторопился усесться за стол, а слепая, пригубив из стакана пива, проговорила очень спокойным тоном:

— Это называется — благодарю, не ожидал!

Потом выпила весь стакан, не отрываясь, и не спеша налила второй.

Дивеев же, который до этого молчал, и катал, и мял в пальцах хлебный шарик, сказал Полезнову неожиданно для всех:

— В сущности вам зачем-то очень повезло в жизни, а вы почему-то недовольны.

— Какое же в этом вы находите везенье, когда это разор? — спросил Полезнов.

Он не понимал Дивеева и раньше, когда случалось с ним говорить; Дивеев же, бросив шарик к себе в тарелку, объяснил вдохновенно:

— Вы большими капиталами со временем ворочать будете,— погодите, дайте срок,— а большие капиталы, это что такое? Подарок судьбы, вот что — ни больше ни меньше! На вас опускается, значит, лапа ее величества Судьбы с разными там цехинами... Мешочек, конечно, имеет вес, что и говорить: золото; и вы, хотя человек не из слабых, а уж начинаете кряхтеть — как бы не придавило. Не придавит, смею вас уверить, вынесете! Только, разумеется, поднатужиться надо... Миллионы людей, мо-

жет быть, будут списаны со счета жизни, а вы разбогатеете, верно-верно говорю вам!

Полезнов посмотрел пытливо на других за столом, потом на Алексея Иваныча, потом поднялся несколько со стула и вполне серьезно произнес:

— Ну, спасибо вам на добром слове!

— Не за что,— механически отозвался на это Алексей Иваныч.

Мотря же, которая все слышала, стоя за дверями, появившись с подносом, на котором стояли вазочки компота, спросила Наталью Львовну угрюмо и не меняя каменного выражения лица:

— А мне как же скажете: оставаться еще или же с завтрашнего числа расчет?

V

Когда Полезнов, полковник и Макухин выходили втроем из квартиры последнего, они были так заняты своим делом о переводе дружины в Севастополь (причем полковник шел непосредственно в штаб бригады), что не обратили особого внимания на широкого человека в панаме — художника Сыромолотова; зато Сыромолотов впитывающими глазами вглядывался в каждого из них, повстречавшись с ними.

Он вышел не просто проветриться, потому что засиделся за своим мольбертом. Он продолжал писать картину и теперь, когда шел по улице. Как Диоген, он искал среди встречных человека, в котором были бы данные для пристава на его картине «Демонстрация».

Хотя он в письме к Наде и решил было этот вопрос так, будто лицо и фигура пристава для него безразличны, так как пристав с полицейскими будут на заднем плане, но ему пришлось перерешить это, когда он дошел до пристава вплотную.

Тогда забота Нади о приставе, ее желание непременно снять кодаком какого-то носителя этого звания в Петербурге, ее подчеркиванье роли пристава в той трагедии, которая вот-вот должна была разыграться, когда толпа демонстрантов вышла бы из боковой улицы на главную, убедили его в том, что не он прав, а Надя.

Пристав предстал перед ним, как оплот царской власти, грудью встречающий большую толпу демонстрантов,— естественно было ему представить эту грудь ос-

новательной ширины и крепости. Тот же пристав, которого он посадил было у себя на рыжего коня в белых чулочках, показался ему вдруг совершенно не отвечающим своему назначению.

Как взыскательный режиссер, заметивший, что артист, выдвинутый им для трудной роли, не справится с нею, что надо передать ее другому, Сыромолотов вышел на поиски другого пристава и на всех встречных военных смотрел испытующе: не подойдет ли этот или тот.

Вот почему он перевел свой шаг на «мертвый», когда увидел двух военных и штатского с ними, причем штатский (Полезнов) был тоже не из субтильных, а, напротив, как будто сам просился, чтобы натянули на него китель пристава и украсили его фуражкой ведомства полиции.

Макухин показался ему сыроватым; полковник же не подходил по своим годам, да и по всей уже расслабленной посутулившейся фигуре. В общем же из всех трех ни одного нельзя было бы посадить на гнедого коня в чулочках, а между тем эти трое были уже не меньше как из четвертого десятка встречных, тоже забракованных художником,— так трудно оказалось найти натуру для второстепенного как будто лица картины.

Чем дальше искал Сыромолотов, тем яснее представлялось ему то, что было необходимо: человек — стена, человек большой физической мощи и не из трусливых, совсем нет, а из очень стойких, самоуверенных, убежденных не только в непреодолимости своей, но еще и в политической правоте и способных драться за эту правоту до потери жизни.

Как охотник за редкой и дорогой дичью, увлекся в своих поисках Сыромолотов до того, что забыл про обед — пропустил положенное время, но это и потому еще, что проступала в памяти его какая-то богатырская фигура, одетая им не во что другое, как именно в полицейскую форму, в шинель, перетянутую кожаным поясом, и с шашкой на серебряной портупее поверх шинели, а на поясе черная кобура револьвера.

Где-то видел именно здесь, а не в другом городе. Давно уж, правда, это было, но где-то здесь... И когда Сыромолотов дошел до городского сквера со статуей Екатерины II, а против сквера увидел двухэтажный дом таврического губернатора, и полосатую будку, и околоточного надзирателя в белых перчатках, дежурившего около это-

го дома, причем перед будкой стоял часовой с винтовкой,— он вспомнил вдруг вполне отчетливо: здесь видел того монументального пристава.

Видел в Симферополе, но ему тогда пристав был не нужен, тогда он как-то даже и представить не мог, чтобы на какой-нибудь картине его появился бы подобный или другой пристав, да еще верхом на рыжем коне.

Теперь же Сыромолотов испытал неподдельную радость от того, что вот ведь остался где-то в памяти пристав, лучше которого нечего и искать, и стоит только подойти к дежурившему околоточному, можно будет узнать, как найти эту живописную натуру.

«Может быть, он теперь уж не пристав, а целый исправник,— думал художник, подходя к околоточному,— ведь двигаются же они по службе... А если исправник, то вернее всего, что здешнего Симферопольского уезда... И, наверное, будет даже польщен, если я обращусь к нему, что, мол, очень бы хотелось мне написать с него портрет... А может, подослать к нему кого-нибудь (только кого же именно?), дескать, не желаете ли вы иметь свой художественный портрет,— художник теперь, по случаю войны, взял бы с вас дешево... Это было бы лучше, чтобы не возникло у него каких-нибудь подозрений...»

Так думая, Сыромолотов действительно, миновав часового, подошел к околоточному, человеку уже немолодому, с простым солдатским лицом, и сказал:

— Простите, пожалуйста, но мне помнится, был у нас здесь геройского вида пристав — мо-лод-чага, прямо как монумент стоял,— загляденье!.. А что-то теперь я вот его не вижу. Где он теперь может быть, вы не знаете?

Околоточный взял вежливо под козырек, когда к нему обратился художник, быть может известный даже ему в лицо, и переспросил:

— Пристав, вы говорите?

— Именно пристав... То есть, кем же он мог быть еще? Помощником пристава, что ли? — только теперь поколебался Сыромолотов в определении должности того, кого вспомнил, но околоточный тем временем сообразил что-то и ответил вопросом:

— Высокий такой? — и поднял руку.

— Вот именно, именно, высокий и не тоненький, а, напротив, плотный,— постарался напомнить ему Сыромолотов.

— Дерябин? — спросил околоточный.

— Фамилии я не знаю.

— Такой, как вы говорите, был у нас только один — Дерябин, пристав третьей части.

— Третьей части... Дерябин,— повторил художник.— Вот видите, вы и вспомнили!

— Как же забыть можно пристава Дерябина! — с оттенком как будто даже гордости сказал околоточный.

— Но где же он теперь, пристав Дерябин, скажите, пожалуйста? Исправником?

Сыромолотов, восхищенный своею удачей, ожидал уже, что пристав-монумент действительно, как он и думал, стал теперь исправником, непременно в Симферопольском уезде, то есть живет не где-нибудь в другом месте, а в Симферополе, как прежде, только разъезжает теперь по своим станам; но околоточный отрицательно повел головой.

— Перевели от нас в столичную полицию помощником пристава,— сказал он, и художник удивился:

— Из приставов в помощники? Понизили, значит? За что же?

— Считается это повышение, а совсем не понижение,— объяснил, улыбнувшись, околоточный.— Ведь в столичную полицию, в Петербург. А пристава там в чине полковников.

— В Пе-тер-бург? Вот как... Так, значит, он теперь в Петербурге, пристав Дерябин? — разочарованно спросил художник.

— От нас попал в Петербург, а там уж точно не знаю, не могу вам сказать...— Потом, несколько понизив голос, добавил околоточный: — Не то чтобы протекция какая у него была, а просто как царь проезжал в Ливадию, конечно, увидал такого и отличил.

— Ну еще бы, еще бы такого не отличить, такого не заметить! — немедленно согласился со вкусом царя Сыромолотов.— Это все равно было бы, что слона не заметить... Значит, Дерябин, и он — в Петербурге... Очень вам признателен!

Он дотронулся до своей панамы, околоточный — до форменной фуражки с белой тульей, и они расстались.

Когда же возвращался к себе домой Сыромолотов, то не искал уже больше натуры для пристава: она была найдена. Однако не здесь, а в Петербурге. Мысль же о том, чтобы поехать в Петербург, мелькала уже у него и прежде, теперь она окрепла вдруг, так как теперь не

только все прежнее, что говорило ему за эту поездку, стало звучать гораздо настойчивей, но еще прибавился и новый красноречиво-убедительный довод: пристав, по фамилии Дерябин, оказался в Петербурге.

VI

Очень трудна бывает раскачка для привычных домоседов. Поди-ка брось то, что налажено и устроено в течение долгих лет, и кинься куда-то в неизвестное! И мастерской твоей, с которой ты сросся, у тебя нет, и время твое все отнято чем-то совершенно посторонним, и люди кругом тебя все насквозь чужие, и чтобы даже съесть что-нибудь, нужно тебе куда-то идти, с кем-то об этом говорить, выслушивать, сколько что стоит, вынимать из портмоне и считать деньги — целая куча хлопот, очень досадных, как комариные укусы, и таких же ничтожных, подменяющих своей бестолочью настоящую, привычную жизнь.

Когда Сыромолотов представлял себе,— а представить он мог, конечно, воображения у него было довольно,— всю вообще поездку по железной дороге от Симферополя до Петербурга, он чувствовал нечто похожее на зубную боль, которую прекращают тем, что соглашаются вырвать зуб: требовалось очень твердо сказать Марье Гавриловне, что необходимо во что бы то ни стало ехать, иначе...

Тут нужно было придумать что-нибудь такое, что было бы ей вполне понятно: например, продать картину «Майское утро», пока не разыгралась война как следует, а то, пожалуй, и не продашь, и чем тогда прикажете жить? С чем будете ходить на базар за мясом и прочими деликатесами? А тем более надо взять во внимание и то, что деньги вот-вот начнут падать в цене, значит, жизнь станет дороже... Эти доводы Марья Гавриловна, конечно, должна будет понять, а другие ей даже и не нужны.

Между тем все дело было, конечно, в этих других, хотя «Майское утро» Сыромолотов решил взять непременно с собой в вагон. Он точно измерил, какой величины выйдет это его «место», если он добавит к большому холсту кое-что поменьше, и какого приблизительно веса, это тоже не так трудно было представить. Кроме того, чемодан, кожаный, заграничный, укладистый и увесистый, и небольшой саквояжик.

Конечно, очень важным вопросом было, сколько времени придется пробыть в столице. На обдумывание этого ушло порядочно времени, пока Сыромолотов не остановился окончательно на десяти днях, твердо решив, что если вдруг не десять дней, а, например, две недели, то это будет преступление или несчастный случай.

Однако не только Марье Гавриловне, которая вела его маленькое домашнее хозяйство, не только кому-либо еще, гораздо более способному думать, чем она,— даже и самому себе едва смог бы Сыромолотов вполне ясно доказать, что поездка в Петербург действительно неотложно необходима: он только чувствовал это всем своим существом, но в точные строгие доводы пока еще не в состоянии был вложить.

Он чувствовал, что как только после разговоров дипломатов по поводу убийства в Сараеве заговорили пушки, в нем, художнике, рухнули все скрепы, что в сущности даже его, как художника, почти уже нет — он погребен под обломками того, чем жил до сих пор,—выберется ли из-под них, кто скажет?

Здесь, где жил он так одиноко, с кем ему было говорить о самом для него важном? Он и не говорил ни с кем. Теперь же, когда необходимо было найти самого себя, с кем ему было говорить об этом, как не с самим собою?

И он, пятидесятивосьмилетний, говорил самому себе: «Вот горит разрушенный немецкими снарядами собор в Реймсе... Могу ли я, видя это, оставаться прежним художником? Нет, не могу. Но ведь я не француз, я русский... Я могу всячески сочувствовать французским художникам, но если кто-нибудь из них заплачет при виде этого действительно ужасного зрелища гибели шедевра архитектуры, то разве и мне нужно плакать с ним вместе? Плакать или нет — это вопрос крепости твоих нервов; если не плакать, то ты можешь проклинать, стучать кулаками об стол, вообще как угодно выражать возмущение, но ведь дело и не в этом, а в том, можешь ли ты чувствовать себя жрецом храма, когда от этого храма остались одни головешки, которые тлеют, и подожгли этот храм не Герострат с помощниками, жаждущими славы после того, как их за это укокошат, а люди, претендующие на звание культурнейших людей на земле и украшающие себя за явный вандализм почетными железными крестами... Нужно ли после этого то искусство, которому я отдал всю свою жизнь? Нет не нужно!»

Это «нет, не нужно» было окончательный вывод из очень многих посылок и предпосылок, причем вывод настолько грозный, что даже такой твердый и смелый человек, как Сыромолотов, не решался все-таки до него доходить, искал, нет ли где окольной дороги, нельзя ли его обойти, не сгустил ли он краски.

Прежде всего, конечно, он хватался за свою новую картину «Демонстрация» и рассуждал о ней так: «Человечество зашло в тупик, это для всех ясно. Война, которая началась, это — ни больше ни меньше как акт самоубийства, то есть самоуничтожения общечеловеческой культуры... Разрушенный Реймский собор, сожженная библиотека в Лувене и прочее и прочее — это только проявление самоубийства, не говоря об уничтоженных культурных городах, о десятках, сотнях тысяч убитых, об изувеченных телах и душах, об ужасе младенцев, оставшихся без матерей и отцов... Что же можно сделать одному человеку, если на самоубийство решились народы?.. Вот я, один, из своего угла, трещу, как сверчок: «Вы видите эту толпу людей на моем холсте? Они идут безоружные против вооруженных. Это бессмертная человеческая мысль, поднявшаяся против дикой силы; это вдохновенный взрыв высокой человечности, и в этом взрыве нетленная красота!»...

Но за подобной защитой своей картины следовало резкое и едкое осуждение не техники ее, не композиции, а самой темы:

«Воробьиное чириканье!». ...Сидят воробьи на куче хвороста, а вверху над ними коршун вьется. Ершатся воробьи, хвосты дыбом, кричат несудом по адресу коршуна: «По перышку раздерем! По перышку раздерем!»... А только коршун остановился на месте, крылья сложил и вниз на них начал падать, юркнули все воробьи в хворост, как мыши,— только их и видели!.. Ведь это первый только акт картины, а второй — залп, еще залп,— и вся эта толпа демонстрантов побежит, конечно, за исключением тех, кто были впереди и останутся лежать на мостовой убитыми или тяжело раненными... Уж если писать первый акт, то как же можно не писать второго? Ведь это будет обман и самообман... Разве этот фортель достоин человека?.. Но даже если допустим, что картину я написал и она мне и «удалась» так, как никакая другая, что же дальше? Что я такое спасу в себе самом этой удавшейся картиной? Ничего решительно! Пустота останется пустотою... Картину «Демонстрация» я могу закончить

через два, положим, месяца, а война будет захватывать и после того все больше и больше людей своими орудиями уничтожения, разрушенных городов будет все больше и больше, готических и прочих соборов сгорит за это время столько, что люди потеряют им счет... А что, если война протянется не полгода, как думают многие, а год или даже два? Подумать страшно, как это опустошит все души! И где же в них, в опустошенных душах, найдет себе место какое-то там искусство?..»

В этом роде Сыромолотов мог говорить с самим собою,— но про себя, конечно,— долгие часы, когда сидел за мольбертом, когда сидел в столовой своей, украшенной арабским изречением о госте, который должен когда-нибудь уйти; наконец, и на улице, где тоже можно уж было теперь думать о своем: разнообразие жизни кругом этому теперь уже не мешало и не могло мешать.

Что касалось Петербурга, то не то чтобы он собирался ехать туда за поддержкой,— нет, конечно. Кто мог там поддержать в нем то, что уже рухнуло? Однако если не затем, чтобы поддержать, то зачем же? Вот этого он и самому себе не мог бы объяснить, так как тут была область инстинкта больше, чем рассудка.

Мерещилось, что если не в Петербурге, то где же еще можно заложить фундамент какого-то нового здания в себе самом на месте рухнувшего вместе с начавшейся войною...

Почему-то чувствовалось,— не думалось,— что легче, может быть, станет ему закладывать этот фундамент, если раз-другой увидит он там, в Петербурге, Надю Невредимову.

VII

Жена Полезнова нянчила свою девочку, когда он пришел от Макухиных. Он сказал ей, только переступив порог:

— Ну, Марфуша, беда пришла — отворяй ворота!

Марфуша,— она была лет двадцати двух, не больше, с волосами, как лен, с девичьим лицом, не то чтобы красивым, но миловидным, узкоплечая, но с могущественным животом последнего месяца беременности,— поглядела на него испуганно и прошелестела:

— Господи Исусе, что же могло случиться?

— Дружины наши в Севастополь переводят, вот что!

Марфуша перевела дыхание и поставила девочку на пол:

— А я-то думала и в самом деле что-нибудь...

— Какой же тебе еще беды надо? — удивился ее тупости Полезнов.

— Я думала, под суд тебя отдают, Иван Ионыч,— объяснила она свой испуг.

— Под суд? За что же это меня под суд?

— Ну, мало ли... раз ты с таким делом связался, да еще самолично, долго ли до греха... Будь бы хозяин твой, то он бы и отвечал в случае чего, а то ведь с твоей головы взыщется, если не угодишь начальству.

Говорила она не то чтобы преднамеренно певуче, а как-то так это выходило у нее само собой: слова как будто пелись, и это особенно почему-то нравилось степенному приказчику бакалейного магазина купца Табунова, когда он приглядывался к ней, как к подходящей невесте.

Ему, очень прочно сколоченному, хотя и староватому уже жениху, захотелось тогда, чтобы возле него была эта худощавая на вид, беловолосая, певучеголосая Марфуша, ходившая в белом переднике, горничная вдовой генеральши Первачовой, и пока ему казалось, что ошибки он не сделал, женившись на ней. Генеральше она тоже нравилась, иначе не расщедрилась бы старуха на приданое ей в триста рублей, не была бы посаженой матерью на свадьбе, не крестила бы девочку.

Генеральша также одобрила его планы насчет поставок для военных частей, хотя бы ополченских: она заботилась о пользе отечеству. А где же теперь его польза, если придется что ни день ездить в Севастополь.

Вспомнив, что он услышал от Алексея Иваныча, Полезнов счел нужным передать это жене для ее, а больше для своего спокойствия:

— Там у Макухина один юрод живет, не пойму я, кем он ему доводится, Удивеев его фамилия, тот, конечно, улещал, что, дескать, капиталы я будто бы обязательно должен большие нажить на этом деле, только что не без хлопот, само собою... Хлопоты, заботы — это мне, конечно, не привыкать их иметь, я на этом вырос, а только с моей стороны пойдут теперь затраты, а с ихней, с военной—прижим... Они и здесь-то не устроились, эти дружины, ополченцы теперь кто в чем и в своем ходят, свои сапоги бьют, а казенную обмундировку когда еще полу-

чат, а там, в Севастополе,— тем больше,— пока перевезутся, последнее растеряют, также и насчет лошадей надо сказать. А начальство только в свой карман смотрит, который, можно сказать, вполне поповский, вроде мешка.

— Ты бы отказался, Иван Ионыч,— посоветовала Марфуша.

— Отказаться — значит залог мой должен пропасть, вот какое дело... Как откажешься, когда лошадям каждый день кушать надо? Также и людям каждый день хлеб давай... Разумеется, еще и компаньон у меня, ему-то отказаться никак нельзя, он состоит на службе... Эх, крепиться, конечно, как юрод этот говорил, придется, ничего не поделаешь, а чтобы капиталы потом видеть — это сомнительно мне!

Полезнов не договаривал главного, того, что он привык ежедневно являться домой, где бы он до этого ни был. За тридцать почти лет приказчичьей жизни эти слова: «дома», «домой» — не могли для него не стать самыми святыми словами. Чтобы еще больше укрепить и освятить их, он женился. Женою он был доволен — она была больше чем вдвое моложе его и его почитала: как начала называть по имени-отчеству, так и катилась по этим рельсам.

Девочка вышла лицом и повадками вся в нее — беленькая, беловолосенькая,— а в скором времени должен был появиться мальчик, который, надо было думать, пойдет в него: Полезнов был так уверен в этом, что не стал бы слушать и самого Дивеева, если бы тот вздумал уверять его в чем-нибудь другом.

И вдруг вот, изволь, Севастополь, другой, непривычный город, гораздо дальше от полей, чем Симферополь, доставать и доставлять туда что овес, что муку,— это, прежде всего, значит оторваться от своего дома, от семейства, а если туда переехать с семьей, это будет значить поломать всю свою налаженную жизнь.

— Неужто ж и нам с тобой, Марфуша, с места сняться придется, да тоже в Севастополь, а? — спросил он с тоской и сам себе ответил: — Да нет, это что же оно такое будет! А если дружины через месяц из Севастополя куда-нибудь, в Одессу, что ли, перевезут, стало быть и мы с детями должны в Одессу? Не-ет, ты будешь оставаться здесь, где живешь, и разговоров о переездах чтоб не было!

VIII

Сыромолотов выехал с поездом, отходившим на Москву — Петербург, днем, поэтому голова его была ясна и все вокруг себя он видел ярко.

Прощаясь на полмесяца (считая с дорогой в оба конца) с Марьей Гавриловной, на которую он оставлял свою мастерскую, еще дома он установил, на что должно быть обращено особое ее внимание. Правда, ключ от мастерской он взял с собою, окна изнутри забил досками, дверь внизу и вверху укрепил гвоздями, но мало ли что могло случиться в его отсутствие? Например, налет воров или пожар, если даже не у себя, то у соседей или что-нибудь еще, совершенно непредусмотренное... Марья Гавриловна должна была найтись, как надо действовать и в том случае, и в другом, и в третьем. От обилия свалившихся на ее голову обязанностей она имела очень удрученный вид, но втайне от своего хозяина решила, как только он уедет, нанять себе в помощь одну бойкую старушку, с которой уже договорилась и о плате.

Провожая его, на вокзале нашла она было носильщика, но Сыромолотов спросил ее грозно:

— Это зачем же вы выдумали?

— Нельзя же, Алексей Фомич, чтобы вы сами чемодан такой тяжелый несли! — горячо заступилась она за свою выдумку.

— Как это нельзя? Кто запретит мне это?

И Сыромолотов отмахнулся от носильщика и понес сам и чемодан, и свои картины, скатанные в толстую трубку, и саквояж, ничего не оставив даже и для Марьи Гавриловны, стремившейся ему помочь.

Простился он с ней на взгляд других довольно сумрачно, а на взгляд ее самой — растроганно, так что даже задрожал у нее подбородок от нахлынувших чувств.

Но вагон, в котором получил место Алексей Фомич, был хотя и мягкий, однако не плацкартный, и занять в нем удобное для сна верхнее место без носильщика оказалось гораздо труднее, чем он предполагал.

Свободное место, правда, оказалось в одном купе, и он даже успел положить на него картины, но только что поднял вровень с ним увесистый чемодан, как услышал сзади:

— Тубо! Это кто тут мостится на мое место?.. Послушайте, вы-ы! — и на плечо его легла чья-то рука с грязными ногтями.

Сыромолотов успел все-таки установить чемодан рядом с саквояжем и только тогда обернулся и увидел какого-то явно очень пьяного штабс-капитана с мутными глазами, потным носом, чалыми обвисшими усами.

— Вам что угодно? — спросил его Сыромолотов.

— Это место облюбовано мною, а-бо-ни-ровано мною, черт возьми! — постарался как мог отчетливее выговорить штабс-капитан.

— А я его занял, так как мысли и замыслы ваши были мне неизвестны, а чего-либо вашего на этом месте не лежало,— вот и все! — объяснил художник.

— Па-атрудитесь а-ачистить! — гаркнул штабс-капитан с такой миной при этом, что Сыромолотов не мог удержать невольной усмешки.

— Вы-ы что ощерились? — рявкнул штабс-капитан.

— Что это значит? — насколько мог спокойно спросил Сыромолотов.

— Нне понимаешь по-русски?

И штабс-капитан поднял кулак.

В купе было еще два офицера, державшиеся безучастно, и к ним обратился художник:

— Господа! Не можете ли вы укротить своего товарища, иначе я вынужден буду его изувечить.

Это подействовало. Один из офицеров обнял буяна и постарался вывести его из купе, а Сыромолотов поднялся на верхнее место, расположил на полке чемодан, на сетке — картины, наконец улегся и сам, чтобы показать кому угодно другому, не только пьяному штабс-капитану, что место действительно, а не мысленно только занято, притом занято очень прочно.

Глядя в окно, увидел он в последний раз Марью Гавриловну и нашел, что не только лицо ее, но даже и простенькая шляпка с каким-то выцветшим матерчатым цветочком имеют осиротевший вид... И ему жаль стало покинутого уюта.

Пробежал кондуктор, свистя в свой жестяной свисток. Поезд дернулся и стал; дернулся еще раз и снова стал; наконец двинулся.

Так началась поездка весьма засидевшегося на одном месте художника в возбужденную небывалой войной столицу России.

Теперь, когда поезд шел и шел на север, Сыромолотов мог до усталости в глазах глядеть в окно на ежеминутно меняющийся пейзаж степного Крыма и думать без всякой помехи.

Есть летучие рыбы, но есть еще и такие, которые способны благодаря особому устройству своих жабр и плавников долгое время дышать воздухом вне воды и не только передвигаться по земле — покидать высыхающие водоемы и переползать в другие, если они имеются поблизости,— но даже и вскарабкиваться на деревья, откуда открывается перед ними широкий кругозор.

Сыромолотов теперь был похож на такую именно рыбу. Из города средней величины, не маленького, но и не очень большого, жизнь в котором не могла всколыхнуть в достаточной степени даже и война в Европе, он медленно, но верно полз туда, где не могло не царить великое беспокойство мысли.

Приобщиться именно к этому беспокойству, чтобы озарить им свое собственное, стремился художник, и ему доставляло осязаемое удовольствие уже то одно, что за три дня дороги он может привести все свои мысли в полную ясность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЦАРЬ В МОСКВЕ

I

В то время как художник Сыромолотов решал сдвинуться с места, чтобы подышать бурным воздухом столицы, царь из столицы приехал в древний русский город, первопрестольную Москву, для «единения со своим народом».

Что ни говори, а положение создалось трудное даже и для самого царя, раз началась мировая война, и приезд в Москву обдуман был всесторонне.

Правда, столь же всесторонне было обдумано однажды в начале его царения подобное же «единение с народом», и в той же Москве, но окончилось оно весьма плачевно. Это было в дни коронации, когда народ кинулся до того ревностно «единиться с царем», что тысячи людей были задавлены и тысячи изувечены на Ходынском поле под Москвою.

Впрочем, это событие не сорвало заранее намеченных празднеств, и царь в этот же день вечером был на балу в кремлевском дворце.

9 января 1905 года в Петербурге уже, а не в Москве, рабочий народ захотел если не «единения», то хотя бы

такой непосредственной близости к царю, чтобы изложить ему свои нужды, но он был встречен залпами, и по числу жертв «кровавое воскресенье» стоило «Ходынки».

Теперь царь приехал в Москву, подкупленный манифестациями в Петербурге по случаю объявления Германией войны России.

В столице понимали одно: враг заведомо очень силен, значит, родина, Россия, в большой опасности. Люди вышли на улицы, чтобы убедиться в своей сплоченности, в своем общем желании защитить землю отцов и дедов. Люди захотели услышать от тех, кто ими правил, готовы ли они к защите русской земли, не будет ли снова того же позора, какой постиг уже русское оружие в совсем недавней войне на Дальнем Востоке.

Обеспокоенные будущим, вышли на улицы Петербурга жители, толпившиеся тогда и перед военным министерством, и перед Адмиралтейством, и перед Зимним дворцом, где, как правильно и предполагалось ими, сосредоточены были и все данные о русских силах и все планы защиты русской земли.

Царь же занес это на свой личный счет и захотел увидеть такие же проявления преданности себе народа и в сердце России, в Москве.

Если бывший друг его, а нынешний противник кайзер Вильгельм сделал себя верховным главнокомандующим всех сухопутных, морских и воздушных сил Германии, то как же было не ответить на этот шаг «кузена Вилли» подобным же шагом? И, назначив верховным главнокомандующим своего дядю, Николая Николаевича, царь тем не менее объявил, что в свое время во главе своей армии станет он сам.

Пока, значит, такое время еще не наступило,— ведь война только что началась,— но народ должен твердо знать, что человек наивысших военных дарований — это его император, и в нужный момент эти свои дарования он проявит. Но народ в сердце России должен видеть воочию своего царя — полководца в будущем, и вот — смотрите, любуйтесь им — он в Москве, и все сорок сороков московских церквей встречают его восторженным праздничным трезвоном.

Московский градоначальник генерал Адрианов велел напечатать и расклеить по всем видным местам обращение к москвичам, в котором доступ публики в Кремль

объявлялся вполне свободным и даже «на площадь Архангельского собора публика будет допускаться без всяких билетов».

Разумеется, плотные ряды войск служили надежным барьером между публикой и царем, и малейшая возможность каких-либо «беспорядков» была бы тщательно предотвращена усиленными нарядами полиции и жандармов. Кроме того, были протянуты толстые канаты, назначение которых было «сдерживать энтузиазм толпы».

При расследовании катастрофы на Ходынском поле было установлено, что тысячи задавленных насмерть прижаты были к прочным деревянным стойкам, за которыми стояли чиновники, раздававшие царские подарки — грошовые стаканы с вензелем царя «Н». Канаты сочтены были теперь менее опасными для здоровья москвичей, хотя стремление к единению с царем должно было достичь такого же высокого подъема.

Одна газета в день приезда царя — 4 августа — писала об этом так: «Сегодня ликование Москвы достигнет такого подъема, клики радости дойдут до такого предела, за которым начинаются слезы восторга. Сегодняшний приезд царя, пребывание вокруг него всего состава правительства, представителей законодательных учреждений, послов дружественных нам держав делает этот день высокоисторическим».

Сигнал к трезвону всемосковскому был подан с колокольни Ивана Великого к третьему часу дня: гулко ударили там в тысячепудовый колокол, и потом залилась звоном Москва в знак того, что с Александровского вокзала, куда прибыл царский поезд, двинулись уже один за другим экипажи и машины к Кремлю.

Публика, с полудня терпеливо дожидавшаяся «высокоисторического» события, успела уже промокнуть под дождем, на который очень скора бывает первопрестольная столица летом, но утешала себя тем, что «при каждом важном событии дождь — это к счастью».

Впрочем, так говорили только счастливые обладатели непромокаемых плащей и зонтов, а не имевшие ни тех, ни других были настроены гораздо более мрачно и переругивались с теми, кто около них в непроходимой тесноте раскрывал зонтики:

— Послушайте! Это черт знает что! Вы мне глаза выколете своим зонтом!

— Ну, так уж и выколю! Глупости какие!

— Непременно выколете, я вам говорю! Сверните зонтик!

— Ну да, ждите! Так я и свернула!

— Послушайте! С вашего зонта льет на меня, как из трубы водосточной!

— А вам разве не все равно, откуда на вас льет, с зонта или с неба?

— Прошу вас держать зонт от меня подальше!

— Еще чего не попросите ль!.. Как мне удобно, так и держу, так и держать буду!

Трудно было даже и дышать, не то что препираться. Осоловели в конце концов и мокли уже безропотно. А когда дождь перестал, повеселели: это предвещало, что должны двинуться с вокзала экипажи и машины, потому что они ведь предполагались открытыми, а какая же была бы в этом торжественность, если бы на царя с его семейством и на всю его пышную и весьма многочисленную свиту лил бы дождь?

Понятно было для всех, что они пережидали дождь на вокзале, а раз прекратился дождь — появятся на улице, ведущей к Кремлю.

И вот, наконец, в сиянии солнца после дождя и в гуле колоколов, они показались — и началось «ура!» точь-в-точь такое самое, какого требовали и ожидали генерал Адрианов, московский городской голова Брянский, командующий войсками Московского военного округа генерал-от-инфантерии Сандецкий, губернский предводитель дворянства Самарин и московский губернатор граф Муравьев и другие готовившие встречу царя.

Из них и Брянский и Сандецкий были только «временно исполняющими обязанности», и от успеха этой встречи могло зависеть их утверждение в должностях; генерал-майор Адрианов ожидал очередного ордена и повышения в чине, а метивший в министры Самарин надеялся быть замеченным и царем и царицей.

И многое множество других, занимавших разные посты в самой ли Москве или в Московской губернии,— все связывали исполнение своих тайных и явных посягательств на повышение с приездом царя в такой исключительный момент и все свои опасения связывали с тем, как будут вести себя москвичи на улицах и в Кремле... Вдруг что-нибудь случится похожее на то, что случилось с эрцгерцогом Францем-Фердинандом в Сараеве? Тогда уж не повышение по службе, тогда всей служеб-

ной карьере конец, тогда судебное следствие, а может быть, даже и суд, а по суду мало ли к какой пакости могут приговорить!

Так что от густоты и многочисленности толпы москвичей, которые не ждали и не могли ожидать для себя никаких милостей, зависело очень многое там, наверху, где учащенно бились сердца и до предела напрягалось все: зрение, слух, способность мыслить и просто выносливость тела.

На улицы вышло и духовенство церквей в шитых золотом ризах, в скуфьях и камилавках, с иконами и хоругвями,— причт около своей церкви, и с хором своих певчих. Были выведены учащиеся школ, мужских и женских, с оркестрами, которые должны были исполнять гимн... Все они мокли под дождем, ожидая той минуты, когда должны будут проявить свои верноподданнические чувства в криках «ура», в «Боже, царя храни!», в реве труб духовых оркестров...

В Спасские ворота Кремля в этот день въехало очень много экипажей и машин: царь явился в Москву в сопровождении привычных для себя, надежных высших чинов Петербурга. Это обилие свиты царской, конечно, должно было поразить москвичей, а ведь о том только и заботились в Петербурге, чтобы поразить простушку Москву. Признано было необходимым, чтобы всероссийский монарх снизошел к ней во всем возможном великолепии, чтобы вызвать к нему не только любовь (вероятно, потускневшую после декабрьского — в 1905 году — восстания на Пресне), но и величайшую преданность, необходимую ему для будущих подвигов в борьбе «с наглым и сильным врагом».

То, что царь со своей семьей — императрицей Александрой Федоровной, четырьмя дочерьми и малолетним наследником Алексеем — въехал в Кремль в открытом экипаже, а не в машине иностранного изделия, должно было, по замыслу двора, польстить патриотизму москвичей: по-русски на лошадях, как все вообще старинные московские цари, собиравшие по уделам русскую землю, создававшие и укреплявшие и Москву и Кремль, с его зубчатыми стенами, с его соборами Архангельским и Успенским, с его Грановитой, с его дворцом.

На лошадях, по-старинному, въезжали в Спасские ворота и все члены правительства: министры, во главе с председателем совета министров семидесятипятилетним

Горемыкиным и еще более престарелым министром императорского двора графом Фредериксом, обер-гофмаршал граф Бенкендорф, обер-шталмейстер генерал-адъютант фон Гринвальд, обер-церемониймейстер барон Корф, несколько гофмейстеров, несколько флигель-адъютантов и прочих придворных и свитских чинов, блиставших золотым шитьем своих мундиров, почтенной тяжестью орденов и широкими алыми и синими лентами через плечо.

Машины предоставлены были послам союзных держав — Бьюкенену и Палеологу, бывшим тоже в полном параде. Машины везли и вице-председателя Государственного совета старика Голубева, и председателя Государственной думы, богатейшего помещика Екатеринославщины, колоссального ростом и толщиною Родзянко, и многих-многих других, прибывших из Петербурга...

Трудно было бы сосчитать все эти экипажи и машины, если бы даже кто-нибудь из толпы москвичей вздумал задаться этой целью. Но кому могла прийти в голову такая цель, когда глаза ловили только лица — и далеко ведь не все — тех, кто правил огромнейшей русской землей, шитье их мундиров, бриллиантовый блеск их звезд и старались угадать за ними подлинный государственный ум, чтобы убедиться в том, что защита крепка, что победа над немцами несомненна, что жизнь России не будет потрясена иноземными руками, что сердцу России, Москве, не суждено в недалеком будущем содрогнуться и замереть от ужаса, как случалось уже это в прошлом.

Иные головы, полные трезвых практических мыслей, кивали одна другой с проницательным прищуром:

— Облегчит теперь, не иначе, царь наших толстосумов: расстегните, дескать, мошны пошире,— нынче не летошний год... Вы, голубчики, маху не давали, на копеечку рублишко наживали, теперь выручай, жертвуй!

А прислушиваясь к звону сорока сороков колоколен, добавляли:

— Простым манером, может и до колоколов дойти! Прикажет: «Снимай какие лишние — на пушки пойдут!» И ничего не поделаешь, придется снять.

Что царь явился в Москву не для того, чтобы озолотить ее, а, напротив, для того, чтобы снять с нее позолоту на нужды войны, в этом только очень немногие сомневались. Но мало кому,— разве лишь духовенству,— приходила в голову мысль, что Москва богата не толь-

ко тем, что скопили изворотливые толстосумы, не только тысячами колоколов, а еще и святынями, вполне уже примелькавшимися москвичам.

Из Петербурга, из Зимнего дворца эти святыни отчетливо кидались в глаза: в молодом городе Петра не было ведь таких древних, таких чтимых, а царь был богомолен. Он заботился о том, чтобы святынь в России больше было при нем, чем при его отце, и деде, и прадеде, тоже богомольных. При нем открывались не только новые мощи, даже царский друг, Григорий Распутин, прижизненно в стенах дворца возведен был в ранг «святого старца», хотя был и не то чтобы свят, и не так уже стар.

С первых дней война с Германией и Австрией была названа «священной», и в это слово вкладывался большой политический смысл: она ведь была поднята в защиту всего вообще славянства — не одних только сербов — от натиска германизма, натиска сильнейшего за всю многовековую историю их соседства.

«Священное» должно было проявиться воочию перед множеством москвичей, когда «священная особа всероссийского монарха» соприкоснется с московскими «святынями».

И разве мог царь пропустить на пути следования к Спасским воротам Кремля Иверскую часовню? Перед нею остановился его экипаж, и он вышел со всей семьей, чтобы поклониться иконе Иверской божьей матери, и торжественно был встречен епископом Трифоном с прочим духовенством, а все остальные экипажи и машины царского поезда, остановясь, ожидали, когда он снова усядется в свой экипаж.

II

Москва на улицах на пути в Кремль и Москва, допущенная за кремлевские зубчатые стены, должна была, по замыслу придворных чинов, быть очарованной и пораженной чрезвычайным обилием всевозможных высокопоставленных, составлявших свиту царя, но дальше «ура» и «Боже, царя храни!» не пошло и не могло идти, конечно, единение монарха с народом. Разговор вышел весьма немногословный и вполне односторонний. Учитывалось только, высок ли градус энтузиазма народа при виде царя.

Разговор же иной, от глубины сердец и блеска разума, произошел на другой день, в стенах Большого кремлевского дворца, причем прибывшие для этой церемонии в утренние часы избранные москвичи разместились и в Георгиевском, и в Александровском, и в Андреевском, и во Владимирском залах.

Разумеется, «вся Москва» еще с семи часов утра валом валила в Кремль, так как объявления главноначальствующего Москвы оповещали всех, что в этот день «состоится Высочайший выход из Большого кремлевского дворца в Успенский собор».

«Вся Москва» шла через все кремлевские ворота: как и предыдущий, этот день был снова ее днем, днем единения,— и все мелочные житейские заботы были заброшены ради такого зрелища.

Ничего, что утро выдалось холодное, все небо в тучках и угрожает дождем. Теперь уж все приготовились к этой возможной неприятности — запаслись зонтами, плащами, терпением.

Но выходу в Успенский собор должен был предшествовать выход из царских покоев в залы Большого дворца. Этот-то именно выход и был особенно тщательно подготовлен, как готовится постановка пьесы серьезно относящимся к своему искусству театром, да и кто мог отказать в режиссерском таланте опытному обер-церемониймейстеру двора, каким был барон Корф?

Строгие белые стены огромных двусветных зал, лепные потолки, массивные, длинными рядами идущие одна за другой бронзовые люстры вверху, декорированные хоры для оркестров — все это мертвое обычно великолепие ожило в этот день и приобрело нужный смысл.

В залах, в ожидании царского выхода, разместились в предуказанном порядке и высокие гости из Петербурга, и те избранные москвичи, которых желали здесь видеть.

Это были все члены городской управы и гласные городской думы; это были представители московского земства, во главе с фон Шлиппе, председателем губернской земской управы; это были представители купечества и мещанства Москвы.

Нечего и говорить, что дворяне Московской губернии со своим предводителем Самариным были поставлены отдельно от купечества и мещанства: они были размещены в Георгиевском зале вместе с представителями земства и городов и с гражданскими чиновниками высших и сред-

них рангов. В этом же зале предложено было ожидать царя и Голубеву и Родзянке.

Дамы московские, допущенные во дворец, были отделены от мужей: их выстроили в Александровском зале, дав им в руководители петербургских придворных дам.

Чины «свиты его величества» и военные чины заняли Андреевский зал, а купечество и мещанство — Владимирский.

Ровно в 11 часов начался «высочайший выход».

Его открыли камер-фурьеры, картинные, чинные, полные важности момента и своего достоинства, в расшитых красных мундирах. Они шли попарно, на небольшой дистанции пара от пары. Их было несколько пар. Они как бы выполняли обязанности старинных герольдов, возвещавших о близком появлении монарха.

За камер-фурьерами также попарно шли высшие по своему положению при дворе гоф-курьеры.

За гоф-курьерами один за другим два церемониймейстера, а за ними — обер-церемониймейстер барон Корф.

За Корфом пошли снова пары: это были кавалеры и вторые чины двора. Их было много. Неподдельная важность должна была, согласно ритуалу, сиять и действительно сияла на их сытых лицах.

За ними медленной, но четкой походкой строевика шел в должности гоф-маршала свиты генерал-майор Долгоруков.

Выждав необходимую паузу, один за другим, торжественно, с большой строгостью в глазах, вступили в зал первые чины двора: обер-шталмейстер Гринвальд и обергофмейстер Танеев, отец Ани Вырубовой, непременного члена царской семьи, друга царицы, друга царя, друга самого Григория Распутина, «святого старца».

Наконец, показался последний, кто предшествовал царю, как утренние лучи предшествуют восходу самого солнца,— престарелый гоф-маршал граф Бенкендорф.

Войдя в зал, он тут же повернул голову к дверям, через которые вошел, давая тем знак всем окружающим в зале, что момент величайшей важности настал...

Царь вошел, маленький, но с поднятой головой. Рядом с ним — Александра Федоровна, казавшаяся выше его и строже лицом.

За ними первым шел, чуть прихрамывая, мальчик — наследник, одетый в военный мундир, и попарно четыре дочери их, все в белых платьях.

Аплодировать «высочайшему выходу» не полагалось: нужно было всем в огромном Георгиевском зале стоять, как полагается при команде «смирно», затаив дыхание и не сводя глаз на что-либо другое, кроме высочайших особ.

III

Так как заранее было расписано, что царь прежде всего подойдет к плотной и многочисленной группе московских дворян, то он и подошел к ней и от нее навстречу ему отделился предводитель дворянства Самарин, чтобы с должным пафосом произнести такую короткую, но выразительную речь:

— Возлюбленный государь! С горячим воодушевлением приветствует тебя московское дворянство в этот ужасный час народного испытания. В живом общении с тобою окрепнет дух наш для великого подвига. Мы все с тобою и за тебя! Не усомнись же бестрепетно опереться на несокрушимую силу народного духа. Да поможет тебе бог в борьбе за целость и честь Русской державы, и царственным велением твоим да возродится к новой жизни весь славянский мир. Мужайся, русский царь! С тобою вся русская земля!

Царь подал руку оратору для лобызания.

Тронут ли он был его словами, нельзя было прочесть на чрезвычайно затянутом в какой-то невидимый корсет царском лице.

Конечно, никаких других слов и не ожидалось от предводителя московского дворянства; и что он ручался за поддержку царя всею русской землей, это предполагалось само собою.

Гораздо многословнее оказалась речь Брянского, исполнявшего обязанности московского головы.

Он был щеголеватее по внешности излишне тучного, мужиковатого на вид густобородого Самарина. Он чаще его выступал с речами, так как несравненно больше приходилось проводить заседаний, но слишком глубоко въелась в него привычка говорить всем известное, так как необходимо было ведь подводить итоги речам других. И теперь начал он с «грозной тучи, которая надвинулась на Россию», с «двух могущественных государств, которые, презрев всю прежнюю историю, забыв благодеяния России, начали угрожать ее целости и могуществу...»

А дальше сказал он:

— Война эта есть защита славянства от германизма. Вновь поднялся великий славянский вопрос, святыня каждого русского человека, и много русской крови за него уже пролилось. Эта жертва должна, наконец, достигнуть цели, и славянский вопрос должен быть решен объединением всего славянства под защитой матери славянства — России.

Война эта есть война за существование идей всеобщего мира. Когда вам, государь, угодно было высказать мысли о всеобщем разоружении и мирном разрешении международных вопросов, наш теперешний враг не только воспротивился этому, но под его угрозой все остальные государства Европы вынуждены были расширять свое вооружение. Эта война есть война против главенства Германии. Русский народ в единении со своим царем и в содружестве с благородными своими союзниками исполнит свое историческое предначертание. После этой войны наступит постоянный мир для процветания торговли, науки и искусства.

В такую важную минуту древняя первопрестольная столица, это сердце России, приветствует вас, государь, от имени всего русского народа. При том чувстве, которым охвачен русский народ, когда воля царская и душа народа слились воедино, нет того подвига, которого не мог бы совершить русский народ. Дерзай, государь, народ с тобою, а бог тебя хранит!

Тут, в этих напыщенных словах выразив то, что, по его мнению, мог бы сказать весь русский народ, а не только московский голова, оратор расчувствовался до того, что бросился на колени, протянув к царю руки.

Это не было предусмотрено церемониймейстером, и царю пришлось сделать излишнее движение к Брянскому и сделать вид, что он помогает ему подняться.

От московских купцов говорил старшина купечества Булочкин. Ожидать от него чего-нибудь очень умного, конечно, было нельзя,— опасались только, чтобы он не забыл, что должен был сказать, но он безостановочно договорил до конца свои несколько слов:

— Повергая к стопам вашим, великий государь, наши верноподданнические чувства, просим принять уверения, что напряжем все силы для облегчения участи раненых и больных защитников нашей дорогой родины.

Купцом Булочкиным список московских ораторов был исчерпан, и пришла очередь выступать самому царю.

Минута подлинного «единения» с народом — то, ради чего совершен был приезд в Москву не только самого царя с его семьей, но и многих десятков разных придворных чинов, и всех министров, и Голубева, и Родзянко,— эта минута наступила, и Николай II, при всем своем умении владеть собою, не мог все же не волноваться, когда начал выкрикивать, обращаясь к тысяче человек своих подданных в Георгиевском зале, приготовленное заранее:

— В час военной грозы, так внезапно и вопреки моим намерениям надвинувшейся на миролюбивый народ мой, я, по обычаю державных предков, ищу укрепления душевных сил в молитве у святынь московских, в стенах древнего московского Кремля. В лице вашем, жители дорогой мне первопрестольной Москвы, я приветствую весь верный мне русский народ, повсюду, и на местах, и в Государственном совете, и в Государственной думе, единодушно откликнувшийся на мой призыв стать дружно всей Россией, откинув распри, на защиту родной земли и славянства. В могучем всеобщем порыве слились воедино все без различия племена и народности великой империи нашей, и вместе со мною никогда не забудет этих исторических дней Россия. Такое единение моих чувств и мыслей со всем моим народом дает мне глубокое утешение и спокойную уверенность в будущем. Отсюда, из сердца русской земли, я шлю доблестным войскам моим и мужественным иноземным союзникам, заодно с нами поднявшимся за попранные начала мира и правды, горячий привет. С нами бог!

Аплодировать словам царственного оратора не полагалось, но необходимо было встретить царское слово продолжительными криками «ура». Царь слушал их с минуту, оценивая своими слегка выпуклыми голубыми глазами лица стоявших в передних рядах, потом медленно повернулся вместе с Александрой Федоровной к выходу.

IV

Предстояло еще совершить кое-что в одно и то же время и необходимое и в достаточной степени опасное, особенно после недавнего убийства в Сараеве: дурные примеры, как известно, заразительны. Кроме того, и сам царь, и все придворные, министры, столичная полиция,

московская полиция, жандармы и офицеры войск, вызванных для охраны царя, отлично знали, что на жизнь всех Голштейн-Готторпов (они же Романовы), начиная с Петра III, неизменно покушались, и большей частью предприятия эти оканчивались успешно.

Обыскать всех допущенных в Кремль было нельзя, да если бы и можно было, этот обыск показал бы, что к населению Москвы царь относится без доверия, между тем как именно доверие-то и положено было в основу «единения»: как же можно было объединяться, если не доверять? Но ведь проходить мимо сборной непроверенной толпы из дворца в Успенский собор нужно было не дальше, как на револьверный выстрел, пусть даже ряды охранных войск будут стоять и лицом к толпе... А вдруг в толпе найдется новый гимназист Принцип?

Какие бы хорошие слова ни говорились только что в Георгиевском зале, до подобных Принципов они не дошли, да если бы и дошли, на них бы не подействовали.

И небольшое расстояние, отделявшее дворец от собора, святыням которого во что бы то ни стало надо было поклониться в этот день, царь с царицей проходили так напряженно, точно шли по битому стеклу: спешить было нельзя — куда же тогда денется торжественность? А не спешить страшно: вот-вот раздастся выстрел!

Дождя не было. Солнце, правда, тоже не стояло в небе, но видимость была прекрасная,— полдень: для хорошего стрелка прицелиться, спустить курок — две секунды, и если такой стрелок придет не один, а с другими, которые станут справа от него и слева, то некому будет и ударить по его руке с револьвером, как некогда ударил случайный прохожий по руке Каракозова, стрелявшего в деда царя, Александра II.

Главное, толпа вела себя с необходимым энтузиазмом, конечно, но очень несдержанно. Так оглушительно кричала «ура», что и выстрела нельзя было расслышать, и такое было мелькание в воздухе платков, которыми махали женщины, фуражек и шляп, которые бросали вверх мужчины!.. Запретить этого заранее было бы нельзя: надо дать простор патриотизму; но вот именно такой же самый взрыв патриотизма был и в Сараеве, и этим-то и воспользовался убийца эрцгерцога. Как можно охране уследить за подозрительными движениями одного, когда хаотически движутся все? Ничего нет легче, как приве-

сти в исполнение свой замысел, когда около все орут и машут шляпами, фуражками и белыми платками!

Наконец и сама многочисленная охрана, все эти солдаты с винтовками в руках — разве так уж они надежны?

Разве не было случаев, что именно охранники-то и покушались на цареубийство? Не охранником ли был Богров, убивший на глазах царя премьер-министра Столыпина в Киевском театре? И не полицейский ли, хотя и японец, стоявший в Токио на улице для поддержания порядка, накинулся на него самого и ударил его палкой по голове, когда он, будучи еще наследником престола, путешествовал по Востоку?..

Конечно, на пути в Успенский собор из Кремлевского дворца царь был надежно окружен: впереди его шло духовенство, безбоязненное, маститое, сверкавшее золотом риз; позади же — придворные в не менее сверкавших золотом мундирах, но с обеих сторон он все-таки был значительно открыт глазам толпы, а закрыть его совершенно было ведь нельзя,— зачем же тогда он приехал?.. И, сам того не замечая, Николай, казавшийся толпе малорослым рядом с женою, глядел на москвичей очень пристально и строго, как укротители смотрят на львов в цирке.

Так он скрывал свое волнение, проявляя присущую ему выдержку. Только войдя в собор, он мог, наконец, отдохнуть от напряжения. Однако и склоняя колени перед святынями собора и выстаивая потом длинный молебен о своем здравии и о военных успехах своих армий, не забывал он того, что ему предстоит сделать еще и обратный путь: пройти сквозь строй толпы от собора в Чудов монастырь и только после этого снова выйти к Красному крыльцу дворца.

Но и при этом обратном его пути москвичи вели себя выше всяких похвал столичной и своей полиции: они снова кричали «ура», снова подбрасывали вверх котелки и фуражки, снова махали платками.

И никто не стрелял!

Как же можно было не прийти к той, неоднократно проверенной уже в прошлом мысли, что война внешняя очень действенное средство против войны внутренней, гражданской, пока не выливается эта последняя в открытые бои с полицией и войсками, пока говорится только о брожениях, забастовках и легких уличных беспорядках.

V

Московские студенты Саша и Геня Невредимовы приехали в Москву из Симферополя дня за два до появления в Белокаменной царя с его многочисленной свитой.

Они не были в толпе ни на встрече царя, ни в Кремле,— им просто было совсем не до того: остановившись в меблирашках, они искали себе комнату на зиму поближе к университету, то есть на Моховой, на Арбате, в переулках, так как прежнюю за собой не оставляли. А найти вполне подходящую комнату и вообще устроиться не как-нибудь, а все-таки основательно,— это, конечно, было хлопотливое дело.

Увидеть царя они не стремились, хотя никогда его не видали, и все же им пришлось его увидеть, так как, заскочив в толпу на одной из улиц, чтобы через нее протолкаться, они не могли этого сделать: просто их не пустили никуда жандармы, попросили стоять на месте. Это было тогда, когда царь уже покидал Москву, когда бесчисленные экипажи и машины двигались гуськом, не особенно спеша, к Александровскому вокзалу.

В то время как поравнялся экипаж царя с тем местом, где стояли братья, поднявшийся на цыпочки Геня и бывший на голову выше впереди стоящих Саша вобрали в себя царя, державшего руку у козырька фуражки, и лицо царицы, несколько наклонившей голову.

Оба эти лица мелькнули перед ними довольно быстро, однако не смешались в их памяти с другими лицами, может быть просто потому, что память инстинктивно экономила место и выталкивала все другие лица тут же, как только они в нее проникали.

И это делалось братьями без всякого сговора и несмотря на то, что при виде царского экипажа они только переглянулись, а угадывая потом кого-либо из министров или из свиты царя, переговаривались громко.

Родзянко, например, поразил их своей мощью, и они не только поглядели друг на друга улыбаясь, но Саша сказал:

— Ого-го! Вот так Родзянко!

А Геня скороговоркой:

— Сразу видно, что председатель Думы!

Узнали по портретам в журналах и Фредерикса, и Горемыкина, и Сазонова, и Сухомлинова... Впрочем,

кроме этих четверых, никого больше. А когда кто-то рядом с ними назвал одного из проехавших в машине Палеологом, Геня обратился к нему с коротким вопросом:

— Почему?

Тот ответил так же коротко:

— По моноклю.

И Геня припомнил, что действительно и он как-то и где-то видел портрет французского посла: бритое круглое лицо и монокль в правом глазу.

Проехали, наконец, все машины, и публика начала расходиться. Отправившись, куда им было нужно, Саша и Геня некоторое время шли молча, но вот Саша спросил, наклоняясь:

— Ты хорошо его разглядел?

— Видел, как тебя вижу,— сказал Геня.

— Ну? Как нашел?

— Ничего царственного не заметил. А ты?

— По-моему, не только царственного, а ничего и умного-то, просто умного, как это все понимают, нет! — горячо вдруг заговорил Саша.— Самый обыкновенный пехотный капитан! Не гвардейский, хотя он, кажется, в гвардейской форме... Ты не заметил, в какой?

— Не обратил внимания... А погоны у него полковничьи: две полоски, без звездочек, только с вензелем... А ты говоришь: капитан,— сказал Геня.

— Мало ли что полковник, да не похож на полковника, вот! Не похож, и все! Выходит, стало быть, что на всех полковниках есть какой-то свой отпечаток, а на капитанах свой... Капитан, притом не гвардейский,— пехотный... Вот так штука! Я даже не ожидал!

Геня заметил, что у брата действительно какой-то обескураженный вид. Он даже приостановился, что было у него признаком волнения, и Геня спросил, поглядев ему в глаза и тоже остановившись:

— А чего же ты ожидал?

— Чего?.. Я все-таки думал, признаться, что не может этого быть, чтобы он на первый взгляд мой показался мне до такой степени ничтожен! Я игроков в карты наблюдал, и знаешь, кому везет и кому не везет?

— Никогда над этим не думал,— несколько даже смутился Геня, так как не знал за своим братом способности наблюдать так прилежно карточных игроков, как он, в силу своих занятий биологией, наблюдал муравьев, ос или головастиков.— Интересно, кому же везет?

— Везет умным, а не везет глупым, причем большого ума при игре в карты, как тебе известно, не требуется.

— Ты что-то такое не так, Саша, произвольный вывод сделал,— усомнился Геня и пошел было дальше, но Саша удержал его, взяв за плечо.

— Постой,— сказал он возбужденно,— на ходу неловко, а мне самому это надо сформулировать, готового у меня нет. Некрасову, поэту, везло в карточной игре? Везло, я читал.

— А он не того, между прочим? — усомнился в этом Геня и перебрал пальцами.

— Нет, не «того», я в этом уверен, а действительно везло, потому что был умен, а глупому ни в карточной игре не может везти, ни даже в царении, хотя бы у него и были какие угодно умные министры,— вот моя мысль. Петру Великому везло? Говори, везло или нет?

— До известной степени, конечно, везло.

— Очень везло, потому что был очень умен... Ты понимаешь, о чем я говорю? Об удаче!

— То есть, если, например, перевести эту материю на охоту, то...

— То «на ловца и зверь бежит»,— очень живо закончил Саша.— Умный охотник, то есть хорошо знающий, куда и за кем он идет, непременно придет с дичью, а другой только зря проходит... Знаешь ли, я в чем убедился сейчас?

— Ну? В чем ты так сразу мог убедиться?

— Не выиграем мы этой войны,— вот в чем!

— К этому выводу можно прийти и другим путем,— заметил Геня,— путем обыкновенной логики на основании статистических данных и тому подобного.

— Можно и так, конечно,— согласился с ним Саша,— только это путь, хотя и верный, но все-таки довольно долгий, а непосредственное впечатление от лика царя страны — это тоже очень может быть точно, хотя и не совсем научно... Нет, ничего путного у такого царишки быть не может!

— А может, он просто устал тут у нас, в Москве? — попробовал, как юрист, найти для царя оправдательный мотив Геня, но Саша отозвался на это желчно:

— Ума не видно, при чем тут усталость? Усталый-то, брат, бывает сплошь да рядом гораздо умнее на вид, чем бодрый. Усталость бывает иногда от чего? От того, что человек много думал над чем-нибудь. А если думал, зна-

чит, шевелил мозгами как следует, и это непременно, брат, отразится в глазах. А это чучело в военной форме, видно, даже и не в состоянии, черт его дери, ни о чем думать! А по своему сану должен быть умен, как сам сатана.

— А может, он про себя радуется, что цел и невредим из Москвы уезжает? — улыбаясь и двинувшись вперед, весело сказал Геня, но Саша, хотя и пошел тоже в ногу с братом, остался сосредоточенным, как и прежде, и только буркнул:

— Напрасно радуется!

— Ну, все-таки... Жить всякому хочется. И лучше быть живой собачонкой, чем дохлым львом.

— Мне кажется, что войны этой он все-таки не переживет, хотя царствовать ему почему-то удалось довольно долго.

— Что-то очень много тебе кажется,— буркнул теперь уже Геня, а Саша, продолжая додумывать про себя, что ему показалось, проговорил тоже не вполне отчетливо:

— Что дурака в Москве не нашлось, чтобы его истребить,— это только умно, по-моему. Гораздо глупее было бы, если бы нашлось. Тогда на его месте, может быть, уселся кто-нибудь поумнее, что вышло бы в общем гораздо хуже!

В это время какой-то тоненький юноша в студенческой фуражке и с совершенно растерянным, чем-то очень убитым, почти плачущим, худым, длинным, бледным лицом, выйдя в переулке им навстречу, остановился и почти пролепетал очень невнятно:

— Простите, ведь вы — Невредимовы?

— Да. А вы, кажется, Худолей? — спросил Геня, присмотревшись.

— Худолей, да... Мы из одной гимназии. Вот ужас, обокрали!

— Кого обокрали?

— Меня! Сейчас!.. Я только что приехал, и вот!

Володя Худолей сунул дрожащую тонкую руку в карман своих еще гимназических, серых, пузырящихся на коленях брюк, как будто надеясь все-таки найти, что у него украли, и, наконец, не выдержал: у него задрожал подбородок, и на глазах показались крупные слезы.

— Где же украли? — спросил Саша.

— Много украли? — спросил Геня.

— Здесь! — ответил он Саше.— Все, что было! —ответил он Гене.

— Все? Зачем же вы взяли с собой все? — пусто спросил Геня.

— А где же мне было спрятать? В номере?.. Я боялся, что там украдут, а у меня здесь... Здесь! — и он кивнул головой в ту сторону, откуда шли и Геня с Сашей.

— Вам не нужно было ходить в толпу,— заметил Саша.

— Теперь я тоже знаю, что не нужно было! — выкрикнул Володя.— Задним умом и я крепок!.. Во-от не повезло как! Вот не повезло!.. И надо же было, чтобы так. Чтобы черт его знает зачем царь сюда приехал как раз, когда я приехал!..

— Должно быть, не одного вас обчистили в эти дни, а очень многих,— сказал Геня, сам проверяя в боковом кармане тужурки, цел ли там его тощий кошелек (хозяйство вел он, а не Саша).

Кошелек был на месте, и он уже спокойнее слушал, как продолжал исступленно выкрикивать Володя Худолей:

— Что же мне теперь делать, скажите? Куда же мне теперь? Ни денег, ни билета!.. Дал отец выигрышный билет, чтобы я его здесь продал,— единственное, что у него было, мне дал,— и вот... украли!

— Обратитесь в землячество наше — немного вас подкрепят,— посоветовал Саша.

— Заявите, конечно, в полицию, если помните номер билета,— посоветовал Геня.

— Не помню! — трагически вскрикнул Володя.— Даже не посмотрел, какой именно номер!.. Эх, я-я! — и он раза три подряд ударил себя кулаком по лбу.

— Должно быть, не одни наши московские жулики работали, а целый поезд петербургских явился,— высказал внезапно мелькнувшую догадку свою Геня, юрист.

— Это несомненно так и должно было быть,— подтвердил эту догадку Саша, биолог.

— Так что же мне делать-то, господа? Что же мне делать? — почти прорыдал Володя.

Саша взял его за плечо и сказал:

— Пойдемте пока к нам, подумаем, а здесь, на улице, вам уж совершенно нечего делать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БЕСПОКОЙСТВО МЫСЛИ

I

Приехав в Петербург, Сыромолотов остановился в большом меблированном доме «Пале-Рояль», на Пушкинской улице, выходившей на Невский.

Он останавливался в этом доме как-то раньше и не мог, как при свидании с хорошим старым знакомым, не улыбнуться слегка, увидев и теперь на прежнем месте, у самой лестницы в вестибюле, чучело огромного бурого медведя, стоявшего на задних лапах. Так же оскалены были белые клыки, так же напряжены были большие острые черные когти, и только длинная косматая шерсть оказалась гораздо больше, чем прежде, попорчена молью.

Он помнил прежнего метрдотеля — высокого длинноусого немца,— теперь был другой, не такой представительный, постарше, более суетливый и с виду русский. Швейцар, в галунах и фуражке с позументом, был тоже другой, какой-то старик с седыми генеральскими баками и чересчур внимательными глазами.

Номер ему дали на втором этаже, причем сказали, что он — единственный на этом этаже свободный, чему Сыромолотов поверил, так как знал, что жильцы здесь большей частью месячные.

Устроившись тут и выпив чаю, для чего коридорный внес в номер самовар, Сыромолотов почему-то захотел прежде всего найти не художника Левшина, который был ему близок когда-то как товарищ по Академии и тоже жанрист, а Надю Невредимову.

Левшин, заезжавший как-то даже к нему в Симферополь и писавший с него этюд для своей исторической картины, не был, конечно, отставлен им на задний план: с ним-то именно и хотелось поговорить ему об искусстве, о том, как оно здесь, в столице России, чувствует себя, когда началась такая небывалая война. Но не столько почему-то от него, от старого товарища и тоже крупного живописца, как от Нади думалось ему получить ответы на свои вопросы. Точнее, ответы эти он хотел найти сам, но навести на них могла бы — так казалось ему — только Надя; все время вертелось у него в мозгу древнее речение: «Утаил от мудрых и открыл младенцам». Наконец, ведь и картина, которой был он занят все последнее время, совсем не могла бы возникнуть, если бы не Надя.

Однако он не знал адреса Нади, и первое, куда он направился из «Пале-Рояля», было — адресный стол.

Невский проспект неизменно захватывал его и раньше, когда бы он на нем ни появлялся; теперь же, после долгой безвыездной жизни в провинции, он не мог не поразить его своей неизменной строгой красотой. Обилие же на нем офицеров заставило его сказать про себя: «Ого! Здесь даже неудобно быть штатским!.. Точно ты какой-то жулик или иностранец, что в иных случаях похуже, чем жулик».

Он заметил, что извозчиков теперь стояло на углах улиц гораздо меньше, чем прежде; одного из них ему пришлось нанять, чтобы доехать до адресного стола.

Петербург, конечно, успел в достаточной степени обороднеть Сыромолотову: здесь провел он немало лет. Здесь, а особенно на Невском, по которому он ехал, все было для него до того знакомо, точно уезжал отсюда не больше, как на месяц или и того меньше.

Четырех- и пятиэтажные дома, стоявшие так плотно, что казались одним длиннейшим домом, разнообразно окрашенным, и те проплывали перед ним, как подсказывала их появление память. Вагоны трамвая и многочисленные машины шли туда и сюда, в обе стороны этой широкой, прямой, красивейшей улицы, как будто они были те самые, какие шли тогда, в последний день его питерской жизни. В довершение всего и день этот оказался таким же редкостным для Петербурга: солнечным, тихим, даже, пожалуй, жарким (он уезжал когда-то отсюда тоже в августе), точно внезапно помолодел он на несколько лет или видел длинный запутанный сон и вдруг проснулся.

Извозчик тоже оказался не южного суетливого склада, а подлинный питерец — деловой, молчаливый, отлично знающий, как надо ехать к адресному столу.

Странно, пожалуй, даже было ему сознавать в себе то, что ведь это именно Петербург, с его Академией художеств, воспитал в нем уменье ценить и учитывать время — совершенно неведомое русской провинции уменье, что даже и замкнутость его, быть может, тоже воспитана в нем Петербургом, основанным и устроенным самым деловым из русских царей.

Воздух эпохи был — напряженный труд, и Сыромолотов именно здесь, в столице, почувствовал, что дышит воздухом эпохи.

II

Получив адрес Надежды Васильевны Невредимовой, Алексей Фомич не сразу отправился к ней: было очень много, на что хотелось ему посмотреть, и он до вечера ездил на трамвае и ходил, впиваясь во все глазами, как это было свойственно ему, художнику.

Надя и Нюра были дома, когда постучал он к ним в дверь и спросил: «Можно?»

Отворила дверь Нюра и ахнула от неожиданности, увидев того, кого никак, конечно, не ожидала увидеть, а Надя растерялась так, что не была в состоянии даже ахнуть.

Пришлось заговорить самому Сыромолотову, и он сказал:

— Когда началась такая гроза, то... даже и матерые дубы вырывает она с корнем! Здравствуйте, Надя!.. А это, конечно, ваша сестрица младшая! Очень рад вас видеть вместе! Очень рад!

— Алексей Фомич?.. Как же вы это? — едва прошелестела Надя, а Нюра догадливо взялась за стул и слегка его подвинула к Сыромолотову:

— Садитесь, пожалуйста.

Не менее догадливо тот немедленно сел, повесив на вешалке сверх кофточки Нади свою широкополую шляпу.

Так произошло его вторжение в комнату сестер Невредимовых, и наступил момент необходимых объяснений, как, почему и зачем он появился в Петербурге.

Вечер был еще достаточно светлый — до огней оставалось еще не меньше часа. Обведя глазами всю комнату, Алексей Фомич слегка подмигнул Наде:

— Так-то вот бывает на свете! Илья Муромец тоже сиднем сидел тридцать лет, пока его не сковырнули. Ну, а уж когда сковырнули, ничего не поделаешь — совершай подвиги, Илья Муромец!

— Вы думаете ехать на войну? — почти восторженно спросила Нюра. Надя же совершенно округлила глаза, удивившись:

— Неужели, Алексей Фомич? На войну?

— Была у меня такая мысль,— очень серьезно с виду ответил им обеим, глядя то на ту, то на другую, Алексей Фомич.— Однако я на этой мысли не удержался. Отчасти ваш дедушка виноват в этом: он меня разубедил.

— Дедушка? Неужели? Вы с ним говорили, значит? Когда? — заговорили сестры, перебивая одна другую.

— Заходил к вашему дедушке, да, да, заходил... Познакомился и с вашей мамой и с вашими двумя братьями, милые оказались люди,— очень искренним тоном сказал Алексей Фомич, обращаясь к одной только Наде.— Поговорили кое о чем, письмо вашей сестры старшей там читали...

— Получили там письмо? — так и вскочила с места Нюра.

— А где же она, автор письма? — спросил Сыромолотов.

— Уехала уж в Смоленск, в свою гимназию.

— А-а, да, да,— она ведь учительница... А ваши другие братья? Кажется, трое, и все — на фронте? Писали?

Надя уловила в тоне Сыромолотова неподдельное участие, и ей стало сразу как-то легко и просто.

— Алексей Фомич,—сказала она,—я все никак не могу отделаться от какой-то... Но это чепуха, конечно!.. Я хотела выразиться: от неловкости,— неловкость уже прошла... Вы, конечно, по своим делам приехали, а что касается братьев, то пока ничего такого... Это ведь мы с Нюрой живем в комнате Николая, старшего брата,— он прапорщик, теперь должен быть в Пруссии... И Петя там же, он просто рядовой,— только они не вместе... А Вася, он полковой врач, он теперь в Галиции.

— Гм, вот так знай наших! — восхитился Алексей Фомич.— Буквально у вас, значит, целый взвод одних только братьев! Не считая полувзвода сестер... Шутка ли было воспитать такое войско, а? Нет, как хотите, а ваша мамаша — замечательная женщина. Я к ней присматривался с большим любопытством, когда был у нее в доме.

— А вы, значит, действительно были там у нас в доме? — спросила Нюра, но тут же добавила: — Я, конечно, верю вам, что были, только...— и покраснела, не договорив.

— Только не можете догадаться, зачем именно я заходил,— досказал за нее Сыромолотов.— А, видите ли, штука вся в том, что художник, когда пишет жанровую картину, бывает людоедом... Что? Испугались? То-то!.. Пожирает людей в несметных количествах, и все ему кажется, что не сыт, что еще бы съесть дюжинку... Дело, знаете ли, простое: лицо и фигура, попавшие на картину, так ведь на ней и останутся, пока холст цел. А почему же вот это именно лицо? А почему вот эта фигура? Потому только, что под рукой не было более подходящих? Гм, гм,

а вдруг есть они где-нибудь около тебя, а ты, рохля, просто не видел,— не искал, поэтому не видел! А ты поищи-ка! Не будь свистуном, которому все равно кого писать, лишь бы белых мест на холсте не оставалось. Встань-ка из-за мольберта да поищи хорошенько!.. Иванов для своего «Явления Христа народу» в Палестину поехал, а ты хотя бы около себя людей посмотрел,— может быть, нашел бы более подходящих, чем тебе представляются,— так-то! В конце концов это и называется искать, а что же еще? Вот поэтому я и воспользовался предлогом посмотреть еще и еще новых для меня людей — Невредимовых. И все-таки мне посчастливилось увидеть и вашу маму, и вашего дедушку, и двух ваших братьев студентов, и... как бы вам сказать,— кое-кто из вас уже идет у меня на холсте, да, да,— вот что должен я вам доложить, красавица!

И он положил тяжелую руку свою на белокурую голову Нюры, и вышло для него это так естественно, как будто иначе никак и ничем не мог бы закончить он своего объяснения.

— Вы когда же приехали сюда, Алексей Фомич? — спросила Надя.

— Сегодня утром, только целый день курсировал туда-сюда. И вот же мямля я какой — не купил, к вам когда шел, ни шоколада, ни пирожных, а? Что значит отвыкнуть от общества! Впрочем, эта ошибка поправимая, если у вас тут есть какая-нибудь личарда...

И Алексей Фомич вытащил из кармана портмоне и достал трехрублевую бумажку.

— Не нужно нам, Алексей Фомич, что вы! — сконфузилась Надя, а Нюра только вздохнула слегка, но этот девичий вздох уловил Сыромолотов и расхохотался так раскатисто, что прислуга Ядвиги Петровны, Варя, встревоженно приоткрыла дверь и заглянула в комнату.

— Вот это и есть личарда,— представила ее художнику Нюра, и Алексей Фомич тут же протянул ей бумажку и с немалым, как оказалось, знанием дела рассказал, что она должна была купить в кондитерской к чаю.

III

Когда самовар, булки, пирожные, шоколад были принесены Варей, Сыромолотов сказал:

— Ну, друзья мои, начнем бурное чаепитие, поскольку все мы, конечно, проголодались!

И вначале оно действительно было довольно бурным: булки, пирожные и стаканы чая исчезали со стола с быстротой весьма завидной для страдающих плохим аппетитом. Но вот Надя заметила, что Сыромолотов упорно начал смотреть на шкаф с книгами, и сказала:

— Это книги Николая, он инженер, и тут все больше по его специальности книги.

— А на этажерке, должно быть, ваши? — спросил Алексей Фомич, переведя взгляд на очень простую, базарной работы, этажерку, на которой уместилось порядочно книг и тетрадок.

— Это уж наша убогость,— подтвердила его догадку Нюра.

Алексей Фомич, к удивлению сестер, встал из-за стола и начал перебирать книги на полках этажерки. Он делал это молча, и сестры, наконец, переглянулись, пожали плечами, а Надя спросила шаловливым тоном:

— Вам что-то хочется найти у нас? Веселовского или Буслаева?

— Нет, я вот вижу у вас тут книжечку с очень заманчивым заглавием «Будущее общество» некоего Августа Бебеля,— сказал Сыромолотов, вытаскивая из кипы книг небольшую книжку без переплета.

— Это — самая невинная,— небрежным тоном отозвалась ему Надя, но Сыромолотов не согласился с нею:

— Невинная в каком же смысле? Название, напротив, интригующее... «Будущее» — значит, ожидаемое, то, к какому люди должны стремиться... То есть — как это у Пушкина? — «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», а они вот, извольте, распрей позабывать не имеют желания.

— Странно, почему это вас заинтересовала книжка Бебеля,— удивилась Надя.

— Вот так та-ак! — протянул Сыромолотов.— Это почему же странно? Раз я пишу «Демонстрацию», то должен же я знать, почему это и зачем и во имя чего желательно вам идти непременно с красным флагом, чтобы пристав Дерябин скомандовал по вас залп!

— Дерябин, вы сказали? А вы... вы, Алексей Фомич, разве его уже видели здесь? — до того изумилась Надя, что даже из-за стола вышла, а Нюра подхватила ликуя:

— Ну вот, Надя, я же ведь тебе говорила, что это — Дерябин, и он был у нас приставом, в Симферополе!

— Совершенно верно,— сказал Сыромолотов,— и я его отлично помню. Не о нем ли вы мне писали, Надя?

— Конечно, о нем! А что? Разве не подходит вам?

— Лучшего мне не надо,— согласился Алексей Фомич.— Если бы такого пристава не было в натуре, я бы должен был или его выдумать, как вольтеровского бога, или объехать весь земной шар, чтобы его все-таки найти!.. Должен признаться вам, Надя, что желаю видеть его воочию и надеюсь, что вы мне его покажете.

— Очень хорошо, Алексей Фомич! — просияла Надя.— Я очень рада, что вам хоть этим приставом пригодилась! Я его показывала вот Нюре, и она, представьте, вдруг говорит мне: «Я его помню, это наш, и, кажется, фамилия его Дерябин...» Вот подите же! Она его помнила, а у меня такое отвращение всегда было к этим полицейским, что я на них на всех старалась не обращать никакого внимания, значит и на этого тоже.

— А между тем не видеть его в Симферополе вы не могли,— заметил Сыромолотов,— и где-то в темных закоулках памяти у вас он остался, а иначе вы бы на него и здесь не обратили внимания... Но дело вот в чем, Надя: Дерябина вы мне покажете завтра?

— Если он будет там, где я его видела, Алексей Фомич. Он не всегда бывает... Он вообще ведь не дежурит, а только проверяет дежурных полицейских около Зимнего дворца.

— Он, мне говорили, довольно важная теперь птица,— сказал Сыромолотов и вдруг задумался: — Дерябин... гм... Откуда могла такая фамилия взяться?.. Позвольте-ка, кажется, деряба — это большой серый дрозд. Да, конечно. Есть серый дрозд — певчий, а этот, деряба, только ягоды всякие в лесу жрет летом, а зимой — рябину... А пристав этот, конечно, понимает толк и в рябиновке, как и во всякой другой наливке...

Говоря это, Сыромолотов засунул книжечку Бебеля в боковой карман своего пиджака, и Надя видела это и ничего ему не сказала, только переглянулась с Нюрой.

После этого Алексей Фомич недолго еще оставался у сестер Невредимовых. Он сказал на прощанье Наде:

— Я очень рад, что вас отыскал, и рад еще больше оттого, что у вас прелестная сестра. И подумайте только над этим: ока-за-лось, что для того, чтобы ее увидеть, я должен был приехать из Симферополя, где она жила рядом со мною, вот сюда, в Петербург! А вы еще недо-

умеваете, как это да по какому случаю я вдруг очутился здесь... Участь художников всегда была загадочной для умных людей разных других полезных профессий... А вы меня когда-нибудь видели, Нюра?

— Ну, разумеется! И сколько раз видела на улице! И у нас в гимназии говорили, что вы ходите «мертвым шагом»,— выпалила Нюра и сконфузилась под негодующим взглядом Нади, но Алексей Фомич спросил с большим любопытством:

— А это что же собственно значит, «мертвый шаг»?

— Ну, вообще, значит, медленно очень,— объяснила Надя.

— Вот видите, как: мертвым шагом, если очень медленно! Это — прекрасно, послушайте, Нюра! Медленный шаг, конечно, никуда не годится, и вот — война...

Алексей Фомич несколько мгновений смотрел на Надю, потом вдруг добавил:

— Это значит в общем, что живопись шествует вперед шагом мертвецов, то есть не движется с места со времен, скажем, эпохи Ренессанса, а война?.. Война, конечно, движется семимильными шагами. Летать научились люди для чего же еще, как не для войны? Может быть, за время этой войны изобретет человечество еще очень многое — мысль под пушками работает молниеносно, лихорадочно... Изобретет и... зачем собственно? — В интересах будущей войны, конечно. Так от войны к войне скачками, бросками стремится к чему же человечество? К будущему обществу, когда не будет никаких войн? К «мертвому шагу»? И вот тогда-то именно и можно будет, значит, заниматься живописью на полной свободе? И на все эти вопросы я хотел бы найти ответ! Буду все-таки ежедневно читать эту книжицу на сон грядущий.

И, хлопнув рукой по карману, куда спрятал книжку Бебеля, Сыромолотов простился с Надей и Нюрой.

На прощанье он сказал номер телефона «Пале-Рояля» и условился насчет свидания на другой день.

IV

Казалось бы, что в комнате сестер студенток после ухода шумоватого художника должна была воцариться тишина и с этажерки на стол, где только что пили чай, должны были перейти толстые книги Буслаева и Весе-

ловского. Но книги оставались на этажерке, и тишина не воцарялась.

Приезд художника-затворника в Петербург был непостижим для Нюры и совершенно невероятен для Нади, и в то же время Надя считала необходимым делать один за другим выговоры младшей сестре за то, что она позволяла себе вольничать с известным художником, точно он молодой человек и явился, чтобы пригласить ее в театр.

— Да откуда ты взяла, что я вольничала с ним? — защищалась Нюра.— Это ему, напротив, вздумалось вольничать!

— Что ты, с ума сошла? Когда же он вольничал? — изумилась сестре Надя.

— А зачем он меня по головке вздумал гладить?

— Да он вовсе и не думал гладить, что ты, во сне это видела?

— Однако же гладил! А ты, может быть, оттого и злишься, что не тебя!

— Что у тебя там в голове делается, не понимаю!

— И понимать нечего! И ничего не делается! Это у тебя в голове что-то делается, а совсем не у меня!

— И почему-то вдруг высунулась с «мертвым шагом»!

— Что же тут такого? Ну и с «мертвым»,— подумаешь, обида какая! Все так говорили, вот и я сказала!.. Он и действительно так ходил: пять шагов пройдет и станет и на всех смотрит, как сыщик какой... Вообще ты сама не знаешь, к чему бы придраться, а только придираешься ко мне зря!

И тут же, мгновенно, глаза Нюры переполнились слезами, и Надя призналась себе, что младшая сестра ее, пожалуй, права по-своему, хотя она сама считала ее в чем-то виноватой, и это ничего не значило, что не удавалось вложить ее вины в какие-то точные слова.

Трудно было ей и понять, почему Нюра чувствовала себя с этим большим художником гораздо свободнее, чем она сама, однако она пыталась понять.

— Конечно,— говорила она уже более отходчиво,— ты в его мастерской не была, да и вообще к живописи у тебя нет никакого призвания, и для тебя решительно все равно, что Сыромолотов, что какой-нибудь маляр, который вывеску для парикмахерской стряпает...

— Не воображай, пожалуйста! — прерывала ее сквозь слезы Нюра.— Не хуже тебя понимаю, а только...

— Я, конечно, не млею перед ним, а ты млеешь.

— Как это «млеешь»?

— Так, очень просто... Я ведь заметила это, не слепая.

— Конечно ж, я его уважаю... Я его и должна уважать, а как же еще, когда я перед ним просто девчонка?

— Рассказывай! Ты просто остолбенела, когда он вошел, а я что же, тоже должна была бы стоять столбом, как в классе?..

Препирательству этому положила на время конец Варя, пришедшая за самоваром.

Надя спросила, почему это она отворила к ним в комнату дверь, когда пришел гость, на что Варя, поднеся по привычке свой фартук к носу и улыбнувшись вполне виновато, ответила:

— Да прямо вам сказать — с испугу я это: он это смеялся ишь, а мне-то подумалось бо знать что, барышня! Кто же у нас тут до такой степени когда смеялся? Никогда ведь у нас этого не было...

Сыромолотов же, который мог иногда так же оглушительно смеяться, как и чихать,— чем он пугал даже и привыкшую к нему Марью Гавриловну,— выйдя от сестер на улицу, хотел было взять извозчика и отправиться к художнику Левшину, на седьмую линию Васильевского острова, для чего нужно было переехать через Неву, но передумал: ведь можно было не застать его дома и только даром потерять время.

Когда он шел по Невскому к себе в «Пале-Рояль», то ни Нюра, ни кто-либо другая из ее подруг по гимназии не могли бы сказать, что он идет мертвым шагом.

Напротив, он шел, не уступая никому рядом с собою, именно так, как принято было в то время ходить вообще у петербуржцев, которые всегда были стремительны в полную противоположность крайне медлительным москвичам.

Уличная толпа столицы его молодила. Но ведь он и уносил в свой номер то молодое, что просочилось в него от свидания с Надей и ее младшей сестрой. А в кармане пиджака он нес еще более молодое, такое, что не родилось еще, что только еще грезилось мечтателям,— «будущее общество».

Война, которая началась и, может быть, шла ради того, чтобы появилось наконец-то будущее общество: те-

перь вот, под разговор таких повитух, как пушки разных систем, оно рождается.

«Прочитаем, прочитаем, что это за общество!» — очень отчетливо говорил про себя Сыромолотов.

Он, который на чтение не только газет, но и книг смотрел в последние годы как на явную потерю времени, теперь уже не считался с этим. Не знать того, что знала Надя и, может быть, даже ее сестра, ему казалось както неудобным.

Но больше всего занимал его, конечно, вопрос о живописи и художниках в будущем обществе, если допустить на один хотя бы час, что это общество не утопия, что оно возможно не только кабинетно, теоретически, что оно придет,— вслед ли за войной или несколько позже, но придет непременно.

Невозможно было представить себе вечером на людном и мирном Невском проспекте войну, как она велась там, на западе; однако нельзя было и представить того, чтобы так бурно вдруг всколыхнувшиеся народы Европы сыграли впустую.

Последствия этой войны должны быть чрезвычайными — такой делал вывод из беседы с сестрами Невредимовыми Сыромолотов, хотя о войне они с ним и не говорили. То, чего совсем не затрагивали в разговоре, он договаривал, идя один в толпе.

Раньше ему попадались здесь же, на Невском, люди, думающие вслух: идут и бормочут, ни к кому около себя не обращаясь и никого даже не замечая. Теперь он ловил себя на том, не бормочет ли и он сам тоже.

На всякий случай время от времени он подносил руку к усам, чтобы себя проверить.

V

На другой день, сидя у Левшина на балконе (квартира его была на четвертом этаже, и с балкона открывался вид на бóльшую часть Васильевского острова), Сыромолотов говорил:

— Ведь вот ты всю свою жизнь работаешь и я тоже, и все вообще художники, если только они талантливы, способны работать, не... не покладая рук. Но, не угодно ли тебе, был со мною такой эпизод... Это после уж того случилось, как я из Петербурга уехал, я тебе этого, кажется, не рассказывал, когда ты у меня был. Да тогда этого и не к чему было вспоминать, а вот теперь, когда

я у некоего Бебеля вычитал, что будущее принадлежит пролетариату и женщине...

— Кому? Пролетариату и женщинам? — повторил Левшин.

— Да, так прямо и сказано: пролетариату и почему-то женщинам. Так что теперь мне вспомнилось и хочется тебе рассказать. Пошел я на натуру,— это под Воронежем было. Нашел мотив для пейзажа, сел... На переднем плане две избы, омет соломы, сарай,— крыши соломенные,— кое-какие деревья... Холст был порядочный, этюд же хотелось сделать законченный. Сижу час или больше, и вот подходит ко мне мужик, из крайней избы вышел. Подошел, «здравствуй» не сказал, а стал около и прямо чертом смотрит. Не то чтобы старик, однако и не молодой. Дело было осенью, поддевка на нем внакидку, картуз с козырьком лаковым, синий, на ногах бахилы... Зашел сзади, смотрит, а я думаю — сижу, черт его знает, что у него в башке: польщен ли он тем, что его избу малюю, или он меня вознамерился шкворнем по голове тяпнуть? Вообще, неприятно мне стало, что он стоит сзади. Оглянулся я на него: «Чего надо?» И вдруг он мне: «Ручищи, смотрю, вон какие, а работать небось не хочешь!»... Мало того, что говорит такое, глядит прямо как стая волков!

— Так и сказал: «Работать не хочешь»?

— Так и сказал да еще добавил: «Это же чиё может быть занятие? Какого убогого, али девчонки горбатой — картинки мазать, а ты, здоровило такой, лодыря гоняешь без дела!» Могу сказать, удивил он меня, однако этюд я в это время заканчивал уж, поэтому вполне отходчиво ему говорю: «Иди-ка ты себе, дядя, домой проспись, а потом придешь». А он мне на это: «Я-то и так дома, а ты из города пришел сюда за семь верст киселя хлебать... Ты что же это в городе себе работы какой найтить не мог?» — «Как не мог, говорю, вполне есть у меня там работа — дуракам зубы выколачивать! И наколотил же я зубов этих тьму-тьмущую: больно много там дураков развелось!..» После этого я уж, конечно, встал, чтобы оборонительную позу принять, однако он только покосился на меня, этот работяга, и пошел себе... А в девятьсот пятом на меня подобные напали, когда я в одном имении был, где конский завод,— лошадей тогда писал,— напали как следует, с кольями, с криком: «С чиих трудов шляпу себе нажил?» Об этом я тебе когда-то рассказывал, помню... Так вот и эти, значит, нашу с тобой живопись за

труд не считали, как же с нами поступят в том будущем обществе, о котором говорит Бебель?

Левшин только улыбнулся и махнул рукой.

— Не веришь? — спросил Сыромолотов.

— Не во что верить.

— Думаешь, что пустяки все это?

— Полнейшие.

— Уверенно очень ты говоришь... А вдруг, а?

— Каким же образом «вдруг»?

— Да ведь революция — это переворот, а переворот непременно должен произойти вдруг... Подготовляться он может годами, даже десятилетиями, а потом, в один прекрасный день, все может полететь вверх тормашками, а?

Левшин был далеко не так массивен, как Сыромолотов, годами же почти его ровесник. Он был почти начисто лыс, имел сухое, без лишнего, лицо, узкий с горбинкой нос, бритый острый подбородок, подстриженные полуседые, с рыжиной усы, нервные худые руки. Глядя на него теперь, Сыромолотов мог думать, что ему-то воронежский мужик, пожалуй, разрешил бы заниматься картинками.

— Как же может все вдруг полететь вверх тормашками, когда вся государственная власть, и у нас и в любом государстве, только на том и стоит, чтобы никаких переворотов не допускать? Фантазировать на эти темы никому не воспрещается — пожалуйста, проявляйте деятельность воображения кто во что горазд, а чуть только начнешь кричать об этом на улице, так не угодно ли проехаться в Кайенну или в Восточную Сибирь... Полиция, жандармерия, войско, чиновники, духовенство — зачем все это существует и, между прочим, очень дорого обходится? Только затем, чтобы не лететь кое-кому вверх тормашками ни в одном государстве.

— Дд-а, ко-неч-но,— протянул, прищурясь, Сыромолотов,— но предположим все-таки, что вот полетели, и началось то самое — будущее общество допустим, что началось, и кому же тогда будет нужно все вообще наше с тобой искусство: твоя историческая живопись — московские цари и прочее,—и моя жанровая и пейзажная? Почему тот воронежский мужик сказал насчет убогого и горбатой, будто только они одни, так сказать, самой природой предназначены для занятия такой чепуховиной, как живопись? Убогий — это ведь калека, а горбатая девчонка — какая из нее работница в поле? Ее и замуж никто

не возьмет, так и быть, значит, черт с ней, пускай хоть картинки малюет рядом с калекой. Чем же им еще заняться, кроме как искусством? Зря чтобы хлеб общественный не жрали, пускай будут художниками: с паршивой овцы хоть шерсти клок.

— Дурак какой-то тебе сказал, а ты из этого делаешь широкие выводы,— заметил недовольно Левшин, но Сыромолотов возразил оживленно:

— Во-первых, дурак ли, а во-вторых, не общий ли это взгляд? Откуда он взялся — это другой вопрос. Я думаю, что виноваты в этом монастыри, давшие нам первых иконописцев, то есть живописцев. Андрей Рублев, например,— не был ли он какой-нибудь хилый, неспособный к тяжелой работе? Также и в женских монастырях были, конечно, свои богомазы и, может быть, как на подбор, горбатенькие, а? Иначе откуда бы взял мой мужик злобный непременно горбатую? Вот же ведь, если память мне не изменяет, поэтесса, да и вообще писательница Жадовская Юлия была самым настоящим образом горбатенькая... Так что, разумеется, он на меня смотрел с полным недоумением: лодыря гоняю!.. Наконец, возникает у меня еще один вопрос вот какого рода. Перед самой войной пригласил меня один немец-колонист портрет его отца старика писать и в то же время хотел меня порекомендовать другому немцу, еще более богатому. Покупатели твоих картин тоже очень богатые люди, меценаты и прочие... Вот, значит, для кого мы с тобой пишем картины. Это — наши заказчики, наши работодатели, наши хозяева, одним словом. И вдруг, вообрази, переворот! Хозяева наши летят вверх тормашками, и воцаряется пролетариат. «Мир хижинам, война дворцам!» — вон какой лозунг Бебеля... Представим себе, что дворцы побеждены,— а ведь мы в конечном-то итоге для дворцов старались,— началось государство хижин, и... кто нам тогда станет заказывать картины? Кому мы вообще будем тогда нужны? Вот на эти вопросы я хотел бы получить точные ответы, а?

И Сыромолотов смотрел на своего старого товарища, все время жившего в столице, с явной надеждой, что он что-то может сказать ему такое, до чего сам он не мог додуматься, живя одиноко там, на юге, в Крыму.

Но Левшин только нахмурился почему-то, побарабанил пальцами по перилам балкона, очень слышно посопел узким своим носом, похожим на клюв, и спросил в свою очередь:

— А что твой сын, он теперь где? За границей?

— Мой сын? А разве я тебе ничего не сказал о нем? Нет, он вернулся. Теперь он взят в ополчение и находится в военной школе... Почему ты о нем вспомнил?

— Видишь ли вот, твой сын, Ваня,— я помню, в Академии его все иначе и не звали, как Ваня,— он вышел художник; в отца,— медленно говорил Левшин.— Совсем другое получилось из моего старшего сына.

— Да, да, я ведь помню его, бравый такой был, стройный,— помню... Звали его...

Тут Сыромолотов запнулся, так как совершенно забыл имя старшего сына своего товарища; но Левшин помог ему, глядя неотрывно на крыши домов и кресты церквей, уходящие в неразборчивую даль:

— Звали его, как и теперь зовут,— Павел, только он не в военной школе, как твой Ваня, а на каторге, в Зерентуе.

— Что ты говоришь! В Зерентуе?.. Политический?

Сыромолотов поднял обе руки и хлопнул ими себя по коленям, когда Левшин утвердительно качнул головой.

С полминуты оба сидели молча, потом Сыромолотов сказал, припоминая:

— Ведь он, кажется, был у тебя гимназистом?

— Да, потом студентом-юристом, но не окончил... Завертелся на этих вопросах, какие ты теперь вот поднимаешь, и... погиб.

— Тогда, конечно, да... Я тебя понимаю,— смутился Сыромолотов.— Понимаю, почему тебе не хочется говорить об этом... Да, вот как молодежь... как бы сказать... заражена этими передовыми идеями... ну, в таком случае поговорим о чем-нибудь еще.

VI

На балконе они ожидали обеда, за обедом же говорили только о деле, так как Левшин по своей натуре был деловым человеком, и это свойство его знал Сыромолотов.

Жена Левшина, с седыми уже, но почему-то окрашенными в цвет спелой ржи волосами и болезненными глазами, старалась медленно поводить головой на тонкой жилистой шее и говорить односложными фразами. Она была в золотых браслетах и в серьгах с мелкими жемчужинками, от чего отвык уже Сыромолотов.

Она задала ему несколько необходимых, по ее мнению, вопросов, а именно: надолго ли он приехал в Петербург, где он остановился, что его толкнуло (так и сказала «толкнуло») на поездку, с кем он тут успел уже повидаться из своих бывших товарищей по Академии,— и, получив на все это ответы, пошла распоряжаться по хозяйству.

За обедом она тоже распоряжалась, причем помогала ей младшая дочь, девица лет двадцати, высокая и тонкая, с волосами тоже ржаного цвета и с очень беспокойными покатыми узкими плечами.

Ее Сыромолотов помнил девочкой лет десяти; другая девочка, постарше, теперь, как оказалось, была уже замужем и жила в Павловске. У Левшина был еще сын, студент-филолог, но он как раз накануне уехал погостить на день, на два к сестре в Павловск. Посторонних людей за обедом не было, и никто не мог помешать двум старым товарищам художникам поговорить на вполне насущные темы о том, кто может купить привезенные Сыромолотовым холсты, и нужно ли для того, чтобы продать их, устраивать выставку свою или поместить их на выставку, которая назревает к открытию.

Вопрос о выставках отпал сразу, что, впрочем, ожидалось и Сыромолотовым; Левшин сказал:

— Какие же теперь выставки? И не сезон — лето, и война — не то у людей на уме.

— Это я учитывал, конечно,— отозвался ему Сыромолотов,— и приехал сюда, только имея в виду сих дел мастеров — посредников... Да мне лишь бы немного профинансироваться, как у нас в старину в Академии говорили: слово длинное, но вполне деликатное и даже с претензией на ученость.

Левшин назвал нескольких комиссионеров, о которых можно было справиться в магазине художественных принадлежностей Дациаро, Сыромолотов же, глядя то на сережки в ушах его жены, то на нервные плечи его дочери, говорил:

— Отлично понимаю, что теперь продавать картины свои совсем не время: и лето, и война,— главным образом война, конечно, но вот вопрос: настанет ли оно, это самое время, или уж не появится больше? Как тут у вас думают?

— Я лично так вопроса не ставлю,— подумав все-таки, ответил Левшин, а дочь его посмотрела на Сыро-

молотова с удивлением в глазах, похожих на глаза матери.

— А другие? — допытывался Сыромолотов.

— И от других не слыхал... Вообще, мне так кажется, ты очень забегаешь вперед, притом пользуешься какимто проселком, а не большой дорогой,— сказал Левшин и добавил недовольно в сторону жены, отодвигая свою тарелку: — Жесткое очень мясо — не по моим зубам, а по волчьим!

Жена его сказала тоже недовольным тоном:

— Мясо как мясо... Сейчас будут котлеты с пюре.

И медленно повернула голову в сторону дочери, а та, в свою очередь, повернула свою голову в сторону двери, ведущей на кухню, и крикнула довольно пронзительно:

— Лукерья!

— Иду, иду-у! — донеслось оттуда, из-за двери, и в столовую вплыла, раскидисто, широко расставив толстенные голые до локтей руки, кухарка с большим блюдом котлет, утопающих в соусе и картофельном пюре.

Несокрушимая добротность всего естества Лукерьи особенно бросилась в глаза Сыромолотову, так как до ее появления он наблюдал только двух тощих — жену Левшина и его дочь. Он же помог Лукерье — расчистил место на столе, чтобы установилось на нем обширное блюдо.

Все лоснилось и блестело на не менее, чем это блюдо, обширном лице Лукерьи: и нос, и губы, и щеки, и подбородок, только глаза ее не мог разглядеть Сыромолотов. А когда она уходила, попутно захватив со стола тарелки от супа, и он глянул ей вслед, то понял, что только на ней и держалось все хозяйство его давнишнего товарища, что не будь этой Лукерьи, тоже у него давнишней, то, пожалуй, даже и не было бы исторического живописца Левшина.

Только такою ширмой, как эта Лукерья, с такими, как у нее, ножищами, в таких тяжких и рыжих башмаках, мог отгородиться от современности Левшин и всецело отдаться седой старине, заполнившей его мастерскую.

Картина, для которой он, Сыромолотов, позировал Левшину, была уже им продана, и Сыромолотову не пришлось ее увидеть (впрочем, особого успеха на выставке она не имела); но с того времени он написал еще три, тоже на темы старой Москвы, и та картина, которую заканчивал теперь, имела фоном зубчатую стену московского Кремля времен Василия III.

Сыромолотов, ценивший в картинах не то, что изображалось, а то, как это изображалось, увидел, что Левшин привычно повторил самого себя, что он застыл и застыл уже очень давно, что было удобно для художественных критиков, для знатоков из публики, для покупателей картин, но только не для искусства.

Можно было сказать, что московские цари сделали его своим придворным художником, помогли ему «найти себя», как некогда писал по поводу одной его картины авторитетный критик. Однако «найдя себя», он вплотную подошел к ремеслу и ушел от искусства, между тем и сам не замечал этого и от знатоков из публики слышал, как высокую похвалу: «Левшин всегда равен самому себе».

Сыромолотов не обращал внимания на то, какая мебель в столовой и в гостиной, какие драпировки, какие фикусы и цветы в кадках, но ни одна черта самого Левшина, его жены и дочери и его Лукерьи не осталась не замеченной зорким глазом художника, способного находить новое для себя даже и в том, что видел он ежедневно.

А к концу обеда, когда Лукерья внесла на подносе четыре стакана чаю, заволновалась дочь Левшина, услышав звонок у входных дверей.

Может быть, она ждала кого-нибудь, потому что выскочила из-за стола отворять двери с возбужденным лицом, однако какое вытянутое стало у нее лицо, когда она вернулась!

Следом за нею в столовую вошли двое, в которых Сыромолотов угадал сына Левшина (он был в студенческой тужурке) и замужнюю дочь, к которой студент поехал, как ему сказал сам Левшин, в Павловск.

Сыромолотов успел мельком заметить полное недоумение на лицах Левшина и его жены (Лукерья уже уплыла на кухню), но был поражен и сам, услышав, как студент крикнул, обращаясь к отцу и, должно быть, не заметив гостя:

— Он — подлец, папа! Подлейший подлец!

После этих энергичнейших слов кричавший разглядел, что в столовой кто-то есть, кроме своих, и в замешательстве остановился, а замужняя дочь Левшина совершенно неожиданно зарыдала вдруг и бросилась к своей матери, и Сыромолотов почувствовал величайшую неловкость и, поднявшись с места, мгновенно решил, что лучше всего ему сейчас же проститься и уйти, так как в дом вместе с этими двумя вошла какая-то трагедия.

Однако нельзя же было просто бежать без оглядки, как нельзя было и уйти, например, вместе с Левшиным в его мастерскую: Левшину, как отцу, необходимо же было знать, в какой степени оказался подлецом тот, о ком кричал его сын.

Из нескольких еще расслышанных им в общей суматохе слов Сыромолотов понял, что подлецом был муж старшей дочери Левшина, потому что вел себя в отношении жены как-то не так, как следовало, и студент, брат ее, решил привезти ее домой, к отцу.

Уловив на себе взгляд Левшина, очень сложный по своему значению, Сыромолотов простился с ним кивком головы и взглядом, не менее сложным, и боком, стараясь ни на кого больше не глядеть, ступая на носки, вышел из столовой в переднюю, поспешно снял с вешалки свою шляпу, отворил дверь на лестницу и вышел.

Когда он уходил из столовой, старшая дочь Левшина рыдала в объятиях матери, младшая стояла около них и кусала губы, чтобы не зарыдать, а студент смотрел на них, стоя плечом к плечу с отцом, был бледен от негодования на «подлеца», раздувал ноздри узкого в конце, как у его отца, носа и, видимо, готовился произнести горячую речь против зятя.

Старшая же дочь Левшина, насколько успел ее разглядеть Сыромолотов, была очень похожа на младшую: такая же тонкая, узкоплечая, с волосами такого же цвета или чуть-чуть потемнее, что трудно было определить, так как была она в розовой шляпе без полей.

На лице студента Сыромолотов заметил слабую белесую растительность, сходства же с молодым Левшиным, каким помнил его по Академии, не уловил,— только нос был отцовский.

Спускаясь по лестнице, он пожалел товарища, которому явно не повезло в семейной жизни.

Винить его самого в этом, как склонен был бы сделать это Сыромолотов, было трудно; однако помочь чем-нибудь совершенно невозможно. Жизнь сложилась именно так, как, очевидно, и должна была сложиться.

Наконец, нужно было еще решить, не питали ли разные семейные трагедии, подобные этой, творчества Левшина: у всякого ведь свой способ вдохновляться.

Как художник всеми клетками своего существа, Сыромолотов этой семейной неурядице (которая к тому же могла закончиться и полным примирением супругов) не придавал особого значения. Для него лично гораздо пе-

чальнее казалось то, что Левшина приходилось после виденного в его мастерской вычеркивать из числа ищущих, из числа идущих вперед.

Печальный вывод этот все созревал в нем и во время разговора на балконе, он окончательно созрел только в момент неожиданной семейной сцены.

VII

Едва успел добраться Сыромолотов к себе в «Пале-Рояль», как мальчик в синей курточке с металлическими пуговицами и в фуражке с вышитым по околышу канителью словом «телефон» постучал к нему в дверь и крикнул:

— Просят к телефону!

Надо было спуститься вниз. Он не сомневался, что звонит Надя, и действительно говорила она:

— Если можете, Алексей Фомич, приехать сейчас на Дворцовую площадь, угол Невского, то можете увидеть пристава Дерябина.

Разумеется, он обещал приехать, и минут через двадцать вагон трамвая доставил его к Дворцовой площади.

Надя его ждала. Она была одна, и это почему-то было ему приятно.

Обыкновенно он выходил «на натуру» всегда один, теперь же их было двое, как, не меньше чем вдвоем, идут сибирские охотники на медведя. Главное, что Сыромолотов в Наде чувствовал тот же самый художнический подъем, каким полон был и сам. У нее сияли глаза, и он, глядя на нее, почти ощутимо видел, что она представляет и переживает сейчас не что иное, как его картину «Демонстрация».

Надя вела его, и он шел за нею точно так же, как на его картине она вела толпу демонстрантов. Он ловил себя на том, что не чувствует никакого неудобства от того, что его ведет к месту, где он может увидеть Дерябина, девятнадцатилетняя Надя; напротив, он был ей благодарен, как месяца два назад в своей мастерской, где она стояла с красным флагом в руках.

Он шел за нею через Дворцовую площадь, по-своему впитывая и эту площадь, и дворец, и толпу людей, и экипажи, и машины, и у него блеснула мысль, перевернувшая мгновенно весь его замысел, мысль дерзкая, так как подсунула она ему на холст то, что было несравненно труднее сделать, чем небольшую толпу на небольшой

улице в сравнительно небольшом Симферополе... Эта мысль была: «А что, если взять эту вот площадь, и дворец, и тысячную толпу, и вот такой день, как сегодня?»

И не успел еще он хоть сколько-нибудь освоиться с этой чересчур дерзкой мыслью, как Надя, улыбнувшись какою-то круглой, вроде нимба, улыбкой, сказала ему:

— А что, Алексей Фомич, если бы это вот вы перенесли на свое полотно?

— Как «это»? — боясь, что не о том она говорит, спросил Сыромолотов.

— То есть, я хочу сказать, что если бы к Зимнему дворцу шла ваша демонстрация, вот была бы кар-ти-на!.. Только я, конечно, это по глупости своей говорю: такой картины невозможно сделать,— и Надя даже махнула рукой в знак безнадежности.

Он поглядел на нее удивленно, протянул, как это было ему свойственно: «Гм, да-а!» — окинул глазом и дворец и площадь, перевел свой шаг на тот самый «мертвый», о котором говорила Надя, и, наконец, сказал:

— За-нят-но было бы!

— А можно? Разве можно? — необыкновенно как-то почти выкрикнула Надя и расцвела при этом.

— Все можно,—буркнул он, чувствуя, что с этого момента будет смотреть на свою картину, оставшуюся там, в Крыму, только как на эскиз для новой, зародившейся в нем теперь.

— Ведь подумать только: какая-то никому не известная улица где-то вообще, хотя бы и в Симферополе, или Дворцовая площадь, известная всей России! — с большим подъемом и ярким сиянием глаз проговорила она, он же добавил:

— Не только всей России, даже и всему миру после девятого января.

— Вы это серьезно, Алексей Фомич?

— А разве вам показалось, что я шучу?—удивился он.

— Нет, я вижу, что не шутите... Я очень рада и сама не знаю, что говорю... Это я от радости так.

Радость действительно так и рвалась из круглых глаз Нади. Когда же она сказала вполголоса почему-то: «Вот он! Смотрите!» — Сыромолотов отчетливо почувствовал в ней снова товарища — охотника, напавшего на след крупной дичи.

Он поглядел туда, куда кивнула Надя (они уже подходили к тротуару около дворца), и увидел того, кого

искал безуспешно в Симферополе: пристав Дерябин — ставший, впрочем, здесь, в Петербурге, только помощником пристава — стоял перед козырявшим ему другим полицейским чином, казавшимся маленьким сравнительно с Дерябиным, но бывшим не ниже среднего роста.

— Он самый! — так же радостно, как и Надя, и тоже вполголоса отозвался ей Сыромолотов и немедленно вообразил его верхом, притом не на гнедом и невзрачном, а на красивом вороном коне с белой звездой на лбу.

Белая звезда, впрочем, так же быстро пропала, как появилась, но вороной конь под таким всадником прочно остался в мозгу.

— Мимо него пройдем, Алексей Фомич, как все ходят,— успела предупредить художника Надя, опасаясь, что Дерябин крикнет и на него точно так же, как на нее: «Вам что нужно?», если он перейдет на «мертвый шаг».

— Я понимаю,— постарался успокоить ее Алексей Фомич,— ведь он что называется «в наряде на дежурство» — охраняет дворец,— как же можно...

Они пошли мимо Дерябина, как ходят вообще жители столиц, и Надя сознательно четко и быстро делала шаги, а художник старался идти ей в ногу, и в то время как Надя, только искоса взглянув на Дерябина, тут же перевела взгляд на другого полицейского, Алексей Фомич так и впился глазами в того, кого отыскивал и, наконец, нашел.

Однако он не удовольствовался этим: он обернулся, когда прошел мимо, и, должно быть, это показалось подозрительным Дерябину.

Вдруг раздался его мощный басовый голос:

— Подождите минуточку! — и он направился к ним сам.

Алексей Фомич не столько видел, сколько почувствовал, как с лица Нади слетела вся ее недавняя сияющая радость, и это заставило его улыбнуться, а Дерябин обратился не к нему, а именно к Наде:

— Предъявите, пожалуйста, ваш паспорт.

— Почему? — спросила Надя, ободренная улыбкой Сыромолотова.

— Потому — что вы подозрительно себя ведете,— прогудел Дерябин, а Сыромолотов сказал вдруг неожиданно для Нади весело:

— Земляков своих не узнали?

Надя поняла, что ей тоже необходимо улыбнуться, а Дерябин, выпятив губы и оглядев поочередно их обоих, спросил густым, еще более низким басом:

— Это в каком смысле земляков?

— В симферопольском,— в тон ему ответил Алексей Фомич, и выпяченные губы Дерябина слегка разошлись в стороны.

— Вы из Симферополя? А-а... Это другое дело... Мне кажется, что я вас там даже видел,— старался припомнить и явно не мог Дерябин.

— Не знаю, видели ли вы меня, но я вас не один раз видел, и очень рад видеть снова,— весьма весело, к удивлению Нади, говорил художник, в то время как Дерябин усиленно вспоминал и даже наморщил ради этого брови.

— Позвольте мне вам помочь: художник Сыромолотов,— сказал Алексей Фомич, касаясь рукой своей шляпы.

— Помню! — наконец, улыбнулся Дерябин и повторил:— Сыромолотов, художник,— помню!

Он тоже прикоснулся к своей фуражке и протянул Алексею Фомичу руку.

— Ого! — вполне искренне сказал Алексей Фомич.— Силой вас бог не обидел!

— Есть отчасти,— самодовольно подтвердил Дерябин и спросил:— Вы недавно из Симферополя?

— Недавно и на время... А вас там помнят, должен вам сказать.

— Ну еще бы не помнить,— немедленно согласился с этим Дерябин, но так как в это время мимо проходил какой-то генерал, то он вытянулся и взял под козырек. Однако тут же, как только откозырял генералу, вспомнил про Надю и спросил ее:

— А вы тоже из Симферополя?

— Конечно, и сколько раз вас видела там,— постаралась попасть в тон Сыромолотову, который добавил:

— Лю-бо-ва-лась — вот как надо было сказать!.. Особенно когда вы верхом ездили!.. И проезжали мимо женской гимназии.

— Случалось,— тут же припомнил Дерябин,— случалось мне там парадировать и верхом.

— Идея! — вдохновенно воскликнул Алексей Фомич, вскинув руку.— Не хотите ли парадировать на своем коне у меня на холсте, а? Я, разумеется, подарил бы вам этот свой этюд на память!

Надя даже поднялась как-то непроизвольно на цыпочки от удивления перед этим решительным натиском художника на столь монументального пристава. Дерябин же несколько мгновений размышлял, видимо не зная, как отнестись к предложению художника, но вот он медленно поднес руку к козырьку, слегка наклонив голову, и пробасил:

— Польщен и тронут.

Потом, будучи несомненно человеком дела, а не слов, спросил:

— Каким же образом это можно будет осуществить?

Теперь настала очередь Сыромолотова отвести несколько моментов размышлению над тем, где бы именно мог он писать такого огромного пристава, парадирующего на соответственно внушительной, конечно, лошади. Поскольку его мастерская осталась в Крыму, то не в номере же «Пале-Рояля»!

— Вот что было бы самым лучшим,— сказал он.— Так как въезжать на лихом коне в мастерские художников считается вандализмом, то несомненно лучше будет Магомету пойти к горе, чем горе идти к Магомету.

— Я тоже так думаю, что это... как бы выразиться... более естественно,— согласился с ним Дерябин; Сыромолотов же вспомнил, какую хорошую службу сослужил ему в этот день телефонный мальчик в «Пале-Рояле», и попросил Дерябина записать на память номер телефона.

— Зачем же мне записывать, когда я могу просто вызвать «Пале-Рояль»? — заметил Дерябин.

— Ну вот и чудесно! А мне тогда скажут, и мы с вами побеседуем на эту тему. Только об одном прошу вас: не затягивайте, не откладывайте! Прошу помнить, что я здесь долго жить не намерен.

Сказав это, Сыромолотов вдруг спросил поспешно:

— А какой масти ваш конь?

— Вороной жеребец,— ответил Дерябин, откланиваясь.

— Чудесно! Вороной жеребец — это чудесно! — восхитился Сыромолотов своей удаче.— Всего лучшего!

— Будьте здоровы! — пожелал Дерябин, и они расстались.

Надя, уходя от дворца, получила возможность наблюдать, как отразилась на шедшем с нею рядом художнике его беседа с «натурой».

Как будто совсем другим человеком стал теперь хмурый и резкий, малодоступный и очень сдержанный пожилой художник, точно тридцать лет с него слетело.

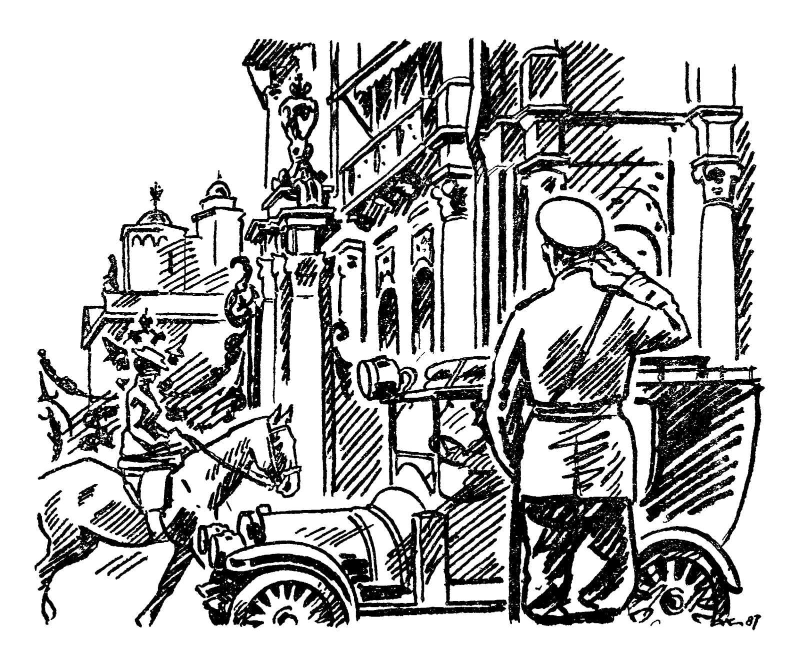
Он жестикулировал воодушевляясь.

— Значит, фортуна моя пока еще со мною, а это ведь самое важное! Испанцы говорят: «Дай своему сыну счастье, а потом хоть бросай его в море». Вот у меня, значит, и есть центр картины: вы, Надя, подходите слева (он выбросил вперед и вверх левую руку), пристав Дерябин стоит на своем жеребце справа (он сделал то же самое правой рукой), а на заднем плане — Зимний дворец! Название дворца-то какое, а? Зимний! Ведь это — символ, ни больше ни меньше! Замороженная Россия и Зимний,— какой же еще? — дворец! И картина моя будет называться теперь не какая-то там «Демонстрация»,— чепуха! А иначе, иначе... Совсем иначе!.. Вот как: «Атака на самодержавие»! А? Как вам кажется, Надя? Так ведь гораздо лучше, а?.. «Атака на самодержавие»!

— Не кричите так, Алексей Фомич, на улице! —сочла нужным сказать ему в ответ Надя.

— А? Не кричать, вы говорите? Разве я очень кричу?.. Да, разумеется, хотя мы с вами и на площади, но говорю ведь я только с вами, а не стою на трибуне.

Сыромолотов помолчал немного, но умолкнуть не мог, конечно: он был слишком взвинчен своей удачей —



центр картины окончательно и бесповоротно уже возник в нем и укрепился.

— А вороной конь как вам нравится, Надя? — продолжал он неуемно.— Ведь я только о нем и думал — и вот вам подарок судьбы! Оплот власти царской на вороном жеребце! А? Ведь этот Дерябин вполне может поспорить фигурой с моим сыном Ваней, но вот, подите же, даже и на ум не пришел мне Ваня, когда дошло дело до пристава? А ведь одень я его приставом — и чем не натура? Не догадался даже и вспомнить о нем... Это ваша заслуга, Надя,— что я вполне гласно и признаю,— это вы мне подсудобили такого пристава, как Дерябин. Не напиши вы мне о нем в письме, я бы не подумал, что он нужен именно такой; я бы не пошел искать его в Симферополе, поскольку остался он у меня в памяти в каких-то темнейших закоулках,— и вот теперь кончено, он у меня на картине! Готово!

— Да ведь нет его еще у вас на картине, Алексей Фомич — решилась поправить увлекшегося художника Надя.

— Как же так нет, когда есть? Если есть у меня здесь, в голове, значит и на холсте есть,— остался неисправимым художник.

— Алексей Фомич! А как же так вы говорите, что я буду у вас на этой ведь новой уже картине? — спросила вдруг Надя.

— То есть? — не понял Алексей Фомич.— Что это за вопрос такой?

— Как же так не вопрос, когда там я была — в Симферополе, а теперь у вас будет уж Петербург,— сказала Надя.— Там я выросла, и там я еще могла бы, пожалуй, а здесь я что? Буквально какая-то муха, каких здесь на одних только улицах миллион, да миллион в домах, по квартирам.

— Ах, вот вы о чем!.. Это к делу не относится. Там вы были у меня во главе, а здесь будете на переднем плане картины. Место для вас тоже весьма почетное, если представите, что толпа идет не в шеренгах ведь, а как всякая толпа — беспорядочно и не в ногу, косяком... Так же точно и пристав Дерябин: вы идете непосредственно на него, а другие, которые в общем шествии впереди вас будут,— те на других, по положению повыше, чем Дерябин, вот и все,— объяснил художник.

— Я представляю,— сказала она,— только ведь если взять Дворцовую площадь и дворец, то какая же должна быть это огромная картина, Алексей Фомич!

— Очень огромная, да! — согласился Сыромолотов.— И показывать ее нужно будет в огромной зале, и зрители должны будут стоять на весьма приличной дистанции... Скорее всего нужно будет протянуть некое подобие барьера между этой картиной и зрителями,— вот как надобно будет сделать! И вот вы видите теперь сами, Надя, как убого она была задумана там, у меня в мастерской!.. Идет, дескать, толпа людей неизвестных профессий, несут, дескать, красные флаги, а их, дескать, уже ждут со свинцовым горохом, и,— публику просят не расходиться,— сию минутку бабацнет залп! Убого! Скуповатенько!.. Какое время, прежде всего? Девятнадцатый век или двадцатый? Двадцатый, вы говорите? А где же машины? Двадцатый век — это век машин на земле, и в воде, и в воздухе,— вот что такое двадцатый век! А где же эти машины, хотел бы я знать?.. Вы видите, сколько машин пробегает мимо нас с вами здесь? А? Вот они-то и должны быть на моей картине!.. И если бы вы меня спросили теперь, как спрашивали вчера, зачем собственно я приехал...

— Я вас не спрашивала об этом, Алексей Фомич,— решилась перебить его Надя.

— Все равно, я чувствовал этот вопрос и теперь вам на него отвечу: я приехал, чтобы найти вас, Дерябина и новый размер своей картины.

VIII

Зимний дворец вместо какого-то угла, переулка и улицы в Симферополе и пристав Дерябин во всей его тяжеловесности и мощи — это была такая находка, что Сыромолотов, прощаясь с Надей, долго обеими своими ручищами жал ее узенькую девичью руку и благодарно глядел все, тоже в радостные, круглые светлые глаза.

Про себя думая, он не мог бы назначить даже и цены за такую находку, а Наде говорил:

— Не помню, у какого это поэта я вычитал в мои древние годы:

Сюжета нет, сюжета нет,—
Я жизнь отдал бы за сюжет!

Вот, значит, какова бывает цена порядочному сюжету на бирже поэтов. Однако и на бирже художников хороший сюжет стоит много... Об одном нашем русском художнике вы, наверно, когда-нибудь слышали, что всю свою жизнь он отдал одному только сюжету, но о другом, может быть, и никогда не услышите, что он свои фигуры для картины вылепил из воска и всячески их освещал, пока не нашел освещения, какого хотел... Вот так и я... вкупе с вами, Надя. В том, что я хотел сделать там, у себя, таился, конечно, сюжет, но только здесь, в Петербурге, вырос он во весь рост и... как бы это сказать... в душу мне глянул — вот! Вам обязан этим, вам,— никогда не забуду, что у вас я в долгу, Надя! В долгу, в долгу!

— Алексей Фомич,— сказала Надя,— а как же вы... Я хочу сказать, как же вы думаете о подобном сюжете и не думаете о приставе Дерябине?

— Как же так не думаю? — удивился Алексей Фомич.— Теперь буду думать и день и ночь.

— О том, как он сидит на своей лошади? А если он придет к вам в мастерскую и посмотрит на себя и спросит вас: «Кто это вам разрешил такую картину писать?»

Надя сказала это за один прием, и только когда сказала, ей стало неловко за себя, но Алексей Фомич ответил ей так, как было ему свойственно:

— А зачем же я буду пускать приставов Дерябиных в свою мастерскую? Этого еще недоставало!

— А кто же будет смотреть вашу картину, когда она будет готова? — снова спросила Надя.

— Победивший народ,— коротко ответил ей Сыромолотов и добавил:— Ведь вы же уверены, что народ победит?

— Уверена, да, только... когда еще это будет!

— Да ведь и картина моя когда-то еще будет готова! — в тон ей отозвался Алексей Фомич, еще раз пожав ей на прощанье руку.

Как в жизни каждого человека, так и в подспудной, ни для кого другого не видной жизни крупного художника бывают взлеты, но случаются и срывы. Это не значит, конечно, что ему совершенно не удалось то, что он создал,— нет; это значит только, что он не все дал на холсте, что мог бы, что в силах был бы дать.

Теперь, когда весь целиком захвачен был Сыромолотов своей новой картиной, ему стало совершенно ясно, почему он вскоре же после того, как показал свой триптих «Золотой век» своему Ване и пациентам врача Худолея, охладел к триптиху и принялся за пейзаж «Майское утро».

В «Золотой век» вложено им было очень много и, однако, не все: было показано как бы несколько крутобоких вспененных яростных волн, но не просторно бушующее море. Он хотел захватить триптихом три момента: предгрозье, грозу и послегрозье, но средний из них — гроза — получился каким-то малоговорящим — частичка очень большого, волна вместо моря,— всего только несколько человек вместо восставшего против своих угнетателей народа... А кто же построил на пустом поле то новое, чему тоже слишком уж тесно было на третьей полосе триптиха?

Эту картину вздумал резать ножом пришедший вместе с Ваней в его мастерскую провокатор Иртышов, но могло быть и так, что если бы она была выставлена, то очень многие из публики поняли бы ее не так, как задумал ее сам художник, а между тем картина, вполне удавшаяся ее творцу, не должна вызывать кривотолков: она покорит с первого на нее взгляда, как покорило Надю «Майское утро», вызвав у нее слезы восторга.

Но, возмущенный, выхватил из кармана свой перочинный нож Иртышов, когда увидел «Золотой век», и чем

бы ни руководился он при этом, для Сыромолотова довольно было одного этого ножа, чтобы охладеть к триптиху, как довольно было искренних слез Нади, чтобы признать «Майское утро» своим взлетом.

Однако что же такое «Майское утро», как не пейзаж? И девичья фигура, введенная им в картину, была не только неотъемлемой от пейзажа,— она углубляла его, она была человеческой мыслью в нем,— именно тем, чего не хватало его триптиху, хотя в основе его лежал тоже пейзаж. Этот пейзаж с радугой, стоившей ему много труда и исканий, был все же не продуман им до больших глубин.

Не те несколько фигур, какие были даны им в средней части триптиха, а массу их, ломающих старую жизнь, должен был он уместить на узком холсте; он упростил рисунки, и вышло не то...

Даже единоборство Мстислава Храброго, князя тмутараканского, с князем Редедей было не в пустом поле, а перед множеством воинов как с той, так и с другой стороны. И о второй части триптиха могли бы сказать: «Одна ласточка не делает весны, и пять-шесть человек недостаточно, чтобы показать восставший народ».

В «Майском утре» он как бы отбросился в сторону от темы триптиха, признав ее для себя слишком трудной, в этом был его срыв.

Ему только некому было сказать об этом: сыну не пришлось, кому-нибудь другому — незачем, и срыв этот переживался им в одиночестве.

Он, конечно, не мог не ценить колорита этой картины, в чем сделал он тогда большой шаг вперед, но содержание, сюжет картины... Он взялся тогда за холст, названный им «Майское утро», чтобы забыть о триптихе.

И все-таки даже и удавшееся ему «Майское утро» он не называл про себя взлетом: это был отход от мотивов триптиха, прыжок в сторону общепонятного, всеми заранее принятого, но не взлет. И вот только он чувствовал настоящий и высокий взлет, весь без остатка захваченный «Демонстрацией» (или как бы впоследствии ни назвать ему свою новую картину), и это был самый большой взлет изо всех, когда-либо испытанных им в жизни.

Простодушная Надя, случайно войдя в его дом с просьбой дать какой-нибудь рисунок или этюд для лотереи в пользу ссыльных и заключенных политических, будто вошла с фонарем в кладовую его памяти о 1905 годе.

И вот рядом с триптихом, на котором, между прочим, изобразил он семицветную радугу — труднейшая задача для живописца! — зарделась в его мозгу молодая русоволосая девушка с красным флагом.

Просто вспомнилось то, что давно, еще в молодости его, считалось святым: идут девушки, русские мученицы за идею, с красными флагами, а потом становятся заключенными и ссыльными.

Картина, которую он затеял там, у себя в Крыму, явилась как бы платежом долга, повинностью, подвижничеством, но не взлетом художника. Он только как бы сделал несколько подскоков на земле, только расправил для полета крылья, но не взлетел.

Быть может, и взлетел бы все-таки, но помешала начавшаяся так неожиданно война. Война показалась там непреодолимым препятствием для взлета, и вот — преодолено это препятствие, здесь, в столице, на широкой площади перед Зимним дворцом.

Сюда, сюда, именно сюда должны были сойтись все святые русские девушки с символами свободы — красными флагами в руках!

Где же, как не во дворце, решался вопрос о том, быть или не быть войне? Откуда же, как не из дворца, вышли один за другим написанные дубовым казенным языком царские манифесты? Кого же оберегают приставы Дерябины, как не того, кто обитает в этом дворце, когда пустуют другие, весьма многочисленные его же дворцы?

И вот к этому дворцу, как к Бастилии, идет народное русское море, чтобы смыть его, как вековой свой позор.

Да, это — взлет! И это настоящий и подлинный и самый высокий взлет его, художника Сыромолотова, так как он отражает долгожданный, необходимый, подсказанный историей взлет ставосьмидесятимиллионного народа, отставшего на сотню лет от других, даже и мелких народов, благодаря вот этому самому Зимнему дворцу, холодильнику, заморозившему Россию!

Мужики с кольями призваны теперь, конечно, в полки, защищающие — что собственно — Россию или вот этот самый холодильник? Вместо кольев у них винтовки в руках, они, желавшие девять лет назад непременно убить его, художника Сыромолотова, за то, что на голове его была шляпа, будут, может так случиться, в роте его сына, прапорщика, и он вынужден будет приказывать

им идти на верную смерть прежде всего «за веру», потом «за царя» и только где-то на заднем плане — «за отечество».

Неприязнь к ним развеялась только вот теперь, здесь, на Дворцовой площади, когда возникла в мозгу громадная картина, заполнившая все его существо.

Это было ему присуще всегда: жить той или иной своей картиной. Он мог бы всегда говорить о себе самом: «Я — это я плюс картина, которую пишу».

И картины, которые он писал, расширяли его «я» в меру своей значительности. Однако за всю его жизнь в него не внедрялось картины такого бесспорного, такого огромного значения, как эта, только что появившаяся перед его глазами.

Расставшись с Надей, он взял направление к себе, на Пушкинскую улицу, но не столько шел туда сам, сколько бережно нес в себе возникавшую, рождавшуюся в замысле картину.

Кругом него все еще было летнее, и только что счастливо встреченный им Дерябин был еще в летнем белом кителе и в летней фуражке, но почему-то он представлялся ему в зимней долгополой, кавалерийского образца, то есть с высоким разрезом сзади, серой шинели и в круглой черной каракулевой шапке, украшенной спереди большою затейливой бляхой из белого металла. Именно таким рисовался он ему на своем вороном жеребце. Может быть, самое слово «Зимний» (дворец) отбрасывало в его мозгу все летнее; может быть, то, что 9 января осуществлен был первый натиск народа на эту твердыню; может быть, наконец, какое-то подспудное соображение о том, что если война продлится, как утверждали, не больше полугода, то, значит, революционный взрыв, приуроченный к ее окончанию, должен совершиться не в иное время, как зимою...

И Надя стала рисоваться ему, конечно, тоже не в летнем платье, а в зимнем пальто, с небольшим меховым воротником — мех голубовато-серый, и все другие были заботливо одеты им тепло, по-северному, по-петербургски.

Это было почему-то даже необходимо: не летняя красочность и белизна одежды, а зимняя суровость, строгость, даже однообразие тонов. Ведь шла огромнейшая народная масса не на праздник, а на бой — лето же размягчает человеческую душу, а зима делает ее решительней и тверже.

И даже снег... Крупные хлопья снега вдруг представились Сыромолотову. Луч солнца, пронизавший снежную тучу и засверкавший в падавших хлопьях снега, и побелевшая от снега сверху подстриженная грива дерябинского жеребца!

Был теплый сухой день, но воображение Сыромолотова, рисовавшее зиму, действовало с такою четкостью, что преодолело всю толпу на Невском, среди которой он шел к своему «Пале-Роялю»: ведь это была та самая толпа, которая атаковала Зимний дворец.

В этой толпе между прочими виделся ему и старший сын Левшина, почему-то в нагольном полушубке и в шапке из рысьего меха. Он помнил его гимназистом, но теперь он представлялся ему бородатым, с выдавшимися скулами... Разве не мог он бежать из этого Зерентуя, чтобы непременно в нужный момент попасть на Дворцовую площадь?

И все Невредимовы, сколько их было,— старцы, студенты, курсистки, прапорщики, полковые врачи!.. И своего сына Ваню он удостоил получить место на картине в первом ряду: против богатырски сложенного пристава Дерябина выдвигался не богатырь ли тоже Ваня Сыромолотов, чемпион мира!..

И лошади... Ведь не один же только дерябинский жеребец будет на картине. Алексей Фомич припомнил и представил свои этюды 1905 года, которые делал он в имении Сухозанета и из которых кое-что сохранил. Вот когда могли они ему пригодиться: ведь за Дерябиным не шесть, а много конных столичных полицейских, и под ними должны быть не какие-нибудь шершавые, а настоящие красавцы кони.

И тот генерал, которому истово козырял Дерябин, разве не может он командовать обороной дворца? Прикажут, будет командовать: «Патронов не жалеть!..», «Холостых залпов не давать!..»

Чистого холста не было у Сыромолотова, и он купил по дороге холста, красок, кистей. Ни малейшего отлагательства не мог допустить он, переполненный ощущением зародившейся и растущей в нем картины.

А в вестибюле «Пале-Рояля», как только он вошел, к нему подскочил телефонный мальчик и сообщил, радостно улыбаясь:

— Вам звонили только что! Я хотел уж бежать к вам наверх.

Сыромолотов подошел к телефону, уверенный, что с ним желает говорить Дерябин, но говорила Надя:

— Только что получила телеграмму от брата Пети. Он ранен и теперь в лазарете.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЭТЮДЫ К КАРТИНЕ

I

Когда полиция проявляла интерес к кому-либо из обывателей, это производило вполне понятное большое впечатление на всех соседей. Естественно, что переполошился метрдотель «Пале-Рояля», когда, вызвав его к телефону, помощник пристава столичной полиции Дерябин справился у него насчет художника Сыромолотова.

— До настоящего времени ни в чем не замечен,— встревоженно ответил он, но Дерябин, крякнув неопределенно в трубку, прогремел весьма отчетливо:

— Дело в следующем... Прошу слушать внимательно и ему, художнику, передать точно, чтобы не вышло недоразумений...

— Я запишу, запишу! — заторопился успокоить его метрдотель, причем даже и спину выгнул дугою.

— Да, вот именно, запишите, что я-я... прошу, его, художника, приехать ко мне в полицейскую часть... И пусть захватит все свои принадлежности... И непременно паспорт... Записали?.. Та-ак... От трех до пяти я буду,— добавьте,— от трех до пяти, не позже... Все!

Разумеется, никому из служащих гостиницы не доверил метрдотель такого важного поручения. Он явился в номер Сыромолотова сам и, к своему изумлению, очень обрадовал художника.

— От трех до пяти? — переспросил Сыромолотов.— Прекрасно! Два часа, значит, будет в моем распоряжении! Лучшего нельзя и желать. И время хорошее, от трех до пяти... А сейчас сколько?

— Почти двенадцать,— поспешно вытащив свои часы, ответил метрдотель и добавил: — Со всеми, сказано, принадлежностями и непременно чтобы паспорт.

— Ну еще бы без принадлежностей,— усмехнулся Сыромолотов,— что касается паспорта, то я его пришил

к жилету и без него вообще не делаю ни шагу. Об этом не извольте беспокоиться.

Насмешливый тон и веселый вид художника успокоили метрдотеля, но все же в половине третьего он счел за лучшее напомнить ему, что ему необходимо сделать. Однако Сыромолотов уже выходил из номера с ящиком и этюдником в то время, когда ревнивый исполнитель приказов всесильной полиции показался в коридоре.

— Это и есть ваши принадлежности? — осведомился метрдотель, прикоснувшись пальцами к этюднику.

— А что же еще, вы полагаете, надо мне взять? Броненосец? — спросил в свою очередь Сыромолотов, поглядев на него очень серьезно.

Когда добрался художник до своей натуры (причем не обошлось без предъявления паспорта), шел уже четвертый час, но солнца было еще много, а главное — не было дождя. Дерябин встретил Алексея Фомича вполне благодушно и прежде всего раскрыл перед ним свой портсигар.

Очень естественно удивился он тому, что художник не курит, что не имеет обыкновения и напиваться до бесчувствия, и решил:

— В таком случае вы — настоящий феномен!

Теперь, когда Дерябин был без фуражки, Алексей Фомич не мог не отметить про себя, что лучшей натуры для его картины незачем было бы искать, и вновь, в который уже раз, припомнил, что нашла для него эту натуру Надя, что эта драгоценная деталь — такой пристав на красавце коне — подарена ему ею.

Значительно облысевший, хорошо сформованный лоб, и под ним слегка прищуренные, явно прощупывающие глаза; плотные щеки, несколько излишне набежавшие на нижнюю челюсть; крупные мочки ушей; раздвоенный широкий подбородок; широкие и как будто брезгливые ко всему ноздри, а нос прямой, без горбинки; шея — как кусок телеграфного столба, и плечи такие, что на каждом могла бы усесться с большим для себя удобством базарная торговка... «Хорош! Очень хорош!» — восхищался про себя натурой художник, а Дерябин спросил, как будто заметив это восхищение:

— Показать вам и моего коня?

— Непременно! Непременно!.. И даже больше, чем показать: сесть на него,— вот что было бы превосходно! Сесть! Я вас ведь на коне решил написать.

Алексей Фомич даже выкрикнул последние слова: ему показалось вдруг, не передумал ли Дерябин, не желает ли он оставить в назидание своему потомству обыкновенный, вполне всеми принятый поясной портрет?

Но Дерябин не передумал. Он сказал даже:

— Ведь мы же договорились, чтобы на коне,— и приказал кому-то седлать свою лошадь.

Успокоившись на этот счет, Сыромолотов огляделся в кабинете Дерябина — просторной комнате с тремя большими окнами, резными стульями и письменным столом красного дерева, и решил, что нужно что-то сказать приятное натуре своей, чтобы вполне расположить ее к себе.

— Прекрасный кабинет у вас,— сказал он.— В такой мастерской можно бы написать по-ря-дочной величины картину!

И на одной из стен тут же представил свою «Демонстрацию перед Зимним дворцом». Он сам не заметил того, что очень загляделся на свою будущую картину, так что Дерябин, наблюдавший в это время его, рокотнул снисходительно:

— Занятный вы народ — художники!

— «Коня, коня! Полцарства за коня!» — продекламировал Алексей Фомич с большим подъемом.

— Оседлают — доложат,— деловито отозвался на это Дерябин, но, взглянув в окно, добавил: — Можем, впрочем, выйти на двор: седлают.

Взял фуражку, надел ее перед зеркалом, поправил портупею, размял плечи и под руку с Сыромолотовым спустился с лестницы.

— Вот это называется удача! — не мог не сказать Алексей Фомич, когда прямо перед ним возник во всей своей красоте и гордой осанке конь Дерябина.

Да, это была действительно удача.

Вороной жеребец-орловец, около которого возились двое городовых, застегивая подпругу и пробуя, не туго ли затянули, пытливо глядел на него, Сыромолотова,— совершенно нового здесь, во дворе полицейской части, для него человека, а в глазах художника сиял восторг.

Настроение сразу же появилось такое, как девять лет назад на обширном дворе конского завода генерала Сухозанета, где тренер гонял скаковых лошадей на корде, где каменные под железом конюшни были украшены сбоку каждых ворот бронзовыми, неплохо сделанными лошадиными головами.

— Как его имя? — спросил Сыромолотов, слегка похлопав коня по крутой шее с коротко подстриженной гривой.

— Черкес! — с чувством повторил Алексей Фомич и, припомнив, что черкесов и ингушей нанимали в девятьсот пятом году помещики для охраны своих имений от крестьян, добавил: — Прекрасное имя! Очень к нему идет это имя!

Черкес раза два наклонил низко голову, точно соглашаясь. Хвост его был подвязан замысловатым узлом. Холеная шерсть лоснилась.

— Ну, не будем терять дорогого времени. Прикажете сесть в седло? — игриво пробасил Дерябин, приложив даже руку к фуражке, и, не дожидаясь ответа, неожиданно для Сыромолотова легко, едва коснувшись ногою стремени, поднялся и вот уже устраивается удобнее в седле, а Черкес под тяжестью его, быть может семипудового, тела переступает ногами и ждет, поставив топыром уши, когда его этот увесистый всадник пошлет к воротам, чтобы скакать по улице, звонко стуча копытами по мостовой.

Но всадник с папиросой во рту не шевелит уздечкой. Он приказывает городовому вынести для художника стул, потом, вдогонку, кричит:

— Два стула!..

Алексей Фомич расположился на этих стульях со своим этюдником и ящиком для красок на таком расстоянии от конного помощника пристава, какое подсказал ему холст на этюднике, и из пачки углей вынул наиболее прочный на вид, так как приготовился к действиям энергичным, а при таких действиях тонкий уголь очень скоро ломался в его сильных пальцах.

Дерябин сидел на седле вполне картинно, даже не казался тяжелым, и, чтобы поддержать в нем такую посадку, сколько нужно было для зарисовки, Алексей Фомич сказал первое, что навернулось:

— Теперь большая редкость встретить такого коня, как Черкес, в тылу... То есть, не в армии, хотел я сказать...

— Реквизиция конского поголовья полиции, разумеется, не коснулась,— не без сознания своего достоинства отозвался на это Дерябин.

— Хотя война и мировая,—подхватил Сыромолотов, чтобы завязать, по своему обыкновению, разговор с натурой.

— Что же из того, что война мировая?.. Ведь в свое время она окончится,— философски спокойно проговорил Дерябин.— Полиция же — это уж навеки.

— Навеки? — совершенно машинально повторил художник, работая углем.

— А как же иначе? — спросил Дерябин и покосился на Сыромолотова так выразительно, что тот не замедлил с ним согласиться.

— Конечно, нельзя даже и вообразить государства без полиции.

— В том-то и дело... А чего же стоит полиция без лошадей?

Вопрос этот был поставлен помощником пристава так, что художнику оставалось только ответить:

— Разумеется, ничего не стоит.

— Войны что! — продолжал философствовать Дерябин, сидя в седле.— Войны — это для государства все равно что для человека скачки, например, с призами или вот какой-нибудь коммерческий шахер-махер: можно выиграть, а можно и проиграть, а то и сделать ничью, как в шахматах бывает... А для министерства внутренних дел только что работы прибавляется во время войны... Однако ее и в мирное время бывает до черта!

И с этим приходилось согласиться Сыромолотову. Справившись с контуром тела Дерябина, он сказал сочувственно:

— Да, служба у вас тяжелая.

— В этом-то и весь вопрос! — очень живо подчеркнул Дерябин.— И это должны сознавать все интеллигенты, а не то чтобы либеральничать и кукиши нам из своих дырявых карманов показывать!.. Стой-й-й! — по-кавалерийски скомандовал он Черкесу, который не понимал, почему он все еще торчит на дворе, а не скачет лихо по улицам.

Однообразные движения головы и ног Черкеса, впрочем, мало мешали Сыромолотову заносить его стати на холст, и он скоро бросил остаток угля в ящик и взялся за палитру и кисть, говоря при этом:

— Без министерства внутренних дел,— вы совершенно правы, конечно,— никакого современного государства представить невозможно... Как и без министерства иностранных дел...

— Как и без войн,— добавил Дерябин.

— Да, по-видимому, именно так,— действуя широкой кистью и густо кладя краски, сочувствовал своей

натуре Сыромолотов.— По-видимому, без войн как человечество не обходилось, так никогда обойтись и не сможет... Щуки поедают карасей, лисицы кур, ястреба перепелок... ведь так, кажется...

— А Россия съест Австрию,— докончил за него Дерябин.

— Вы полагаете? — очень удивился его выводу Сыромолотов.

— А вы полагаете, что Австрия съест Россию? — не замедлил удивиться и Дерябин.

— Ну, куда уж ей, несчастной!.. И Германия подавится.

— То-то и да, что подавится.

Когда единомыслие в сфере политики было достигнуто, работа Сыромолотова пошла еще быстрее и успешнее, и не больше чем через час на холсте этюдника, на вороном красивом и сильном коне, очень плотно с ним слившись всем своим мощным телом, сидел тот самый всадник, без которого теперь не мог уже никак представить огромную свою картину Алексей Фомич.

Этот всадник был для него теперь точно самый дорогой подарок судьбы. Одеть его шинелью, как это он думал сделать, не могло уж быть трудным, а Черкес, этот прекрасный вороной конь, он должен был войти и в картину без малейших изменений.

Наблюдавший художника Дерябин увидел по выражению его лица, что он им доволен, и спросил:

— Что? Можно мне спешиться?

— Вполне! —весело сказал Сыромолотов, хотя держал еще кисть в руке.— На сегодня довольно.

Дерябин спрыгнул с Черкеса далеко уже не с такой легкостью, с какой вскочил в седло, сказал: — Засиделся, однако! — и подошел посмотреть этюд.

— Да-а! — раскатился над головой все еще сидевшего Алексея Фомича густой голос Дерябина.— Итак, Черкес, мы с тобой воплощены...

Алексей Фомич еще старался вникнуть в слова Дерябина, чтобы понять, одобрение в них или порицание, а тот уже кричал одному из городовых, державшему лошадь:

— Мигунов! Веди Черкеса в конюшню!

Решив, что Дерябин недоволен этюдом, Сыромолотов закрыл этюдник и поднялся со стула, но помощник пристава спросил изумленно:

— Вы что же это? Как будто даже имеете в мыслях унести это к себе домой? А?

— Непременно, а как же иначе? — изумился в свою очередь и художник.

— Вот это мне нравится! Зачем же в таком случае я торчал тут перед вами полтора часа болван. болваном?

— Ах, вот что! Вы думаете, что вы совсем не получите от меня этого этюда? — попытался даже рассмеяться весело Алексей Фомич.— Получите, получите, только мне надо над ним еще поработать дома... Ведь сейчас он совершенно еще сырой, его надо отделать, усовершенствовать, и тогда... сочту своим приятным долгом привезти его сюда вам.

— Вот тебе на! Когда же это будет?

— Не позже как через день, но зато это уж будет настоящая небольшая картина, а не этюд,— поймите!

Дерябин глядел на него недоверчиво, и ему пришлось привести еще несколько доводов в доказательство того, что этюд не имеет никакой ценности по сравнению с законченной картиной, пока, наконец, блюститель порядка в столице не согласился подождать всего только один день, чтобы вместо этюда получить «настоящую картину».

А Сыромолотов, выходя из полицейской части, так крепко держал свой этюдник, точно Дерябин подарил ему сокровище сказочной цены.

II

Это был первый этюд Сыромолотова к новой его «Демонстрации», притом этюд, написанный в Петербурге, на месте действия его будущих демонстрантов, из которых первой и главной стояла в его глазах Надя.

Приехав к себе в «Пале-Рояль» (чем явно обрадовал метрдотеля), Алексей Фомич тут же, безотлагательно начал переносить и Дерябина и Черкеса с этюда на другой холст того же размера. Солнце и увлечение позволили ему закончить это дело почти с такою же быстротой, с какой писался им этюд.

Фон, на котором позировал ему Дерябин, был очень сложным: на широком дворе стояли пожарные машины, имевшие праздничный вид, как будто только окрашенные киноварью, с металлическими частями, начищен-

ными до блеска; за машинами белели стены не то конюшен, не то сарая с зеленой крышей; а за этими стенами высился брандмауэр с отскочившей кое-где штукатуркой... Этот фон был совершенно лишним для его картины, и он не занес его на этюд; теперь же, по памяти, сделал несколько мазков, которые могли бы говорить сердцу помощника пристава, что он сидел на своем Черкесе не где-то в пространстве, а в своей обстановке, привычной и благонадежной.

На картине тот же Дерябин стоял в представлении Сыромолотова на фоне, который был неизмеримо сложнее этого и в котором каждая деталь не могла быть незначительной, непродуманной, случайной: ведь Зимний дворец теперь был для художника не просто архитектурным мотивом, а символом, притом таким же живым, как и Дерябин, поэтому и все, что должно было вместиться на холсте между ним и фигурной решеткой дворцовой ограды, не имело права не быть найденным точно в каждом пятне и в каждом штрихе.

Однако чем труднее для передачи в красках рисовалась теперь Сыромолотову его картина, тем лучше он себя чувствовал: энергичнее, прочнее, шире. Он как будто бы рос сам вместе со своей картиной и даже сказал как-то в этот день про себя, но в то же время почему-то вполне отчетливо для слуха: «Теперь я — Сыромолотов плюс «Демонстрация»!»

В таком настроении от своего внезапного роста он не мог уже сумерничать один у себя в номере и поехал к той, которая дала ему замысел картины,— к Наде.

Он не мог не сознаться самому себе в том, что его тянуло к Наде, но когда он задавал себе вопрос: «Почему же все-таки тянуло?» — то отвечал на него вопросом же: «Как же так — «почему»? А картина?»

Действительно, отделить Надю от своей будущей картины он уже не мог, если бы и захотел: ведь Надя стояла в центре картины, она давала ей этот огромный смысл и значение, которое он чувствовал особенно здесь, в Петербурге.

Он полон был к Наде особой нежности, которой никогда не замечал в себе в отношении к сыну, даже когда тот был совсем еще ребенком, и объяснял эту нежность тем, что она,— сама, впрочем, не ведая об этом,— его как бы втянула и подняла, чего не сделал, да и не мог сделать Ваня,— «любимое дитя Академии художеств».

Сознаться в том, что Надя могла каким-то образом на него повлиять, заставить его, хотя бы и совершенно ненароком, чем-то в себе поступиться, Сыромолотову мешала еще привычная отчужденность от всех, пусть даже самоуверенность, или гордость, или как бы это ни назвать иначе; но и не отметить на себе отблеска ее юной непосредственности он, внимательный к самому себе, тоже не мог. Ему с нею было хорошо уже потому, что она его понимала в самом важном — в картине. Даже и пристава ему подсказала, который незаменим, который единственный... С этим-то приставом в душе (и на этюде и, мысленно, на картине) он и приехал к Наде, но, кроме Нади, а также и Нюры, в комнате, хорошо уже ему знакомой, нашел он еще и Катю Дедову, зашедшую к своей подруге по курсам.

— Я — людоед! — зловещим шепотом сказал Кате Сыромолотов в виде рекомендации, так же точно, как двумя днями раньше говорил Наде и Нюре, но Катя только приятно улыбнулась на это ему, показав безупречно прекрасные зубы.

Ее он не мог бы назвать красивой, но красоту заменяли в ней здоровый румянец на круглых щеках и простонародно-веселые огоньки в глазах трудно определимого при вечернем освещении цвета.

Сыромолотов с первых же слов понял, что сестры Невредимовы рассказали ей уже о нем все, что знали, даже и о задуманной им картине. Ни малейшей тени отчужденности он не замечал в ней. Напротив, говоря с ним, она даже совсем как-то по-товарищески дотрагивалась до его руки своей неслабой на вид рукой. Отметил он про себя и такую ее особенность: когда она смеялась, то закрывала почему-то глаз. Голос же ее оказался грудной, весьма к ней располагающий.

Разумеется, Алексей Фомич, едва познакомившись с Катей, достал свой карманный альбомчик и начал зарисовывать ее карандашом, тут же решив написать с нее этюд к картине красками при первой к тому возможности.

Он говорил при этом, обращаясь к Наде:

— На картине, Надя, ваша подруга непременно будет рядом с вами. Это решено и подписано.

— А ближе она будет к зрителю, чем Надя, или дальше? — тут же справилась у него Нюра с ревнивой уже ноткой в голосе.

— Нет, не ближе,— успокоил ее Сыромолотов,— однако непосредственно рядом... Вот на таком расстоянии! — и показал кончик мизинчика.

Катя сказала на это вполне серьезно:

— Очень почетное для меня место, дай бог всякому.

Художник уловил в ее голосе искреннюю нотку, и это еще больше расположило его к Дедовой. И позировала она, точно сдавала зачет профессору, а это не могло не настраивать на вполне деловой лад и самого художника, и он сделал с нее за полчаса несколько зарисовок.

В этот приход он попал к Наде позже, чем в первый раз: горела керосиновая лампа под зеленым абажуром, стоявшая не на столе, а на книжном шкафе, чтобы во всей комнате было светло.

— Это вы историческую картину хотите писать, Алексей Фомич? — спросила вдруг Катя.

— Как так историческую? — удивился Сыромолотов, но тут же добавил: — Она, конечно, станет совсем как историческая лет этак через тридцать — сорок.

— Да ведь вы же «Девятое января» хотите сделать? Или я не поняла тебя, Надя?

— Я тебе этого не говорила! Откуда ты это взяла? — удивилась теперь уже и Надя, а Сыромолотов сказал спокойно:

— Нет, я — не исторический живописец и рыться в пыли веков не чувствовал никогда охоты.

Но тут же представил он Дерябина в шинели, снег на шее и на крупе Черкеса, снег, падающий с неба крупными хлопьями на всю массу людей на площади, и добавил:

— Вам, Катя, как и Наде, придется одеться все-таки потеплее: тогда, действительно, будет зима.

— А мне? — спросила Нюра обиженно.

— И вам, и вам тоже,— успокоил ее Алексей Фомич.— Будет ли это девятого января будущего года, этого я, конечно, не знаю, но в этом году — в ноябре, в декабре, например,— едва ли будет.

— А может быть, вам, Алексей Фомич, просто не хочется, чтобы в ноябре? — предположила вдруг Нюра.

— Вот тебе раз! — изумился этому он.— Почему же не хочется?

Надя тоже посмотрела на сестру недоуменно, но та не смутилась. Напротив, она объяснила бойко:

— Мне бы лично, будь я на вашем месте, ни за что бы не хотелось! Это по той простой причине, что я бы за

три месяца такой огромной картинищи ни за какие коврижки не могла бы окончить!

Сыромолотов улыбнулся в усы, улыбнулась и Надя, а Катя спросила Нюру:

— Что же ты думаешь, что она устареет, если не будет закончена вовремя?

— Разумеется, устареет,— ответил за нее Сыромолотов, но Нюра поправила его:

— Не то что устареет, а только станет уж тогда исторической, а вы ведь этого не хотите? — и она поглядела на художника исподлобья лукаво.

— Ого! — отозвался ей, прикивнув маститой головой, Сыромолотов.— Это называется — знай наших!.. Но, пожалуй, пожалуй, что вы правы: лучше угадывать события, чем плестись за ними в хвосте.

— Я думаю, события будут теперь идти быстро,— сказала Надя, а Катя добавила:

— Даже не идти, а лететь, раз война сделалась мировая.

— Как это лететь? — не поняла или сделала вид, что не поняла, Нюра.

— Очень просто: подгоняют теперь революцию отовсюду в сорок кнутов: «Наступай скорее!» — объяснила Катя.

Сыромолотов же вспомнил то, что всего лишь часа четыре назад говорил ему Дерябин, и, занятый своим альбомом, буркнул, ни к кому не обращаясь:

— А полиция что же делает? Спит, что ли?

Это упоминание о полиции так не вязалось с тем настроением, какое создалось в комнате Нади, что все три девушки приняли его за шутку и рассмеялись дружно.

Странным показалось Сыромолотову услышать этот дружный, вполне искренний смех над такою, казалось бы, непреоборимой глыбой, как Дерябин, сидящий на вороном Черкесе. Он даже поднял брови и оглядел поочередно их всех трех, начиная с Нади, на которой дольше задержался взглядом. И, обращаясь к Наде, сказал:

— Вы, Надя, сами же мне указали на Дерябина, за что вам большое спасибо от лица искусства, однако почему же он кажется вам так смешон? По-моему, он в достаточной степени серьезен, и у него сабля сбоку и револьвер, и городовых полон двор, и пожарные машины, и лошади как звери, и чего только нет, а у вас что же собст-

венно, чтобы выстоять, например, даже против пожарной кишки?

— А вы на нашем заводе когда-нибудь бывали? — с явным вызовом спросила Катя.

— На каком это вашем заводе? — не понял он.

— На Путиловском. Я ведь оттуда.

— Слыхал про Путиловский, но бывать там никогда не приходилось.

— Позвольте, а кто же будет у вас на площади? Ведь рабочие-путиловцы, конечно, и других заводов? — продолжала Катя.

— Разумеется, кто же еще? — очень твердо ответил Сыромолотов, хотя еще за момент до вопросов Кати он не представлял отчетливо, что масса демонстрантов на Дворцовой площади, огромная, многотысячная, плотная масса,— из кого же главным образом может она состоять, как не из рабочих?

Надя же, точно только что обдумав ответ на его замечание о Дерябине, сказала:

— У Дерябина револьвер и сабля и пусть еще пожарные машины, чтобы окатывать с головы до ног водою, а путиловцы делают орудия и снаряды для армии...

— И могут взять да и перестать их делать,— закончила за нее Катя.

— Перестать? — переспросил Сыромолотов.

— Понятно! Забастовать и выйти на улицы, между прочим и на Дворцовую площадь. И что тогда может с ними сделать полиция, когда их в одном только Петербурге сотни тысяч?

— Сотни тысяч?..— удивился было Сыромолотов, но тут же согласился: — Разумеется, теперь, во время войны, их должно быть гораздо больше, чем в мирное время... Значит, целая армия!

— И еще какая! — подхватила Катя.— А далеко ли уйдет без этой армии та, которая сейчас на фронте?

Катя сказала это с большим подъемом, и Сыромолотов увидел, что у нее появилось вдруг новое для него выражение лица. Даже щеки ее показались ему не так круглы и румяны, как раньше. Она просто загорелась вся,— и щеки, и лоб, и подбородок,— и взгляд ее несколько запавших глаз стал не по-женски жестким.

— Держите это выражение, пожалуйста! — обратился он к ней, заторопившись и подняв палец.— Я это сейчас занесу в альбом.

И несколько минут потом он ничего не говорил, напряженно схватывая то новое в ее лице, что показалось ему вдруг значительным, а когда удалось ему это, сказал:

— Вот такою вы, Катя, и будете у меня на холсте!.. И такими, как вы сейчас, будут у меня все. Вы для меня большая находка, должен я вам признаться.

На столе, как и в первый раз, стоял самовар, и стакан чаю давно уже был налит для Сыромолотова заботливой Надей, но только теперь он дотронулся до него и выпил его залпом, хотя он был уже почти холодный.

— Вы говорите, что вы с Путиловского завода? — спросил Катю Алексей Фомич.— А что же именно вы там делаете?

— Как что именно? — удивилась Катя.— Живу там у отца с матерью. Я и родилась даже там.

— Значит, ваш отец что же, работает, что ли, там?

— Конечно, а то как же.

Кем именно работает на заводе отец Кати, не спросил Сыромолотов, не счел это удобным, он протянул только:

— Во-от в чем дело! — и добавил: — А вот вы вспомнили про девятое января...

Катя не без гордости перебила его:

— Вот тогда-то, девятого января, и выступили наши путиловцы!.. Я тогда еще девчонкой была, но все хорошо помню.

— Путиловцы, значит, это?.. Видите, как!

Несколько мгновений смотрел Сыромолотов на Катю, не отрываясь, и проговорил наконец:

— В таком случае мне, значит, надобно ехать к вам на завод и там делать этюды к картине... Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь! У себя в мастерской я потерял, а здесь нашел...— Вспомнил снова Дерябина и добавил: — Какой, однако, знаменательный для меня выдался сегодня день!

Тут он нашел точное слово: день этот дал ему не только Дерябина и Катю, но еще много воображаемых им теперь, но тоже найденных уже людей, которые и должны были заполнить холст. То, что было для него неясно еще утром, сделалось почти осязаемым теперь; то, что представлялось ему утром обыкновенной пестрой уличной толпою, приобрело единое мощное лицо. Прежде у картины его был только многозначительный фон — Зим-

ний дворец и несколько выразительных фигур на переднем плане; теперь же заполнялась вся левая сторона картины, бо́льшая по размерам, чем правая. А именно это и казалось ему самым трудным для воплощения, так как было новым для него самого, непривычным, тем, что еще только шло в жизнь и против чего жизнь выставляла людей, с детства намозоливших глаза, людей, одетых в однообразные серые казенные шинели.

— Вот видишь, Надя,— сказала Нюра,— я ведь говорила тебе, что Катя подойдет Алексею Фомичу гораздо больше, чем ты,— так оно и вышло!

Надя ответила на это сестре негодующим взглядом, а Сыромолотов, заметив это, поспешил обратиться к Нюре:

— Каждая хороша на своем месте, и вы тоже...— И добавил: — Вопрос теперь только в том, когда и чем может окончиться война.

— Когда?.. Говорили все, что через полгода,— отозвалась ему Нюра, так как смотрел он только на нее.

— Едва ли через полгода,— покачав отрицательно головой, сказала Надя, а Катя решила:

— Это всецело зависит от солдат и рабочих... От солдат на фронте и от рабочих в тылу. Стоит им только выйти из повиновения их начальству, какой бы нации они ни были, вот и конец войне.

— И тогда что же начнется, после такого конца? — спросила Нюра.

— Как же так что? Разумеется, революция,— ответила Катя.

— А почему же вы все говорите, что ваша картина будет называться «Демонстрация», Алексей Фомич?

Этот вопрос Нюры нечаянно совпал с подобным же вопросом, который самому себе задал в этот момент Сыромолотов, и он ответил скорее самому себе, чем Нюре:

— Дело ведь не в названии... Название двадцать раз можно переменить.

Катя же продолжала о том, что для нее было уже вопросом решенным:

— У нас теперь и на фронте много сознательных людей, не только в тылу... Теперь разве мало запасных, которые девятьсот пятый год помнят? Они разве не понимают, что победа — это наша погибель? Отлично понимают и победы добиваться не будут...

В этот вечер Сыромолотов засиделся у сестер Невредимовых: он ушел от них только в десятом часу и, уходя, повторил то, что уже раз сказал:

— Нет, как хотите, а для меня это положительно знаменательный день!

III

Все, что делал раньше Сыромолотов как художник, вырастало как бы из его личного опыта жизни, питалось соками его мозга, созревало вдали от чьих-либо других, посторонних искусству глаз. Без свидетелей даже, не только без посредников, вел он борьбу с самым иногда неподатливым материалом; он никого не пускал в свою мастерскую, когда работал над той или иной картиной, и картины его, каждая сама по себе, составляли только часть его возможностей: сегодня он вот каков, завтра будет другой, вчера был третий. Картины его как бы шли за ним длинной вереницей, не дерзая выступать вперед.

Как ни странно казалось ему теперь, но,— он должен был самому себе сознаться в этом,— картина, названная им «Демонстрацией», только еще задуманная им, только еще поселившаяся в его мозгу, однако очень настойчиво просящаяся на холст, шла уже впереди его, и он всячески стремился к ней подтянуться.

Не только потому, что холст для нее понадобился огромных размеров, он как бы начал робеть перед этой картиной,— нет; не многолюдство на холсте, а совершенно исключительная значительность того, что должно было на холсте совершаться, огромность исторического момента — вот что начало действовать на самоуверенного художника, чувствовавшего себя силачом прежде, за какие бы темы для своих картин он ни брался.

Как Святогор до того момента, когда нашел тягу земли, всякий подвиг на земле считал для себя легким, но не мог не задуматься перед «сумочкой переметной» — тягой земли, так временами чувствовал какую-то оторопь и Сыромолотов перед темой, которая с каждым днем росла и становилась все величественней и, главное, ответственней.

Совершенно новым для него было это чувство ответственности, полной несвободы своей в той области, которая, казалось бы, навсегда, до самой смерти, представлялась ему заманчиво свободной.

Но отойти от этой темы, как бы ни связывала она его, он уже не мог: она притянула его вплотную. Боль-

ше того: все задачи, какие решал он в области колорита, перспективы, рисунка на своих полотнах, представлялись ему теперь только этюдами к этой гигантской картине, этюдами, без которых он не мог бы даже и помыслить приступить к ней.

На картине должна была воплотиться мечта очень многих поколений русских людей, и зритель при взгляде на гигантское полотно должен был почувствовать, что перед его глазами последний акт вековой борьбы, что заморозивший Россию царский режим рушится у него на глазах.

Какие краски просились из него, художника Сыромолотова, чтобы засверкать на холсте решимостью, перед которой немыслимо устоять даже Дерябиным! Какое выражение лиц — общее для всех и особое для каждого! Какой порыв многотысячного народного тела, порыв, ничем не более слабый, чем шторм на море!

Сильный человек, Сыромолотов чувствовал, как мурашки бегали у него по спине, когда он вглядывался в свою еще не написанную картину... Она покоряла его не только с каждым днем, а с каждым часом. И когда он вернулся в «Пале-Рояль» от Невредимовых и Кати Дедовой, он сел писать письмо в далекий Симферополь (теперь этот милый его сердцу город начал казаться ему непозволительно далеким, где-то чуть ли не на экваторе). Писал он, конечно, Марье Гавриловне, на попечении которой осталась его мастерская и которую ему надо было предупредить, чтобы она не ждала его в назначенный им срок, что дела задержат его в Петербурге несколько дольше, чем он думал, когда уезжал.

Ей незачем было писать, какие именно дела: она все равно ничего бы не поняла, но раз упомянуты были дела, значит отсрочка приезда была оправдана.

Перед тем, как лечь спать, Сыромолотов взглянул на то, что приготовил для Дерябина, и нашел, что ничего добавлять не надо, но зато он сделал карандашный эскиз картины, включив в него то новое, что ему дала Дедова,— экспрессию всей левой стороны. Разумеется, рядом с Надей на эскизе появилась ее подруга — путиловка, и это оказалось большой находкой.

А на другой день человек лет тридцати двух-трех, с несколько скуластым сухим лицом и пытливыми пристальными глазами, говорил Сыромолотову не в полный голос, но весьма выразительно:

— Что касается войны этой, то вполне можно о ней сказать: чем хуже, тем лучше,— пословица есть такая... Очень к нашему положению подходит, потому что действительно ведь, подумайте сами, как может отсталое государство победить два передовых... Где высоко стоит техника, как может там низко стоять военное дело?.. Что диктует тактику и стратегию? Техника диктует... Какой-нибудь тигр уссурийский, в котором весу тридцать пудов, он во сколько раз сильнее человека? А выйдет против него человек с ружьем — и спасайся тогда тигр в свои дебри, если только жить на свете хочешь!.. Что из того, что у нас нашили шинелей на пятнадцать мильёнов солдат? Одними шинелями силен не будешь.

Правый глаз говорившего слегка щурился, и что-то около него вздрагивало, точно он подмигивал.

Глаза были карие, запавшие; небольшие усы, темно-русые; подбородок бритый; на голове широкая кепка рабочего фасона и, как определил Сыромолотов, новенькая, так же как и его летнее пальто серого цвета. Катя Дедова, познакомившая с ним Сыромолотова, назвала его своим двоюродным братом, модельщиком с Путиловского завода; но сама она куда-то ушла вместе с Надей, обещав скоро вернуться.

День был воскресный, теплый, сухой, и улицы очень людны; там же, где ходили взад и вперед Сыромолотов с модельщиком Иваном Семеновичем, было гораздо просторнее. Однако художник заметил, что Иван Семенович вдруг совершенно неожиданно возьмет да и оглянется через плечо, после чего правый глаз его подмигивал как-то даже насмешливо, хотя смешного ничего не было в их разговоре — напротив, было новое для художника по своей серьезности.

Сыромолотов попробовал однажды пошутить даже:

— Вы, Иван Семенович, говорите так авторитетно по военным вопросам, точно вы военный министр!

На это возразил Иван Семенович:

— Наш военный министр как раз и окажется скоро совсем не авторитетным, а вы это увидите, я думаю, и всем это будет ясно...

— Почему же все-таки вам-то это сейчас ясно? — полюбопытствовал Сыромолотов.

— А вы помните басню Крылова «Орел и Крот»? — спросил Иван Семенович.

— «Орел и Крот»? Нет, что-то не припомню.

— Я вам ее перескажу... Вздумал Орел вить весною гнездо на дубу, а Крот ему из норки кричит: «Не делай глупости! Корни у дуба сгнили, и свалится он при первой буре!..» Орел, конечно, не послушал, гнездо свил, орлят наплодил, а дуб рухнул ко всем чертям при первой возможности, и все орлята пропали... Вот оно что. И дело буржуазии тоже погибнет не хуже того дуба, а дело рабочих возьмет верх.

Тут Иван Семенович оглянулся, а Сыромолотов, у которого был хороший слух, расслышал сзади звяканье шпор и шансонеточный напев. Потом, обгоняя их, прошло мимо трое кадровых офицеров, бывших явно навеселе, и, когда они ушли уже намного вперед, Иван Семенович подмигнул в их сторону и проговорил вполголоса, как заговорщик:

— Вы думаете, что из этих вот так уж все под итог темные? Не-ет, можно сказать, что из них даже, кто помоложе, конечно, соз-на-ют очень многие, что на кой им черт война! На что им грудь в крестах, если голова будет валяться в кустах? За что это им свои головы класть, за какую такую идею? За царя-пьяницу, за царицу немку или за хлыста Гришку Распутина? Что такое придумать могли, чтобы мильёны под пулеметы весть? Ничего и не придумали, а так себе прямо взяли да повели,— дескать, защищай родину. Родину? — вдруг повысил голос модельщик.— Для кого это? Для Путилова родина? Для него свой кошелек родина! В случае чего возьмет его в саквояж да уедет куда-нибудь под небо Сицилии, а на родину ему в высокой степени наплевать!

— В случае чего же именно? — не сразу понял Сыромолотов.

Иван Семенович быстро оглянулся через плечо, наклонил к нему голову и проговорил тихо и хриповато:

— В случае того, что вы на картине своей выводите — «Штурм Зимнего дворца рабочими массами»...

И прямо против своих глаз увидел Сыромолотов пристальные карие глаза модельщика, а потом услышал его предостерегающий полушепот:

— Только вы писать такую картину, слова нет, пишите, а что касается полиции, всячески ее прячьте.

Сыромолотов понял, что ему известно, должно быть, и о Дерябине на вороном Черкесе, и вот, в первый раз в своей жизни ощутив тревогу не за картину свою, которой еще не было, а только за один замысел картины,

Алексей Фомич сказал, невольно подражая собеседнику, тоже вполголоса:

— Я пока что делаю и долго еще буду делать только заготовки к картине, этюды... А когда все эти этюды будут сделаны, написать картину будет уже недолго.

— Вот-вот! Так и делайте! — одобрил Иван Семенович.— В случае если кто и увидит и полюбопытствует, у вас ответ готов: какая из этих заготовок картина выйдет, это видно будет со временем, смотря как все эти рисунки повернуть и что к чему приспособить... Вот у меня здесь,— смотрите, пожалуйста,— охотник, а здесь, в другом месте, тигр к земле припал, а кто кого в окончательном виде — этого я еще не собрался сделать.

Проговорив это почти скороговоркой и уже в полный голос, он разрешил себе улыбнуться, а Сыромолотов заметил, как украсила его эта мгновенная улыбка.

Странно было даже себе самому сознаться в том, что ему, художнику, столь всегда замкнутому, не противно это вмешательство «натуры» в то, что он делал. Напротив, он благодарно глядел на Ивана Семеновича, который выражал по-своему заботу о его детище, считая это детище в то же время как бы и своим тоже.

Начавши с Нади — тоже «натуры», вот катилось оно дальше — к Кате Дедовой, к модельщику Ивану Семеновичу — это заботливое, внимательное отношение к картине, которую он еще и не начинал писать, но которую уже как бы видели они не только в целом, а даже и в мелких деталях. И Сыромолотов, который иногда бросал даже доведенные до половины картины свои, охладевая к ним, теперь чувствовал, что картину, получившую новое название — «Штурм рабочими массами Зимнего дворца», он непременно напишет, вложив в нее весь блеск своей техники, всю экспрессию, на которую способен, всю творческую энергию, какая была ему присуща.

А Иван Семенович простирал свою заботу в это время еще дальше, чем только что,— на него самого, не только на его творение. Он говорил:

— Вам, конечно, жить надо, пить-есть, за номер в гостинице платить, а между прочим кто же у вас может картину вашу купить, когда она против буржуазии и даже против власти царской? Это, конечно, вопрос насущный. На кого художники сейчас работают? На тех, у кого карман потолще. А не потрафят таким, кто у них картину купит? Вот и сиди на мели и питайся манной не-

бесной, потому что на земную манную крупу тоже монету надо иметь... Я где-то читал, не помню, художник один в Италии тоже картину огромную вздумал писать, а столовался в ресторане, в том же доме, в каком он жил, и у того же хозяина. Прошло таким образом полных восемнадцать лет, кончил художник картину. Приезжает богатый человек смотреть ее — и загорелось ему непременно ее купить. Вот он и спрашивает: «Какую цену хотите?» А художник: «Мне ничего не надо, заплатите только вот доброму человеку, какой меня содержал восемнадцать лет». Тот к хозяину ресторана, а хозяин ресторана как достал весь счет, сколько у него художник наел-напил, да и за комнату задолжал, как показал покупателю, у того рябь в глазах пошла: «Столько, говорит, если я уплачу, то сам без копейки останусь!», и скорей от него ходу... Вот также и за ваш труд кто может вам уплатить? Только единственно весь народ, когда он Зимний дворец опрокинет!

Очень горячо это было сказано, так что улыбнулся такой горячности Сыромолотов и спросил модельщика:

— А он непременно дворец опрокинет?

— Тут двух мнений быть не может,— решительно ответил Иван Семенович.— Как было в японскую — проиграли войну, так должно быть и в эту.

— А почему же все-таки? — захотел уяснить для себя Сыромолотов.

— Да ведь царь-то у нас один и тот же,— подмигнув, объяснил модельщик.— А когда же это бывало в истории, что один и тот же царь одну большую войну проиграл бы, а другую, какая, может, втрое больше, взял бы да и выиграл?

— Хорошо, пусть так будет, только те войны были один на один, а в этой войне у нас вон какие союзники: Франция, Англия! — попытался остановить разбег модельщика художник.

— Какой толк в этих союзниках, когда они — на западе, а мы — на востоке? — сказал модельщик.— У Франции с Англией, может, против Германии и на ничью выйдет, а что касается нас — мы победить и не можем.

— А когда ясно всем станет, что не победим, тогда, стало быть, и начнется...

— Революция! — договорил за художника модельщик.

IV

Они расстались, как только пришли обе бестужевки, и Катя Дедова пошла с Иваном Семеновичем по направлению к мосту через Неву, а Сыромолотов с Надей направились в «Пале-Рояль»: Наде захотелось увидеть этюд, написанный с Дерябина, сидевшего верхом на Черкесе, а художник не хотел отказать ей в этом.

Больше того, он первый заговорил о том, как, на его взгляд, удался ему тот самый красивый вороной конь, о котором она писала ему в Симферополь.

— Предчувствую,— говорил он,— что скоро-скоро песенка всей вообще конской красоты будет спета: вытеснит лошадь машина... Может быть, моя картина будет одной из самых последних европейских картин с лошадьми на переднем плане... Вдруг мы с вами, Надя, доживем до такого странного времени, когда лошади останутся только в зоологических садах рядом с зебрами!

— Мне почему-то кажется, что без лошадей будет скучнее жизнь,— сказала на это Надя и добавила: — Моему старшему брату Николаю приходится теперь иметь дело с лошадьми на Восточно-Прусском фронте: он в артиллерии.

— Ого! В артиллерии! Молодец! — похвалил старшего брата Нади Сыромолотов.— Артиллерия теперь самый важный род войска... Он какого роста?

— Высокий... Очень высокий.

— А тот, который полковым врачом?

— Тоже высокий.

— Гм... Да вы, Надя, просто из семьи богатырей, с чем я себя и поздравляю.

— Почему «себя»? — очень оживленно спросила Надя.

— Почему себя? — повторил он.— Да просто потому, признаться, что я уж к вам ко всем как-то привык... И мне приятно, что вы занимаете так много места на земле, что и в Крыму вы, и в Петербурге вы, и в Москве, и в Галиции, и в Восточной Пруссии...

— И в Смоленске,— добавила Надя.— Там моя старшая сестра.

— Это та, которая была задержана немцами? Ну, вот видите! А если бы ваши братья и вы бы с Нюрой все жили врозь — подумать только, какие завоеватели пространства!.. Нет, я вполне серьезно говорю: ваше огром-

ное семейство мне чрезвычайно как-то пришлось по душе... Хотя я, как вам хорошо известно, принципиальный анахорет, одиночка, очень не люблю гостей.

— Это, может быть, в связи с войной в вас произошла перемена? — высказала догадку Надя, но художник сказал на это:

— Мне кажется, что будто бы началось это несколько раньше, чем началась война. А что такое произошло несколько раньше, давайте припомним вместе.

— Ничего, кроме того, что я к вам подошла на улице,— припомнила Надя.

— Вот-вот, именно это... А потом вы появились у меня в мастерской,— припомнил он.— И я сделал с вас первый этюд... Отсюда и началось это... Вы, Надя, из семейства завоевателей пространства, и... вот, видите ли, вам удалось же завоевать мое внимание художника!

— Я этому очень рада! — просто и искренне сказала Надя, причем покраснела так, что этого не мог не заметить Сыромолотов.

В это время они подошли к трамвайной остановке, и Сыромолотов сказал:

— Давайте-ка, Надя, сядем в трамвай — так мы скорее будем у цели.

В вагонах трамвая на Невском проспекте обычно было теснее, чем на других линиях столицы, тем более в воскресный день, и им пришлось стоять в проходе, зато Надя чувствовала себя ближе к Сыромолотову, чем когда-либо раньше; а главное самой себе казалась она теперь сильнее, шире, прочнее.

Она глядела на всех впереди себя и в стороны, даже обертывалась назад, лучащимися одаряющими глазами. Эти глаза должны были говорить всем, всем, всем здесь: «Смотрите на меня, и для вас это будет настоящий праздник! Вы видите, с кем рядом стою здесь я, в тесноте? Это — знаменитый художник Сыромолотов! Он только что сказал мне, что я завоевала его мастерскую! Он везет меня к себе, в гостиницу «Пале-Рояль»!

Надя не замечала, не хотела замечать трамвайной тесноты около себя: важным ей показалось то, что она не шла по Невскому рядом с Сыромолотовым, а ехала, как могла бы ехать в карете рядом с Пушкиным Наташа Гончарова. И как раз возле Пушкинской улицы приходилась остановка трамвая, и первым сошел с подно-

жек вагона он, художник Сыромолотов, и подал ей руку, чтобы она оперлась на нее, спрыгивая.

А потом как-то само собою вышло, что они пошли под руку, и Надя увидела бюст Пушкина, стоявший посредине улицы, не делая, впрочем, ее непроезжей. Это ее поразило, хотя и не могла она не знать о том, что Пушкинская улица от этого бюста и получила свое название. Когда они подошли к «Пале-Роялю», ей представилось, что высокая Наташа Гончарова идет по той же улице под руку с низеньким по росту, но величайшим по таланту поэтом куда-то дальше...

— Ну, вот мы и у цели,— выразительно сказал Сыромолотов, усаживая ее на диван, и она видела, как он, будто бы даже несколько волнуясь, открывал свой этюдник и снимал кнопки, чтобы показать ей Дерябина на коне.

И потом, было ли действительно в этом этюде что-то ошеломившее ее, или произошло это от других причин, но она начала чувствовать себя как в тумане, чуть только взглянула на этюд. Главное, что ей тут же представилась вся картина в целом, и она сама с красным флагом в руках как раз против этого вот огромного пристава на огромном вороном коне. И точно так же, как в первый раз в мастерской художника, когда смотрела она на его картину «Майское утро», совершенно непроизвольно глаза ее отяжелели от слез, и она почувствовала, что слезы текут по ее щекам, но не вытирала их...

Их вытер, своим лицом прижавшись к ее лицу, Алексей Фомич, руки которого охватили как-то сплошь все ее тело — так ей показалось. Она стала для себя самой просто как бы частью его, этого могучего человека, и то, что он прошептал ей на ухо, отдалось во всем ее теле как электрический ток:

— Надя, хотите стать моей женой?

Она ничего не в состоянии была ему ответить, только прижалась к нему, как могла крепко, а он повторил так же на ухо ей:

— Хотите стать моей женой, Надя?

— Разве я... вас стою... Алексей Фомич? — почти плача, но сама не замечая этого, сказала она шепотом.

— Сто̀ите,— ответил ей он, прижимаясь к ее розовому горячему уху губами.

— Вы — огромный художник... а я... девчонка, как все...— шептала она, поднимая на него глаза.

— Нет, вы — особенная, Надя,— сказал он вполголоса и поцеловал ее в мокрые губы крепким и долгим поцелуем, почти ее задушившим.

И потом целовал все ее заплаканное лицо, и шею, и грудь.

И в этот день Надя Невредимова стала женой художника Сыромолотова, и было решено между ними, что мастерскую из Симферополя еще до осени необходимо перевезти в Петербург, где будет создаваться картина «Штурм Зимнего дворца».

Провожая перед вечером Надю домой, Сыромолотов нанял извозчика, поднял ее и усадил в пролетку, как ребенка, а подъехав к дому, в котором она жила, он точно так же хотел на руках внести Надю и в ее комнату, но она почему-то этому воспротивилась и убедила его на том же извозчике вернуться в «Пале-Рояль».

V

Так как Алексей Фомич обычно держал данное слово, то на другой день в три часа повез копию с этюда Дерябину.

Тот встретил его словами:

— А я только что звонил по телефону в гостиницу, и мне сказали, что вас нет, что вы ушли... Здравствуйте! Садитесь!

— Как видите, пошел я к вам же, но прошу иметь в виду, не просохла картинка как следует,— сказал Сыромолотов,— поэтому обращайтесь с нею осторожно.

— Угу,— неопределенно отозвался Дерябин, разглядывая холст, взятый за края обеими руками. Он отодвинул его на всю длину рук, потом приблизил к глазам, из которых левый сильно прищурил, точно собрался выстрелить из винтовки, снова отодвинул, наконец сказал нерешительно:

— Мне кажется, что есть сходство... Я, конечно, не видал себя в зеркале на своем Черкесе, но у меня ведь есть фотографии — можно сопоставить.

— Ну вот, видите,— фотографии! — воскликнул Алексей Фомич, точно это удивило его чрезвычайно.

— Здесь я, конечно, живее, чем на фотографиях,— продолжал Дерябин, рассматривая себя на холсте.— И мне кажется, что похож.

Потом он улыбнулся по-своему — не то снисходительно, не то покровительственно, и добавил:

— Да и как же было вам не достичь сходства? Вы — художник известный, профессором живописи были, значит и других учили, как им добиваться сходства... Только вот тут, за моей фигурой что-то у вас вышло неразборчиво.

— Это — фон. Я его делал по памяти,— объяснил художник.

— А может быть, присядете там на дворе на часок, чтобы сделать его как следует? — Дерябин сказал это таким тоном, как будто не просил, а приказывал, и художник еле сдержался, чтобы ответить по виду спокойно:

— Во-первых, я не взял с собою ящики с красками, а во-вторых, зачем это? Совсем не нужно!

— Почему же собственно не нужно? — осведомился Дерябин.

— Потому что он будет тогда лезть вперед, и, пожалуй, зритель может обратить на него больше внимания, чем он того заслуживает...

Сыромолотов хотел было добавить еще два-три слова о фоне в картине, но Дерябин был уже удовлетворен: заслонять себя фоном он, разумеется, не мог бы позволить. Он сказал:

— Пожалуй, вы правы... Только вот что бросится всякому зрителю в глаза: сделано это мастером, а каким именно? Он меня спросит, я ему отвечу, а где же мое доказательство?

— Вы хотите, чтобы была моя подпись?

— А вы как будто не хотели ее поставить?

— Нет, просто у меня нет обыкновения ставить свою подпись на небольших вещицах,— объяснил Сыромолотов, заметив подозрительность и в глазах и в голосе Дерябина.— Красок же и кисти я не захватил... Могу, впрочем, подписаться и карандашом — это будет даже оригинальнее.

— Хотя бы чем-нибудь,— разрешил Дерябин, и Алексей Фомич вынул карандаш из своего альбомчика, а Дерябин сосредоточенно смотрел, как он в правом углу холста, где было почти чистое от красок место, отчетливо вывел «А. Сыромолотов».

— Ваше имя-отчество? — Прошу простить, что не знаю,— пробасил Дерябин, а когда художник ответил, то он почему-то повторил: — Алексей Фомич? Так. Буду помнить.

Потом побарабанил слегка по столу пальцами и заговорил с видимым усилием:

— Так вот, Алексей Фомич, всякий труд должен быть оплачен — у меня уж такое правило... хотя я и полицейская крыса.

— Ну, какая же вы крыса! — очень живо возразил художник.— Вы — воплощенная мощь, чем меня и прельстили!

— Лишь бы не мощи,— попытался начальственно скаламбурить Дерябин, вынимая из стола одну за другой три десятирублевых бумажки. Потом, вопросительно поглядев на художника, вытащил еще одну такую же.

Сыромолотов решил было отказаться от этих денег, но подумал, не покажется ли ему это и подозрительным и обидным, поэтому сказал:

— Хватит с меня за мой труд. Вполне довольно.

Дерябин пододвинул ему по столу бумажки, и Сыромолотов спрятал их неторопливо в карман. Тут же поднялся он и протянул руку для прощания.

Однако Дерябин задержал его руку в своей — у него оказался еще вопрос:

— А тот этюд, какой вы сделали на дворе, его у вас тоже можно приобрести, конечно?

— Нет, нет,— поспешно ответил Сыромолотов,— этюды свои художники обычно не продают!

— Гм, вот как! Все художники? Не продают? Не знал! — раскатисто протянул Дерябин.— А зачем же они им нужны,— прошу простить?

— Как всякая зарисовка с натуры, они имеют для художников большую ценность: это — капитал художника,— постарался объяснить Алексей Фомич и хотел освободить свою руку, но Дерябин держал ее крепко: он не понял, но хотел понять.

— А как же именно намерены вы тратить это свое прибавление к капиталу? — спросил он многозначительно, кивнув на холст, лежавший на столе.

Вопрос был поставлен так неожиданно, что Сыромолотов едва нашелся, что на него ответить:

— Теперь война, явится, разумеется, спрос на батальные картины — придется, стало быть, и мне писать на военные сюжеты,— вот для чего понадобится мне мой этюд.

— Угу,— неудовлетворенно промычал Дерябин; Сыромолотов же продолжал:

— Вот почему, между прочим, мне на этюде и не нужен был тот фон, какой оказался тут у вас на дворе... Вы

же, разумеется, как были во время оно военным, так и опять можете оказаться в рядах армии...

Сыромолотов говорил это с подъемом, точно желая его обнадежить, но Дерябин повел отрицательно головой, сказав решительно:

— Нет! Чинов полиции даже и провинциальной мобилизовывать ни за что не будут, а столичной — это тем более!

И выпустил, наконец, руку художника.

Выйдя из полицейской части, Сыромолотов отправился прямо на Васильевский остров, чтобы там, где было ему все давно уж известно, найти квартиру, одну из комнат которой можно было бы обратить в мастерскую.

Комната эта, конечно, представлялась ему большою, гораздо большей, чем его мастерская в Симферополе: этого требовал задуманный им размер картины. В то же время, чем больше он припоминал, что заметил в Дерябине, тем больше убеждался, что остался у него в каком-то подозрении, пока, может быть, и смутном.

Поэтому он решил нанять квартиру не менее чем в четыре комнаты, причем будущая мастерская должна быть отделена от трех остальных комнат так основательно, чтобы о ней не могли даже и догадаться какие-нибудь незваные гости. Для маскировки он решил другую комнату сделать мастерской тоже, но вполне доступной для обозрения.

Кроме того, отправляясь на поиски квартиры для себя как художника, он ни на минуту не забывал и об удобствах, какие должен был предоставить Наде. Совершенно неожиданно для него самого эта новость в его жизни — забота о Наде — была в то же время и неповторяемо, окрыляюще приятной.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГУМБИННЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

I

В те дни, когда царь искал себе поддержку в Москве, на обоих фронтах — Австрийском и Восточно-Прусском — происходили значительные события: австрийцы начинали свое деятельно обдуманное еще до войны вторжение в Польшу, в направлении на Седлец, а 1-я рус-

ская армия вторглась в Восточную Пруссию, направив свой удар на линию Гумбиннен — Гольдап.

Противиться вторжению двух австрийских армий должны были две русские — 4-я и 5-я, более слабые и не вполне еще сосредоточенные. Одною из них командовал генерал Зельц, другою — генерал Плеве.

Что же касается 1-й русской армии, которой командовал Ренненкампф, то она хотя и одержала верх над частями 8-й германской армии в пограничном сражении и заставила ее отступить, но понесла при этом ощутительные потери: один из полков ее — 105 Оренбургский — частью был уничтожен, частью окружен и пленен.

Энергичный командир 1-го корпуса 8-й немецкой армии генерал Франсуа, получив от Притвица приказ отступить без промедления под напором русских войск к Гумбиннену, ответил командующему армией: «Отступлю, когда разобью русских».

Он сам руководил сражением у Шталлупёнена, появляясь то здесь, то там в легковом автомобиле, и при отступлении его корпуса одна из его дивизий обрушилась на обошедший ее с фланга Оренбургский полк, оставленный без поддержки. Противостоять артиллерии целой дивизии этот полк, конечно, не мог и сделался жертвой нераспорядительности высшего начальства.

Известно, что в своем доме стены помогают. В то время как 27-я дивизия из состава армии Ренненкампфа лишилась целого полка, корпус генерала Франсуа, выйдя к Гумбиннену, пополнил все потери, влив в свои поредевшие ряды добровольцев из разных прусских спортивных обществ: стрелковых, велосипедных, автомобильных и других.

Защита Восточной Пруссии на том и строилась германским генеральным штабом, чтобы среди населения не было безучастных. При своем продвижении русским отрядам очень часто приходилось натыкаться на перекопанные канавами дороги, на разрушенные мосты, на ряды колючей проволоки и засады, откуда раздавались вдруг меткие выстрелы,— и все это делали не войска, бывшие уже далеко, в отступлении, и не отставшие немецкие солдаты, а жители фольварков — иногда старики, женщины и подростки, снабженные оружием. В Кенигсберг, как в сильную надежную крепость, и за Вислу уезжали только наиболее состоятельные, остальные же передвигались на подводах большими таборами не дальше области Ма-

зурских озер, в непреодолимость которых для русских войск верили твердо.

Между тем обход Мазурских озер с юга армией Самсонова был именно тем маневром, который предусматривался и Шлиффеном, и Мольтке-старшим, и Мольтке-младшим, и германская военная мысль не в состоянии была придумать ничего для противодействия этому маневру, кроме отвода всех своих полевых войск в Восточной Пруссии за Вислу, чтобы спасти их от окружения и полного разгрома, так как русская армия, обходящая озера, неминуемо должна была выйти в тыл германской, если бы та упорно удерживала свой восточный фронт впереди озер.

Притвиц должен был приказать генералу Франсуа отступить к Гумбиннену, но в то же время он притянул на линию Гумбиннен — Гольдап (последний был занят уже тогда русскими частями) свой 17-й корпус, которым командовал генерал Макензен. Этот корпус подвозился из резерва по железным дорогам, и полки его сразу по выходе из вагонов шли ускоренным маршем на линию фронта, какой им был отведен,— южнее 1-го армейского корпуса генерала Франсуа.

К этому времени в самом спешном порядке прибыла сюда же резервная дивизия генерала Бродвика, составлявшая гарнизон Кенигсберга; она вошла в 1-й корпус.

Вытесненный из Гольдапа и окружающих его деревень 1-й резервный германский корпус, которым командовал генерал фон Бюлов, оставался на своих новых позициях, составляя южную группу армии Притвица, его правый фланг. Случилось непредвиденное Ренненкампфом: получив сведения, что 1-й пехотный корпус генерала Франсуа, сражавшийся с его частями на границе Восточной Пруссии и отброшенный от Эйдкунена и Шталлупёнена, поспешно отступает на запад, командарм Ренненкампф назначил на 7 августа всем своим, несомненно утомленным, войскам дневку, а командарм Притвиц именно этот день решил сделать днем короткого, но по возможности сильного удара по русским войскам и дал директиву о наступлении, приурочив начало его к 7 часам утра.

Ренненкампфу дневка была необходима, чтобы успеть подтянуть резервы и обозы, а Притвицу встречный удар был предписан главным командованием германской армии, которое надеялось этим приостановить 1-ю русскую армию и перебросить потом основные силы своей 8-й армии против Самсонова.

II

Дневка 7 августа была не только предуказана Ренненкампфом еще 4 августа, она была подтверждена потом и 6-го числа особыми телеграммами на имя всех трех командиров корпусов 1-й армии, считая с юга на север: 4-го пехотного — генерала-от-артиллерии Алиева, Эриса хана Султан-Гирея, 3-го — генерала-от-инфантерии Епанчина, 20-го — тоже генерала-от-инфантерии Смирнова и, наконец, командующего конным корпусом генерал-лейтенанта хана Гусейна Нахичеванского.

Два генерала-хана замыкали фронт, причем наиболее молодой из них — хан Нахичеванский — оказался и наиболее дисциплинированным: раз объявлена в приказе дневка, значит и должна быть дневка,— хоть гром и молния, хоть землетрясение и потоп, хоть атака немцев, направленная главным образом на 20-й корпус, расположенный рядом с конным корпусом хана и очень нуждавшийся в его поддержке.

Однако еще шире, чем хан Нахичеванский, понял приказ о дневке командир особой кавалерийской бригады, генерал-майор Орановский, такой же питомец Пажеского корпуса, как и хан, только еще моложе его годами; выведя 6 августа вечером свою бригаду на линию конного корпуса хана, он нашел местность тут неподходящей для дневки на следующий день и отвел оба полка назад километров за тридцать. Там он и простоял потом весь день 7 августа, когда по всей линии Гумбиннен — Гольдап гремел бой. До него доносился, конечно, непрерывный пушечный гул, но это его не беспокоило. Он сам, перед тем как получить особую кавалерийскую бригаду, был командиром лейб-гвардейской конной артиллерии и к пушечным залпам привык. Может быть, кто-нибудь там впереди и получил приказ атаковать немецкие позиции,— у него есть приказ отдыхать, и он отдыхает.

А греметь орудийный бой начал с четырех часов утра, когда только что стало светать: это корпус генерала Франсуа напал на сонную еще 28-ю дивизию из корпуса генерала Смирнова, двинув полки в обход ее правого фланга, с которым не был связан конный корпус хана Нахичеванского.

Таким образом, бой закипел севернее Гумбиннена, к полной неожиданности и начальника 28-й дивизии, генерал-лейтенанта Лашкевича, и всех его офицеров и солдат. Конечно, конная разведка должна была бы обнаружить

ночью передвижение больших масс пехоты противника и донести об этом в штаб дивизии и корпуса, однако дневка так дневка и отдых так отдых: команды разведчиков тоже выполняли приказ Ренненкампфа, и сон их был разрешенно крепок.

Конный корпус хана Нахичеванского, которому полагалось быть впереди 20-го пехотного корпуса генерала Смирнова и действовать в тылу немецких сил, в Инстербурге, оказался почему-то на полперехода сзади 20-го корпуса. Работа в штабах не была еще налажена как следует в боевой обстановке; обозы далеко отстали, и в ночь на 7-е всюду в тылу немилосердно хлестали лошадей, чтобы к утру подтянуться к линии фронта.

А в это время, ночью, немецкий генерал Франсуа в своем штабе корпуса, в Линденкруге, давал точные директивы трем начальникам дивизий — 1-й, 2-й и резервной, кому и когда перейти в атаку и где закрепиться.

Обойти 28-ю дивизию Лашкевича должна была 2-я дивизия немцев, которой командовал генерал фон Фальк, тот самый, который под Шталлупёненом уничтожил 105-й Оренбургский полк и нанес, кроме того, большие потери 27-й дивизии; атаковать с фронта должна была 1-я дивизия генерала фон Конта, а закрепиться для отражения русских контратак — резервная дивизия генерала Бродвика. И все эти директивы были выполнены с большой точностью.

Уже в пограничном сражении, закончившемся боем у Шталлупёнена, сам Франсуа и его генералы заметили слабое место армии Ренненкампфа: отсутствие связи между частями, каждая часть действовала по своему разумению, не чувствовалось единой направляющей воли, как будто некому было проводить планы штаба армии в жизнь,— всяк молодец был на свой образец.

Действия Оренбургского полка, с его командиром полковником Комаровым, даже и немецкие генералы должны были признать блестящими, но в стремительной атаке этот полк оторвался от других полков 27-й дивизии, не был вовремя поддержан и погиб со своим командиром. В надежде встретить такой же разнобой в русских частях, начал свою атаку на 28-ю дивизию генерал Франсуа и не ошибся в расчетах.

Нельзя сказать, чтобы Лашкевич не понял еще в самом начале атаки против него большой для себя опасности. Он тогда же послал донесение командиру корпуса генералу Смирнову: «Прошу обратить внимание на серьезное положение на моем правом фланге».

Рассветало. Ошибки быть уже не могло: чужие войска, появившиеся густыми массами справа, нельзя было принять за свои.

Так как правый фланг дивизии должен был охранять конный корпус хана Нахичеванского, то и к нему помчались ординарцы Лашкевича, но хан ответил, что на его авангард тоже нажали и они едва держатся, если уже не отошли назад. Этому нельзя было не поверить: Лашкевич знал, что конные части при столкновении с пехотой противника предпочитают с первых же выстрелов показывать хвосты.

Не забыл Лашкевич и отдельной бригады Орановского: посланные им ординарцы отыскали ее в деревне Шиленен, далеко в тылу, и Орановский прочитал в записке Лашкевича: «Опасаясь охвата моего правого фланга... прошу самого энергичного содействия в смысле обеспечивания моего правого фланга на случай боя сегодня. Ваше направление на Мальвишкен».

Однако Лашкевич не был ведь начальником Орановского, и записка его только рассердила бывшего гвардейца. Он даже не потрудился ничего написать командиру армейской пехотной дивизии и не двинулся никуда из Шиленена: ведь впереди его был целый корпус хана Нахичеванского!

Наконец, своему соседу слева, начальнику 29-й дивизии Розеншильду-Паулину тоже писал Лашкевич: «Очевидно, против моего правого фланга большие силы противника. Положение серьезное. Прошу энергичного содействия вскорости».

Розеншильд-Паулин, вместо того чтобы озаботиться поддержкой уже обойденного противником своего товарища по 20-му корпусу, ничего не придумал лучшего, как послать тут же записку с просьбой о помощи своему соседу слева, начальнику 25-й дивизии, генералу Булгакову, которому немцы пока не угрожали ни обходом, ни атакой с фронта.

Только стада этого обильного молочным скотом края, брошенные владельцами имений, раза два были приняты сторожевым охранением ночью за подходящие близко к расположению его полков немецкие части, и это обеспокоило его еще до начала атаки противника. Свободно, без пастухов пасшиеся большие стада Розеншильд-Паулин приказал зачислить на предмет довольствия своих четырех полков, но сон его все-таки был нарушен и, как оказалось, недаром.

III

Лашкевич был уже далеко не молод — под шестьдесят лет,— и нельзя было сказать о нем, что он был плохим начальником дивизии. Однако выбор именно его дивизии для энергичнейшей атаки целым 1-м корпусом армии Притвица оказался безошибочным.

В то время как пять с половиной полков кавалерийской дивизии, сосредоточенных под начальством хана Нахичеванского, позволили обойти пехотной дивизии генерала Фалька правый фланг Лашкевича, единственная кавалерийская дивизия, бывшая в распоряжении Франсуа, беспрепятственно проникла в тыл 28-й дивизии через интервал между этой дивизией и 29-й, и вся артиллерия 1-го корпуса, как легкая, так, в особенности, тяжелая, гораздо более сильная, чем артиллерия русского пехотного корпуса, обрушила свой огонь на злосчастную дивизию, оставленную без всякой поддержки.

И все-таки четыре с половиной часа дивизия Лашкевича выдерживала подавляющую бомбардировку с фронта, с правого фланга и с тыла. Лашкевич делал все, что мог.

К 8 часам утра он послал свежий, бывший у него в резерве 111-й полк к деревне Шибален, чтобы сменить 109-й полк, почти истребленный артиллерийским и пулеметным огнем (окопаться дивизия не успела). Через полчаса он доносил генералу Смирнову: «Положение правого фланга очень серьезно. Прошу подкрепить правый фланг у Шибалена».

Так как Розеншильд-Паулин ничем и никак не отозвался на его первое обращение о помощи, Лашкевич повторил свою просьбу. Однако Розеншильд оставался неподвижен и на этот раз.

Немцы наседали. Полки 28-й дивизии таяли и покидали свои позиции, пятясь в тыл, занятый конной дивизией врага.

Прошло еще два с половиной часа неравного жестокого боя. Лашкевич все-таки не терял надежды, что немец Розеншильд-Паулин, начальник 29-й дивизии, его поддержит. Он послал ему записку: «Еле держусь. 28-я дивизия в чрезвычайно тяжелом положении. Потери большие. Усердно прошу немедленно двинуться мне на помошь!»

Напрасно: Розеншильд, никем в то время не атакуемый, продолжал стоять на месте и ожидать, когда же, наконец, не останется ничего от дивизии его товарища по корпусу.

Всего только десять минут смог прождать помощи от Розеншильда Лашкевич: действительно, всякий на его месте счел бы свое положение безнадежным.

От полевой книжки, бывшей в руках Лашкевича, вновь оторвал он листок и написал карандашом, кое-как, пропуская буквы, все тому же немцу, начальнику русской дивизии: «Еще раз убедительно прошу поддержать меня! Держаться больше не могу. Справа обходят. Резервы израсходованы...»

Ни одного выстрела из орудий 29-й дивизии не раздалось в сторону наседавшего на 28-ю дивизию противника, несмотря и на этот отчаянный призыв!

В 14 часов 30 минут, то есть спустя десять с половиной часов с начала боя на неукрепленной позиции Лашкевич вынужден был донести Смирнову: «Под сильнейшим артиллерийским и пулеметным огнем дивизия отходит на Швиргален».

Однако сказать «дивизия отходит» теперь было уже нельзя.

Прежде всего, от бывшей в полном порядке к 4 часам утра дивизии оставались теперь только разрозненные клочья, которые спасались от окончательной гибели как могли. Роты разных полков перемешались. В начавшейся панике помнили только о том, что надо спасать полковые знамена. Семь тысяч солдат и офицеров частью погибли, частью попали в руки врага. Оставлена была и восьмиорудийная батарея, прислуга и лошади которой оказались перебитыми.

Только несколько рот 112-го полка остались на прусской земле, в окрестностях Шталлупёнена; остатки других трех полков перешли границу, и знамя 111-го полка оказалось потом отвезенным в крепость Ковно и сдано там коменданту генералу Григорьеву... 1-й дивизион 28-й артиллерийской бригады не останавливался вплоть до Вержболова.

Соседи Лашкевича справа и слева преступно позволили немцам разгромить целую дивизию, которую вполне могли бы спасти от этого позора.

IV

Когда 2-я германская дивизия закончила охват правого фланга 28-й русской дивизии, 1-я дивизия корпуса Франсуа перешла во фронтальную атаку против 28-й и

тем самым подставила свой правый фланг под удар 29-й, если бы Розеншильд-Паулин разрешил себе этот удар. Однако он был занят совсем не тем, чтобы выручить соседнюю дивизию.

Может быть, очень разбросана была его дивизия, чтобы быстро собрать ее для совершенно необходимого удара? Нет, она была в тугом кулаке, занимая фронт всего в два с половиной километра, и Розеншильду ничего не стоило направить два полка для мощного удара во фланг немцам, поддержав этот удар всею силой своих пятидесяти четырех орудий, из которых шесть были гаубицы.

Может быть, на него самого усиленно напирали немцы? Нет, как только загнулся в сторону 28-й дивизии правый фланг дивизии фон Конта, против Розеншильда не было противника — окопы его опустели. Но, получив в девять часов утра записку Лашкевича с просьбой о помощи, Розеншильд сейчас же обратился к начальнику 25-й дивизии Булгакову с подобной же просьбой помочь ему, Розеншильду, в штурме трех деревень, который он желает подготовить как следует, так как они сильно укреплены противником.

Казалось бы, что штурмовать какие-то укрепленные деревни в то время, когда рядом громят и уничтожают вторую половину своего же 20-го корпуса, больше чем дико, что это преступление, притом тягчайшее,— измена своим и содействие врагу в его замыслах и усилиях,— однако Розеншильд не только сам лично был занят какой-то ненужной для общего дела химерой, но стремился вовлечь в нее и 25-ю дивизию.

И неизменно, как только он получал от Лашкевича просьбу о помощи, он тут же писал Булгакову, что собирается штурмовать немецкие позиции и просит ему помочь.

Вполне допустимо, что он только хотел ввести в заблуждение Булгакова и втравить его в штурм деревень, никому из них не угрожавших, в то время как окончательно разгормленная и отброшенная 28-я дивизия обнажала его же, Розеншильда-Паулина, правый фланг и ставила в очередном порядке его дивизию в такое же труднейшее, разгромное положение, так как против нее тоже начали бы действовать, как и против 28-й, тройные силы.

Булгаков не удержался все-таки, чтобы не выступить с поддержкой Розеншильда: он двинул один из полков

своих в атаку на деревни, о которых ему писал Розеншильд, но атака эта была отбита немцами, а повторить ее более крупными силами он уже не хотел.

Что же это были за деревни и кто защищал их? Защита этих деревень была поручена генералом Франсуа начальнику резервной дивизии, прибывшей из Кенигсберга, генералу Бродвику, а назначение этого опорного пункта заключалось в том, чтобы заманить туда хотя бы две русских дивизии, как на дно мешка, который легко можно бы было завязать после уничтожения правофланговой дивизии.

Так, силами одного своего корпуса Франсуа, которому нельзя отказать в тактических способностях, предполагал изъять из армии Ренненкампфа не меньше трех дивизий, однако победа над упорно защищавшейся одной дивизией Лашкевича досталась ему только спустя двенадцать часов после начала атаки, а такое продолжительное напряжение всех сил не могло не утомить его солдат.

К четырем часам дня они выдохлись. Нечего было и думать о мешке для двух других русских дивизий — впору было только дать отдых своим, удовольствоваться несколькими тысячами взятых в плен и объявить в приказе по корпусу, что бой будет возобновлен утром на следующий день.

V

Не пришлось все же победителю на правом фланге 1-й русской армии возобновлять боя, так как и в центре и на левом фланге все усилия Макензена и Бюлова разбились о стойкость русских войск.

Оба эти генерала, получившие большую известность впоследствии, именно здесь, в Гумбинненском сражении, начинали свою боевую карьеру.

Макензен, прозванный своими солдатами «стальною крысой», бывший кавалерист, поставленный во главе 17-го пехотного корпуса, начал в 4 часа атаку с не меньшей энергией, чем Франсуа. Аванпостные русские части, расположенные вдоль реки Роминте, были сняты и далеко отброшены к главным силам натиском полков двух дивизий Макензена — 35-й и 36-й.

К тому времени, когда Розеншильд-Паулин обращался за помощью к генералу Булгакову, то есть к 9 часам

утра, дела самого Булгакова были весьма неважны: немцы овладели несколькими деревнями впереди 25-й дивизии, которые Булгаков должен был занять к 5 часам утра по диспозиции, полученной накануне от командира своего 3-го корпуса, генерала Епанчина.

В корпус Епанчина входило не две, а три дивизии: 25-я, 27-я и 40-я, так что у Макензена не было превосходства в силах, и первоначальный успех его зависел только от того, что атаки немцев не ожидали ни в одной из трех русских дивизий.

Епанчин, получив накануне телеграмму Ренненкампфа о дневке для всей армии, приказал своему корпусу: «Ввиду утомления войск и необходимости подтянуть тыловые учреждения и пополнить запасы, продвинуться вперед лишь настолько, насколько это возможно, при условии не вступать в упорный бой с неприятелем...» В упорный бой вступать и не собирались.

Однако упорный бой был навязан немцами, и он разгорелся по всему фронту корпуса Епанчина часам к 10 утра.

Генерал Булгаков, находясь довольно далеко в тылу своей дивизии, не представлял ясно, в каком положении она находилась, иначе он с легким сердцем не отправил бы один из своих полков в помощь Розеншильду.

Он двинул в сторону 29-й дивизии первый свой полк — 97-й Лифляндский, стоявший в резерве, а три остальных его полка: 98-й, 99-й и 100-й — поспешно отступали под напором 35-й дивизии Макензена, причем последний полк понес очень большие потери.

Только узнав об этом, Булгаков покинул свою штаб-квартиру, появился сам на линии огня и личным вмешательством остановил отходившие полки, указав одному из дивизионов своей артиллерии позицию, занять которую было необходимо, чтобы укротить наступательный порыв немцев.

Дивизии Макензена были образцовые, укомплектованные исключительно только пруссаками. Эти рослые, здоровенные солдаты и офицеры были от темени до подошв проникнуты сознанием, что они должны показать и кайзеру Вильгельму, и всей Германии, и всему миру, как надо защищать родную землю, поэтому они шли в атаку плотным строем, считая постыдным строй рассыпной, а тем более приспособление к местности.

Они попали под прямоприцельный огонь легкой артиллерии 25-й дивизии, но шли, поминутно смыкая ряды

над убитыми; они попали под густой пулеметный обстрел, но шли... пока не выдохся, наконец, их боевой азарт, и они залегли и стали окапываться.

Это было уже после полудня. Часа два выдерживали они в своих мелких окопах убийственный огонь русских пушек, но часам к четырем дня остатки их в полной панике, во всю силу длинных ног, бежали назад, к реке Роминте...

Так было на фронте Булгакова.

Вторая же дивизия Макензена — 36-я — направлена была против 27-й и 40-й дивизий Епанчина побригадно, что явилось уж следствием чересчур большой самоуверенности Макензена. Но силы уравновешивались тем, что 27-я дивизия, потерявшая целый полк (Оренбургский) в бою под Шталлупёненом и, кроме того, понесшая там большие потери, численно не превосходила бригады немцев, а начальник 40-й дивизии генерал Короткевич руководил своей дивизией так, как может это делать человек, просидевший за время своей службы не один десяток штабных кресел, но ни разу не выполнявший ни одной ответственной задачи на поле сражений.

У него, впрочем, было только три полка: четвертый полк — 160-й Абхазский — был передан в 4-й корпус.

Точно так же, как и 35-я дивизия, картинно, в рост, в сомкнутом строю, шли в атаку обе бригады 36-й дивизии немцев и сначала имели успех, но потом наткнулись на такое сопротивление, что откатились к той же Роминте, потеряв к вечеру чуть не половину своего состава.

Если бы Короткевич, Адариди — начальник 27-й дивизии и Булгаков отважились преследовать своими объединенными силами корпус Макензена, от него мало бы что осталось. Но Епанчин такого приказа им не дал, а командарм Ренненкампф не снизошел к тому, чтобы почтить этот весьма серьезный бой своим личным присутствием.

VI

1-й резервный корпус фон Бюлова должен был, выполняя приказ Притвица, опрокинуть южную группу русских войск, сосредоточенную около Гольдапа. Это был 4-й корпус, которым командовал генерал Алиев. В

него входили две пехотные дивизии, 30-я и 5-я стрелковая; одна кавалерийская дивизия придана была ему для защиты его левого фланга.

Если фронт дивизии Розеншильда занимал не более трех километров и таков же примерно был фронт смежной дивизии Булгакова, то корпус Алиева растянулся, огибая Гольдап, где была его штаб-квартира, километров на сорок. Собрать свои силы в кулак являлось для Алиева делом трудным. С другой стороны, и фон Бюлов не в состоянии был точно выполнить приказ Притвица — начать атаку ровно в 4 утра.

Когда в Гольдапе услышали канонаду справа по фронту, то пришли к единственной догадке: Ренненкампф отменил дневку и предписал наступление. Темпераментный Алиев, ни минуты не медля, послал свою 30-ю дивизию в наступление на Даркемен, а чужой 160-й Абхазский полк — на Вальтеркемен, чтобы ему не болтаться без дела. И вышло так, что одновременно обе стороны начали наступать и разразился встречный бой, чуть только две колонны 30-й дивизии, по бригаде в каждой, вышли из Гольдапа, взяв направление на Даркемен, связанный с Гольдапом отличным шоссе.

Встречные бои всегда бывают жестоки и кровопролитны, так как укрепленных позиций ни та, ни другая сторона не имеют: сходятся врукопашную, в штыки.

Для 5-й стрелковой дивизии Алиев не нашел работы, точно так же как и для кавалерийской, так что встречный бой вела всего только одна дивизия, со своим начальником генералом Коленковским во главе, против двух дивизий фон Бюлова, который к тому же опирался на гарнизон крепости Летцен, в районе Мазурских озер.

Одна бригада шла на Даркемен, другая на деревню Говайтен, но и та и другая попали под ураганный огонь немцев. Дивизия Коленковского имела всего 48 легких орудий и 6 гаубиц; артиллерия корпуса фон Бюлова была более чем вдвое сильнее.

Можно было заранее сказать, что встречный бой не мог окончиться победой слабой стороны над сильной; но никто бы не мог предсказать того, что целый день боя при таком явном неравенстве сил окончится вничью.

Тесной связи с противником корпус Алиева ни 5, ни 6 августа не имел; разведка действовала слабо; сведения о силах фон Бюлова, об их расположении были весьма туманны; встреча, оказанная наступающим бригадам со стороны немцев, была совершенно непредвиденной — и все-таки пять полков (считая с Абхазским) не только устояли в целодневном бою с двойными силами немцев, но и сумели нанести им огромные потери.

Бой закончился только с наступлением темноты: корпус фон Бюлова, получив приказ отступать, очистил занимаемые им позиции под покровом ночи.

Коленковский же, донося Алиеву о подробностях боя, назвал его «страшно кровопролитным». Действительно, потери в одной только бригаде, которой командовал полковник Новицкий, были около трех тысяч солдат и офицеров.

У Притвица был еще корпус пехоты — 20-й, но он действовал на путях продвижения армии Самсонова, и случилось так, что в один и тот же день 7 августа два корпуса 8-й германской армии не добились успеха в бою под Гумбинненом и Гольдапом, а третий вынужден был отступить на фронте южнее Мазурских озер. Успеха 1-го корпуса генерала Франсуа оказалось совершенно недостаточно для того, чтобы считать положение всей 8-й армии прочным, и Притвиц уже в 5 часов вечера категорически приказал всем своим трем корпусам на фронте Гумбиннен — Гольдап отступить. В этом приказе его была фраза, очень больно оцарапавшая сотни немецких сердец из высшего офицерского состава всех трех корпусов:

«Я вынужден буду отойти за Вислу».

Что эта фраза была продиктована не минутным отчаянием, Притвиц доказал тем, что в 22 часа прислал новый приказ начать отход за Вислу немедленно. В этом приказе каждому корпусу был указан точный маршрут отхода.

VII

Начальник 30-й дивизии Коленковский был инженер-генерал-лейтенант и потому, должно быть, очень ценил содействие сапер в своих боевых действиях: в каждой из двух его бригад, начавших утром 7 августа наступление на немцев, по взводу сапер было направлено впереди авангардных отрядов.

Предполагалось, конечно, что немцы будут отступать, хотя и огрызаясь, точно так же, как отступали перед этим, не ввязываясь в упорный бой. Но, с другой стороны, и от командира корпуса генерала Алиева был получен приказ тоже не завязывать серьезного сражения, поскольку неизвестно было, что это за канонада началась севернее, в корпусе Епанчина, и как там обернется дело.

Ни пешая, ни даже конная разведка не успела еще доставить нужных сведений о противнике, и наступление было начато вслепую. Но если немцы были намерены отступать под прикрытием своей артиллерии, то, конечно, их саперы должны были взрывать за их пехотой мосты и всячески портить дороги и минировать их, чтобы затруднить преследование их русскими частями, а саперы 30-й дивизии должны были восстанавливать разрушенное и испорченное, чтобы преследование велось без задержки.

Так, взвод сапер, которым командовал прапорщик Якушов и в котором был рядовой Петр Невредимов, выступал утром из Гольдапа впереди 1-й бригады 30-й дивизии, держа направление на Даркемен.

Шоссе на Даркемен, асфальтированное, гладкое, блестевшее под первыми лучами солнца, хотя далеко просматривалось, считалось небезопасным и с вечера, а за ночь, по соседству с таким предприимчивым противником, как немцы, обстановка могла значительно измениться к худшему.

Поэтому Якушов рассыпал свой взвод цепью по обе стороны шоссе, быстро рассчитав его на группы по три человека и назначив старших, а сам со взводным унтер-офицером Петрачуком, Петей Невредимовым, его дядькой-ефрейтором и Гуньковым, который, как старый сапер, особенно им ценился, шел сзади.

У Якушова был бинокль,— не цейсовский, правда, но и не театральный,— и он, не надеясь на свою дальнозоркость, то и дело подносил его к глазам, надеясь усмотреть там, вдали, те или иные каверзы немцев.

Так как очень быстро стало совсем по-летнему светло, то, конечно, саперы продвигались вперед с возможной осторожностью, скрытностью, пользуясь для этого и складками местности, и изгородями, и постройками, которые, кстати, нужно было осмотреть, хотя бы и бегло,— и деревьями, и кустами, и высокой травой... Но долго так идти не пришлось: резко и сразу рвануло воздух кругом,

и Петя Невредимов остановился и, не взглянув на Якушова, инстинктивно сжался в комок, замер, присел: просто как-то сами собой согнулись колени... В сознании мелькнуло, что их заметили, по ним дали залп немцы.

Кинув взгляд в сторону Якушова, Петя выпрямился, потому что Якушов смотрел в свой бинокль туда, откуда направлен был немцами артиллерийский обстрел не маленькой кучки сапер, конечно, а идущего вслед за ними совершенно открытого авангарда бригады.

— Близко... Версты три,— определил Петрачук, такой с виду спокойный, что Пете стало вдруг досадно на свою минутную слабость.

Когда еще загремело оттуда же, он постарался не пошевельнуться. Он даже спросил Якушова, слушая в то же время свист снарядов вверху:

— А что же наши?

— Наши? — Якушов оглянулся назад, и тут же обернулся Петя, готовясь увидеть где-то сзади свои батареи (он знал, что два дивизиона легких орудий имеется в их бригаде), но разглядеть ничего там, сзади, не мог, Якушов же сказал убежденно:

— Сейчас начнут и наши... Мы ведь за две версты от них.

— Однако ничего не видно,— заметил Петя.— Может быть, вы в бинокль...

Но тут началась беспрерывная пушечная пальба со стороны тех домиков за деревьями, о которых Петя раньше еще на ходу успел узнать от Якушова, что это «по-видимому, деревня Говайтен, судя по плану, а может быть, и не деревня, а городишко...»

Они пятеро стояли за колючей изгородью из подстриженного боярышника, окаймившей правильным прямоугольником капустный и картофельный огород. Небольшой чистенький дом под черепичной крышей и все усадебные постройки при нем были осмотрены ими, и жителей обнаружено не было. Но теперь, когда начался ожесточенный артиллерийский огонь, причем не одних только легких орудий, но и тяжелых, Петя увидел, что Якушов вдруг обеспокоенно повернулся в сторону дома и взялся за кобуру своего револьвера.

Якушов ничего не скомандовал, но вслед за ним и Петей повернулись к дому и остальные, и Гуньков крикнул вдруг:

— Немцы!

И тут же из слухового окошка чердака, куда едва заглянули, так как спешили дальше, блеснуло, и Петя в недоумении увидел, как схватился рукою за шею Якушов, как между пальцев его показалась кровь, и он медленно опустился на землю, а Петрачук, человек серьезный на вид, загорелый до черноты, толстоплечий, кинулся в сторону и крикнул: «Вперед!..»

Пете больше почудилось, чем послышалось это «вперед!». Он видел только взмах руки Петрачука и как Гуньков и Побратимов, его дядька, бросились за ним в ту же сторону...

Он только через два-три мгновения понял, что надо бежать из-под прицела того, кто стрелял через узкое слуховое окошко,— выбежать за сторону угла, вершиной которого был глаз стрелка на чердаке,— и он кинулся вслед за Гуньковым, опоздав на момент... На бегу показалось ему, что пропело что-то тонко, по-комариному над его головой сзади, и мелькнуло в сознании: «В меня стреляют!» Рванулся вперед, пошевелив шеей, догнал Гунькова, даже крикнул ему зачем-то: «Цел!» Потом вместе с ним и следом за Петрачуком побежал не от дома в поле, а к дому, только с другой стороны, противоположной слуховому окошку на чердаке.

— Прапорщика надо бы взять! — крикнул Гуньков Побратимову.

— Зачем? Убитый он! — крикнул ответно Побратимов.

— Возьмем! — отозвался, расслышав, Петрачук и тут же приказал Гунькову: — Лезь на крышу!

Петя оглянулся на Якушова — тот лежал неподвижно, ничком, подвернув голову. Больно кольнуло в сердце, но нужно было понять, чего хотел Петрачук.

Гуньков, подтянувшись на руках, вскарабкался на крышу, и под ним затрещала сломанная черепица. Ему протянули его винтовку, и он полез к коньку крыши наискосок, так как крыша была крутая. Сам же Петрачук подобрался к сараю, стоявшему в стороне от дома, и из-за него выстрелил один за другим раза четыре по той стороне слухового окошка, которая пришлась против него. Петя видел, что пули, разбив черепицу, непременно должны были бы пронизать того, кто скрывался на чердаке, если бы он продолжал стоять у окошка, но подумал: «А зачем же ему там стоять?» Непонятным с первого взгляда казалось Пете и то, зачем там, на крыше,

Гуньков, что он может там сделать. Он видел, что Гуньков подбирался по коньку к слуховому окошку и только пережидал, затаясь, когда кончит свою стрельбу взводный.

Взводный выпустил всю обойму и, выскочив из-за сарая, крикнул Гунькову:

— Подымай черепицу, где стоишь!

И даже рукой ковырнул несколько раз в воздухе, не надеясь, что тот его расслышит как следует в орудийном гуле, который стал еще гуще: начали отвечать немцам русские батареи.

Гуньков поддел одну черепицу штыком, другую; Петя догадался, что они привязаны проволокой к рейкам, поэтому сковырнуть их сразу не удалось Гунькову, он только сломал их и в то же время не поберегся сам: с чердака загремел выстрел, очень гулкий, и Гуньков присел, раненный в ногу.

Петя почувствовал, что теперь ему, больше некому, надо что-то такое делать, чтобы выбить засевшего на чердаке, если только он там один, и действительно услышал:

— Невредимов! На крышу!

Вслед за этим Петрачук крикнул его дядьке:

— Побратимов, лезь на сарай!

Петя почти ни секунды не думал, как именно влезть ему на крышу,— он видел ведь, как влезал Гуньков,— и бросился как раз к тому же самому месту, приставил к стене винтовку, но подтянуться на руках так ловко, чтобы еще и закинуть на крышу ногу, не смог. Его поддержал подскочивший взводный; он же подал ему и винтовку.

Теперь, когда Петя прилег на крыше, решая, что ему начать, он прежде всего поглядел на Гунькова, и ему стало вдруг радостно: старый сапер держал свою винтовку на прицеле, строго воззрившись на ту самую дыру в крыше, какую сам же и сделал и сквозь которую был ранен. Гуньков поместился так, что вторично раненным быть уже не мог, но засевшего надо было выманить как-то, чтобы он высунул хотя бы кончик своей винтовки.

Петя огляделся, как всякий ищущий около себя камня, и увидел недалеко две половинки черепицы. Дотянуться до них и бросить их одну за другой по направлению к той дыре, которую сторожил Гуньков, было нехит-

рым делом. Вслед за этим, как и думал Петя, высунулся конец карабина, немец выстрелил, но тут же зачастил выстрелами Гуньков, который бил прямо по черепице.

Осколки этой черепицы долетали до Пети, но в нем появилась уверенность, что немец не может не быть тяжело ранен, если не убит.

И Гуньков и Петя еще смотрели вопросительно друг на друга, когда со стороны сарая, с его крыши, раздался выстрел, и Петрачук крикнул снизу:

— Готов!

Петя догадался, что немец, несомненно раненный Гуньковым, думал все-таки выскочить через слуховое окно, высунул из него голову и был пойман на мушку ефрейтором Побратимовым, имевшим медный значок за отличную стрельбу.

— Осмотрите чердак! — приказал Петрачук.

Петя с одной стороны, Гуньков с другой, там же, где начал раньше, стали сковыривать черепицу, действуя теперь без всякой осмотрительности.

Петя вошел в азарт, он сделал порядочное отверстие в крыше, но только что прилег на левое плечо и приготовился просунуть в это отверстие голову, как почувствовал стук в плечо и сильную боль, а выстрел услышал потом, и он слился в его сознании с какими-то еще выстрелами: это по другому немцу, ранившему Петю, стрелял Гуньков.

На чердаке было только двое немцев. При беглом осмотре дома на чердак заглядывали двое — Побратимов и Гуньков, но ничего там не разглядели. Выглядели тогда небольшую кучку ящиков и только теперь догадались, что за этими ящиками — больше не за чем было — лежали двое немцев.

Гунькова и Петю сняли с крыши, причем помогали Петрачуку и Побратимову саперы, повернувшие назад.

Они принесли донесение: «Впереди немцы».

Кинулись к Якушову, но он был уже мертв.

Петрачук взял его револьвер, бинокль, все, что нашел в его карманах, но тело его приказал внести в дом и положить на диван.

— Шапки долой! — скомандовал Петрачук и Петя здоровой правой рукой снял свою фуражку и смотрел в очень побелевшее лицо прапорщика с большой жалостью, когда Гуньков прошептал ему на ухо:

— Снять бы надо.

— На-а-кройсь! — скомандовал Петрачук.

— Что снять? — спросил Петя Гунькова, надевая фуражку.

— Бляху эту серебряную,— серьезно сказал Гуньков, державший правую ногу глаголем, и кивнул на грудь Якушова, на которой белел такой же точно значок, как и у Пети.

— Э-э,— поморщился Петя и махнул рукой.

Он шел назад, хотя и не успев перевязаться, все же без посторонней помощи, а Гуньков, опираясь на Побратимова. Впрочем, скоро его пришлось нести на скрещенных руках.

Отступала вся цепь сапер, так что часто менялись те, кто несли Гунькова.

Авангардный же отряд и несколько батальонов главных сил в это время, развернувшись, вели с немцами бой за деревню Курненен, откуда при движении вперед встречали их частым ружейным и пулеметным огнем.

В этот же день перевязанные на ближайшем перевязочном пункте Петя и Гуньков были отправлены дальше, в тыл, в полевой госпиталь, где Пете только из газет удалось узнать, что бой, в котором пришлось ему так несчастливо участвовать, окончился русской победой.

Рана Пети отнесена была к легким, о ране Гунькова сказано было неопределенно: «Смотря как она будет себя вести» — но легкой ее не назвали.

Кроме того, Петя в госпитале узнал, что он напрасно тут же после мобилизации не заявил о своем желании поступить в школу прапорщиков: тогда, дескать, он занимал бы койку не в госпитале, а в казарме при школе и, окончив эту школу, получил бы право на производство в следующие чины наравне с кадровыми офицерами.

Говоривший ему об этом молодой врач, окончивший Военно-медицинскую академию, думал обрадовать молодого инженера, по недоразумению пострадавшего в Восточной Пруссии, но Петя обрадован этим не был.

То немногое, что ему пришлось увидеть и испытать за три недели его военной службы, тем не менее оказалось для него слишком большим: он не был воинственным по природе.

В то же время он уже успел убедиться, что начавшаяся война будет не только очень жестокой и очень затяжной, но что она не может не привести Европу,— не только Россию,— к каким-то очень большим последствиям.

Но темперамент Пети Невредимова был таков, что думать над этими последствиями ему было жутко.

И когда — уже на второй день — его спросили, не играет ли он в шахматы, он с большим увлечением спросил в свою очередь:

— А разве здесь есть шахматы?

Шахматы нашлись, и Петя начал проводить за ними целые дни: он был неплохим шахматистом.

VIII

Это был только небольшой эпизод в очень длинной цепи других подобных в первую мировую войну — сражение между 8-й германской и 1-й русской армией 7 августа на линии Гумбиннен — Гольдап, но участвовали в этом сражении восемь корпусов, если считать и конный корпус хана Нахичеванского, в общем до четверти миллиона человек.

Однако так велики оказались масштабы этой войны, что столкновение сотен тысяч в целодневном и очень упорном бою казалось очень скромным, почти ничтожным по своим результатам.

Что результаты Гумбинненского сражения были далеко не ничтожные, это выяснилось несколько позже, а пока уже на другой день, 8 августа, когда русские газеты пестрели словом «победа», совершилось неизвестное даже и через неделю после того для них событие: командарм 8-й германской армии Притвиц был отозван в Берлин и замещен генералом Гинденбургом, взятым из отставки. Крупный прусский помещик, владелец имения под Танненбергом, он подавал и главковерху Вильгельму и его начальнику штаба Мольтке большие надежды, что не только не отведет 8-ю армию за Вислу, но постарается разбить и Самсонова и Ренненкампфа. В начальники штаба был ему дан выдвинувшийся в Бельгии, при взятии Люттиха, генерал Людендорф.

В сущности, конечно, не столько Гинденбург, сколько никому до того не ведомый Людендорф ставился кайзером Вильгельмом во главе 8-й армии, а Мольтке писал Людендорфу: «Вы поставлены перед задачей гораздо более тяжелой, чем штурм Люттиха. Я не знаю другого человека, к которому я мог бы питать столь безусловное доверие, как к вам. Быть может, вы спасете еще наше положение. Также и император возлагает надежды на вас. На вас не может быть возложена вся ответственность

за последствия, но вы можете предотвратить самое худшее».

Последние два слова в этом письме были подчеркнуты. Понять это «самое худшее» можно было только так: «оккупацию Восточной Пруссии русскими войсками».

Для того, чтобы усилить 8-ю армию, в тот же день 8 августа было решено Вильгельмом и Мольтке снять с французского фронта два корпуса, что являлось мерой совершенно исключительной, так как не только два корпуса, но даже и две бригады имели значение в той длительной битве за Париж, какая подготавливалась обоими главными штабами — немецким и французским — при полном напряжении всех сил.

Гумбинненское сражение сыграло роль вытяжного пластыря, так как очень облегчило положение французов, но в то же время чрезвычайно затруднило Самсонова и его 2-ю армию.

Был ли введен в заблуждение сам Ренненкампф донесениями своих корпусных командиров, или сознательно вводил в заблуждение и Жилинского и Ставку, но он представил отступление 8-й армии (совершенное в полном порядке, так как никто не преследовал отступавших) как паническое бегство после полнейшего поражения. И Жилинский и Ставка поняли его так, что 8-я армия почти уже перестала существовать, и за нею даже не следует ему, Ренненкампфу, гнаться: смертельно-деранненый зверь спешит добраться до своей берлоги за Вислой, и перехватить его может и должен Самсонов, а он, Ренненкампф, лучше сделает, если блокирует Кенигсберг и возьмет Летцен — две крепости Восточной Пруссии,— чтобы обеспечить себе полную свободу действий на путях к Берлину.

Разумеется, директиву Ренненкампфу давал Жилинский, но Жилинский руководился при этом донесениями своего командарма, и вот вместо того чтобы всю массу своей конницы бросить в преследование отступающего противника, Ренненкампф обращает все свое внимание в сторону Кенигсберга, не позаботившись даже вступить в связь с армией Самсонова, которая как раз в день Гумбинненского сражения перешла южную границу Пруссии.

Казалось бы, что многочисленная конница хана Нахичеванского при затяжной блокаде Кенигсберга была бы только лишней обузой для 1-й армии, но она так и не получила никакого другого назначения.

А за всеми близорукими и в Ставке, согласившейся с планом Жилинского, и в главной квартире Севзапфронта, и в штабе 1-й армии следили дальнозоркие немецкие генералы, прибывшие на смену Притвицу,— Людендорф и Гинденбург,— которые гораздо лучше знали, в каком состоянии были отступавшие корпуса, направленные за Вислу.

Отступление было прекращено. Корпуса были повернуты лицом против армии Самсонова, в отношении которой Ренненкампф поступил точно так же, как Розеншильд-Паулин в отношении Лашкевича.

Ставка же была в это время занята 9-й армией, которая успешно формировалась в Варшаве, чтобы вполне успокоить французов: из Варшавы она должна была в ближайшее время взять направление на Познань и, заняв Познань, двинуться на Берлин.

1944

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Эпопея

Сергеев-Ценский С. Н.

С 32 Преображение России: Пристав Дерябин. Пушки выдвигают. Пушки заговорили/ Ил. А. В. Николаева.— М.: Правда, 1988.— 608 с., ил.

Историко-революционная эпопея «Преображение России» замечательного русского советского писателя С. Н. Сергеева-Ценского включает в себя двенадцать романов и три повести, являющиеся совершенно самостоятельными произведениями, объединенными общим названием.

В настоящее издание вошли повесть «Пристав Дерябин» и романы «Пушки выдвигают» и «Пушки заговорили».

С $\frac{4702010200-1682}{080(02)-88}$ 1682—88 84 Р 7

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Эпопея

ПРИСТАВ ДЕРЯБИН

ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

ПУШКИ ЗАГОВОРИЛИ

Редактор
С. А. Суркова

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
В. В. Масленников

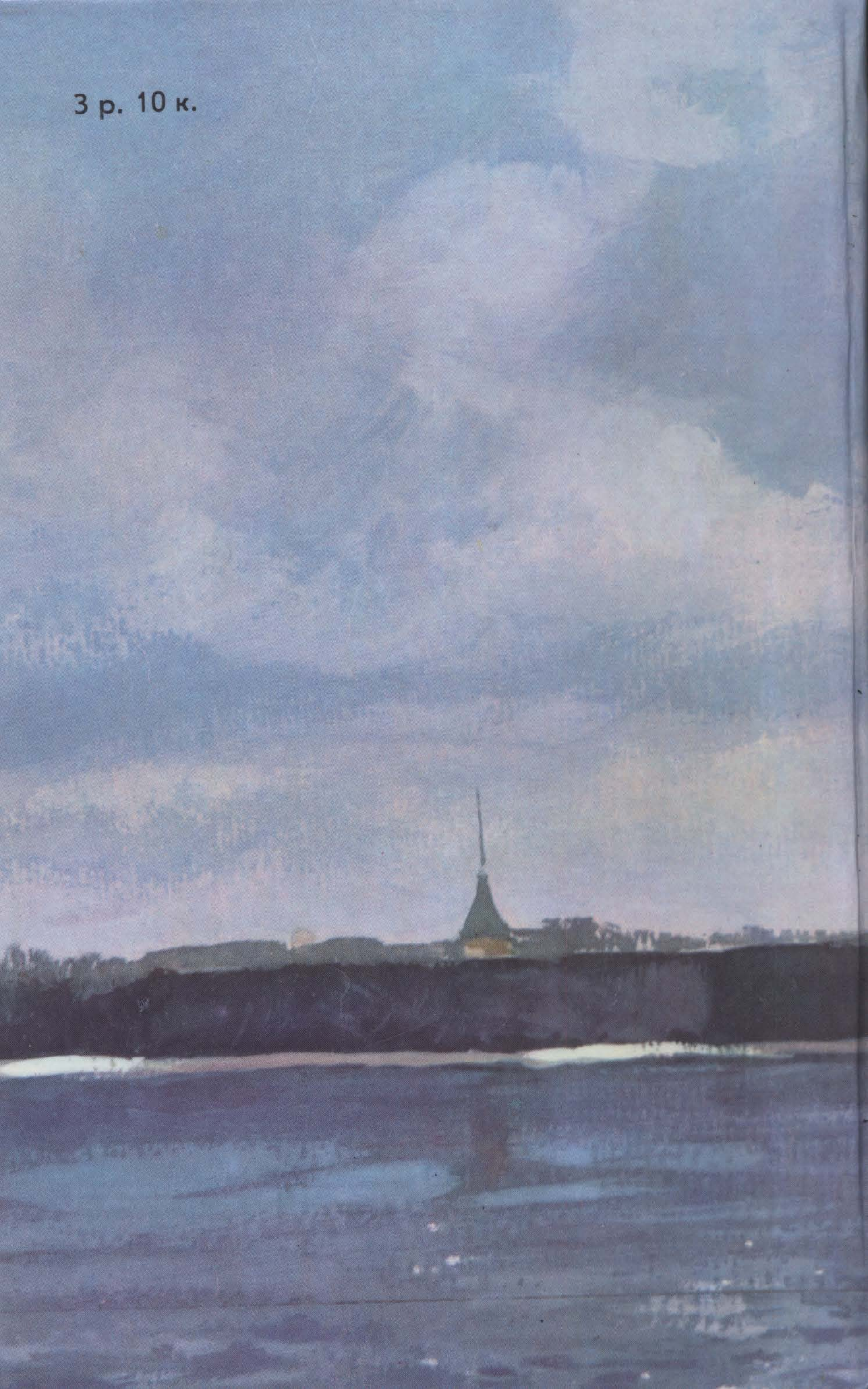
Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1682

Сдано в набор 25 04 87 Подписано в печать 22 12 87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная
Гарнитура «Литературная» Печать высокая
Усл печ л 31,92. Усл кр.-отт 32,34. Уч -изд л 34,32.
Тираж 500 000 экз (3-й завод· 250 001 — 400 000).
Заказ № 3974 Цена 3 р 10 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24

Отпечатано в типографии «Курская правда»,
305007, г. Курск, ул Энгельса, 109.


3 р. 10 к.